

ЕЛЕНА КИСЕЛЬ

АМД:

ИНАЯ СУДЬБА

Хочешь ли ты услышать иную сказку? О богине Рее, которая не отдала своего первенца Крону-Времени. Об Аиде, Владыке Олимпа, Щедром Дарами, Гостеприимном и Мудром, о Титаномахии, которая не началась, о других олимпийцах, о Золотом Веке без заговоров и интриг, о... нет?

Ну, тогда я просто расскажу тебе — как это бывает: когда всё начинается правильно. И мы увидим — могло ли быть иначе?

Аид: иная судьба

ПАРОД. КУРЕТЫ

«Это ему было суждено! Он должен был возмужать на Крите! Стать первым из братьев! Одолеть отца! Хочешь — я прочту для тебя эти строки, глупая жена Крона?! В них Крон не проглотил больше никого из твоих детей! Там победа родилась раньше, там война закончилась без ярости Гекатонхейров, там на трон сел не сластолюбивый тиран, а мудрый и зрелый Владыка, там наступил новый Золотой Век! Лучше, чем Золотой Век!»

«Аид, любимец Судьбы»

А может быть, всё было наоборот?

Погода была прекрасная,

Принцесса была ужасная...

Г. Сапгир

Иногда я думаю — чем это могло бы кончиться. Если бы началось не так.

Тогда я жму плечами. Отворачиваюсь от озер, из которых глядит на меня тот, иной: губы в нитку, в глазах — пустота Тартара, с пальцев капает ихор. Отворачиваюсь и ухожу, оставляя его смотреть вслед из отражения — и пусть себе серебристый тополь роняет ему листья на плечи, пусть он сутулится, пусть чертит невидимым стилосом по невидимому песку линию каких-то своих, незнакомых мне воспоминаний.

Наверное, у него все неправильно начиналось — у того, иного. Надеюсь, у него там хотя бы кончилось правильно.

И все же — чем это могло бы кончиться, если бы началось не так?!

Мысли скользят, извиваются, поднимают со дна памяти давнюю легенду, а может, сказку, рассказанную чьим-то безмерно усталым голосом. О титане Кроне, который сверг своего отца и взял в жены Звездоглазую Рею. О пророчестве свергнутого Урана: «Судьба-Ананка, рожденная из Хаоса прежде всех, не минует тебя. Придет час — и тебя свергнет сын».

«Когда прозвучало это предсказание, жена Крона Рея ждала ребенка. Ей так хотелось — пусть будет девочка. Она даже придумала ей хорошее имя — Гестия... Но родился мальчик. Наследник. На свет появился мальчик с волосами чернее смолы и глазами, впитавшими темноту ночного неба. И тогда Крон приказал принести младенца ему...»

Я знаю продолжение этой сказки, ибо я — это продолжение. Вот только сны иногда подкидывают неожиданное: долгий крик, раздирающий грудь, вечный мрак, бесконечные лабиринты времени. И тогда, стряхивая невольный озноб с кожи, я опять ныряю в глубь памяти — и успокаиваюсь, вспоминая.

— Она ведь не принесла?

— Да, мой мальчик, она не принесла...

— А что она тогда сделала?

— Она взяла камень. Обычный камень, завернула его в пеленки и отдала мужу. Крон проглотил камень, думая, что глотает сына, и мальчик с черными глазами и волосами остался расти на острове Крит, под надзором нимф.

— А если бы она вдруг принесла?

— Ты перебираешь такие страшные «если», мой мальчик. Зачем ей было отдавать

своего первенца Крону?

— Ну, она же не знала, что он его съест. И, может, она боялась. Или если вот...

— Не надо этих «если», маленький Климен. Все могло быть только так. Только так...

— А этот мальчик... ну, который еще Крона свергнет... это я?

Да, это я.

Аид Громовержец, Владыка Олимпа. Эгидодержец, Гостеприимец, Щедрый Дарамид Справедливый и Мудрый. Хозяин Золотого Века, у которого всё началось правильно.

С валуна, поднесенной женой обезумевшему мужу. С младенца на острове Крит. С гулких ударов куретов в щиты — чтобы заглушить плач ребенка.

Так могло ли начаться иначе? Нет, не могло.

В противном случае — страшно подумать, чем это могло бы кончиться.

Куреты скучали. Двое прилегли в тени корявой яблони, один на эту самую яблоню залез и уныло отчитывался: нет там, мол, ничего интересного. Еще двое несли караул, время от времени яростно грохоча копьями о щиты — звук прокатывался по долине, множился и улетал за море.

Гхар-дах!

— Заморился, — мрачно сказал рыжебородый.

Второй, кудри которого отливали зеленью, цыкнул на откуда-то взявшегося мальчишку: тот вознамерился утащить у отдыхающих товарищей копьё.

— Дяденьки, — не смутился мальчишка, — вы козы не видали?

— Мамка твоя коза, — долетело от курета, который чуть не лишился копья. — Ну-ка брысь отсюда!

Мальчишка, однако, никуда не собирался. Крутился вокруг «дяденек», восхищенно рассматривая блестящие на солнце доспехи. Высунул язык, потрогал щит, на котором красовалось оскопление Урана.

Курет с кудрями иззелена подмигнул второму и вдарил по щиту.

Гхар-дах! Гулкое эхо унеслось в дальние дали. Мальчишка отскочил, вылупил черные глаза, почесал укус на ноге и независимо поинтересовался:

— А что это вы, дяденьки, по щитам все время лупите?

— Не твоего ума дело, — осек рыжебородый. — У нас, может, великая тайна. Иди себе мимо, сопляк. Ищи свою козу, пока ее волки не задрали.

И еще один гулкий удар раскатился над долиной.

— Такую задерут, — непонятно высказался мальчишка и сощурился. — А дело — моего ума. Нам с няньками, может, тоже спать надо. А этот ваш грохот все время доносится. И коза вот вашего шума испугалась: как кинется в чащу! А так бы я вам молока принес. Холодного.

Видно было, что никуда местное критское отродье не собирается.

— Настырный, — одобрительно крякнул один из куретов под яблоней. — Так и быть, скажем тебе, только ты уж никому не проболтайся. Сынка мы Кронова стережем. Климена. Который от Реи.

— Сказа-а-а-ал! — протянул мальчишка и оттопырил тонкие губы презрительно. — Крон своего сына сожрал, это на Крите последний сатир знает.

— А вот и не сожрал! — вмешался курет помоложе. — Подменила она его, значит. То ли сыром, а то ли каменюкой. А нас, значит, сюда поставила. Надежная охрана, стало быть, чтобы. И наказ дала, строгий: все время в щиты лупить. Если, значит, младенчик заплачет — так чтобы его заглушить.

— В Тартар сойти, — сказал мальчишка, поразмыслив, — это ж как он должен орать, чтоб вы его так заглушали!

Очередной удар по щитам подзадержался, и вместо него донесся другой — с северного края острова.

Куреты забормотали, нахмурились. Мальчишка — остроскулый, со сбитыми ногами, с черными волосами, в беспорядке ползущими на глаза — хмыкнул, выудил яблоко из травы. Сочно хрустнул.

— А долго лупите? — осведомился.

— Да уж лет десять, наверное, — вздохнул курет, спускаясь с яблони. — Тоска смертная. Только приказ есть приказ. Мы, понимаешь, намертво. Нас надежнее нет.

Мальчишка задрал черные брови.

— Это уж точно, — согласился он непонятым тоном. — Ну, вы лупите, лупите. Может, этот сын Крона и Реи лет до восьмидесяти реветь будет. И в пеленки пачкать. Ему, сволочи, больше и заниматься нечем.

Куреты переглянулись и грохнули в щиты грозно.

— Выдеру, поганец! — грянул забывший об усталости рыжеусый.

— Сперва догони! — слышалось уже откуда-то издалека. — Увидите козу — скажите, чтобы долго с вами не оставалась, поглупеет!

— Ах ты ж... — рыкнул было рыжебородый, потом осекся, закачал головой. — Вот ведь характер скверный. И родилось же такое у кого-то.

И снова копыта грохотнули о щиты. На сей раз — по делу. Заглушая отчаянный вопль:

— Аи-и-и-ид!!

Из-за зеленого холма показалась нимфа: статная, полногрудая, тяжело дышащая всей грудью под мало что скрывающими зелеными одеждами.

Глянула на куретов, молчаливо глядящих на нее. И взорвалась страшнее вулкана, не дожидаясь хоть каких-то слов:

— Чего вылупились, обалдуи?! По лбу своими копытами себе вдарьте, сколько раз говорила! Мальчик где?!

Куреты рассматривали ее медленно и основательно. Узнавали.

— Адрастея, — сказал наконец рыжебородый. — Какой мальчик-то? Приходил тут какой-то паскудник. Козу потерял, искал.

— Тартар побери эту козу! — запричитала нимфа, в изнеможении опускаясь на травку. — Куда хоть он скрылся — знаете?! Не знаете? Да ну, кого я спрашиваю — никто же не знает. Весь в папашу своего, чтоб его... и ведь воспитывали же! Старались! Так нет, носится по острову, будто там у него не шило — Кронов Серп с рождения торчит. Кабы знать, кабы знать! Веревки вам в руки бы вместо щитов с копытами! И держать...

Куреты переглядывались, перекидывались удивленными взглядами. Забывали грохотать в щиты.

— Что за мальчик-то? — спросил наконец тот, который лежал под яблоней.

Нимфа шмыгнула носом, пробормотала, что это не мальчик — это наказание для мира. И побрела куда-то за другие холмы, бормоча, что вот, лучше бы кой-кого проглотили, не пришлось бы мучиться, оно бы еще и полезнее пошло.

Между двух крутых зеленых холмов Адрастея остановилась и вскрикнула пронзительно: — Аид! Ну, если дальше бегать будешь — я тебе такое...

Куреты переглянулись уже на третьем обещании — и торопливо грохнули в щиты.

— Аид, — сказал потом рыжеусый, — невидимый, значит. Ну, самое имечко для такого-то поганца. Сморгнешь — а его не видно, стало быть.

— Не имя это, — отозвался задумчиво тот, что с кудрями иззелена, — прозвище. Невидимка, стало быть... Ну-ну.

Но под взглядами товарищей опомнился, стер с лица неуместную ухмылку и послушно ударил в щит.

СКАЗАНИЕ 1. О ЗЛОБНЫХ ТВАРЯХ И РАЗГОВОРАХ ЗА ЯБЛОКАМИ

Амалфея! Амалфея!
Мать — Дойная Коза!
У Идеи у пещеры
Ты скакала по скалам,
В тайнике горы лелея
Сына мощного небес.

В. И. Иванов

— Тебе бы пошел меч, — сказали мне однажды.

Тот, кто сказал, давно получил по зубам. Как все, кто говорил: «Он — вылитый отец, и значит — между ними нет разницы».

Месяцы улыбаются мне серпами. Теми, которые я якобы мог взять вместо оружия.

Став при этом — как тот, иной. Чужой и чуждый.

Который упорно смотрит на меня из отражений — почему мне вообще кажется, что он там мечник?!

Очень жаль, что отражению по зубам не дашь.

— Мне не идет меч, — говорю я ему нудно раз за разом. — Ни серп. Ни другой меч. Ты знаешь, почему. Я не ты.

Он смеется. Этот, который в отражениях. Кривая, вымученная улыбка — но я понимаю, что это смех.

С удовольствием бы пустил в свои отражения стрелу — только вот нечем. Этот, там, не зря смеется.

— Мне не идет меч, — говорю раз за разом. Чувствуя тяжесть справа на поясе.

Убедить себя получается, только если вспоминаю.

Коза была страшная.

Здоровая, кудлатая, серая. С такой бородой — не то что козел, все сатиры местные обзавидуются. С полным колючек боевито задранном хвостом.

Желтые глаза горели непримиримой ненавистью ко всему живому.

Святой целью жизни этой твари являлось — сожрать все, что она видит и поднять на рога всё, что невозможно сожрать.

Адрастея и Идея стонали наперебой, когда хитрую тварь приходилось доить: «Что за тартарское отродье!» И поясняли, вздыхая: есть как будто в этой козе какая-то часть подземной крови. Будто бы вылезло какое-то чудовище из подземного мира на поверхность, огляделось, увидело козу...

А дальше нимфы не рассказывали. Мал, говорили, еще. Наслушаешься еще про чудовищ подземного мира.

— Кто ей хоть имя придумал? — спросил я как-то. Няньки переглянулись и закатили глаза. Потом Идея — нимфа бледная, хоронящаяся от загара и вечно озабоченная то цветом кожи, то прической — запричитала, что имена — они важны, и имя определяет суть, и вообще, пусть я хоть сюда уже не лезу, а то любопытный выискался.

Что правда то правда — поэтическое имя Амалфея[1] козе подходило, как мне — мое Климен. Вязло в зубах, отдавалось кислым: Климен, сын Крона. Может, потому я с такой радостью ухватился за это «Аид», в сердцах брошенное той же Идеей.

— Как тебя еще называть? — охала она, картинно прикладывая руку к груди после моего очередного побега. — Невидимкой — шасть, и нет его.

— А хорошее имя, — вполголоса откликнулась Адрастея от очага. — Может, дадут первобоги милость — будет невидимкой. Чтобы не заметил...

Кто не заметил — этого не назвала. Они не любили упоминать Крона, мои няньки, и говорить о том, что происходит там, вовне — не любили тоже. Так что я мог рассчитывать в основном на свои побеги — на себя, да на Амалфею.

С дикой тварью, кидающейся с рогами наголо на каждый шорох — любые прогулки не страшны.

— Его одного признает! — стонала Адрастея, пробежав пару кругов вокруг пещеры после попытки козу подоить. Амалфея, насмешливо трясая бородой, дожевывала клочок, выданный из подола нимфы. — И к чему такое чудище было как кормилицу оставлять...

Идея томно хмыкала, но сама доить не шла. Боялась. Только пересказывала легенду: когда нужно было найти кормилицу из коз, Звездоглазая Рея побоялась взять что-нибудь получше из стад своего мужа. Как бы вести о пропаже дойной козы не навели на след. Вот и взяла... это.

А я, тогда еще ростом по подбородок козе, смеялся, поднимался, шел доить сам. Меня она подпускала к себе после того, как младенцем я намотал на кулак ее бороду и попросту на ней повис.

Два скверных характера нашли друг друга.

Зачем мать нашла мне такую кормилицу — я понял, когда в первый раз махнул в лес и встретился с двумя каменными волками, которых тогда полно было на Крите.

Когда из кустов на предвкушавших обед волков ломанулось что-то мекающее — они поначалу были обрадовались. Недолго радовались, потом все больше скулили. Потом один и скулить-то перестал.

Может, мать знала, что на острове — и лесов, и хищников многовато, вот и нашла защитника получше туповатых куретов.

Может, она поняла, что сынка не удержат в пещере две нимфы, которые к нему приставлены после рождения.

Особенно если у сынка такое предназначение.

«Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Бах! Бах! Гда-рх!

Это лупили в щиты куреты по обе стороны острова. Или, может, сердце бухало в висках — Тартар заberi эту козу, кто вообще удрал из дому-то, я или она?!

Все равно на воле лучше, конечно. В пещере одно и то же: «Иди погуляй, только далеко не уходи», «Хворосту принеси, только осторожно», «Ты опять себе какое-то копьё придумал? Нет уж, хватит!»

Нимфы, что с них взять, словом. Одна на вздохи исходит, другая еще, глядишь, попытается кашу варить заставить. Десять лет же. Маленький.

— Крона кто свергать будет? — спросил я их сегодня, когда особенно допекли. — Вы возьметесь, с куретами? Или мне его половником по черепушке огреть?

Подхватились, закудахтали: да никто не говорил, что пророчество обо мне, да что ж я,

так и собираюсь, в таком-то сопловом возрасте, да знаешь, сколько Криводушному-то было, когда он на своего-то отца...

— Уран глотал своих сыновей? — спросил я тогда, и они умолкли. — Сколько мне ждать, пока мне дадут оружие? Век?!

Терпеть и ждать, да. Сплюнул в пыль, с ненавистью глянул на свою слишком уж короткую тень. Терпеть и ждать, пока найдут учителя, пока решат, что готов к обучению, пока перестанут вопить: «Аид, в пещеру!» — как только рядом появится морда леопарда или кабана...

Терпеть и ждать, пока мать решит, что пророчество — обо мне...

Я ее видел два раза — мать. Приходила ночью — тайно, с опаской. В последний раз — совсем недавно, может, месяц назад. Она почти не говорила — Звездоглазая Рея, скрытая под плащом из сплетенных цветов и собственных волос. Гладила мой лоб руками, пахнувшими молоком, заливалась плачем.

Была беременна.

Не знаю, в первый ли раз после моего рождения.

Не знаю, спрятала ли она других детей, как меня. Если вдруг — не в первый.

Я тогда многое хотел ей сказать. Пожаловаться на няnek. На постоянный грохот куретов о щиты — притом, что я даже младенцем не плакал. Попросить меня куда-то там отпускать — хотя бы к местным детям, потому что скучно же. Еще лучше — найти учителя, чтобы я мог сражаться.

А потом как-то всё забылось, потерялось среди ее плача и объятий. Я молчал, стиснув зубы, и тихо гладил ее по душистым волосам. И ее всхлипы: «Мой мальчик... мой маленький мальчик...» — жгли каленым железом.

— Подожди совсем немного, — сказал я ей на прощание. — Совсем немного.

И каждый день для меня с той поры стал — отсчетом.

Каждая проведенная в бездействии минута — пыткой.

И кто там сказал, что в обществе нимф можно вырасти нимфой?!

Я драл хитоны о скалы, потому что — вдруг придется взбираться по горным тропам, и вообще, кто там знает, может, мне придется брать Олимп — папашкину вотчину. Делал копья из осколков тех же скал. Выменивал ножи у тех же куретов — на зубы каменных волков или клыки кабанов, повстречавшихся с Амалфеей. Я ползал в зарослях, воображая, что охочусь на чудовищ или на отца, я представлял — как свергну его. Сотней разных способов, так ни до чего путного пока не додумался.

Ничего. Главное начать.

И что ноги сбиты — тоже ничего. В беге тренироваться — хорошо, я ж не Гелиос — на колесницах разезжать. Хотя и не отказался бы, да. Пробежал за бешеной козой половину острова — и это ничего, лучше начну в следах разбираться, да и остров узнаю.

Сомневаюсь, конечно, что Амалфея испугалась, услышав, как куреты о щиты грохают. Они тут этим всё время занимаются. Да и напугать эту тварь не знаю, чем можно.

Скорее уж — понеслась себе новую жертву высматривать.

— А-ёй! Ой, помогите! Ой, страшилище, ой!

...высмотрела, надо же.

Скатился с холма, перепрыгнул через ручей, мигом проломился через кустарник на зеленую лужайку, опушенную цветками.

На лужайке раздавались призывы о помощи, щедро перемежаемые зловещим «ме-е-е-е».

Сгорбленная старушка спасалась от Амалфеи — коза наступала на нее, топча цветы.

Я вцепился в утыканный репьем хвост, как раз когда старушка удачно развернулась, а Амалфея определилась с мишенью и пошла в атаку.

— Стоять, паску-у-уда!

Седалищу бабки все равно досталось, но не так, как могло бы. Охнув, старушка кувыркнулась в траву.

Амалфея попыталась отбрыкнуться, увидела меня и оскалила желтые зубы. Пошла в атаку без промедления — сожру-забодая, будешь знать, как за хвост тягать.

— По зубам... тресну... — шипел я, охаживая козу кулаками. Кулаки ей не наносили не малейшего вреда.

— Ох... — стонала из травы старушка. — Ой, мальчик, беги, ой! Убьет она тебя, тартарская тварь!

Тартарская тварь перестала нежно бодать меня в бок и посмотрела в ту сторону угрюмо. «Вдарю», — обозначила взглядом.

— Стоять! — скомандовал я. — Да не, она... это моя, в общем.

— Твоя?!

Коза тут же отошла и сделала вид, что меня не знает. А старушка вылезла из травы. Или женщина, кто ее там разберет. Только уж очень пожившая. Годы прочертили на лице морщины-рытвины, глаза запылились заботами... диплакс вон с головы сполз.

— Так ты, значит, пастушок тут? Ох! Спас от зверюги лютой, ох! Я уж, когда ты на нее кинулся, думала — все. И тебе, и мне. Сожрет-растерзает. И не побоялся же броситься на защиту, а? Воином будешь, защитником слабых будешь...

— Это хорошо бы, — сказал я, потирая синяк на боку.

— ...яблоко будешь?

— И это хорошо бы.

Коза, обложив нас чем-то презрительным напоследок, подалась в кусты — учинять разгром там.

Яблоки у старушки в котомке оказались знатными — наливными, с золотистым отливом, на Крите такие не растут. Я впился в одно зубами, захлебываясь душистым соком, а она смотрела — пристально, покачивая головой, бормоча что-то про себя.

— Тут вообще-то опасно одной ходить, — сказал я, прожевав первый кусок. — Это хорошо, что моя коза встретила. А то мог бы кабан. Или еще волки тут есть. Ты, наверное, с пути сбилась?

— Ох, как сбилась с пути, — подтвердила она, крутя в пальцах яблочко. — Шла внучка проведать, заблуди-и-ила... а тут эта, страшная. Ох! Ну, давай знакомиться. Я вот Хтония, а тебя-то как зовут, пастушок?

— Аид.

Она хихикнула — молодо, ясно.

— Невидимка, а? Хорошее прозвище. Только не всех обманет. Ты на лицо-то вылитый твой отец в детстве, как притворяться будешь?!

Яблоко брызнуло соком в пальцах. Набежала тучка на колесницу Гелиоса.

— Ты знаешь Крона?!

— Видала, — безмятежно отозвалась эта... Хтония. Прикрыла глаза ладонью — солнце опять рассиялось не на шутку. — Похож ты на него, пастушок. Не бойся, не выдам. Ты ж меня от чудища этого спас — это она мне только раз наподдала, а что могла сделать!

Смеется, наверное. А может, и не смеется. Глаза серьезные, глубокие — как вспаханное поле.

Печальные.

— Что, Кронион, будешь отца-то свергать? Готовишься пророчество исполнять-то, а?!

Глянул исподлобья — нет, не насмешничает. Куснул полураздавленное яблоко.

— Ага. Будешь тут готовиться, когда мне даже оружия не дают. А Крон — это Крон. У него еще серп этот. Который ему мать дала. С которым он на Урана, мне рассказывали. Я вот все думаю — что мне делать с этим серпом?

— И что думается?

Пожал плечами. Ничего мне не думается. Я того серпа не видел, может, про него вообще враки врут. И вообще, пока вырасту — додумать успею.

— А вот свергнешь ты Крона, — сказала вдруг Хтония. Прижмурилась мечтательно. — Тогда заживешь, да? Пойдешь на Олимп, править будешь...

«Ме-е-е-ечта-ай!» — подала голос из кустов Амалфея. Я подался вбок, сплюнул яблочную косточку.

— Да на кой мне?!

Хтония подавилась собственным яблоком.

— Что?!

— Да трон, говорю, мне на кой? Мне Крона свергнуть. Чтобы мама не плакала. Чтобы он не... — скрежет зубов заглушил мои слова о возможных братьях или сестрах. — Да у Крона же братья еще, титаны... Мне и их свергать? Так их много, они родню созовут, мне тоже придется союзников искать... это уже война получается. Большая война. Да пускай бы они на трон кого угодно сажали — я так думаю. А с Кроном — это у нас... личное.

Хтония смотрела — непонятно. Будто ее чем тяжелым из-за угла огрели. Или вдруг подкралась Амалфея из-за кустов — и ка-а-а-ак...

— А если бы вдруг... пришлось?

— Править? — сказал я и задумался. Задумался об этом впервые. О том, как свергну Крона — думал тысячи раз, о троне — ни одного. Не сходились между собой эти мысли.

Вторая показалась неприглядной, скучной, тяжелой.

— Ну, правил бы, — сказал я угрюмо. Достал из-за пояса ножик, погнал в жирную землю на поляне. — Только я не умею. Это ж сколько советников звать придется! И договариваться со всеми.

— Зачем со всеми, — тихо отозвалась Хтония, — зачем... пошел бы к своей бабке, к Гее-Земле. Сказал бы: давай ты со своими детьми титанами поговоришь. А я твоих других детей из Тартара вызволю. Вызволил бы, а, пастушок?

А сама пальцами в траву вцепилась. Смешная какая-то.

— Не знаю, — ответил я и кинул огрызок яблока в кусты — Амалфее. — Вдруг они тут весь мир перевернут. Горы с морем смешают. Я слышал, они вообще небо на землю уронить могут, а кому такое надо?! Такое, наверное, даже Гее-Земле не нужно. Ну, если бы было бы, где им жить... Или если бы Гея придумала, как им с нами жить, чтобы никто никому не мешал...

Долетел по воздуху тихий, надрывный вздох. Хтония сидела, отвернувшись. Сидела — будто решаясь на что-то.

— Ты вырастешь мудрым, — сказала потом. — Мудрым воином. Только у воинов должно быть оружие. У меня тут есть... вот, смотри.

Вынула то ли из котомки, то ли из-под одежды...

Металл был тусклым, мягко поблескивающим там, где его не успело искушать время. Металл изгибался дугой, два конца которой соединяла остро звучащая тетива.

— Это мне вот сынишки ковали... когда-то, — пояснила, будто извиняясь, Хтония. — Давно уже. Лук хотели... для отца, в подарок. Только он не взял.

Погладила морщинистой рукой искусную ковку. Достала и положила сверху легкую стрелку — из того же металла, только белую, поблескивающую, когда повернешь.

— А это я уже сама выплавил... Сыну попросил сделать ему — и я вот, сделала. А ему не понравилось. Давай, мол, что-нибудь другое, чтобы грознее. Страшнее чтобы. Вот тебе будет... чтобы играть. Лук. Стрела. Хорошо? Принимаешь?

Я поднял стрелу — легкая. Рассмотрел лук, попробовал натянуть тетиву — тетива пошла покорно, только вот стрелка легла на неё нехотя будто. Словно на чужое.

Не оружие, конечно, но ничего — если потренироваться, то еще как. А потом можно будет и настоящий выпросить.

— Здорово, — сказал я. — Красивые. Ты не огорчайся, страшнее — не всегда лучше...

Она посмотрела, изломав губы в болезненной улыбке. Кивнула. Сказала:

— Страшнее — не всегда лучше.

Поднялась, свернула котомку, огляделась... я был занят своим первым оружием — легкой, серебристой игрушкой в темных пятнах времени. Баюкал лук, гладил его, придумывал — как от нимф буду прятать, как отчищу от пятен, где раздобуду стрелы...

— Стрелы не нужны, — сказала она, будто услышав меня. — Это орудия нападения. Мести. Убийства. У тебя — стрела. Или лук. Иди, Кронион. Не промахивайся.

Я забормотал какую-то благодарность, весь поглощенный — ковкой, изъеденным металлом, блестящей тетивой... не заметил, как она ушла.

Потом брел, баюкал лук на груди, грел в руках стрелу. Шептал им, что мы ничего — мы не промахнемся. Ух, как не промахнемся.

... промахнулся раз двести, не меньше — по всему.

По стволу корявого дерева.

По лилице, несущей мышь. По широкому листу, свисающему с ветки.

По сороке, заливающейся смехом над незадачливым стрелком.

Даже — по Амалфее, которая шуршала по зарослям неподалеку и насмешливо из зарослей мекала.

Стрелка была слишком легкой, а может, лук — слишком игрушечным. Но стрела улетала в заросли, падала, не долетая до мишени, норовила лягушкой прыгнуть в ручей или застрять между скалами.

Но и это не заглушало восторга — пусть себе сейчас промахиваемся, а вот на тысячный раз наверняка... если еще лук настоящий взять... главное — начать — да!

В очередной раз стрелка коварной змеей усвистела в кусты. Я отложил лук и полез следом — и тогда я услышал крик, второй раз за день. Голос Адрастеи звучал не так, как должен был: «Аид, где тебя носит?!» Отчаянно, задущенно. Так, будто она спасалась.

И во второй раз за день я кинулся вперед, проламываясь сквозь заросли — только теперь на поляне охотилась не коза Амалфея.

Леопард приготовился к прыжку, и повиснуть у него на хвосте я уже не успевал.

Нимфа сжалась, притиснулась к дереву, закрылась руками.

Металл согрел оледеневшую кожу ладони. Древний, теплый, изъеденный временем

металл. Искусная ковка.

Я не заметил, что взял с собой новую игрушку. Не заметил, когда пригласил ее в ладонь.

Не заметил, когда во второй руке оказалась легкая, игриво поблескивающая стрелка.

Может, просто схватил то, что под рукой — потому что иного не было.

Заскрипела тетива, лаская пальцы. Прильнула к щеке.

Я целился в леопарда, а смотрел на нимфу — она уже открыла лицо, увидела меня и кричала, чтобы я уходил.

И мгновения падали вокруг нас — и замирали, будто листья, упавшие с дерева.

Потом был короткий звон, ослепительный блеск, хрип — еще короче.

И зверь опрокинулся навзничь, будто его поразили ударом с неба.

Горло его пронзила быстро истаивающая в воздухе молния из белого адамантия.

[1] Амалфея — в переводе с древнегреческого «нежная богиня».

МОНОДИЯ. МЕТИДА

Сделалась первой Зевса супругой Метида-Премудрость;
Больше всего она знает меж всеми людьми и богами.
Гесиод. "Теогония"

Иногда ей снятся дикие сны. Цветные сны. Невозможные.

О юноше, возжелавшем свою наставницу. О том, как она бежит по скалам, раздирает руки о камни, спасается, озираясь через плечо... от него? От судьбы? От... себя?

Сны — о колдовском вареве на желчи подземного чудовища. О кубке, который она подносит Времени.

О мокрых щеках и подушках и собственном сухом смехе, отдающемся болью в груди: «Откуда мне знать, где там этот Кронид? Он жене не докладывается».

Заглянешь в сон, как в колодец — колыхнется вода, покажет лицо (твое ли?). Заострившееся, с кислой миной, будто насильно впечатанной, без румянца, зато высокомерия — не вычерпать. Колотишь ладонью по сну, задыхаясь от ужаса, а он скользит между пальцев по каплям, и в каждой капле кривляешься — ты (ты?!): «Муж мой, ты скоро станешь отцом».

И перед твоими глазами возникает на миг видение бездонной глотки.

Белокрылый Гипнос нахально разводит крыльями. Мол, ты Разумная, тебе виднее — откуда оно. Я-то такого не посылаю. А Мойры-спорщицы о таких снах помалкивают. Шепчутся о других строчках, о других нитях...

Утешение одно — такие сны приходят нечасто и всегда заканчивается.

Разумная тогда улыбается им навстречу. Проводит, пробуждаясь, по волосам, пропускает между пальцев пеплос, вытканый ее дочерью.

— Было не так, — говорит твердо, и сны примолкают.

На пеплосе замер, припав на одно колено, черноволосый юноша с луком.

Охота шумела отчаянно. Вопила, улюлюкала, вскрикивала, шумела, ломилась сквозь камыши, заливалась лаем собак. Гикали куреты — давно надоело лупить в щиты! Крит взорвался буйным весельем — еще бы, сама богиня Метида решила взяться за копье, скрасить девичий досуг.

Поговаривали, впрочем, что Метида Покровительница Дев просто наконец решила взяться за свой давно восхваляемый ум и отыскать среди Критских лесов мужа. Якобы, имело место какое-то давнее предсказание дочерей Судьбы — Мойр.

Но псы третий день упорно брали только следы кабанов, леопардов и каменных волков. Видать, на мужей псы натасканы были хуже.

— Дичи набили! — хмыкали плечистые лапифы с севера и игриво подмигивали нимфам. — Будет, что воспеть!

— Главной-то дичи так и нет, — отхихикивались девушки из людей. Но отхихикивались тихо: услышит великая богиня разума — кто там знает, что измыслит.

К исходу третьего дня псы не слышали криков загонщиков, отзывавших их назад. Зашлись в лае, закатились пенной яростью, рванули вперед — без оглядки, надрывая горло в бешеном вое. Кто-то крикнул: «Из подземных тварей, видать!» — и охотники двинули вперед, забыв об гудящих ногах.

Метида выступала позади неспешно, опираясь на копьё, оправляя синие охотничьи одежды. Склонив набок голову с подобранными под гребень кудрями, осматривала спины охотников — отыскивая: кто?

Шла искать не мужа.

Мойры сказали свое: когда стихнут удары куретов на острове Крит, найдешь там Судьбу.

Только вот Клото — величественная, седовласая, вдруг хихикнула напоследок. Когда Метида переспросила: «Свою Судьбу?»

— Это уж как повернется, — прошелестела Лахезис, туманная и далекая. — Может, чужую. А может — и для всех.

Метида склонила голову — давая надеть через шею тяжкое ожерелье долга. Богиня разума хорошо понимала, что могут значить эти слова.

Сколько лет сыну Реи, который должен возмужать на Крите. Семнадцать? Больше?

По счету титанов — детский возраст. Возраст, в котором нужен наставник.

Наставни...ца.

Не мужа шла выбирать Метида (большая честь выйти замуж за какого-нибудь охламона, привязаться к нему, а потом он поменяет тебя на какую-нибудь пигалицу!). К замужним богиня Разума питала жалость. Временами ей хотелось родить — но вне уз брака, только для себя, только дочку — ту, с кем можно будет поделиться...

Разумная остановилась, запрокинула голову, глубоко вдохнула воздух.

Зачем сыну Крона богиня разума? Чтобы свергнуть отца.

Зачем сын Крона свергнет отца? Чтобы взять его престол.

Пойте, нимфы. Стоните, рога. Грохочите погромче в щиты, куреты. Где, как не за шумной охотой можно скрыть охоту истинную?

Охоту на будущего царя. На будущую судьбу. На будущее...

Свистнула стрела, и с ветки к ногам охотницы свесилась убитая гадина толщиной в руку. Закачалась, удивленно глядя выпученными глазами.

Свита ойкнула. Вскрикнула Метида, которую изнутри облило варом предчувствия.

— Лучник, — позвала тихо, стараясь придать голосу повелительность — Покажись же, лучник!

Лес хранил молчание. Только — показалось, что ли? — донеслось из кустов издевательское меканье.

— Ты спас богиню — так неужели не хочешь получить награду? — голос многоумной Метиды расстелился в воздухе мягкой простыней. Царской.

Из кустов хмыкнули. Задумчиво пошуршали ветками. Потом лучник легко выпрыгнул на поляну.

— Радуйся, — весело сказал, — богиня.

Чем и исторг у Разумной огорченный вздох. Потому что — ну правда же, тут ждешь судьбу для всех, а вылезает какой-то...

Правда, собой недурен, — отметила Метида, глянув искоса. Глаза — чернее ночи, скулы — острее лезвия меча, брови вразлет, черные волосы укрыли плечи. Взгляд — смелый и пытливый. Плечи прикрыты шкурой черного леопарда, в волосах листья запутались, лук в руке — такой обшарпанный, что тронуть побоишься.

Ладно, придет, причесать, подучить... может, и выйдет Судьба.

— Подойди же, о меткий, — богиня разума приосанилась, постаралась согнать с лица

строгость. — Как тебя зовут?

— Это зависит от того, кто зовет.

И улыбнулся — ускользящей, таинственной, убегающей улыбкой. Скользнул черными глазами — просветил насквозь.

— Так скажи **мне**, как звать тебя.

— Можешь — Стрелок. Можешь — Охотник. Можешь — Аид.

— Невидимый?

— Был невидимым. Сейчас вот из кустов вылез — видим. Ты видишь меня, богиня?

Я вижу судьбу, — хотела сказать богиня Разума. Промолчала.

Повернулась, махнула свите — отойдите подальше. И вы там, нимфы — хватит капать слюной, все равно вам тут ни кусочка не достанется.

Проверим, насколько ты меток, охотник-невидимка, — подумала Разумная.

— Скажи мне, о Аид... не слышал ли ты случайно о потерянном сыне Крона?

— Климен который? — тут же откликнулся спаситель. — Так кто о нем не слышал. У нас тут куреты только недавно в щиты лупить перестали — они, знаешь ли, медленно останавливаются... весь остров вот гадал — почему умолкли. Мы тут уже привыкли.

— А ты... не видел его?

— Кроненьша? Так кто ж его не видел. Говорят, он тут в обед по лесам и горам шествует. Сам — в царских одеждах, в руке — меч огромный, на голове — венец. И свита за ним. Сатиры, знаешь ли, нимфы с песнями...

— Правда? — Метида дернула углом губ — не поддаться бы смеху. Богине разума не к лицу пустые смешочки. Беззаботность, улыбочки, ужимочки — глупости для тех, у кого пусто внутри черепа. — Так опиши мне его. Красив?

— Ну... смотря на чей вкус. Рыжий весь, это да. Да и рожа вся рябая, будто по ней кони Гелиоса танцевали. А сам — величественный такой...

И сверкнул белыми зубами в задорной улыбке. Метида с трудом сдержала ответную. Нахмурилась.

— А ты, значит, из местных?

— Местнее некуда. Хожу тут, понимаешь... тропки разведываю. А, да, Амалфея! — из кустов высунулась недовольная козья морда, вперилась подозрительным взглядом желтых глаз. — И коза еще.

— Хорошо, — ответила Метида, и уголки губ предали ее — приподнялись слегка.

...и не заметила, как провалилась в черноту взгляда.

«Хорошо?»

«Ты владеешь искусством обмана, юный Климен. Скажи, кто обучил тебя этому?»

«Учиться нужно дуракам, которые ничего не видят. Ничего не знают. Тем, кто умеет видеть — достаточно пошире раскрыть глаза. Смотреть. Брать примеры».

«С кого берешь примеры ты, сын Реи?»

«С птиц, которые притворяются листьями. С трав, которые делают вид, что они неядовиты. Лучнику приходится вглядываться как следует, богиня. Вглядываться в суть. Чтобы... не промахнуться».

Взгляд его был стрелой. Острой, разящей. Бьющей без промаха.

— Значит, — сказала Метида вслух, — ты тут охотишься.

— Как эти, которые там...? — судьба в шкуре пантеры оглянулась туда, где визжали псы и перекрикивались охотники. — Что ты, о богиня. Я тут так... играю.

— А не выросл, чтобы играть?

Юноша ухмыльнулся. Потрогал пальцем гадину, в горле у которой больше не торчала стрела. Куда, интересно, делась?

— Игры, богиня, могут быть разными. Главное — знать, для чего играешь. Как и в охоте главное — не за кем охотишься, а зачем. Зачем ты охотишься, великая богиня?

— Я... — и осеклась, остановилась, споткнулась о прищур взгляда. Недетского взгляда, неюношеского.

«Зачем ты... охотишься на меня?»

«Будущим царям нужны наставники».

«А кто тебе сказал, что я буду царем? Или что я хочу им быть?»

«Но ты хочешь свергнуть своего отца. Я — богиня разума и могу научить... подсказать».

«Подсказать, как смотреть, подсказать, как стрелять, подсказать — как свергнуть отца. Чего я буду стоять, если мне все время будут подсказывать?»

Метида вдруг почувствовала себя странно юной. Дочь Океана стояла перед юнцом — сыном Реи Звездоглазой. Ёжилась под пронзительным взглядом будущего.

И ощущала себя легкомысленной девушкой, которая ничего не может дать тому, кто стоит напротив.

Ни решимости. Ни мудрости. Ни зоркости.

Ни окрылить, ни направить — дойдет сам. Может, собьет в кровь колени по пути. Но дойдет.

Улыбка — непослушная, озорная — стала шире, полезла на губы, упорная. А так хотелось красивой истории, — подумалось вдруг Метиде. О всеобщем блестящем спасителе, возмужавшем на Крите. Впитавшем в себя поучения богини Разума.

О будущем, одетом в сияющие одежды, которое позволит давать себе советы, выполнять за него работу, вести...

В таком будущем можно было бы утонуть, словно в Океане, — подумала вдруг Метида. Раствориться в нем навеки.

Так может, пусть себе непричесанное, дикое будущее бежит по лесам? Играет в игры, учится смотреть и притворяться. Да, Мойры, мудрые советницы. Я нашла Судьбу. Для всех.

Посмотрела на нее и решила оставить в покое.

— Позволь подарить тебе хотя бы оружие, — сказала она, сглотнув, — в память о нашей встрече... Литос[1].

Он смутился, кажется. Покосился в сторону свиты и проговорил тихо:

— Те, кто меня воспитал, говорили, что мужчина может подарить женщине что-нибудь в память о встрече. После ночи. Не знал, что бывает и наоборот. И у тебя пока нет причин дарить мне подарки, богиня.

Метида замерла. Посмотрела на юношеское лицо с пронзительными глазами. Подумалось вдруг: почему нет? Он поймет. Он не потребует ничего взамен.

— Ты развеселил меня — это пока никому не удавалось, — помолчала, решила. — А если мне вдруг захочется купить твою ночь? Возьмешь от меня подарок?

И засмеялась, понимая — что чувствуют сестры, которые плещутся в легких волнах дни напролет. Смешно это — когда удается зардеться судьбу для всех.

— Если вдруг стану царем — может, и возьму, — усмехнулся сын Крона, и разговор окончательно скатился в глубины Тартара. — Цари они такие... странные. Только ты учти, у меня уже есть оружие. Два оружия. Лук и стрела — подарки от бабушки. Как их на что-то

сменить?

— Бывает — оружие меняется. Когда меняется... — глянула на лук, на легкую белую стрелку, которую стрелок выхватил словно из воздуха и теперь вращал в пальцах. Осеклась, побледнела. — И давно тебя навещала... бабушка?

— Лет семь назад, — пальцы юноши бережно погладили истертый, обшарпанный металл. — С тех пор и играю.

— Играешь... — эхом отозвалась Метида, не отрываясь взглядом от лука, от серебристой стрелки. Подняла глаза, сказала тихо: — Прими от меня хотя бы знание. Оружие может быть — одно. Всегда одно — до тех пор, пока его не поменяешь.

— Но она дала мне два...

— Может быть, она тоже во что-то играла, Литос. Древние любят загадывать загадки. И играть. А может быть...

Больше она не сказала ни слова. Он тоже молчал. Задумчиво шурился на стрелку в своих пальцах, поглаживал лук — словно решал: какой подвох может заключаться в том или этом?

Стрелка и лук хранили невинность и покорно лежали в пальцах.

Метида вздохнула. Перехватила последнюю стрелу взгляда — черную, выкованную из задумчивости.

«Во что играешь ты, о Литос?» — пустила навстречу свою.

«Увидишь, — ударило в ответ. — И помни: я не буду играть вечно».

И — только в отдалении зашелестели кусты да закачалась на ветке мертвая гадина. Из других кустов неторопливо вылез обширный козий зад. Покачался и двинулся в заросли, как корабль — в бурю.

Было? Не было?

— А кто это был? — окликнула нимфа из свиты.

Метида не ответила. Перехватила копьё, двинулась вперед. Передернула плечами, пробормотала на ходу: «Так... местный один. С козой», — и удивила свиту прытью. Спешила к тому месту, где остервенело выли псы, бросаясь на выползшее из-под земли чудовище.

С шипастым хвостом, с когтистыми лапами. С полной пастью зубов, которыми тварь уже успела покалечить двух куретов и изранить почти всех собак.

Визги, всхлипы и рычание тесно переплелись в воздухе.

— Богиня! — возопила свита позади. — Ты на это охотиться будешь?!

Метида остановилась, укрылась за стволом. С усмешкой качнула головой.

Зачем охотиться, если можно смотреть?

Вот охотники. Наскакивают на подземного жильца в смешной надежде, что это он — их добыча. Вопят, размахивают копьями, подбадривают, суетятся, то за деревья отскочат, то товарищей позовут. Псы — бросаются в бездумной верности, виснут у чудовища на чешуйчатых боках, на мощных лапах, развлекаются под ударами хвоста. Зачем? Для чего? Хозяин сказал.

Вот хор нимф — истошно визжат, дают советы издалека. Мужчинам — как воевать. Нимфам виднее, рядом с ними не хлещет шипастый хвост, на них не нацелены клыки.

Вот сама подземная тварь — глаза пылают огнем. Подземные твари иногда выбираются из своих логовищ — когда услышат шум охоты. Подставляются, открываются мнимо. Охотятся на доверчивых охотников, которые думают — что главные здесь они.

Иногда у тварей получается. Вот как здесь.

Еще один сбитый с ног курет покатился по влажной траве, закрывая руками изорванный бок.

Если только...

Стрела свистнула из ниоткуда. Явилась из воздуха, белая, легкая.

Адамантовая.

Аккуратно и строго воткнулась чудовищу в горло. Напоминанием: не следует забывать о случайностях. Нелепых, бегающих по лесу... играющих.

Таящихся в невидимости, у тебя за спиной.

Богиня Разума кивнула своим мыслям.

— Это — не моя, — сказала тихо голосам Мойр, живущим в памяти. — Это — не чужая... Это — для всех.

[1] Литос — камень. Метида намекает на то, что проглотил Крон вместо первенца.

СКАЗАНИЕ 2. О ПОДАРКАХ, АРМИИ И УМЕНИИ НЕ ПРОМАХИВАТЬСЯ

Не погребет ли Крон и их всеобщей тьмой,
Как преждебывшие поэтов песнопенья?
Н. И. Гнедич

В Стигийских болотах, части чуждой мне вотчины есть особая тропа — кривая, будто спина старика, которую несколько раз перетянули палкой. Корявая, петляющая меж болотных, изъеденных болезнью ив, уходящая в туман... временами теряющаяся между кочек, которые облюбовали ядовитые змеи.

Сама ядовитее змей, которые норовят хватануть за ноги. Сделаешь шаг — и почувствуешь, как за спиной сгустится и зашевелится что-то темное. Обернешься — не увидишь пути. Крикнешь — и туман отзовется десятком твоих голосов... твоих ли?

Взглянешь в мутную, слегка прикрытую ряской воду — вода посмотрит десятком лиц. Твоих ли?

Замешкаешься на секунду — и тропа под ногами станет десятком троп. Твоих ли, путник?!

Ступай себе вперед, путник, — это единственный способ идти по своей тропе.

Идти и верить, что все-таки идешь по своей.

Иногда тянет войти туда — в чужую, Стигийскую бездню. Шагнуть вызывающе на эту самую тропу. И посмотреть в лицо чужаку — тому самому, у которого все вышло неправильно.

Спросить у него: сколько вас там на самом деле? Чужих и смутно знакомых? Сколько нитей, сколько путей, сколько жребиев, сколько...

Вот бы стать там, на тропках, взглянуть в отчасти чужие лица, вызвать на разговор непохожих двойников. Поделиться впечатлениями: а у тебя оружие какое? А жена? А жребий-то хоть какой взял? Нет, серьезно?! Ну и жизнь у тебя, нелюбимчик Судьбы. А у меня вот...

Спросить их — как у них там с хитрыми бабушками. И с голосами из-за плеч — звучат или вообще не появляются?

И прозвучала ли у них там фраза, мерная и тихая, ядовитой стрелой спущенная с едва выгнутого лука губ?

— Ты хотел меня видеть, отец.

Тартар знает, какими они бывают — воплощенные пророчества. Почему-то кажется — у них со мной ничего общего.

Козы, например, у них точно нет.

Зато наверняка есть красивые одежды, верные жены... советующие, как там нужно — свергать отцов.

Мне вот всегда было интересно — как. Я эту мысль с детства, можно сказать, мусолил. Обсасывал так и этак, по всему выходило — дрянь.

Крон, например, своему отцу серпом детородные органы отрубил. Я, конечно — спасибо бабушке! — вполне могу своему что-нибудь отстрелить, только он же не сдастся, упрямый. И война начнется все равно.

А как его остановить так, чтобы не поднялся — неясно.

Ветви леса мягко сомкнулись над головой. Укрыли тенью. Змея трепетно коснулась босой ноги — одна из многих наставниц. Простонала птица над головой — и показалось, что слышу истошный крик матери: «Не лезь!»

Она уже тогда сбежала от Крона — в последний раз, когда я ее видел. Потому что родила еще одного ребенка — а Крону то ли показались слишком невкусными валуны, то ли просто что-то начал подозревать — вот он и приставил кого-то из подручных следить за женой. Выследили. Не до меня — до других, я слышал, там две или три девчонки. Сестры. И брат... или сколько братьев?

Одного она прижимала к груди, когда пришла увидеть меня. Я слышал похныкивание младенца из пеленок и стоял столбом, глядя на нее, а она плакала. Говорила, что ей теперь придется бежать с ребенком на край света — от гнева мужа.

И запретила идти с ней. Так, мол, безопаснее. Остальных детей успели забрать ее подруги — спрятать в разных местах, скрыть от гнева Крона.

Я хорошо помню ее взгляд — потускневший и загнанный. Хриплый, срывающийся голос: «Обещай мне... обещай, что не пойдешь. Клянись, сын!» И когда я не выдержал, захлебнулся, выплеснул криком: «А кто тогда?! Кто, кроме меня?! Кто?!» — подошла, погладила по щеке дрожащими пальцами, пахнувшими молоком. Прошептала:

— Я спасала не пророчество — я спасала сына. Не чтобы ты сверг отца... понимаешь? Чтобы ты был просто...

— Понимаю, — сказал я, и первое слово лжи скользнуло с губ. Легко и осознанно — стоило вспомнить изменчивость ветра и стать ею. — Обещаю.

Внутри отдавалось другое: «Подожди совсем немного». Я придумаю, я сделаю, я...

В тот день я ушел от Адрастеи и Идеи — бесконечно заботливых нянек. От Амалфеи правда, уйти не удалось: догнала на полдороги вихрем, от всей козьей души наподдала под зад рогами: сбежать вздумал?! Да я тебе сейчас!

Игрушка-лук висел на плече, легкая стрелка пристроилась на поясе — зачем для нее колчан?

Зачем колчан тому, кто сам стал стрелой — неотступной, разящей, идущей к цели...

Хочется верить — что и не промахивающейся.

Полянка была хороша — солнечная, залитая солнцем, вызывающе невинная. Я скрестил ноги, уселся под ближайшую сосну, достал из дорожного мешка яблоки. Не такие, конечно, как у одной старушки, которая любит загадки и внуков. А так просто яблоки, по пути нарвал. Еще были лепешки — пастухи поделились за то, что не промахнулся по двум каменным волкам.

Мне это просто. Представил Крона на месте волков — и не промахнулся...

— Вот скажи мне, как у нас дела?!

Амалфея мрачно мекнула, уволокла у меня из-под локтя яблоко, сочно хрустнула и обозначила взглядом, что дела плоховаты: яблок на двоих хватит вряд ли.

— Люди Золотого века мудрецы — тут у них стоит поучиться. Только сплетники. Хочешь знать, о чем они сплетничают в селениях? Крон ищет свою жену. Ищет своих детей. Всех, кто был рожден Реей. Девочек и мальчиков. Уничтожая при этом целые селения. Запугивая кентавров, сатиров... даже титанов. И они теперь боятся, что, если не помогут своему повелителю отыскать его детей — он ударит по их детям. Говорят, даже морские старцы...

Почва под сосной — песчаная, сыпучая. На такой хорошо рисовать. Ведешь-ведешь палочкой длинную, извилистую линию... словно — острием меча, которого у нас никогда не было.

— Они все дураки, Амалфея. Жуткие дураки. Чего они ждут? Что сын Крона начнет собирать войска. Что двинет их на отца, начав войну... может быть, последнюю войну этого мира. Кто-то предсказал им это, из сыновей Япета, кажется. Тоже, видать, не семи пядей во лбу. А может, они все просто забыли. Когда Крон решил свергнуть своего отца — он не стал собирать войска. Он просто...

Амалфея звучно фыркает. Яблоки у нее в глотке пропадают — как валуны в утробе Крона. Посылает взгляд искоса — отбирать не смей!

Солдат в армии кормить следует.

Армия моя... вот она, армия: коза, кидающаяся на любой шорох с рогами наголо — за отряды копейщиков. Две рыдающие по утраченному воспитаннику нимфы — за музыкантов.

Сочтем войска, набранные мною за годы?

Леарх. Философ из Золотого Века, так и не понявший, кому рассказывает историю мира, объясняет — каковы государства у лапифов, а родственные связи — у титанов. Приблудился мальчик, жадный до знаний — почему не рассказать. Леарх там, у себя дома, кусает медового цвета ус — и не представляет, что уже в моей армии...

Куреты. Изобретатели доспехов и первого оружия. Которые только недавно перестали лупить по щитам — им бы скорости немного в мышлении.

Зато вот в бою им скорости не занимать: с копьем, с дротиками, с мечом, в кулачном бою... Я успел перепробовать все, обучиться — всему. Быстро учился, говорят. Так схватывал — учить не успевали.

Пирр — молодой, веселый, рыжий, под свое имя, везде — на голове, на груди, на руках-ногах — восхищался таким ученичком. Все шутил: мол, учится так, будто ему Крона свергать.

Я смеялся вместе со всеми.

Только когда Пирр ляпнул: тебе, мол, больше меч пойдет, бросай ты свой лук — тогда смеяться перестал.

И врезал курету по зубам так, что тот навеки запомнил: мечником мне не бывать.

Но Пирр — он необидчивый. Отошел, опять заржал. Наверняка ведь в мою армию хочет затесаться. А я и не против.

Ветры: *Борей, Нотт, Эвр...* братья-шутники, с которыми не хочешь — а научишься стремительности.

Сплетники: как тут не научиться выспрашивать, что там в мире творится? И не захотят — а разболтают, чем там занят Крон, который мечется все отчаяннее: посчитал, видать, возможный возраст старшего сына. И понял, что — скоро.

Скоро. Скоро. Скоро.

Ветры. Травы. Звери. Люди. Вот моя армия, Крон. Не видишь их там, за мной? За плечами не стоят?

Правильно не видишь, потому что они все во мне. Со мной.

Я сам для себя армия.

Ну да, и коза тут еще. Жрет яблоки за весь отряд копейщиков. Попробуешь отобрать — лютее леопарда кинется.

Лучше уж говори, невидимка.

— А еще вот доносятся слухи. Что старший сын Крона то здесь, то там, то на краях света. А папочка, понимаешь ли, начинает метаться и все больше сходит с ума...

Ата. Ате просто было не с кем играть. Богине из подземья, из мира, где обитают боги мрака. Им там, видать, тоже не особенно сладко живется. Развлечений маловато.

Вот она и хныкала — мелкая, совсем девчонка с виду, Обман, рожденный на беду этому миру. Впервые поднявшийся в средний мир и понявший, что ему тут совсем не рады.

— Здесь... не хотят со мной играть, — просится в память пухлое личико с дрожащими губками. — Говорят — зачем обманывать, зачем лгать... Говорят — со мной невесело. Почему ты улыбаешься, мальчик?!

— Потому что с тобой весело, — сказал ей тогда я. — Рея обманула Крона и не дала своих детей на съедение. Что было бы, если бы ты не родилась тогда?

И когда слезы девчонки высохли, а глаза засветились бирюзой — прибавил небрежно:

— Хочешь — поиграем?

Теперь вот Крон мечется по свету — а то слухи... сплетни... кто его знает, где этот проклятый Климен на самом деле. Ата даже говорила — отец все больше играет с ее сестрой.

С Лиссой-безумием.

«Скоро. Скоро. Скоро», — выстукивает сердце.

Я поглаживаю ладонью еще две части своей армии. Важные части.

Оружие.

Лук и стрелу.

Или только...?

Во что ты хотела сыграть со мной, бабушка? В «попробуй, научись?» или в «попробуй, разберись?» На догадливость меня проверяла или на что другое?

— *Маленький Кронид... хочешь — я расскажу тебе сказку? О мальчике, перед которым его отец разложил разное оружие. Меч, копье, дротик, секиру ... О мальчике, которому дали возможность — выбрать себе одно оружие из нескольких?*

То, с чем сумеет совладать. Сумеет рассмотреть. То, что ближе ему.

Одно из... двух.

Знать не знаю, как там они выглядят — воплощенные пророчества. Может, у них постоянно голоса из-за плеч раздаются. Женские голоса, чем-то похожие на голос той, которая бабушка.

Мягкие, вкрадчивые, тихие.

Со мной вот бывает, правда, чаще — во сне. То есть, на границе между сном и пробуждением. Неудобно — аж спросить некого: к ним такое является?!

Я, правда, никогда не отвечаю. Я, например, слышал сказочки про подземных тварей, которые появляются на порогах людских домов. Шепчут, зазывают, манят. Ответишь им раз — всю кровушку высосут. Так что спасибо, я так послушаю.

Если, конечно, вдруг полезное чего скажет.

Легкая, светлая стрелка из адамантия. Которая выплавлена Геей из себя. Старый, обшарпанный лук. Скованный сыновьями Геи, Циклопами. В подарок отцу.

Лук — в подарок небу...

Бабушка, играла ли ты с Атой? Или ты решила поиграть со мной — в первый раз?

— *У тебя нет лука со стрелами,* — шепчет, шелестит невидимый голос. — *У тебя есть лук. И стрела. И выбор. Решай скорее, маленький Кронид... Оружие может быть одно.*

Только одно...

Раньше она — та, что за плечами — никогда не торопила.

Значит, уже скоро. Значит, уже почти что сейчас.

* * *

Песок шуршал под ногами, кольцами оббивался вокруг щиколоток — жаркий, полуденный. Шипел: «Не пущу!» — в сандалии забивался и колот пятки. Наивное препятствие — ненадежная стража от нахального юнца, решившего понаблюдать — пошпионить.

Песок я преодолел легким рывком, а потом распластался, припал животом к горячей груди холма. Посмотреть было на что.

Нереиды плескались в укромной бухточке. Подбрасывали ракушки, сплетали венки из водорослей. Водили хороводы, пели протяжные песни, струя по ветру длинные волосы — черные, с зеленью, с золотом, с серебром...

Тянули руки из воды — манили потаенным. Окунались в сияние волн, в блики солнца. Махали Гелиосу, приветствовали невидимых соглядатаев, вроде меня: «К нам, к нам, к нам!» — Радуйся, милый.

Левка все-таки заметила — откуда я обычно подкрадываюсь, посмотреть на красоты ее сестер. Оказывается, она тоже подкрадывается неплохо.

Она и смеется тоже неплохо. И танцует, и манит за собой, к уютной лагуне с прозрачной водой. Рассыпает мелкие, серебристые бусинки смеха, бросается расчёсывать мне волосы, шепчет — как рада меня видеть, и веночек с белыми цветами расплзается по ее плечам, когда я тяну ее к себе.

Только вот танец сегодня — слишком ломанный, ее пальцы в моих волосах — дрожат, из улыбки какая-то сволочь радость выпила.

За два года, что прошли с нашего знакомства — тогда она как раз танцевала на берегу, только в одиночестве — я не видел ее такой ни разу.

«Вот всё и началось», — вздыхает необозримое, золотящееся под солнцем море.

— Ты плакала?

— Да, милый, — улыбнулась, благодаря за заботу. — Гипнос, насылающий сны, бывает слишком жесток. Я видела сегодня во сне бурю. Гибнущую птицу между бешенством воды и бешенством неба. Птица металась... пыталась избежать своей судьбы... но судьба все равно настигла. Она, наверное, неотвратима, судьба.

Я пожал плечами. Хотелось бы надеяться, что Крон-то от своей не уйдет. От меня.

— И я подумала... подумала: на что некоторые готовы, чтобы избежать судьбы? Готовы жертвовать всем вокруг себя. Истреблять все вокруг себя... может быть, если бы они не пытались сбежать от нее — Ананка была бы к ним милосердна?

Пальцы ее перебирали мои волосы, мешая — жесткие черные пряди с текущими серебристыми...

Теперь они все боятся, что, если не помогут Крону — он ударит по их детям. Даже морские старцы. Даже мудрый Нерей, который ни разу не видел меня — но зато видел дочь, а титан-старец ведь читает по глазам.

«Попроси у него подарок, — сказал вещий старец, кусая губы — ему тоже не нравилось предавать. — Попроси у мальчика-лучника... того, который зовет себя невидимкой... попроси у него один выстрел. Один его выстрел».

— Хочешь — я подарю тебе что-нибудь, Левка? — спросил я тихо. — У бедного лучника ничего особенно нет. Но хочешь — я подарю тебе один свой выстрел?

Левка тихо заплакала, уткнувшись в свои волосы, занавесившись серебром, будто причудливое дерево, укутавшееся листвой.

Мы никогда не говорили с ней о том — кто я такой. Я не называл ей того, другого, отравленного предназначением имени.

Но дочь вещего старца тоже умеет читать по глазам.

«Он убьет нас, — шепнула она взглядом, и прибором зашептал за ней — так же испуганно и глухо. — Он явился к отцу и сказал, что будет убивать по одной моей сестре — в день, если мы не поможем ему. Если не найдем, если не... сделаем что-нибудь для того, чтобы он победил. Что будет швырять нас в пустыни, в Тартар, в вулканы... что отцу придется видеть это. Он говорил так всем».

— Хорошо, — сказал я, и Левка дрогнула, взглянув на меня — отчаянной бирюзой.

Хорошо. Отец доигрался с Лиссой-безумием. И заигрался со страхом. Скоро даже сами титаны не захотят воевать с тем, кто его свергнет.

— Хорошо?!

«Он уже забрал Главку и Кимо...»

В грот, где мы сидели, глядя на ласковую воду, долетали песни nereid — протяжные. Жалобные, прощальные.

«И тогда твой отец рассказал ему о своих догадках, — отозвался я, тоже глазами. — О своих вещих догадках. Обо мне. О лучнике-невидимке».

Дзынькнула, оборвалась тетива внутри. Затопила волна облегчения — наконец-то.

Странно, что Крон еще не навалился на Крит со своими подручными.

— *Это потому, что он боится пророчества...* — шепнул за спиной тот самый, непонятно чей голос.

Ну да. Боится, что встретится со мной лицом к лицу в бою — а пророчество возьми да и сбудься. Так что надо бы соломки подстелить.

«Здесь соглядатаи, — она прижималась ко мне и запрокидывала подбородок, чтобы разговор был — взглядами. В глазах — плескалось бирюзой отчаяние. — В округе его соглядатаи. И он позовет тебя к Олимпу. А я должна...»

Я знал, что она должна. И знал, чего она не может. Предательство для чистой nereidy — яд.

А я, наверное, должен сейчас от судьбы бегать...

— Наши встречи были хороши, — сказал я, целуя ее. — И я дарю тебе свой выстрел. Один свой выстрел. Делай с ним что хочешь.

Вложил в ее пальцы легкую стрелку из адамантия. Слегка сжал — она сопротивлялась, так что мне пришлось приложить усилие. Улыбнулся тревоге — бескрайней и глубокой, плещущейся в ее глазах.

«Безумец...» — шептали глаза.

— *Безумец...* — простонал голос из-за плеч. — *Ты идёшь в ловушку!*

— Да, — согласился я весело и встал. — Иду.

Ушел, не прощаясь — кивнув Левке напоследок. Не обещая вернуться — потому что кто там знает, куда ухажу. Мойры, которые на Олимпе плетут свои нити — они, наверное, знают.

А может, и нет.

В ловушку меня пригласили, когда я задумчиво рассматривал два своих оружия на морском берегу. Крутил их в пальцах, сравнивал. Шептал под нос фразы из памятного разговора: «Стрелы тебе не нужны...», «У тебя — стрела...»

И одна из фраз начинала казаться тусклой, лживой.

А божка этого я даже сразу не заметил. Тем более что он наткнулся на мой отряд копейщиков. Только когда божок с ругательным воплем в третий раз пробежал мимо меня, преследуемый злорадно мекающей козой, — поднял взгляд.

И сказал «Радуйся».

— Рогом тебе в зад за такое «хайре»! — прозвучало мимо меня, когда божок пробежал по песку в четвертый раз.

Круглый такой, мордатый. Когда я отозвал козу, он только носом фыркнул, и плюхнулся на берег. Смерил полным ненависти взглядом Амалфею. Вытер пот с лысины.

— Радуйся, как же. Коли не подавишься вестями.

Вытащил из-за пазухи что-то жареное, впился зубами. Кажется, даже — в козью ногу. Амалфея уставилась на пузатого мрачным взором, который обещал визитеру скорую гибель.

Вот как только хозяин отвернется, да.

— Вестями?

— Вестями, ага. Тебя тут Крон зовет. Присоединиться к мамаше и братикам и сестрами, значит.

Стукнуло там, внутри. Раз, другой, потом разошлось, неумное...

— Он их нашел.

Хмурый лысый божок, пожиривший жаркое на песке, пожал плечами.

— А что ж не найти. Кого люди выдали... кого нимфы. Страшно, понимаешь, если твою семью грозятся в Тартар запихать. Так это... он тебе тут передавал кое-что.

Голос Крона был нестрашным. Не грозным. Заглушался чавканьем.

Может быть, отец на такое и рассчитывал.

— Говорит — если явишься, то сестер отпустит. А не явишься — ну, тогда пережрет всех до единого. Там уже, к слову, костер зажгли, овощи приготовили...

И на лук мой косится. Мол, ага, ага, давай, стреляй.

Наверняка ведь его сюда в наказание какое-нибудь прислали.

— Что бы сделал ты?

— Чего?!

Оторвался от жаркого, уставился на меня прищуренными глазками. Даже жир с губ вытер.

— Что бы сделал ты? На моем месте?

Божок хмыкнул. Пожал плечами.

— А не пошел бы. Тут, конечно, к вечеру весь остров сплющат — и великаны, и титаны, и чудовища. Но сбежать-то, наверное, можно.

— Хорошо, — сказал я. — Передай ему это.

— Что передать?

В ответ я посмотрел на Амалфею: мне прискучил разговор.

Очень скоро божок покинул берег бегом, невнятно ругая «проклятое отродье» — непонятно, то ли козу, то ли меня.

Я встал. Отряхнул песок с бедер, со шкуры черного леопарда, по которому однажды не промахнулся...

Интересно — что чувствует стрела, которая так долго летела к цели, а теперь — вот-вот и поразит ее?

Наверное, одно. Стремление попасть.

— Ты все-таки идешь? — шепнул голос из-за плеч. — *Напрямик, в ловушку? Зная, что может быть... там?*

— Да, — ответил я впервые. — Я иду. Иду на Олимп.

— *Но почему?! Почему — так?*

— Потому что Крон не знает, для кого это ловушка. Потому что я понял. Потому что я долго учился не промахиваться...

Песок запел свою сухую, тихую песнь под ногами.

— Потому что это ты, Ананка моя.

* * *

На площадке перед Олимпом было глухо. Горели костры — на них готовились блюда, которых никто не касался. Благоухали сосуды с медовым вином — к которым никто не притрагивался.

Титаны прятали глаза. Светлоусому Япету еще приходилось унимать сынка — голубоглазого Прометея. Предвидящий хватался за голову, шептал: «Как мы можем позволить такое!»

— Цыц, — с сердцем выдал вещий Япет. — Не тебе о путях Ананки судить.

И спрятал глаза, как все — чтобы не смотреть туда, в центр площадки.

Три девочки, уже входящие в возраст девушки. Двое мальчишек — старший пытается рассказать младшему какую-то историю про лошадей. И мать — с пустым, отрешенным лицом, в разорванных одеждах. Глаза-звезды потускнели, лицо — в царапинах, и тихая песня — безумная — слетает с губ.

Мужа с пира жена зовет:

Заплутал среди хмельных друзей.

Плачут дети, угас очаг —

Возвращайся, хозяин, в дом...

Мать не видит детей. Не видит дочерей: рыжая худышка Гестия обнимает высокую, светловолосую Деметру. Младшая, Гера, гладит материнскую руку, шепчет: «Мама, не надо опять эту песню, давай я лучше другую...»

Не видит сыновей. Зевс сжимает зубы, цедит, что вот, ему бы только вырасти, а он бы этого гада, он бы... Посейдон кивает и подтверждает: еще как, да. Вместе.

Мать не мать — она жена, зовущая мужа с пира.

Муж с пира возвращаться не собирается. Муж собирается на пир.

Крон Криводушный, сын Урана, Повелитель Времени, расхаживает по площадке. Спокойный, довольный. Бросается распоряжениями: тут нужно бы топлива в костры подкинуть, а тут — еще баранов прирезать. Обещаниями тоже бросается: ничего, мол, братья и сестры. С кем не бывает. Вот кончится сегодня все и заживем, заживем!!

А титаны и титаниды прячут глаза, будто не Крон перед ними — безумный Уран, свергавший детей в пасть Тартара.

Будь их воля — они заткнули бы еще и уши. Чтобы не слышать отрывистых фраз, которые вырываются изо рта предводителя.

— Думала убрать меня... ха! Да я ее саму... свиток ее... в пепел... А ты ее послушала — на кой?! Обманула тебя, она и меня так же, с этим пророчеством. Ну ничего, я знаю... у меня

теперь есть, чем... вот только это кончится...

А это всё не кончается.

И ожидание становится вязким, и у Крона заостряются скулы, и Повелитель Времени гневно вскрикивая, подгоняет мгновения, как непослушных овец: когда же, когда же... скоро?! Какое там скоро!

Вглядывается в лица с опущенными глазами. Где — этот, который воплощенное пророчество?!

Где тот самый сын Времени? Где — Климен?

...нет его.

Пророчество коварно. Оно прилетает из ниоткуда, из невидимости.

Вдруг.

Мелькнуло в воздухе мгновение. Ужалило. Пропало, подмигнув искристым бликом.

Крон, вскрикнув, схватился за плечо. Сквозь пальцы брызнул ихор — солнечными лучами полыхнул в воздухе, рассыпался потерянными для времени минутами.

— Что это, мама? — прошептала Гестия, оглядываясь.

— Что это? — выдохнул, хмурясь, Зевс.

— Что... — далеким эхом простионали титаны.

Вторая стрела мелькнула в воздухе рыбкой. Или нет, не вторая. Та самая стрела, только прилетевшая во второй раз.

Опять из ниоткуда.

Высвистела в воздухе насмешливую песню, с беспощадной меткостью воткнулась в бедро Времени.

Время рыкнуло, зашипело сквозь зубы, нетерпеливо огляделось по сторонам, растрепывая волосы по ветру.

Время поймало третью стрелку — легкую, полную веселой злости — под лопатку — и нырнуло вперед, ловя скрюченными пальцами воздух.

— Кто? Кто посмел?! — вопль копьём вонзился в невинное вечеряющее небо. — Кто посмел?!

— ...ты хотел меня видеть, отец.

* * *

Я не прятался — ступал медленно и твердо, глядя ему в лицо. Нецарский сын, пастушок, выращенный на Крите нимфами. Перепоясанный шкурой черного леопарда. Со старым луком в руке. Босиком — мне просто привычнее так, когда ступни чувствуют крепкие кости матери-Земли, которая за что-то на тебя, отец, сердится.

Амалфея шла рядом и выступала куда более царственно. В бороде у нее застыл цветок ромашки, взгляд полыхал угрозой, а рога она несла с таким достоинством — куда там моему истертому луку.

Куда там белой стрелке, для которой не нужно колчана.

Смешное, наверное, и нелепое зрелище: пастух-лучник вместо героя из пророчества. Мне бы, может, жениться на Метиде, взять у нее приличную одежду, заявиться к тебе с хитроумным планом... глядишь, в песни вошел бы.

А так — братья смотрят пораженно: это еще что? Спаситель наш, что ли?! Сестры аж глаза прикрыли, только одна, рыжая, впивается взглядом. Мать напевает песню, улыбаясь отвлеченной улыбкой — будто нет меня.

Титаны, наверное, смеются про себя, только вслух почему-то забывают. Расступаются, будто за мной по пятам не коза, а эта самая... которая из-за плеч. Которая врала, что ось мира вращает.

— Вот какой, значит, — улыбка у него — кривая. Лезет на лицо убийственным серпом. Наверное, как тот, который ему Мать-Гея выплавил.

Я не умею так улыбаться — а значит, мы непохожи с ним, пусть у него тоже острые скулы, и глаза черные, и волосы, нетронутые сединой, ползут на плечи.

— Что, воин, — весело спросил Крон и показал белые зубы. — С луком на безоружного а?

Я не ответил и поднял лук, на ходу ловя пальцами белую легкую стрелку-молнию.

«Со стрелами на безоружного? Да?» — издеваясь надо мной, спрашивали его глаза.

«Пока что три стрелы, — метнул я ответный взгляд. — Три стрелы за пятерых твоих детей, Повелитель Времени».

Тебе не кажется, что счет неровный?

И четвертая и пятая рванулись с пальцев — одна за другой. Молниями — потому что они и были молниями, холодными, белыми, пронзающими время... и истаивающими в нем, нанося глупые, болезненные, раздражающие раны.

Время не так просто ранить. Даже адамантом.

Я понял это, когда натянул лук в шестой раз — за себя. И стрела, белая и легкая, затрепетала в пальцах у смеющегося Крона.

— Чем это ты так? — небрежно бросил Повелитель Времени. — Ах да, я такой в детстве игрался. Циклопы в дар отцу ковали. На пробу.

Стрелка вращалась в пальцах под его смех. Белая, легкая. Дарящая обманчивое могущество.

Выкованная Циклопами игрушка. Годная разве что на то, чтобы промахиваться. Попадать по леопарду, по змее, по отцу. И — промахиваться. Потому что это не орудие нападения. Мести. Убийства.

Потому что это вообще не оружие.

Оружие может быть одно. Которое я уже выбрал. До того, как шагнуть к Олимпу.

Стрела, к которой не нужен лук, легким перышком вращалась в пальцах отца.

— У тебя больше нет выстрела, — сказал он злорадно. — Кажется, ты его подарил.

Ты знала об этом, бабушка-Гея, когда дарила мне это? Знала, что он постарается забрать у меня оружие — потому и дала два?

Выбор из двух.

Пальцы стиснули теплый, старый металл, вышедший из плодоносных недр матери-Земли.

Лук, к которому не нужно дарить стрелу.

— У меня есть еще выстрел, отец, — прошептал я, глядя ему в лицо. — Я не выстрелил за мать.

И резко потянул назад тетиву, свивая из воздуха свою настоящую стрелу — сковывая из серебристого ихора, блестящего на щеке матери, и ее тихой, безумной песни, и плача золотоволосой сестренки, и страха в глазах братьев, и беспокойных, проклятых лет на острове Крит. Вытаскивая из воздуха, выплетая из горечи и ненависти.

Черное острие легло на тетиву пророчеством. Нацелилось безошибочно — оперенное шепотом Урана-Неба над головой: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

И он услышал это, потому что перестал улыбаться, потому что оскалил зубы, мотнул головой, чтобы не слышать — и стиснул пальцы, словно сжимая рукоять, древнюю, страшную...

Рукоять выщербленного серпа-улыбки, ухмыляющегося чистой пустотой. Но, как известно, страшнее — не всегда лучше.

И не всегда быстрее.

Время замерло. Оскалилось отчаянной ухмылкой: промахнешься!

«Не промахнусь», — шевельнулись губы, и черное пророчество ушло в лёт — стрела, густо смазанная предназначением и моей яростью.

Такими стрелами не промахиваются.

Крон охнул и нелепо булькнул пропоротым горлом, в котором торчала черная стрела.

Оперенная страшным пророчеством.

Крон разжал пальцы — и из них пропала возникшая было из воздуха рукоять. Страшная, древняя...

Только немного *менее* древняя, чем мой лук.

И серп, который не успел призвать хозяин, помедлив, канул в воздух.

Признал, что для улыбок сейчас не место.

Потом с неба подстреленной птицей упала тишина. Распластала крылья, укрывая площадку перед царственной горой. Замела все вокруг пушистыми перьями — клочками молчания.

А там, в небе, с которого слетела тишина, Наверное, раздавалось немое мстительное хихиканье — и гремело без слов: «Помнишь, сынок? Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Титаны стояли, вслушивались в это хихиканье — неслышное, а вот каким-то чудом — скрипучее и злорадное. Стояли толпой вокруг площадки. Всмотривались в павшее Время.

Поднимется?! Нет?!

Нет. Это знал я. Знал теплый, страшный металл, что был выплавлен в недрах Геи-Земли еще до серпа.

После таких стрел не поднимаются.

Может, потом, через века... если ему позволят.

Только вот кто ему позволит?!

Мать поняла первой, потому что подползла на коленях к телу Крона — он лежал, разбросав черные волосы, и борода не давала увидеть рану в горле. Подползла — и завывла — тихо, безумно и страшно.

Сестры и братья молчали.

Титаны тоже — вытягивали шеи, будто надеялись: может, все-таки встанет?!

— М-м-ме-е-е-е-е!!

Вот тогда они очнулись. Когда узрели козу, бестрепетно бодающую ногу их предводителя. С самым зловредным видом бодающую — мол, накося-выкуси, Повелитель Времени!

И вообще, сейчас я еще и край твоего хитона сжую.

— Хватай мальчишку! — полетело из толпы хриплое, отрывистое.

И толпа ожила, забурилась, замахала руками, дубины какие-то подниматься стали... крики полетели.

О щенках-выскачках, проклятых пророчествах, козе, порожденной Ехидной.

Еще о много чем — я не особенно слушал.

Смотрел на мать, воющую и рвущую волосы над телом отца.

На прильнувших друг к другу младших.

Внутри было пусто.

Болталась, гуляла неприкаянная мысль: неужели поэтому она просила меня не вмешиваться, неужели поэтому...

Опомнился, только когда брошенный кем-то камень проехался мне по виску. Хорошо проехался — ссадина была бы на полголовы, если бы не вскользь. Тогда встрепенулся, сжал губы — и резко потянул назад тетиву своего оружия, свивая новую стрелу — из горечи в груди и разочарования, и смеха старика-Урана над головой, и мягко капающего на землю ихора Времени.

Эй, титаны! Не хотите ли угоститься пророчеством с тетивы? Вам, может, и не прорицали ничего вроде «вас свергнет сын» — так я могу и без прорицаний. Так, попросту — стрелой, кто первый на очереди?

— Стойте!

Голос какого-то высокого, светлоусого, перекрыл общий гам, в котором уже явственно слышалось: «Разорвать на части и в Тартар!» Вещий Япет, если я верно понял рассказы братьев-ветров. Отец кучи таких же вещей сыновей. Еще, говорят, мастер медовуху делать. И яблочную бражку.

— У него отцовский лук!

И обшарпанный старый металл, которому не нужны стрелы, мягко вздохнул под пальцами. Вспоминал: вот прежний хозяин... которому выковала меня его жена и сестра. Он нечасто брал в руки: ему было незачем, да и дети-Циклопы выковали стрелу, для которой не нужно тетивы.

И та, которая выковала, однажды тайно отнесла другому — сыну... А тот отказался. Отвернулся, бросив презрительное: «Мне нужно что-то получше!» И та — она выплавилла что-то получше, а лук оставила лежать и дожидаться часа.

И поклялась, что никому не скажет правды о его происхождении и сути.

Если только настоящий хозяин лука не поймёт ее сам.

Не разгадает могущество. Не выберет в трудный час.

...титаны молчали. Впивались глазами — особенно этот, у которого их сотня, Аргус, что ли.

Ждали.

— Я не хочу воевать, — сказал я, опуская лук, отпуская стрелу. — Крон преследовал мою мать. Преследовал моих братьев и сестер. Хотел проглотить меня. Что вы сделали бы — если бы он поступил так с вашими семьями?

Что ж вы там потупились, глаза опустили? Вспомнили, небось — что он как раз и обещал так поступить с вашими семьями? А с некоторыми — уже и начал поступать? И вы так и не решились и так и не собрались?

— С вами у меня нет вражды. Нет причин воевать, пока вы не тронете меня или мою семью.

Из толпы прилетел глумливый смешок. Как его, этого грузного, морда наглая... Менетий или Титий?

— Ты хоть нам-то не ври, сын Крона! Стоишь тут с Урановым луком... трон пришел занимать — и «нет причин, нет причин»...

— Трон, — сказал я, — да на кой мне?! Ищите, кто займет. Решайте.

Повернулся спиной к пораженному гулу там, в толпе титанов. Пошел к братьям и сестрам — знакомиться.

Стараясь заглушить вредный, непоправимо едкий шепоток за плечами.

«Радуйся, маленький Кронид. Только что ты начал войну».

МОНОДИЯ. ГЕКАТА

— Скажи мне, о каком пути ты хочешь узнать, о Прополос [1]?

Прополос — указывающая пути. И значит — лучше других эти пути знающая.

Бесстрашно, бесстрастно ходящая по тайным тропам, безошибочно выбирая нужную. Чтобы указать.

Но путей десятки, сотни, тысячи, они ветвятся, переплетаются и бегут, и свиваются в бесконечное полотно, над которым рассеянно щелкают ножницы Атропос — и даже самые мудрые не всегда знают, по какой тропе шагнуть.

Тропы темны.

Какой путь ты хотела бы озарить своим факелом, о Дадофора [2]?

В колдовском огне проступают разные знаки. Сколько ни взглядывайся — увидишь новое. Отшвырнешь три тысячи разных толкований, и потом все равно гляди — ошибёшься, потому что Ананка прихотлива.

Любит играть с огнём.

Ананка не даёт ответов — что делать. Уничтожить или спасти, Сотеира [3]?! — Какую истину хочешь увидеть, о Прополос? — шепчут ярко-алые губы под вуалями там, в зеркалах.

Зелья многообразны, как пути, как знаки в огне, как змеи по весне и лунные травы, поднимающие голову ночью. Одурмят врагов, приворожат возлюбленного. Покажут неясное, зыбкое, трепетливое будущее...

Беснующиеся рати, царь на золотом троне — черные волосы, черные глаза, холодный взгляд, и черные перья на серых камнях, и переломленный факел в водах Стикса.

Светлый зал, и льстивые улыбки, и царь на золотом троне — черные волосы, черные глаза, усталый взгляд, и юнец с луком, и тень пророчества за спиной.

Алые губы под вуалью кривятся печально. Не хотят произносить ответ.

«Нет, не что будет. То, что могло бы быть. Что должно было быть...»

Что вернее?

И почему это видится мне в дымах предсказаний — не предсказанное никем. Отчего приходит в знаках огня — никем не прорицаемое?

Словно полустертое, забытое сновидение, отсеченная нить, ускользающая между пальцами — размытое лицо, черный пёс, встающий за чьими-то плечами и упорный, лезущий на губы, немислимый шепот.

— Повелевай, Владыка.

Мир извивался, трясся, рычал, скалил клыки в безумном бешенстве. Казалось — захлебнется в истошном яростном визге, начнет раздирать собственную плоть — дикий пёс, которого вот-вот сдавит безжалостная рука, напаялит ошейник, потащит... Куда потащит — мир не знал, но хрипел и рвался назад, на свободу, в пене, в ужасе — дрожь волнами пробегала по Стигийским болотам, сотрясала ивы Коцита, заставляла подпрыгивать валуны на Темных Облациях.

Тени стенали и табунами носились по полям асфоделя — не желали утешения, желали им самим неизвестного, неясного... Тени обезумели три дня назад, когда к отцу доставили сосуд Мойр, а он пренебрег им — и с тех пор мир словно выпил из чаши неразбавленного Хаоса. Прошли три дня, и на мир пало ярмо правления — а тени всё не желали

успокаиваться. Тревожились, желали судов.

Новоявленному царю было не до судов. После возвращения из дворца Эреба Перс почти всё время проводил в своем дворце. Осваивался с приобретенной властью — те, кто хотел свергнуть нового царя, отступили, как только он вышел из обители Звездоглазой Нюкты. Словно незримая сила дёрнула за поводок.

Бунтовщики ушли — остался воюющий, не желающий смиряться мир. В бессильной ярости пытающийся хватануть руку, сжимающую его загривок.

И осталась — она, ждущая на перекрестке, неподалёку от зева Тартара, глядящая в мирно журчащие воды Амелета.

Кровавые губы чуть шевельнулись, и два призрачных тела склонили головы, когда она обернулась и сделала шаг навстречу.

— Ты звала, — сказал он тяжело и хрипло.

Звуки не хотели рваться наружу, лезли — сиплые, сдавленные. Искореженный, передавленный серебряный рог. Раньше Перс умел петь — и за это его полюбила титанида Астория, которая любила только звезды да полеты.

Только вот песни кончились. Отравлены, задавлены ядом, который проник сквозь кожу, хлынул в горло, глядит мраком из глаз. Отец, зачем ты поддался, — хочется спросить Гекате, но нельзя портить игру и выдавать себя.

И тот, который стоит напротив — ей не отец. Тело.

— Звала, — сказала она ровно. — Я долго искала — что может дать власть над миром. Над его волей. То, что сделает тебя Владыкой. Отец.

Он молчал и глядел настороженно — что хотел рассмотреть там, за туманной вуалью? Ее глаза были спокойны — все, и призрачные тоже.

Она смотрела на него — и слышала во взгляде отзвуки недодавленной, недодушенной боли Перса, сына Крии, и улыбалась — юная, таинственная, наполненная любовью к отцу.

Ядовитой, как кинжал в складках ее одеяния.

— Почему меня? — прохрипел он настороженно.

Она пожала плечами, и призрачные тела качнулись, всплеснули руками — кто знает?

— Потому что это сказал мне огонь. Потому что другие неспособны усмирить его. Потому что ты мой отец. Ты смог усмирить бунт...

Бунт вольного мира — отчаянный и краткий, потухший в тот же миг, когда вольный мир понял, кто в обличье Перса шагнул из дома Звездоглазой Нюкты.

Создатель.

— ...кому как не тебе узнать потаенное? Подойди. Мир нужно примирить с тобой обрядом именно тут, на перекрестке. Грань, где течет река Крона и бытие сталкивается с небытием.

Он поверил и шагнул вперед, когда увидел, как она возносит в руках сосуд с жертвенной кровью. Когда у ее ног по легкому мановению руки возник жертвенный треножник и клетка с трепыхающимися черными голубями.

И серебрящаяся чаша, наполненная живым, фиолетовым пламенем.

Шагнул ближе, встал на краю Амелета — швырнул вызов подземному миру, отчаянно пытающемуся сбросить чужака. Изломал губы в победоносной усмешке: ты проиграл, мир. Вот она — моя-не-моя дочь, поддавшаяся обману и знающая, как накинуть на тебя петлю. Встречай своего Владыку.

Геката улыбнулась навстречу — мгновенно и остро. Подумала: ты все же немного

неуклюж, не-мой отец. Наверное, еще не освоился с захваченным телом.

Сейчас мы проверим это. И мое мастерство тоже.

Я не знала, куда можно применить этот яд — теперь знаю.

Кинжал порхнул в воздухе — нежнее былинки, легче бабочки, собирающей нектар с цветов на поверхности. Игриво клюнул титана Перса в шею — тот замер и с недоумением потрогал место укола.

Наверное, немного зудело — и всё.

— Яд? — спросил, почти по-доброму усмехаясь.

Черной, эребской улыбкой.

— Не совсем, о Первейший, — ответила она тихо и ровно. — Просто тебе теперь очень хочется пить.

Неодолимая, невыносимая, иссушающая жажда, сваренная в котле из песка пустыни, и корней ядовитых трав, и слюны богини голода, и яда стигийских чудовищ, которые приползают ко дворцу молодой богини просто так — поболтать.

— Ты... — он хватанул себя за горло, словно пытаясь удержать. Вцепился скрюченными пальцами в грудь, раздирая плоть. Но Амелет был сильнее — Кронова речка, подарок Повелителя Времени подземному миру, вкрадчиво напоминала о себе, невинное бульканье разрослось в настойчивую музыку: тебе почему-то очень хочется пить, пить, пить, пить... так приди и выпей!

То, что было внутри — черное, многолапое, хищное и древнее — противилось отчаянно — но тело с недодавленной, недодушенной волей победило — рванулось к ледяным водам, жадно припало губами.

Геката смотрела, как тело ее отца захлебывается ледяным ядом Амелета напополам с проклятиями. Как пытается отойти от воды — и невыносимая жажда тащит назад.

Дрожь появилась в руках тела, подламывались колени, в кудрявых черных волосах осторожной паутиной замелькала седина. Тело тряслось и булькало, все уголяло неистовую жажду.

Между глотками почти не слышно было шепота.

— ...на что рассчитывала? Титаны бессмертны. Воды Амелета... надолго не удержат...

Тогда она подошла. Юная богиня перекрестков, скрывающаяся за вуалями. Никто по сравнению с великим древним, который бился сейчас, пойманный в сети из тела ее отца.

— Ты мудр, о Первейший, — сказала тихо. — А я лишь слабая, глупая женщина. Это не удержит.

И увидела, как вздрогнули пальцы тела, когда так близко, в нескольких шагах распахнулась вечно голодная, зовущая пасть Тартара.

— Сколько нужно силы, чтобы пихнуть в спину?

Ей не пришлось толкать: Тартар тянул и звал сам, и ослабленное тело не смогло противиться голоду, потащилось по камням, цепляясь за них пальцами... медленно, потом быстрее.

И он проклинал ее на два голоса, когда проваливался. Когда его тянуло за собой жадное, всё вбирающее в себя небытие, когда чернота из глаз силилась — и не могла разорвать ставшую ловушкой оболочку-тело...

— У этого мира не было и не будет хозяев, Великий Эреб, — сказала Геката тихо и ласково на прощание.

Потом постояла над Тартарской пастью, глядя в темноту, откуда доносились стоны.

Правое тело тянуло, хотело оглянуться туда, где искрился таинственный и звездный дворец Ньюкты.

Будь спокойна, великая Ньюкта. Твой муж нескоро вернется из Тартара, а когда вернется — тела у него не будет. И он снова заснёт — хотелось бы, чтобы надолго, а если нет...

Если нет, в вольном мире есть я.

Освобождённый мир ласково ворчал в уши. Казалось, дай только волю — оближет тысячью пламенных языков — в знак благодарности.

Безумие теней прекратилось, и заговорщики вернулись в свои дома — не нужно больше ждать страшной участи.

Мнемозина пришла не сразу.

Геката ждала — явится Стикс. Прямая, словно копье и холодная, как воды ее реки. Шагнет в комнату, скажет: «У всего мира с языка не сходит, как ты отравила отца». А потом случайно, небрежно обронит что-нибудь мудрое — если внимательно слушать Стикс, то обязательно можно услышать что-нибудь мудрое.

Но пришла Мнемозина. Всеведущая шмыгнула в комнату серой мышкой, с опаской покосилась на котлы и травы, отказалась от вина и фруктов (подземные уже считали, что брать что-нибудь в рот во дворце Гекаты — себе дороже). Комкала и разглаживала в пальцах кусочек воска — Мнемозина вечно носится с этими своими восковыми табличками...

Интересно, подумала Геката — что она туда записывает обо мне?

— Хорошо, — прошелестела Мнемозина. — Поверили все. Даже Ньюкта.

Переспрашивать ее или подозревать во лжи не приходилось — Всеведущая не лгала.

Хотя ходили слухи, что она и не была так уж всеведуща.

— Перс, сын Крия, взошел на престол подземного мира, — тягуче сказало левое тело. — Геката, дочь Перса, отравила своего отца и свергла в Тартар. Зачем?

— Затем, что была среди заговорщиков, которые не хотели, чтобы он правил, — отозвалась Мнемозина торопливо. — Все знают. Все поверили. Ньюкта даже не сердита на тебя. Когда я видела ее — она смеялась. Сказала: как не вовремя подвернулась эта девочка, богиня перекрестков. Кто же знал, что она такая талантливая, нужно будет присмотреться...

Геката неспешно рвала лепестки золотого лотоса — разминала в пальцах, и приторный запах заставлял улыбаться шире, верить в успех...

— Да?

— Да. А потом она сказала, что ты оказала им услугу. Показала нужный путь. Она даже назвала тебя — Прополос, указывающая пути...

Геката молчала, склонив голову над сосудом с золотыми лепестками.

— Теперь они знают: нужно искать того, кто смог бы совладать с миром. А уже потом...

Потом — обращать в тело. Делать бездумной оболочкой для великого Эреба. Первомрака, утратившего собственную плоть.

Рвущегося править в мире, который создал.

Полагающего, что мир — это его собственность, как дворец, или как кровать, или как оружие. Не понимающего, что мир — капризное дитя, обретшее собственную волю, выросшее и не желающее повиноваться древнему отцу-самодуру.

Желающего быть вольным, как его жильцы.

— На кого же Эреб собирается обратить благословенное внимание? — голос Гекаты кольнул коварной, отравленной иглой. — У нас не такой богатый выбор. Я не подхожу, как

остальные женщины — верная жена Нюкта такого может не понять... Не на своих ли детей? Их младший сын выглядит способным вместить такое.

Мнемозина поежилась, и Геката позволила себе широкую улыбку — призрачным, правым телом.

В подземном мире неохотно говорили о младшем сыне Великой Нюкты. Или о его предназначении.

— Или, может, они выберут Харона? Я не стала бы так рисковать — в конце концов, он просто глуп. Да и силы в нём...

Мнемозина возится в углу, пошмыгивает носом, перебирает таблички. Вся — сплошное притворство. Геката ценит притворство, и потому с Мнемозиной ей легко.

— В ее речи проскользнуло слово — «Кронида»...

— Ах, как интересно, — шелестит Геката. Неспешно отбирает десяток соколиных глаз — сыплет в огонь. Приправляет пригоршней остро пахнущих трав. — Великая Нюкта хочет ставить на новую силу! Не на подземных — на земных, не на титанов, на богов. На новое поколение. Решительное, свободное. И жаждущее править. У них ведь едва не случилась война из-за трона на Олимпе, ты знаешь?

Спрашивать у вездесущей Мнемозины — «ты знаешь?» — приятно. Правое тело видит, как вездесущая вздрагивает, на миг выпрямляется, скидывает образ серой мышки.

— Да, Прополос. Титаны и сыновья Крона готовились к войне. Всех со всеми — за трон. Они заключали союзы. Они вели интриги и собирали армии. Уже были первые стычки... И тогда некто мудрый... утверждают, что Афина, дочь Метиды из себя самой... предложил устроить Состязание. Тот, кто выиграет, получит Олимпийский престол. Второму достанется море.

— Третьему не достанется ничего, — шепчет Геката, разгоняя пламя душистой метелкой полыни. — Они так хотят править, новое поколение... Эти мальчишки. Ну что же, посмотрим, посмотрим...

Мнемозина подходит из угла — и они смотрят в вещь пламя вместе.

Зевс — огонь сияет вдруг солнечным светом, вырисовывает гибкую фигуру. Нет, не мальчик — возмужал полстолетия, что прошло со свержения Крона. Легкий, стремительный, яростный и веселый, любимец женщин, Освободитель Циклопов, которые сковали ему трезубец. Уничтожитель драконов, которых пытался натравить на людские селения Менетий... Зевса почитают сатиры, нимфы и люди, любят — nereиды, и все шепчутся, что на состязании ему уж точно быть первым.

Посейдон — пламя плещет буйно, неистово, взрыкивает, плюется искрами. Средний брат, весельчак и любитель попировать, неудержимый в гневе и простоватый, постоянно соперничает с младшим, тоже поладил с Циклопами — они наградили его двузубцем, Посейдон хорошо ладит с бесхитростными титанами и даже с чудовищами, ученик Гелиоса, колесничий... и все шепчутся, что быть ему вторым в Состязании — после брата.

Только вот...

Пламя всплескивает ладонями, темнеет. Потом разводит руками-огоньками. Нет, мол, больше Кронидов. Показала двух сыновей, что вы еще-то хотите?

— Третий, — шепчет Геката задумчиво.

— Старший, — эхом вторит Мнемозина. — Климен Мудрый. Аид Стрелок.

Пламя не отзывается и не показывает — будто не слышит. Невинно делает вид, что оно — просто пламя.

— Он не показывается в огнях, — говорит Геката спокойно. — И не участвует в Состязании.

Аид-Невидимый — прозвали третьего брата. Отшельника и мудреца, отказавшегося от правления на Олимпе. Отдавшего другим власть. Удалившегося от всех, скрывшегося — не найдешь, не воюющего, не создающего союзов, изредка снисходящего со своей мудростью к тем, кто его найдет...

О нем почти не вспоминают, а если вспоминают — с недоумением и восхищением. Распускают слухи. Он, наверное, вовсе не знаком с Циклопами и не нуждается в подарках от них...

— Ата дружна с ним, — подала голос Мнемозина. — Только ничего про него не рассказывает. Еще с ним сдружился Гипнос. Говорил, что его друг и к нам наведывается. Наверное, хочет набраться мудрости... кто знает?

Геката кивнула. Вдруг встало под веками видение — давнее, двадцать лет, тридцать, сорок? Юноша в пастушьем хитоне замер на тропе возле Темных Областей... обернулся, махнул, улыбнулся, как старой знакомой.

Тускло блеснул старый лук на плече.

Мир молчал, не рычал на чужака. Кто ж облает простого любопытного отшельника?

Трехтелая улыбнулась — тремя улыбками.

— Теперь понятно. Нюкта предложит им в подарок третий мир — к Олимпу и к морю. Подземный. Они так желают править... третий из братьев возьмет его.

— Но ведь все считают, что на олимпийский трон претендуют только двое Кронидов, — прошелестела Мнемозина робко.

— Нюкта полагает, что трое, — отозвалась Трехтелая и загасила огонь.

— Что же полагаешь ты, о Прополос?

— Что по-настоящему на олимпийский трон претендует один.

[1] Прополос — служительница, указывающая пути. Один из титулов Гекаты.

[2] Дадофора — факелоносица. Один из эпитетов Гекаты.

[3] Сотейра — спасительница. Один из эпитетов Гекаты.

СКАЗАНИЕ 3. О СОСТЯЗАНИЯХ И ЗОЛОТЕ ТРОНОВ

Этною неизмеримой подавленный, зыбля темницу,
Снова с Зевесом ведет древнюю распрю Тифон...

Вячеслав Иванов

— Я ставлю на небо.

— Я ставлю на море.

— Я ставлю на...

Молчи, Мнемозина, этого не было.

Выглядит насмешкой, фантазией упившегося аэда: трехсотлетняя война, великие битвы, трое братьев — три стороны Силы. Сестры, ждущие братьев с войны, интриги, истребление целых племен, пожары... Война — стоглавая, ненасытная гидра, глотающая судьбы, калечащая жизни...

Кому, спрашивается, и на что понадобится такое выращивать?

Разве что каким-нибудь юнцам. Возомнившим по недомыслию, что они выше самой Ананки. Новоявленным пупам Земли.

К которым вовремя не явилась бабуля с игрушками.

Или, может быть, она там тоже к кому-то явилась? К этому, чуждому, который смотрит из отражений неодобрительно — или к братикам его?

Что он там сказал ей — тот, к кому она пришла? «Мне не нужен древний лук, мне нужно что-то получше?» «Не хочу стрелять в отца, так царями не становятся?»

Иногда вижу его там, в водах. Белозубого, гибкого, ослепляющего блеском волос. Гордого — зачем такому старые игрушки, такой заведет себе новые...

И бабушка, пришедшая посмотреть на внука, в моем видении усмехается сухо и печально. Поднимается, складывает дрожащими пальцами яблоки в котомку. К яблокам кладет белую стрелку из адамантия. Старый, истертый лук. Потом вздыхает и медленно бредет по зеленому лугу, и трава ласкается к ее ногам, а она не замечает этого — грустна и растеряна, словно встретила не того.

А тот, кого она встретила, так и остается — без игрушек и с наивной уверенностью в том, что он знает, как становятся царями.

Наверное, садятся на золотой трон. На голову венец надевают. Выкармливают дикое, безразмерное страшилище — войну, когда могли бы — отсекают ей головы.

И стоят с тремя братьями над пропастью, выстраивают жертвенник, имя которому — клятва, считают потерянных и приобретенных союзников, строгают детей, вызывают восхищение, истребляют народы...

— Малыш, — говорю я этому, который в видениях. — Ты думаешь — так становятся царями?

Дожидаюсь его кивка там — гордого, ликующего. Да! Так становятся царями! В таких кузницах куются правители!

И тогда уже пожимаю плечами.

— Ну, тогда это отвратительные цари.

Эос не жалела росы на траву — сандалии стали мокрыми вмиг. Над головой раздалось залиvistое ржание — приветствовала четверка солнечного Гелиоса, как раз выводящего колесницу в полет. Остроглазые красавцы — Ламп и Бройт, по голосам слышно. Ржут призывно, нетерпеливо: «Давай, давай! Заезжай к нам, наши соскучились!»

Всегда хотел себе колесницу — Гелиос, с которым я сошелся лет сорок назад, утверждал, что у меня талант. Коней предлагал даже — смоляных, с таким нравом, что Амалфея обзавидуется.

Только вот по колеснице тебя слишком легко найти. Отследить по летящей четверке скакунов.

А если уж ты — Аид Стрелок...

Лук трепетно соскользнул с плеча, лег на стол неуютного жилища — горной пещеры, кое-как уставленной грубой мебелью, какую сумел добыть мой распорядитель. Вчера в пещере был только стол да ещё лавка у стены. Сегодня прибавилось ложе, устланное шкурами, кресло взялось откуда-то, светильники — страшные, но все-таки горят. Вода в тазу для омовения. Уют для невидимки.

Шлем лёг рядом с луком — кажется, они там перескрипнулись на столе, подарок и подарок, близкие родичи через тех, кто их создавал. Чем-то даже и похожие — шлем получился лёгким, холодным и серебристым, будто застывшие воды текущей воды переплелись с морозным воздухом. Хтоний — по имени того мира, куда я время от времени навещаюсь втихомолку.

Наверное, лучникам невидимость больше всего к лицу. Можно бы с этим поспорить — кому она вообще к лицу бывает? Только вот что-то титану Титию, который ныне отправился жить в Тартар, спорить не хочется.

Он-то армию собирал. С драконами ездил, договаривался. Уже провозгласил — что сделает с нахальными щенками-Кронидами, когда взойдет на Олимп.

Теперь вот драконов нет, Тития нет, а армия... что армия? Разбредется, нового хозяина себе искать будет. Хозяева — они ведь не переводятся

Одно плохо: титаны эти ... пока допрёшь, пока в Тартар скинешь. Ещё с отца заметил: хорошо бы на такое колесницу. Везти быстрее, опять же. И устаешь меньше: если шагать по-божественному, изламывать мир вокруг себя, морщить покрывалом, рваться к Великой Пасти в обход всего и вся... спать потом хочется — аж жуть.

Хорошо бы еще — без снов, так дружок-Гипнос неумолим: такое подсовывает... То мать, воющую над телом Крона, то послов этих — от Прометея до людей Золотого века, в первые годы, когда они дружно все убеждали, что мне суждено владычество...

Издевается, наверное, белокрылый.

Из сна меня вырвал запах еды. Настойчиво растолкал, защекотал нос, зашептал: «Эй, у меня тут утка с приправами в меду, что ж ты такое пропускаешь?!»

— Что, — сказал я, продирая глаза. — Утка в меду?

— Ага, — отозвался девичий голос, — ты ж не жрешь нектара с амброзией. Но от Деметры фиников я тоже притащила.

В голову мне прилетел мой хитон — нечего, мол, смущать.

От удивления я облекся в одежду мгновенно, а глаза продрал еще быстрее.

— Ты как меня вообще нашла?!

— Пф, — сказала Гера, которая расставляла по столу еду, подвинув лук и шлем в сторону. — Твой распорядитель орёт на всю Коркиру. Твоя коза очень громко бодает твоего

распорядителя. Мой тебе совет — хочешь скрыться, избавься от этих двоих.

Прислушался — ну да, всё как обычно, Эвклея и Амалфея на два голоса выясняют — кто из них «м-м-м-мерзавец», а кто «отродье Ехидны». Пожал плечами, ополаскивая руки в тазу.

— Этак придется совсем отшельником заделаться. И в мудрецы окончательно прописаться. Как Хирон.

— Тебя и так считают отшельником. И мудрецом, — Гера пораздумала секунду, высыпала оливки на тарелку и добавила решительно: — Идиоты.

И взвизгнула, прикрываясь от летящих в нее водных брызг.

-Так ведь к Хирону же еще засылают на обучение сыновей — особая честь, царского сына учит мудрый кентавр Кронид... ко мне, по крайней мере, не зашлют.

Слухи, которые обо мне ходят — там от «нелюдимый» до «сумасшедший» и «познавший тайны бытия» — отбивают желание искать моих советов пока еще недостаточно охотно. А вот бешеная коза и не менее бешеный распорядитель...

— И вообще, у добровольного изгнанника и отшельника должно быть что-то такое... чтобы видно было — отшельник. В войны не суюсь, в Состязании не участвую, трона не хочу, уйдите все, у меня коза! И Эвклея еще.

Гера прыснула, прикрываясь углом хламиса. На встречу со мной сестра выбралась в мужской одежде — ни дать ни взять, охотник, если не считать кое-каких форм да пышных, убранных под капюшон золотистых волос.

— Деметра тебя за это безумцем считает, — сказала весело из-за хламиса. — Сидит, мол, полвека в изгнании с козой да с толстым распорядителем, а мог бы...

Мне это многие говорили — не только Деметра. Сразу же после того, как я отправил отца в Тартар. И после того, как вторично заявил, что брать правление не буду. Тогда, помнится, ко мне года три всё советчики ходили — бесконечные, некоторые так и по несколько раз, всех и не упомнишь. Сперва Япет, потом тот же Гелиос, Атлант еще, Прометей, Нерей (этот еще и с извинениями), Фемида, Фетида... Всё убеждали, что я нарушенный порядок ломаю. Что из меня вышел бы отменный царь. Советы предлагали — мол, давай, ты на трон, а мы тебе с головой надаем, тебе и делать-то ничего не надо.

Когда я посоветовал им посадить на трон золотую болванку работы тельхинов и давать советы ей (и не забудьте попросить тельхинов, чтобы болванка головой кивала) — они, кажется, все скопом обиделись. Иначе не могу объяснить, почему они объявили меня негласным судьей в своих спорах.

Наверное, высмотрели в моем нежелании править какую-то неведомую мудрость.

Очень возможно, что мне подгадил Прометей, с которым мы как-то не сошлись во взглядах. Провидящий сперва все доказывал мне, что я своим решением начал войну, что сейчас — каждый против каждого, что все хотят занять проклятый трон на Олимпе, что я должен немедленно отказаться от своих слов и взять правление...

Когда я поинтересовался — правда ли он хочет, чтобы на трон сел юнец-пастух, Прометей посмотрел недобро. Посмотрел как-то очень провидяще полными жалости голубыми глазами.

А потом всплыло: старший Кронид, оказывается, мудр настолько, что на плечах не унесешь. Он, мол, трон презрел ради своей невозможной мудрости. Давайте у него советы спрашивать!

Это тогда я начал бегать. От тех, кто считал, что я должен править. От братьев, которые

решили, что я должен помочь им занять престол (каждому по отдельности). От жаждущих мудрости.

Сбежал и обрел дополнительный ореол труднодоступности: мол, старшего Кронида нелегко отыскать, зато уж если отыщешь — тогда о-о-о-о!

К сестрам вот первое время наведывался — рыжая худышка Гестия рассказывала, как там мать (никак, всё поет и встречает штормы лицом). Потом как-то стал всё реже.

А Гера нашла меня сама.

Мы с ней тогда двух слов друг другу не сказали — она как поприветствовала меня «Хм!» — так особенно ничего и не добавила. Потом нашла — я тогда скитался по Лесбосу, смотрел, как живут тамошние лапифы.

— Мудрости надо? — скучно спросил я, посмотрев на ее решительное лицо.

Она поднялась с камня, на котором сидела при дороге, одернула мужской хитон и отрезала:

— Без мудрости твоей я как-нибудь обойдусь. Научи меня.

— Чему?

— Стрелять. Научи меня стрелять.

Тут только я заметил, как она смотрит на мой лук — не отрываясь, жадно. Вскинул брови, крутанул в пальцах стрелку из белого адамантия.

— Зачем тебе, сестра? Хочешь богиней охоты заделаться?

Вскинула подбородок, вспыхнула яростно, глянула мне в глаза...

— Где ты вырос, на Крите? Меня мать отдала Фетиде, своей подруге. Сразу же после рождения. Остальные были в других местах. Нимфы и морские титаниды умеют петь песни. Расчесывать волосы, водить хороводы... только защищаться не умеют совсем.

Она шагнула вперед, стиснув маленькие кулаки — тогда она еще чуть доходила мне до груди. Метнула взгляд, полный пронзительной синева.

— И когда мать наведывалась... она только плакала. От бессилия. От страха и неумения защитить себя и нас. И нимфы подвывали хором — о том, что вот, придет ее сын, защитник и предназначение... А потом, когда Крон со своими вырожденками наведалься к Фетиде и стал убивать их за то, что они помогали меня прятать... ни одна не попыталась даже кусаться.

Она так и сказала — Крон, будто не была ему дочерью. Так, какая-то малознакомая сволочь, теперь вот в Тартаре.

— Потом Олимп, в тот день. Мать плакала, Деметра голосила, а Гестия пыталась всех согреть. Братья — ну, какие это вояки, у них еще пока молоко на губах... скажи, тебе когда-нибудь приходилось ждать? Что кто-то придет, защитит, закроет... потому что ты бессилён сам? Совершенно?!

Я не ответил, но она по глазам увидела — не приходилось. Мне — не приходилось. Кивнула и закончила сухо:

— Если вдруг у меня будут дети — я хочу уметь их защитить. Чтобы... не ждать.

Я кивнул. Не сказал, да и она тогда не сказала — что они ждали меня. И что я мог не прийти, мог не выстрелить, мог выбрать не то оружие...

Почему она пришла ко мне — я ее тоже не спросил. Потому что не выдам. У них там, кажется, было какое-то четкое представление о роли Геры — у Фетиды и выживших нимф. И у сестер тоже. Что-то о роли будущей царицы, которая ей якобы предназначена.

Не знаю, что там с царственной ролью — стрелять сестра научилась быстро. Не из бабушкиного лука и не адамантовыми стрелами — зачем! Но вот из изделия тельхинов она

яблоки с камней сшибала — залюбуешься. Зевс вот недавно проверил...

— Забыл спросить. За что ты Зевса-то?

Гера хмыкнула — у нее это получается на редкость хорошо. Сунула мне под нос утку в меду, сама уселась напротив.

— Так он чуть ли не к самой пещере Фетиды заявился. Кукушкой, понимаешь ли — Гестия говорила, он как-то научился превращаться и пользуется этим... ну, в общем, сколько у него там уже детей от смертных? Словом, не знаю я, какие у него были намерения... гуляю себе, а тут эта птаха. Клюв золотой, летит прямо на меня и кукует жалобно-жалобно... Наверное, думал, я эту птичку к груди прижму.

— Угу. А ты ее — стрелой, — сказал я лениво.

— По касательной, и даже не ушибла, — буркнула Гера и тут же надулась. — Разлетались тут всякие, в другой раз не ползет.

Зевс мне это сам рассказывал — в один из редких мой к нему визитов. Младший хлопал по коленке и заливался смехом: «Я к ней! А она лук наводит с таким прищуром — и тихо: «Ну, здравствуй, братик». Сам не помню, как оттуда летел!»

— Вот Тартар, это ж я ее научил, — ляпнул я. Зевс замер, чуть не подавившись медовой брагой. Потом осмотрительно проглотил и только после этого зашелся в хохоте.

Сказал, правда, что так ему еще больше нравится. Когда «добыча труднодоступна».

— Ну, как хочешь, — ответил я ему на это. — А то она задумывалась над тем, чтобы у тельхинов серп попросить. Ну, чтобы с виду как у Геи. Тот, которым Урана... Да и натаскивал я ее не на глаза, сам понимаешь.

Вроде бы, после этого пыл у Зевса немного остыл. А может, он просто перенаправил его на другое — на Состязание...

Состязание! Всех — со всеми! Победитель в котором займет престол Олимпа. И воевать не нужно — так, свою удаль показать. Поиграть мышцами перед судьями.

Судей выбирали лет пять. Или десять — не помню. Склок из-за этого кипело — не сосчитать. Зато и выбрали пятерых — на заглядение. Нерей, Япет, Хирон, Стикс, Фемида Правосудная. Столько честности в одном месте с рождения Геи из Хаоса не собиралось. Потом еще выбирали площадку, обговаривали правила поединков, — и неудержимо славили того, кто подал такую замечательную мысль. Потому что — зрелища, возможность показать себя, старые счеты свести. И никакой войны.

Меня вот тоже в судьи приглашали. Как мудрого отшельника. Только я не пошёл.

Мне, в общем-то, и в пещере неплохо. Коза есть (Эвклея стонет — «Когда ж эта тварь сдохнет», а Амалфея ничего — мекает и секрет долголетия не выдает), распорядитель есть. Сестра вот утку в меду принесла — чем не жизнь бедному, мудрому отшельнику?

Гера вдруг тихо хихикнула, глядя на то, как я сгребая выращенные Деметрой финики.

— Сестра говорит — ну, что за брат. Нектар не любит, в Состязании не участвует, бегаёт ото всех. Дворца даже не построил за полвека. Зевс и Посейдон себе — первым делом... а у этого и дворца нет, представляешь?! А я сказала...

— Ну? Что сказала?

— Что у тебя уже давно есть дворец. Просто живешь ты пока не в нем. А он закрыт, ждет, пока ты в него войдешь. Царский дворец. На Олимпе.

Поднялась, махнула рукой — принесу еще утки, потом, подкормить брата. Подарила прощальный взгляд — острый, сияющий синевой. Исчезла.

Истина смотрит на меня глазами сестры. Там много слов, в этом прощальном взгляде. Так много, что финики Деметры начинают отдавать горечью.

«Рано или поздно ты возьмешь трон. Это как с отцом. Ты мог бы выйти на битву с ним когда угодно — но проиграл бы. И потому ты готовился. И пришел тогда, когда был готов. Что ты делаешь теперь? Заключаешь союзы? Учишься править? Неважно, главное — однажды ты будешь готов, и тогда ты придешь за тем, что принадлежит тебе. Потому что привык всё делать сам — а это лучше тебя никто не сделает».

Острая, острее любой стрелы истина — странно, что ее пока рассмотрела только Гера.

Может, я все-таки слишком хорошо притворялся отшельником и мудрецом все это время. Каждым поступком своим кричал: «Да не хочу я править!»

Вот, сестру обмануть не смог. Ата-Обман, подружка по играм, обидится за такое. Скажет — это была отвратительная игра...

Я начал её тогда — после того своего выстрела. Когда настойчиво, истово твердил направо-налево, что не хочу становиться царем. Нет, совсем. Потому что сеять рознь не желаю — вот почему. Да, мне плевать, кто сядет на этот олимпийский трон. Идите вы... в Тартар со своими вопросами, у меня дела. Да, к слову, о Тартаре — вот там у меня и дела. Нужно, понимаете ли, папу туда спихнуть. Эй, никто не поможет мне мать от тела отца отцепить?!

Твердил, когда плачущую мать увели сёстры. Когда всё решилось с телом Крона и был объявлен примирительный пир. На пиру тоже повторял одно и то же — не желаю на трон! Повторял, ловил недоуменные и презрительные взгляды Зевса, Посейдон так вообще у виска крутил, не стесняясь...

Потому, когда все примирившиеся — боги и титаны, сатиры и кто там еще был приглашен на эту попойку... когда все захрапели — вышел во двор, взглянул на звезды. Прикрыл глаза, уловил едва заметный шепот — тот самый, за плечами:

— *Радуйся, маленький Кронид... только что ты начал войну.*

Тогда открыл глаза и ответил тихо:

— Иногда приходится.

Кровопролитие будет небольшим — когда все воюют против всех... у них уйдет много времени на мелкие стычки. Они будут находить союзников, строить интриги, похваляться друг перед другом пышностью дворцов и заручаться благосклонностью смертных племен. Будут выяснять — кто из них достойнее трона.

— *Разве не мог ты предотвратить вражду? Стоило взойти на трон — и...*

— Хочешь, я расскажу тебе сказку, Ананка моя?

Примолкла, насторожилась. Там где-то — за спиной? За плечами? Хорошее все же дело — когда таскаешь за спиной незримого собеседника, пусть даже твою Судьбу.

Потому что кем еще может быть эта, с улыбкой, похожей на зарницу?

— Я не очень хорошо умею рассказывать, но попробую. Смертные рассказывают своим детям у очага диковинные сказки. О мальчиках-пастушках, которые становятся царями. Вырастают в глуши, учатся сражаться и побеждают жестоких тиранов. Потом всходят на трон, принадлежавший отцу... правда, никто из смертных никогда не говорит — как правят пастушки, ставшие царями. Смертные придумывают для своих сказок невнятное «долго, мудро и справедливо». Я знаком с Атой-Обманом — она говорит, что сама подсказала

людям такие концовки. И никто из сказителей не задумывался... никогда не задумывался — вот приходит на трон пастушок, у которого козье молоко на губах не обсохло... незванный, неожиданный. Ничего не совершивший, кроме свержения старого царя. Вокруг — толпа тех, кто сам желал бы править. Пастушок ничего не знает о своих подданных. И недоумевает — почему под ним колеблется трон? Можно сесть на трон, нацепить на себя венец, окружить себя советниками и делать вид, что правишь. Так становятся царями.

— *И это тебе не интересно, маленький Кронид?*

— Это мне не интересно. Мне интересно — как становятся Владыками.

Кажется, эта, за плечами, обрадовалась. В ладошки захлопала почему-то. Голос пролился жидким, только что вытопленным из сот мёдом:

— *Мне помочь тебе чем-то, маленький Кронид?*

— Ответь мне честно. Скажи мне — что такое быть Владыкой.

Я спрашивал у других. У мудрых людей Золотого века. У нимф — моих воспитательниц. На нынешнем пиру я даже ухитрился спросить об этом у Япета.

Все давали разные ответы, а кто-то так даже молчал. Я слышал о преклонении, о величии, о власти. Япет — тот об ответственности что-то нес. Красиво так нес, заслушаешься.

Только голос этой, из-за плеч — правдив и грустен.

— *Наверное, ты сам уже догадался, маленький Кронид... Быть Владыкой — значит воевать. Значит — лгать. Значит — пойти на все, чтобы сохранить свое место. Это — значит всегда быть одиноким. У Владык не бывает...*

Я молчал. Смотрел на перемигивающиеся звезды — Уран-Небо понуро глядел с небосклона тысячью глаз. Подтверждал каждое слово из-за плеч: да, у Владык не бывает.

Не бывает любви — жены или любовницы.

Не бывает дружбы — подданные или враги.

Не бывает...

Я смотрел на звездное покрывало от подножия Олимпа. Где-то там, наверху, притаился дворец — лег в засаду, приготовился к прыжку. Наверное, хотел навалиться всей тушей на плечи. Пастушку, ожившему пророчеству, будущему царю... Владыке?

— *А теперь скажи мне, маленький Кронид. Ты действительно хочешь себе такую судьбу?*

Усмехнулся, потрогал лук. Теплый металл мягко вздохнул под пальцами.

— Нет. Но я ее возьму.

— Зачем же?

— Потому что все мы хотим себе не свою судьбу. Воин желал бы быть хлебопашцем. Хлебопашец — басилевсом. Басилевс — философом. Женщина — мужчиной, странник — отцом семейства... Скажи, что было бы — если бы тебя не было? Если бы каждый мог выбирать себе судьбу по своему вкусу?

Из-за плеч донесся вздох. Пролился задумчивый шепот, кажется даже — обиженный:

— *Ты думаешь — тогда было бы лучше, маленький Кронид?*

— Лучше бы не было. Потому что не всем из нас дано выбирать. Я — ожившее пророчество, Ананка Крона. Я уже выбрал — даже если сейчас попытаюсь все переменить... скажи, что будет, если я и правда попытаюсь все переменить?

Молчит, только шелестит чем-то. Свитком своим, наверное. Или просто одеждой — удаляться, что ли, собирается.

— Ты решил брать трон еще до того, как пошел против отца.

— Да.

— Ты знал, что сядешь на олимпийский престол, когда говорил, что не сделаешь этого?

— Да.

— Что же тебе нужно, мой маленький Кронид?

— Мне нужно время.

Ате я потом сказал то же самое. Когда покинул подножие Олимпа и прибрёл на Крит. Вообще-то, хотелось навестить Левку, сказать, чтобы не волновалась об этом мнимом предательстве... но пошел я — к Ате.

Предстояла долгая игра.

— Ты солгал, — радостно сказала она, когда я нашел ее за плетением венка из одуванчиков. Желтый венок, пушистый, выедает глаза яркостью.

— И собираюсь лгать дальше.

Амалфея, которая за мной на Крит увязалась, венком была очарована. Ата расхохоталась и нахлобучила козе венок на голову.

Венца, правда, не получилось — получилось царское ожерелье.

— Дальше?

— Дальше. Хочешь поиграть?

Ну, еще бы она не хотела — заискрилась вся. Подруга по играм своим весельем никогда не насыщается, готова играть дни напролет, только боги и смертные почему-то не ценят...

— Во что?

— В настоящего царя. В желанного царя. В мудрого, отважного, сильного, обожаемыми подданными царя...

— И откуда возьмешь такого? — поинтересовалась богиня обмана, склоняя голову набок.

Я пожал плечами. Развел руками.

— Да из себя сделаю!

Ата прыснула еще раз — мелкими смешочками. Покосилась на меня. И выговорила наконец:

— Ох, Тартар... это ж сколько работы, подумать страшно!

* * *

Это тогда я стал Аидом Невидимым, Аидом Мудрым (Аидом Стрелком меня прозвали сразу после того, как я вогнал стрелу папочке в глотку). Аидом Отшельником.

Распорядителя себе завел — со склочным нравом и манерой жрать все, кроме Амалфеи, которая сразу же показала Эвклею — кто тут чья еда (сжевав половину его хитона). Зачем завел? Чтобы было, кому народ гонять от пещеры отшельника. А то коза как-то в одиночку не справляется. Да и пояснить «он проводит время в тишине и в размышлениях, его нельзя тревожить» может разве что с разбегу и рогами в больное место.

У Эвклея же это получалось замечательно. Очередного гостя распорядитель привечал на пороге какого-нибудь моего убежища — при этом сам распорядитель неизменно жрал. И чесал волосатую ляжку, проглядывающую в дыру от хитона, проеденную козой.

— Вот, — говорил распорядитель гостю, — понимаешь... размышлениям предается.

И плевал с таким видом, что сразу становилось ясно — во где у него, Эвклея, эти

размышления сидят.

Если гость оказывался настойчив — распорядитель пояснял, что от моего желания постичь разумом тайны Космоса меня, конечно, отвлечь можно... но «грозен».

Врал, словом, с таким пренебрежительным видом, что ему верили. Оставались ждать меня из раздумий. Или уходили, вздыхая. Что, мол, с него взять, с мудреца? Воевать не хочет, союзов не заключает, к власти не рвется...

Посетители были почти что правы: я не хотел воевать — и готовился к войне.

В странствиях узнавал противника — людей Золотого Века, басилевсов, лапифов, сатиров, кентавров. Бывал в племенах великанов — неузнанный, под чужими именами. Пировал на чужих свадьбах, держал на руках чужих сыновей. Иногда, впрочем, назывался — когда требовалось кого-нибудь огорошить мнимой мудростью. И просто так — чтобы не расслаблялись.

Они думали, что я скитаюсь просто так — я лгал, скрывался и изучал, и через десяток лет Аид Отшельник знал, кто с кем в родстве, кто кого ненавидит, кто станет следующим басилевсом и чем дышит каждое племя.

Вокруг кипели страсти, все готовились к войне против всех, и я готовился тоже, только — иначе.

Сдерживал обещания. Находил союзников.

— Радуйся, Хтония.

— Вырос, — сказала она, когда нагляделась на меня. Покрутила, так и этак, впиваясь глазами в лицо. Прикусила губу, и морщинок на и без того морщинистом лбу стало больше. — Знаешь, наверное, на кого стал похож?

Я пожал плечами. Прошел за ней по высокому земляному коридору с орнаментом из камней. Сел в земляном зале на кресло из переплетшихся, старых камней. Вода в чаше для омовения рук мигнула, отразила лицо — острые скулы, смоляные волосы, глаза — чернее ночи.

Бороды вот только нет, да еще безумия на физиономии не хватает. А так...

— Оболочка есть оболочка. Жрать своих детей я не собираюсь.

— Мало ли, чего ты там не собираешься, внучок, — задорно откликнулась Гея. — Ты вот править не собирался. Помнишь, на Крите-то, когда в первый раз виделись? «Да на кой мне...»

— Так я ведь и сейчас не собираюсь, — отозвался я и уворовал фигу со стола. — Дворца себе не выстроил. Не женился. Амброзии вот не ем. Отшельник, мудрец, кто я там еще?

Мать всего сущего фыркнула носом. Подсунула поближе тарелку с темным медом — угощайся, мол. Спросила напрямик:

— Почему передумал?

— Помнишь, я говорил тебе — начнется война, если я вдруг сяду на трон? Если я не сяду на трон, она еще вернее начнется. Все против всех. Ты заметила, как вооружаются твои дети? Мои братья пока в союзе, но, если вдруг дойдет до раздела власти — будут воевать друг с другом. Я отыграл время — они пока что готовятся, и крупные военные союзы не заключаются... но рано или поздно битва грянет. Выход может быть только один: на трон должен сесть тот, кто устроит всех.

— Посади Зевса. Или Посейдона, — предложила Гея-искусительница. — Чего тебе стоит, а? Стань за плечом того, кого выберешь, сделай из него правителя...

Мне бы знать, куда этот новоявленный правитель меня потом запихнет в благодарность.

— Титаны Зевса не примут. Он противоположность Крону, которого они признавали. И он это знает, потому начнет избавляться от них. Всех. Не остановится, пока не останется... кто там останется? Эпиметей? Прометей вряд ли — слишком правдолюбив. Скажи, о Хтония, тебе понравится такой выход?

Отвернулась, дернула ртом. Нервно стиснула в пальцах виноградину. Как, мол, говорить с этим юнцом — непонятно...

— Тебя титаны примут?

— Ты сама говоришь, я похож на Крона.

— Может быть, больше, чем тебе самому хочется, — проговорила тихо и устало. — Что, внучок? Что ты хочешь делать? Говорить с титанами? Предлагать им мир? Всем?

Я поймал ее взгляд — погрузился в густую, мягкую, распаханную ниву, будто бронзовый, отточенный плуг. Выбросил в ответ давнее воспоминание: мальчишка грызет яблоко на зеленой лужайке. Старушка в темных одеждах присела рядом, вцепилась пальцами в траву, шепчет:

— Зачем со всеми, зачем... пошел бы к своей бабке, к Гее-Земле. Сказал бы: давай ты со своими детьми титанами поговоришь. А я твоих других детей из Тартара вызволю. Вызволил бы, а, пастушок?

Вздрогнула, метнула неверящий взгляд: неужели?! Ужели, — кивнул я коротко. Еще как — ужели... Я не стану благодарить тебя за оружие, Мать-Земля. Думаю, Крон тоже не сказал тебе «спасибо» за серп, которым оскопил отца. Ты сердилась на Урана — и вооружила сына. Ты сердилась на сына — вооружила меня.

Мы квиты.

Но за мир с титанами я готов платить.

— Ты... пойдешь в Тартар? Освободишь их?!

— Не я. Куда там бедному, мудрому отшельнику. Но твои дети — Циклопы — будут свободны. Если поговоришь с другими своими детьми.

— Не все послушают.

— С теми, кто не слушает, будет как с Кроном.

— Ты хочешь вызволить из Тартара Циклопов — чтобы там освободилось место, Кронид?! Чтобы туда поместились другие мои дети? Мои внуки?

— Я тоже твой внук, — напомнил тихо, и она остыла, уронила руки на стол. — Они смогут выйти, потом. Если принесут мне клятвы. Я не собираюсь начинать войну. Ни с кем.

Я хочу ее избежать.

Она взглянула с сомнением, с подозрением... Потом улыбнулась, процвела румянцем на сухих щеках.

— Хорошо. Помни, что сказал мне сегодня. Когда мои дети будут свободны — я поговорю... с другими моими детьми. Виноград-то будешь?

Больше мы не говорили о деле. Так — делились новостями. Она рассказывала о Рее. О своих других дочерях. О заре времен и новых цветах.

Только потом, когда я собрался уходить, она заметила тихо:

— Ты ищешь странных союзников, внучок. Твои братья уговаривают присоединиться к ним богов. Воинов. Басилевсов. А ты... Ата, теперь вот я. Что могут решить слабые женщины?

— Как вить нить судьбы и когда ее обрезать, — сказал я тогда. — Мойры — женщины. И воины рано или поздно возвращаются к очагам, которые поддерживают матери, сестры и

жены. И после войн невольно прислушиваются к матерям, сестрам и женам. Сплетни тоже далеко не всегда разносят мужчины.

Мне ли не знать, я достаточно поскитался по селениям смертных. Достаточно держал на руках чужих детей. Помогал хозяйкам и хозяевам советом. Демонстрировал свою скромность по поводу и без.

Зевса славят воины. Посейдоном восхищаются во время пиров. У братьев полно любовниц, и слава об их прыти идет далеко.

Только вот когда смертные возвращаются в жилища — их встречает неизменное «Климен» из женских уст.

— Ах, такой мудрый, такой скромный, войны не хочет, а рассудительный такой. А эти двое — они что? Они о ком пекутся? Ах, вот нам бы не их, а этого, вот из кого бы хороший царь вышел...

Воины, басилевсы, пастухи, конечно, цыкнут на жен или сестер: знай место! Нам, мол, виднее, за кого воевать. Раз цыкнут, второй раз цыкнут, на десятый — проворчат устало: ну да, Аид Стрелок хорошо бы смотрелся на троне. Только он же, скотина, не хочет на трон, а вот если бы вдруг вернулся — то мы не против...

— И вообще, — сказал я, уже делая шаг наружу. — В любом случае все решает женщина. Не вмешиваясь. Даже... не говоря.

— О чем это ты, внучок? — полетело в спину.

— О том, что у каждого из нас своя Ананка.

Позади раздалось сразу два смешка — очень женских.

* * *

Потом я располагал к себе Гипноса — крылатого близнеца Смерти. Ну как — располагал... пса труднее приручить. Стоило как-то навестить Ату в ее дворце — и этот прилип. Болтал обо всём на свете — о матери, о своих детях (их у него сотни три, и все прибывает), о своем братце, мрачном Танате, об Эриниях, о Моме, Хароне... На поверхности — и то за мной шастал. Я с его слов за пару лет весь подземный мир заочно выучил. Сначала. Потом — уже не только заочно, потом я по этому же подземному миру сколько-то раз прогулялся, видел Гекату, видел Харона (этот даже поинтересовался — что я там забыл), как-то раз с Ахероном на кулачках схватился — тому явно было некуда силу девать...

Разведаль подходы к Тартару, сунул туда нос пару раз — как внутри-то?

Тьма, выворачивающая наизнанку, прорастающая в твое нутро, переполненная голодом, вцепляющаяся, впивающаяся, желающая поглотить, не отпустить, сделать небытием...

Не особенно понравилось, словом.

А потом я принял приглашение Зевса. Явился к нему на Парнас, во дворец, который тогда только начинал возводиться. Вернее, в шатер — за несколько стадий от стройки.

— Ну, вот и Мудрый, — выдохнул младший. Встал, радушно указал на пустое ложе, щёлкнул пальцами — служанка поднесла чашу с вином. — Думали — не дождемся тебя, брат!

Я кивнул. Сел, привычно натянул на физиономию маску — мудрого брата, советчика, не-воина. Сидит — прелести нимф не обсуждает, о войне не толкует, только внимает.

Рассматривал братьев исподтишка — они вошли в самый расцвет, что Зевс, что Посейдон. Накуролесить уже успели — вон, легенды слагаются о том, как Зевс с какими-тс

драконами сладил...

Ссорятся, говорят.

Правда, при мне особенно не ссорятся — так, пересмеиваются, поглядывают свысока. Мол, мы вообще-то воюем. Трон своего отца захватываем. А ты зачем вот так?

— Что, брат? — прозвучало после часовой беседы ни о чем. — Много ли мудрости познал на досуге?

— Достаточно.

— А говорят — в пифос Япета не умять, — вставил Посейдон. Он разругался от вина. — Знаешь — в доме у Япета стоит здоровущий пифос, куда все болезни и беды загнали? Так в Аиде, говорят, мудрости и побольше будет.

И заржал — понятно, за что Жеребцом прозвали.

Зевс поднял на меня глаза, полные вопроса. Одного и того же вопроса — уже сколько лет...

— Не передумал, — легко отозвался я. — Я уже сказал, я не хочу править.

Зевс огорченно вздохнул, развел руками. Мелькнула зарница в блестящих волосах.

— А какая бы история получилась. Представляешь? Трое братьев, Кронида — против титанов! Вместе, плечом к плечу, до конца...

— Чьего? — спросил я тихо.

Зевс поперхнулся, нахмурился. Посейдон — тот был более прям.

— Так их же, конечно, — пояснил мне, несмышлёному. — Если мы, все втроем — тут же и титанам конец!

— А точно только им? — усомнился я, глядя не на пышущего весельем смертного — на мрачного младшего. Тот дернул ртом, нахмурился сильнее. А Посейдон бурлил себе дальше:

— Так, а кому ж ещё?!

Я пожал плечами — мало ли, кому... Может, всем вообще, кто там знает. Хорошо, конечно, представлять это — клятва над каким-нибудь жертвенником, «Мы втроем!», финальная битва, которая зальет кровью Фессалию...

Только кто поручится, что титаны не воззовут в час битвы к старшим братьям, к Гекатонхейрам в Тартаре? И кто поручится, что Гекатонхейры не ввергнут мир в окончательный Хаос?

— Титанам конец — и что потом? — спросил я еще тише. Зевс смотрел пристально и задумчиво, не мигая. Посейдон приподнял брови в красноречивом и немом: «Братец, да ты дурак?»

— Потом — править...

— Кто?

— Что — кто?

— Кто будет править, если мы встанем плечом к плечу? Если завоюем победу втроем — поставите на Олимпе еще два трона?

— Так и не надо, — оживился Посейдон. — Зевс вот выдумал отличную шутку. Мир же и разделить можно. На две... ну, или три части, если вдруг и ты с нами. Один — верховный, на Олимпе... морем тоже вот можно править...

Понятно. С третьей частью еще не определились — кто там знает Стрелка, его на войну-то не уговоришь! А если вдруг уговорят — Зевс еще что-нибудь придумает.

Глава Олимпа, двое наместников... ну-ну.

— И?

— Что — и?

— Кому какая часть? Или вы и об этом договорились?

Зевс, не сводя с меня взгляда, кивнул Посейдону — продолжай, мол. Средний поерошил иссиня-черную гриву, пожал плечами.

— Ну, можно же жребием решить. Знаешь, бросить жребий... и пусть уж тогда Ананка распределяет — кому какая...

Ананка там, за спиной, засмеялась далеким, невеселым смехом.

Да уж, жребий — кому какая, никто ни у кого никакую часть не оспорит... что я там слышал глупее этого — меканье Амалфеи?

Да нет, поспорил бы.

— Понятно, — сказал я.

Зевс засмеялся невесело. Погладил начавшую прорастать бородку.

— Ты думаешь, мы делим шкуру неубитого медведя. Так, брат? Мы не будем ввязывать в противостояние тебя — ты уже сказал свое слово, ты решил уйти в сторону от войны. Твое слово мы уважаем. Конечно, жаль, что ты не хочешь просто присоединиться к нам. Ты победитель Крона...

Как бы от братового голоса у меня вино в кубке не скисло. Понимаю, конечно. Ты совершаешь подвиги, убиваешь драконов, собираешь армию — а над тобой витает проклятый образ ожившего пророчества.

Ты — великий, могучий, прославленный в песнях, воин, полководец вот...

А этот — пастушок, стрелок, мудрец, отшельник...

И *Кроноборец* — последний камень, который перевешивает любые титулы.

В устах воинов: «Эх, жалко — Стрелок не с нами. Как он Крона...»

В устах аэдов: «Я спою вам песнь про Аида Кроноборца»...

В устах женщин: «Ах, конечно, у них подвиги, но Крона-то одолел другой брат?»

— Победитель по случаю, — улыбнулся, пожал плечами. — Мне повезло пустить стрелу прежде, чем он достал серп.

Братья переглянулись с облегчением. Мол, хоть этот понимает. Какой там подвиг, какое сражение — везение, и всё...

— Да, Климен... наверное, Ананка любит тебя, вот и послала лук Урана. Не серп, не копье — лук...

Они все на него так смотрят — на теплый, шершавый, истертый металл рядом с моей рукой. С почтением и желанием.

Коснулся лука пальцами. Помедлил, передал Зевсу. Тот покрутил в ладонях, погладил, будто стараясь ощутить... поморщился — что за цацка, совсем для царя не подходит.

— Он ведь как Серп Крона? Принадлежит тому, кому передавался?

Я кивнул. Говорят, Серп Крона не мог удержать никто, кроме отца. Мой лук лёгкий, удержать его просто.

Только вот сотворить, соткать стрелу для него из ничего, из себя самого — не сможет больше никто.

— Серп забрала Гея, вроде бы, — пробормотал Зевс. — Ты знаешь об этом? Мы хватились не сразу, мы же даже не знали, где он лежал... А потом как-то поняли... посмотрели... нам сказали, что она, хотя... там ещё была мать, но вряд ли. Он выплавлялся лишь для одного — того, который в Тартаре. Думаешь, она может использовать его, чтобы Крон...

Я качнул головой. Едва ли Хтония жаждет освободить этого своего сына. Особенно по кускам — ибо я сбрасывал в Тартар папашу не целиком, правда, в песнях об этом и не поют...

Серп забрала Гея, лук у меня не попросишь — кроме Стрелка, им никто пользоваться не может... что осталось?

— Оружие тельхинов, — выплюнул Зевс сквозь зубы. — Титаны пользуются таким же. Сделано оно добротное... но не дает нам никакого преимущества в битве.

Радуйся, бабушка, — подумал я. Видишь, я обещал. Потому что знал, что настанет день для этого разговора.

— Есть другой способ.

Достал из воздуха алмазную стрелку. Легкую, белую, сияющую в полутьме шатра, будто игрушка.

— Лук Мать-Гея выплавляла из себя... но стрелы к нему ковали Циклопы.

И ни к чему знать, что лук — одно, а стрелы — совсем другое.

Зевс резко выпрямился, глаза заблестели.

Я не промахнулся.

— Циклопы? Те, что в Тартаре? Предлагаешь...

Я пожал плечами. Не предлагаю, конечно, куда мне. Предлагают воины и полководцы. Равные. Что может тут сказать скромный мудрец?

— Великая Пасть коварна. У кого хватит смелости отправиться в нее?

Может — у того, кто хочет чем-нибудь перебить, затмить, проклятое, неискоренимое, вечное — «Кроноборец»?

Младший ушёл в Тартар один. Это было ожидаемо — он жаждал подвига, который можно совершить в одиночку. Я даже не провожал его — мне незачем было показывать, насколько хорошо я знаю местные дороги. Так, прогулялся вслед тайком — кто там знает, если вдруг помочь понадобится...

Не понадобилось: младший справился. Вызволил Циклопов, договорился с ними. После сиял тихой, удовлетворенной улыбкой, показывал подарок: гладкий, внушительно блестящий трезубец. Говорил: стрелы Циклопы ковать отказались («Так и сказали — «Не, такого больше ковать не будем», — поддакивал Посейдон, а мне перед глазами виделась насмешливая улыбка бабули-Геи). А вот трезубец сковали — да еще какой, глаз не оторвать! Ну, у Посейдона — два зубца вместо трех. Тоже неплохо.

Я видел, как они испытывали оружие — в скалистых преддвериях того же Парнаса. Уран-Небо хмурился и подтекал дождем, ветры затеяли перебранку в деревьях, а трое Кронидов...

— Знаешь, как меня теперь называют? — весело спросил брат, когда удар чудесного оружия в пыль раздробил осколок скалы размером со среднего великана. — Поражающим Громом.

Гром при ударе трезубца и правда грянул — раскатился, бахнул по ушам.

От удара двузубого копья вывернулись деревья и почва сотряслась под ногами.

— Знаешь, как называют меня? — спросил Посейдон, который казался отлитым из мокрого камня. — Колеблющим Землю, ха!

Потом нахмурился, засопел. Подошел, предложил по-братски.

— Слушай, хочешь — мы тебе у Циклопов что-нибудь попросим? Чтобы получше лука. А то кто там знает — может, война начнется, а ты как есть...

Зевс вскинулся, глянул на брата с предупреждением. Какое, мол, попросим. Что — попросим, когда у него уже лук Урана?!

Я хлопнул Посейдона по плечу.

— Не стоит. Оружие может быть одно. Знаешь, как меня называют? Аид Тихий.

— А ты предпочел бы другое? — прорвался сквозь хохот Посейдона и ветер тихий вопрос Зевса.

Я улыбнулся. Кивнул.

— Предпочел бы — Аид Невидимка.

* * *

— Я ждала тебя...

— Я пришёл.

— Я ждала тебя, о Литос...

Шепот накатывает приливной волной. Делает алыми щёки. Стыдливость и скромность тонут в каплях коротких поцелуев, боязливо проглядывают, поднимают голову, бросают осторожные взгляды — будто дичь на охотника. Движения дичи пугливы, неловки, трепетны, скованны: что сделать? снять пеплос? Или нет, ответить на поцелуй? Или вот еще плечо оголить, или обнять его, или, или...

Движения охотника — плавны, уверенны: дичь от него не уйдет.

Охотник заставляет добычу повернуться, касается высокой прически под черепаховым гребнем, шепчет:

— Почему боишься?

— Ты первый у меня... я знаю — как должно быть, но не знаю, что делать.

— Это знаю я.

Не так много у меня было тех, кто учил этому знанию. Но Левка — пропавшая, не вернувшаяся, ушедшая Левка — она была, и та нимфочка... как ее, с черными волосами, пахнущими свежестью и сладостью — тоже была, еще почему-то обижалась, когда я сказал, что меня не тянет к ней вернуться. И несколько одиноких вдов, приветивших в своем доме Странника — и они тоже были, а учусь я быстро.

Нам с тобой хватит на двоих, Разумная.

— Мы поступим разумно, — шепчу я, и Метида успокаивается в моих руках, обмякает, отдается неизбежному, отбрасывает стеснение. Нимфы смеются, так, Разумная? Смеются и называют Покровительницей Дев — за то, что ты, зрелая богиня, дочь титанов, не завела мужа, не завела даже любовника... не знала мужчины.

Пусть подавятся своим смехом, а мы поступим разумно.

Волосы выскальзывают из высокой прически, медленно распускаются, развиваются, окутывают пока еще не обнаженные плечи, в свете факелов начинают отливать красным деревом, а тело — словно искупалось в волнах заката... два тела.

— Знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? — шепчет Разумная, когда мои руки начинают высвободить ее от одежд — словно очищая диковинный плод, подбираясь к его мякоти. — Страсти. Влюбленности. Любви. Ты видел Афродиту, рожденную из пены? Ее стихия туманит разум, забирает, растворяет его в себе. Проклятое чувство, которое оглушает настолько, что становится невозможно думать. Которое противостоит разуму.

— Я видел, — шепчу я, рассыпая поцелуи по ее коже.

Она теперь гостит то у Зевса, то у Посейдона — оба хотят на ней жениться, не знаю,

кого Киприда выберет. Наверное, ждет, когда на Олимпе появится царь, чтобы припасть уже к его коленям. Основательно так припасть, навеки. Подарить бездонную, ласковую, небесную синеву глаз, и золотистость волос, похожих на подсвеченные солнцем облака, наградить рассветным румянцем, поцелуями губ, горящих ярче заката...

— Я видел, — шепчу я и касаюсь Метиды словно лука, который вот-вот выгнется под моими руками. — Я видел, я устоял.

Не знаю, чьей женой она станет, Афродита. Зевса или Посейдона. Или кого-то из титанов — Эпиметей с нее глаз не спускал... Моей женой ей не бывать. Из-за того, что ее стихия туманит разум.

А мне предстоит очень много думать, когда я стану царем.

— Я не буду будить в тебе страсть, Метида, — шепчу я. — Не стану будить влюбленность.

Не страшись, я дам только то, чего ты хотела. Ласка будет не настолько горяча, чтобы ты вспыхнула. Наслаждение — не таким глубоким, чтобы ты утонула. Останется только благодарность к тому, который принял твое приглашение через столько лет — но с этим тебе придется разбираться уже самой.

— Мне прийти еще? — спросил я наутро.

Она торопливо подбирала волосы с плеч и уже опять была серьезной. «Кислая» — наименовала ее та черноволосая нимфочка, как ее. «Яблоки вкуснее с кислинкой, — сказал я ей тогда. — И червей в них меньше, сладкая моя».

— Не нужно. Иначе я могу вспылать страстью. Или влюбиться. Или... еще что-нибудь. Теперь ты возьмешь от меня оружие в дар, Литос?

Я пожал плечами. Набросил хитон, поманил лук со столика, куда бережно пристроил его вечером.

— У меня есть оружие. Какая-то мудрая богиня... я не помню, какая... сказала как-то, что оружие может быть — одно.

— Смотря что ты считаешь оружием, — пробормотала задумчиво. — Хорошо. Приходи, когда нужен будет совет. Или дар. Приходи, за моей благодарностью, Литос, потому что я не хочу быть тебе должна за эту ночь.

— Приду, — сказал я, помедлив.

Она завернулась в одежды. Прислушалась к чему-то в самой себе. Тихо улыбнулась.

— Помнишь, ты сказал мне, что придешь, когда станешь царем?

— Помню, — отозвался я, стоя на пороге ее дворца. — Ты поняла верно.

Я пришёл не так скоро — через двенадцать лет. Когда Менетий, Титий и Эрифальт всё-таки договорились и все-таки собрали войска.

Когда братья решили устроить первый бой — боги против титанов. На каком-то неизвестном поле, поросшем полынью.

— Мне нужно время, — сказал я.

Метида кивнула. Указала мне на резную деревянную скамью под пышно цветущей яблоней — во дворец звать не стала (слуги, да и вообще...). Попросила тихо:

— Подожди. Схожу за моим даром.

И отправилась во дворец, оставив меня наслаждаться теплым вечерком и яблоневым запахом.

И копьём, которое просвистело у меня возле уха.

Легкое такое, но если с такой силой попасть в глаз — из затылка, пожалуй, на локоть

выйдет. Спасибо еще — мимо пролетело, усвистело куда-то в яблоневоый цвет.

— Почти попала, — сказал я, щурясь в густые кусты шагов за десять от меня.

— Хотела бы — попала бы, — спокойно отозвалась девчонка и неторопливо себя мне явила.

Не совсем девчонка — девушка уже почти.

Черные волосы кудрявятся, одна прядь так вообще непокорная — лезет на нос, хоть что хочешь с ней сделай. Серые глаза острее копья — пристальный взгляд вот-вот на себя нанижет.

Светлый пеплос перехвачен голубым поясом, лежит аккуратно, складка к складке, будто это диво не из кустов вылезло, а только что оделось.

— Ты Литос? Старший из трех братьев, сын Крона и Реи?

— Да. Как зовут тебя?

— Афина, дочь Метиды.

— Только Метиды?

Девочка усмехнулась. Прищур стал совсем взрослым, а во взгляде вдруг проскользнула лукавинка.

— Разве ты не слушаешь песен аэдов, о Литос? Метида Разумная презирает мужчин. Она считает их недостаточно мудрыми для себя. Поэтому когда она решила, что нужно подарить миру Мудрость, — небрежно ткнула себя пальцем в грудь, — она родила ее сама. Не прибегая, так сказать.

— Да ты что? — усомнился я, почесывая подбородок. — Так уж и без всего?

— Так ведь это же Метида Разумная, — поведали мне, как несмышленному младенцу, — она на то и Разумная, чтобы придумать, как обойтись...

— И как же обошлась?

— Аэды поют, — непоколебимо начало мудрое дитя, обрывая яблоневоый цвет, — что Метиду Разумную как-то преследовал какой-то божок. Или смертный, или лапиф — не столь важно... Он был яростным воином и возжелал ее. И тогда, поняв, что ей не скрыться от него, она притворилась, что согласна разделить с ним ложе. Убаюкала его ласковыми словами, потом превратилась в львицу и...

Что «и» — Афина показала дальше. Жестами. По всему выходило, что львица-Метида неплохо подкрепилась спящим воином, кем он там был.

— Вскоре почувствовала богиня Разума, как у нее сильно начала болеть голова, — нараспев продолжала маленькая Мудрость. — И вот, когда уже не в силах стала она терпеть — попросила она слугу расколоть ей голову. Вылетела у нее из головы грозная богиня Афина, с копьем и при доспехах. Потрясла она копьем и громко воскликнула...

— Что воскликнула-то?

Афина пожала плечами. Откинулась на скамейку, лениво помахивая яблочной веткой.

— Этого я пока не придумала. Думаешь — стоит?

И подняла на меня смеющиеся серые глаза.

Не помню даже — когда я так хохотал. За десяток последних лет. Даже моложе себя стал чувствовать. Чуть со скамейки не свалился, пока ржал — мне б Посейдон Жеребец позавидовал...

Дочь смотрела на меня, слегка приподняв брови — мол, а что? Я тут вообще-то мудрые вещи говорю.

— Неужели Мудрость нынче дружна с Атой-Обманом? — спросил я наконец.

Она повела худым, девичьим плечом.

— Эта подземная гостит у нас время от времени. Мать добра к ней. Говорит, что мудрость не должна чураться обмана, если есть достойная цель. Говорит, что лучше видеть у себя Ату-Обман, чем Ату-Глупость.

Да, подруга по играм многолика — кого просто обведет, а кого и дураком выставит.

— Что же ты собираешься делать, о Афина Мудрая?

— Идти туда, — улыбка в ее взгляде потухла. — К Кронидам. К титанам. Мудрость не отвергнет никто, ее ведь так мало. Говорят, есть какой-то Аид Странник — жуть какой мудрый, только он все держит при себе.

— Зачем тебе?

— А зачем тебе брать трон, Литос? Чтобы мир не погрузился в Хаос? Чтобы не началась кровопролитная война? Чтобы из Тартара не встали Гекатонхейры? Вот и не спрашивай.

Метида вернулась наконец. Осмотрела нас, болтающих на скамейке — меня и грозную богиню мудрости Афины. Удовлетворенно кивнула, подошла и протянула шлем.

Легкий, серебристый, словно скованный из алмазных стрел, переплетенных с водными струями.

Словно волосы пропавшей Левки.

Нащечников не было — шлем оставлял лицо открытым.

И на боках его змеились прихотливые, изменяющиеся узоры — облака, и луки, и стрелы, и чьи-то улыбки...

И истаивающая фигура лучника, словно шепчущая: «Хочешь — исчезну?»

— Это не оружие, — сказала Метида, пока я поворачивал шлем в пальцах. — Потому что оружие у тебя уже есть. Циклопы были щедры.

— Почему они не дали такое же моим братьям?

— Потому что те не просили. И не хотели. А тебе вот сделали. Сказали — для имени.

Хтоний невинно лежал под моими пальцами. Тогда еще безымянный, хтонием я его назвал где-то через год — бабушку вспомнил...

— Хорошо, — сказал я. — Это даст мне время.

Метида смотрела с улыбкой. Качала головой.

— Нет, о Литос... время даст тебе лишь Мудрость.

И Афина тихо засмеялась — хотя вообще-то она смеется редко, это все уже потом поняли.

Она тогда явилась прямо перед армиями, посреди полынного поля. В ослепительном белом пеплосе, с эгидой, на которую мы пристроили голову какого-то чудовища, по которому я между делом не промахнулся. В вихре, в громе, в блеске, грозная и прекрасная (только вот прядь на нос так и лезла все равно). Подняла копье, громогласно заявила:

— Остановитесь, глупцы! Зачем вам истреблять друг друга?!

И просвещенные Атой заранее сатиры, и чудовища, и лапифы, и божки с двух сторон зашептали: «Афина, дочь Метиды Разумной! Воплощенная Мудрость!»

— Если вы хотите выяснить, кто могущественнее и кто достойней — почему не устроить состязание? Зачем хотите проливать кровь, безумцы?!

Вот уж точно — устами младенца глаголет Ананка. Хотя... к такому младенцу сунешься — получишь копье между глаз.

Как они ухватились за эту мысль... Состязание! Все — против всех! Каждый может

вызвать каждого! И зрелище, и убивать не надо, и честнее некуда. Хочешь — можно устроить драку на мечах, а хочешь — попробуй себя в борьбе. В соревнованиях на копьях, в стрельбе, в кулачном бою...

В чем угодно.

Все — против всех, и драться не нужно.

Афины превознесли до небес за ее мудрость. Прозвали Сохранившей Мир. Еще как-то прозвали — я не вдавался в подробности, мне не до того было.

Они выбирали судей, определяли площадку, где проводить игры (возле Олимпа, где ж еще), они согласовывали правила, соглашались и ссорились — и все под пиры...

Я был занят теми, кто тайно не согласился с Состязаниями. Кто знал, что не выиграет на открытой площадке и потому готов был силой захватывать власть.

Когда начались сами Состязания — я был занят еще и недовольными проигравшими. А то им тоже приходило время от времени в голову — почему бы и нет, тут нас Зевс с Посейдоном победили, а мы как соберем армию, ка-а-ак...

А вот как-то не получается.

Куда-то пропадают союзные басилевсы. Или драконы. Или чудовища из подземного мира, которые решили присоединиться к армии — выступить против Кронидов. Да и сами незадачливые титаны и божки непонятно куда деваются.

Словно сговорились все вместе и решили спросить у мироздания: «Хочешь — исчезну?!»

Играют в прятки.

Прячутся надежно, исчезают надолго, если не насовсем. И сколько не ищут — ну вот никак...

В Тартар-то никто пока не заглядывал, а если бы даже заглянули — где их там найдешь, в вечной тьме.

Тартар заставляет исчезнуть надежно, бесследно.

Делает всех — невидимками.

Наверное, только немного менее невидимками, чем — я.

* * *

Титий был последним. Титаны шепчутся — окаменел. Пошел к какой-то бабе, а она оказалась чудовищем, взяла, в скалу его превратила (все-таки очень удобно, когда Ата-Обман играет на твоей стороне!). Кто там знает, может, это была Трехтелая Геката, зачем-то навестившая поверхность.

А может — еще что случилось, кто знает (про Менетия вот ходят слухи, что он в Стиксе потонул. Стикс не опровергает и только жутко ухмыляется).

На самом деле было проще — с Титием, и с Менетием, и с другими.

Я не промахивался.

Свивал стрелу из холодной, спокойной, терпкой уверенности, из ожидания, из предназначения. Отпускал в лет — из пустоты, из невидимости.

После под невидимостью же добирался до Тартара... и Великая Пасть с благодарностью встречала очередного жильца.

Если тот, в кого я стрелял, был смертным — он пропадал из жизни. Становился тенью, которая никому не может пожаловаться на внезапную острую боль в горле, удушье...

Мои стрелы не оставляли ран, если я этого не хотел.

По моим подсчетам, за годы я успел отправить на асфоделевые поля или в Тартар всех, в ком могла таиться хоть какая-то настоящая опасность.

Для Состязания или для хлипкого, временного, шатающегося мира.

И скоро — день, когда Гелиос совершает свой самый длинный путь, и на этот день назначено Большое Состязание, и значит — скоро...

В тазу с водой для омовения — отражение лица. Сурового, остроскулого, с цепким взглядом черных глаз. Взгляд вопрошает: ну как? Ну что? Разве сделано не все? Разве еще не все исполнено? Твоя дочь изливает свою мудрость на титанов и Кронидов, удерживает их от схваток, настраивает на честное состязание. Выбраны судьи — они, кажется, уже сами догадались, что будет... Ты убрал всех, кто смог бы оспорить твое воцарение. Что же мне сделать еще, Аид Тихий? Хочешь — исчезну?

Качаю головой. А тот, в воде, не унимается. Глядит, как из сна, пытается прочитать взгляд.

Так что же тебе не хватает, Аид Странник? Дворца? Одежд? Союзников?

— Чудовища.

Отражение моргнуло изумленно. Я потянулся, сполоснул руки в тазу.

Вышел во двор, осмотрел окрестности пещеры. Костер попрыгивает под котелком. Одно чудовище развалилось шерстистым пузом кверху. Второе ему бок чешет — когда Эвклея и Амалфея заключают мир, они неплохо уживаются вместе.

Богам бы так.

Жаль, чудовища эти — не те. Свои, домашние. Если их на Состязание выпустить — особенно никого не напугают. Ну, Амалфея-то кому-нибудь наподдаст рогами под зад, Эвклея сожрет что-нибудь... не то, аж жалко.

Да и вообще непонятно, где взять такое, чтобы его на месте не укокошили. Чтобы произвело достаточно страха, чтобы...

Последний год над этим маюсь, уже сроки подошли — а у меня все нет нужного. До края света доходил, смотрел на драконов, на великанов, на порождений подземелий... Гипноса слушал. Перебирал чудовищ, словно бусины, которые собираюсь пришить к подолу парадного плаща.

Не настолько жуткое, не настолько сильное, не настолько внушительное, не то, не то, не то...

— Чего тебе не хватает?

Я не повернул голову в ее сторону. Утки у нее больше нет, в конце концов, на что там смотреть?

— Думал, ты ушла.

Представил, как она хмыкает, упирает руки в бока... точно, хмыкнула. Но руки, вроде, никуда упирать не стала. Подошла, оперлась о молодое деревце. Сказала:

— Уже скоро. Так?

Пожал плечами. Какой смысл запираяться, если она сама додумалась?

— И как ты собираешься это сделать? Появишься на площадке, победишь победителя? Нет, наверное. Тогда ведь останутся обиженные — проигравшие. А ты хочешь сделать так, чтобы даже братья никогда не подняли голос. Как?

Я поднял глаза, поймал ее взгляд — синюю стрелу вопроса, оперенную темными ресницами.

«Скажи мне, как, я хочу помочь тебе...»

«Для чего тебе...»

«Мужчины заключают союзы. Чем женщины хуже? Я пришла заключить союз с тобой — хватит твоей хваленной мудрости, чтобы осмыслить это? Ты готовишься к царствованию, как к войне, и тебе нужна будет сильная союзница в этом. Нужна будет... царица».

Погасил взгляд ресницами. Откинулся, прислонился к теплому входу пещеры, закрыл глаза.

— А ты почему-то решила ей стать. Что там — пророчество Мойр? Или мать...

— Не надо о матери.

Кивнул — не надо. Рея Звездоглазая... то, что от нее осталось — скитается по краю Света под присмотром подруг-океанид. Песни поет. Говорят, навещает к Мойрам — непонятно только, зачем.

Небось, узнать о роковом пророчестве. О том, что было бы — если бы она все же скормила Крону первенца.

Или не только первенца.

— Я предлагаю тебе это, потому что это выгодно. Для меня и для тебя. Зевс не забыл моей стрелы. Сейчас он занят Состязанием, но потом... рано или поздно — возьмет свое. Не знаю, хотел ли он раньше сделать меня женой, но теперь... теперь хочет только — взять. Показать, что может. Я могла бы принести обет девственности, но я... не хочу, брат. Я выбрала свой путь — я хочу беречь семьи. Быть богиней домашнего очага нельзя, если сама не нянчила детей.

Голос сестры, ровный и надтреснутый, тихо плыл в воздухе — комарье заслушалось, дудеть перестало. Амалфея изогнулась, скосила желтый глаз — что там, мол, такое?

— Собираешься закрыться мной от Зевса? — спросил я с пониманием.

Гера передернула плечами.

— Понимай как хочешь. Ты ведь тоже не останешься внакладе. Аид, я наблюдала за тобой... Я знаю, зачем ты возьмешь трон. И знаю, как ты будешь править.

— И как же?

— Наверное, мудро, — сказала Гера неохотно. Будто одолжение сделала. — Ты будешь справедливым правителем. Не как отец. Но власть — это не только правление. Еще толпа сплетников. Пиры. Танцы. Подарки сыновьям и дочерям братьев и дальних родичей. Плачущие жены, которые просят приструнить их мужей... Одежды, церемонии, славословия... В этом бою тебе нужен кто-нибудь, кто прикроет бы тебе спину.

— И ты думаешь, я выберу тебя.

Здорово она все же хмыкает. С разными интонациями, я иногда говорю менее выразительно. В этом вот звуке так и слышно: «Ну давай, давай, назови мне других».

— Могу выбрать кого-нибудь из титанов, — сказал я. — Стикс занята, но вот Фемида Правосудная, к примеру...

Жаль, Метиде не согласится: не любит она дворцовой суеты.

— И будет укорять тебя за каждый поступок, который ты совершил несправедливо, — мягко добавила Гера. — За ложь. За уклончивый ответ. За то, что ты дружен с богом снов...

Согласен, с этой титанидой я промахнулся.

— У меня есть еще сестры. Гестия, к примеру...

Главное — чтобы не Деметра. Во-первых, на Деметре, кажется, собирается жениться Зевс, во-вторых, у меня пока мозги на месте — такое в свой дом приводить.

— Да, — согласилась Гера. — Она будет хорошей женой. Будет пытаться согреть тебя. Будет жалеть тебя и взывать к твоей жалости, а если ты будешь жесток — она будет дрожать губами, молчать и разжигать очаги.

Жаль. Хорошая сестренка — Гестия... только вот правда — сестренка. С Посейдоном она дружнее, чем со мной — неужели меня не нужно согревать?

Или нельзя согреть?

— Кто тебе сказал, что я вообще собираюсь жениться.

— Здравый смысл, — отчеканила Гера и пригвоздила меня к пещере очередным хмычком. — Владыка без детей — тоже, нашел сказку. Не говоря уж о том, что тогда ты станешь завидным женихом, и каждая — слышишь, каждая дура в Элладе...

Я приподнял руки — сдаюсь. От такого роя стрел не укрыться.

Я вообще-то думал, мне чудовище нужно. А вот оказывается — еще и жена.

Я бы все-таки предпочел чудовище, наверное.

— Там ведь вообще-то еще Афродита где-то бегает...

Засмеялись вдвоем — и она, и я. Владыка женат на ветреной богине любви. Ну да, как же.

— Я думал, женятся по любви, — сказал я потом. Неправильно, наверное, вышло. Не грустно, не по-философски.

Насмешливо, колко.

— О nereиде своей думаешь? — вдруг спросила сестра. — Об этой... Левке?

И пожала плечами в ответ на мой взгляд — болтают, мол... кто только не болтает!

Левку мне не удалось найти. После той истории, с отцом. Может, стоило тогда к ней и отправиться, но я пошел к Ате...

А потом все не было времени.

Не знаю, может, я думал — она дождетя.

Не дождалась. А сестры так и не смогли сказать — что с ней. Говорят — давно не слышали ее песен.

Больше ничего не говорят почему-то.

Не знаю, может, мне стоило пристальнее искать.

— Ты же ее не любил, — тяжело вздохнула Гера. Показалось — это море где-то в отдалении — тоже вздыхает, укоризненно. «Не любил, не полюбишь-шь...». — Аид, кого ты обманываешь, какая любовь... ты на себя-то посмотри. У тебя на уме, кроме трона, хоть что-нибудь есть? Кроме этого — как избежать войны? Как договориться с титанами? Кроме мыслей, как будешь править?

«Ты чудовище, Аид, — ударило синевою из глаз. — Спроси у самого себя — кого ты любил, хоть когда-то?»

Мать. Наверное. Когда-то.

— Судьба прихотлива, — проговорил я, не обращая внимания на тихое хихиканье из-за плеч. — Кто знает. Что будет, если вдруг ты полюбишь? Если я полюблю?

Она опять хмыкнула. На этот раз — ухитрилась запихнуть в этот звук пропасть сомнения. Мол, с Атой в обман играй, а со мной...

— Останусь тебе верна. Долг превыше всего. Очаг превыше всего. Для меня... от тебя я такого ждать не стану. Если вдруг ты... восплаеешь — я уйду с Олимпа. Расторгну наш союз, если вдруг ты решишь последовать за стихией Афродиты и жениться на той, в кого влюбишься. Объявлю, что ты свободен. Об одном прошу — если вдруг соберешься бегать по

любовницам — не бери их на Олимп, не дари бессмертия. Позора я не потерплю.

— Не собираюсь, — сказал я. — Царю не к лицу.

Потом мы еще молчали, глядя как Амалфея и Эвклея решают возобновить прерванное выяснение — кто тут у пещеры хозяин. Выясняли бурно, с переворачиванием котелка, прыжками через котел, воплями. Эвклея коза все-таки отогнала, подошла победительницей. Ткнулась лбом в колени Гере — признала хранительницу очага.

Предательница.

Ох, и пара из нас будет — вообразить страшно.

— Так что тебе нужно? — нарушила молчание Гера. Уверенно. Громко. На правах союзницы.

Я почесал нос. Покосился на овец Нефелы — облака лениво гуляли по небесному пастбищу.

— У тебя, случайно, нет чудовища?

— Какого?

— Лишнего. Которого не жалко. И желательно, чтобы еще — могучее и жуткое. А?

— А тебе оно нужно?

Качнул головой. О-о, как оно мне нужно. Нужно до того — хоть к бабушке иди, проси, чтобы она родила что-нибудь. Только ведь потом бабушка обидится — когда увидит, что с чудовищем случилось.

Нужно до того, что я на тебе прямо сейчас жениться готов, сестренка. Если вдруг у тебя есть какое-нибудь чудовище.

— Состязание, — тихо сказала Гера. — Зрители на трибунах. Бойцы. И вдруг...

«Вдруг появляется беда. Многоглавая — хотелось бы — могучая беда, которая идет править. Идет... побеждать. Беда, с которой не справиться никому из победителей. Которую не одолеть — даже если вдруг состязающиеся заключат союз. И тогда...»

— Тогда появится царь. Который одолеет общую беду. Спасёт всех. Который станет победителем, не участвуя в соревновании и...

«...и против которого никто не осмелится поднять голос. Которого полюбят глупцы. Против которого промолчат те, кто умнее. Царь для всех».

Только вот оказывается — чудовище не так-то просто откуда-то взять.

— Не взять, — отозвалась она тихо. — Но можно ведь вырастить... Ты знаешь гору Арим? Драконы устраивают свои гнезда на ее склонах. Закапывают в камень, хоронят в почву — и гора рождает их из камня, из почвы... говорят — если на склон Арима посадить трость — она прорастет.

— Драконье яйцо? — переспросил я. — Понадобится что-нибудь покрепче. Кровь подземных чудовищ или...

— Кровь того, кто один раз был уже побежден и внушает страх всем, — кивнула сестра. — Только вот у кого могла сохраниться кровь Крона, повелителя Времени? Даже и не знаю.

И задумчиво кивнула, снимая с шеи искусно выделанный маленький сосуд.

— Что ты так смотришь, брат? Богине домашних очагов приходится быть запасливой.

Странное это чувство — когда скрепляешь собственный союз не своей кровью, а кровью отца, сброшенного тобой в Тартар.

И еще вопрос, какой из союзов будет нерушимее.

— Не повезло, брат! — улыбается Эпиметей. — А я-то думал, ты и участвовать не будешь.

Прометей в ответ хмурится, смотрит строго голубыми, полными жалости ко всему глазами. Прижимает тряпицу к боку, в который угодило копьё.

Голос Провидящего тих, но ясен.

— Скажи мне, кто не участвует. Скажи, кто не участвует... в этом.

И кивком указывает на арену, где Зевс как раз одолевает нового противника — великана с Запада.

Арена велика — можно удаль и на колесницах показать, и в беге развернуться. Только вот никто не хочет похвалиться прытью. Вызывают противников соревноваться на копьях, драться на мечах, на кулаках, бороться, метать диски...

Заменяют войну — все против всех.

Титаны против богов. Боги против великанов. Великаны против лапифов. Лапифы против людей Золотого века. Люди Золотого века против титанов...

Все — против.

Все — за одно.

За трон Олимпа, будь он неладен.

Состязание бурлит не один год, побежденных глотают забвение, победителей славят в песнях, и круг сужается — к сегодняшнему бою остались закаленные, удачливые бойцы, хорошо знающие друг друга.

Сторукий Эгион и Эпаф — герой Золотого Века — сплелись в борьбе, схватились не на шутку, тела блестят от пота и масла — за Олимп!

Кронид Посейдон и титан Бий схватываются на копьях — яростно, так, что дрожит арена.

Царь Лапифов Гиперант и вождь людей Золотого века Атлет — пробуют друг друга на мечах.

Кронид Зевс и титан Иксион — бросают вызов друг другу в кулачном поединке.

Осталось не так много, и все сильнее дрожь предвкушения — кто?!

Эпиметей бросает вызов Посейдону — гонки на колесницах — и побежден, но не огорчен, потому что показал себя как следует. Машет Плеядам, рассевшимся на трибунам, машет брату — Атланту. Шепчет Прометею: «Как думаешь, она заметила?»

Прометей щурится на удобную трибуну, где возлегла с кистью винограда красавица Афродита — окруженная юными нимфочками и юными же почитателями. Пожимает плечами — честный до конца. Прометея волнует не Афродита, не бои, не Состязание.

Предчувствие пропитало воздух — только слепец бы не увидел, глухой не услышал бы.

Предчувствие вкралось на арену, где все чаще повторяются одни и те же имена.

Влезло на трибуны, где сидят жены, сестры, дочери тех, кто решил попытать себя в битве за трон. Мечется среди слуг и рабов, которые торопливо готовят освежающие напитки, разносят чаши, двигают опахала, предлагают фрукты, подготавливают пиры — пиры обязательно будут вечером, после дня состязаний, чтобы соперники могли примириться друг с другом за чашами медового вина.

У певцов, которые восхваляют славные поединки, — хриплые голоса и дребезжащие струны кифар — на струны налипло предчувствие, оно же залезло в глотку.

Предчувствие допрыгнуло даже до судейской трибуны — Нерей слишком нервно завивает седую бороду, вещий Япет мрачен, Хирон не смотрит на поединки, Стикс задумчива и даже не поглядывает на сына — Кратоса, хотя он тоже участвует... Фемида Правосудная печальна и разговаривает лишь с Афиной — дочерью Метиды, которой позволили сидеть с судьями в качестве чести: все же придумала состязание...

Состязание, которое никому не нужно — ни судьям, ни зрителям, ни самим состязающимся.

Все устали — когда все против всех.

Истрепались, измотались за годы в поединках. Наелись по горло благородством противников и честностью судей. Некоторые шепчут — лучше бы уж война...

Прометей усмехается горько и думает, что война не лучше.

И что предчувствие не зря разлито в воздухе.

Все кончится в эти дни.

Быть битве между Кронидами!

Кто обронил это с утра — непонятно. Говорили — какая-то безумная тварь из подземного мира. Кривляющаяся, мерзкая девчонка. А все поверили, подхватили, шумят, ждут — исступлённо...

Вечером на пиру чаши бросают, не допив. Песни до конца Песни до конца не дослушивают. Скорее, скорее, скорее — быть бою!

Между Кронидом Зевсом и Кронидом Посейдоном.

Ни один, ни другой не знали поражений. Оба повергают оставшихся противников с легкостью: Кратос побежден Зевсом в кулачном бою, Эгион — в бою на копьях. Посейдон одолел Дрианта, Астрея, кого-то подземного — тот отказался называть имя...

Братья идут друг другу навстречу, побеждая по пути — словно обниматься собираются.

Вот только они собираются не обниматься.

— Ну что, подеремся?!

Зевс смеется, показывая белоснежные зубы. Машет зардевшейся Деметре. Машет Гере — та в ответ только хмыкает. А Гестия тоже начинает махать.

Посейдон не смеется — стоит, набычившись, досадливо сопит — шуточки, тоже...

Остальные побеждены. Зрители пресытились зрелищем. Зрители ждут главного — кто?!

Божественное оружие — трезубец против двузубца. Блестящие черные локоны — против косматой гривы. Гибкость — против грубой силы...

Брат против брата.

Все — против всех.

Зевс встряхивает волосами, игриво улыбается — словно нимфочку решил соблазнить. Прокручивает в пальцах трезубец — легче перышка. Посейдон топчется, морщит лоб, лохматит иссиня-черную гриву, делает двузубцем короткие, нервные, острые выпады.

На трибунах затаили дыхание. Замерли чаши. Бараньи ляжки у титанских ртов тоже замерли.

Вот он — бой дня! Бой года. Нет, полсотни лет. Полсотни лет пустого трона с того времени, как Аид Мудрый сказал, что не хочет править. И из эха его голоса родился неизбывный вопрос: «КТО?!»

Уран — и тот онемел в вышине: старик вытянул шею — посмотреть на внуков. Обронил с себя покрывало — и оно упало на арену тишиной. Растеклось, заглушая звуки — и шорох песчинок показался оглушительным.

И колесница Гелиоса поехала медленнее в вышине.

Стикс взмахивает платком, затканным сценами битв и состязаний: можно...

Предчувствие падает на арену вслед за тишиной.

Брат — на брата. Брат — против брата.

Кронид — против Кронида в бою за Олимп.

Кто?!

— А-а-а-а-а!! Чудовище!

Небо содрогнулось от чудовищного кошунства. А может, от вопля. Вопль прокромсал тишину — хриплый, но пронзительный — долетел до старика-Урана, щелкнул по носу, вернулся к богине обмана и заметался вокруг нее:

— Чудовище! А-а-а-а! Спасите! Помогите!

Ата ворвалась на арену, пошатнулась раз, пошатнулась два, уселась на песок на подломившихся ногах. Пролепетала слабо:

— Я... предупредить... чуть успела...

Но ее все равно слышали. Все слышали только ее. Все видели только ее — с растрепавшимися волосами, с правдиво перекошенным испугом лицом... Одежда порвана, закопчена, на лице — следы слез.

— Там... родился. Тифон... говорят, что сын Тартара. Или сын Крона, от крови, которую кто-то... какие-то злодеи сохранили. Чу... чудовище! Вместо ног — змеи. Сто голов, сто тел, сто рук... изрыгает пламя и так... мо-могуч!

Фемида Правосудная покачала головой. Наклонилась, шепнула Афине:

— Лжет, конечно. Не может удержаться, чтобы не сорвать главный бой Состязания. Подземная...

— Может быть, — склонила голову воинственная дочь Метиды, — только скажи мне, о Правосудная — как удалось этой дочери Нюкты заставить дрожать землю?!

Земля сотрясалась мелко, часто — не в такт могучим шагам, ибо тот, у кого вместо ног змеи, скользит бесшумно... Земля тряслась от страха перед тем, кто шествовал вслед за Обманом — и ветер уже доносил клубы дыма...

За дымом явился рев, потом — вой.

Потом — крики ужаса, когда Тифон — выше самого высокого титана — явил себя перед теми, кто собрался у Олимпа.

Величественный, как Олимп. Ужасный, как война. Убийственный, как пламя.

Нагой, поросший косматой шерстью, он не стеснялся ни богов, ни титанов. Черные щупальца свисали от плеч — придатки к могучим рукам, в одной из которых — копьё. Глаза горели пламенем, пламенем облекалась широкая ладонь с семью пальцами, и пламенем пыхали драконьи головы — мелкие, злобные, воющие, — вырастающие из затылка.

Пламя пылало в глазах — густое, жадное, голодное.

Жаждущее править.

Беда оглядела противников — титанов, богов, судей. Беда гулко расхохоталась в небеса — и Уран поежился там, наверху.

Потом Тифон заговорил — выталкивал слова медленно, отрывисто, словно из раны тащил.

— Бой... — рокотнуло грозно по арене. — Со мной. Состязание. За Олимп. Править!

...молчат боги, молчат титаны. Окаменели, онемели Кронида. Бой?! Состязание? С таким противником?!

Чудовище поворачивает голову, на затылке которой копошатся другие — драконьи, мелкие, как кудряшки, но злобные, пыхающие огнем. Оглядывает площадку, трибуны, судей...

— Кто?! Со мной?!

...молчание. Молчание, как в толосе, как в водах Стикса. Сама Стикс кусает губы, сжимает в азарте копьё... расслабляет пальцы, еле заметно качает головой Силе и Зависти — не нужно, не сейчас, посмотрим...

Посмотрим.

Титаны окаменели, с места не сдвинуть. Атлант зачем-то руки приподнял — вот-вот свод на плечи примет, Прометей готов рвануться вперед: а вдруг кто-нибудь погибнет! Его держит Эпиметей: *думающий после*[1] внезапно начал думать до. За брата. Потому что...

— На-а-а куски!

Чудовище рычит, неспешно поворачивается вокруг себя, вращает в пальцах копьё — с парочку Прометеев, не меньше. К такому сунешься — а оно и правда тебя на куски. У него ж Кронова кровь в венах, так что оно наверняка еще и характером в Крона, да и вообще...

Да и вообще, рассуждают младшие титаны, потупя взгляд. При Кроне как-то жилось, при Тифоне тоже проживем. Точно проживем дольше, чем если вдруг на него кинемся.

Всем ведь известно, что побеждает сильнейший. Кто тут сильнейший? Даже вопроса не возникает.

— Посейдон! За мной!

У титанов не возникает, а у Кронидов возник. Зевс соскакивает с трибуны, всплескивает сияющими волосами, гибкий, стремительный — залюбуешься. Младший Кронид бросается в битву сходу, разит трезубцем наотмашь, прыгает в воздух, легче птицы. Средний мчится за ним, ревет в неистовстве, двузубец занесен — сейчас... удар...

Удар.

Удар-удар-удар чудесным оружием. Двумя оружиями. Собой, божественной силой...

Бьют... бьются... выбиваются.

И Тифон, сын без отца, ухмыляется внезапно знакомой кривой усмешкой на заглубелом лице.

— Мелкота...

И отодвигает мелкоту в сторону. Длинным языком пламени, огромной ручищей...

Двое сыновей Крона падают друг на друга — в жару, в чаду, чудесное оружие ковки Циклопов падает рядом с ними. Тифон вздымает руку — добить мелкоту.

Гремит воинственный клич, и в руку ударяет копьё — Афина, дочь Метиды от себя самой, вмешалась в битву.

Копьё хрустит, перемальывается в щепки, Тифон выдергивает его — царапина — ударяет Афиноу своим копьём.

Разлетается щит. Отважная почти уходит из-под удара, но отдача велика, богиня вскрикивает от боли, откатывается к трибунам.

Тифон утробно смеется, и его смех напоминает хохот гиены.

— Буду... править, — слова тяжкие, густые, громовые, раскатываются над ареной. — Победитель. Вы все... слушайте.

— Ну, что же вы! — слышится отчаянный девичий голос. — Мужчины! Так и будете стоять?! Трусы!

Гера, дочь Крона, распрямилась на своем месте, прикрыла телом худышку Гестию и

пышную Деметру. Выпятила грудь, задрала подбородок. Лук достала — обороняться, раз уж мужчины не умеют. Костерит титанов, костерит богов... кто тут еще из бессмертных собрался? Ну, и этих костерит.

— У последнего барана в стаде воинственности больше! — прорывается сквозь смех-клекот Тифона. — Хлебоеды! Давайте же, все вместе, или поднимать оружие должны женщины?!

Но титаны безмолвствуют, мнутя, прячут глаза. Титаны плохо умеют воевать без предводителей, а предводителей — нет. И вообще — как это, все на одного? Тут же арена, состязания, он — победитель... все честно.

И да, вон уже молодые Кронида попробовали. Пусть они еще раз пробуют. Если поднимутся, конечно.

Тифон ухмыляется, неспешно делает шаг — скользкий, неуловимый — и вот уже стоит перед трибуной с застывшей Герой. Протягивает широкую ладонь со множеством пальцев-отростков.

В пальцах хрустит лук.

— Смешная. Будешь... моей... женой.

Гера визжит, когда одно из длинных, хватистых щупалец ложится вокруг ее талии.

Деметра и Гестия тоже начинают визжать, крик поднимают другие женщины, мужчины орут что-то неразличимое, поднимаются Зевс с Посейдоном, в растерянности мечутся судьи, и все, все, все смотрят туда, на Тифона с Герой, на беду и незащищенную девушку в белом пеплосе и с золотистыми волосами...

Красавица. Чудовище.

Как тут взгляд отвести?

Где тут увидеть одинокого лучника, возникшего в проходе между трибун?!

Затаившего дыхание. Ждущего.

Зрителя, наблюдающего за представлением.

Чудище получилось изрядное — кто ж знал, что в горе Арим такая плодородная почва? Хватило одного драконьего яйца и крови — а вон что получилось.

Ата, которая беседовала с новорожденным титаном, утирала со лба копоть и хохотала: «Чуть не подпалил, нравом в дракона! А играть совсем-совсем не умеет, я ему только сказала про Состязание, так он даже и не дослушал...»

«Что, если он не захочет править?» — спросила у меня Гера до того, как отправиться к Ариму.

— Он захочет править, — ответил я с усмешкой — и сам почувствовал, что она получилась ледяной. — Мы не зря взяли отцовскую кровь.

Любой могучий хочет править. Иногда — даже не признаваясь в этом себе. Если он тупой, злобный и могучий — он вдвойне хочет править.

Тифон рванул править так, что я за ним едва успел.

Я уже побывал на арене, в шлеме — чтобы сотворенная тварь не разрушила чего лишнего. Придержал руку титану, пока он отшвыривал братьев. Отклонил идущее в Афины копьё.

Гера же напросилась сама, всю сцену так и выстроила: «Представь себе, чудовище хватает юную богиню... она зовет избавителя... любой вопрос о нашем браке отпадет!»

— Как бы у тебя голова не отпала до того, — фыркнул я.

Может, это была и неплохая идея: чудовище и красавица, он оплетает ее щупальцами,

она кричит, бьется и зовет, зовет...

И все взгляды устремлены на эту картину — прекрасную и жуткую.

На скромного лучника никто не смотрит.

Никто не видит лука — древнего, истертого, невзрачного, — который извлекается из-под плаща. Не замечает, как я ловлю пальцами легкую тетиву.

Прости, Тифон, ужас богов, ужас титанов.

Ты ягненок на алтаре моей игры.

Ты не знаешь, как рождаются Владыки — ты узнаешь сейчас.

Но для тебя будет поздно.

Стрела медленно, но верно сливается из уверенности, трепета вокруг, страха окружающих, отчаяния женщин... в нее вплетаются крупницы моей насмешки — прости, тебя для этого создали.

Такова твоя Ананка — прожить один день, победить на Состязании и принять мою стрелу, навсегда отправившись в Тартар.

Тетива дрогнула, отправляя в полет неизбежность. Светлую, разящую — такими бывают настоящие стрелы царей.

Такими бывают настоящие молнии.

Я мог бы закрыть глаза в этот момент — не видеть, как он ревет, отпускает Геру, хватается за пропоротое горло, как раскрывают в агонии пасти драконьи головы, как он извивается на арене, словно собираясь зарыться в землю...

Я мог бы и не видеть этого: мне достаточно было знать.

Я не промахнулся.

Но я стоял и смотрел, пока судороги не утихли. На ягненка, принесенного в жертву, чтобы не было войны — здорового, глупого, бодливого ягненка, только лучше уж такого, чем... кто там знает, что.

Надеюсь, что-то большее.

Теперь все смотрели на одно — на Тифона. Не могли оторвать взгляда от дымящейся туши, от слабо скулящих голов на затылке. От Геры, которая торопливо отползала прочь в разорванном пеплосе.

Они даже чуть не забыли про меня, но Гера прошептала — «Брат!» — и зарыдала, и протянула руки, и тогда на меня оглянулись все. Будто до того думали, что стрела прилетела из ниоткуда.

Я сошел по трибунам. Шел медленно, тяжело казалось почему-то — восхожу наверх, на крутой склон: не так ногу поставишь — вывернется, выскользнет!

Спустился. К туше Тифона, к стоявшим возле нее братьям — окаменевшим. К Гере, которая с плачем скидывала с себя щупальца.

К остальным — судьи сошли со своей трибуны почти вслед за мной, а там уже и остальные подоспели.

Откинул капюшон — и дружное аханье улетело в небо, хотя они и раньше должны были догадаться, еще когда увидели лук...

Хотя понимаю. Они тут полстолетия царя искали, а тут он к ним сам заявился. Вот — стоит: высокий, прямой и статный. Глаза мудростью светятся. На лице — суровая решимость защищать любого из своих подданных — или всех сразу, это уж как получится.

Да уж, это не мальчишка-пастушок с игрушечным луком. Этот и без козы, и одет получше — не знаю, где мне Эвклея раздобыл темно-синий гиматий, но сидит он

безукоризненно. Подчеркивает величие.

Зрелый, непобедимый Владыка. А перед ним — толпа атлетов. Посоревноваться чего-то решили, дышат тяжело, локтями друг друга пихают в изумлении.

— Радуйтесь, — сказал я, когда тишина начала становиться льдом, трескаться и колоть острыми осколками. — Я пришел увидеть Состязание.

Кивнул на Тифона, источавшего густые клубы дыма — мол, а вот оно что получилось, кто ж знал, что Аиду Тихому придется поднимать голос.

— Давайте же продолжим...

Осекся, напоровшись на тишину. В ней плавало понимание. Признание.

Какое — продолжим, если победитель уже здесь?!

Братья опустили голову — оба. Тоже поняли. И тоже осознали — что осталось сказать.

Первой начала Гера. Опустилась на колени, припала губами к краю плаща.

— Ты спас меня. Спаситель... брат. Владыка...

— Владыка... — эхом откликнулась Стикс.

— Владыка, — шепнул Япет.

И — одна за одной начали склоняться головы, сгибаться — колени, шевелиться — губы, повторяя единое, слитное, вечное:

— Повелевай, Владыка.

— Повелевай, Владыка!

— Повелевай, Владыка...

От хмурых братьев, от титанов, от сестер, от лапифов, кентавров, сатиров, людей Золотого века и всех племен — один и тот же подарок единому царю, царю, которого любят все:

— Повелевай, Владыка!

И голосам из-за спины задумчиво и тихо вторила Судьба.

[1] Эпиметей — «думающий после».

МОНОДИЯ. ТАНАТ

Разве моления смягчат твою поступь, Танат?
Все же взываю: помедли с приходом сколь можно!
О, Непреклонный, свой выбор верши осторожно.
Дай ощутить моря жизни земной аромат.

Орфический гимн

Однажды он попытался отбросить свой меч. Сперва пытался переломить — но меч изрезал хозяину руки, а ломаться отказался. Так, будто у него не было воли сломать меч — и сломать себя.

Тогда он просто отбросил его в угол, выбросил сквозь зубы: «Хватит» — и вышел в другую комнату. Наивный глупец, поверивший, что можно отказаться от проклятия, которое вошло в кровь, проросло в перья, в кожу, в дыхание... с которым родился.

Он долго сидел в своем мегароне — юнец-смерть. Смотрел в холодный очаг, который слуги не могли зажечь — сколько ни старались. Ждал — кто знает, может, когда придёт пламя.

В слепой, безумной вере, что можно отвернуться, выбросить, забыть...

Потом прозвенела одна нить. Колоколом ударила другая. Прогрохотала третья.

Он закрывался руками, а нити трескались, лопались, бились, раскалывали его мир, а после он почувствовал ножницы Старухи-Атрос — сперва на крыльях, потом на себе, на всём себе. Кажется, он хрипел, когда незримые тупые лезвия вновь и вновь вспарывали ему горло, а он улыбался губами, на которых проступал ихор — улыбался потому, что мог сражаться.

Пока боль не отступила, оставив его наедине с бесконечной жаждой. Пока пламя изнутри не разрослось и поглотило его мир.

Пока он не пополз по плитам собственного дворца, извиваясь, нащупывая щербинки плит дрожащими пальцами, желая только одного — коснуться стертой рукояти, заставить умолкнуть тварь, поселившуюся внутри, хоть ненадолго...

Об этом он не рассказывал никому. Но видения пришли после тех дней: выплывали из марева усталости, дразнились в водах Стикса.

Неясные, раздражающие своей расплывчатостью видения: какой-то бой, мальчишка крутит в руках клинок, щурит глаза... какая-то фигура под деревом над озером Амсанкта.

Две нити, идущие порознь, не задевающие друг друга. Серая нить — тусклая, холодная, нерушимая. Золотая нить — величественная, блестящая (как тут серую заметишь!)

Нити вязались в узел: нерушимый, твердый, как бывает у смертельных врагов.

А потом одна из них темнела.

— Бездарно дерешься, — говорил он себе, потому что не мог понять: которая из двух становилась чёрной.

Впору поверить было: это сон. Не имеющий смысла, навеянный близнецом-Гипносом, который любит пошутить.

Поверить мешало одно.

Чудовища снов видеть не умеют.

Меч свистнул скупо и делово. Указал нимфе, ужаленной каким-то ядовитым гадом, — всё, тебе туда, ко входу у мыса Тэнар. Подружки нимфы зарыдали хором, рассыпались птичьим плачем, насытили трауром воздух. И поплыло над травой неизменное, раздражающее:

— О Жестокосердный...

— О Неумолимый...

— О Железносердный...

От надсадного, страдающего вытья (шестой случай за сегодня среди *видящих*, что это на них мор какой-то напал) хотелось скорее уйти. Еще хотелось взять за горло какую-нибудь из этих... не ту дриаду, которая пискнула и от ужаса спряталась за дерево. Нет, эту, которая потрясает кулаками, царапает себе лицо и больше всех изощряется в эпитетах (у нее он и «приносящий горе» и «затмевающий день мраком крыльев»). Взять за горло, чтобы заткнулась. Подтянуть к себе и спросить — молча, глаза в глаза: «Что?! Что я должен был сделать? Сломать свой меч, чтобы ваша златокосая, или как ее там, и дальше плясала по лужкам? Почему вы не называете так мойр, которые перерезали её нить? Почему не плюете в сторону змеи, которая прервала её жизнь? Что вам всем нужно от меня — чтобы я отшвырнул меч и начал плясать вместе с вами?!»

Только кому какое дело — чего хочет смерть.

Танат Железносердный молча призвал к себе на ладонь взлетевшие золотистые пряди. Сжал, не пряча холодного взгляда от рыдающих нимф — что толку, через день снова песенки запоют... Развернулся, взмахнул прозвеневшими крыльями, не слушая — что там полетело ему вслед.

От этих правды всё равно не дожждаться. Он знал — чего от него хотят на самом деле. Чтобы он шагнул в Тартар, навсегда истребив Смерть. Чтобы перечеркнул собственное рождение. Или, может, перерезал собственную нить в доме у Мойр — своим же мечом.

Страх и глупость — слишком часто одно и то же.

Страх толкал их на глупость. Страх смерти подсказывал, что от смерти легко избавиться. Запереть в Тартаре, заковать в цепи — и снова настанут бесконечные, сверкающие дни жизни. А Атропос Неотвратимая перестанет пощелкивать крошечными истертыми ножницами, перерезая нити.

Если бы Танат умел смеяться — он... наверное, все равно не смеялся бы. Глупость не забавляла — раздражала, не более того.

Как мельтешение под сводами спокойного до этого мира. Мельтешение, и шепотки: «Хи-хи, вот ужо на царя посмотрим, га!», и кровожадное предвкушение, разлитое в воздухе — ожидания.

Танат поморщился, входя во дворец. Теперь вот и в Эребе эта болезнь — просочилась, зараза, проползла, одно радует — безумие не так заметно.

Это началось не так давно, со Среднего Мира, который в конце концов обрел-таки нового царя (после идиотских стычек, мелких войн и Состязания, на которое Жестокосердному приходилось время от времени прилетать). Обрел — мудрого, всеми любимого спасителя, Климена Милосердного, Гостеприимного, Богатого, Стрелка и Тартар знает, как его там еще. Победитель Тифона взошёл на трон не так давно, а о его справедливости и милосердии уже поползли невероятные слухи, и *видящие* уже не раз грозили: Жестокосердный, ты здесь до поры до времени. Вот дойдут у нового царя до тебя руки — нет сомнений, что тогда и начнется настоящий Золотой Век.

Танат молчал и резал пряди или же резал словами: «Пусть доходят». Руки же у Милосердного, Мудрого и Гостеприимного тем временем явно были заняты чем-то другим. К примеру, заздравными чашами — пиры были пышными и не на один день, и не меньше сотни сатиров сошло на асфоделевые поля от обжорства. Позже руки нового царя занялись женой — подземные с упоением обсасывали подробности свадьбы с Герой, липли к Гипносу, который на свадьбе побывал гостем. Потом опять были пиры — в честь свадьбы, как иначе.

Теперь вот руки дотянулись до братьев.

— Ну, Зевсу и Посейдону хоть бабу не давай — только дай поправить, хоть немножечко, — закатывался младший. — Они вокруг Аида с того боя с Тифоном только что не плясали.

— Если он не даст им правления — они сами поднимут восстание, — мурлыкнула Геката в каком-то разговоре, который Танат и не хотел слышать.

Жестокосердный тогда подумал, что новый царь вскоре и братьев запихнет в Тартар. Как отца — к чему лишняя обуза?

Климен Мудрый был мудр как-то по-своему (или молва как всегда врала, и он просто был недалёковиден). Как иначе объяснить то, что он решил поставить братьев наместниками. Что придумал этот жребий.

Что принял подарок.

Подарок кровожадно скалился — всеми пропастями. Облизывался кровавыми языками пламени, чавкал Стигийской трясинной, истекал вместо слюны вязкими, медленными водами Стикса.

Предвкушал.

Великая Нюкта предложила это новоявленному царьку — и Мудрый перестал быть Мудрым, согласился принять роковой дар, и не нашлось советника, который сказал бы заносчивому: «Бойся подземных, дары приносящих!»

А может, два братца слишком хотели иметь по своей вотчине — вот и решили разделить жребием: кому подземный мир, а кому водный.

Стикс позвали в судьи. Оставили остальных в предвкушении — Зевс или Посейдон?! Посейдон или Зевс?!

Танату Жестокосердному было плевать на обоих. Как было бы плевать на цвет ягненка, которого кладут на алтарь. Или на цвет очередных локонов под верным клинком.

С Зевсом или с Посейдоном — опять мир будет изводить незадачливого правителя, тот побежит искать совета к дворцу Эреба и Нюкты, потом...

О том, что выйдет из дверей Эреба и Нюкты потом думать не хотелось. О том, сколько раз им всем еще повезет — тоже.

Танат призвал чашу, сделал глоток — стараясь не вслушиваться в ворчание предвкушающего новую кость мира. Глупого пса, который не познал пока — насколько тяжкими бывают ошейники.

Мир полнился сладковатым душком сплетен, похожим на запах асфodelей, в мире плавало одно: как оно будет? А кто?! Зевс? Посейдон?!

Какой жребий? Кому суждено?!

— Мать зовет, — выдохнули позади. Близнец влетел без дурацкого смешочка, даже без предупреждения (если не считать предупреждением то, что такое хлопанье крыльев можно с поверхности услышать).

Танат не повернул головы.

— Так иди.

— Она зовет... она зовет обоих.

Танат отставил чашу. Та качнулась у поверхности стола — будто лодка, поймавшая волну. Капля алого стекла по пальцу.

Ослышаться он не мог — Смерть всегда слышит верно. Но Нюкта-Ночь не звала никогда. Раньше — никогда.

— Не тебя ли с Момом?

— Вот и я спросил, — Белокрыл не выдержал, хихикнул, развел руками, даже перестал лупить по дну своей дурацкой чашки. — А она и говорит: другого брата. Кажется, она вообще собирает всех детей.

Он встал из-за стола молча. И не торопился, хотя Белокрыл весь изнылся по пути («Чернокрыл, у тебя там перья не заржавели? А знаешь что? Ты тут пари себе, а я полетел вперед!»)

И старался не думать — что заставило Нюкту-Ночь послать за нелюбимым сыном. Впервые. Позвать в свой дом после сказанного: «Уйди и не появляйся, нужно будет — позову».

— Ты медлил прийти, — сказала она, не глядя на него, когда он вошел в мегарон отцовского дворца — последним.

— Я явился, — отрезал он и шагнул туда, где тени стояли самые густые.

Может, если не являлся — было бы лучше. Вот только если ты сын Эреба и Нюкты — тебе не так-то легко отвергнуть зов матери.

Собрались все — даже вечный старец Харон. Даже безумная, кривляющаяся Лисса Немезида с поджатыми губами, поигрывающие бичами Эринии, Керы, рыжий, хихикающий Мом...

Все, кого Нюкта-Ночь родила в наказание этому миру.

Шуршит покрывало, тянет холодом по ногам — это Нюкта вышагивает по залу, и глаза ее детей следят за ней. За нежной, мечтательной улыбкой. Глазами — глубже океана, древнее бездны. Волосами, убранными в сетку с маленькими бриллиантами.

— Скоро Жребий. Ананка-Судьба определит, кому из славных Кронидов быть нашим правителем.

Смешка нет, глаза правдивы — мать умеет играть куда тоньше Аты-Обмана.

— А после Жребия будет пир, на котором соберутся отпраздновать олимпийцы, титаны, смертные... и жители подземного мира.

Легкий шелест прогулялся по залу — покрывало? Изумление.

— Спятели они, что ли? — каркнул хрипло Харон.

— Нет, — голос Нюкты-Ночи обволакивает, поёт, скользит. — Их царь поистине мудр. Он стремится показать, что мы не враги, он перебрасывает мосты, он готов идти на мир со всеми — даже сидеть за пиршественным столом с чудовищами подземного мира.

Шелест стал громче — разрастался, ширился. Ата мечтательно хихикнула: «Какой затейник!» Гипнос выпятил грудь («Да меня все равно позвали бы!») Эринии перемигнулись...

— Ко мне гонец прибыл только что — и передал, что на пир зовут всех жителей подземного мира. Всех, кто захочет. Думаю, они скоро огласят эту весть на весь мир. Вы же... многие из вас... будут зваными отдельно. И я говорю вам — все, кто будет зван, пойдут

и будут пировать на поверхности.

Молчание упало на зал. Не было даже шепота. Не шуршали крылья.

— Служить не буду! — взметнулась вдруг Лисса-безумие. — Не собачонка — таскать куски со стола у выскочек... пусть псы давятся сами! Пусть...

Умолкла под материнским взглядом — задергалась под ледяной иглой. Звезды-глаза нежной Нюкты стали убивающими.

— Подземные не пируют с верхними, — хрипло прошамкал Харон. Полез скрюченными пальцами в бороду. — Не воют. Но и не пируют, кроме... — дернул головой в сторону Гипноса, Аты и Мома, как бы говоря — с этих что взять. — Но подземные...

— ...нынче в дружбе с поверхностью, — голос Нюкты обжигал морозом северных ночей. — Нужно встретить олимпийского царя с почтением. Должен же он увидеть будущих подданных. Увидеть... вотчину.

Радостно и кровожадно захихикали Керы, прищелкнула бичом Алекто-Эриния. Хмыкнула Немезида: «Такого насмотрится, что и лезть сюда не захочет!»

Даже Харон выпустил из себя сколько-то скрипучих смешков — показывая, что он-то выразит свое почтение новоявленному царю...

— Ты примешь приглашение.

Покрывало больше не шуршало. Но слова порхнули — и стиснули плечи холодными пальцами.

По молчанию, которое ударило вслед за этим, Танат понял, что Нюкта обращается не к Харону. И не к каждому в отдельности.

К нему. Потому и говорит, глядя в искрящуюся стену мегарона.

Вечный клинок скользнул из ножен, попросился в слова.

— С чего бы? — рубанул кратко.

— Потому что так велела я. Ты явишься на этот Жребий. Увидишь нового царя. И будешь пировать со всеми.

Эринии переглянулись и охнули. Гипнос залился дурным смехом:

— Главное — ты уж петать и плясать ему не вели, а то нам нового царя точно не дожждаться!

Звездоглазая Нюкта откликнулась своему любимчику мягкой улыбкой. Жестом показала: всё, дорогие дети, вы можете идти, лететь...

— Зачем? — спросил он, когда остальные, посмеиваясь, покинули мегарон.

Сюда долетал храп отца — тихо, из-за стены. Непомерная туша Первомрака ворочалась в опочивальне — было слышно.

Видела дурные сны, наверное.

— Потому что новому царю следует знать, с кем он столкнулся. Потому что, если они решили звать всех, — мы приведем на этот пир самую мерзкую тварь, какая только есть в этом мире. Самое страшное чудовище из всех. Пусть знают.

— Так думают остальные. Забывая о том, что это ты предложила Кронидам править у нас.

Смешок отозвался тихому звону железных крыльев.

— Потому я посылаю тебя. У остальных слишком мало разума. Я хочу, чтобы ты испытал нового царя. Взглянул на него. И сказал — насколько он силён. Насколько умён. И насколько мы правы в выборе.

Храп за стеной зазвучал тише, словно то — бескрайнее, темное, собиралось проснуться.

— Почему ты сама не хочешь на него посмотреть?

В молчании шуршало покрывало. Не давало ответа. Шептало: «Пойдешь. Сделаешь»
Вкрадчиво, как южная ночь.

И еще что-то о ненависти к проклятому чудовищу, нарушившему порядок вещей в мире. Танат не склонил головы. Ничего не сказал. Свел крылья, уходя из дворца Ночи. Если ты сын Эреба и Нюкты — тебе очень непросто отказать родителям.

* * *

Правда позвали. Пухлая вестница с радужными крыльями перехватила на поверхности, сообщила с безопасного расстояния. Жестокосердный, не взглянув на нее, свистнул мечом над головой умершего воина — и вестница приняла это как ответ, проблеяла что-то, прыснула крыльями в небеса.

В урочный день он медлил. Мойры резали нити с остервенением: наверняка дочерей Ананки не позвали на пир. Два десятка стариков, сцепившиеся ревнивцы, двое утопленников, погибший охотник, мальчик, растерзанный собаками... Танат взмахивал мечом, не взглядывая на солнце — пусть себе Гелиос гонит коней! Шагнул от хижины ко дворцу, от воплей к стонам — и думал: пусть режут. В Тартар пиршество, приказ матери и всех олимпийских царьков.

Смерть не ждет на пирах.

После полудня Мойры устали, Атропос отложила ножницы, и клинок запросился на пояс. Железносердный понял: пора. Шагнул в намеченное место быстро и скучно, не озаботившись сменить серое одеяние или надеть на волосы обруч побогаче.

Чудовище не сделать богом ни хитонами, ни улыбками — Белокрыл может не обольщаться.

Пир намечался на берегу моря.

Там на песке возвышались пиршественные шатры, больше похожие на дворцы — иззолоченные, раскрашенные. В пенных волнах мелькали тела nereid — те решили освежиться.

Под состязания расчистили площадку подальше от моря, ближе к укромной рощице — как будто этим еще мало состязаний... Шатры звенели музыкой — до отвращения разудалой, ликующей. Отовсюду несся запах еды — пиршество было в разгаре. Успели ли они вообще провести жребий? Впрочем, плевать.

Гам, песни, говор — долина кишела кострами и сатирами-лапифами-кентаврами-смертными. В шатры им ходу не было — не та знатность — но зато медового и яблочного вина было — хоть залейся, и на кострах жарились быки, бараны и гуси, и нимфы хихикали возле сатиров, кося глазами в сторону рощи, кентавры ржали и вздымались на дыбы, лоснящиеся от конского и человеческого пота, кто-то плясал, какой-то аэд отчаянно рвал глотку о победе над Тифоном...

Похоже было на битву. На несостоявшуюся битву — все против всех.

В ее разгаре.

Музыка и гомон глушили, вокруг сновали смертные, два-три раза на него налетели — и шарахнулись, где-то сгорела баранья ляжка, воздух пропах прогорклым жиром, и губы сами собой дернулись — сжались в брезгливой гримасе.

Уйти от этих... чуждых.

От не-чудовищ, от чересчур ясного дня, от пира, на котором не место смерти.

Впрочем, в шатре вряд ли будет лучше: мутило при мысли о том, что придется сидеть с олимпийцами, ловить взгляды свысока со страхом, брезгливостью, слышать недвусмысленное: «А этому что тут...» В толпе его замечают через раз, вздрагивают — и принимают за лишнее на пиру видение. Или за родича мормолик — вон они, свита Гекаты, взмахивают крыльями, показывают клыкастые улыбки заинтересованным лапифам. И бледные Коцитские нимфы — где-то в глубине, оттуда долетает тягучая песня.

И можно стоять у разных костров.

Слушать малозначащую болтовню, по крупицам просеивать нужные фразы.

— А мы с Зевсом... ка-к-то раз... и-и-и-ик, на драконов!

— А я думал, откуда Тифон получился-то...

— Д-дурак. Не за этим же на драконов! З-за этим — к нимфам. А у Зевса-то еще и нженушках — Деметра....

Шаг к другому костру.

— Ой-ой, девочки, девочки... а я слышала вот, что Зевс хотел на Афродите жениться!

— Да?!

— Правда?!

— А почему не женился тогда?

— А Деметра обещала с ним иначе — как Гея с Ураном!

— А разве он не сватался к Гере?

— Да-а-а, но Гера же в него стреляла...

— Дура! У Геры просто муженек нашелся. Наш... — с придыханием... — Мудрый.

— А Посейдон тоже на Афродиту ведь заглядывался?!

— Ну да. Только она пока от него бегаёт: а вдруг ему подземный мир достанется?

Глядишь, так и вообще обет девственности примет!

— Ахахахаха! Киприда — и обет девственности!

— А говорят, что Афина Мудрая уже приняла?

— Врут, наверное...

— Да нет, там же Гестия первая на очереди...

Шаг к другому костру.

— А-а-а вот куда все эти титаны подевались — кто знает?! Сгинули, говорят. В Тартар сами провалились — чтобы только с ним не встречаться. Да я вообще видел, как он Тифона... это я тебе скажу... я тебе скажу... ух!

Еще несколько шагов — мимо гарцующих с копьями кентавров, диких плясок сатиров...

— ...чего вообще возится с этими подземными? То Гипнос, то Мом этот... ой. Х-хайре, а м-мы тут ничего, м-мы так пр-про-прос-с-сто...

Танат не стал ждать окончания. Шагнул дальше: еще с десятков шагов, к еще одному костру, скользящих, бесшумных...

— Амалфе-е-е-е-е-е-е....!!!

Когда впереди вырос серый вихрь — Танат не шарахнулся в сторону. Остался стоять как стоял, сложил руки на груди.

Чего опасаться смерти?

Вихрь затормозил копытами и обернулся всклокоченной козой с обломанным рогом. Древней с виду, с клоками вылезавшей шерсти, но с неукротимо горящими глазами. Коза торопливо прожевывала что-то легкое и цветастое и оглядывала фигуру бога смерти

желтыми невозмутимыми глазами. Потом приглушенно мекнула и наклонила голову, намекая: я тут тупоумная скотина, за себя не отвечаю, потому пошел вон.

— Фух! Поймала! — это был второй вихрь, едва не пролетевший мимо козы. Стукнувшийся о бога смерти на излете — отчаянно и легкомысленно.

Оказавшийся девчонкой — да нет, уже девушкой — рыжей, растрепанной, будто пламя, в веснушках и в гиматии морковного цвета к тому же.

— То есть, не тебя поймала, а её, — поправились девушка, отскочив назад и выпуская из горстей серое одеяние. — Амалфея, ну ты... ну, ты вообще, о чем думаешь?! Понимаешь, с ней же только Эвклея может справиться, пока она его бодает — все как-то могут отдохнуть. А Эвклея сейчас на кухне, он же устроитель пира, вот он и выпустил ее из виду, и она сожрала новенькое покрывало Афродиты. Афродита сейчас в слезах, ее Гера с Деметрой успокаивают... Амалфея, может, отдашь? У тебя нет яблока, чтобы с ней поменяться?

Танат Жестокосердный запоздало понял, что девушка обращается к нему.

Качнул головой, стиснув зубы. Подумал: могу предложить лишь меч.

— Меча не надо, — сказала девушка, мельком глянув ему в глаза. — Лучше бы яблоко. Но она все равно уже почти покрывало доела. Все равно спасибо, что ее остановил, — она говорила, поглаживая злобную тварь и осторожно беря ее на привязь. — А то она бы тут вообще всех перебодала, она и на свадьбе Аида с Герой пыталась вот... а ты Танат, да? Сын Эреба и Нюкты?

Прозвучало странно. Неправильно, противоестественно. Так, будто она произнесла обычное имя. Не призвание, не предназначение, не проклятие, не то, что боятся произнести. Имя. Как «Пирр, пастух, сын Атрея».

Он так своё имя произнести не мог никогда. Получалось только — словно режешь по живому.

— Да. Я Танат. Сын Эреба и Нюкты.

— Ты на Гипноса похож, — улыбнулась, будто не сморозила величайшую глупость, сравнив несравнимое. — Только крылья черные. А я Гестия. А почему ты здесь? Не в шатре? Там же скоро братья жребий будут тянуть, и вообще... или тебе больше нравится у костров? Я тоже люблю огонь, он красивый. Хочешь посмотреть на мой костер?

Коза с поводка мекнула злорадно, доедая драгоценное покрывало. Мол, ты и дальше стой столбом, бог смерти.

Бездарно дерешься.

Дочь Крона — она правда дочь Крона?! — шагнула к богу смерти и бесцеремонно ухватила за рукав.

— Пойдем же, — сказала весело. — Там не так шумно, но мой костер теплее, чем эти.

«Макариос», — наконец всплыло в голове нужное слово. — «Блаженная». Счастливая в своем безумии. Первая мысль была неверной: Лисса не касалась этой девочки, она такая сама по себе. Рожденная, чтобы гореть. Не замечать... различий.

Может ли безумие быть тверже моего клинка?

Он вырвал было рукав из ее пальцев, но она оглянулась, пробормотала: «Ну, я же козу тащу...» — и попыталась поймать бога смерти за крыло. Замедлила шаг, чтобы оттащить упирающуюся Амалфею от попытки смачно боднуть какого-то сатира. Заговорила весело опять:

— А правда, что в подземном мире есть целая огненная река? Мне брат рассказывал, ну, когда он еще... не как сейчас. Она тёплая?

— Она обжигает, — сказал Танат ровно и тяжело — наконец приноровился к ее скачущей походке. — В подземном мире все или леденит, или обжигает. Тебе не понравилось бы, богиня.

— Ну, может, немного понравилось бы, — отозвалась она. — Там же целая огненная река. Ведь она же, наверное, дарит вам тепло и свет. Ведь что-то обязательно должно дарить тепло и свет... смотри, я вот эти костры почти все сама зажигала, оп!

Показала озорно запрыгавшее по ладошке пламя.

— Сестра Гера... она выбрала себе быть хранительницей семьи... А меня все спрашивают, хотят, чтобы я определилась... Они говорят: огни — это слишком мало для дочери Крона. Слишком... низко. Как-то недостойно — только зажигать очаги.

Последнее она пробормотала уже под нос себе. С раздумьем и легкой обидой.

Шепот непросто было различить в невообразимом гаме — но уши смерти чутки.

Маленькая блаженная, ты просто не знаешь, как тебе повезло. Сколько я дал бы за возможность выбрать — пусть не огни, пусть другое, ничтожное, самое дрянное, самое мелкое — но выбрать что угодно, кроме...

Хотя что может дать тот, у которого ничего нет.

Разве что совет.

— Ты знаешь мое предназначение?

Оглянулась, взглянула удивленно.

— Конечно.

— После того как я беру пряди — в дома смертных приходит холод. Тогда они зажигают очаги, чтобы утешиться. Тепло отпугивает мормолик. Эмпуса, Ламия и остальные не решаются идти туда, где огонь ярок. Люди готовят над очагами пищу. Совершают возлияния. Разгоняют тьму. Спроси себя — мало ли это.

Коза сердито засопела, уперлась копытами, и Танат без особой кичливости поддал ей коленом — нечего путь загораживать. Гестия хихикнула. Но посмотрела серьезно — и в карих глазах тлели искорки вопроса:

«Сын Эреба, ты правда думаешь так?»

«Только ни у кого другого не спрашивай», — договорил он то, что хотел сказать — тоже взглядом.

К костру они выскочили неожиданно — пробрались через высокие ряды роз («Деметра вырастила») — и предстали.

И первое, что услышал Танат, было:

— Бррр...

А потом усталое:

— Ну, конечно. Это же Гестия. Покрывало не вернула, зато это чудище приволокла. И кого-то еще заодно.

— Это Танат! — запоздало спохватилась Гестия. — А покрывало Амалфея по дороге доела. Танат, это Гера, Афродита, Деметра, Амфитрита. А Афина где-то с копьем бегаёт, жаль...

Взгляд мечника выхватил мгновенно: Афродита — ёжится, брезгливо осматривает запасное покрывало, пышная Деметра в зеленом, Амфитрита с плаксивым выражением лица... у Геры пальцы сжались так, будто стрелу на тетиву сейчас положит — правда умеет стрелять?

Выражения, правда, на лицах одинаковые. В глазах читается ясно: пойти за

покрывалом, а вернуться с козой и богом смерти — это и для Гестии чересчур.

Надрывно вздохнула Деметра:

— Ну, когда же это кончится!

Наверное, нужно что-то сказать, подумал Танат. Например, это:

— Радуйтесь.

Говорят — Танат Чернокрылый не знает, что такое веселье. Лгут.

Олимпийские богиньки сквасились до единой, когда слышали такое из уст бога смерти. Афродите так просто передёрнуло, Деметра процедила: «А что, есть причины?» Себя сохранила разве что Гера: надменно склонила голову в ответ на приветствие.

— Радуйся и ты, сын Эреба. Не потерял ли ты дорогу к главному пиршественному шатру? Тогда позволь провести тебя. Мой муж и его братья сочтут за честь, что ты присоединишься к пиру.

От холодной, пустой любезности заныли зубы. Танат чуть приподнял угол губ.

— Мало чести, о царица. Благодарю за предложение. Я найду дорогу.

— Ой! — спохватилась Гестия, когда он повернулся, чтобы уходить. — А я же тебе... огонь... красивый, правда?

Он повернулся. Взглянул в искрящийся, веселый, брызжущий безвредными искрами костер: небольшой, но ясно горящий, распускающийся десятками алых и оранжевых бутонов.

У такого костра хорошо греться тем, кому холодно. Чьи дома никогда не видели очагов. Даже тем, у кого вовсе нет домов.

— Как скажешь, богиня.

Чудовища не понимают красоты. Тепла, наверное, тоже.

Зато чудовища читают во взглядах. Тех, которые иногда теплее костров.

В которых — сожаление, потому что не удалось же показать костер как следует. И удивление — почему это сестры так? И безмолвное: «Ты, кажется, немного замерз? Или, может, тебе надоела темнота? Но ты же всегда можешь прийти к моему костру, я ведь выбрала — греть...»

Танат молча свёл крылья, шагнул к пиршественному шатру, стараясь вытряхнуть, выхолодить из себя непрошенный взгляд.

Воинам нужно не тепло. Нужен — холод. Особенно перед битвой.

Жестокосердный отстранил охнувшего божка-виночерпия. Шагнул в шатер, навстречу музыке и смеху.

Музыка взвизгнула, смех умолк.

— Ой, — сказал кто-то тихо и страдальчески.

Столы казались бесконечными. Лица — лоснящимися от жира и теряющимися в слишком светлом шатре. Взгляд мечника выхватил главное: вот подземные, вот морские, а вот олимпийцы, все сидят вперемешку.

Трое Кронилов — на главных местах. Этот — блистающий в облачении, на губах замерла улыбка — наверняка Зевс. Буйный здоровяк слева — Посейдон, как иначе?

Старшего Кронида Танат рассматривать не стал: видел в подземном мире. Да и Гипнос все уши прожужжал о том, насколько Климен Мудрый похож на отца.

Похож и похож — какое подземному дело до олимпийца?

— Радуйся, о Гостеприимный сын Крона.

Старший встал там, на конце стола — оказал честь гостю. Пришлось всё-таки взглянуть: заматерел олимпиец. Победитель — не воин, а победитель, уверенный в своей победе.

Говорил Климен просто и спокойно, без вычурности и торжественности.

— Радуйся и ты, сын Эреба и Ньюкты. Для меня честь видеть тебя на своём пиру в любое время.

Аэды, наверное, сбренчат себе пальцы, — подумал Танат брезгливо. Когда будут петь о том, как радушен и снисходителен их повелитель к созданиям тьмы.

— Прости мне моё опоздание. Меня задержал клинок.

Волна возмущения прокатилась по шатру безмолвно: мог бы о клинке-то уж и помолчать! Старший Кронид, правда, ничем не показал, что ему такие разговоры неприятны: еще раз заверил, что рад видеть сына Ночи в любое время («Ночью и у изголовья — я бы подумал», — прошипел братишка-Мом). Пригласил занять почётное место — из тех, что ближе к началу стола и самим Кронидам. Танат поблагодарил кивком (возмущения аэдам хватит на пару песен), прошел вслед за лысым и пузатым распорядителем пира.

Место оказалось рядом с Момом и Гипносом. По левую руку вздыхал голубоглазый титан — Прометей. Когда Танат опустился на своё место — титан дёрнулся было, но смолчал и голову наклонил вежливо.

— Чернокрыл, ну, ты б ещё с неба свалился, — жизнерадостно заявил близнец. — Спасибо ещё — на жребий не опоздал, он уже скоро. На кого ставишь?

— На Кронида, — отрезал Танат. Неохотно пригубил не подземное, сладкое вино. Нужно было остаться возле костра, с маленькой сумасшедшей. Она хотя бы забавная.

Гипнос махнул рукой, застучал пестиком в неразлучной чаше, повернулся к Мому — благо, было о чём говорить. Танат сидел, полуприкрыв глаза, чувствуя, как шумит пир, как волны, бурные и беспокойные, расшибаются о щит воина...

Из-за щита хорошо озирать поле сражения. Пусть и сражаются все в основном с едой (бездарно дерутся, потому что еды в изобилии). Морские, земные, подземные — надрывают глотки в шутках, устраивают поединки в здравницах. Вызывают на соревнования то кабаний бок, то приправленный травами острый сыр. Всем своим видом показывают: да только таким сражениям тут и место!

Вожди, впрочем, сосредоточенны и настороженны. Харон угрюмо ковыряет козью ногу, Япет задумался, морской Нерей озабочен, поглядывает на младших Кронидов.

Вопрос потихоньку перебегает от одного гостя к другому. Равняет подземных и морских: кто? Младший? Средний?

— Ох, нам бы царя поостроже, — ухмыляется Мом-насмешник. — Видели вы Гекату, скажем? Так надо же, чтобы — крепкая рука...

— А нам бы тоже, — вздыхает Нерей. — Вот тельхины, к слову, распустились... сколько меди дерут, чтобы один щит сковать — страшно подумать!

Младшие Крониды прислушиваются, кивают важно. Интересно, понимают ли, что над ними издеваются? Вот она — шелуха, ползет с этого пира, опадает, скользкая на пол — Крониды, вы что, ослепли?

Есть только один правитель. Победитель. Вон, с Гипносом о чем-то беседует как раз. И он не делится с вами властью — он делает из вас заместников в ссылках, откуда вы никогда не допрыгнете до его престола.

Он дарит вам раззолоченный Тартар — а вы берёте?

Брали, и еще как. Гордец и Простофиля подхватились на ноги первыми, когда в шатёр заглянула Гера — шепнуть что-то на ухо державному супругу. Тот кивнул, встал тоже — и пришла тишина.

— Время, — только и сказал олимпийский царь — и все покинули шатёр, спеша на берег Темрейского залива. Там, у алтаря, на котором стояла глубокая чаша, дожидалась ледяная, неподкупная Стикс.

— Кронида! Вы будете тянуть свои доли по старшинству. Дайте же священную клятву никогда не оспаривать владения друг друга!

Клятву Кронида не дали, глянув друг на друга волком. При этом оба возмутились: мол, да мы же братья! Да как это — друг против друга?!

Перегрызутся враз, подумалось Танату. Зевс и Посейдон — Гордец и Простофиля, Сила и Ярость — стояли друг напротив друга так, будто наконец дорвались до соревнования. Того самого, которое прервал Тифон.

За олимпийский трон.

Кому достанется вотчина побогаче? Такая, чтобы можно было со временем набрать войск — и выступить против брата на Олимпе?

— Я опускаю в чашу кварц — и пусть в нем слышится шум великого моря, что омывает наши берега, в которое текут ручьи и реки, — удела того, кто вынет этот жребий. Быть ему гонителем волн и колебателем вод. Жизни всего смертного и бессмертного, что плавает в воде...

Не дай им старший Кронид эти троны — они начали бы новую войну уже завтра. Помялись бы, посидели: ну да, брат мудрый, великий, Тифона победил... и все равно собрали бы войска или организовали заговор. Вот Климен Мудрый и решил их расчихать — не в Тартар, нет, но вполне себе. Думал, что они смогут хорошо править? Ложь. Он считает, что они не смогут править вообще. Что их затянет, перемелет, остановит нежданная вотчина.

А тогда Олимп будет в безопасности и на освободившиеся троны можно будет спокойно сажать заместников — скажем, своих детей.

— Я кладу в чашу лаву — и пусть в ней отразится мрак подземного мира, мира ужаса и печали, которым владеть тому, кому выпадет этот жребий. Ему быть властителем душ усопших и призраков памяти, всех сокровищ земных недр и всех чудовищ, что таятся во мраке...

Климен Мудрый смотрит на братьев — и в его бороде змеёй сквозит усмешка.

Теперь понятно, почему он принял предложение Ночи.

— А-а-а, чтоб тебя!!

Посейдон хмурится, багровеет, вышвыривает черный осколок лавы. Посейдону только что выпал подземный мир. Посейдон, кажется, всё-таки ждал другого, потому что всеми силами удерживается, чтобы не ругнуться как следует. Взглядывает на брата, вскидывает голову — и с губ у него чуть не срывается говорящее: «Рано или поздно...»

Рано или поздно от тебя останется лишь вместилище для Эреба, глупец.

Зевс берёт свой оставшийся жребий с улыбкой. Бросает на брата победоносный взгляд, вскидывает руку с трезубцем. Зевс светится от самоуверенности: считает, что его не потопят волны. Что юнец, которому меньше сотни лет от роду, легко справится с морем.

А гости и аэды уже заливаются поздравлениями (Зевсу достаётся больше), славят новых царей, новость долетает до неба и начинает гулять между остальными гостями, над толпой, между кострами разносится эта новость:

Подводный мир — Зевс, подземный мир — Посейдон!

— Во славу Кронидов!!!

Наверное, после этого нужно было уходить сразу. Свести крылья прямо там, шагнуть во

дворец матери, вышвырнуть ей в лицо: «Посейдон. Он могуч и неистов. И глуп», — и оставить ее радоваться.

Но проявлять непочтение к новым царям было бы не по-воински. Неосмотрительно.

Пришлось возвращаться в шатёр, на место, изредка поднимать чашу, слушать здравницы и неудержимую трескотню Белокрыла («Представляю, как там Геката на женской части развлекается! Небось, рассказывает олимпийкам о ядах. Фемида Правосудная, говорят, уже сбежала куда-то с нимфами плясать»). Старший Кронид пошёл обходить гостей вовне — одарять царским вниманием — так что за столом правили два его брата — безраздельно. Чем, надо полагать, были от души довольны. Говорили о рождении Афины, о подвигах, о состязаниях...

Танат молчал и чувствовал, как протекает мимо бессмысленный поток слов — глупых, как рой ночных бабочек. Ничего не значащих.

Провидящий сын Япета нервно ёрзал рядом и всё вздыхал. Потом вдруг Танат услышал шепот:

— Тебе лучше уйти, сын Ночи.

Бог Смерти повернулся. Чуть приподнял бровь.

Провидящий смотрел на двух Кронидов — раскрасневшихся, возносящих кубки. Хохочущий Мом-Насмешник как раз подбросил новоявленным царям вопрос: в каком мире легче править: в подземном или в подводном?

— Да что там и там править-то! — грохнул хохотом Посейдон.

Голубые глаза Провидца царя не видели. Видели — другое.

— Что ты видишь? — спросил Танат тихо.

— Поединок между тобой и Кронидом. Связанные, сжатые нити. И изменённую судьбу. Тебе лучше уйти.

— Нет.

— Нет? — прошептал Провидящий.

— Мне лучше было не приходить, — сказал Танат, собираясь подняться.

Кто там знает, что видела пославшая его Нюкта — у матери тоже есть дар прозрения...

Жаль, нельзя перенестись прямо из пиршественной палатки — это свинство, на которое способен разве что Мом-Насмешник (да еще сестра — Лисса-безумие). Танат скрипнул зубами, приподнял чашу: на гостеприимство принято отвечать, как бы оно не было тебе тягостно.

— ...да вот хотя бы и Чернокрыл!

Гомон смолк. Только сейчас, почувствовав на себе рой липких взглядов, Танат понял, что Мом-Насмешник всё так же и говорил в то время, пока они с Провидцем разговаривали. Что нёс?

— Это который Железносердный? — пренебрежительно спросил новоявленный подземный царь. — Ну, а что с этим-то?

Ясно, Мом нёс как всегда что-то дрянное. По своему обыкновению — стравливал всех со всеми. Наверное, описывал ужасы подземного мира: Харон и Гипнос уже помрачнели. Наслушались, как новоявленный царь будет усмирять вотчину.

— Так ведь свободолюбивые у нас все — нет сил, — хихикнул Мом. Он наслаждался сгущающимся молчанием — музыканты в ужасе убрали пальцы от струн. — Ну, если со стигийскими как-то понятно, то Геката-то и Чернокрыл никому сроду не подчинялись.

— Пф! — взмахнул руками Посейдон Подземный. — Вот еще — бабы опасаться. Ну, а с

этим отнимателем жизни... брат, что ты там прицепился?

Зевс предупредительно дёрнул за рукав — наверное, хотел сказать, что «этот отниматель жизни» не так уж далеко и сидит за пиршественным столом.

Посейдон отмахнулся пренебрежительно:

— Знаю. Думаешь, боюсь? Пусть знает свое место. Режет пряди и не высовывается. А если вдруг начнёт...

— Что же ты сделаешь, о могучий? — спросил Танат тихо, рассматривая искусную ковку на золотом кубке.

Палатка превратилась в толос. Даже те, кто залил в себя достаточно вина — перестали храпеть из-за стола. Посейдон встряхнулся и сбросил с себя излишний хмель, но только выпятил грудь вперед — царь же!

— Тебя не звали в разговор, Железносердный. И если брат снизошел и позвал тебя на пир — это не значит, что тут тебе рады. А на будущее помни: воля твоего царя — закон. Неисполнение ее — кара.

Танат поднял взгляд — заглянул в карие глаза, в которых полыхал азарт: «Давай же, дрянь, давай же! Ответь, прими вызов!»

Ну, конечно, он хочет ссоры. Климен воссел на Олимпе, когда победил Тифона. Среднему тоже нужна громкая победа для начала правления. Кого можно победить так, чтобы об этом говорили с восхищением?

Ты неверно выбрал себе противника, царь, отбросивший свой жребий сразу же после того, как взял его.

Ты бездарно дерешься.

— Я запомню это... когда в моем мире появится царь.

Чтобы поединок начался как следует, гость должен оскорбить хозяина. Первым нанести удар.

Значит, ты уже проиграл, о Неистовый. Ты уже покраснел. Брызжешь яростью, пальцы слепо нашаривают оружие в воздухе.

— Так приглядишься получше, потому что он уже появился!

Зевс наблюдал за братом с интересом и тайным одобрением. Мом-Насмешник умилялся, хлопал в ладоши.

Подземные молча каменели за столами.

Последний удар, — понял Танат. И можно идти.

— Так покажи мне его, о Неистовый. Я вижу лишь заносчивого юнца в царских одеждах и с двузубцем.

Миг. Два. И:

— На, смотри, подземная шваль!!

Блюдо перед Танатом рассекла секира, пущенная мощной рукой. Вздрогнул и накренился кубок, испуганно всплеснув благородной амброзией.

В едином порыве ахнули гости. Гипнос шепнул: «Ну, сейчас такое...»

Белокрыл никогда не умел сражаться. Иначе знал бы, что иногда победа в том, чтобы не брать меч.

Танат неспешно вышел из-за стола. Смахнул с одеяния капли амброзии. Бросил, не кланяясь: «Благодарю за гостеприимство, о великие», — и вышел из шатра в молчании.

Подумалось: в смертельном молчании.

Как положено.

Надеюсь, я сделал, что ты хотела, о великая Нюкта, — подумал, шагая и глядя в небо, куда уже выехала колесница матери. Или ты хотела, чтобы я пропорол ему горло прямо на пиру? Тогда тебе придется выбрать кого-то другого.

Ты хотела, чтобы я испытал нового царя? Получи: новый царь как не лопнет от чувства своей царственности. Эреб получит превосходное обличье: юное, пышущее силой. И с пустотой в черепе — такой, что туда, небось, уместится весь Первомак.

Если, конечно, получит. Подземные не спустят оскорбления своего — пусть он им же и ненавистен.

Зачем тебе ссорить подземных с новым царем, мать? Притом, что ты же его сюда и позвала?

Хочешь ускорить бунт? Он все равно бы случился. Хочешь убрать саму возможность того, что во время бунта я стану на сторону Посейдона?

Я все равно не стал бы. Ты знаешь — я не вмешиваюсь.

Нити наконец позвали. Странно, что раньше он этого не слышал. Пора было в небо, к предназначению, но все равно ведь еще ничего не кончилось...

Танат шагал по песчаному берегу — среди догорающих костров, остатков пищи, луж пролитого вина, храпевших тел. Те, кто стоял на ногах, сейчас были на площадке для соревнований — показывали доблесть. Или плясали на полянах.

Такой, как эта.

Пустая, тихая. Будто танцующие вдруг решили обойти ее стороной. Будто она — не для разведения костров, не для влюбленных парочек, не для догонялок и хороводов.

Не для соревнований.

Пустая, окруженная деревьями поляна — для поединка. Для поединка.

Хотя какой там поединок, если — не воин...

— Почему ты ушёл с моего пира? — спросил Гостеприимец. Вид у него был такой, будто он стоит здесь час, не меньше. Опершись на дерево, в обычном пастушьем хитоне и без золотого обруча.

— Потому что хотел уйти, — отрезал Танат. — Я поблагодарил за гостеприимство.

Эгидодержец качнул головой.

— Почему ты ушел с моего пира? — повторил медленнее.

«Почему не ответил на оскорбление?» — мелькнуло за шелухой слов.

— Потому что ответом может стать только вызов. Нельзя бросить вызов на пиру тому, кто только что стал царем подземного мира. Не бросают вызовов в доме, куда ты пришел званным.

— Да, — сказал Кронид, снимая с бока короткий прямой меч. — Но мы сейчас не в доме. Я отвечаю за брата: ты был оскорблен на моем пиру.

— Не тобой.

— На моём пиру или мной — нет разницы. С Посейдоном у меня будет свой разговор.

Почему-то показалось: после разговора новоявленный подземный царь пролежит с неделю.

Меч в руках олимпийца притягивал взгляд. Невинно посверкивал отличной бронзойковки тельхинов. Шептал: давай, давай же, утоли гнев, рассчитайся... и разве не хотелось встретить тебе такого противника? Разве не интересно проверить твердость руки Крониды?

— Разве ты не зовёшься Миролюбивым?

— Можно не любить воевать и уметь сражаться.

— Ты Стрелок. Разве нет?

— Оружие может быть одно. Но сражаться нужно уметь всем.

Бронзовый меч нетерпеливо дрогнул — оружие, взятое в час надобности. Оружие того, кто умеет сражаться всем.

Мечом. Копьем. Словами.

Взглядами.

Взгляды скрестились чуть раньше мечей — чернота против серого, холодного острого металла. Заскрежетали друг о друга — яростнее клинков.

«Зачем Нюкте олимпиец на троне?»

«Почему тебе не спросить об этом Нюкту... олимпиец?»

«Потому что Ата-Обман училась своему ремеслу у матери. Нюкта, конечно, рассказывала. Говорила мне о том, как не хватает вашему миру твердой руки. Что нужен закон. Что ей не хотелось бы отдавать трон ненавистному сыну. Что подземные хотят мира с поверхностью».

«Ты счел ее объяснения неубедительными».

Тело выполняло привычное: удар, уклон, отразить, отступить, шагнуть вперед. Меч пел в ладони ликующе: мечу не хотелось новых прядей, он истосковался по поединкам.

Меч не знал, что в настоящем поединке он не участвует.

«Счел... слишком убедительными. А после сегодняшнего я и не должен был усомниться. Видимо, должен был узреть: нет в подземном мире возможного царя. Разве что Танат Жестокосердный, но не хочу же я, чтобы ты взошел на трон?!»

«Не хочешь?»

«После сегодняшнего? Готов отдать этот трон кому угодно — только вот жребий взят, да и вряд ли кто согласится. Придётся посматривать».

Звон клинков. Кронид открылся нежданно, случайно, кто другой и не заметил бы, но верному клинку указаний не требовалось: рука бога смерти сама собой направила острие в незащитный бок царя царей.

Бог смерти отдернул клинок, не доведя удар до конца.

— Бездарно дерёшься, — сказал вслух. Скривил губы: чувство было — будто измарался в какой-то липкой дряни или час побеседовал с Момом-Насмешником.

Кронид закрыл брешь в обороне, отстранил клинок Таната, отскочил в сторону сам. Вскинул брови:

— Потому что пропустил удар?

— Потому что ты лжёшь.

Взгляды столкнулись еще раз — и стрела из чёрной бронзы зазвенела о нерушимость серого щита.

«Ты не воин, Кронид. Думаешь — я поверю в то, что ты пришёл ответить за брата? Сразиться? Сражаться ты не умеешь. Ты пришёл делать то, что умеешь — обольщать, подкупать... приручать, как приручил Гипноса. С ним обошлось просто: Белокрыл, думаю, был польщён, когда олимпиец позвал в его друзья».

Олимпиец готов пировать с подземными. Сколько подземных купилось на это? И среди жителей Эреба достаточно глупцов. Но Железносердный не глупец — наверняка Гипнос говорил об этом.

Чем можно привлечь на свою сторону воина? Поединком на равных. Удар — за удар. Смотри, бог смерти, Владыка — никакой не Владыка, рад помахать мечом. Сражается не

сущностью — умеет. Конечно, не настолько хорошо, как Жестокосердный, рожденный со своим клинком в один день... что ты собирался делать потом, Кронид? После того, как проиграл бы бой? Попросил бы подучить тебя драться на мечах? Несколько побед разом. Бог смерти должен чувствовать себя отомщенным: победил царя царей. Не должен выступать против Посейдона Подземного: к чему, если дрался с тем, кто выше, и победил?

Должен согласиться учить — и остаться скованным, ибо учитель — ближе друга.

«Ты винишь меня в том, что я предлагаю тебе дружбу? Что не хочу враждовать с тобой? Да. Я предлагаю тебе дружбу. Я готов учиться сражаться на мечах. Готов пировать с подземными и звать их на Олимп. Что плохого в этом?»

Танат отбил этот удар играючи: короткой усмешкой, презрительным взглядом.

«Клинок не твое оружие, олимпиец. Прямота тоже. И тебе не нужны учителя. Друзья тебе нужны еще меньше: у тебя их нет. Твоя дружба не стоит скорлупки из-под ореха. Ложь, как всё, что ты делаешь».

Гелиос-Солнце призамедлил бег своей колесницы вдалеке.

Показалось вдруг: на поляне стоят напротив друг друга двое. Просто стоят. Не сцепились, не сошлись в смертельной схватке.

Отчего же кажется: двое стоят на поле битвы? Почему беспечный Нот боится пролететь — напороться на незримое острие?

«Скажи мне, олимпиец, где сейчас те, кто принял твою сторону? Ты обещал мир титанам — не в Тартаре ли многие из них? Иногда оттуда слышны их вопли: не все понимают, как попали в Бездну. Ведь Климен Мудрый не хотел сражаться за трон. И они не хотели сражаться с ним. Так почему же они в Тартаре, Милосердный? И как скоро ты ударишь в спину каждого из тех, кто остался — Прометея, Япета, Атланта... за косой взгляд. За высказанное подозрение. За попытку облегчить участь братьев — как скоро?»

Кронид отступил, ушёл в глухую оборону. С него опадала личина пастушка — удачно принятая личина, проступал настоящий противник: хитрый, изворотливый, лживый.

Опасный.

«Я старался избежать войны. Последней войны. Всех — против всех».

«Тогда скажи мне, Кронид — где сейчас твои братья? Те, которые были за тебя. Слушали твоих советов. Верили тебе. У тебя их нет. Есть — заместники: в море и в подземном мире. Ты швырнул им кусочки власти, как лепешку псам. Скажи, они ждали от тебя предательства?»

«Они все равно бы не смогли править на Олимпе. Устроили бы междоусобицы. Они не смогли бы договориться с Геей и ее детьми...»

«Так скажи мне — где теперь Гея, Кронид? Ждёт, что ты освободишь ее детей из Тартара? Или уже поняла, что ты не сделаешь этого? Скажи, она думала о предательстве, когда вручала тебе твоё оружие? Где твоя мать — не она ли шатается в безумии над волнами Океана? Скажи, Кронид, чего, кроме предательства можно от тебя ждать? Скажи, как скоро ты ударишь в спину моего брата? Или свою жену? Или любого, кто доверится тебе?»

Танат Жестокосердный не умел говорить. Зато умел наносить удары. Разящие. Беспощадно достигающие цели.

Губы Кронида дернулись, полыхнули острые скулы, вспыхнули гневом глаза. Осталось недолго, подумал бог смерти. Осталось — всего ничего.

«Все прозвища, которые тебе дали, лживы, олимпиец. Подходит одно: Криводушный. Как у твоего отца. Потому что ты...»

Когда лицо Кронида словно окостенело, и в пальцах сам собой возник лук, бог смерти подумал только: наконец-то. Вот оно, твое истинное лицо, Гостеприимец. Наконец-то можно сражаться по-настоящему.

Лук Неба — достойный противник для крыльев смерти. Проверим, что быстрее?

Тетива уверенно шагнула назад — и на ней стремительно возникала, сплеталась из воздуха стрела. Серая, холодная, из колючей, брошенной в лицо истины...

Которую не прощают цари.

Стрела сплелась, хищно блеснула наконечником — где там черные перья? Проверить бы на прочность!

— Бездарно дерёшься, — сказал Танат негромко. Слегка надавил клинком на горло царя царей. — Ты стоял слишком близко. Это недостаток твоего лука: тот, кто стоит близко, может ударить до того, как ты натянешь тетиву и возьмешь стрелу. Раньше, чем прицелишься. Если хочешь оставаться Стрелком — держи тех, кто может ударить, подальше.

Кронид сверкнул глазами коротко, зло. Дернулся назад и почти сразу пропал — чтобы появиться за двадцать шагов впереди — уже держа лук и стрелу наизготовку, прицеливаясь...

Острые хищно клюнуло воздух. Жестокосердный увидел блик — и нырнул под него, что-то мгновенное и страшное чиркнуло по крылу — может быть, более острое, чем его меч.

Гнев Владыки.

Вторую стрелу Кронид наложить на тетиву не успел.

— Бездарно дерёшься, — холодно повторил Танат, и верный меч прижался к шее царя царей — там же, где и в прошлый раз. — Ты слишком привык не промахиваться. Однажды ты встретишь того, кто умнее тебя. Быстрее тебя. И не успеешь выстрелить во второй раз.

На сей раз Кронид скрыл взгляд за ресницами. Опять шагнул — ушёл в пустоту, чтобы появиться... где? — спросил себя Танат.

Далеко. И за спиной.

Верные крылья спасли от первой стрелы — рванули в воздух, и небесная вестница непринужденно превратила в пепел случайно встретившийся ей на пути дуб.

Целился между лопаток — мелькнуло в мыслях быстрее стрелы, быстрее крыльев. Теперь уже только — скорость на скорость.

Удар на удар.

Крылья смерти — против стрел Урана.

Взмах — мир, побледнел, выщвел, застыл скопищем бездарных амфорных рисунков, размылись в линию кусты, трава сделалась расплывчато-зеленой; взмах — фигура Кронида резко прыгнула навстречу, пальцы отпустили тетиву — и Танат сломал полёт, уходя вбок.

Вспышка почти коснулась его лица. Стрела забрала с собой пару прядей волос — как бы в насмешку над мечом.

Мы еще посмотрим, кто чьи пряди возьмет в конце, — подумал Танат, делая последний рывок.

Мы еще посмотрим — кто из нас промахнется.

— Бездарно дерёшься, — сказал Танат. Неутомимое, мягко поющее, верное лезвие уткнулось олимпийскому царю под подбородок.

— Правда? — спросил тот.

Его третья стрела касалась горла бога смерти.

Пальцы готовы были отпустить тетиву.

— Потому что однажды тебе встретится тот, кто решит пожертвовать собой. И ты проиграешь, даже не промахнувшись.

Олимпиец усмехнулся — сухо, неприятно. По-владычески.

Кончик ядовитой стрелы царапнул горло богу смерти.

Помедлил. Убрался.

Показалось вдруг: сейчас Эгидодержец закроет глаза, откинёт голову — и шагнет вперед, с упоением подставляя горло под острие.

Что-то проламывалось из взгляда олимпийца. Продиралось сквозь лживую мудрость, лживое спокойствие, лживое величие. Выплескивалось, выпускало из себя:

«А меня спрашивали?! Меня — спрашивали, хочу ли я быть этим?! Воплощенное пророчество! Выросший на Крите всеобщий смысл! Спрашивали меня — когда Крон собирался глотать своих детей?! Думаешь — я хотел быть Владыкой?! Сесть на Олимпе, взять в жены Геру, думаешь — я хотел душить их из невидимости?! Зная, что произойдет иначе?!»

И почудилось дальше — две армии, рвущие друг друга на части, плачущее огнем небо, кричащая Земля, сторукие тени...

«Думаешь — я мог сделать хотя бы шаг в сторону от своего предназначения?!»

— У тебя нет предназначения, — выговорил Танат. — Ты бог. У вас — судьба.

— Судьбы нельзя избежать, — сипло бросил Кронид. Казалось — сейчас он наплюет на величие и заедет смерти кулаком по скуле.

— Судьбу можно выбрать или изменить. Или попытаться взглянуть ей в лицо. Чудовище ничего не может сделать со своим предназначением. Можешь поверить. Я знаю.

Убрал клинок от горла олимпийца.

Отвернулся, сделал несколько шагов перед тем, как свести крылья — и поспешить к своему предназначению.

Он мог бы поклясться Стиксом, что, когда крылья уже закрывали ему лицо, увидел то, что не должен был. Вместо зелёной поляны, вместо железных перьев, вдруг пришло, будто всплыло из памяти — две нити, связанные в узел.

Прочный, нерушимый — разве что мечом разрубить...

Слышал он тоже то, что не должен был. Не мог слышать — и все же слышал прорывающийся откуда-то из-за спины прерывистый, ласковый женский шепот.

— *Попроси меня — и стану, какой пожелаешь...*

СКАЗАНИЕ 4. О РОКОВЫХ ПРОРОЧЕСТВАХ И СТРАШНЫХ ВЫХОДАХ

Каждого Крон пожирал, лишь к нему попадал на колени
Новорожденный младенец из матери чрева святого:
Сильно боялся он, как бы из славных потомков Урана
Царская власть над богами другому кому не досталась.
Знал он от Геи-Земли и от звездного Неба-Урана,
Что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном...
Гесиод "Теогония"

— Терпеть не могу пророков, — говорю я. И стараюсь не смотреть в воду или в зеркала.

Но он все равно стоит перед глазами — остроскулый, черноглазый... Ухмыляется понимающе, скотина — ну да, а то как же.

Наверное, ему тоже приходило в голову, что хорошо бы залить в глотки вещим раскалённый свинец.

Заткнуть Мойр, Япета, правдолюбивую Фемиду, старца Нерая, Прометея Провидца... заставить умолкнуть всех смертных прорицателей. Сказать — умолкните раз и навсегда, ваши пророчества еще никому хорошего не принесли.

Зачем знать о том, от чего тебе не дано убежать? Чтобы смириться? Чтобы попытаться сделать невозможное? Чтобы пытаться избежать — и через это прийти к предначертанному вернее, чем если бы ты не пытался...

Кажется, я видел уже все ответы. Иногда даже сам был — ответом. Только так и не понял — зачем.

«Это же так просто, маленький Кронид, — воркует голос из прошлого. — Есть пророчества, без которых не будет Судьбы. А есть то, что может сбыться не так, как ты думаешь. А есть пророчества-испытания — примешь ли? Хочешь, я предскажу тебе что-нибудь, маленький Кронид?!»

И каждый раз изнутри рождается крик — неосознанный, глупый, детский: «Нет, не хочу! Уходи, я не хочу!!»

И я взглядываю в воду. Взглядываю в зеркала, откуда на меня хищно, с выжиданием щурится этот — от которого я взял скулы, и глаза, и прямые черные волосы.

— У меня все было иначе, — шепчу я. — Ты понял?! Всё было иначе!

Можно шептать долго — он не поверит. Так и будет ухмыляться с отвратным пониманием — мол, конечно-конечно, совсем иначе. И повторять губами неслышно одно и то же — запечатлевшееся в нем навечно, как и во мне.

Тяжкое, неотступное, роковое...

— Тебя свергнет...

— Посейдон, — сказала Гера и запустила ожерельем в угол.

За дверями вспискнули всегда готовые услужить нимфы. Я присел на ложе — с волос капала вода после омовения, хотелось блаженно вытянуться и ни о чем не думать.

— Что опять Посейдон?

— Затеял спор с Афиной. Кому покровительствовать над Аттикой. Приглашал быть в

числе судей.

— А ты, конечно, спросила у брата, когда он уберется в подземный мир?

Супруга гневно фыркнула носом, как бы говоря — ну, ты-то не спрашиваешь, муженек. Тебе-то, видно, наплевать, что дворец у Посейдона — на поверхности, у Парнаса. Зевс, царь морской, в подводном царстве, а Посейдон... а Посейдон через день на Олимп в гости. Как к себе домой.

— И что ответил?

— Грхм, — отозвалась Гера, свирепо сражаясь с высокой прической. Прическа сопротивлялась героически — такую крепость без армии не взять.

Ясно. Опять, значит, поинтересовался, какое до этого дело Гере.

Нужно сказать, средний братец неплохо устроился. Вроде бы, царь. И даже пирует с подземными. Только вот пирует на поверхности, у себя во дворце — там и Гипнос бывает, и Стикс с сыновьями, и Ахерон захаживает, и кое-кто из Стигийских. Вроде бы — наведывается в вотчину, смотрит, как дворец строится... А вот на трон как-то и не торопится. Почему нет: нимфы на поверхности красивее, пиры — пышнее, а на подземных можно и так полюбоваться.

Волосы сдались, распустили войска — золотые пряди разбежались по плечам, легли легкими завитками, подмигнули медовыми отблесками из глубины. Пряди нужно было усмирить гребнем — и царица олимпийская взялась за это с рвением. Если не с остервенением.

— Это же ты ему посоветовал. Посейдону. Самому б ему мозгов не хватило.

Я растянулся на царском ложе — с трудом сдержал сладостный стон. Всего-то два пира, три с лишним десятка судов и новый сын у Зевса — а усталости столько, будто мне на плечи гору Олимп навалили.

Впрочем, когда еще с женой разговаривать, как не в спальне. Эта традиция завелась еще со свадьбы, когда первое, что Гера заявила мне в гинекее: «Дочери Атланта говорили — он что-то задумывает там, на краю земли. Ты слышал?» Я тогда ответил в тон, стаскивая с нее праздничный убор: «Да он против Зевса планы вынашивает, Майю на свадьбе видела? Нет, беременна она». Так и повелось.

— Почему не Зевс? Брат тоже бросается... советами.

Иногда просто хочется упомянуть Зевса, чтобы услышать еще раз, как она фыркает. На Зевса — отдельный звук: презрение пополам с пренебрежением.

— Этот делатель детей? Он вообще выныривает из своих глубин для чего-нибудь другого?

Не знаю, женушка, ой, не знаю. Младший брат тих. Покладист, мирен, открыт. Никуда не лезет, ни с кем не ссорится. Кроме жены, конечно.

Так что меня это всё начало здорово настораживать за последние три десятка лет.

— Видела Деметру?

Гера недовольно засопела и дёрнула гребень яростнее. Ойкнула и с возмущением глянула на прядь — мол, будешь так себя вести — вообще отрежу.

— Ты ее, что ли, не видел?

— Только с утра.

С утра Деметра заявила ко мне с очередной жалобой на муженька. Рассказывала о каком-то мальчишке, похищенном морской тварью и взятым Зевсом в виночерпии. О фиванской царевне. Еще о ком-то. Смотрела и просьбой, требовала: уйми его!

— Половину дня сестра мочила пеплос слезами мне, — процедила Гера. — Вторую половину, думаю, — Гестии. До того, как вцепилась в волосы Афродите.

— Почему я этого не видел?

— Потому что был на первом пиру, у эфиопов.

— Оно того не стоило, — буркнул я в полудреме.

Гера наконец сняла одежды, нырнула под одеяло, улеглась на ложе рядом. Хихикнула.

— Мы вовремя их разняли. Но Пеннорождённая завтра точно явится с жалобой. Ах, с Мудрый, твоя сестра разодрала мне одежды и поцарапала плечико, вот, взгляни...

Я застонал сквозь стиснутые зубы. Киприда пыталась соблазнить меня за последние полвека не менее тысячи раз. Не говоря уже о сварах с Деметрой и плачущей Амфитристе-океаниде, жене Посейдона.

— Выдам её замуж за Гефеста — и в Тартар.

— Думаешь — её это остановит?

— Думаю — нет. Что ты решила с Деметрой?

Кто-то сказал бы — безумие, бред. Аэды глотки сдирают в кровь, когда живописуют — как оно там у Климена Гостеприимного в спальне. Вот золотые светильники искусной ковки, вот ковры, затканые драгоценными узорами. Вот царское ложе — да уж, царское, плясать можно.

А что между царем и царицей можно пару титанов положить — о том аэды как-то и не догадываются. Или о том, что царь и царица засыпают вот так — перекидываясь фразами, поглядывая в сумрак спальни.

Правда, иногда и придвинуться приходится. Чтобы голос не напрягать. Нет, в самом деле, кто выдумал это ложе, а главное — для чего выдумал? Чтобы муж с женой могли веками не видеться?

Гера как-то высказалась, что на этом ложе мог бы возлечь Зевс со всеми своими любовницами.

— С Деметрой? Успокоила, как всегда. Сказала, что твое терпение на исходе, и скоро ты подвергнешь Зевса страшным карам. Отберешь трон, самого в Тартар сошлешь за неверность... Или как с Ураном... Деметра любит мужа, она перепугалась. Месяц жаловаться не будет.

Я не выдержал — сонно засмеялся в темноту.

— А, да. Девочку ее я пристрою к Афине в обучение. Деметра хотела к Фетиде... но Фетида не защитит ее от... пролетающих мимо настырных птиц. Мне пришлось учиться стрелять.

— Угу, — сказал я. Перед глазами мелькали лица, вздымаемые кубки, смеющийся младший, почему-то Мом-насмешник... — Какую девочку?

— Кору. Рыжую.

— Не помню такой.

— Ты был на пиру в честь её рождения. Шестнадцать лет назад.

Тут фыркнул я — от жены научился, наверное. Да если вспомнить все пиры в честь отпрысков Зевса...

— Они в пеленках все одинаковые. И вообще, у Зевса что — есть дети от Деметры?!

Гера придвинулась еще ближе, устало хихикнула мне в плечо. Ну, ты так-то уж не притворяйся, — звучало в ее смешке. Всем известно, что Климен Мудрый — еще и Климен Всеведущий. Лучшее всех знает, кто с кем в родстве, кому сколько лет и у кого с кем тайные

связи. Внушает своим всеведением уважение и страх.

Так-то оно так, только треть этого всеведения — шлем-невидимка, а вторая треть... вон вторая, в плечо дышит, щекочет волосами руку.

— Сестре тяжело. Зевс не простил ее за первенца... за Гефеста. За его уродство и за то, что она попыталась от него избавиться.

Или за то, что не избавилась до конца. Неудачно сбросила с Парнаса, где рожала — так, что Прометей подобрал. Отнес тельхинам, обучил мальчишку всему, что знал... видел его сегодня — Хромца. Зевс изо всех сил делает вид, что гордится сыном.

Не верится ни на миг.

— Теперь она страдает от его измен и опасается за дочь... ты говорил с ним сегодня?

— Говорил.

Что там говорить, если пир — в честь рождения очередного отпрыска от очередной нереидки? Тритоном назвали, мне только и осталось, что поздравить счастливого папашу и напомнить: у тебя вроде как и законная жена есть, может, на нее поглядишь?

Зевс глянул чистейшими глазами, развел руками: ничего не делаю, почитаю жену. Но как же не отпраздновать, сын же родился. И вообще, Владыка Олимпийский, вот есть кое-что, что удержать не так-то просто.

— А ты ему?

— «Уран тому свидетель».

Правда, сказал я это тихо, но младший сам повторил, заливаясь смехом. И пообещал примириться с женой. Он всегда так делает, когда я начинаю говорить о верности. Иногда добавляет еще: «Тебе повезло, у тебя-то Гера!»

— Владыка, — насмешливый шепот обжигает плечо. — О чем думаешь?

О чем думать Владыке перед сном, когда наконец добрался до ложа, согрелся и лежишь, укутанный уютom?

— Хочу утку в меду. И сбежать в пещеру на Коркире.

— Угу, — хмыкает жена. — С козой. И этим своим распорядителем. И чтобы просителей не пускали.

— Особенно Афродиту.

Только вот какие козы, какие пещеры. У нас тут Золотой Век. Нет войн, нет ссор, Климен Мудрый стоит на страже закона и справедливости. Твердой рукой наводит порядок. Судит, устраивает судьбы, щедрой рукой сыплет благоденствие из сосудов на головы смертных и бессмертных...

Если вдруг Владыка куда-нибудь — как пировать, как суды решать, кто на соревнования смотреть будет?!

— О чем думаешь, царица?

— О наследниках, — призналась тихо, вздохнула в плечо. — Деметра говорит: как это, пока ни одного? Да и все остальные тоже.

Зевс мне сегодня то же самое говорил. А до того еще лет тридцать, не меньше. Смеялся — мол, где твой-то, или от мудрости великой не знаешь — как оно там, с женщинами?

— Надоели сплетни?

Гера передернула плечами. Отвернулась спиной. Голос у нее зазвучал чуть приглушенно.

— Если ты — жена Климена Мудрого, Гостеприимного и Милосердного — ты должна привыкать к сплетням. Я привыкла. Я отвечаю, что Климен Мудрый ничего не делает просто

так. Что мы родим наследника, когда ты считаешь нужным. Просто... у тебя есть дочь, Афина. А у меня...

Я старался не скрывать от жены ничего — союзникам в битве говоришь правду. Не говорил только о Метиде. О шлеме-хтонии и о том, за что он был получен.

— Давно догадалась?

— Я богиня семейных очагов. Я могу узнать, чья передо мной дочь. Нужно только взглядеться как следует. Просто мне тоже хочется...

Наверное, она впервые заговорила о том, чего хочется — ей.

До того были только мы и наш союз.

Она устраивала свадьбу, предоставив мне разобраться с началом правления и с заключением союзов. Принимала жен союзников, выслушивала их жалобы и всегда говорила только: нужно.

«Нужно будет помирить Майю с её отцом, это добром не кончится».

«Мне нужно погостить у Деметры, она того и гляди засуху устроит».

«Тебе надо бы что-то сделать с этим Гермесом — крадет же что ни попадя!»

Аэды — самые смелые — поют на земле, что у Владыки Климена очень властная жена. Она, якобы, даже осмеливается поднимать перед ним голос на советах.

Только вот до этого я не разу не слышал от нее — «хочется».

Но уж если хочется...

— Ты что? — шепнула она, когда я взял ее за плечи и развернул лицом к себе.

— Наследника будем делать, — заявил я, смаргивая сонливостью с ресниц. — Раз уж хочется. А то действительно непорядок — тебя там ещё не измотали вопросами, что со мной не так?

— Измотали... — жена шептала в потолок, уже поверх моего плеча, уже прижимаясь, обхватывая руками, принимая поцелуи и шепот — равно.

— А ты им — что?

— А я: «Так ведь он не Зевс, у него всё в ум ушло...»

Даже как-то обидно. Даже как-то и хочется отомстить за такое (а потом отдохнуть и ещё раз отомстить). И доказать, что в ум у меня как раз ушло не всё, и ежели нужно — я ещё и Зевса могу уделать (только не хочется добавлять к моим многочисленным титулам еще и Приапоподобный). И вообще, не так уж редко мы с Герой делим ложе, не знаю, кто виноват, что у нас нет наследников.

Может, нам слишком мало пока что этого хотелось.

Может, было мало страсти: вон, Посейдона недаром Жеребцом прозвали, уже полцарства заключает ставки — что ж у него в подземном мире родиться может.

А может, с союзниками обычно не спят. Долг исполняют. Хотя, нужно сказать, долг исполняется очень даже... побольше бы, в общем, таких долгов.

Так и хочется сказать: Кронид, что тебе ещё нужно? Вот, лежишь ты в царской спальне, обнимаешь жену, с которой только что делали наследников, жена пытается отдышаться и слегка улыбается и даже не против — чтобы ты ещё раз отомстил за её слова про Зевса и ум. А до того был ещё один день, и золото трона было нежным и податливым, как тело супруги, и глаза тех, кто был в зале, сияли от восхищения, и на земле стоит мир — твоими усилиями, Кронид, вот уже пять десятилетий. Стоит, не дёргается.

Золотой век — время мудрости, любви и поэзии. Детей расплодилось, скульпторов и архитекторов развелось — плюнуть некуда. Смертные если и воюют — то помаленьку,

грешники объявляются — так где их не было, титаны, боги и смертные племена живут мирно. В море все довольны владычеством Зевса, в подземном мире все исключительно озадачены тем, что Посейдон владычествовать так и не пришёл... Так что тебе ещё нужно, Кронид?

Может, чтобы в ушах перестало греметь непрошенное — «Бездарно дерёшься!» И горла перестал бы касаться воображаемый меч — почему-то мне кажется, что этот меч изогнутый, хотя я расспросил Гипноса специально — нет, у его братца прямой. Какое мне вообще дело до слов младшего сына Нюкты и до его меча — вот что непонятно.

Может — чтобы Зевс стал менее мирным и перестал вызывать подозрения своим дружелюбием.

Может — чтобы мать перестала скитаться по краю света: она сбегает из-под присмотра верных нимф, а поместить её под стражу я не могу, скажут, плохой сын...

Может — чтобы перестало звенеть оружие в коридоре.

Тихо, вкрадчиво. Почти совсем неслышно. Можно даже сказать — беззвучно, как шаги тех, кто идёт по коридору к спальне. Если бы царь и царица вдруг спали — точно, наверное, не услышали бы.

Вот только царю с царицей взбрело в голову делать наследника как раз в глухой час: Ананка к заговорщикам немилосердна.

— За нами? — шевельнулись губы у Геры. Жена побледнела: это видно было даже во тьме.

— Угу, — ответил тихонько. Не меньше десятка здесь — а сколько их всего? Решили захватить тихо или будут брать дворец?

По коридору почти неслышно пошёл второй десяток. Божки, лапифы, сыновья титанов... кто ещё может быть? Неважно, важнее — что делать.

Ответ явился сам собой: пришёл гибким, капризно изогнутым, теплым металлом, втиснулся в левую ладонь.

Не промахивайся.

— Аид, они что-то подготовили, — супруга шепчет очевидное, но хорошо, что она понимает. — Иди один. Женщине они ничего не сделают.

Второй ответ явился незванным, непрошеным. Шлем толкнулся в правую ладонь: как, невидимка? Если уж не промахиваться — то из пустоты...

Дверь-предательница распахнулась беззвучно, пропуская незваных гостей.

Жена улыбнулась краешком губ. Шепнула, верная союзница: «Я задержу».

За миг до того, как подскочить на кровати с пронзительным визгом.

Ко всему готовились заговорщики — но вот узреть царицу олимпийскую совершенно нагую, с растрепавшимися золотистыми волосами, в ослепительном свете загоревшихся светильников и истошно орущую — к такому их подготовить не могло ничто.

Бедолаги челюсти обрости. Не на миг, не на два — надолго обрости челюсти.

Мне хватило.

Скатиться с ложа, одной рукой надевая на голову шлем-невидимку. Нырнуть в широкий дверной проём, шмыгнув мимо хлынувших в спальню заговорщиков — те так и не поняли, что их растолкало...

Геру тоже хватило времени. Чтобы призвать колчан (свой лук она позвала ещё в темноте, сразу же).

И выстрелить дважды. Не прекращая визжать.

Я схватил это зрелище краем глаза — ослепительное зрелище! Обнажённая лучница, стоящая среди разметанных одеял, натягивает тетиву — и ближайший к ней воин опрокидывается со стрелой в глотке.

После второго выстрела на неё упала сеть — прочная, ковкая, от такой никакой лук не спасёт, почему-то показалось — произведение тельхинов или этого сынка Зевса, который хромой...

А уже ещё через мгновение тишина, потревоженная воплем Геры, взорвалась окончательно: бряцанием оружия, грохотом, ругательствами, воплями.

Весь дворец — и во внутреннем дворе тоже закипела схватка.

Заговорщиков было точно не три десятка. Вспомнилось, что к завтрашнему дню прибыл сын Понта, Тавмант, младшее поколение титанов, а с ним свита... вот, значит, какая у него свита.

Впрочем, возможно, там ещё сегодняшние якобы просители, не дождавшиеся встречи с царём. Да и не так уж сложно проникнуть на Олимп — Золотой же век! Не время для войн не время для заговоров...

...не время для раздумий.

Верный лук вздохнул под пальцами с укоризной: давно не виделись! Я стрелял с конца коридора, быстрее, чем стучало сердце: стрелы летели дробнее капель — одна стрела, не настоящая стрела, стрела циклопскойковки...

Белый мрамор коридора стал розовым, алым, серебристым от разной крови. Загремели вопли:

— Где? Где он?!

— Тут только она!

— Он убивает со спины!

В чем дело, заговорщики? Не нравится, когда вас так — исподтишка? Со спины, не предупреждая и из невидимости?

Вы бы лучше не связывались. У меня большой опыт, вы просто этого не знаете.

Те, кто в Тартаре — могли бы рассказать.

— Где он?! Где-е-е-е?!

Новая игра: поймай невидимку. Игра без выигрыша — как с Атой.

Поставите ваши жизни, а, заговорщики?

Я не промахнулся по четырём главным — лапифу, божку и двум титанским сыночкам. Потом посмотрю, кто это. Остальные затоптались, соображая, что делать: бежать? искать? затыкать царицу, которая в сетях, но которая так и продолжает орать?!

Овцы без пастыря. Ягнята на алтаре. Этих трогать — только тратить время. Мне нужно — дальше. К тем, кто командует, к тем, без кого эта суматоха заглохнет, ночь угомонится, остальные тупые бараны потеряются окончательно...

Бой кипел во дворце — во всех коридорах. Кто-то уже вопил: «Горю!» — видно, полез в спальню к сестрёнке-Гестии, а она спросонья тоже вспоминает про кровь Крона в жилах. Я бежал, на ходу выщеливая нужное — главных, нудно и быстро убирал их с моего пути — и подобие действий сменялось растерянными воплями.

Крики. Кто-то на плече тащит прочь Афродиту. Пусть тащит хоть в Тартар. Труп с раскроённой секирой головой. Кентавр встал на дыбы — стоп, он обороняет комнаты вместе с местными нимфами. Золотоусый и громкоголосый командир отряда — прочь. Вон тот, с длинными волосами иззелена — прочь. Пропустить копьё, которое случайно может сделать

мне дыру в спине. Не промахнуться ещё три раза.

С кухни заговорщики уже бегут — надеюсь, Эвклея не посчитал, что они на его вотчину покусились, его ж потом придётся мне удерживать... Не промахнуться. И ещё не промахнуться. Стрела летит стремительно и празднично, лёгким бликом поражает глупые мишени — словно нанизывает на солнечные лучи. Ещё. И ещё. И ещё. Взглянуть в окно: там уже слышен клич Афины, дочери проще принимать бой во внутреннем бою. Мелькает копьё, унося тела.

Не промахнуться ещё по трём, которые отдают распоряжения — что лучше делать со строптивой богиней. Теперь Афина всё закончит сама.

— Где?! Где?!

Где Климен Милосердный и Мудрый? Вот уж не знаю. Наверное, исчез. Стал Аидом-невидимкой.

Где те, кто начал всё это ночью?

Конечно, там, где стоит золотой трон правителя Олимпа. Они ведь уверены, что, если поместить на трон своё седалище — станешь Владыкой.

Думают, так куются настоящие цари.

Куреты — те самые, которые когда-то хранили меня на Крите — лежат в крови у дверей моего тронного зала. К ним уже явился этот младший сын Нюкты, который мнит себя таким хорошим воином. Жаль — явился и тут же ушёл, получил бы от меня стрелу до того, как успел бы сказать, насколько я бездарно дерусь.

Я не дерусь.

Я — не промахиваюсь.

У дверей зала они приготовили ещё одну сеть. Я проскальзываю под ней, падаю, выпускаю стрелу ещё дважды — по тем, кто держит сеть, по двум шестируким великанам. Потом не промахиваюсь ещё и ещё — по всем, кто стоит в зале, переступая и уходя за троны, огибая сети, которые могут поймать меня, будто драгоценную рыбу...

Тетива звенит и звенит, и от моей стрелы не спасают щиты.

Выживают те, кто падает на колени. Кто стонет, и молит, и вопит: «Пощади, Владыка... Повелевай, Владыка...»

И я слышу в их голосе правдивый страх — и правдивое желание повиноваться.

Тогда я снимаю шлем — всё ещё скрываясь за колонной зала. Испаряю его из руки. Иду, на ходу облакаясь в хитон — совсем забыл об одежде. Эта — не праздничная, царская, а пастуший хитон, короткий.

Я ступаю по полу моего тронного зала босыми ногами. На мне нет царского обруча, и волосы встрёпаны.

В опущенной руке — немыслимо потёртый лук.

Почему же вы отступаете и боитесь смотреть на меня, заговорщики?!

Вот ваш командир — расселся на золотом престоле. На тёплом троне, который мне пришлось греть пятьдесят лет. Сидит и смотрит. Сглатывает.

Он, ведь, наверное, царь Олимпа — раз он на троне-то?!

Тавмант, сын Понта. Могучий, грозный, серебряно-волосый, в руке — тяжёлое копьё.

Почему же он его не метает? Или считает, что копьё не тратят на пастухов-лучников?

Не боится же он, в самом деле. Крон, помнится, не испугался такого пастушка. Хотя у Крона пастушок был юнее.

Или, может быть, Тавмант, сын Понта, вдруг осознал, что занял чужое место и его

сейчас попросят подвинуться?

Потому что он не просто не царь. Он тут даже не главный заговорщик.

— Кто? — тихо спросил я, останавливаясь в середине зала. Он сидел неподвижно. Молчал. Вздрагивал губами. Смотрел на то, что было за моей спиной: тела тех, кто дерзнул и преклонившие колени — те, кто уже не дерзнёт никогда, одного раза хватило.

Губы силились выговорить и не могли — ложное «это я».

Царям не лгут.

Даже взглядом.

Я увидел их в его глазах. Два образа. Двоих заговорщиков — неожиданного и ожидаемого. Явного и тайного.

Кивнул.

Поднял лук, плавно оттягивая тетиву, свивая в первый раз за ночь настоящую стрелу — из усталости, и крови тех, кто лежит за мной, и холодного раздражения настоящего Владыки.

Я не промахнулся.

Тавмант, сын Понта, не охнув, стёк с золотого трона. Слегка запачкал ихором, отчего тот ещё больше просиял.

Подмигнул даже, кажется. Мол — как мы их, да?

Ага, кивнул я в ответ. Увидимся завтра.

Повернулся к горе-заговорщикам, которые так и стояли на коленях, не смея взглянуть.

— Можете смотреть, — может, и могут, но не решаются. — Этого вместе с остальными телами — во двор. Оповестить остальных, что всё кончилось. Сделаете так, чтобы другие остановились — вспомню, что меня называли Милосердным.

Кончилось всё довольно быстро.

Может, заговорщики бывшие постарались — объявлять о конце заговора они понеслись на редкость шустро. Может, это был мой лук.

Или мои сторонники — те из них, которые успели схватиться за оружие, сражались отчаянно.

Некоторые, правда, не успели.

Тела после сносили во внутренний двор — все, только раскладывали по разным концам, как я распорядился. Во дворе я нашёл Афины: с царапиной на щеке, щит во вмятинах, пеплос подран, по руке сбегает струйка ихора.

— Сильно? — спросил я. Дочь усмехнулась, махнула рукой: глупости. Коварная прядь весело запрыгала по раздумявшейся щеке, ускакала на нос.

Афродита рыдала неподалёку, заламывая руки: Пеннорождённую почти что успели умыкнуть из дворца, копьё Афины остановило похитителей, когда они уже грузили добычу на колесницу.

— Гестия...?

— С ранеными, там ещё Пэон и Фемида, — отозвалась дочка.

— Ты вообще тут как оказалась?

— Ну, во-первых, десяток они направили в мой дворец... а во-вторых, Гера орала так, что и до меня долетело.

Гера вышла во двор, постояла, махнула — мол, жива, цела, ты как? Махнул в ответ.

Прошёл вдоль рядов, перешагивая через ручейки разноцветной крови: нимфы, сатиры, кентавры, полубоги, лапифы... богатая жатва для младшего сына Нюкты.

Разнообразная.

Посреди мёртвых, с краю двора, растянулась Амалфея. Огромная, совсем седая, в тёмной крови. Рог обломан — торчит в боку вон у того лапифа, на другой стороне.

Бока чуть-чуть вздымаются — волнуются, как море в штиль.

В последние годы старость брала своё: коза была долгожительницей, но не бессмертной. Ходила всё медленнее, видела и слышала всё хуже, и амброзия не помогала старой кормилице. Вот и жила она в почёте в прекрасном стойле, где вдоволь было любой еды, на выбор, где под хорошее настроение можно было погонять рогами приставленных слуг (те ходили, потирая бока и подумывая: когда ж околеет «зверюга жуткая»?). А тут, видно, в козе пробудилась боевая юность — вот она сорвалась с привязи (на шее привычно болтается обрывок веревки), понеслась во двор — слепо, защищать выкормыша...

Успела убить двоих и потоптать третьего — копые которого, обломившись, застряло у неё в боку.

— Защитила, — сказал я тихо, поглаживая козу между рогов. Амалфея слабо мекнула: «Ме-есть?» — потянулась зажевать мой хитон — мол, я тебе ещё покажу!

Не дотянулась. Отправилась, наверное, куда-то на козьи асфоделевые поля: гонять пугливых зверей, жевать душистое сено, злоредно топтать цветы.

Оставила пастуший хитон нетронутым — да и зачем теперь пастуший хитон?

У пастушка-невидимки была коза когда-то.

Теперь вот есть трон.

Я распрямился — и багряный гиматий пал на плечи, привычно закутал алым. Дочь стояла рядом — ждала. Смотрела вопросительно.

— Литос? — так она называла меня только когда дело было плохо. Почти не называла. — Кто начал это? Ты остановил их?

— Остановлю, — сказал я тихо. Будь моей вестницей... дочь.

Эос-Заря шагнула в небо — подкрасила его багряным, в тон гиматию. Пролила золотые краски на двор — в тон веку.

Золотому Веку. Веку без войн и заговоров.

* * *

— Зачем? — спросил я.

У Посейдона я «зачем» не спрашивал. С ним как раз всё было ясно. Ясно было даже — почему он не полез в эту кашу сам.

Видно, проверял. Или понимал, что даже двузубец может не выстоять против лука Урана. Потому он просто выделил заговорщикам самую исполнительную часть своей свиты.

Решение тоже было ясным — с самого начала.

— Убирайся в свою вотчину, — было сказано Посейдону устами Афины. — Убирайся сейчас. Полстолетия тебе запрещено появляться на поверхности. Потом я решу.

Средний, конечно, расхохотался: «Девочка, ты в уме или нет?!» Смеялся до тех пор, пока понял, кто говорит с ним через Афины. Потом заявил, что и так собирался в подземный мир. Что его дворец уже достроен. Что всё готово.

Надо думать, заговор — это был такой маленький прощальный привет.

Но у второго — у этого — я спросил. Спросил не то, что должен был. Спросил при всех: в зале была Гера, Афина, и Пэон, и Зевс, и Гестия с Деметрой, да и второстепенные божки

тоже.

Гефест дрожал и всё порывался сказать что-то.

Он молчал.

И в голубых глазах его тлело фанатичное пламя: так нужно.

Прометей Провидящий не склонился, когда его привели. Не сказал, почему сковал сетки, которые могли бы удержать Кронида. Не назвал никого из подельников.

Он спокойными, полными жалости глазами смотрел за моё левое плечо. Не на брата Эпиметея. Не на отца — вещего Япета.

Только туда — за мое левое плечо.

Нестерпимо хотелось обернуться и спросить — что ж он там видит.

— Тебя покарают, — сказал я. Прометей кивнул коротко, спокойно.

— Это твоё право, Аид.

Назвал не Клименом, надо же.

Казнь я предоставил выбирать остальным: Гера первой высказалась за Тартар. Титаны молчали угрюмо, морские боги тоже. Зевс предложил приковать непокорного к скале — чтобы одумался.

С этим я согласился. Приковывать приказал Гефесту — тот сгоряча кинулся защищать друга. Гефест поник головой, но оспаривать не решился.

Потом я сделал короткий жест, и все убрались из зала, даже Гера. Остались втроем: я, Прометей... и эта, молчащая за плечами.

И тогда я задал настоящий вопрос. Глядя в голубые глаза, полные жалости ко всему сущему.

— Что ты видел?

Пришлось усесться покрепче, вцепиться в теплые, ободряющие подлокотники трона. И постараться не вспоминать, как я ненавижу прорицателей.

И понадеяться, что я угадал неверно.

— Я видел того, кто тебя свергнет.

Золото трона смялось, скомкалось под пальцами. Ну да, как будто я не знал.

— Кто?

Прометей усмехнулся. Опустил глаза.

Так, чтобы я не мог доискаться даже взглядом.

— Ты не узнаешь.

— Тогда зачем говоришь?

Он опять взглянул — не выдавая ни лица, ни имени. Только ужас от того, что увидел.

От бездны, в которую заглянул.

От... меня.

Это... очень... страшные... строки...

Тряхнуть бы его — проклятого провидца. Спросить: что там настолько жуткого, что ты полез свергать меня сам?! Какое противостояние видишь? Что — я кого-то уничтожу? Открою Тартар, выпущу Гекатонхейров? Истреблю людей Золотого века? Нюкта родит новых чудовищ?! Что я такого сделаю, пытаюсь удержать трон, что ты...

— Можешь пытаться меня, — шепнул Прометей устало. — Я готов.

— Пытаться? — переспросил я безразлично. — Я не палач. Владыки карают. Не всегда тех, кто виновен. У тебя есть жена, сын, брат... племянники, так? Что, если я...

Вот когда он вскинулся — а ведь я даже обещать не начал. Ничего жуткого — ни

огненных колес, ни орлов, выклёвывающих печень (кто-то даже и такое предложил, помнится), ни других мук. Прошептал с ужасом, не веря в то, что говорит:

— Ты этого не сделаешь!

— Почему нет? Это было бы мудро.

Ты ведь поделился своим видением с Посейдоном, так? Поделился с остальными. Рассказал, что меня нужно убрать, потому что моя власть не вечна, потому что однажды придет тот, кто сможет... Ты не назвал им имени, да, вещей?

И теперь каждый будет думать, что это он. Он может. Он там, в роковом для меня пророчестве.

Посейдон, Зевс, Атлант, морские, может, даже подземные...

Скажи, разве не мудро было бы — отправить тебя на вечные муки, использовать всё — всё! — чтобы ты назвал мне имя, чтобы я мог избежать, обмануть Ананку, которая так сочувственно молчит за моими плечами?

Было бы мудро. Только вот мысль об этом отдаёт неожиданной оскоминой и изогнутым клинком у горла: «Бездарно дерешься!»

— Ты поклянёшься Стиксом, — сказал я.

Прометей заморгал. Видно, такого вещей не мог предвидеть.

— Что?

— Ты дашь клятву Стиксом, что не назовёшь это имя... не укажешь на того, кто может, никому. Никому и никогда. Даже мне. Я не хочу знать.

Крон знал — много радости ему это принесло? У этой, которая дарит смешки из-за плеч, крылья быстрее крыльев Таната.

Провидящий глазел с изумлением. Потом решился — спросил осторожно:

— И тогда... ты покараешь только меня?

— И тогда я вспомню, что меня прозвали Милосердным.

Он смотрел мне в глаза — и не мог понять, лгал я или говорил истину. Наверное, решил, что всё вместе — всё равно выбора я ему не дал.

Провидящий склонил голову, уставясь в промытые от крови плиты пола.

— Стикс, услышь мою клятву.

На следующий день Гефест приколотил своего друга к скале над Океаном — всем напоказ. Громко и горестно стеная. Повергая в ужас любого, кто поднимет заговор против Владыки.

Первый месяц на бунтаря ходили смотреть. Рассматривали грудь, пробитую алмазным клином. Тело, выставленное палящим лучам. Гефест ходил и стенал к другу часто — так что и на него можно было посмотреть.

На второй месяц любопытство стало утихать.

На третий я решил, что пора уже действовать. Прометей получил за глупость достаточно, а ссориться с титанской роднёй бунтаря — мне не хотелось (в Тартаре и без того хватало жильцов моими стараниями). Прямодушный Атлант и без того чуть небо не обрушил в ужасе от участи брата. Япет был осторожнее — или дальновиднее, тоже ведь вещей. Он не высовывался.

А от Гефеста, как оказалось, толку мало: Гера вела при нём мимолетные, сладкие речи о том, что вот... бедный Прометей, как же его жалко... да, конечно, супруг сердится, но вот если бы нашёлся какой-нибудь смельчак, который освободил бы титана... разве Прометей не скрылся бы на краю света от гневного взора Климена Мудрого? Разве Климен Милосердный

стал бы его вешать на скалу вторично?

Видимо, Гефест и Эпиметей полагали — что стал бы. А может, просто оказались до отвращения законопослушными. Стенали, сочувствовали и драли волосы, но вот снимать Прометея со скалы не спешили.

Пришлось искать другие пути.

— Афины я послать не могу, — сказал я в тот день Гере. — Сам тоже не возьмусь. Если ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы...

Она улыбнулась улыбкой союзницы («Брось! Разве я не найду? Разве мало глупцов?») —

Ушла, сбросив царские одежды и забыв про высокие прически. Ушла — облекшись в мужской хитон с капюшоном, взяв лук и небрежно подобрав волосы. Похожая на лесную нимфу-охотницу.

Поохотилась знатно.

Супруга вернулась к вечеру, когда мне уже доложили о том, что кто-то неведомый дерзко похитил преступника-Прометея со скалы. И когда я уже успел махнуть рукой и сделать всеведущее лицо — мол, не уйдет от меня бунтарь, не будь я Эгидодержец.

Пришла, задумчивая, в маленькую комнату возле талама, где ждал её я. Откинула капюшон, распустила волосы...

— Кто? — спросил я.

— Какой-то мальчик, — негромко отозвалась жена. — Из морских, кажется. Подмастерье Прометея. Смешной, горячий мальчик. Так жаждал подвигов. С такой готовностью откликнулся на предложение спасти друга.

— Провидящий узнал тебя?

— Да. И понял, кто освобождает его. Он не явится больше. Заберет жену и детей, уйдет на край света. Кажется, он был тебе благодарен.

Она была какой-то не такой — Гера. Усталой, отрешённой, устремлённой в себя. Кажется даже — чем-то испуганной, а может — обреченной.

Подумалось — что ей мог ляпнуть Прометей перед прощанием?

Опять колыхнулось тяжкое чувство — вязкое, холодное, липкое предчувствие.

— Что не так?

— У нас будет ребёнок.

Сказал ей это Провидящий, или она сама догадалась? Или знала раньше — просто не хотела говорить?

Тяжкая волна схлынула, откатила. Кажется даже — впервые за последние три месяца.

— Ну и хорошо, — выдохнул я. Опустился — почему-то показалось, на трон — нет, не на трон, просто на скамью, потёр лоб, взъерошил волосы, натываясь на царский венец. — Что, ты не рада?

Гера скривила губы. Показалось сейчас — фыркнет, вздёрнет нос, сварливо заявит свысока: да что ты вообще понимаешь, муженёк, это тебе радоваться надо...

Но она махнула рукой. Подошла, села рядом. Придавленная, нерадостная, отстранённая, глядящая — словно в какое-то видимое ей одной далёко, то ли в прошлое, то ли... Что там у нее в глазах? Впрочем, зачем смотреть. Пусть скажет сама. У союзников ведь нет тайн друг от друга.

— Это всё... невовремя. Ребёнок. Невовремя. Это покушение, заговорщики. Прометей Посейдон. Коза эта. И тут... не ко времени. И я ведь знала, за кого иду замуж — и не должна была...

— Нет, — сказал я.

Не постарался сделать голос мягким. Она бы не поверила.

— Знаешь что, ты роди мне сына, а? Я его стрелять научу. И на колеснице стоять. Всегда мечтал завести колесницу, может, ему тоже понравится.

— Если вдруг будет дочь...

— Тоже неплохо. У меня вон одна уже есть — Афина. Скажешь, плохая дочка? Знаешь что? Я обещаю — родится сын или дочь... в любом случае пир будет радостным. Радуйся, Гера. Нам с тобой не только воевать. Нам с тобой жить.

Она улыбнулась — слабо, устало и недоверчиво.

Золотой Век — место для пиров, для танцев, радости, счастья. Время детей и их игр.

Не время для страшных пророчеств.

Не время.

* * *

— За первенца! За продолжение славного рода Кронидов! Хей!

Чаши блеснули, взлетели к потолку, радостно звякнули — насытили воздух ароматом крепкой медовой браги. Брага хмелила немного — осознание хмелило больше: первенец, наследник...

Гукает в колыбельке, пока без имени. Я еще и на руках-то пока не держал, и не видел как следует — не дала решительная Деметра. Она с Гестией на пару выставила меня из гинекея: «Все, царь богов, иди заниматься мужским делом, пировать».

Пошел заниматься.

Здравницы и поздравления летят со всех сторон — не хмелят. Сколько там в них искренней радости? Плевать, не измеряю. Зевс хмыкает, вздымает чашу с амброзией — «Ну, наконец-то!» Да, да, наконец-то, можно понять. Вон выводок младшего, добрую половину стола занимает. Гермес, Аполлон, еще какие-то — от смертных... там вообще есть кто-нибудь от Деметры, к слову? А, ну да, Гефест. Уже не такой скорбный — видать, получил весточку от Прометея.

Посейдона нет: брат таки ушёл в подземный мир и вестей не шлёт. Гипнос (вон он за столом, вместе с Момом) говорил — устроился там, во дворце. Пиров закатил штук десять — подземный мир до сих пор похмельем мается.

Ну, и ладно, ну и плевать.

Сознание — наследник! — пьянит слаще музыки. Понимающе улыбается Афина — и я чувствую себя неловко из-за того, что не ощутил такого же упоения, когда узнал о рождении дочери...

Дурак был, впрочем. Молодой. И на руках ее не держал, обучать ничему особенно не смог — без меня выросла умница и красавица — достаточно мудрая, чтобы не обижаться ни на что...

Метида тоже здесь, сидит рядом с замужними, кивает и искренне радуется — и мне приятно видеть ее, куда приятнее, чем того же Аполлона. Или Гермеса. Или Япета вещего с сыновьей печалью в голубых глазах, будто мне тут не наследника — неизвестно что родили.

Деметра и Гестия тоже уже появились, кружатся в танце с остальными, только немного устало — роды у Геры были тяжелы...

Деметра еще шепчет что-то, даже всхлипывает от избытка чувств, ломает танец. Шепот

за музыкой не разобрать, легче прочесть по глазам: ах, если бы это видела мать, если бы видела...

Ананка, наверное, совсем расщедрилась сегодня. Пустилась во все тяжкие, опорожнила над моей царственной башкой сосуда со щедростью.

Только Деметра успела пожелать — как...

Тяжелые двери царского пиршественного зала — нараспашку. Распахнулись легко, крыльями бабочки.

Она вступила в зал медленно, делая каждый шаг словно наощупь, но глаза ее нашли меня сразу же — светили двумя звездами. Безумными, не путеводными звездами — пойдешь за такими, не выберешься...

Рея Звездоглазая была в изодранном рубище. Худа и словно изглодана ветрами — серая кожа собралась складками, как выветренный камень в скалах. Ввалились щеки, истончились пальцы. Ноги изранены — оставляют следы ихора на плитах пола...

Сухие губы крепко сжаты, берегись, если откроются...

Как быть, когда к тебе на пир приходит Судьба? Если пир превращается — в суд? Превращается — в казнь, а тебе нужно вместо обвиняемого быть радушным хозяином?

Я поднялся из-за пиршественного стола.

— Радуйся, Рея Звездоглазая! Великая честь — принимать тебя в моем доме. Сядь же на почетное место. Пируй со своими детьми, раздели нашу радость — рождение моего сына!

Голос у нее был сух и ломок, как высохшие под солнцем травы.

Но колол больнее.

— Благодарю за честь... Климен Милостивый. Я явилась не пировать сюда. Пришла вестницей. Чтобы провозгласить пророчество Мойр. Мойры послали меня, чтобы сказать...

Я понял раньше. Наверное, понял до того, как она переступила порог пиршественного зала — сразу же, как увидел ее глаза, безжалостные звезды. Увидел на губах отзвук насмешливой улыбки: «Пей ту же чашу!» И уже тогда захотел закричать: «Мама, за что?! Ты любила его, я знаю, но разве мог я поступить иначе? Для чего же ты тогда спасала меня — чтобы я жил? Чтобы прятался веками? Чтобы наплевал на братьев, на сестер и спасал только себя?! Так почему ты пришла, чтобы бросить мне это в лицо, почему вызвалась поставить на меня это клеймо, почему от тебя?! Именно от тебя я должен услышать это — проклятое, роковое, незыблемое...»

Чуть согнутые в безумной улыбке губы дрогнули луком — выпустили влёт страшную стрелу.

— Тебя свергнет сын.

Клеймо Уранида прижалось чему-то живому, болящему там, внутри, в груди. Бесстрастно въелось — раскаленной бронзой. Припекло, прожгло, осталось, перекатываясь громом в ушах: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Кажется, я даже кричал. Какие-то глупости, что-то вроде: «Почему я? Почему меня?! У меня ведь только что родился первенец, он совсем еще маленький, ну, какая ж это угроза, нет, нет, нет, заглохни там, внутри...» Кричал — и не мог перебить отдачу, неотступный рокот: «Сын, сын, сын, сын...» И спрашивал у Ананки: «Они ведь ошиблись?! Скажи, что твои дочери ошиблись, скажи, что Рея солгала!» — и понимал, что всё правда.

Потом понял, что молчу. И с самого начала молчал, а кричал только — глазами.

Я сидел на троне, и золото ласкалось ко мне — словно знало, что мы расстанемся.

Как скоро?

Рея ушла. Улыбнулась на прощание безумной улыбкой, сухими губами. Так, будто я был виноват в том, что услышал.

Будто, натягивая лук тогда, у Олимпа, свивая свою стрелу из ненависти, не додумал чего-то или недопонял.

Например — что ты чувствуешь, когда слышишь это: «Тебя свергнет сын».

«Наверное, ты знаешь, на кого похож, — смеялась в памяти бабушка-Гея. — Может быть, ты похож на него даже больше, чем тебе самому хочется».

«Жрать своих детей я не собираюсь», — отмахивался из памяти я. И знал, что услышу, и готов был упиться вусмерть — только бы не слышать: «Ну, мало ли, чего ты там не собираешься. Ты вот царем не собирался быть...»

Не собирался — а потом собрался.

Не хотел — а если вдруг надо?!

Если вдруг в ушах отдается пророчество: «Ты или тебя. Сын, сын, сын, сын...»

Пир кончился. Я не заметил, когда. Говорил что-то, даже чаши поднимал. Советовал Деметре и Гестии пристальнее следить за сошедшей с ума матерью. Вроде бы, даже смеялся.

Сестры смотрели испуганно и молчали — будто видели кого-то другого на моем месте... другого.

Пировавшего в этом же самом зале — остроскулого, черноглазого и черноволосого. Радостно вздымающего чашу за здоровье жены и будущего наследника.

Он, наверное, тоже был счастлив, — мелькнула мысль. До того, как его ударило в спину непрошенным пророчеством. До того, как он решил сберечь трон. Сберечь себя, сберечь выстроенное царство... род титанов. Что он хотел еще сберечь?

Слуги шарахались от меня, когда я брел к гинекею. Обегали, старались не заглядывать в пустое лицо. В глаза — два Тартара.

Две бездонные глотки.

А эта, из-за спины — она куда-то подевалась. Не смогла, наверное, вынести взгляда — хотя разве из-за спины она могла бы увидеть взгляд?

Потому за спиной болтался призрак прошлого. Порубленного на куски и сброшенного в Тартар. Призрак был безумен, хихикал и бубнил, сначала тихо, потом все яснее:

— ...на клочки ее проклятый свиток! Что, сынок? Понял теперь — каково это? Наглotalся, а? Рассказать, как мне было глотать своих детей? Какая это боль в первый раз, потом, правда, полегче... ты там не промахнись, сынок, вдруг камень подсунут. А надо надежно. И надо сейчас. Понимаешь, потом оно вырасти может. Вырастет, станет лучником, явится по твою голову к твоему же дворцу... Ты же этого не хочешь, сынок? Не хочешь?!

Не хочу.

О, Хаос Животворящий, лучше бы у меня никогда не было детей. Вообще. Пусть бы братья смеялись, а мне было бы спокойнее, потому что Владыке всегда спокойнее, когда он один...

Когда никто не может поставить на его сына клеймо — «воплощенное пророчество».

Перед гинекеем мелькнула мысль — пусть бы она успела сбежать, захватив ребенка...

— Стой!

Она не успела.

Стояла возле колыбели — вставшая с ложа, с растрепанными золотистыми волосами, с красными полосками на щеках. Целилась в меня из лука — дрожащей рукой.

— Аид, я тебе не позволю, я не отдам, я не пущу... не подходи к нему!

Видимо, поняла, что трюк с камнем не пройдет. А нового придумать не успела. Например, взять чужого ребенка — чем плохо?

— Отойди.

— Я не отдам его!

Рея Звездоглазая, свою дочь ты тоже прокляла? На собственную участь? На собственный выбор — муж или сын?

Порадуйся за дочь — она тверже тебя. Она не побоялась выступить в открытую, когда бежать некуда.

Пейте ту же чашу!

— Я хочу увидеть его.

Она вся тряслась, когда делала шаг назад. Продолжала в меня целиться — наверное, она в Циклопа бы не попала с пяти шагов в таком состоянии, но она продолжала. Целиться, кусать губы... если вдруг я соберусь заканчивать сразу же.

Я прошел мимо нее. Подошел к колыбельке — царской, искусно вырезанной из дерева, украшенной самоцветами.

Посмотрел на свою маленькую участь.

Участь смотрела в ответ черными глазами. Серьезно, с чувством выполненного долга пускала пузыри. Надувала мягкие щёки, на которых предстояло обозначиться острым, отцовским скулам. Волосики у участи тоже были черные. Руки — маленькие, лихо машущие по воздуху.

Когда я взял своё неизбежность на руки — она... он засмеялся. Помахал кулаком перед лицом — видал, мол, я боец! Широко открыл рот, лукаво на меня посмотрел — ам? Да, ам?

Я поднёс его к лицу. Коснулся губами маленького лба, пахнущего молоком.

Сын не заплакал — скрипнул недовольно — о бороду укололся. Захлопал ладошкой по моим губам, когда я приподнял его, размазал по моим щекам что-то мокрое, соленое, упавшее с ресниц.

— Будет похож на меня, — сказал я, не слыша слов. — И будет красавцем.

Первенец — значит, первый. Значит, за ним могут прийти другие. Которых тоже. Которые — тоже...

Гера опустила лук — наверное, поняла, что бесполезно. Теперь она плакала, вцеплялась в колыбель пальцами — словно могла вернуть туда ребенка только силой мысли.

— Аид, пощади. Умоляю, пощади, я уйду с Олимпа, я выращу его сама, я сделаю так, что вы никогда не увидите, я...

— Нет.

Нет — потому что дети, выросшие без отцов, потом становятся их роком. Лучниками, безошибочно свивающими стрелы из застарелой ненависти.

— Тогда я сброшу его с Олимпа. Он будет калекой. Будет жить со смертными. Он не будет противостоять тебе, он не...

— Нет.

Сколько выходов предложила Рея своему мужу, прежде чем он понял, что выход на самом деле один, самый страшный?

— Ну тогда я, — она захлебывалась, она не знала, что предложить мне, — я унесу его на край света, я смогу, я...

Выход на самом деле один. Самый страшный.

— Нет, — сказал я. Голос лег мягко — словно нежное покрывало Нюкты. — Нет... он

вырастет красавцем. Я научу его владеть колесницей. Научу стрелять — если он захочет. Я буду на его свадьбе — я надеюсь, я буду на его свадьбе, даже если вдруг не увижу его первенца...

Гера забыла дышать, смотрела остановившимся, неверящим взглядом.

— Нет, — сказал я, опуская сына в колыбель, — я не мой отец... Если ты родишь мне еще сыновей — никто из них не вырастет в страхе. Никто не будет проглочен. А тот, кто попытается... когда-нибудь... моего сына — с тем я поступлю, как с Кроном.

Я опустил младенца в колыбельку. Нагнулся — поцеловать еще раз.

— Арес — хорошее имя. Воин. Воинственный. Смотри, как кулаками машет — мечом владеть будет на заглядение...

— Но как же... — задохнулась она шепотом. — Если когда-нибудь...

— Пусть, — сказал я, и клеймо полыхнуло, доставая до горла — и вдруг улеглось, стихло. — Тогда — пусть. Я принимаю свою Ананку.

И та, что за плечами, — зашелестела своим свитком и охнула от изумления.

...а у мальчика волосы пахнут морской волной.
По лицу, извиваясь, ползёт полуденный зной.
Просто мальчик ещё — с глазами, что тьмы черней.
Отчего, Волоокая, нет у тебя дочерей?
Чтобы кровь от крови, чтобы — как ты, точь-в-точь.
Отдала бы ты мальчику этому в жёны дочь,
Та бы кудри рассыпала по его смуглым плечам,
Та его бы любить могла — а ты бы благословила очаг.

М. Латышкевич

— Мама, а мама? А Ананка-Судьба — какая?

Плещет море. Сонно бормочут волны, почесывают берег, перекидываются бликами со звездами.

— Никто ее не видел, милый.

— А ее дочки? Ну, Мойры?

— И дочки тоже.

— Бедная. Наверное, знаешь... страшная такая. Как тетка Лисса, которая мои песенки любит слушать. А эта же, наверное, еще страшнее, ее даже Крон боялся. Да?

Смех в памяти — тихий, словно ракушки стучаются одна об одну.

— Говорят, что Судьба может ходить в разных облициях. И иногда является сама или шлет своих гонцов — только вот встретиться со своей судьбой лицом к лицу — мало радости...

— Почему? Они всегда тоже как тетя Лисса?

— Нет. Они как подводное течение или омут. Заплывешь — и тебя потащило, и не выплыть, не повернуть.

— А эти... Ну, омуты... Они говорят, кто они такие? А как узнать, что это мой? Ну, моя Судьба? А если вдруг я не пойму, или отвернусь, или...

— Если твоя судьба придет к тебе — ты обязательно ее узнаешь.

— Да? А точно? А то если она будет страшная, или, ну не знаю, вот если ей не будет нравиться кифара — пусть тогда лучше вообще не приходит... Мам? А к тебе приходила? А ты узнала?!

— Узнала, милый. Узнала...

Мать ласкает ладонью волны — задумчиво купает руки в серебре, отчего они кажутся листьями диковинного дерева. Мать поет печально — наверное, какую-то нехорошую судьбу встретила.

Нужно встретить хорошую, — решает Ифит. Такую — чтобы красивую, и узнать сразу.

Трогает кифару — подарок дяди Прометея.

Интересно — можно судьбу приманить песнями?

Песня складывалась плохо. Складывалась — из рук вон. Струны кифары то трепетали пугливо и норовили гнусно задрезать, то набрасывались с остервенением, ранили

пальцы.

— Гинаика, — пробормотал он укоризненно, и кифара сварливо тренькнула под пальцами. Он звал ее «женой» — за то, что она была похожа на жен смертных из рассказов кузнецов и пастухов.

Матери он говорил, что никогда не женится — зачем ему, если есть такая вот своенравная кифара?! Еще есть кузница, и друзья, и учитель... был учитель.

Я должен петь о море, — повторил себе Ифит. Мать всегда говорила: лучшие песни — о море. Просто позволь ему омыть твои губы родной солью и выплеснуться музыкой. Только позови песню nereid — разве она не откликнется?

Он закрыл глаза, ударил по струнам, надеясь окунуться в прохладные волны мелодии — и волны вздохнули, раз, другой, всей необъятной грудью, словно диковинные кузнечные меха, и ударили молотами в скалы — раз-два, раз-два, раз...

Весть тогда принёс Гефест — нелюбимый сын морского Владыки. Явился — огромный, пропахший медвяным вином, но пьяный не от него — от горя. Хромая и рыча, метался по кузнице — и Ифит в недоумении переглядывался с другими подмастерьями, вслушиваясь и разбирая: «Заговор... Прометей... спра-вед-ли-вость... Громовержец... мне... к скале... а я не стану! Не стану!! Вот не стану!!!»

Вздыхали меха — надрывно, остро. Хромец хватал то один молот, то другой, в неистовстве обрушивал на сталь — будто на чью-то голову. По закопченным щекам ползли, прятались в бороде полоски слов, искусанные губы шептали: «Не стану — и все! Не стану...» — а из-под молотов разного размера медленно вытекал, рождался, обретал форму клин...

Адамантовый клин, которым нужно прибить к скале Провидящего Прометея.

Об этом Гефест рассказал только Ифиту — потому что только Ифит остался рядом после вспышки неистовства божественного кузнеца — когда над ухом свистели наковальни, а молот крушил доспехи, оружие, заготовки — все подряд.

Хромец в какой-то момент опомнился. Тяжко дыша, взгляделся в чад кузницы. Сказал сишло:

— Что? Не ушел? Значит, узнаешь первым.

И рассказал: Прометей Провидящий участвовал в заговоре против Климена Громовержца. Заговор был раскрыт, и Провидящий приговорен к ужасной каре: быть вечно прикованным к скале над океаном.

— Мне, мне приковывать, — шипел Гефест и глотал вино пополам со слезами. — Мне Громовержец сказал приковывать! За то, что я за друга попросил. И я — знаешь что? — я пойду. Я лгал, что не пойду. Не могу я против его воли, это же Громовержец, он же...

Хотелось спросить — он что? Он же — что?! Что вы его так все боитесь, этого олимпийца, что ты готов приколотить к скале лучшего друга?!

Но Ифит не спрашивал. Сидел, бездумно трогал остывающий адамантовый клин. Скованный из боли и горечи.

В мысли будто загнали сотню таких клиньев: толкались, распирали, кололись... не укладывались — хоть убей. Прометей Провидящий. Участвовал в заговоре. Против Климена Громовержца.

— Это ложь, — первое, что сорвалось с губ.

Думающий Наперед не мог пойти на низость. Не мог ударить в спину. Подразумевалось само собой — он честнейший и добрейший из богов и титанов. Защитивший мать от тирана-отца, имя которого она до сих пор не осмеливается произносить. Взявший под опеку

маленького Ифита, обучивший его кузнечному ремеслу, и умению играть на кифаре, сковавший ему стрелы...

И сеть, — подсказала вдруг память. Тонкую, гибкую, прочную сеть, которой можно удержать бога. Ты любовался искусной ковкой и гладил пальцами легкие, почти невидимые нити. И спрашивал: «Для чего, учитель?»

Провидящий молчал или отвечал: «Чтобы поймать Судьбу». И потом улыбался. А в перерывах между работой просил спеть — и ты пел, и кифара вторила тебе, и отзвуки твоей песни пугались в нитках остывающей сети для Громовержца...

— Его заставили, — вот, что он сказал после. И тут же подумалось — кто? Сын Япета был известен своей непоколебимостью. Нежеланием идти на поводу у кого бы то ни было.

Значит, он пошел на это сам. Значит...

— Так было надо, — прошептал Ифит едва слышно, но Гефест содрогнулся могучим телом, замахал руками: молчи! Молчи! Не смей о таком! Как это — надо, для чего — надо?! Это же Громовержец...

Ифит промолчал. Упрямо тряхнул головой — пусть Громовержец. Пусть кто угодно. Провидящий что-то знал. Что-то, что заставило его поднять руку на недостижимое — на Кроноборца. И почти что стать Клименоборцем — чтобы отвести что-то страшное — от кого?

Наверное, от всех.

— Я пойду к нему, — сказал тогда Ифит, выслушав Гефеста до конца.

Хромец, который как раз делал глоток вина из меха, поперхнулся. Долго кашлял, разбрызгивая вино. Выкашлял:

— К кому?!

— К Владыке Климену. Пойду и объясню всё. Я не отступлюсь. Если он мудр — неужели он не поймет, что что-то важное толкнуло Провидящего на такой шаг? Если справедлив, как поется в песнях — разве он не заменит казнь хотя бы на изгнание? А если так милосерд...

Тогда он сказал это зря. Потому что Гефест опять принялся размахивать руками. Объяснял с надрывом — это же сам Громовержец! Это его слово, его суд, его кара! Царь никогда не берет слов назад. Царь не станет слушать взбалмошного юнца, особенно если тот — еще и подмастерье осужденного на муки титана. Царь сказал — значит будет...

Будет. Будет.

Он не видел казни: Гефест запретил идти с собой. Понесся на своей колеснице куда-то к Олимпу, а куда потом — не поймешь. Ифит долго сидел на берегу у моря, жадно вслушивался в соленые вздохи, и пытался сложить песню, в которой была бы — надежда. Потому что вдруг Милосердный смягчится и возьмет слова назад, вдруг выяснится, что это все же не учитель, вдруг Гефест решится...

Песня не сложилась, и Хромец, заливаясь слезами, прибил учителя к стене — выставил обнаженного на потеху лучам Гелиоса, жестоким ветрам, хищным птицам. В тот день Ифит не явился посмотреть на кару. Не смог пересилить себя, взглянуть в глаза учителя. Сидел на берегу, ненавидя себя за собственную трусость, и стоны кифары сплетались со стонами чаек в песнь скорби.

Потом он пошел к Зевсу: Морской Владыка хорошо относился к матери, даже когда не был Морским Владыкой. Уважал деда, привечал Ифита на своих пирах, почти как сына. Иногда казалось — Зевс рад был бы, чтобы вместо Гефеста у него был Ифит.

— Разве нельзя как-то повлиять, — спросил Ифит шепотом, когда очередной пир начал клониться к закату, и по залу неспешно, плавно задвигались танцовщицы-океаниды. — Разве нельзя сказать ему, объяснить...

И Зевс утратил свою всегдашнюю бесшабашную веселость. Сверкнул серыми глазами остро и печально, ответил, нахмурившись:

— Мой брат непреклонен. Я говорил с ним, но переубедить не смог: его решение о Прометее осталось неизменным. Брат гневается на него за то, что тот поддержал Посейдона. Я пробовал настаивать — и знаешь, что он мне ответил?

Покачал вином в кубке, как бы думая — говорить или нет. Понизил голос, поверяя тайну только одному Ифиту:

— Он ответил, что избрал самое мягкое наказание. Потому что покарал только Прометея, не тронув его родных.

Вино пролилось внутрь уксусом, отдалось оскоминой. Провидящий был прав, помогая заговорщикам, — захотелось крикнуть гневно. Если тот, на троне, действительно настолько слеп и жесток — он хуже Крона, которого сверг.

— А разве ты... — задохнулся Ифит.

Зевс прижал палец к губам, улыбнулся рассеянной улыбкой. Благосклонно кивнул виночерпию, который наполнил его чашу опять.

— Будь осмотрительнее в речах и даже в мыслях, о юный Ифит. В этом мире нет силы, способной противостоять Климену Великому, Климену-Стрелку, Климену-Мудрому, обладателю лука Урана. Хей! За брата моего, непобедимого и милосердного!

Ифит слушал, как осоловевшие от сытости и вина гости дружно подхватывают тост — и чувствовал, как там, в груди, медленно рождается тетива. Свивается из тонких струн бессилия и горечи, чувства потери и несправедливости. Крепнет и натягивается.

— Это пока что, — шепнул он, и Зевс Морской сделал вид, что не услышал этого.

...кифара поет гневно, звучит не песней nereid — яростным призывом. Вы все трусы — поет кифара. Все трусы, неспособные выступить против этого, который засел на золотом троне. Что с того, что у него — лук Урана? У меня тоже есть лук. Его сделал мне Гефест, а стрелы — Прометей, прибитый к скале, и придет час — я напитаю эти стрелы ядом, который...

Ифит опомнился, тряхнул головой, укоризненно глянул на кифару — опять завела в воспоминания, гинаика! Пальцы дрогнули, и вернулся дрянной, тревожный, неровный напев.

Он знал, что нужно делать — и не решался. Откладывал каждый день, надеялся отчаянно: может — решился Гефест? Или может — Зевс? Или Эпиметей? Япет? Ну же, кто-нибудь? Но все они — могучие и властные — отсиживались во дворцах и боялись пойти против воли Кроноборца, и Ифиту наконец начало казаться, что он боится тоже: говорят, тот, что на золотом троне, на Олимпе, знает всё и читает в душах. Что, если он найдет Прометея после освобождения? Каким мукам подвергнет его освободителя? Впрочем, это все равно, это не то... но мать? Дед?

Было противно от собственной мысли, от слабости, от неспособности сделать первый шаг — и кифара всхлипывала сегодня особенно...

— Госкливо.

Струны вздрогнули под пальцами пугливо. Ифит нахмурился, оглянулся.

Женщина в костюме охотницы сидела на нагретом солнцем камне, пристроив на коленях короткий лук. Смотрела задумчиво, чуть склонив голову, увенчанную золотым

венцом волос. Улыбалась ласково его кифаре, которая — предательница — тут же зазвенела струнами, будто сама решила родить песню.

Подумалось вдруг: пусть бы улыбалась так мне. Хотя что ей во мне? Юнец с синеголубыми глазами, кудри черные... а плечи узкие, пальцы — тонкие, учителя говорили — не выйдет из него кузнец, и воин тоже не выйдет. Может, выйдет музыкант, может — любовник для какого-нибудь божка.

— Отчего ты перестал играть, морской?

— Потому что не играю для чужих.

Это было правдой. Играл он для матери, деда, учителя — иногда для друзей.

Это было ложью. Песня рвалась из-под пальцев, норвила вытечь морской водой, забыв, что перед ней — чужая... Песня хотела, чтобы была — не чужая.

Ифит убрал пальцы со струн и уткнулся взглядом в песок.

— Отчего ты не смотришь на меня? — прозвучало тут же. — Я тебя смущаю?

Еще чего. Вскинул брови, пустил стрелу — из синевы своих глаз в синеву ее, из синевы моря — в синеву неба.

— Нет, о Киприда. Не смущаешь. Просто я слышал, что ты коварна. Любишь играть с смертными и богами. А твоя стихия может помутить разум — и потому с ней нужно быть осторожным.

Видеть Афродиту на пирах у Зевса не довелось: Деметра Плодоносная её не любила. Зато наслушался изрядно: Гефест говорил о ней много, и другие кузнецы, и титаны тоже, так что он знал, что у неё золотистые локоны и синие глаза, и от неё невозможно оторвать взгляд. Еще слышал, что перед её красотой цепенеешь.

Так что все признаки налицо.

— А ты хочешь быть осторожным? — в голосе у нее прозвучала ласковая усмешка.

— Безумен тот, кто бросается в омут с головой, — задорно отозвался Ифит. Провел пальцами по струнам кифары. — Почему нет?

— Потому что я думала, что ты хочешь быть отважным, морской. Когда услышала твою песню.

Стало неловко. Будто эта, синеглазая, распахнула его одежды и уставилась. Хуже — будто она влезла внутрь, неспешно пальцами перебирает сокровенное: мысли, чувства, мечты...

Подумалось: нырнуть бы в волны. Обрызгать ее водой на прощание — и пусть бы сидела со своей стихией...

Но упрямство — конечно, только упрямство! — держало на месте.

— Что тебе до моих песен, Пеннорожденная?

— В них боль. И гнев. И тоска о справедливости. Разве не о Прометее Провидящем ты пел сейчас?

Подумалось с облегчением: ну, вот и всё. Афродита — из свиты того... который якобы Милосердный. Ошивается у золотого трона. Так стоит ли скрываться дальше, если она уже слышала? Все равно он не собирался прятаться до бесконечности.

— Я пел о моем учителе. Я — Ифит, подмастерье Прометея и его ученик. И я считаю что с ним поступили несправедливо. Ты услышала, Пеннорожденная? Теперь можешь идти, доносить.

«Только не сразу, — вздохнула под пальцами проклятая гинаика, — Лучше задержись на час... год... столетие. Чтобы услышать мою песню».

Своенравная кифара вечно наигрывала что-то свое.

— Прометей помогал выковыривать? — с уважением спросила златоволосая Киприда, покосившись на инструмент. — Нет. Я не пойду доносить. В конце концов, если бы у меня была кифара, она бы наигрывала те же песни. Только вот что может слабая женщина? Вытащить клинья? Снять титана со скалы? Пойти против воли Эгидодержца? Разве что — искать.

Сердце прыгнуло в горло, забилося и заметалось отчаянно. По грусти в синем взгляде Ифит понял: не лжет. Но неужели тогда...

— Ты... знаешь Прометея?

— Знаю достаточно, чтобы понять: Провидящий не пошел бы против Эгидодержца без веской причины. И чтобы осознать: наказание слишком жестоко.

— Да, — сказал Ифит шепотом, — слишком. И ты ищешь...

— И я — ищу, морской. Вот уже три месяца я ищу. Ищу среди сильных и бесстрашных, которые на поверку оказываются слабаками и трусами, — фыркнула презрительно, как дикая кошка. Интересно, мурлычет ли? — О чем ты думаешь, морской?

«О том, из какого золота скованы твои волосы».

— Об... учителе. Знаешь, я тоже искал. Я спрашивал у Зевса...

Усмешка у нее стала такой ядовитой, что Ифиту как-то сразу подумалось: не Афродита. Может, Эос-заря, сестра светлого Гелиоса? Артемида-охотница? Не может же она быть просто нимфой? А если может — тогда...

Тогда он сочинит для нее мелодию, перед которой померкнут все песни Аполлона Кифареда, этого любимца муз.

— Зевс. О, я была у Зевса — он боится поднять глаза на своего великого брата. Готов чахнуть в его тени, только бы не высовываться из морского царства и не навлечь на себя гнев. «Мой брат мудр!» «Мой брат справедлив!» «Мой брат вездесущ!» Япет и Эпиметей не лучше, Гефест и все прочие способны только оплакивать несчастного Провидящего. Кажется, скоро они начнут ходить к его скале наперебой. Чтобы принести к нему то, что могут — сожаления! «Мы все скорбим о тебе, не нужно было посягать на Климена Великого», — вот что они могут принести тому, кто был им другом, братом, готов был для них на все!

Фыркнула снова, поднялась по камню, принялась неспешно прохаживаться по песку. Ифит смотрел на нее со смесью ужаса и восхищения.

Как на подарок Мойр. Может ли быть, что Пряхи создали это дивное создание, чтобы избавить его от сомнений? Клото выпряла ей красоту, Лахезис наградила умом и смелостью, Атропос — стремлением двигаться вперед... *Пандора* — одаренная всеми.

Стало радостно оттого, что их судьбы теперь свиты.

— Они боятся Эгидодержца, — сказал, только для того, чтобы услышать, как она фыркнет. — Ты разве не боишься его?

— Климена Отшельника? — она наклонила голову, подумала плечами, нахмурила брови и сказала ровно: — Нет, не боюсь.

И мир Ифита встал на место. Успокоился, будто море в штиль. Вот так, Климен Криводушный, — сказал мысленно Ифит, обращаясь к тому, кто сидел там, на золотом троне на Олимпе. Есть кто-то, кто не боится тебя. Почему? Может, ты причинил ей зло?

Если так — берегись, олимпиец, потому что я тоже тебя не боюсь.

— Я тоже, — сказал он вслух. — Не боюсь.

Она засмеялась. Тихо, с горечью. Натянула лук, не доставая стрелу из колчана.

— Все, с кем я говорила, не боялись. Стучали себя в грудь: «Мы сильные! Мы бесстрашные!» Пока я не заводила речи о Прометее, прикованном к скале. Тут они сразу же становились из бесстрашных — осмотрительными. Нет, конечно, они его не боялись, но кто пойдет против Климена Непобедимого? Не хочешь ли ты сказать, что безумец, который осмелится на такое — ты?

Конечно, ей смешно, — подумалось вдруг. Юнец из морских — хрупкий музыкант, у которого из оружия — лук и неуступчивая кифара — против непобедимого Владыки, одолевшего Крона, против Вездесущего, Мудрого и Гостеприимного... я ли этот безумец?

— Да, это я.

Внутри плеснула веселая злость, хмельной волной достала до горла. Говорят, Судьба-Ананка любит поиграть — почему бы и не сыграть вместе с ней? Не выступить против сильного мира сего, когда сильный мира об этом и не подозревает?

Не свалился б с золотого трона сильный мира. От удивления.

Он бы, наверное, сказал, что это скверная песня.

Мальчик-музыкант распрямляет плечи (все равно узкие!), светит бездонной пучиной глаз, протягивает ладонь златоволосой судьбе.

— Пойдем. Провидящий ждал слишком долго.

И она принимает ладонь, глядя на него пристально, неотступно... будто что? Какие черты пытается угадать? Что старается рассмотреть?

— Для тебя я сделал бы это, даже если бы не знал Прометея, — говорит юноша-музыкант. Зачем говорит? Непонятно. Наверное, юноша безумец — говорят, в морских вечно живут отзвуки прихотливого моря. — Одаренная всеми, Пандора — скажи, кто ты на самом деле?

— Можешь звать меня Зигией, — долетает до юноши сквозь плеск волн.

Когда их пальцы сплетаются — будто проделывали это тысячу раз — и они двое шагают вперед, изламывая мир вокруг себя.

В судьбу.

* * *

*За тихим морем
Воздвигся остров
Там — край без плача,
Приют смиренных
Иди же, воин,
И будь спокоен —
Покой да будет
Тебе наградой...*

Серый песок заскрипел под ногами, расступился, обхватил сандалии. Ветер рванул волосы, сорвал с кифары жалобные звуки — и Ифит поскорее убрал кифару в заплечный мешок.

Море бесилось совсем близко — исступленно колотилось о скалы, будто в приступе вины желало расшибиться о них в мелкие брызги.

В приступе вины перед тем, кто висел на самой высокой скале. Напевая песню так,

будто недавно явился домой с пира.

Обнаженный, проткнутый алмазным клином, прикованный нерушимыми цепями, открытый для издевательств холодным ветрам, и лучам безжалостного Гелиоса, и насмешкам мелких божков.

Одежда на Провидящем успела истлеть. Солнце сожгло кожу дочерна, так что она бугрилась ожогами, и ветра безжалостными резцами прошлись по щекам. И лен волос выгорел до седины — но глаза под обожженными веками были ясными, насмешливыми и светлыми — как раньше. Полными мудрого знания.

С запекшихся губ не срывались стоны — неслась песня о тихом острове: полумечта, полупредвидение.

— Радуйся, учитель, — тихо сказал Ифит.

И вздрогнул, поразившись тому, как изменилось лицо Провидящего: словно все муки сначала отступили, притаились за скалами, а теперь выпрыгнули, разом обрушились на тело титана.

— Ифит... — сорвалось с почерневших губ. — Зачем ты... я просил Гефеста, чтобы он тебя не допускал... а ты... зачем пришел?

— Ты видишь, — сказал Ифит всё так же тихо, настраивая струны кифары. Оковы Провидящего не отомкнуть хрупкому музыканту. Не вынуть клина из груди у страдальца — если ты не могущественный герой.

Я — не могущественный герой, — подумал Ифит без сожаления. Но волны тянули ко мне руки, когда слышали звуки моей кифары. Выкидывали на берег дары — в награду за песни: серебристую рыбу, и ракушки, и осколки кораллов... Притаскивали даже — нереид, чем очень их веселили.

Может ли музыка сдвинуть камень?

Может ли хрупкий кифаред пойти против призрака величия на золотом троне?

Легко. Только настроиться и выбрать мелодию, но мелодия уже настойчиво бьется в сердце — влилась в ладонь, которая только что сжимала хрупкие пальцы той, златоволосой.

У мелодии имя — «Зигия».

Гинаика вздохнула под пальцами, выплеснула из себя первую, ласковую волну, потом вторую — прибойную — и рассказала камню и металлу, как хорошо в море — вон в том, совсем недалёком море, полном соли и белых пенных барашков — и камень и металл поверили.

Как просто... я — море... ты — скалы...

Оковы истончались, камень тихо проливался водой — слишком заманчивой была песня, алмазней тянулся за звуками — и выходил из тела Прометея. Стремился туда, к прекрасным, переливающимся волнам, чтобы принять их ласки.

Цепи, извиваясь змеями, скользили по песку к воде.

Я — море, — пели струны кифары. — Ты — скалы. Разве море и скалы могут прожить друг без друга — и не тосковать? Разве можно находить смысл существования лишь в том, чтобы быть бездушным камнем, разве не хочет каждая скала оказаться в нежных морских объятиях, и слушать томные вздохи прилива, и столетиями таять от ласк, разве любовь не выше всего, и разве ты не хочешь любви? Потому что я готов подарить ее, выплеснуть себя до дна, стать вечными волнами у твоего подножия, потому что не может же быть, чтобы твое сердце было тверже всех камней, что не устояли под напором волн за тысячелетия, скала моя... судьба моя...

Стрела моя.

Собственная песня вонзилась под дых оперенной стрелой. Ифит вздрогнул, услышав себя, очнулся, стиснул пальцы на кифаре — умолкни! Не выдавай. Взглянул с тайной надеждой: может, она не слышала?!

Златоволосая Зигия стояла рядом с ним, глядя вдаль — на море. В синих глазах плескалась тоска. Неизбывная, страстная.

О чем-то, чего не было. И чего никогда, наверное, не будет.

«Не будет. Не будет?» — застучало сердце.

Ифит хотел подойти. Взять златоволосую за руку, утешить, сказать: всё будет. У нас всё с тобой будет, потому что я тебя узнал. Узнал свою судьбу и свою песню, и теперь никто больше не посмеет сделать так, чтобы на твоём лице появилась печаль. Я, сын моря, не позволю.

И тут ударил кашель — густой, надрывный. Прометей сползал со скалы, к которой был прикован, держась пробитую адамантием грудь. Страшная рана тихо зарастала плотью. Ифит бросился к учителю, помог ему, поддержал. Подумал с дрожью: Зевс ведь говорил, что наказание должно было быть страшнее. Что Климен Криводушный хотел послать орла, который бы терзал Провидящему печень — день за днем, а за ночь она бы снова отрастала. И если бы не вмешался сам Зевс с просьбой пощадить...

Прометей оперся на плечо ученика тяжело, сделал два шага, не удержался, сел на песок. Спросил горько и безнадежно:

— Зачем?

«Потому что такова моя Ананка», — попросилось с языка.

— Потому что таково мое решение, — сказал Ифит, чеканя слова. — Прости, что шел так долго, учитель. Мне нужно было прийти сразу же после того, как тебя покарали.

И понял, что Прометей спрашивает не у него. Провидящий обращался к Зигии, которая все так и смотрела на море, будто силилась рассмотреть что-то в дали.

Или ждала, пока высохнут слезы.

Ответ долетел еще слышно — море слишком тревожно стучалось в скалы.

— Потому что тебя покарали несправедливо. В этом уверены все, ты знаешь, Провидящий?

— Все? — хрипло повторил Прометей.

— Все, — донеслось с порывом ветра. Зигия повернула лицо к титану, и Ифит понял: она не нимфа, она — неизмеримо больше. — Я говорила с твоей женой. Она будет ждать на острове Грай. Забирай ее и уходи туда, где гнев Эгидодержца будет тебе не страшен.

— Такие места есть?

— Проверь.

— Мои братья... племянники...

— Их не покарают. Не забывай, что его прозвали Справедливым, — и когда Прометей вскинулся, чтобы спросить еще что-то, добавила тихо: — Ты понял верно.

И — умолкла, снова став златоволосой нимфой в охотничьем костюме. Бездумно трогала тетиву лука: натягивала и отпускала. Провидящий молчал. Наконец прошептал:

— Зачем тебе мой ученик?

Губы Зигии тронула слабая улыбка. Ифит отчаянно ловил ее взгляд — но она смотрела только на Прометея.

— Слабой женщине не вытащить адамантовый клин. Не разбить оковы. Это под силу

лишь могучему герою — и я его нашла. Никто не узнает, Провидящий. Ты можешь не бояться за ученика.

Ифит вслушался — с насмешкой ли его назвали героем? Так и не разобрал, впрочем, какая разница. Мать всегда говорила — думать нужно о важном. Важное — она говорит так, будто прощается... не прощается же она, в самом деле?

И еще важно это неотступное, тревожащее чувство — будто в молчании между этими двумя больше, чем в словах.

— Что взамен? — упало с губ Прометея. Златоволосая Зигия взглянула устало. Словно подставила синеву глаз под взгляд Провидящего — на, смотри, ищи, что я могу скрывать. Махнула рукой и медленно побрела по серому, слишком мягкому песку.

К морю, — понял Ифит. К морю, чтобы волна омыла ей ноги, как омывает подножия скал. А потом она разведет руки и исчезнет, а я...

Я не смогу спать, и играть, и дышать.

Он все ждал — вдруг обернется, позовет, но она не оборачивалась. Тогда крикнул: «Постой!» — и кинулся следом.

Она не взглянула, когда он оказался рядом. Бросила тихо:

— Что тебе, морской?

— Ты ведь придешь еще? Туда, на берег?

— Нет.

— Тогда скажи мне, как найти тебя. Скажи мне, потому что я все равно буду искать тебя — годы... столетия... сколько бы не потребовалось.

— Смешной мальчик... зачем тебе меня искать?

— Чтобы смотреть на тебя. Петь тебе. Быть возле тебя!

— Ты безумец.

— Безумие истинно — так говорит Лисса. Я не боюсь ее, она любит слушать мои песни. Это безумие вернее многих. Я буду искать тебя, потому что никогда не буду искать никого больше. Никакого... другого.

Тени ползли по песку. Две — стремительные и легкие, убегающая и догоняющая.

И первая замедляла шаг.

— Я искала героя, не возлюбленного, мальчик. А если я скажу, что не хочу твоей любви? Не хочу, чтобы ты искал меня?

— Кто не хочет любви?

— Та, у кого ее не может быть.

— Те, кто твердит себе, что у них чего-то не может быть, обычно желают этого вдвойне. Разве не так?

Она обернулась, взглянула на него с искривленными от боли губами — и он торопливо коснулся этих губ, чтобы у него осталось на память хоть что-то.

— Я не буду искать, если ты не хочешь, — шепнул, когда она рванулась назад. — Но я все равно буду тебя ждать. На том самом месте.

— Я не приду.

— Потому что я противен тебе? — он не дождался, пока она солжет, взгляделся в глаза и ответил сам: — Потому что боишься. Себя. И не только себя. Скажи, у твоего страха есть имя?

— У моего страха не одно имя, — проговорила, задумавшись и устремив взгляд в себя.

— Значит, я угадал и ты несвободна?

— Ты угадал, морской. Титаны в Тартаре свободнее меня

— А твое сердце?

Она молчала. Смотрела, как настойчиво бьются о скалы волны. Как гордо возносятся головы. В надежде однажды прижаться — и никогда не отхлынуть назад.

— Я всегда буду петь для тебя, — сказал Ифит. Поднял ее ладонь к губам. Коснулся полосы от тетивы, врезающейся в кожу. Она не отняла руки, и он отпустил ее сам — словно звук с кифары. Выдохнул: — Теперь всегда — только для тебя.

Перехватил кифару — и гинаика выплеснулась в переливчатой мелодии о золотых волосах и синеве глаз. О том, что красота Афродиты — ничто, и о лучнице, которая шлет стрелы любви и сражает наповал с первого выстрела-взгляда.

Как просто, — пела гинаика. — Я — море... ты — скалы... Разве есть скала, которая не мечтала бы услышать песню моря?

Ифит играл с закрытыми глазами. Чтобы не видеть, как она шагает в волны, словно в бой. Изламывая мир вокруг себя, возвращаясь туда, откуда пришла.

Наверное, в мечту.

— Безумец, — сказал подошедший Прометей.

Учитель жадно вдыхал морской воздух. Растирал грудь, на которой теперь виднелся глубокий, не до конца заживший шрам. И смотрел с жалостью, с горечью... с ужасным предвидением.

— Пойдем. Тебе придется сопровождать нас с женой в скитаниях на краю света — если Аид узнает, кто...

— Я его не боюсь, — легко возразил Ифит. — И я никуда не уйду. Здесь она.

— Ты не знаешь, кто она.

— Мне все равно, кто она. И кто он. Который с ней. Я буду там, где она.

— На Олимпе?!

Прометей скрипнул зубами. Махнул рукой, как бы говоря: «Пусть все идет как идет». И выговорил с болью:

— Это Гера, дочь Крона. Жена...

Ифит вскинул брови — но удивление не пришло. Гера, дочь Крона. Жена Климена Отшельника, Климена Мудрого, Справедливого и Милосердного. Эгидодержца. Криводушного.

Мать говорила — смотреть нужно на важное...

— Да, — сказал он и тихо засмеялся. — Она его не любит. Я видел — она не любит его.

Тот, на золотом троне, представился неудачником. Мелкой сошкой, неспособной завоевать сердце собственной жены. Ничтожеством, которое не может никого сделать счастливым.

Бессильная, скудная помеха.

— Она носит в себе войну, — пробормотал Провидящий, глядя туда, где стояла Зигия. Полными прозрения глазами.

— Мне все равно, — легко отозвался Ифит. Засмеялся, почувствовав себя легким, будто ночная рыба, выпрыгивающая из воды. — Кто она, кто он. Особенно — кто он. Я всё равно буду петь для нее, учитель.

Наверное, Провидящий хотел спорить. Но взглянул в глаза Ифиту — в бездонь, искрящуюся веселым смехом — и только безнадежно махнул рукой еще раз.

Гинаика в ответ рассмеялась струнами.

* * *

«Не придет, — шептало море. — Не придет, безумец. Она супруга Эгидодержца Климена Милосердного, который настолько милосерден, что его все боятся. Не придет, не жди».

Ифит улыбался морю. И пел. Так, будто златоволосая Зигия могла его услышать. Пел о солнечных лагунах и nereидах, катающихся на волнах, и о ночах, высеребрённых луной, и о тягучих криках чаек на рассвете.

«Кто ты, а кто он? — кричали чайки. — Ты вздумал украсть жену у Владыки? А когда он явится за ней — что будешь делать?»

Ифит пожимал плечами, улыбался. Пел о стрелах, летящих без промаха — взглядах красавиц. О жарких ночах на берегу, когда nereиды водят хороводы. О гибких телах, сплетающихся в диковинный узор страсти.

Nereиды заслушивались песнями, мать не спрашивала — почему он приходит на тот самый берег и для кого поет.

Прометей исчез на краю света, и никто не смог отыскать — какой герой пошел против воли Климена Справедливого? Какой опасный бунтовщик нарушил порядок?

Наверное, почему-то и не особенно искали. У того, на золотом троне, были свои заботы: над ним грянул долгожданный рок, ударило пророчество: «Тебя свергнет сын». И родился бог войны — неуступчивый, строптивый, со сквернейшим характером, как уверяли nereиды.

Ифит пожимал плечами и пел о штормах, когда волны в самоубийственной ярости бросаются на скалы, расшибаются в пыль, в клочки, в мелкие брызги. О том, что любые штормы стихают — и блики солнца ярче играют на угомонившихся волнах.

Он не считал песен, не считал дней.

Не считал лет.

Не желал считать — сколько раз море, ветер, небо — все кричало ему насмешливо: «Одумайся, она не придет!»

Гинаика говорила другое.

Она пришла, когда последний луч летнего солнца пролился на берег, подмигнул и пропал. В одеждах лесной нимфы-охотницы шагнула на песок. Сжимая лук — будто в нем хотела найти ободрение.

Прошла по песку и села рядом. Сказала так, будто не прошло двадцати лет со дня их встречи.

— У тебя ядовитые песни, мальчик. Они словно занозы — вцепятся, и не вынешь, и слышишь их в снах. Можешь считать — они победили, и я пришла.

— Хочешь — разобью кифару? Петь можно и без слов, о Зигия. В таких песнях бывает еще больше смыслов.

Колесница Селены-Луны неспешно взбиралась в небо. Лошади сыто поглядывали по сторонам: ничего интересного. Музыкант и нимфа сидят на песке.

Звездами выбрались полюбоваться.

— Провидящий сказал тебе, кто я?

— Да. Сказать, что я ему на это ответил?

Она молчала, и в молчании была ответная песня — за все двадцать лет. О том, как хочется рвануться и стать птицей, летящей на берег моря, о том, как трудно беречь чужие

очаги, когда в твоём собственном горит холодное, хоть и чистое пламя долга, только долга... О сыне, отмеченном страшным клеймом пророчества, о муже, который смирился с Судьбой — или только сказал, что смирился? О проходящих словно в сражениях годах, и о том, как она приходила, крадучись, на берег — двадцать лет, чтобы послушать песни... Сегодня вот пришла не крадучись — потому что даже скалы устают.

— Спой для меня, морской, — попросила шепотом, склоняя ему голову на плечо.

Луна вплетала серебро в её золотистые волосы. Пугала лучи в его черных кудрях.

— О чем мне спеть для тебя, прекрасная? — спросил он, вбирая глазами её образ.

И разобрал почти неслышно.

— О скалах в объятиях у моря.

Море вздыхало, вторило предвечной песне — для двоих.

СКАЗАНИЕ 5. ОБ ОТРАВЛЕННЫХ СТРЕЛАХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Персефона, зерном загубленная!
Губ упорствующий багрец,
И ресницы твои — зазубринами,
И звезды золотой зубец...

М. Цветаева

Нет, это не я. Не Аид Громовержец, Владыка Олимпа. Не Эгидодержец, Гостеприимец, Щедрый Дарами, Справедливый и Мудрый. Не хозяин Золотого Века, у которого все началось правильно.

Не я сижу там, под серебристым тополем, в любом отражении, не я стряхиваю с плеч серебро тополиных листьев — и роняю с пальцев алые капли. Слышишь ты, в отражении? — кричу я вновь и вновь. Это не я.

Потому что у меня все началось правильно. И продолжилось, наверное, тоже правильно. И закончилось... почему мне так хочется знать, чем у тебя там закончилось, не-я из отражений?

Отражение дарит короткий, хмурый кивок. Смотрит пасмурно исподлобья: воин, дурак, вор... невидимка. У которого все началось неправильно. И потому у него все — не как у меня.

Все ли?

Жаль, он не может говорить. Может, я спросил бы его — как у него там. Идёт по новой дороге, проторённой, неизведанной — или спотыкается об узлы, связанные старухами-Мойрами?

В снах приходят вспышками — скрученные, намертво связанные нити. Разных цветов.

Шепот за плечами. Перекошенное лицо отца. Скрещённые клинки двух взглядов — черного и серого. Танец в вихре огненных волос — на солнечной лужайке...

Во сне я, кажется, кричу. Обращаясь к тому, над озером. Кричу одно и то же: скажи, есть ли у нас с тобой, что-нибудь общее? Что-нибудь вечное?! Может, там, в твоём списке Мойр все переписано не полностью? Может — есть строки, которые нельзя переписать?

Начинаешь ты правильно или неправильно. Идешь по прямой дороге или по кривой. А они, эти строки — не стираются. Оказываются впечатанными навеки. Незыблемыми вехами стоят на твоей дороге, только и ждут — когда их узнаешь.

Ты не даешь ответа, воин, дурак и вор. Не-я, у которого все началось неправильно. Отворачиваешься, прежде чем я задам тебе новый вопрос.

Может, у тебя там все продолжилось как следует? Не как у меня? Может, у тебя были правильные вехи?

И почему мне так сильно хочется — чтобы так и было?

— Особое блюдо, — сказал царек. Хихикнул подобострастно, блеснул зелеными, рысиными глазками. Изогнулся в поясице погибче — а как бы еще свою любовь к царю богов проявить. Я хмыкнул — особое и особое, неси себе.

Памятную утку в меду это блюдо все равно не перебьет. Что она вообще ко мне привязалась, эта утка?

Наверное, виной всему день. Бывают такие дни — суетливые, дрянные. Дни-сундуки, в которые месяцами складываются неурядицы и дурные вести. Придет утро такого дня — а неурядицы в очередь выстраиваются: давайте, мол, можно!

Вот и этот денек складывался из мелких, ненужных дрызг, дробился, вцеплялся каждой мелочью... С утра что-то не поделили Сила и Зависть, твердолобые сыночки Стикс. Разворотили полдвора, прислугу перепугали. Потом появился Мом-насмешник — с радостной вестью: «Радуйся, Владыка, я нашел Прометея, теперь можешь его карать!» И пришлось напоказ хмурить брови, отряжать отряд воинов, давать наказ — не упустить преступника! — а потом втихомолку отправлять Гермеса к Прометею, чтобы тот успел уйти подальше.

Потом Гермес что-то опять украл. После того, как слетал к Прометею. Это недавнее пополнение зевсовской коллекции побочных сыновей вообще крало постоянно и вдохновенно. Начал в пеленках, со стад Аполлона, а закончить попытался моим луком (после чего приобрел легкое косоглазие и утонченную горбинку — нос после перелома не сросся). Вот и сейчас утащил у Фемиды Правосудной ее весы, а Правосудная явилась ко мне за мерой справедливости. Меру я выразил тем, что поставил Гермеса провожать тени в подземный мир — и ему полезно, и я буду знать, что там творится. От Гипноса ничего не поймешь: лет двадцать является окосевшим после Посейдоновых пиров. Пир вошел в песни, Посейдона, как и меня, прозвали Щедрым и Богатым, а я того и гляди полезу в подземный мир сам, потому что не понимаю — как это брат успел так хорошо спеться с тамошними жильцами.

Потом день разбуянился и подкинул мне братский визит: Зевс сидел до полудня и говорил о том, что в подводном мире не все ладно. Мол, какой-то рыбак решил с голодухи травкой закусить, а травка оказалась волшебной, ей еще Гелиос своих коней кормит... Ну, и появилось новое божество, какой-то Главк. Подчиняться, мол, не желает.

Я кивал с мудрым видом и замечал, что да, бывает всякое: у меня-то вон Кой, из титанов второго поколения, распоясался. У него, знаешь ли, подросток сыночек Лелантос, так этот сыночек, говорят, все вспоминает, как я жестоко поступил с Прометеем. К великанам навещается вместе с папашей.

Да и остальные — Крий, Астрей, его сыновья-ветры — как-то не навещаются на Олимп. И к себе не зовут.

Боятся, что ли, моего милосердия и моей справедливости?

Да и смертные...

Царек Аркадии ухмылялся. Расписывал в красках: какое блюдо приготовил царю богов. Сыновья царька стояли тут же — почтительно подхихикивали папеньке.

Впивались глазами — желали посмотреть, как Великий, Гостеприимный, Грозный Кроноборец будет есть человечину.

— И откуда вы только лезете?

Царек моргнул. Смеха в рысках глазах поуменилось.

— А?

— Лезете, говорю. Откуда. Вот поверишь на слово? За лунный цикл штук пять кощунников каких-нибудь объявится. Финиками не корми, дай богов принизить. Ты, например, слышал про Арахну, сын Пеласга?

Царек Ликаон молчит и трясет головой. Сыновья безмолвно моргают. Блюдо с искусно

приготовленным телом несчастного заложника из другого города тихо стынет на столе передо мной. Дразнит аппетитным парком.

— Была такая лидийская ткачиха, которая как-то вызвала на состязание Афины Мудрую. Ты вот знаешь, что с ней произошло?

Спроси Ату-Обман — она тебе с удовольствием распишет, как Афина превратила Арахну в паука, да еще по лбу челноком пристукнула. На самом деле... не знаю, что там изобразила ткачиха из Лидии, но дочь убила ее на месте. И после несколько дней ходила хмурой и развлекалась в основном, побеждая Ареса на поединках.

Ликаон не знает. Он вообще стоит и моргает недоуменно, потому что Владыка должен проявлять гнев по-другому. Хмурить брови, голосом с высоты своего роста греметь. Всяко уж не болтать, будто пастушок с Крита.

Какая тебе разница, как я говорю и как веду себя, сын Пеласга? Ножницы Атропос над твоей нитью уже раскрылись.

И неужели ты в самом деле думаешь, что ты первый, кто попытался проверить мое всеведение, покормив меня человечинной?

Об остальных просто никто не знает. Значит, я сделаю так, чтобы о тебе узнали все.

— Кто ж вас так учил человечину готовить? Чеснок положили. Еще, небось, и в вине как следует не вымочили. Да ни один себя уважающий олимпиец такое в рот не возьмет!

Хотя за Эвклея я не ручаюсь.

«Ик!» — выскочило у горла Ликаона. «Ик! Ик!» — помогли ему сыновья.

Я сделал последний глоток вина из кубка. Поставил кубок. И продолжил тихо:

— А сам-то ты пробовал, сын Пеласга? Раздели же со мной чудесное блюдо. Отведай первым — в знак моей особой милости. Я окажу эту милость и твоим сыновьям — пусть и они наслаждаются божественной трапезой.

Смолкло хихиканье. Намертво. Страх мгновенно выбелил лица.

— В-владыка...

— Ешьте.

Под моим взглядом — холодным, пристальным, владычьим, царек протянул трясущуюся руку к блюду. Взял кусок, измазав пальцы мёдом, прилежно стал пихать в рот.

— Где же блаженство на твоём лице, о Ликаон? Или ты хотел угостить бога богов невкусным блюдом?

Царек поспешно добавил блаженства на лицо. Зачерпнул из блюда второй кусок, торопливо запил вином, потянулся за третьим, отчаянно скалясь, показывая — ничего, мол, не хотел такого, кушай на здоровье, бог, блюдо — вкуснейшее.

Амброзия пополам с нектаром.

За царьком, толпясь, потянулись сыновья. Подошли, повинувшись моему безмолвному кивку. Протянули руки, стали хватать куски, в горло пропихивать.

Кто давится, а кому, видимо, и не впервой. А кому вообще все равно — человечина и человечина, приготовлена неплохо... Вот еще б чеснока побольше — и вообще совершенство.

Сколько же у тебя сыновей, царь Аркадии? Двадцать... больше? Было бы у меня столько сыновей — я бы, наверное, в Тартар бы уже сиганул. Потому что не знал бы — кто...

Мне, впрочем, и одного хватает.

— Никтим!

Это Ликаон машет вымазанной в жиру рукой, зовет к столу любимчика. А младшенький

Никтим что-то там застыл за спинами старших. Вздрагивает губами, но смотрит твердо.

— Отчего же ты не поделишь со мною эту трапезу?

— Я... не могу. Не могу, Владыка. Карай, если хочешь.

Я кивнул. Хочу, мол. А как же — очень хочу.

В пальцах возникла белая стрелка, которой не нужна тетива. Для кощунников я не доставал лук Урана — слишком жирно будет...

Адамантовая молния сверкнула, поражая первого. Холодно блеснула, вонзаясь в грудь второму. Опалила волосы третьему. Четвертый заклокотал пропоротой глоткой...

Стрелка, игрушка матери-Геи, вела счет небрежно, с ленцой. Покидала пальцы хозяина — возвращалась. Сновала туда-назад деловито, как торговец в базарный день.

Раз-два-три-четыре, раз-два-три... сколько там еще осталось?

Кажется, нисколько.

Младшенький — Никтим — смотрит широко раскрытыми глазами на тела братьев. Еще теплые. В пальцах — еще куски страшной трапезы. Рты полураскрыты — будто собираются вина к трапезе попросить.

А аркадский царь Ликаон в бешенстве. Оскалился диким зверем, рычит из глубины глотки:

— Будь ты проклят, Кронид! Ты не всемогущ — все знают, что скоро... скоро-о-о-о-у-у-у!

Лицо царя вытянулось в морду, речь переплавилась в сиплый, болезненный вой. Затрещал праздничный хитон, на руках прорезались когти.

Когда он грохнулся на четвереньки, я подождал еще. Пока появится хвост и пожелтеют глаза. Пока рот, изрыгавший проклятия, станет алой пастью с желтыми клыками.

И тогда уже обронил тихо:

— Раз тебе так нравится — будешь жрать человечину до скончания дней. Ты и твои потомки.

Волк хрипло рыкнул, прижал к голове уши, наморщил лоб в оскале. Потом опустил лобастую башку и с аппетитом взялся за того сына, который лежал ближе.

Я развернулся и вышел из зала. Махнул только Никтиму — идем, пока твой папочка не перегрыз тебе горло.

Новый царь Аркадии последовал за мной, всхлипывая и запинаясь по пути.

— Дворец сожгите, — сказал я коротко. — Хочешь — можешь придумать, что я его молнией испепелил. Разрешаю.

Вроде бы, он кивнул. Или, может, голова затряслась, кто там знает.

— В-владыка, а...

— Что?

— А... отец?

— Получил свое. Что ты с ним будешь делать — мне безразлично. Хочешь — посели в золотых покоях. Венец на голову напяль. Хочешь — сдери шкуру. Хочешь — прогони в леса или спали вместе с дворцом.

Впрочем, венец — это я бы не советовал. Людоед — он и есть людоед.

— Не нарушай закон, новый царь Аркадии. Я еще отпирую у тебя.

Вот уж чего он перепугался чуть ли не больше, чем отцовской участи. Но все-таки закивал, начал уверять, что будет рад приветствовать меня в новом дворце, как только построят...

Я хмыкнул. Может, следовало чаще пировать у Ликаона раньше. Выяснить между делом — как он растит таких понятливых сыновей. И таких почтительных. Не то что...

Кивнул на прощание и шагнул прямо на Олимп, не утруждаясь встать на колесницу.

Говорят, Зевс Морской любит дельфином перекидываться, когда торопится к себе в глубину. Только вот Владыке неба и земли недосуг летать птичкой.

Особенно в такой паскудный день.

— В-в-в-владыка!!

А я-то надеялся, что успею на родном троне хотя бы час посидеть. Нет, не судьба, видимо. Говорят, есть у Япета-титана в доме сосуд, где он прячет беды и болезни — так вот, нужно послать к нему гонца, спросить — сосуд никто не разбивал? Не переворачивал?

Явился Владыка к себе в вотчину и до дворца еще дойти не успел, как...

Начальник охраны. Один из оставшихся куретов. Пыхтит, задыхается, сейчас мне сосуд с неприятностями начнет на голову опрокидывать.

Что там может быть?

Драка с утра — было, Зевс — был, на Гермеса жаловаться приходили. Что тогда?

— Твой сын, Владыка...

Мог бы догадаться. Вон, из дворца глухие удары слышатся.

— Опять с Афиной? — скучно спросил я, не ускоряя шаг, но и не замедляя.

С Афиной Арес дрался часто, всегда — с одним и тем же результатом: Афина, торжественно сдувая со лба упрямую прядь, легко шагала по своим делам, Арес тащился к лекарю Пэону, залечивать раны.

Только вот курет мотает головой — странно.

— Что, с Аполлоном?

С сынком Зевса Арес схватывался тоже нередко — по любому поводу, чаще — без повода. После этого к Пэону обычно ползли вдвоем.

Если подумать — с кем он вообще не схватывался? С Гермесом — было (последний раз — в прошлом месяце, когда Гермесу вздумалось пожить любимым копьем моего сынка). С Гипносом — было (с этим-то за что?!). С близнецом Гипноса — пересеклись два года назад, Арес получил рану в бок, в плечо, метку на лице и «Бездарно дерешься» напоследок (огорчился он не из-за ран). С Посейдоном — и то как-то раз успели зацепиться. С Силой и с Завистью, с младшими титанами, с...

Кто-то любовниц себе собирает, а кто-то вот драки.

Так с кем он еще не схватывался, мой сын и моё воплощённое пророчество?

— С... с Гефестом!

Ну да, с этим не схватывался пока что. Видно, сам понял это.

Потому и схватился.

Не во внутреннем дворе, не в поединке. В мегароне дворца, в драке — смертные друг другу морды так бьют. Боги, правда, тоже бьют — только вот последствий от этого побольше.

Из дворца мне навстречу выскочила Гестия. Крикнула срывающимся от волнения голосом:

— Скорее! Я хотела разнять, а они не разнимаются... я за Герой послала уже!

Но торопиться я не стал. Неспешно прошел по коридорам, усеянным крошечком от стен, разбитыми статуями, испепелёнными цветами, пылью, оставшихся от драгоценных ваз. Прислушался к воинственным выкрикам, ругательствам, боевым кличам (орал в основном

мой, Гефест просто ревел. Он легко впадает в неистовство, этот сын Зевса). Постоял у развороченных дверей мегарона, одну даже с уважением тронул пальцем — причудливая ковка была выгнута и перекручена.

А потом уже шагнул внутрь и полюбовался на битву.

По стенам мегарона непринуждённо гуляло пламя. Прогуливалось, мягко ступая, по коврам, вытканым золотыми нитями. Ухало, обнималось с колоннами. Веселясь, танцевало между крошева лавок, столов, стен...

А эти двое давили друг друга в яростных объятиях, хрипя. Казалось — в глотки друг другу вцепятся. Хотя нет, хрипит Гефест, он сверху — навалился и давит, правильно использует вес.

Что использует Арес — непонятно. Может, стратегию какую-нибудь вырабатывает.

А может — задыхается, только вот пальцы на шее у божественного кузнеца размыкать не желает.

Вот извернулся, ударил лбом (хрустнул нос Хромца), грохнул локтем, коленом... да куда ж ты, он же сейчас на тебя и повалится! А-а, что толку смотреть.

Я поднял царственный жезл (откуда он там взялся, в руке? Откуда-то всегда брался) — и драчунов разнесло по разным стенкам. Впечатало накрепко — со всей дури, так, что дальше не захотелось.

— Воины, — сказал, оглядывая поле брани. — Или вам наскучил Золотой Век?

Может, и наскучил. Сплошное благоденствие без конца и края. Роженицы замучались мальчиков воспитывать — куда их столько девать, когда никто не убивает? Тучные стада гуляют по Элладе. Плодятся люди Золотого века, Серебряного (оказывается, их Крон создал, а что мы их не сразу заметили — так медленные они, заразы), Медного (кто создал этих — не знаю, но кто-то создал). Кентавры, нимфы, божки, сатиры... Ешь, пей, веселись, удадь на соревнованиях показывай.

Только вот кому-то мало — на соревнованиях.

— Папочка пришел, — сказал Арес едко, отплеывая ихор. — Сейчас гневаться начнет. Молниями бросаться. Всем по справедливости.

Гефест ругнулся от противоположной стены. Попытался подняться — и не смог без костылей. Костыли были основательно разломаны и валялись на середине зала — так, будто их как метательные снаряды использовали.

А может, и использовали.

Кузнеца я на ноги поднял мановением руки.

— До Пэона дойдешь? Или позвать слуг?

Сын Зевса понуро кивнул головой — пойду. Тяжко, припадая на искалеченные ноги, потащился к выходу.

У выхода его догнал голос Ареса. Какой голос — шипение!

— Помни, что я сказал тебе. Если только на нее посмотришь...

— Отцу пожалуйся, — буркнул кузнец и пропал в коридоре. Правда, перед этим бросил на меня опасливый взгляд... с чего бы?

Помогать наследничку подняться я не стал, да и не требовалось — сам отскрёбся от стены. Смотрел, тяжело дыша, только глаза поблёскивали из-за спутанных смоляных прядей.

«Ты хотел меня видеть... отец?»

Вспыхнуло вдруг под веками, показалось: юноша-пастушок стоит на зеленом холме, сжимает в ладони лук. Позади неспешно выступает коза.

И взгляд — полный предназначения взгляд из-под наползающих на лоб черных волос... Тот же? Нет.

Другое время, другое отражение. У этого вон золотится на скуле божественный ихоровый кровоподтек. Губы разбиты, нос приплюснен, на лбу шишка рогом вырастает. Плечо вывихнуто, что ли? И глаз заплыл, от этого сверлить взглядом отца как следует не получается.

Что вот можно сказать такому своему предназначению?!

— Бездарно дерешься.

Ареса будто молнией шарахнуло. Хотя... Лучше бы молнию и бросил. Откуда оно выскользнуло — непонятно.

— И давно ты повторяешь слова Таната Подземного, отец?

— А ты давно ли сражаешься с калекой? Или решил брать пример с дедули Крона? Бить тех, кто слабее?

— Слабее?!

Глаза сына — черные, как мои — высверкнули нешуточно. Ага, как же, слабее — да этот сын Зевса, когда машет молотом...

— Уран был слабее Крона. Потому что спал. Гефест слабее тебя. Потому что у него есть видимая слабость. И даже ее ты не смог использовать в бою. Свою скорость против его неподвижности. Ты бездарно дрался.

— А ты хотел бы, чтобы я — что? Ударил его по ногам? Лишил костылей? Выиграл бы, используя любую подлость?!

— Так ты ввязался в драку, чтобы благородно стоять на месте, пока он по тебе попадет? Если уж решил драться — дерись до победы. Иначе не начинай боя.

Арес хмыкнул — вышло ядовито. Вытер текущий из носа ихор остатками гиматия. Глаза закатил — мол, началось, ну как же... Как бы уши заткнуть?

— Из-за чего хоть начали? — спросил я. Сын молчал. Глядел исподлобья хмуро, сопел и не говорил ни слова. И по всему было видно — ответа мне не дожидаться.

Хотя на что они мне сдались, эти ответы. Я же здесь, кажется, вездесущий.

— Афродита? Так?

Арес дёрнул ушибленным подбородком. Ничего не сказал.

Ну да, богиню любви видели выходящей из покоев сына. И не раз. В покои Гефеста она тоже навевалась. Да и Зевс ведь ее сватал за Хромца. Еще у меня согласия спрашивал, хотя кто я Афродите, рождённой из пены? Дал согласие — если согласна будет Киприда. Видно, сватовство оказалось удачным (не кто-нибудь — Владыка Моря замуж за сына зовёт).

— Она сговорена за Гефеста, — сказал я тяжело, — и сама на это согласилась. И тебе быть на ее свадьбе — скорее всего, она состоится после твоей.

— Пошли Афины, — выплюнул Арес. — Она представит Олимп лучше, чем я.

Не сомневаюсь. Хорошо хоть, вслух это не сказал. Договорил:

— А ты влез сегодня в драку с родичем будущей жены. Зевс не особенно любит Хромца. Но это его сын. Это не может не вызвать его гнев.

— И что он сделает? Отменит помолвку? И отдаст Кору в девственные богини или за Аполлона? Ты зря тревожишься, отец. Страх перед тобой так велик, что Зевс едва ли насупит брови. Даже если бы я явился на пир с головой Хромца.

Судя по блеску его глаз — ему этого хочется.

— Ты примиришься с Гефестом.

— Нет.

— Принесешь ему извинения.

— Нет.

— Отдашь дары — на сегодняшнем пиру.

— Могу ему в морду еще раз заехать. Или двинуть копьём — какой дар предпочтёшь?

— Ты меня слышал.

— А ты слышал меня. Что ты сделаешь, если я не примирюсь с ним? Посадишь ли свадьбу на цепь? Выйдешь против меня сам на поединок? Так давай же! Проверим, кто из нас дерется бездарнее. Сколько можно осторожничать и договариваться — Владыка ты или не Владыка? Так ведь могут подумать, что ты боишься Зевса... или Гефеста... или меня.

Пальцы дернулись. Сжались на жезле власти — казалось, жезл сам повел руку: покарать дерзкого!

— Гневаешься, отец? — спросил Арес, темнея глазами еще — до Тартарской ночи. — Так покарай меня — чего тебе стоит. Ты дерешься не бездарно... так ведь, отец?

Давай же, шепнула тьма в глазах сына. Мягко, ласково, искушающе. Ударь сейчас, пока ты Владыка, пока ты — в полной силе. А еще лучше — подними лук и закончи со своим роковым предназначением.

С вязким страхом, который двадцать лет не дает спать, с вкрадчивым шепотом из прошлого: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Стрелу и в Тартар — и пусть Пряхи на Олимпе подавятся гнилыми пророчествами!

— Ну же, — шепнули губы сына. Рокового пророчества. Он стоял, готовый к удару. Меч держал наотлет: соберется отразить удар? Нет?

И под ногами — словно трещинки льда. Отвратительного, тонкого, стигийского. Вдруг все же можно исхитриться — и избежать, но вдруг это — уже сейчас, и у меня дрогнет рука, и я не выиграю этот бой, потому что в ушах — тревожный гул пророчества...

— Что же ты, отец? Или боишься?

Щенок! Доведет ведь — полыхну, совью стрелу из владыческого гнева и действительно — всажу любимому сыну в глотку, лишь бы не слышать правды.

Потому что боюсь. Очень боюсь. Того, что видел однажды.

Куски тела отца, омытые черным ихором, неспешно падают в глубь Тартара. Свидетелей нет — подземный мир отвернулся, и пастушок-лучник торопливо сбрасывает черные куски в глубины Бездны. Слыша ее визгливый хохот: «Еще! Еще!!»

— Арес! Что здесь происходит?!

Мелькнул блик — золотые волосы в высокой прическе, золотая вышивка на пеплосе. Миг — и жена стояла между нами.

Спиной к Аресу, лицом ко мне, так что показалось — мать заслоняет непутевого сына.

— Аид! Неужели наш сын вновь разгневал тебя?! Умерь свой гнев, прошу — я уверена, он не таил ничего злого...

Выдохнул — с немой благодарностью к жене. Испарил из руки лук (откуда там лук?! Я что — был настолько близок..?). Позволил себе корявое подобие улыбки.

— Радуйся, Гера. Наш сын решил показать свою удаль в битве с Гефестом. Неудачно, так что мне придется подучить его сражаться...

— Не тебе меня учить, — прошипел из-за материнской спины Арес.

Гера обернулась. Теперь стояла спиной ко мне. Так что показалось — жена заслоняет непутевого мужа.

— Хаос Животворящий, да что же это?! Это так Гефест? И перед самым пиром у Зевса — ну, как же вы так схватились, ты же знаешь, какой сегодня день, ох... плечо болит? Пойдем, пойдем, нужно скорее протереть раны нектаром и амброзией, лишь бы только на лице меток не осталось, ну, что же это такое...

Я не стал слушать, как Арес бубнит разбитыми губами, что обойдется без помощи. И что вообще — плевать ему, как он там будет выглядеть на пиру. И что вообще Гере лучше отпустить его гиматий, ибо он не несмышленный мальчишка...

Знал, чем закончится. Горячим: «Кто же ты тогда, Арес? Сколько раз я тебе говорила — не заставляй отца гневаться?»

Ушел из разгромленного мегарона.

* * *

Отношения с сыном складывались — хуже некуда.

Просто принимать свою Ананку, когда сын мал, лежит в колыбельке и тянет к тебе ручки. Сказать: я выращу, я буду любить, я дам ему всё...

Когда сын вырастет и всячески показывает, что недорогоценному папаше осталось недолго — смириться с Ананкой почему-то труднее.

Может, я мало старался, не знаю. Сейчас помнится — вроде бы, и себя не в чем упрекнуть: и времени сыну — побольше, и ласки — сколько могу, и подарки, и разговоры, и сказки, и осторожно, очень осторожно, без суровости — к шалостям...

Наследник все же. Единственный. Пророчество, не пророчество...

Потому я старался дать ему все, чего не было у Афины. И вот, получи: Афина на Олимпе, Арес — старается с Олимпа сбежать, Афина помогает и знает все о царстве — Арес знать ничего не желает.

Афина же его и во всех видах боя уделает.

Может, за всеми моими попытками — научить его быть колесничим, и метать копье, и сражаться на мечах, и стрелять — слишком ясно слышался грохот пророчества: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Я давил его и напоминал, что еще есть время, что я люблю наследника и я не мой отец... Но кровь Крона голосила в венах, рыдала каждой каплей, и черные глаза сына — слишком мои глаза — смотрели каждый раз — двумя неотвратимостями.

Я пытался. Сын тоже пытался — по-своему.

— *Хочешь научиться стрелять, сынок?*

— *Не хочу.*

— *Почему? Твой отец лучник.*

— *Я не мой отец.*

— *Лучник и Аполлон. И даже Уран-небо!*

— *Ну и что?*

— *Тогда каким оружием ты хочешь владеть?*

— *Никаким.*

Когда это случилось? Куда исчез беспечный смех малыша, который тянул руки к отцу? Который доверчиво цеплялся за мой гиматий? Просился со мной в конюшню («А меня на колесницу поставишь?») Когда?!

В шесть его лет? В семь? В девять?!

Но он начал сперва ломать луки и выбрасывать мечи, и прикапывать копья в саду. Мастерству колесничего учился, но у Гелиоса («Он — лучший»). Если я пытался рассказать ему о царстве — затыкал уши. Потом просто забивался в угол и сидел там, глядя исподлобья.

Сражаться научился, уже когда начались драки с Афиной. Бросил мне коротко: «Я хочу владеть мечом и копьем». Освоил навыки — и начал оттачивать в ежедневных стычках со всеми.

Исчезал, прятал глаза или смотрел с затаенной ненавистью (за что?!). И перечил во всем, до мелочей.

Что уж говорить о крупных ссорах.

Так, что искушение взять лук и... закончить возникало в третий раз только за этот год.

Спасала — его и меня — только Гера. Заслоня сына от отца. Заслоня отца от сына. Кружила, будто птица, по дворцу, почти не отлучаясь. И — вмешивалась, разводила, смягчала ссоры...

Мерила испуганным взглядом мое лицо — каждый раз, даже если трехлетний сын просто амфору расколотил: не передумал? Не буду глотать наследника?

Когда Зевс предложил женить Ареса на Коре — она обрадовалась. Даже несмотря на то, что это Зевс. Мол, будет у мальчика свой дворец, подальше от папашиного — может, хоть полгода не сцепятся.

Может, хоть полгода не придется становиться щитом — между двумя клинками.

Я тоже был не против этой свадьбы. Понятно, конечно, что братец решил подобраться поближе к будущему Владыке Олимпа... ну, мне-то что. Опять же, о красоте юной Кору ходят развесистые сплетни — может, хоть она вытеснит в Аресе страсть к Афродите (а брак с Афродитой для трона Олимпа ничем хорошим не кончится). Если эта дочка Деметры ещё и характером в маму пойдёт — Афродита вообще на Олимп носа не покажет, чтобы не быть превращённой во что-нибудь изобретательное.

Арес принял новость о своей женитьбе без восторгов. Но и без особенных трепыханий, с равнодушием. Кора так Кора. Свадьба так свадьба.

Такая покладистость как-то даже и настораживала. Но пока что все шло ровно: обменялись дарами, совершили обряды сговора... теперь вот в честь помолвки отпировать да на невесту посмотреть — и все, можно женить сына.

А потом... потом...

«Потом» стало как-то привычно в последние годы. Ловил себя не раз — слишком часто об этом думаю, хотя мне скоро станет наплевать — что там потом, в Тартаре-то. А вот — готовился. Раздавал распоряжения Гере, Силе, Зависти. Старался избавиться от кощунников и заговорщиков — чтобы сыну, который свергнет меня, легко было править.

От этого иногда издевательски зудело между лопатками — мол, что, Кронид, может, еще и повернешься, чтобы удар принять?

— *Маленький Кронид...*

А-а-а-а, опять она. За двадцать лет не насмотрелась из-за плеч. И, могу поспорить, все с тем же: не ходи ты, маленький Кронид, на смотр невесты.

— Опять?

— *Маленький Кронид... я говорила тебе...*

— Ты говорила. Я слушал.

Десять лет назад меня звал посмотреть на дочь Зевс. Я услышал предупреждение. И отказался. Восемь лет назад праздновалась годовщина освобождения Циклопов Зевсом. Я

услышал предупреждение Ананки. И сослался на важные дела. Пять лет назад, в годовщину Зевса и Деметры, я снова не поехал, вызвав уже обиду брата.

Но не видеть невесту сына, притом, что я же еще и церемонию буду совершать — это уже верх глупости. Гера посматривает недоуменно — я свалил на нее чуть ли не всю подготовку к свадьбе. Обиженный Зевс шлет гонцов. А я внимаю гласу Ананки моей и раз за разом бегая от юной Кору — что там в ней такого-то, в этой Коре, мне уже интересно!

— Ты будешь слеп, маленький Кронид...

Глаза, что ли, выест?

Буду слеп, буду глух, буду иным — слышали, знаем. Вот и сейчас — все тот же упреждающий шепот, от которого я теперь уже решительно отмахиваюсь.

Некогда предупреждения слушать. Мне тут нужно на пир. Торжественно объявить будущий брак моего наследника с Корой, дочерью Зевса и Деметры. Попутно посмотреть на эту самую дочь Зевса и Деметры. А то я только знаю, что она вроде как рыжая. Не обознаться бы при встрече с будущей невесткой.

Обещал же я когда-то — буду на свадьбе сына. Пришлось, правда, свадьбу немного поторопить, потому что у меня было опасение, что сын меня в Тартар отправит до нее... Хотя свадьбу мы наметили через месяц, так что еще может отправить. Ну, побуду хотя бы на помолвке.

И вообще, у меня там пророчество за плечами. В конце концов — разве может со мной случиться что-то хуже, чем оно?!

... оказалось — может.

* * *

За годы правления пиры успели стать привычными. Обязательными и необременительными. Словно повседневная обязанность, к которой частенько возвращаешься — не лучше многих и не хуже. Как братские визиты, жалобы Деметры или необходимость в очередной раз разнимать Ареса с Афиной.

Словно тропа, которой ступаешь в тысячный раз. Вот тебе яства столпились при дороге — а вот и кубки с вином их догоняют. Лица-маски — Зевс лучится радушием: «Ну наконец-то!», Деметра улыбается напоказ, а сама, небось, опять на муженька гневается (что, опять бегал по нимфам?! Сколько можно уже). Выводок зевсеншей — Гермес шепчет что-то вожаку сатиров — новые козни строит. Аполлон сегодня что-то встревоженный и словно на иголках сидит — и вместо него за кифару берется его сестра, у нее, оказывается, тоже неплохой голос. Ведут томные хороводы нимфы. Пригорюнился томный Гименей — вот уж странную долю себе выбрал этот сын музыки Урании. Умирать от тоски на свадьбах ему показалось мало — и он теперь умирает от тоски еще и на предварительных пирах, вздохи с другого конца стола слышны. Афина пляшет с нимфами — в нетерпении дожидается соревнований. Кивает на лицо Ареса, с которого до конца так и не сошли отметины:

— Добавление к брачному убору, брат? Я слышала, тебе намял бока Гефест? Не огорчайся, может, в таламе на ложе ты будешь более удачливым.

Ловит мой взгляд — прикусывает язычок. Арес и без того сидит мрачнее Тартара — не хватало совсем отравить ему обручение.

Афродита тоже в танце. Порхает от одного бога к другому, строит глазки Зевсу, мне, молодым титанам, Гермесу... что-то не похожа на исходящую скорбью, неужто я ошибся, и

Арес все-таки не из-за неё?

Впрочем, так даже лучше.

Пир топает привычной дорогой. Между гостей шляется Ата — мимоходом рассказывает небылицы про Владыку Подземного, Ужасного Посейдона, который настолько суров, что не появляется на братских пирах. Ну да, ну да, — отхмыкиваются многозначительно. Мы бы посмотрели, как бы он на пиру появился. Перед темными очами-то старшего брата. Интересно бы знать — Владыке Посейдону такое вообще надо?

Хотя какой он Владыка... вон, Гипнос всю разливаешь о том, что братец все больше пирует на поверхности. А в вотчину — так, навевается время от времени.

Хотя какая она ему вотчина, в самом деле.

Мы с пиром идем привычной тропой — вместе. Я произношу тосты и уверяю, как рад буду в очередной раз породниться с Зевсом (хотя непонятно, куда нам еще родниться). Зевс уверяет меня, что и так Ареса почти сыном считает, ну а теперь...

Пир жует, поет, пляшет, гудит, сплетничает. Мом Злоречивый развлекает гостей всюду, Гермес уже опять у кого-то что-то стянул — ну, никак не успокоится... Если выбраться, побродить незаметно (даже и без шлема) среди гостей — можно такого послушать...

— А правда, что Гефест сватался за Афродиту?

— А он разве не за Афину сватался?!

— Нет, к Афине-то он как раз без всякого сватовства, а она...

— Копьем — и бежать?

— Что ж вы, Афину не знаете? Копьем — и для надежности ногой под дых!

— Да не под дых, а под это самое... Вон, Гефеста даже на пиру нету — это ж как она его...

— Ой, было б куда целить, не Приап, как-никак!

— Ну, не Приап, но тоже вполне... и вообще, ты Приапа видела?! Ужас! А вообще, хотя...

— А Гестия правда была в подземном мире?

— Да, она же мне рассказывала. Река, говорит, огненная — красотища! Это Флегетон-то ей красотища, представляете!

— Так ведь если учесть, что она туда в сопровождении Жестокосердного таскалась — может, и впрямь — красотища...

— Что я пропустила? Гестия — и в сопровождении Железнокрылого?

— Ой, да там такая история...

Нет там истории. Вернее, есть, но я ее знаю — вездесущему Владыке положено. Действительно, брат Гипноса выбирается к кострам Гестии. Ничего себе особенного не позволяет, да и выбирается раз в год, не чаще.

Все это уже и странным чем-то перестали считать: сестренке дай волю — она бы к себе половину подземного царства приклеила. После ее визита в подземный мир к ее кострам еще долго приползали подземные. «Греться!» — ликующе поясняла Гестия. На Олимпе она бывала редко, говорила что-то о том, что в золотых очагах огонь не живет... я делал вид, что не понимаю. Зато она подолгу пропадала здесь, на Элевсине. И сейчас вот среди пирующих — рассказывает, какой убор они с Афиной выткали для юной Кору.

Впрочем, уже время. Пик солнечного дня прошел, и золото льется на лужайку у Парнаса, не обжигая травы — Гелиос направляет бег своей квадриги к закату. Пронзительным румянцем покрываются небесные овцы — облака Нефелы. Арес бросил на

Афины последний хмурый взгляд, подался во дворец будущего тестя: сейчас ему нельзя видеть невесту.

Зато будущему свёкру — можно. Вон, Зевс уже расписывает, как ему жаль, что я не увидел раньше и раньше не оценил. И вообще, почему это я не являлся на пиры, когда звали?

— Боялся, что ли? — усмехается брат и передаёт кубок с вином.

— Дела иногда бывают важнее пиров. Сам знаешь, с титанами беспокойно.

— Ну, ради такой красоты мог бы и выбраться. А то стоваривали — и то вслепую. Я-то думал — сам явишься... сравнишь, выберешь наследнику — чтобы красотой... гм, равна Афродите... Да и себе — вторую дочь... Но ты прислал Геру!

— В этом я доверяю выбору жены, брат.

Зевс только хмыкнул. Смерил взглядом Геру («Такой жене — почему не доверять!»). Потом махнул туда, где на зелёной лужайке уже сходились плясуньи, где шли пока еще в неспешном танце Афина-дочка, и сестренка-Гестия, и Артемида Зевса, и...

Кажется, меня еще догнал крик, стон, вопль из-за плеч: «*Не смотри, невидимка-а-а-а...*» Догнал поздно: я уже взглянул.

Уже смотрел — не в силах отвести взгляд. На свою будущую невестку.

Я ли?

Нет, это не я.

* * *

Нет, это не я. Не Аид Громовержец, Владыка Олимпа. Не Эгидодержец, Гостеприимец Щедрый Дарами, Справедливый и Мудрый. Не хозяин Золотого Века, у которого всё началось правильно.

Прикажу ногам — они не двинутся: вросли в землю. Не дрогнет спина: срослась с треном. И руки не поднимут кубок: висят плетью.

И глаза отказываются моргать: они не видят больше мира.

Нет больше мира.

Есть она, танцующая на зеленой лужайке.

Есть я, оглохший, ослепший, как... никогда: лучнику нельзя слепнуть, ему нужно точно видеть цель. Онемевший и забывший дышать: зачем тратить принадлежащий ей воздух? В один миг лишившийся всего, чего добивался — годами, за что боролся — годами...

Правления. Величия. Трона. Всего.

Хтония нет на моей голове, но я невидим, потому что меня нет больше.

И у меня больше ничего нет. Потому что у меня нет ее.

Золото трона, на который мне пришлось сесть на пиру, ласкается к пальцам — будто хочет утешить, касается плеч — словно стремится удержать от непоправимого. Прости меня, родное золото, я понимаю, что ты хочешь помочь...

Но непоправимое свершилось. Я гляжу на дочь Деметры и Зевса, свою будущую невестку, и чувствую, как стрела, которую никто не посмел бы спустить с тетивы — как она не спеша отравляет своим ядом все мое существо, и меня больше нет.

Есть — ее взлетающие в воздух в танце кудри, сияющие медью. Зелень взгляда, которым она ласкает травы — менее зеленые, чем ее глаза. Звуки ее смеха — она тихо смеется в упоении танцем, который больше похож на полёт.

И сам этот полёт, каждое движение которого втискивает отравленную стрелу глубже в

мое сердце, хотя я и так никогда не смогу ее выдернуть.

Улыбка, из-за которой Гелиос-Солнце держится подальше от этой поляны: ему с его колесницей нечего противопоставить...

И тихий звон бронзовых браслетов на ее запястьях, и нежность губ, и абрис плеч, и все то, что я нетерпеливо вбираю глазами, все то, что проникает в меня и течёт в крови и отбрасывает меня-Владыку на годы назад, превращая в черноглазого пастушка с Крита.

Я не лучник — мишень. Неудачливая мишень, не успевшая увернуться. Где-то там, позади, глохнет крик верной заплечной спутницы — теперь я понимаю, почему она с самого начала советовала не женить сына на дочери Деметры. Запоздалое, ненужное понимание — потому что мне сейчас вообще ничего не нужно, кроме нее, потому что я уже поймал грудью проклятую стрелу, потому что сейчас передо мной — тайна. Коснись — и разгадаешь. Это что-то такое простое, вроде песни о том, чтобы стоять и смотреть на нее, забыв обо всем остальном, потому что ее танец, смех, волосы — это важнее... важнее... чего?

Ответ был на подступах, я чувствовал его кожей, ощущая себя легко, как никогда, испытывая почти свободу от всего наносного, каких-то мелочей, которые я придумал сам для себя...

Потом на солнечную полянку пала тень — облачко набежало на Гелиосову колесницу, и в ушах отдался далекий голос из прошлого. Мой собственный.

— *Что будет, если ты полюбишь? Если я люблю?*

Ты помнишь, кто она, Кронид? Та, которую ты сватаешь за сына. Ты помнишь, почему она улыбается тебе сейчас? Потому что ты — ее будущий свекр. Ты помнишь, что сейчас пир и дороги назад нет?

Ты помнишь, кто ты, Кронид?!

...да какая, в общем-то, разница.

Я же просто сижу на пиру у Парнаса, любуюсь самым прекрасным существом, какое мне доводилось видеть — куда там Афродите с ее томными взглядами и безукоризненной улыбкой! Я никуда не собираюсь, мне и здесь довольно неплохо, и я даже не понимаю, что это так стучится ко мне в виски запоздалым гостем... какие-то стихи... строки из закона... пророчество!

Родное золото трона обожгло пальцы. Сверкнула в глазах безумная улыбка матери, похожая на улыбку отца, и отдалось внутри грохотом скорого обвала: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

И я рванулся обратно к себе, к Владыке. К обреченному правителю, который скоро окажется в Тартаре и сможет еще раз поздороваться с отцом. У которого не может быть любви.

Да и всего остального тоже.

Выдохнул. Опустил глаза. Потом поднял.

Оказывается, они все смотрели на меня. С вопросом. Танец кончился, и теперь Владыке следовало бы что-нибудь сказать в честь знакомства с невестой. Похвалить танец. Ободрить.

Объявить, что браку быть.

Долг обрушился на плечи так, будто я пытался поднять на них Олимп.

Нестерпимо желая исчезнуть, я поднялся с трона. Вознес перед собой чашу. Убить дрожь и хрипотцу в голосе было трудно, но я не промахнулся.

— Радуйся, юная Кора! Никогда не видел я такого дивного танца. Брат мой говорил мне, что ты прекрасна, и теперь я убедился в этом сам — и то, что я вижу, стократ лучше любых

слов.

Слова... слова — шелуха. Мелькнуло вдруг: почему шелуха? Откуда?! Порошат и порошат, будто легкий первый снежок на севере. Скрывают измученную землю, под которой таится источник лавы. Тронь — выплеснется огнем из груди.

— Прими же этот дар, дочь Зевса, в знак нашего знакомства и в память об этом дне!

Гера набрасывает на твои плечи покрывало, которое они с Афиной ткали и вышивали вместе. На покрывале цветут червонным золотом неведомые цветы, и твои кудри загораются еще ярче.

— Радуйся, о великий Владыка. И я слышала многое о тебе и всегда мечтала тебя увидеть. Благодарю за твой дар — он прекрасен.

Прекрасна — ты. В свадебном покрывале, которое я сам тебе преподнес и которое почему-то не успел испепелить — а надо бы. Жаль, этот миг, когда мы стоим напротив друг друга, слишком короток, Кора — и я не успеваю как следует заглянуть тебе в глаза. Что там? Рассказы о великом Владыке, хозяине Золотого Века — на такого и посмотреть-то боязно? Бесконечные внушения Деметры: «Это же Климен Олимпийский, дочка, только не выкини что-нибудь, в своем духе!» Бестревожные дни на Элевсине, заполненные играми с нимфами и собиранием цветов, и осторожные вопросы: «А этот... ну, старший брат... он какой, очень строгий?»

Так ты хотела увидеть меня? Жаль, я не успеваю увидеть — почему: ты прячешь взгляд под медными ресницами. И хорошо, что ты сама не умеешь читать по глазам, юная Кора. Иначе мне труднее было бы исполнить долг.

Навязший в зубах, тяжкий долг — на двоих с Зевсом.

Объявление, что свадьбе быть.

— Здесь и сейчас говорю тебе, Зевс: свадьбе между нашими детьми быть!

— Здесь и сейчас говорю тебе, Аид...

«Будет. Будет. Будет», — ударило в виски. Глухо, раскатисто. Свадьбе... быть — отдалось полынным привкусом в горле. Юная Кора взглянула с испугом — наверное, что-то все-таки увидела на лице — и я торопливо махнул рукой, сел на место, отгородился золотым кубком...

— Ты чего, брат?! Свадьбу празднуем, не поминки справляем. Хей! Чаши поднимем за Ареса Клименида и дочь мою, Кору!

Звякнули чаши. Вино хлынуло в горло.

Полынный привкус остался.

* * *

Уйти удалось не сразу — ближе к закату, когда пыл пира прогорел, и начались состязания. До этого сидел, смотрел в кубок, отшучивался от Зевса.

— Не жалко такую красавицу — и сыну отдавать?

— А тебе своему Гефесту Афродите — не жалко ли?!

— А может, и не жалко. Как-никак, поближе будет. К слову, Гефеста так — это Арес?

— Да уж, знаешь ли, не Гестия. Примириться я приказал. Извинения принесет.

— Да какие там извинения, что я, не понимаю, что ли?! Афродита, опять же.

Кора была с женщинами, в другом пиршественном шатре. Зато вернулся нахмуренный Арес. Зыркнул исподлобья на меня, Гефеста взглядом не удостоил. В ответ на поздравления

Зевса — закатил глаза и подался на край стола. Там и сидел с укусной миной, кого-то мне очень напоминающий.

Не того ли, что смотрит из отражений?

Все-таки смог. Удержался, дотянул. Посмотрел даже на состязания лучников, где за первый приз схватились Артемида и Аполлон. Отказался показать свое мастерство:

— Это было бы нечестно, брат, ты же знаешь, я не промахиваюсь.

И уже потом побрел, сбросив с себя надоевшее величие, в сад Деметры. Нашел уютное озерцо с пригорком на нем. Над пригорком рос и золотился не ко времени тополь — не осенний, просто листья золотые почему-то.

Над этим озерцом — кристально чистым, со светлой холодной водой, я и присел в до странного знакомой позе. Будто домой вернулся.

Казалось только — протяни руку, возьми стилос и начни чертить по песку извилистый след своей памяти... Хотя сколько той памяти? Смешно же — ничего и совершить не успел. Так, побегал по Криту, пристрелил отца, создал Золотой Век, потом услышал пророчество, потом получил стрелу в сердце от лучницы, которой не ждал — невесты сына.

— Бездарно дерёшься, — слышится голос брата Гипноса, Таната Жестокосердного. — Ты стоял слишком близко. Это недостаток твоего лука: тот, кто стоит близко, может ударить до того, как ты натянешь тетиву и возьмешь стрелу. Раньше, чем прицелишься. Если хочешь оставаться Стрелком — держи тех, кто может ударить, подальше.

Я понял, Жестокосердный. Я понял, Ананка.

Я бездарно дрался.

Наверное, я просидел там долго, заглядывая в воду, где плавали воспоминания: ее танец, смех, взгляд...

Закатное солнце купало руки в алом. Не к месту золотило камни. Красило воду в цвет алой смертности, и в воде появлялись глупые, нездешние сны: кто-то в черном сидит, ссутулив плечи, над обрывом, прислонившись к дереву, и с пальцев его медленно падают капли, и дерево роняет ему на плечи листья, скованные не из золота. И там, за плечами у кого-то в озере — проступает фигура: высокая, статная, женская. Только вот из-за причудливой игры заката с водой не поймешь — какие у нее волосы, у моей Ананки — золотые или...

Нет, золотые все-таки.

— Состязания скоро закончатся, — тихо сказала Гера, опускаясь рядом со мной на берег. — И опять начнется пир.

Я не кивнул. Сидел, бездумно глядя в алую с золотом воду.

Алую, как закат или вечная, изматывающая война. Состязание — все против всех.

Золотую — как листья царственного тополя в саду Деметры. Или как золотой кубок на пирах.

Состязание, состязание, а в промежутках — пиры... вот она — участь истинного Владыки.

Всего остального у Владыки не может быть.

— Если ты не хочешь идти — я скажу им, — проговорила жена. — Скажу, что тебя позвал Олимп. Что прислали гонцов. Что твое царство не может ждать.

Ложь — Ата, подруга по играм, порадовалась бы. Мое царство подождало бы царя с пира — до еще одного состязания. Подождет, пока я подниму кубок за расквашенный нос моего рокового пророчества (в том, что Афина одолела Ареса на арене — я не сомневаюсь).

И пока багровеющее пророчество не забьется угол и не начнет оттуда грозно сопеть над кубком. И пока пророчество не утешит мать...

Надо будет — и еще подождет. А уж потом полезут советы, мелкие дрызги, ссоры, суды, сплетни, недобитые титаненьши, заговоры и смертные кощунники...

Золотой Век. Пополом с кровью.

Кажется, я старался высмотреть в алой с золотом воде хотя бы вспышку яростной меди. Хотя бы отблеск летнего, смешанной с зеленью полудня.

Вода не желала мне дарить даже памяти.

— Ты полюбила, — пришло вдруг из ниоткуда. Гера рядом вздрогнула, дернулась, чтобы встать. Десяток лет назад нужно было с ней об этом поговорить, я же видел, как она глаза прячет, мог бы сообразить, что не только из-за сына.

А может, и не мог.

Пока меня самого не ударило с разлета стрелой. Не золотой стрелой — медной.

— Давно?

— Давно, — отрезала она сухо. Помолчала, нахмурившись. У отражения жены там, в воде, вздрогнули губы. Вышвырнули решительные, жесткие, давно продуманные слова: — Я останусь верной долгу, как говорила тебе. За двадцать лет я... не говорила с ним ни разу. Я буду до конца...

Померещилось вдруг, резануло под веками: солнечное утро, дымит костер, Эвклея чешет брюхо блаженно развалившейся на травке козе. Юноша смотрит в костер, рядом с ним прислонилась к деревцу девушка-лучница в одеждах лесной нимфы.

— *Судьба прихотлива. Кто знает. Что будет, если вдруг ты полюбишь? Если я люблю?*

— *Останусь тебе верна, — звучит ответ из прошлого — безжалостный, словно меч младшего сына Ночи. — Долг превыше всего. Очаг превыше всего...*

Судьба прихотлива.

Тихо падают капли с пальцев... нет, со щек. С твоих щек, Гера, жена моя, которой я-юнец как-то опрометчиво бросил фразу: «Я думал, женятся по любви». Нелюбимая жена нелюбимого мужа. Мать моего пророчества. Получившая всё, о чем может мечтать царица: почет, и славу, и золотой очаг, в котором ровно горит пламя долга — и ядовитое предназначение в придачу. Полюбившая... кого хоть полюбившая-то?

Кажется, какого-то юношу с кифарой, — я вижу это там, в твоих глазах, ты прячешь их от меня, но я могу различить и в отражении. Не тот ли, который помогал спасти Прометея? Что, тот самый? Кто там знает, может, если бы ты поддалась на его уговоры сразу и сказала об этом мне — все было бы стократ проще. Я отпустил бы тебя с твоим юнцом-кифаредом, сам попировал бы с Зевсом — и, можно даже не сомневаться, он попытался бы меня женить на своей дочери, раз уж я свободен.

Я не избавился бы от своей участи — ты уже носила ребенка в то время. Но Кора... двадцать лет...

Двадцать лет — столько ты ходишь на тот самый берег тайно? Слушаешь его песни из-за деревьев, прячешься за скалами? Ловишь его образ, впитываешь сквозь слезы на ресницах — и уносишь услышанные мелодии с собой под сердцем, чтобы напевать за сбором трав, за вышивкой... на супружеском ложе?

— Хватит, Аид!

Она закрыла глаза — прочитала даже в отражении моего взгляда что-то слишком

острое. Сцепила зубы, проговорила сипло:

— Я говорила тебе — я знаю свой долг. Я не пойду туда больше.

Я вздохнул. Взъерошил волосы — те весело растрепались без венца. Сказал веско:

— Ну и дура.

— Что?!

Не надуй щеки, женушка — лопнешь.

— Что слышала. Правда, и этого кифареда не от большого ума угораздило — это ж надо, так втрескаться, что двадцать лет волнам мелодии выводить. Да еще в кого?! Но раз уж двадцать лет, то ты б к нему сходила что ли, хоть раз. Поговорила бы, а еще лучше... спели б дуэтом.

— Ты... мне?! Ты это — мне?! Богине домашнего очага?!

Казалось — Гера меня сейчас душить начнет. За пренебрежение ее великой жертвой и ее священной верностью. От этого было как-то пустовато и весело — эй, Ананка, ты такое видала?! Меня тут не свергнет сын, меня жена удушит за предложение пойти к возлюбленному. Давай, переписывай пророчество, только так, чтобы Пряхи твои не поперхнулись.

— Да ты хоть понимаешь, что будет, если кто-нибудь узнает, да ты хоть представляешь, как это на тебе отразится, да ты хоть помнишь, что у нас сын, да ты... ты развратник!!

— Я?!

— Ты думаешь — я не видела, как ты на нее смотрел?! На свою будущую невестку? И сам ведь понимаешь, что не для тебя, и у самого долг, так ты решил меня спихнуть? На ту же тропу?!

Ананка там смеется, за плечами, — ей весело. Нет, ну правда, наверное, обхохочешься: сидит над озером муж и склоняет верную жену к измене, а она упирается. Деметре такое расскажи — а она день-деньской мужа от любовниц отгоняет — пальцем у виска покрутит.

А Гера, кажется, поняла, что лишнее лягнула. Потому что притихла. Потому что — в цель.

Но не насмерть.

А что бывает с лучниками, которые добычу поразили, но не убили?

Правильно, добыча стреляет в ответ.

И вот я кладу ей руки на плечи и заставляю посмотреть в глаза. Шепчу:

— А сколько, по-твоему, мне осталось, Гера? Год? Два? Больше?! А когда меня... — мотнул головой туда, где взвился боевой клич сына. — После исполнения пророчества — что будешь делать, охранять очаг? Станешь любовницей Зевса? Он ведь не забыл твоей стрелы. Нужен новый щит, Гера. Старый вот-вот... поэтому иди. Иди сейчас!

Пока идиот-кифаред не бросился со скал, или не глотнул яда, или не сошел в подземное царство живьем (я же его оттуда потом замаюсь для тебя выковыривать!). Или кто там вообще знает, что он может. Музыканты — отчаянный народ.

Иди, пока ждет. Вернуться всегда успеешь.

И если уж ты поймала золотую дрянь в сердце, то за все годы, что ты заслоняла меня — я могу подарить тебе хоть это. Короткий толчок — отстранить от себя. Короткий жест — почти что приказ.

Ты свободна, жена.

— Аид...

Проще наверное — чтобы ты ушла совсем. Чтобы я мог объявить: так и так, отпускаю

жену на все четыре стороны. Может, даже замуж тебя выдать за твоего кифареда. Только вот сейчас так нельзя: сыну кто-то должен будет помочь удержаться на троне. После... Должен подсказывать, советовать... Иначе Зевс и Посейдон быстро передерутся из-за Олимпа, потом титанята подтянутся, и начнется опять.

Состязание — все против всех.

Без перерывов на пиры.

Значит, ты должна пока что оставаться царицей. Прости меня, жена, я не могу отпустить тебя, могу только отвернуться и закрыть глаза — хватит ли тебе этого?

Лист упал на щеку — теплый, влажный. Нет, это скатилась слеза, когда Гера коснулась моего лба губами.

— Спасибо... брат, — прошептала сдавленно.

Прежде, чем уйти. Шагнуть куда-то, где шелестит песок под сандалиями и в такт кифаре подпевают волны.

К нему.

К своей кучерявой Ананке, не знаю, как там по имени.

Оставив меня — наедине со своей.

Моя, впрочем, тоже где-то загуляла — голоса из-за плеч не подаёт...

Вернуться на соревнования? На пир? Поднимать чашу, подогревать в очаге холодное пламя долга?

Шлем пришел в руку, как спасение. Невидимкой я поднялся с озера — и в воде больше не отразилось ничего, так, какие-то листья плавали. Невидимкой побрел сперва по саду, потом по горной тропе — просто так, куда глаза глядят...

Как будто закончилось соревнование, но пир никогда не начнется.

Все равно ведь сумею отговориться. Занятостью, царством, бунтом... просто солгу. Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится оспорить мои слова. Впрочем... Зевс так вообще решит, что я за нимфами всю ночь пробегал, могу поспорить — сам он так и сделает.

Что решат остальные — мне тем более наплевать.

Ноги вывели к пещере — темной, средней глубины. От пещеры слышалось ожесточенное чавканье, и неудивительно: неподалеку перед костерком примостился Эвклея и в одиночку сражался с кучей еды и легионом амфор с вином.

Армия противника терпела разгромное поражение.

Козы вот только не хватает, и еды многовато, а так вполне себе — праздник.

Амфору вина я подхватил, не останавливаясь. На ходу снял шлем, бросил Эвклею: «Ты меня не видел» — и прошел себе в пещеру.

— Ну вот, — только и сказал мне вслед жирный распорядитель. — Теперь мне запивки не хватит.

А я что? Я-то как раз на своем месте. Вот бы так... хлебнуть вино из горла раз, другой, вытянуться на волчьих шкурах, вдохнуть дыма от костерка... что еще нужно Аиду Отшельнику?

— Дядя... ой, а я... к тебе. То есть, не гневайся, Владыка...

Задремал, наверное. Или вовсе уснул. Удачно уснул — подсуетил бог сна по старой дружбе!

Вот она — медноволосая плясунья, Ананка моя. Крадет в пещеру тихонько-тихонько, шепчет, сбиваясь:

— А я... я везде тебя ищу, а никто не знает, где ты, даже Гермес не знает, только сказал,

что твой распорядитель знает, а я спросила у него, а он говорит — «Да в пещере он дрыхнет». Не гневайся... дядя. Владыка.

На такие сны еще и гневаться! Приподнялся на волчьих шкурах, пошарил вокруг — где гиматий? Во сне или не во сне, а приходится соблюдать хотя бы видимость величия.

Хотя какая видимость! Видок — как у пьяницы записного: хитон перекосялся, в волосах травы из изголовья полно, вместо гиматия то амфора, то шлем подворачивается. А вот сновидение пришло как должно. Как полагается — укутанное с ног до головы, только медная прядь высовывается из-под капюшона да кончик любопытного носика.

Глаза она прячет — не осмеливается взглянуть на мятое величие.

— Подойди. Можешь смотреть.

Как, спрашивается, нужно разговаривать с собственным сновидением? Аэды — те, может, вернее сказали бы, а мне как-то ничего не воображается. Сижу на шкурах. Смотрю снизу вверх на закутанную в плащ дочь Деметры Плодоносной, мою будущую невестку, Кору... и в глаза — огненно-бронзовым маревом наотмашь. Каскадом волос, танцем, песней, улыбкой — из памяти.

И хихиканье — почему-то кажется, что торжествующее — Прях. А вслед за этим осознание: я не удержусь.

Она станет женой Ареса. Но быть с ней рядом, в одном дворце — да что там, на одном Олимпе — это будет слишком для меня, и однажды я не стерплю, дам себе волю, отберу у сына то, что сам ему и вручил сегодня — может, на час, но отберу, чтобы хотя бы час владеть чем-то, чем мне нужно по-настоящему...

И тогда все закончится. Перестанет рокотать отдаленное «Будет, будет, будет» в висках.

Арес никогда не простит мне — и меня свергнет сын.

Та, из-за плеч, предупреждала верно: мне не стоило видеть Кору, потому что я невольно сам запустил жернова, которые перемелют меня в труху.

Какими словами нужно приветствовать ту, из-за которой тебя свергнут?!

— Зачем же ты меня искала, о Кора?

— Я... дядя, то есть, Владыка... я, в общем... вот.

Тихо упал плащ с обнаженных плеч — проскользил по нагой, будто мраморной коже. Рассыпались медного цвета локоны — прибойной волной скрыли рифы — высокую грудь.

Вслед за плащом упала моя челюсть.

* * *

Никогда не задумывался — как первый мужчина мог бы смотреть на первую женщину.

Уран — на Гею, например. Когда вот она здесь, а что делать — вроде как и непонятно, в голову три тысячи идиотских мыслей толпой набежало, устроили потеху: скачут друг через друга, на ушах ходят.

Нужно сказать или сделать что-то — да какое вообще что-то, совершенно ясно, что нужно делать, мы боги женатые и нимф не избегавшие, но вот...

Се, внимлите: Владыка неба и суши примерз к полу пещеры и тарашится на свою обнаженную племянницу, будто юнец, впервые узревший нимфу на купании. Нет, лучше. Охотник этот, Актеон, о котором рассказывали, что он еще обнаженную Артемиду увидел, за что она его в оленя перекидывала. Вот, наверное, охотник так и смотрел.

Когда уже стал оленем.

Я не удержусь?! В одном дворце, на Олимпе? После свадьбы?!

Да какое тут после свадьбы, когда только сговор был, а невеста — до утра в пещере в будущего тестя... откуда я взял, что до утра?

Вылезло как-то, когда посмотрел. Когда... представил.

— Я не нравлюсь? — прошептала она, потянулась было прикрыться — и отдернула руки. — Подруги говорят, я слишком худая... и еще не совсем вошла в расцвет... Может, у меня грудь маленькая? Или бедра еще не совсем...

Совсем, о... совсем. Пальцы стиснули, скомкали волчью шкуру, и где-то неподалеку, наверное, полыхнул лес — потому что, когда в крови Повелителя Неба кипит огонь, — это не шутки.

А у меня в венах сейчас — Пирифлегетон, огненная река, и нельзя двинуться, нельзя шевельнуться, потому что она сейчас в двух шагах — смущенная и оттого вдвойне желанная, и слишком велико искушение ни о чем не спрашивать и ни о чем не думать, а протянуть руку, нырнуть в поток раскаленной меди волос, вдохнуть аромат, получить, что хотел — хотя бы на ночь, плевать, что там будет...

Говорят ведь — дают, так бери, и если судьба приходит к тебе сама...

Если она приходит к тебе сама — это дурной знак.

— Кто тебя послал? — выдохнул я. Остановил ее жестом — она начала было приближаться. — Зевс? Мать? Кто?!

Взглянул в глаза — и увидел следы слез. И страх пополам с решимостью.

Она опустила на колени прежде, чем я успел запретить ей.

— Я... хотела просить тебя. Молить тебя, Великий Владыка... Потому что, кроме тебя, никто... а больше мне нечем отплатить. Прошу, прими мой дар. И выслушай меня. Прошу...

Тартар бы брал эту пещеру — какая же тесная. Не отстраниться, не отойти... не отвернуться. Только разве что навстречу податься.

Подался — и набросил ей на плечи ее плащ.

— Я бы выслушал тебя и так, Кора. Дочь брата, — невесткой назвать ее так и не смог. Почти дочь — это еще хуже. Дочь брата, дочь сестры, дважды племянница — куда ни шло, можно даже и ласковый тон подобрать — доброго дядюшки.

Заставил ее сесть на шкуры, сам отодвинулся подальше. Сделал знак — говорить.

Я и так сделаю для тебя все, что угодно, Кора... Лучник сделает все для своей стрелы.

— Поведай же мне все без утайки. Не бойся. О сказанном тобою никто не узнает. Что у тебя за печаль?

— Все говорят, что ты справедлив, — она шептала и прятала глаза, это мешало. Не потому, что хотел читать по взгляду — потому что мне хотелось любоваться ее глазами, пока мы здесь, наедине. — Я уже давно... дядя, я правда давно хотела прийти к тебе, но мать не пускала. Говорила — у тебя сотни более важных дел. Я пыталась уйти тайно, но мои нимфы-подруги меня останавливали... А никто, кроме тебя, не поможет — ведь говорят, что ты еще и милосерден...

И стиснула кулачки, подняла взгляд — два острых изумруда. Отвердела линия подбородка.

— У меня есть избранник, о Владыка. И мы любим друг друга. И это...

— Это не Арес, — договорил я. Кора кивнула — не Арес. Взглянула украдкой — как я там, не разгневался, за луком не потянулся?

Добрый дядюшка всё еще добрый. Просто у него тут в сердце какая-то дрянь впилась —

ворочается.

Или, может, это ее поворачивают. Медленно, неспешно, безжалостной рукой.

— Мы любим друг друга, — сказала отважная Кора. Не побоявшаяся явиться к тому, кто сегодня объявлял: браку с Аресом быть. — Твой сын — лучший из лучших, Владыка... это честь... но мое сердце выбрало другого. И мы хотим бежать вместе. И пожениться.

— И об этом я слышу от тебя. Не от него. Кто же твой избранник — может стать, Гермес? Кто-нибудь из младших титанов? Или, может, смертный? Впрочем, нет, я знаю.

Она зарделась под моим взглядом — только зарделась, а ведь его многие и вынести-то не могут. Прошептала одними губами имя — хотя этого мне уже и не требовалось.

Я ведь видел, как сегодня Аполлон на пиру ёрзал. Да и здравницы в честь свадьбы, помнится, стыли у кифареда в золотом горле — натрудил, что ли, на других пирах?

— У Мусагета хороший вкус, — голос скрежетнул в узкой пещере, будто два меча — друг о друга. Кора взглянула боязливо, но я показал рукой — сиди, это дядюшке что-то в горло попало...

Это просто дядюшка готов слопать своего племянничка без соли.

— У тебя тоже хороший вкус... дочь брата. И все же — почему пришла ты? Мне казалось — Мусагет не так труслив. Та история с драконом...

— Твоего гнева боятся больше, чем драконов, Владыка, — эти слова она заучивала, потому что выговаривала слишком ровно и напевно. Пела — чужую мелодию, словно кифара в послушных пальцах. — Боятся больше, чем Тартара, чем холода Стикса. Горе тому, кто осмелится навлечь его на себя. Разве мог Аполлон осмелиться прийти и просить меня, когда знал, что я уже сговорена за твоего сына?

Не знаю, не знаю. Явился бы ко мне в пещеру, предложил бы петь для меня до конца жизни. Или стрелять — тоже ведь лучник. Или еще что-нибудь предложил бы — знаю я о его похождениях! Может, я хотя бы посмеялся как следует.

И мне было бы легче.

Но Мусагет осторожен, и он отпустил навстречу моему гневу тебя, Кора... С твоей жертвой.

Выпустил — будто стрелу из серебряного лука: найдет ли цель — уязвимое место в сердце дяди-Владыки?

— И если ты... разгневаешься... — теперь она заговорила сама, вцепившись пальцами в край плаща. — Если прикажешь заключить меня в темницу... все равно выдать за Ареса... если не дашь нам сбежать... Он... Мусагет... он будет скорбеть, но будет свободен. Я же останусь на Олимпе с тем, кого не люблю. Моя доля тяжелее, потому и молить тебя пришла я.

Нужно заговорить — огненной стрелой мелькнуло в голове. Нужно заговорить сейчас, а то у нее слова кончились — значит, сейчас попытается опять одежды скинуть, вон уже плащ дергает... Дочь Деметры, пощади вотчину своей матери, сколько еще окрестных лесов сгорит сегодня из-за вспышек моей крови?!

— Многие женщины живут с нелюбимыми мужьями, — усмехнуться получилось, только криво. — Привыкают. Рожают от них детей. И имеют любовников. Даже если это... братья.

Или другая родня, — чуть не попросилось с языка, спасибо — комом в горле застряло.

А она взглянула двумя зелеными болотными огнями — обожгла наотмашь.

— Это мука хуже Тартара. Любовь и ложь плохо уживаются вместе, Владыка.

— Странно, о дочь Деметры — я-то как раз полагал, что они отлично уживаются.

Может, я знаю не ту богиню Ату. Или недостаточно опытен. Расскажи же мне о любви, дочь брата — что она такое?

— Тебе ли не знать, что она такое, Владыка?! Тебя прозвали Мудрым...

— Метиду тоже прозвали Мудрой. Спроси у нее — что она думает о любви.

Только уши потом не забудь заткнуть — когда Разумная начнет тебе описывать, как сильно любовь мешает жить. Афина говорит — мать настаивает, чтобы она приняла обет девственности. «Чтобы никакой пустозвон не покусился — покусился, отец, представляешь?!»

Впрочем, дочка что-то не торопится в девственные богини. И все чаще пропадает на Олимпе, а не во дворце матери.

Кора поглядывает осторожно. Тихо теребит медную прядь — та извивается змеей из меди. Взгляд — зеленый блик, пугливо скользит по лицу: не врет дядюшка? Неужто он, такой великий, такой справедливый, глава Олимпа...

— И ты... ты правда никогда...?

— Никогда, — сказал я, и слова отдались во рту раскаленной медью. — Я — никогда.

И снова плеснуло — дымком от костра сгоревшего прошлого. Пророческими словами — жены? Сестры.

— *Аид, кого ты обманываешь, какая любовь... ты на себя-то посмотри. У тебя на уме, кроме трона, хоть что-нибудь есть? Кроме этого — как избежать войны? Как договориться с титанами? Кроме мыслей, как будешь править?*

И — из глаз, приговором на годы правления: «Ты чудовище, Аид. Спроси у самого себя — кого ты любил, хоть когда-то?»

Я — никогда. Никогда раньше.

Никогда раньше до сегодняшнего дня — но ты, дочь Деметры, услышишь только первое слово.

— Владыкам нельзя любить, дочь Деметры. Слишком велик долг.

Нахмурилась, передернула плечами, будто пытаюсь представить — как это, без любви?! Пробормотала тихо:

— Теперь понятно, почему отец все время... ну, знаешь, дядя, нимфы эти все. И юноши вот тоже. Да. Теперь я понимаю.

Наверное, потому и посматривает с жалостью — на великого, мудрого и справедливого. Как на тяжело больного. Интересно, отцу такой же взгляд подарит?

— Только это... это очень трудно высказать словами, Владыка... Когда ты это чувствуешь... Я вот, когда, знаешь... когда мы с ним увиделись впервые, он тогда тайком пробрался на остров, где я была, потому что мама не хотела меня никому показывать, а он поспорил, что увидит меня... Я сначала испугалась, а потом, когда он сказал, что прекраснее не видел, и улыбнулся, и стал петь — это было... будто сад, который распускается в сердце, Владыка. Когда тепло и цветут самые пышные, самые ароматные цветы с лепестками такими же золотыми, как его волосы. И ты будто вдыхаешь их аромат и теряешь голову, и хочется куда-то бежать, лететь в небеса, и тоже петь, как жаворонок, который встречает каждое утро Гелиоса-солнце. А когда он поцеловал меня — это... было как выпить лучшего в мире вина — самого сладкого и сделанного из лучей и утренней росы. А он говорил — для него это было как песня, лучше которой он все равно бы не сочинил и которую не смог бы выразить словами. И еще говорил, что сделает все для меня... и я для него тоже сделаю все. Возьми

мой дар, о Владыка. Назначь любую цену... но позволь нам быть вместе... Влад... дядя?!

Наверное, я напугал ее. Усмешкой, или гримасой, или что у меня там получилось. Взглядом — потому что когда она начала говорить, я невольно шагнул в глубину — и провалился в солнечный день, в легкую рошу, увидел ее, легкомысленно кружащуюся в танце по лужайке, перекрикивающуюся с нимфами...

Увидел тень за кустами и испуг на ее личике, услышал мягкий голос:

— Не бойся... о, не беги от меня! Я не желаю тебе зла, красавица! Хочешь — я буду петь для тебя?

И когда в сердце из чужой памяти хлынула призывная сладость кифары — показалось вдруг, мелькнуло неверным отражением: она, смеясь, кружится по лужайке, а я стою за кустами лавра, отводя приставучие ветви, чтобы не мешали...

И показалось, что это был не их — наш поцелуй.

— Я не то говорила, дядя? Мне говорят — я еще глупенькая, не то, что Афина или Артемида... или даже Афродита. Я рассказала тебе не так?

— Нет, — сказал я медленно и тихо. — Ты рассказала так. И теперь я знаю.

Только вот моей любви никогда не быть — легкой и солнечной, не пьянить, не литься песней. Ей — ворочаться в сердце, вливать в кровь обжигающий яд с каждым ударом: «Не твоя, не твоя, не твоя!» Глыбой лежать за грудиной — даже тогда, когда я окажусь в недрах Тартара.

Потому что, едва не отдав только что тебя своими руками своему сыну — я отберу тебя у него. Но не для себя. Своими же руками я вручу тебя... возлюбленному? Любовнику?

Будущему мужу. Осторожному Аполлону-кифареду.

Потому что ты сказала правду, маленькая Кора: для той, кого любишь, сделаешь все, что угодно.

Особенно если ты Владыка, которому все равно осталось немного.

— Дядя, ты... только не печалься, хорошо? Мало ли это — можно, нельзя... а вдруг у тебя получится. Ты полюбишь и будешь счастлив...

Гера говорила — с маленькой Корой часто сидела сестренка-Гестия... Видно, это и наложило отпечаток: вот она, просительница. Смотрит на ужасного Владыку сочувствующими глазами, наклонилась вперед даже, за руку трогает. Дай волю — сама бы возлюбленную Владыке нашла.

— Кто знает, дочь сестры.

Вспомнил наконец о своем драном величии, кое-как набросил на себя, вернул вид доброго, заботящегося дядюшки.

— Теперь вижу, что ты пришла ко мне не по пустякам. И за твою отвагу я не могу не вознаградить тебя. Иди. Успокой своего возлюбленного, скажи: свадьбе с Аресом не бывать. Я сделаю так, чтобы ты стала женой того, кого любишь.

Задохнулась, просияла благодарностью, всплеснула руками, казалось: на шею сейчас кинется. Потом запунцовела, только в улыбке расплылась.

Не кинулась на шею. Это хорошо. Вряд ли я смог бы ее отпустить из объятий.

— Однако это решение может вызвать недовольство многих. Ты и он — дети Зевса, только он может распоряжаться вашей судьбой, и если он прогневадается... будьте готовы к тому, что ему придется тебя похищать. К изгнанию. К скитаниям на конце света. Я сделаю, что могу, но я не всемогущ.

Не всемогущ... и недолговечен. Вовремя я все же отправил Геру к этому ее кудрявому

кифареду (тыфу ты, развелось кифаредов-любовничков!). Поспорить можно — Арес не спустит мне расторжения этой помолвки (да еще ради кого — ради Аполлона!).

И значит — меня свергнет сын, и Мусагету и Коре придется бежать от гнева нового Владыки Олимпа.

Нужно будет попросить Афины и Гестию — пусть присмотрят...

Кора, впрочем, улыбается спокойно. Не потому, что беспечна — потому что готова на всё. Совсем на всё. Изгнание, разлука с матерью, гнев отца? Ну, и ладно. Придется ютиться не на Олимпе, не на Элевсине — в доме на краю света? Ну, там еще Прометей где-то шатается. Не будет нимф и цветов? Ей споёт любимый, а сад она разведет сама.

Вот уж о ком бы Чернокрылый не сказал — «Бездарно дерешься». Такое сердце воина еще поискать нужно.

— Теперь иди, племянница. Иначе отец и мать начнут тебя искать, а ты...

— А... — заикнулась, глядя на меня смущенно. Потеребила плащ, размышляя — скинуть или нет?

Настроилась, наверное. Может, даже представляла в страхе — как это. Быть в объятиях у Повелителя Неба. Или слишком уж привыкла к милым повадкам Зевса — а братик бы такого случая точно не упустил.

Или, может, уже привыкла к мысли, что ничего в этом мире просто так не дается. Ананка не любит разбрасываться подарками. Она любит — меняться.

Получил что-то — отдай взамен.

— Я не возьму того, что причитается другому, Кора. Хочешь — выдумай другой дар. Спой песню. Или вырасти цветок. Или...

Не успел договорить — потому что она подалась вперед и коснулась моих губ.

Легко, будто летний ветерок, которым не можешь надышаться. Который пытаешься удержать, сковать и оставить рядом с собой, за которым тянешься губами, продлевая прикосновение.

Я целовал ее миг. Два. Три.

Потом подался назад, сполна получив свою плату — три мгновения, которые стоили всего моего царствования.

Кора трогала губы, глядя на меня испуганно. Будто прикоснулась к пламени, обожглась, ненароком выжгла из памяти что-то нужное. А теперь еще вот смотрит не на то. Был Владыка — помятый, но хоть какой-то — стал пастушок с Крита, черноволосый и черноглазый.

Совсем молодой еще — по божественным меркам.

Покачала головой, прогоняя наваждение. Шепнула:

— Я представляла тебя другим, Владыка... потому боялась. Теперь не боюсь. Не боюсь ничего. Будь счастлив, дядя.

И шагнула вон из пещеры, оставляя цветочный запах своих волос. Только перед выходом задержалась. Посмотрела опять — взглядом Гестии. Прошептала:

— Дядя, когда ты говорил, что Владыки не любят... вы не должны? Или не можете?!

Не дождалась ответа и окунулась в ночь. Унося с собой последнюю надежду — что это все же был сон.

— *Я ведь предупреждала тебя, маленький Кронид,* — вздохнул за плечами знакомый голос.

Я кивнул — предупреждала. Скинул гиматий и тоже выбрался из пещеры.

Звезды. Костер исходит последними язычками пламени. Храпит Эвклея — ничего не понимаю, когда успел-то? У него ж тут жратвы на неделю заготовлено было... и да, видимо, запивки распорядителю все-таки хватило.

Сюда бы козу еще — для полного сходства.

С пещеры и козы начинался мой путь как Владыки. С разговора с сестрой, которая решила стать женой. С нелепого вопроса: «Если ты полюбишь? Если я полюблю?»

С чудовища.

Теперь вот жена снова стала сестрой, и вопрос на ответ дан, и мне осталось только поговорить со своим предназначением, потом повернуться — и принять удар в спину.

И в висках тикает вместо привычного: «Будет. Будет. Будет» — «Скоро... скоро... скоро...»

— *И что будешь делать... Владыка?* — спросили из-за плеч.

— У Владык не может быть любви, — ответил я, усмехаясь звёздам.

— *Значит — ты уничтожишь ее в себе, Владыка?!*

— Ты не поняла. У Владык не может быть любви. Я полюбил. Я больше не Владыка.

Не Климен Громовержец. Не Владыка Олимпа, Щедрый Дарами, Гостеприимец Мудрый и Милосердный.

Нет, это не я!

И Судьба надрывно выдохнула над ухом:

— *Пусть будет так, Аид-лучник... Аид-странник... Аид-невидимка.*

Грозно возрев на него, провещал громовержец Кронион:
"Смолкни, о ты, переметник! не вой, близ меня восседающий!
Ты ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо!
Только тебе и приятны вражда, да раздоры, да битвы!
Матери дух у тебя, необузданный, вечно строптивый,
Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами!
Ты и теперь, как я мню, по ее же внушениям страждешь!
Но тебя я страдающим долее видеть не в силах:
Отрасль моя ты, и мать тебя от меня породила.
Если б от бога другого родился ты, столько злотворный,
Был бы уже ты давно преисподнее всех Уранидов!"
Гомер. "Илиада"

— Только не плачь, хороший мой. Хочешь послушать сказку, мой маленький?

— Хорошую сказку, мама? Добрую? Да?!

— Ты сам решишь, мой маленький...

— Тогда я хочу ее послушать.

— Вначале был только великий Хаос — бескрайний, плодоносный, содержащий в себе вся и все... И явились из Хаоса Эреб — предвечный мрак, Эрос-Любовь, и Нюкта-Ночь, и Гея-Земля, и много чего еще, много кого ещё. И Уран-Небо воцарился в мире и взял в жены Гею-Землю, и она родила. Первых ее детей — Гекатонхейров-Сторуких и Циклопов — Уран сверг обратно в материнскую утробу, уstraшенный их мощью. И они томилась в Тартаре — глубочайшей бездне — и корчи мук сотрясали Землю...

— Это какая-то не очень добрая сказка, мама. Но ты рассказывай, рассказывай...

— Затем Мать-Земля родила титанов — новое племя, прямодушное и могучее, владеющее горами и морями. Она подстрекала своих детей свергнуть Урана, но титаны знали мощь отца и не решались пойти против него. Осмелился лишь один — Крон Криводушный, Повелитель Времени. Взяв адамантовый серп, выплавленный матерью-Геей, Крон оскотил своего отца Урана и воцарился над титанами и над другими племенами...

— То есть, как это он — отца? Зачем это он — отца?! Он не любил папу?

— Наверное, любил. Когда-то.

— Тогда зачем он так... а-а-а. Потому что его мама попросила? Старый Уран ее обижал, а Гея пришла к сыну, сказала: помоги мне, он меня обижает. А сын защитил маму. Потому что он маму любил. Да?!

— Может быть, мой маленький. Может быть. Когда-то.

— Только я не совсем понял, зачем он это, с серпом. Можно же было просто сказать: не обижай маму. Забрать ее... и защитить. Но ты рассказывай, рассказывай...

— Крон взял в жены свою сестру — Звездглазую Рею... — голос печален. Голос прерывается вздохом. — И они жили... да, мой мальчик, они хорошо жили, только сначала у них не было детей. Наверное, хорошо, что у них не было детей, мой мальчик, потому что Уран предсказал сыну: его ждет та же участь. Усмехаясь, лишенный плодородия Уран

прошамкал: «Судьба-Ананка, рожденная из Хаоса прежде всех, не минует тебя. Придет час — и тебя свергнет сын». И Крон поверил — зачем только он поверил?! Когда прозвучало это предсказание, жена Крона Рея ждала ребенка. Ей так хотелось — пусть будет девочка. Она даже придумала ей хорошее имя — Гестия... Но родился мальчик. Наследник. На свет появился мальчик с волосами чернее смолы и глазами, впитавшими темноту ночного неба. И тогда Крон приказал принести младенца ему...

— А она не принесла. Да?! Она же любила сына, не хотела, чтобы его обидели...

— Да, мой мальчик, она не принесла... Она взяла камень. Обычный камень, завернула его в пеленки и отдала мужу. Крон проглотил камень, думая, что глотает сына, и мальчик с черными глазами и волосами остался расти на острове Крит, под надзором нимф. И Крон искал его, потому что над ним висело страшное, отравленное пророчество. Потому что боялся...

— Мама! Мама, я не понимаю! Зачем он хотел съесть своего сына? У него что, не было... ну, другой еды? А сына же можно было просто не обижать. Сын же никогда бы не захотел свергнуть папу! Мама? Почему ты плачешь, мама?! Мама, не рассказывай дальше. Наверное, у этой сказки — плохой конец.

— У наших сказок редко бывают счастливые концы, мой маленький. Ананка неизменна.

— Ну, тогда я с ней не дружу. С Ананкой этой. И вообще, это глупая сказка. Я придумаю тебе новую, хочешь? Мальчик с черными глазами и волосами пришел к папе. Сказал: клянусь, я никогда не буду тебя свергать. Поклялся... ну, Стиксом, наверное. И его папа перестал бояться, и они зажили все вместе. Долго и счастливо. Ну, как, мама?

— Это хорошая сказка, мой маленький Арес. Это самая-самая лучшая сказка...

Мать гладит по голове теплыми, мягкими ладонями, пахнущими молоком и мёдом. Улыбается тихо, с острым, пронзительным проблеском грусти — как у отцовских молний. И начинает петь старую-старую песню, где мужа зовёт жена с пира, потому что его все очень-очень ждуют, и очаг погас, и дети плачут. Арес сворачивается под одеялом и слушает, и придумывает другую концовку:

Муж с женою идёт домой:

Он оставил хмельных друзей,

Дети рады, горит очаг —

Ведь вернулся хозяин в дом...

И долетает из сна — с материнским смехом или слезами, кто там знает?

— Это самая, самая лучшая сказка... лучшая сказка... сказка...

Сказка.

— Не старайся, Воинственный. Не достанешь.

Металл звякнул о металл — так яростно, что почти любовно. Скрежетнул себе под нос особую песнь — песнь войны.

Афина парировала удар так легко, будто знала, куда он нацелен. Перешла в атаку — с легкостью, вызвавшей на трибунах восхищенный вой.

И небрежный завиток победоносно запрыгал на лбу, как бы спрашивая: ну, что? Что ты против меня можешь?

Ничего, ответил, взблеснув, адамантый в руке. Уж что-нибудь да могу. Как-никак — сын и судьба Климена Олимпийского, будь он трижды неладен вместе со всем своим царством.

— Сидела б ты лучше за прялкой, Мудрая.

— А может, мне поручить это тебе? У тебя это получится гораздо лучше, чем сражаться.

Удары наотмашь. Хитрые финты. Уколы слов.

Двое давних противников сошлись в очередной схватке.

Серые глаза против черных. Удар против удара.

Меч против меча.

Небось, отец тоже смотрит — куда ему деться? Бормочет себе в бороду что-нибудь вроде: «Ну вот, опять сдал ей атаку». И прикидывает — насколько лучшей была бы Афина дочерью, чем он — сыном. Потому что — гляньте-ка! — мудрая, воинственная, да еще и сражается отменно.

Да еще и женщина, а Клеймо Кронида — как известно, сын.

— Что это было? Атака? Пьяные сатиры так не размахивают мечом.

— Что это было? Уход от удара? Женщины так разве что на ложе выгибаются.

Жгучие слова кнутом — по коже. С одной стороны. Со второй стороны. Стремительные движения, уходы, атаки, только почему ж кажется — мальчишка нападает на война?

На арене — танец равных. Тени танцуют свой собственный танец: одна летит, незряча от ярости, кажется, завопит сейчас: «Ты... дура! Девка!!»

Танец предрешенности.

Меч, выбитый из руки, зазвенел об арену. Застонали в разочаровании зрители. Афина, вечная насмешница и победительница — вечная! — насмешливо покачала своим клинком.

— Чуть-чуть не достал, надо же. Ну, ничего, Воинственный. Когда-нибудь тебе улыбнется удача. Может быть. С кем-нибудь другим.

Косо усмехнулась, добавила презрительно и тихо, так, чтобы зрители не услышали:

— Например, с Афродитой. Попробуй выйти на нее... с твоим копьем. Если, конечно, тебя опять не отлупит Гефест.

И уже громко, во весь голос:

— Бой окончен. Негоже калечить жениха в день обручения.

Повернулась, взметнула черными волосами, обдала язвительной усмешкой. Ушла.

Меч хрустнул в пальцах Ареса, как сухая веточка. Примолкли трибуны — быть грозе. Зрители вытянули шеи: ну, что оно там? Как оно там? Не сейчас еще?

Арес швырнул обломки меча в песок. Обтер окровавленную ладонь о бедро и зашагал с арены. Жаль, нельзя исчезнуть. Сбежать в какую-нибудь пещеру, упиться вином — нет же, обручение это тартарово! Ананка, небось, ухмыляется там у себя, где она ось мира вращает (Ананка ему всегда представлялась похожей на Афины — сероглазой, черноволосой и с ехидной ухмылкой, исполненной превосходства). Понабросала гадостей: сперва Гефест, чтоб ему жрать его костыли, потом с отцом сцепился, потом еще это обручение, танец тот... Теперь вот соревнование. И повсюду — жадные взгляды: смесь любопытства и страха. Так смотрят на воплощенную судьбу. На будущее. На воплощенное пророчество.

Ну, и смотрите себе, глаза не сломайте. Вот ваше пророчество тащится с арены. В очередной раз побежденное. С разрезанной ладонью. Зыркает по сторонам — аж вино в чашах скисает (ничего, выпьете за помолвку, никуда не денетесь).

А в ушах у пророчества — неотступное, неизбывное, беспощадное сказанное голосом Таната Железносердного, с которым как-то скрестил клинки... Которому проиграл и от которого на память получил вечный росчерк на левой щеке...

— Бездарно дерешься.

— И почему? Почему я? Почему бездарно?!

— Потому что не хочешь победить.

Все верно, о пронизательный падальник из подземного мира. Я не хочу победить.
Я только хочу сжечь ее проклятый свиток.

* * *

Как он узнал о пророчестве — не помнилось. Может, сказал Аполлон во время ссоры. Или разболтал вечный сплетник Гермес? Или нашептала Ата, или во сне принес пьяноватый Гипнос, или, может, даже Зевс — на каком-то из пиров...

Помнилось только — он не поверил. Подумал: Мойры были пьяны, Рея вконец обезумела — и солгала. И вообще, это не я.

Нет, это не я.

Свергнуть отца? Который держал его на коленях? Вырезал с ним кораблики, возился с охотничьими щенками, приходил, усталый, из тронного зала, усмеялся: «Ну, рассказывай, что ты там вытворил на кухне...» Который учил его стоять на колеснице? Познакомил с Гелиосом-Солнцем, показал край света, подарил первый меч? Его отца — лучшего из отцов, Климена Олимпийского, лучшего из правителей? Того, благодаря которому на земле царит благоденствие?

За что?! Потому, что так нашептали дурные старухи в сером доме на Олимпе? Потому что так повернулась ось Ананки? Просто потому что?

Тогда он засмеялся. Махнул рукой — мол, приснится же, приврется. Сказка... с дурным концом. О сыне, который свергает своего отца. Самого лучшего, любящего отца...

В глазах которого с годами все явственнее мелькает страх.

— Хей! Чашу поднимем за будущего повелителя Олим...

Кажется, он тогда кому-то нос разбил. На той дружеской пирушке. Или не на пирушке было? Память, предательница, не хочет держаться за такие воспоминания — щедро высыпает их в пропасть.

Как он хотел пойти тогда к отцу. Сказать: это же не я, ты что. Я же для тебя... я же за тебя...

И вдруг понял: отец не поверит. И мать не поверит. И значит — она поэтому плакала...

Тогда он пошел к Рее Звездоглазой (или, может, Безумноглазой). Сбежал с Олимпа, взял отцовскую колесницу. Предстал перед ней на берегу Океана. Запыхавшись, бросил:

— Это не я. Ты солгала, старуха! Скажи Мойрам, скажи Ананке, скажи всем — я не собираюсь...

И мороз пробежал по коже, когда он увидел ответную улыбку — будто трещину в скалах. Услышал почти неразличимый за шумом ветра голос:

— Он тоже не собирался. Когда-то. Ананка неизменна.

— Значит, я изменю ее! Значит, я...

«Придумаю хорошую концовку», — чуть по-детски не попросилось с губ. Потому что так не бывает. Сыновья свергают отцов, которые пытаются их съесть. Кровавых тиранов, уничтожающих всех и вся. Сколько раз он слушал историю о том отцовском выстреле в Крона, сколько раз...

...не понимал, почему так вздрагивают плечи матери при рассказе...

— Клеймо Кронидов, — засмеявшись, сказала Рея, и он, отвернувшись, побрел к колеснице. Шел — и чувствовал, что пена Океана оседает на руках, волосах, хитоне...

Будто Ананка с небес оплевала нового избранника. Сына, который свергнет отца.

Клеймо Кронидов.

Тогда они впервые поссорились с отцом — тот разгневался из-за колесницы, а может, из-за того, что Арес не сказал, зачем она ему понадобилась.

— Так ударь меня! — крикнул он тогда. — Ударь, раз я провинился! Накажи!

И поймал в отцовских глазах первый мгновенный проблеск страха, и понял, что удара не будет. Никогда не будет.

Слишком велико опасение поймать отравленный предназначением ответ.

...отцу он о том, что знает о пророчестве, так и не сказал. Не сказал матери — или она делала вид, что не знает. Шептала только каждый раз: не гневи отца...

И каждый раз хотелось расхохотаться. Сказать: мама, ты что, не видишь — это он не смеет меня гневить! Он боится, что я нанесу удар, которого никогда не нанесу!

Спрашивала ты своего мужа — сколько его показной любви вытекло из этого страха?!

Твой муж — глупец, мама. Он не имеет права бояться. Он — правитель Олимпа — должен был сделать всё, чтобы править вечно. Заточить родившегося младенца в Тартар. Проглотить!

А не учить его стоять на колеснице.

— *Хочешь научиться стрелять, сынок?*

— *Не хочу.*

— *Почему? Твой отец лучник.*

— *Я не мой отец.*

Мой отец сверг своего. Крона Криводушного. Потом сам воцарился на Олимпе. Я не мой отец. Я не буду в тебя стрелять, папа.

Почему ты смотришь на меня со страхом, папа?! Почему не веришь мне?

— Тогда каким оружием ты хочешь владеть?

— Никаким.

Не смей учить меня тому, что я могу обратить против тебя! Не смей изображать лучшего из отцов для своего воплощённого пророчества! Не смей бояться, не смей любить меня, когда надо мной висит это вечное, неизбывное: «Должен».

Разве ты не понимаешь, что я уже почти ненавижу тебя за твою любовь?

За то, какие бездны ты переступаешь в себе, чтобы мне улыбаться? За то, что никогда не ответишь ударом на удар — потому что запретил себе? За твоё стремление оградить — меня! — за стремление отдать все тому, кто у тебя все отнимет...

Я ненавижу тебя за это, папа. Пожалуйста, перестань притворяться. Просто возненавиди меня в ответ.

Легче становилось только в сражении. Мечом, копьем и луком он овладел невольно, между делом, наотрез отказавшись от отцовской учебы. Когда понял, что дать в зубы каждому, кто вякнет о его предназначении, не сможет. То есть, может, и сможет, но это будет как-то не по-царски, что ли...

В огне упоения битвой тонуло клятое пророчество. Ссоры с отцом, которые заканчивались одним и тем же: Климен Справедливый искал путей к примирению (будь они неладны!). Заискивающий шепот дядюшки-Зевса — о том, что рука у молодого Ареса твердая, вышел бы хороший Владыка... Вздохи тетушки-Гестии (пусть обжимается со своим Железносердным и дарит ему свои вздохи!). Слезы матери, которая неслась со всех ног, стоило им с отцом повисить голос. Спасать — кого? Отца? От меня?! Ну да, я ж сейчас — в левую руку лук Урана, в правую — серп Крона, здравствуй, папа, ты хотел меня видеть!!

И проклятые божки-прилипалы, вечные прихлебатели, которые готовы воспевать каждое его движение, неважно — на охоте, в битве, во время пира... Ждущие будущих милостей. Шепчущие после проигрыша: «Ну, ничего, зато потом...» И нимфы, льнущие и воркующие зазывно, и настоящее, которого нет, есть только будущее — Клеймо Кронида, Арес, победитель отца...

В битве прощ. Её ты можешь хотя бы проиграть.

— Эй! Я тебе вина принес.

От Гермеса, сына Зевса и Майи, спрятаться было трудно. Забьешься от докучливых взглядов на самый край трибун для зрителей — и там разыщет. Вон, глазами косит, фыркает, что Аполлон сегодня как-то криво стрелял почему-то...

— А, вот ткань — тебе ж Афина руку, да?

Молча взял ткань, перетянул порез. Удивился про себя — странно, что мать не принеслась, не начала квохтать над раной («Опять Афина, да что ж такое-то!»). Пронесла Ананка — хоть что-то хорошее.

— Аполлон сейчас придет. И можно будет — по нимфам, — глаза у Гермеса так и горят шкодливостью. — Еще будет Мом, он знает одну тихую бухточку, куда nereидки заплывают — ух, повеселимся, а тут и без нас обойдутся. Гефест, правда — хихи! — сказал, что с тобой пить не будет...

— Я с ним тоже не собираюсь.

Рыжий хихикнул еще раз, но опасливо.

— Ну да, Афродита же... — вздохнул сладостно. — Ну, а так-то ты с нами?

— Нет. Без вас.

Посмотрел, как Гермес хлопает глазами. Добавил сухо:

— Вы без меня.

— Так ведь обручение же! Как не отметить?!

— Отмечайте.

Гермес почесал нос. Потом от избытка непонятливости за ухом поскреб. И вдруг подмигнул хитро.

— А-а... танец, небось? Невесту свою захотел повидать? Увидел — проникся, а? Забыть не можешь?

— Не могу, — согласился Арес. Терпеливо обождал, пока Гермес нахихикается. Потом покривился слегка — косоного как ветром сдуло.

Потом соскользнул с трибуны — незаметно, чтобы никто не увидел.

Шмыгнул в рощу у подножия Парнаса. Легко зашагал по лесной тропе. Потрогал перевязанную руку и вдруг засмеялся, глядя в небо, с которого плеснуло алым и золотым.

Вспомнилось, как мать говорила, что дочка Зевса будет ему хорошей женой. Что она красавица. Что послушная. Что вышивает хорошо. Вспомнилось, как безразлично кивал — как баран. Ага, ага, ага, обручайте меня, жените меня... на дочери Деметры. Главное — чтобы не в мамашу характером, а то кому надо на таком жениться. Да-да, мама, передай Зевсу дары, а ей — почтение. Или нет, ей — дары, Зевсу — почтение. Или как ты захочешь. Нет, видеть... зачем видеть? На свадьбе увидимся. Так интереснее будет.

Посмотреть на танец будущей жены его подбил Гермес. Нашептал, что знает тайное местечко, с которого все — как на ладони будет. Так шептал, так расписывал, что Арес подумал — ладно, пусть. Дождался момента, выскользнул из дворца, прошел за Гермесом, как следует укрылся за зелеными кустами, дабы насладиться зрелищем...

Насладился. На свою голову.

Вспомнилось: вот идут в плясе гибкие танцовщицы. Летит в танце в зеленом пеплосе Кора, кудри брызжут медью. Изгибается призывно, соблазнительно, Афродита — подальше танцует, чтобы невесту не затмить... Движения Афины — отточены и четки, словно в бою, и ей вторит Артемида, и тетя Гестия весела — расплескивает огонь из волос...

И меня больше нет, нет больше мира, есть она, танцующая на зеленой лужайке...

И шепот, приставучий шепот двоюродного братца:

— Ну, как тебе? Красавица? Прекрасна же, да? Да?!

И ответный зачарованный шепот:

— Да. Прекрасна.

Пляшет златоволосая Афродита, любовница, изгибается — пена, не более.

Пляшет невеста, будущая жена, Кора... ничего, рыжая такая. Как бы при встрече не забыть лицо.

Твой взгляд неотрывно следит за другой.

Черноволосой и сероглазой.

Мудрой и воинственной.

Вечной насмешницей и победительницей — вечной.

Ненавистной. Прекрасной.

* * *

— Любовь не рождается из ненависти. Лишь ненависть из любви, — сказал как-то кто-то. Наверное, кто-то мудрый, вроде титана Япета, сын которого скитается по краю света, спасаясь от гнева Старшего Кронида. Арес десятков раз слышал эту навязшую в зубах фразу, то от Гестии, то от других титанов. И каждый раз хотелось ядовито засмеяться. Бросить: «Пустое! Я вот ненавижу своего отца. И люблю его. И ненависть моя родилась из любви. Он любит меня и ненавидит. И любовь его родилась из ненависти».

Ненависть и любовь шли рука об руку рядом с ним — в облике черноволосой, сероглазой дочери Метиды.

Ненавидящей его дочери Метиды. Любящей его отца.

Так, будто это она была его дочерью, а не рождалась из головы у своей Разумной матери. Еще в детстве хотелось спросить: что она тут все толчется? Дает советы, не в свои дела лезет?

Почему на меня взглядывает искоса, с отвращением — я ей что-то сделал?

Потом понял — он ей что-то сделал. Сделает. Свергнет того, взгляд которого она почтительно ловит на лету, затаив дыхание. С кем она не насмешлива.

Может, она правда его дочь, кто там знает. Значит, сестра Ареса.

Старшая... и ненавистная. Расхаживает с прядью, подпрыгивающей на лбу, смотрит с насмешливым прищуром, и даже Зевс ей кланяется, когда на Олимп приезжает попить. А на него... на него вообще не смотрит.

Только бросает брезгливые взгляды искоса. И оттого все сильнее вскипает кровь, все сильнее хочется — поддеть, ударить, стереть с лица усмешку — не смей на меня смотреть, как на ничтожество! Я добьюсь, я смогу, я...

Что он мог, кроме как сражаться? Сражаться — безнадежно, потому что не хотел ранить ее. Яростно — потому что не умел иначе. Часто — потому что она была особенно

прекрасной в моменты боя, с раскрасневшимися щеками, горящими глазами, вздымающейся грудью... и прядь прыгает: по лбу, по щеке, по виску...

— Нет-нет, я не буду с тобой драться... войны не воюют с детьми.

Ты будешь со мной драться, Афина. Посмотри — я воин. Выше тебя на полголовы... почти на голову. Я научился сражаться. Научился даже побеждать, хотя мне казалось — это непосильная наука.

Что еще мне сделать?!

— Убери свой меч. И иди поиграй в песке, а то порежешься.

Ты будешь со мной драться. Ты будешь смотреть на меня иначе.

— Ты сегодня невоздержан на язык, Арес. Нектар ударил в голову? Ах нет, нектар тебе еще рано, мамочка разволнуется, если узнает, что ее сынок пьет что-то, кроме молока.

— Ты слишком мудрая, Афина. Не хочешь ли вернуться в голову к своей мамаше? Говорят, у нее поуменьшилось разума, когда ты покинула ее череп.

Драться. На насмешках. На мечях. На копьях. На взглядах.

Чтобы было хотя бы это.

Однажды он подсмотрел, как она купается. Стащил для этого отцовский шлем (еще одна ссора с отцом, к семнадцати годам он давно уже не считал их). И жадно впивал глазами ручейки воды, льющиеся по ее плечам, и абрис полной груди с нежными сосками, и очертания ягодиц...

После этого стало хуже — потому что она начала приходить по ночам. Прокралась в сны и в них тоже насмеялась: поворачивалась так и этак, дразнила — вот, не достанешь! И, проснувшись, он в яростном упоении представлял, как берет ее... силой, непременно силой, чтобы упиралась и плакала, чтобы с губ стерлась насмешка... Воображал, как срывает с нее одежды, и сжимает грудь, и разворачивает к себе спиной, и она вскрикивает, когда он резко входит, а потом подается к нему и прижимается, и они вместе тонут в ласковом пламени, и их губы шепчут друг другу одинаковые слова...

Наверное, он стонал во снах. Афродита, которая явилась в его комнату однажды, нашептала это. Нашептала, что ей знакомы эти стоны.

Щекотала волосами и шуршала, как волны, из которых вышла:

— Я знаю, чего ты хочешь, о Клименид...

Потом отбросила одеяло и прижалась к его разгоряченному телу, приникла губами к губам. Потом он смотрел на нее снизу вверх — на ее запрокинутое лицо, и упруго подпрыгивающую в движении грудь, и полуоткрытые в экстазе губы, шепчущие как он хорош. Смотрел — и пытался представить себе на ее месте ту, другую. Если вообразить, что волосы черные, прикрыть глаза... нет, все равно не то.

Пена, не более. Веселая, говорливая... ждущая будущих милостей, как остальные. Потому и пришла. Не к нему — к его будущему.

К Аресу Олимпийскому, Справедливому и Милосердному.

Он потом пробовал с другими. Были nereиды. Смертные. Была какая-то нимфочка с волосами, пахнувшими свежестью и сладостью. Все шептала о том, что он держит копьё лучше Афины и сражается лучше — и он не стал возвращаться во второй раз, чтобы не слышать этой чуши.

Афродита приходила часто, липла настырно — он не прогонял, было все равно, да и она своей болтовней скуку разгоняла. Рассказывала сплетни, строила планы, щебетала о том, как живут на Парнасе... Говорила про Элевсин и Кору — о женитьбе Ареса она узнала с

недовольством, но потом только дернула плечиком, и Арес невольно прочитал в глазах: «Ничего, вот когда он станет Владыкой Олимпа — увидим, кто будет его спутницей!»

А в последний раз вот заявила заплаканной. Прохлюпала, что Зевс сватает ее за Гефеста. Это ж надо — за вечно чумазого хромого кузнеца!

— С чего это он? — удивился Арес.

— Пытается задобрить сынка, — изломала губы Киприда. — Тот кует оружие и строит дворцы... А недавно он пытался подобраться к дочери Метиды. Она, конечно, отказала — странно, я-то думала, у нее мудрости хватает только на то, чтобы махать копьем! Ах, вообрази, а он пытался взять ее силой! Ну, конечно, она от него сбежала, отделалась порванным хитоном, а теперь вот Гефест в скорби, и вместо нее ему Зевс предлагает меня!

Какое-то время Арес просто слушал, не понимая. Потом ярость взметнула на ноги. Взвихрился за спиной гиматий, и меч влетел в руку — он сам не помнил, как.

Вскрикнула Афродита — от страха. И от восторга — потому что подумала, что он из-за нее...

Ее вскрик остался за плечами.

Все осталось за плечами, кроме вихря жгучего осознания, что Хромец посмел...

И желания найти.

— *Если ты еще посмеешь на нее взглянуть...*

Гефест оказался в сражении неожиданно серьезным противником: пропустил несколько ударов, потом взревел дурным голосом, полыхнул обжигающим пламенем, вынул из воздуха молот...

Арес принимал удары, не чувствуя их. Мысли занимало одно: добраться, достать до горла, сделать так, чтобы он никогда больше — никогда больше...

— *Бездарно дерешься.*

Слова отца — на голову, вместо водопада холодной воды.

Афина может постоять сама за себя.

У тебя завтра обручение.

Она скоро примет обет девственности — ты забыл?!

Ты опять проиграл.

* * *

«Свадьбе быть», — сказал на пиру отец.

И свадьба собиралась быть. Неспешно, основательно.

Арес не сопротивлялся. После обручения смотрел на все, словно со стороны — мойры, наверное, так смотрят. Как оно будет?

В груди наливалось, вызревало, выпестовывалось решение.

Говорят, есть особый плод. На крови, на слезах. Мать-Гея его вырастила, а когда и на чьих слезах, на чьей крови — того не говорят. Созревает плод медленно, а если взять в кулак — на сердце похож...

Решение тоже созревало — рядом с сердцем. Толкалось неторопливо — по сравнению с остальными, они-то как раз спешили.

Мать стала куда-то пропадать — по делам свадьбы, что ли? Возвращалась задумчивая, пела над очагом дивные песни — птицы слетались слушать. Отец в делах государственных по уши завяз — за почти месяц ни разу к своему пророчеству не выбрался. Попытаться

обучить, или носом натывать, или хоть поговорить — отцам ведь с сыновьями положено! Прятал взгляд.

Аполлон не являлся, не звал к нимфам.

Афродита перестала плакать — небось, рассказали про его подвиги с Гефестом...

Мом, тварь этакая, при встречах хихикал. Обещал скорый сюрприз.

Афину он не видел. Старался не видеть. Ата-сплетница рассказывала — она в ссоре с матерью. Та, будто бы, еще с той лидийской ткачихи сердится на дочь. Что поступила неразумно и убила ее на месте.

Арес полагал, что Афина поступила не разумно, но мудро.

Сражений не было, это огорчало.

В воздухе пахло отцовскими стрелками-молниями. Грозой. Не поймешь — откуда придет, когда разразится...

К исходу месяца Арес готов был сам уже идти к отцу. Трясти за шкуру, если потребуется. Орать: «Что там такое случилось в день того пира, на обручении? Что ты такое задумал? Сам сиганешь в Тартар? Или меня скинешь? Ты нашел, как обмануть Ананку? Ты решил начать войну? Что...»

Но отец пришел сам. Осунувшийся, спокойный. В его покои.

Без оружия, как приходил всегда, хотя... сколько мигов нужно, чтобы достать из воздуха Уранов лук?

— Ты не женишься на Коре.

Арес отвлекся от полировки щита — нужно было чем-то убить время.

— Что?

— На Коре. Не женишься.

— Почему?

— Потому что я так решил. Я отдаю ее в жены Аполлону.

Губы у отца странно дернулись, и последнее слово он почти выплюнул.

Сыну Зевса и богини Леты. Не равному по рождению Аресу, сыну Климена Олимпийского и Геры.

Клейма Кронидов.

Наверное, все примутся выть, что это позор для несостоявшегося жениха.

— Ясно, — сказал Арес.

— Ты волен выбрать себе жену сам. Кого угодно. Пусть даже... Афродиту, — губы дернулись еще сильнее.

— Ясно, — сказал Арес опять. Подумал — может, опять к щиту вернуться? Раздумал.

— Но если ты решишь мстить Аполлону или Коре — это вызовет мой гнев.

— Сильный?

— Достаточно сильный, чтобы найти для тебя подходящую кару. Ты понял, сын?

Арес посмотрел на отца с удивлением. Даже и так? Даже и до кары великой, грозной, ужасной. Да после того, как я тебе перечу на глазах у всех, по каждому поводу... сколько раз ты уже должен был скинуть меня с Олимпа?

Кое-кто даже помочь предлагал, я слышал.

И вот теперь, из-за свадьбы, из-за этой рыжей... так? Даже до угроз?

Впрочем, все, наверное, правильно. Это ведь позор. Оскорбление — невесту отобрали, отдали другому! Жениху положено быть оскорбленным, топтать ногами, во всю глотку орать, что он не допустит.

Такое вообще-то и не прощают. Ты все-таки дал мне повод, отец.

Ты рад? Нет, вижу по твоим глазам, полным обречённости. Ожидания, что я нанесу удар. В спину, когда угодно, но нанесу...

По закону. По пророчеству. По Ананке.

— Я понял, — сказал Арес. Увидел, как недоуменно прищурился отец. К чему подготовился? Что он бросится на него сейчас? Начнет кричать? Угрожать?

Наверное, хоть что-нибудь скажет.

— Мы поговорим, отец. Мы поговорим... потом. Хорошо?

Что угодно, только не это.

Решение стукнуло под сердцем. Созрело, упало, покатилося, можно в ладонь брать.

Холодное и сладкое, будто вино.

Сколько ты всего сделал для меня, отец. Подарил мне детство — наплевав на роковое клеймо. Научил стоять на колеснице. Подарил главное — ясное и выверенное, как решение.

Нет, это не я.

Так что ты хочешь от меня в ответ, отец?! Что хочешь, чтобы я сделал?

Хочешь — исчезну?!

Пока шел по коридорам дворца, пока запрягал лошадей в колесницу, думалось об одном. Жаль, с матерью не попрощался. И интересно, какая физиономия будет у Афродиты. На свадьбе с Гефестом. И будет ли гневаться Зевс (он уже привык к зятю — будущему повелителю Олимпу... чем его брат не устраивал?).

Жаль все-таки — не сошлись с Мудрой в последнем поединке. Может, хоть взгляд...

Когда он обернулся — Афина стояла в пяти шагах, опершись плечом на стойло. В белом пеплосе, волосы заплетены в сложную прическу — так и хочется растрепать. Только одна прядь никак не успокоится — смеется на лбу.

— Аполлону мстить? Или к Зевсу — жаловаться?

Ненависти не было, ярости тоже. Будто волны на море улеглись.

— Давно хотел спросить тебя, — сказал Арес, выводя жеребца из стойла. — Ты же его дочь? Потому так... за него.

Хмыкнула, тряхнула головой. Выметнула насмешливый взгляд — алмазное копьё: «Дошло — трех веков не прошло. Что, братцем тебя теперь называть?»

— Говорили, я буду войной, — сказал Арес, оглаживая вороного. — Неистойвой войной, безжалостной. Только теперь ведь не век для войн, так? Золотой век — куда в нем войне-то. Разве что на край света. Великаны, чудовища, волны океана... Самое место — в изгнании.

Фыркнула презрительно — ну да, как же, поверила.

— А эта история с Корой и Аполлоном. Так и оставишь?

— Так и оставляю. Я люблю другую.

— Надо же. И кого?

— Ты же Мудрая. Попробуй угадать.

— Ах ну, конечно, — и сквозь зубы, с неизмеримым презрением. — Афродита...

Арес усмехнулся. Качнул головой.

— Достоянейшую из достойных. Прекраснейшую из прекрасных. Самую воинственную...

— Неужто Артемида? Тогда ты несчастлив, Арес, — ее обет девственности...

— ...и самую мудрую.

Насмешка застряла у Мудрой в горле. Схлынул румянец, и Арес впервые увидел ее

испуг. А вслед за тем впервые встретил взгляд — настоящий.

Не как на него-будущего. Как на него самого.

Затрепетали ресницы. Она молчала и смотрела долго. Он не мешал. Смотрел в ответ. Если тоже дочь отца — она, конечно, читает по глазам...

Пусть читает.

— Ты с Гефестом... поэтому? — наконец спросила она тихо.

Он кивнул. Сказал просто:

— Попытается еще взглянуть — еще накостыляю. Я знаю, что ты сражаешься лучше меня. Просто накостыляю.

— Дурак, он же весит, как два тебя, а когда в неистовстве — его разве что отец удержать сможет, а ты на него с мечом...

Осеклась, замолчала. Арес стоял, путая пальцы в черной гриве вороного.

А хотелось — в черных длинных волосах.

— Ты скажи отцу — я никогда против него не выступлю, — нашлись наконец слова. — Хочешь, прямо сейчас поклянусь. Стиксом. Никогда. Плевать на пророчества. Я не буду мешать ему править. Только если он обидит мать... или тебя... тогда буду защищать. Но только — защищать. Против него я никогда не встану, передай ему это. Передай всем — Война нынче в добровольном изгнании. До скончания времен на краю света. Передай всем — и будь счастлива, Мудрая.

Больше он на нее не смотрел. Вывел остальную тройку вороных. Сам запряг квадригу в колесницу. Огладил, любуясь лоснящимися шкурами. Вскочил на колесницу.

И почувствовал, что она стоит за левым плечом.

— А как же надсмотр? — спросила — как прежде насмешливо, но насмешка была другой — мягкой. — Узникам, даже добровольным, нужны надсмотрщики. И Война надежнее всего будет заключена под присмотром Мудрости.

Тогда он повернулся, пораженный — и успел увидеть в глазах осколок прошлого:

«...Мудрая дура, полюбившая сумасбродного мальчишку с Клеймом Кронида!»

И озорную усмешку. И ямочки на прежде строгих щеках.

— Тетка Ата, которая нас часто навещала... она сказала бы — это будет прекрасная игра. Мы даже можем придумать свою историю. О том, как я безмятежно танцевала на лугу, а ты влюбился и похитил... скажем, на колеснице. А потом увез на край света, сделал своей женой...

Тихо засмеялась и толкнула в плечо — ну же, гони, а то соскочу, и ты свое счастье точно не догонишь.

— На мечях подучу — так и знай. Как бы тебе, сын Невидимки, не пожалеть, что связался со мной!

— Не пожалею, дочь Невидимки, не дождешься.

Губы сдержали улыбку, и она вылилась только — в перестук копыт квадриги, в скрип колес колесницы, в клич — вперед, скорее!

Узник торопится в свое драгоценное изгнание, и под колесами стонет недоумевающая Судьба.

И, высвобожденные из высокой прически, весело развеваются на ветру волосы.

СКАЗАНИЕ 6. О ПОХИЩЕНИЯХ НА КОЛЕСНИЦАХ И ПРОСТО ПОХИЩЕНИЯХ

Зачем с бесплодным пылом
В судьбе искать изъясн?
Спасибо высшим силам,
Хоть отдых — не обман:
В свой срок сомкнем мы веки,
В свой срок уснем навеки,
В свой срок должны все реки
Излиться в океан.

А. Ч. Суинберн

Будет. Будет. Будет.

Неотступный стук в груди. Будто припев надоевшей песни: пристала — не выкинешь. Слышится в снах — сквозь черную, ледяную воду, в котором вижу его лицо.

Общий для двоих стук ледяной капли в груди — тягучий и вязкий. Летит одна капля: будет. Летит другая: непременно.

И хочется растереть пальцы ладонью, ударить по черной воде, в которую превращается даже вино в кубках. Так, чтобы расшибить губу своему хмуро глядящему из отражений двойнику. У которого всё так неправильно началось.

Хочется спросить: у тебя — тоже будет? Или у тебя — все уже было? Ты знал — что придет именно это и именно так? Ты пытался сбежать от этой — с бесшумным смехом из-за плеч?

Отражение тонет в черной воде — стоит только моргнуть. Будто во мрак вод Стикса погружается.

Прежде, чем я успеваю метнуть последний вопрос: «Ты что — смотришь на меня с жалостью?!»

Будет... будет... будет, — проливается чёрной ледяной каплей ответ.

Есть дни — будто миги. Есть дни-недели и дни-года. Есть дни, которые тянутся веками. Этот день будет жизнью.

Восходящее солнце позолотило склоны Олимпа — родным золотом. Будто краски царского трона выплеснуло: наслаждайся, Владыка! С этого уступа — узкого, клином вдающегося в небеса — можно хорошо рассмотреть — и облачных овец Нефелы, и неспешно поднимающуюся от дворца Гелиоса колесницу... кони, обленившиеся после сна, бегут медленно.

А вот Эос — приготовила кувшин, на траву брызгать.

Ветер шевелит волосы под царственным венцом, сжимающим виски. Мне не идут венцы, как не идут шлемы, только один так и просится на голову — даже оттуда, где он остался лежать сегодня, из спальни.

Шепчет: хочешь, исчезну?

А я отмахиваюсь, потому что хочу еще посмотреть на утро.

Последний день, в конце-то концов.

Ананка помалкивает из-за плеч, и Мойры не суются с предсказаниями, но от Владыки трудно что-то утаить. Свой собственный конец от Владыки утаить труднее всего.

Мне кажется, я вижу его отсюда. Того — другого, над которым в одно такое утро-жизнь повисло острие «Будет». Сверкнуло льдистым — «Почти».

Наверное, он старался тогда растянуть то свое последнее утро. Смотрел на розоватых от отблесков Эос овец Нефелы, впивал губами ветер, шурился на колесницу Гелиоса... и длил, комкал, вытягивал минуты, будто нити паутины, разматывал, как клубки...

Чем ты начал тот день, отец? Я вот, например, выхожу из дворца. В подвал спускаюсь — высеченный в ребрах Олимпа. Глубокий подвал — Гефест долго орал на своих подручных, пока вырубил, все еще шутили — до Тартара, небось, прокопается.

До Тартара не докопался, но вполне...

Для узников хватит, а тиран, которого свергнут, должен навещать узников.

Поиздеваться на прощание. Уколоть словом презрения. Отобратить надежду, которую, по слухам, титан Япет зачем-то упрятал на дно кувшина — ей, мол, незачем шататься по Золотому Веку...

Точно — незачем. К тиранам она не заглядывает.

К тиранам и узникам, которые таятся за окованными адамантом дверями. Без стражи — зачем стража в таком подвале?

Вот тьме, в ужасе, в томлении и страхе — вот сейчас зайдет злобный тиран, как начнет измываться!

Вот... сейчас...

Вспыхнули факелы по стенам подземелья. Осветили насмешливо поблескивающие по стенам цепи. Фигуру, сидевшую на одинокой лежанке с поджатыми ногами.

Растрепанные золотые волосы.

— Радуйся, муж мой... брат мой, — тихо полетело из темницы навстречу.

* * *

День-жизнь начался, как положено начинаться такому дню: с позднего вечера, с визита Мома-Насмешника. И добро бы еще — в одиночку подловил, так ведь наверняка же выжидал, когда гости на пир соберутся. Гостей набралось — титаны, брат Зевс, вожаки кентавров, вожди Золотого Века. Пировали, правда, мужской компанией, так что отсутствие Геры было незаметно, а только...

Вспомнился почему-то тот пир. Пока поднимал заздравные чаши одну за другой — вспомнил сестер, кружащихся в танце, и звонкие здравницы: «Наследник!» Не хмелящее вино.

Оно и сейчас не хмелило — горчило воспоминаниями. Думалось некстати: вот сейчас откроется дверь. Вырастет на пороге фигура безумной Реи. И рванется с губ далекий, полный ненависти отзвук: «Пей ту же чашу!» Роковое, незыблемое пророчество...

— Владыка! К ногам твоим...

Судьба редко дарует одно и то же дважды. Даже проклятия. Ждал изглоданную ветрами Рею в рубище — а тут упитанный Мом в желтом хитоне. Выворачивает губы, бросает опасливые взгляды, стучит себя в грудь: хотел... донести... Ай-ай, невиданное дело.

Думал — опять роковое пророчество услышу. А тут тебе по макушке трижды известной истиной: ты рогат, Владыка. Да-да, как тот самый олень, в которого Артемида охотника превратила. Только Артемида рога охотнику нарастила за то, что ее купание видел, а тебе

твоя жена наставила... да вот, непонятно за что. Потому что Владыкам ведь не изменяют. Тем более — так не изменяют.

— Неслыханная подлость! Гнусное вероломство! С морским... сыном nereиды, Ифитом...

О, хоть имя узнал, а то был какой-то безликий кифаред в кудряшках. Ты плохо прятала своего кифареда, Гера. Плохо пряталась сама.

Плохо для тебя, плохо для кифареда... для меня тоже плохо.

Потому что мегарон, где собрались подвыпившие мужчины, начинает гудеть.

— Как посмела?!

Гул набирает силу, пожаром охватывает пирующих, и подробности из уст Мома щедро сыплются в пожар: каждая фраза — вязанка хвороста. История — залюбуешься. Танцевала как-то Гера на зеленой лужайке, а юный Ифит увидел ее и воспылал. А воспылав, приехал на колеснице и утащил. А утащив, задуманное осуществил. А Гера, стало быть, была не так уж и против, потому что вскоре принялась наращивать наставленные супругу рога — так, чтобы уж до Олимпа достало...

Зевс неистовствует больше всех: «Покарать неверную!» Не забыл сестриной стрелы... поборничек верности. Остальные, впрочем, тоже поборники: вино расплескивают, глазами сверкают, по столу стучат... и все ловят, ловят выражение лица Владыки — что-то он, обретший рога?

А я все сижу и понять пытаюсь: чем Геката поит подземное царство, для такой-то фантазии?! Вот что Гера делала на этой самой зеленой лужайке и почему танцевала? На кой морскому кифареду колесница с похищением? И наконец — хотел бы я видеть того, кто попытается похитить Геру. Особенно — когда при ней лук.

— У-у-у-у, неверная!!

И взгляды — на Владыку-рогоносца, который должен сказать, должен покарать, должен...

Быть Владыкой. Которые, как известно, рогоносцами не бывают. У Владык в семье всё просто. Бывают жены или любовницы. Если жена настолько безумна, что изменяет Владыке, — ее карают так, чтобы другим было неповадно. Бросают в Тартар, или глотают, или швыряют в раскаленную лаву...

Только вот — не изгоняют. Не бросают плащом с плеча — «Ну что ж, иди к своему любовничку».

Потому что сделать так — это проявить слабость. А когда под тобой трясется и качается трон, когда тебя вот-вот свергнет сын, когда...

Слабость иногда — роскошь, право на которую сложнее заслужить, чем на силу.

— Приведите ее, — сухо бросил я Силе и Зависти. Туповатые близнецы как-то разом встали по обе стороны трона. Подтянулись при виде холодного гнева на моем лице. Тяжко зашагали вон из зала. Казалось — за ними тронулась невидимая Молва, разнося поразительную весть: Гера, хранительница очагов, попрахла свой собственный! Изменила мужу — ох, и поплатится за это. А Владыка-то грозен — он, конечно, Мудрый и Тихий по старой памяти, но чтобы такое...

Да. Я сейчас грозен. Пальцы впились в подлокотники, во взгляде — отблески стрелы, пронзившей отца. Вот-вот совется из гнева — найдет кого-нибудь острием.

Во взгляде — отчаянное «Чем ты думала?!»

Да, я отпустил тебя... но от Владык не уходят. И Владыки не отпускают: отпускать —

всегда слабость. У них не бывает даже — бывших жен. Только те, о ком они сказали: моя. И кто навеки потерял право изменять им.

Я дал тебе это право — и не могу об этом сказать, потому что это будет все равно, что признать свою слабость, а стоит мне показать ее — и поднимется восстание. Кто-то слишком плотно обосновался за моей спиной, жена. Там не только Арес. Там еще кощунники, ненавидящие меня титаны... и младшие братья. Может, и кто-то еще.

Так что же мне с тобой делать, Гера?!

«Покарай меня, Владыка...»

Губы у нее не шевельнулись — вспухшие, слишком алые после поцелуев. Только блестели глаза сквозь растрепавшиеся волосы. Она стояла передо мной — в мужском хитоне — и в глазах у нее было то самое понимание, что и у меня: Владыки не отпускают.

«Я виновата, Аид... я должна была остаться. Должна была поставить выше всего — долг, как и говорила. Не должна была слушать тебя тогда... и вот теперь они будут считать тебя слабым. Потому что, будучи всеведущим, ты не узнал об измене жены, потому что позволил измену. Но еще более слабым они посчитают тебя, если ты оставишь преступление без наказания».

— Правда ли то, что ты осмелилась изменить мне?

Так спрашивает Владыка — с нахмуренными бровями, с суровыми складками на державном челе. Величественный и грозный.

— Мом-Насмешник не может лгать, не так ли, Владыка? Что значит слово слабой женщины против его слова — даже если она царица?

Так отвечает царица — с гордо вздернутым носом, поднятым подбородком, насмешливая и непреклонная.

И шумят возмущенные изменой мужчины, и где-то на земле разгуливает, разнося новости, стоустая Молва, и никто не замечает другого разговора — разговора заговорщиков, отчаянных, скрещенных взглядов:

«Кара...»

«Да, кара. Такая, чтобы они поверили в твою силу, такая, чтобы неповадно было никому... Аид, сейчас они потребуют от тебя суда, и тебе все равно придется...»

— В подземелья её, — звучит грозный глас царя. — В темницу. Кару я определю позже.

Такую, чтобы каждому было неповадно.

Владыкам не изменяют. Они не отпускают.

Владыки в этом отношении менее свободны, чем последний смертный свинопас.

* * *

— Я ждала тебя раньше... брат.

Не знаю, плакала ли она — глаза кажутся сухими, только воспаленными. В углу стоит нетронутый поднос с фруктами и нектаром с амброзией — царицам полагается, даже в заточении.

— Было много дел.

— Суд?

— Да. Затянуть не получилось.

Как они загорелись мыслями о суде! Еще кто-то все утверждал, что преступления нужно карать по горячим следам — и никак иначе. Вытащили Фемиду Правосудную из постели.

Япета приволокли. Он было заикнулся о том, что вот, где же сама изменница, чтобы и ее выслушать... куда там! Мужское общество замахало руками: изменница в темнице, всем и так всё ясно, дело только за тем — как покарать...

Иногда Владыки бывают беспомощнее смертного. Когда неписанные правила, по которым мы обязаны жить, берут нас за шкуру и тащат не пойми куда. Потом тыкают носом, будто провинившегося котенка: эй, Владыка, а ты помнишь, что обязан? Слушать мудрые советы, и устраивать суды, и прислушиваться к воле своего народа...

А когда мы пытаемся перешагнуть через эти правила — нас называют тиранами и ищут сыновей, которые бы нас свергли.

— Твой кифаред, как там его... Ифит. Хватит ему ума отсидеться? Мом знает только, что он из морских. Откуда вообще знает?

— Мы... были на берегу моря. Купались...

Щеки у Геры наливаются алым — нелегко рассказывать мужу об измене.

Я махнул рукой — можешь и не рассказывать. Ясно и так, что вы с ним там не на лужайке танцевали.

— Когда Сила и Зависть явились — я... просила его не следовать за мной. Просила спрятаться, не показываться... Его тоже...?

— Зевс обещал поискать в своих владениях. Кто там знает — найдет или нет... лучше бы не нашел, конечно. Я, например, не нашёл.

Впрочем, долго и не искал — дел было уж слишком много, но под невидимостью по морским берегам пошастал. Даже порасспрашивал nereid и учеников Прометея — где этого самого Ифита найти?

Как воды в рот набрали — кто там знает, может, ее и набрали. Жаль. Я бы познакомился с этим похитителем чужих жен на воображаемых колесницах. Может даже, посоветовал бы ему — куда получше зашиться, чтобы не нашли.

— Кто он хоть такой, откуда взялся? Чей сын?

Гера взглянула недоверчиво, остро. Так, будто подумала: вдруг да я решу перевалить на кучерявого кифареда вину за измену.

— Мать — nereida, имя он не называл. А отец... он не говорит об отце. Говорит только, что тот был подлецом.

А заглянуть ему в глаза и воспользоваться своими силами ты, конечно, не могла. Богиня семьи и очагов, которая когда-то так быстро поняла, что Афина — моя дочь. Потому что и не смотрела. Потому что тебе было наплевать — кто там его мать, кто отец...

И вообще, вы там были другим заняты.

— Ладно. После пошлешь кифареду весточку с требованием носа не высовывать.

— После...?

После кары, конечно, о чем ты спрашиваешь, сестра.

— Бичевание.

Не знаю уж, кто и предложил. Предложений было много — от изгнания на край света, до извержения в Тартар... кто-то предлагал даже — выдать замуж за Таната Жестокосердного, считая это какой-то особой разновидностью жуткой участи.

Для кого это будет жуткая участь — при этом не уточнялось.

— Ну?

Голос у Геры спокоен, в нем отстраненный интерес. Стоим у разных стен темницы. Друг на друга глядеть избегаем — всю любуемся закатными отблесками факелов по

стенам.

Я объясняю — словно о постороннем. Толкую приговор: повесить за руки и за ноги между небом и землей. Обнаженную, словно провинившуюся служанку. И подвергнуть бичеванию.

— Это хорошая кара. В назидание другим женам-изменницам, — голос богини очагов чуть заметно подчеркивает: женам. Мужей не бичуют за измены. — А после?

Какое «после» будет для меня, жена? Стоит Аресу узнать, какой каре я подверг его любимую мать...

Это мой последний день — вот, чего я добился этим решением. «После» ты будешь обсуждать уже с новым Владыкой — думаю, он позволит тебе взять нового мужа.

— Увидим.

Что же ты не спрашиваешь меня о действительно важном, сестра? О том, кто будет тебя бичевать. О том, сколько народу увидит это? О том, как долго продлится кара и дадут ли тебе послабление в виде нектара на раны?

Ты молчишь, жена-сестра. Молчишь и смотришь в себя — отрешенно. А там, у тебя в глазах — звездная ночь, и поцелуи, и песни, и шепот, и полнота жизни, которой мне никогда не видать. И я не спрашиваю — стоил ли этот десяток ночей с кифаредом Ифитом вот этого — позора, бичевания, суда...

Потому что знаю твой ответ. Вижу по твоему лицу, на котором ясно написано: шел бы ты готовить свою кару, муженек. А меня оставь хоть на немного с моими воспоминаниями. Что ты вообще тут расселся в темнице?

— Когда? — вот все, что ты спрашиваешь.

— В полдень, — и удовлетворенный, короткий кивок. На воспоминания хватит времени.

На то, чтобы сладостью прошлого заглушить и позор, и боль настоящего.

— Они будут смотреть?

Они — это Зевс, Афродита, божки, сатиры, титаны... Киваю — будут. Казнь должна быть публичной. Такой — чтобы каждому впечаталось, чтобы было — кому передать аэдам. Конечно — они будут смотреть...

— Ты не спросила — что они увидят.

Затрепетали ресницы. Гера недоверчиво вперилась в мой шлем — легкий, стрельчатый шлем Аида-невидимки, который я протянул ей. Перевела взгляд на меня недоверчиво.

— Предлагаешь бежать?

— Предлагаю стоять. Или сидеть. Можешь, конечно, и в темнице отлежаться — выспаться после встреч с любовником... Но ты разве хочешь пропустить собственное бичевание?!

Если уж тебя однажды назвали Мудрым — у тебя одна беда: никто тебя не понимает. Скажешь что-нибудь — а вокруг все глазами хлопают: ты что вообще такое завернул? Афина вот жаловалась, что нечасто можно хороших собеседников найти...

Посмотрела бы она на меня сейчас.

— Климен, муж мой... не посетила ли тебя Лисса-безумие?

— Она хотела и даже напрашивалась на визит. Но я его отложил — семь дней назад, ты что, забыла?

— Тогда какая-нибудь из муз?

— Музы — удел Аполлона, женушка.

— Тогда, о муж мой, скажи — не посетила ли тебя покойная твоя кормилица Амолфея и не ударила ли она тебя во сне... куда-нибудь? — блеснула гневной синевой в глазах. — О чем ты говоришь, Аид? Что ты собрался делать?

Как маленькая, в самом деле — столько лет прожили, а она будто бы меня не знает.

— Лгать.

— Поставишь вместо меня служанку? Или набросишь морок? И ждешь, что все поверят? Муж мой, ты самоуверен: Зевс мигом раскусит обман. Как и Фемида, и остальные...

Ну вот, вернулась Гера, куда, спрашивается, отлучалась? Брови нахмурила, расхаживает по камере и вовсю держит речь — какой я неосмотрительный и как именно следует ее казнить, чтобы никто не подкопался.

Я молчу и хмыкаю, проворачивая в пальцах толстый флакон из черного вулканического стекла.

Все на Олимпе слишком привыкли, что Климен Милосердный на самом деле — безжалостный.

Об изворотливости Аида-невидимки все на Олимпе давно успели позабыть.

* * *

— Радуйся, Прополос.

Слово сползло с губ змеёй — шипящей, холодной. Затрепетало язычком, кануло во мрак.

Здесь, на тайных тропах возле Стигийских болот, даже слова оборачиваются змеями. Надышишься здешнего тумана побольше — и сам брякнешься на пузо, поползешь, извиваясь, в трясину.

Под ногами кишели гадюки. Разевали пасти — приветствовали Владыку от всей своей змеиной души. А может, не приветствовали. Может — спрашивали: ты что тут забыл, Милосердный и Справедливый? Тебе положено — на Олимпе. А здешние тропы вообще-то никому особенно неведомы.

Может, только одному отшельнику-лучнику, который когда-то взял это себе за правило — шастать по тайным тропам.

Или Трехтелой Гекате — когда она направляется куда-то без свиты, по своим колдовским делам. Идет... плывет... и гадюки стекаются к ней ручейками — лизнуть трепещущими язычками ноги в алых сандалиях.

Прыгает язычок факела в воздетой руке. Усмехаются два тела — кровавые улыбочки под вуалями... Третье серьезно и почтительно — рассыпает жемчугом ложные приветствия.

— Как мне не радоваться, когда такая честь... сам Владыка Олимпийский... в нашей скромной вотчине... не заблудился ли ты, Владыка? Может — ты спешишь к своему брату, Великому Посейдону?

Его Владыкой назвать — язык отсохнет, Трехтелая?

— Нет. К нему я не спешу.

— Тогда ты здесь, чтобы узнать будущее?

— Оно известно мне.

Да чего там — нужно спросить, кто этого самого будущего не знает. О нем после памятного пира с предсказанием последние сатиры на пьянках рассуждают: «Так это когда

Арес папашку-то?»

Три смешка свиваются один, скользят и плавают по туману.

— Ты и правда велик, Владыка. Потому что я не вижу твоего будущего... не вижу в гаданиях и огнях. В моих котлах — чернота, похожая на воды Стикса. Поэтому ли тебя называли Аидом? Чего же ты хочешь, Аид-невидимка? Чтобы я увидела любовника твоей жены? Рассказала — кто он? Чтобы я дала тебе яд, который убьет его в мучениях — все мужья просят яды, чтобы смазать ими хитоны неверных жен, а жены — просят для неверных мужей... Ты пришел сюда за моим варевом, Кронид?

— Да. За твоим варевом.

Расхрабрившаяся гадюка попыталась кусануть за пятку — и была жестоко бита пяткой по зубам. Тоже, наша... уязвимое место.

— Мне нужно зелье, которое отведет глаза богам и титанам. Обморочит их и заставит видеть то, что они хотят видеть.

Скользят змеи — гладкие тела. Уползают с тропы, будто шелуха — со слов. Остаются — взгляды.

Два призрачных, один колдовской... против черной оперенной стрелы, не знающей промаха.

«Что ты задумал... Кронид?»

«Собираюсь солгать. Это разве неясно?»

«Разве Владыки лгут? Тем более — разве они лгут, чтобы спасти изменницу-жену?»

«Владыки лгут как дышат. Себе, подданным, врагам. Любовницам. Иногда Ананке. Спроси у Зевса. Или у Аты — она многое тебе может порассказать. О том, каким хорошим оружием может быть ложь».

«Олимпийцам теперь не зазорно брать мысли у подземных?»

«Мы с Атой играли, еще когда я не был олимпийцем».

Что там у тебя во взгляде, Трехтелая? Острие следующего вопроса? Яд насмешки?

Тревога?

— Зелье нужно мне к утру. Ты дашь его мне?

Конечно — она даст. Все, что угодно, хоть все зелья. Владыка ей прикажет, — шепчут тела, а доносится — гадючьим шипением. Правда? Владыка прикажет, хотя... здесь ведь свой царь, так что, наверное, нужно будет сперва попросить приказа у Великого Посейдона — он сейчас пирует где-то там, на поверхности. Ибо без его разрешения — кто осмелится в подземном мире сделать хоть что-то?

Гипнос, небось, порхать не осмеливается. Ходит пешком, пока Посейдон не разрешит. В компании всех сыновей.

— Я пришел не с приказом, Трехтелая. С просьбой. И готов платить. Чего ты хочешь за свое зелье?

А в особенности — за то, чтобы никто о нем не узнал. Это и глазами добавлять не стал — сама поймет...

Смешок вспугивает болотных гадюк, они свиваются в клубок и стараются уползти в туман подальше. Недовольно шуршат по тропе.

— Слышал ли ты о Ехидне, Кронид? Она не так давно сочеталась браком с Тифоном. С тем, которого вы низвергли в Тартар — порождением... чьим порождением?

Молчу. Пожимаю плечами. Мне-то откуда знать — чье он там порождение. Мое дело — стрелять и в Тартар такое порождение скидывать.

— Ехидна родила чудовищ от этого брака. Говорят, их никто не видел, даже в подземном мире... — трясина плочает еще один смешок. — Но некоторые здесь. Гидра. И Химера. И Цербер...

Ясно теперь, откуда на поверхность всякая дрянь лезет. Зевс в последние годы заикался даже о новой расе — расе героев. Мол, не все же нам самим разгребать: то дракон откуда-то выскочит, то еще какая-то странная зверушка, а шею ей сворачивает кто? Правильно, невидимый кто-то.

Не могу сказать, чтобы это было обременительно — хоть какой-то отдых от пиров. И все же...

— Ты знаешь о Цербере, Владыка? О, это чудовищный пес с хвостом-драконом. Он изрыгает пламя, и слюна его ядовита... и еще он все время голоден, и не каждый осмелится подойти к нему, чтобы утолить этот голод. А воет он просто — крылатые волки из моей свиты волнуются... Укроти Цербера. Утоли его голод — и я посчитаю, что зелье оплачено с лихвой.

В подземный мир собираться — собак кормить... Пожал плечами. Я знаю, что твоя просьба — с подвохом, Трехтелая: может, ты пригласишь зрителей, которые поглазуют на мое унижение, а может — ты этого Цербера уже напоила каким-нибудь из своих зелий. И теперь у него даже глазные яблоки ядовиты. Или, может, ты собираешься всучить мне отравленную еду, а потом доложить Посейдону, что я истребляю местную живность.

Но все-таки — покормить собачку?!

Прежний пастушок с Крита властно влез в шкуру олимпийского Владыки.

— Еду с собой не брал, — предупредил пастушок. — Может, снабдишь хоть чем-нибудь?

Зашипела придавленная ногой гадюка. Зашептала Трехтелая. Ах, да-да-да — конечно, сейчас. Цербер — он ведь только медовые лепешки ест, он ведь такой привередливый... да, Владыка, он обитает на Темных областях. Твой державный брат пока что ничего не сделал с Темными Областями, ты знаешь? Так вот, пес еще и пугает строителей, которые пытаются доставить материалы к почти уже отделанному царскому замку в кольце Флегетона. Да, о Владыка, то строителей сожрет, то материалы пометит, такой уж скверный характер, в папочку и в мамочку... Но ты-то, Владыка, конечно, его укротишь, притом, не пользуясь невидимостью... И тогда въезд твоего брата во дворец будет пышен и бестревожен.

Да, кажется, Гипнос говорил о том, что Посейдон наконец решил переселяться. Что дворец наконец построен, и уже идут последние приготовления.

На месте брата я бы так не спешил занять положенное мне место.

Подземный мир затаился в нехорошем ожидании. Что-то вязкое, тягучее, злорадное было разлито в воздухе. Глухо порывкивало в Тартаре — и там затаились.

Пиров в честь долгожданного прибытия Владыки так не ждут. Так ждут другого. Грани. Последнего дня.

Я знаю, потому что внутри у меня нынче — то же самое.

Черный дворец на острове в кольце огненной реки. Щурится прорезями окон: не ко мне ли? Устрашающая твердыня, достойная царя подземного мира — дворец скорпионом прилепился к скале, выставил жало: подойди-ка! Творение безумного архитектора — Гипнос рассказывал, что тут строил еще Крон. Ата утверждала — что еще Эреб.

Может, я даже совсем не против, чтобы Посейдон не вселился сюда. Чтобы вымахнул из Темных Областей — безмерной свалки — сын Тифона и Ехидны. Проглотил бы половину

свиты, пометил брату колесницы — и сорвал дурацкий план: жить здесь.

Жить? Здесь?!

— Почему вы не уйдете отсюда?

Вопрос получился глупым. Получился — из рук вон. Не для Мудрого, не для Странника, Отшельника... как там меня еще. Вон, Трехтелая захмыкала и приготовилась разразиться речью в духе: «Ты думаешь, нам будут рады на поверхности? Ламии, Эмпусе, другим, пьющим кровь. Гидрам, чудовищам, ночным первобогам... Танату».

Приготовился метнуть ответное: «Никто не гнал вас с поверхности. Танат ходит к кострам Гестии. Гипнос пропадает на моих пирах, чудовища вылезают полакомиться кровью. Ты сама вершишь свои чары под луной на перекрестках. На земле живет не меньше чудовищ. Великаны, драконы... что держит здесь вас?»

— Разве Гипнос или Ата не сказали тебе?

Темные Области вырастают по левую руку — свалка бесприютного хлама. Цепи, разбитый пифос, огромный валун... колесо, решетки, шипы. Все — вперемешку, вперекрутку.

И — взгляд из густой тени. Не тот, какой виделся обычно — просящий: «Ты уж только к нам, а мы к тебе...»

Настороженный, хищный взгляд — отражение мира.

— Нет. Они не сказали.

— Потому что все мы здесь немые, Кронид. Как нем раб. Или кукла, которую девочка, заигравшись, посадила в игрушечный домик.

И там, в глазах — что-то давнее, тайное, отзвуком, отголоском... что, Геката? Кому нужны были жильцы? Кто привязал вас к этому миру так, что даже белокрылый Гипнос вынужден возвращаться?

— Отсюда не так просто уйти, Кронид...

Ускользящий шепот скользнул по коже, канул во мрак. Показалось на миг — там почти отчаяние, у Гекаты на лице. Отчаяние — и предвидение чего-то такого, что...

Впрочем, мне-то что, у меня последний день впереди, а потом — обжиться в Тартаре. Где там собака-то?

Медовые лепешки, которые Трехтелая извлекла неведомо откуда, тут же перепачкали пальцы — и ничего, что обернуты в ткань. Сделаешь шаг, два — и весь будешь в меду, и остается только пожелать сыну Тифона и Ехидны приятной трапезы.

— Я буду ждать здесь, о Великий Владыка.

Куда уж величественнее. Приперся просить зелье — спасти обманщицу-жену. Щеночка вот кормить подземного... хотя среди этой подземной свалки попробуй еще — рассмотри щеночка.

Я не был раньше на Темных Облациях. Не пришлось. Теперь вот вижу: интересное место. Сотканное из тьмы, чьей-то воли и куч хлама, которое сюда набросали. Шепчущее в уши не хуже Тартара — если умеешь слушать.

Каменные ступени. Валун. Уползает из-под ног маленькая, шустрая змейка — наверное, Геката за мной послала. Какие-то пики норуют ужалить открытые икры, а впереди... Тьма там — впереди. Темнее черного. И из тьмы — ни звука, только взгляд. Пристальный, оценивающий. Говорящий: подавись ты своими лепешками, так я к тебе и вышел. Суйся сам.

Ладно. Крутнул кистью, убрал из руки лепешки — призову, когда потребуется. Ступил из густого полумрака — на границу полной тьмы... и тьма тут же ожила, навалилась с

глухим рычанием. Вцепилась зубами в руку, стала мощной лапицей на грудь...

Ладонь скользнула по мягкому горлу — погрузилась то ли в шерсть, то ли в огонь... разве может огонь быть черным? У этих деточек Ехидны все может быть, не проворонь хвост, невидимка!

— Пшшшел!

Уперся в горло, ногой оттолкнул от себя, подхватился, отскочил в сторону. Правая рука будто от плеча отнялась, только вот раны будто и нет.

Вспыхнула пара алых точек впереди — маленькие, зловещие огни. Мгновенно. Потом он прыгнул опять — без звука, без рычания, не прошуршав даже лапой. Стремился — навалиться, подмять и задавить, перервать незащищенное горло.

Привычно шагнуть, уходя скользкой дорогой богов? От тьмы — на Олимп?

Некуда... незачем. Шагнул навстречу, в шуршащий сумрак, обтек — будто ласковая вода. Вспомнилось почему-то: ночи на берегу моря, шепот — губы в губы «Какой ты, ах, какой ты...»

И еще пролилось из памяти: мальчишка в изодранном хитоне борется с козой. Та разошлась, несется, торопится боднуть в бок.

И мальчишка уходит, обтекает — неуловимый, как ветер, у которого учился, как птицы, как море...

Клацнули клыки — неподалеку от носа. Показалось даже — вылеплены из тьмы. Будто сами Темные Области ожили, смотрят горящими точками глаз, кидаются, глухо ворча...

За ветром, за морей, за солнцем... за невидимкой.

Я — Аид-лучник, сын Крона, выросший на Крите. Судьба своего отца. Нелюбимый сын любимой матери. Лжец, мудрец и странник.

Ты не удержишь меня, тьма, которая решила, что она — пес. Хочешь — солгу тебе, что я это ты? Среди моих учителей была и Ата. Могу ударить мечом — здесь они зачем-то звенят под ногами. Кто только рассыпал, по Темным-то областям?

Но рука тянется за другим, тянется — чтобы взять привычное, выкованное по мне...

Мы играем в догонялки — я и темная туша. Вспыхивают багровые точки — то там, то здесь, сколько там голов у этой твари, или она просто повсюду? Кружится вместе со мной. Выглядывает из-за валуна, возле которого лежит холм, выскакивает из ямы, окруженной языками пламени... или там только что не было ямы? Наскакивает, пытается рвануть клыками, потом настороженно кружит опять.

Всё сверлит взглядом, почему-то даже кажется — знакомым. Настороженным, тяжким взглядом, норвящим придавить плечи не хуже, чем валун. Кого видит? Безоружного воина, озирающегося во тьме? Мальчишку с Крита, только подростшего немного? Юношу, губы которого вот-вот шепнут: «Ты хотел меня видеть...»

Воин приник к скалам — обломкам каменного крошева. Мальчишка застыл, каверзно усмехаясь. Стоит юноша — лакомая добыча. Ни брони, ни шлема, ни оружия. Только лицо чуть белеет — окружено мраком волос.

И пальцы тянутся — за привычным средством: не мечом, не луком...

За приказом.

И прыгнувший пес получает по зубам. Не мечом, не луком.

Куском собственной вотчины, услужливо выросшим из земли. Было ровное поле — стало колонной, в которое сын Тифона с хрустом въехал мордой. Рыкнул, мотнул головой — и чуть успел ее отдернуть от рванувшегося из-под земли толстого шипа.

На Темных Областях настала весна: черная, выжженная земля процвела местными растениями. Острыми обломками, вершинами пик, листьями копий. Засеребрилась цепями и шипами, обильно украсилась бутонами огненных ям, выпустила из себя тучу ядовитых скорпионов.

Словом, щенку гулять и радоваться. Отродье Тифона и Ехидны, кажется, оценило: прошагало по скорпионам, смяло пики, вихрем пронеслось, разрывая цепи, наподдало лапой по горящим углям — те взвились с воздух тучей искр.

Потом точки приблизились. Мигом — без звука. И показалось — я все-таки сумел его рассмотреть: угольно-черный пес стоял напротив, иронично ощерившись и покачивая головой, как бы говоря: «Ну, и кавардак же ты тут навел, невидимка».

Тихо фыркнул.

Ткнулся сухим, горячим носом в ладонь — сгустком мрака и тьмы. Втянул в себя лепёшки, будто — в водоворот.

Пропал.

Темные Области ложились под ноги мягче родного Крита — угодливая бесконечная свалка, готовая на все — только прикажи...

Трехтелая ждала на тропе.

Поворачивала в пальцах темный флакон из вулканического стекла.

Смотрела задумчиво — не таинственно.

— Зачем он тебе? — спросила, когда я протянул руку.

— Я говорил, что собираюсь лгать — разве ты не слышала меня, Трехтелая?

— Ты говорил внятно, Кронид. Я расслышала. Зачем тебе мое варево? Разве не можешь ты лгать без него? Не можешь приказать — чтобы они поверили?

— У меня нет зелий, Трехтелая. Колдовских трав и заклятий. У меня нет даже — колдовских сил, как у тебя.

— У тебя есть право, Кронид. Иногда оно бывает важнее любых сил.

К чему ты сказала это, Трехтелая? Почему не торопишься передать флакон? Что ищешь за моими плечами, на Темных Областях?!

Какое право у меня есть?

Передала все же — я почувствовал холодную тяжесть в ладони. Кивнул на прощание, зашагал прочь по узкой тропе, омываемой ароматом асфоделей.

Взошел на утес, с которого так хорошо виден был подземный мир. И окинул его взглядом — черно-огненную чашу, исполосованную реками. Тоскливый дворец на острове, ощерившаяся пасть Тартара, и вязкость стигийских болот, и фигура с тремя телами замерла на распутье — богиня перекрестков в своей стихии.

И подполз, жметя к ее ногам трехголовый пес... так у Цербера три головы?! Ах да, еще и дракон из задницы? Так а с кем же я тогда... кого же я тогда...

Пожал плечами — шагнул к себе, на Олимп, обратно.

Мало ли голодных псов в подземном мире?

* * *

Кнут распевал вовсю — звонко, радостно. Так, небось, птицы не поют. Должен был — торжественно и сурово, а вот, попался какой-то голосистый, не постигаю — откуда его Эвклей откопал.

Голос кнута — на фоне гробовой тишины и редких стонов — казался неуместно легкомысленным. Кнут забыл, что нынче казнь.

Остальные помнили.

Солнце слепило глаза — вцеплялось когтями, тоже хотело кого-нибудь казнить. Нотт-озорник подхватывал песню кнута — и разносил по внутреннему двору, от бога к богу, от нимфы к нимфе...

В песне было — о том, как нельзя изменять Владыкам.

— Хорошо, что Афина не пришла, — сказал я тихо. Гера, застывшая по правую сторону от меня, вздохнула что-то почти неслышно. Она была в моём шлеме — незрима. И, кажется, опасалась, что меня или ее все же услышат.

Я был уверен — что не услышат, а услышат — додумают что-нибудь за нее и меня. Зелье Гекаты разило без промаха. Я просто позвал их «освежиться перед неприятным зрелищем» — тех, кто хотел увидеть казнь. Слуги разнесли нектар и амброзию. Другие слуги вывели во двор подобие Геры — можно было взять любую служанку, а после сбить в подземный мир... Но я сделал проще: накинул облик царицы на одну из овец Нефелы И бывшее облако обреченно проплыло к месту казни, и на его (ее?) спине вскоре заблестел поддельный ихор.

— Думаешь, на нее не подействовало бы зелье? — тихо спросила Гера. — На Афины.

— Уверен.

Из тех, кто умеет *видеть* — здесь никого, это радует. Гестия где-то в лесах, она все последнее время старается не проводить во дворце. Стикс убыла в подземный мир — оставила за себя сынков, бичевать якобы царицу. Ни Фемиды, ни Япета...

Вроде бы — полный двор набился, а опасаться некого. Нет даже Ареса — видать, еще не донесли о моей беспримерной жестокости. Ну, зная сынка — он вылезет, когда не надо, и устроит отцу неожиданность.

Боги, божки, музы... Артемида с нахмуренными бровями и без брата. Гермес. Деметра — она прибыла утром и всё пыталась рыдать и просить за сестру, голосила так, что чуть игру мне не испортила. Зевс — ну, куда ж без братика. Смотрит задумчиво — то ли фигуру Геры оценивает, то ли прикидывает, что иногда бывает за измены.

Удар — стон, удар — стон... брызжет на плиты подобие ихора. Напевает кнут. Позванивают цепи, которыми прикована овца Нефелы в облике царицы. Наковальни на ногах болтаются.

И глаза — не меньше сотни — прикованы к наковальням, к исхлестанной спине, к развившимся волосам... И у всех — у брата, у Деметры, у мелких божков... у всех затуманены тем, что им хочется видеть. То, что я подсказал — увидеть им.

И мне не хочется знать — мог ли я им просто приказать. Махнуть рукой, указать — вон там Геру бичуют, узрите! Описать в нескольких словах подробности: вот так она кричит, так изгибается, такие-то рубцы оставляет кнут...

Не хочется знать — потому что знаю.

Понимаю, о каком праве говорила Трехтелая там, в подземном мире.

— Что мне делать теперь? — спросила Гера, когда ее подобие проплыло под охраной обратно — в свои покои. На плитах внутреннего двора поблескивали брызги фальшивого ихора. Шептались зрители — я только что приказал Гере не показываться мне на глаза. Деметра на цыпочки приподнялась — сейчас побежит утешать сестру...

— Что хочешь. Пойди в свои покои — поплачься Деметре, когда она явится с

объятиями. Расскажи о своей боли Афродите, когда за Деметрой явится и она. Пошли кого-нибудь к этому своему... Ифиту. Предупредить, чтобы не наделал глупостей. Надавай мудрых советов Аресу, когда он явится пророчество исполнять.

Вскрикнула, схватилась за мое плечо. Стряхнул ее пальцы. Сквозь зубы прибавил:

— Не забудь снять шлем.

Может, в последний момент я попробую сбежать, кто там знает. Не хотелось бы до окончания века болтаться в Тартаре. В компании отца.

Что ты там хотела сказать, Гера? «Я сделаю все, чтобы наш сын не сверг тебя из-за меня»? Не трудись — ты лишь одна из причин.

Вторая...

— Владыка! К ногам твоим...

Сговорились они, что ли? Только, понимаешь ли, закончил лгать окружающим и спровадил их на пир. Выслушал сто тысяч мольб быть снисходительным к глупой жене (Гера бы их за такие мольбы стрелами бы наштиговала!) и не карать ее дальше. Только вот обещал подумать... и опять что-то в ноги валится.

Что-то светловолосое, пышногрудое, в легкомысленном хитоне и с дикими глазами.

Тартар знает, что за она. То есть, наверное, Гера знает — она же половина моего всезнания, в особенности о том, кто кому кем приходится.

Вторая половина — шлем-невидимка — тоже не в помощь. Остальные пирующие молчат. Подавились вином — потому что два раза за одни сутки...

Разве что вот Деметра вскрикнула шепотом: «Левкиппа, что ты тут...»

Спасибо за подсказку, сестра.

— Радуйся, о прекрасная. Можешь смотреть. Не Левкиппа ли ты, нимфа, что дружна с моей сестрой Деметрой?

И гул — в пиршественном зале: «Вот ведь все знает...»

А нимфа трясется так, будто я в нее вот-вот стрелу метну. И перебегает глазами — с меня на Деметру, с меня на Деметру...

— Поведай же, что привело тебя ко мне!

— Владыка, я... покарай меня, Владыка... Великая Деметра, покарай меня!! Повелители морей, Зевс...

Карайте меня все, я уже понял.

— Что случилось?

— Кора... Кора похищена. Кора...

Крик ужаса Деметры вспорхнул подстреленной птицей. Зевс саданул ладонью по столу в гневе:

— Кто?!

— Аполлон...

Теперь вообще все заорали. Кроме Владыки. Владыка там, кажется, малость, заоченел на своем троне — наверняка от гнева. Все же не каждый день — невесту сына из-под носа...

Мне бы подняться, что ли. Загасить шум. Спросить: как?! А вот, молчу, будто и дела никакого нет. Внимаю в суровом (наверное) молчании: да, она танцевала, цветы собирала... а он прилетел, как Геката, в золотой колеснице, схватил и увез. Нимфы и опомниться не успели. Теперь вот просят, чтобы их побыстрее покарали, потому что не догнали колесницу.

Вот и что с этим делать Владыке?! Ясное дело — что: расколоть череп Мому-насмешнику. Вот ведь он невовремя со своей историей об измене Геры. Я-то, конечно,

сделал, что мог, и определил казнь, только вот кифаред Аполлон...

— Мы сбежим, — звенит в висках сказанное юношеским голосом. — Я украду тебя, как мы раньше и собирались, не бойся, теперь уже — только так...

И — слабый девичий голос:

— Владыка обещал мне...

— *Опомнись! Неужели ты не слышала, что я рассказал тебе? Как он поступил с собственной женой — а ведь было ее слово против слова Мома-насмешника! Он насмеялся над тобой, Кора, ему нельзя верить.*

— *Ты совсем его не знаешь. Я пойду к нему опять, я спрошу его, я скажу ему...*

— *И он не выпустит тебя с Олимпа. Кора, говорю тебе — только бежать! Иначе он заточит тебя в темницу, выдаст за Ареса силой...*

— *И ты не боишься разгневать его?*

— *Я боюсь за тебя. Только за тебя. Его я не боюсь. Ни его, ни гнева отца...*

— Молокосос!!

Зря, очень зря. Гнев Зевса — это вам не копыто сатиры. Поражает мгновенно, бьет как следует — чтобы уж с одного раза.

Младший встал — нет, вырос из-за стола. Сверкнул вечным солнцем в волосах, полыхнул гневом в глазах. Левкиппа, заскулив, поползла поближе к моему трону.

— Брат. Позволь мне покинуть твой пир. Позволь... найти мальчишку и показать — каково это бывает: когда берешь чужое. Тебе незачем тревожиться, брат: я сделаю это сам...

Понимаю, Зевс. Ты так старался устроить эту свадьбу (просто так или чтобы угодить Аресу — кто там знает). Так гордился тем, что мы поженим наших детей. И тут вдруг другой твой сын подкидывает такой подарочек. Впору и впрямь разозлиться — до белой, обжигающей ярости, вскипеть хуже Посейдона и приготовиться нестись и карать.

Хотя я бы не стал на твоём месте так опрометчиво связываться с лучником, знаешь ли. Пусть и против трезубца.

Угомонил бы жену лучше — вон, голосит и волосы рвет, готова впереди твоей колесницы бежать на розыски Кору.

— Пусть твоя жена расспросит Левкиппу, брат, — тихо сказал я, глядя Зевсу в глаза. — Идем. Мы поговорим с тобой вдвоем... и не на пиру.

Дурацкий день, хоть и последний. Половина гостей уж точно вообразила: сейчас Климен Милосердный еще больше забудет о своем милосердии. И наедине устроит Владыке Морскому головомойку — мол, как так, что ж ты слова не держишь и за отпрысками не следишь?!

Похоже, Зевс думал точно так же. Не успели мы еще удалиться от мегарона — начал:

— Стиksom поклянусь — я не знал, что этот щенок...

Я махнул рукой. Нашел наконец уединенную комнату, где не подслушивают. Подозвал от стен два равных кресла.

— Да знаю я, сговор отзову, Аресу объясню... слушай, у тебя там в пучинах морских нет чудовищ каких-нибудь пострашнее?

Зевс моргнул, остывая от вспышки ярости. Потер лоб недоуменно.

— Чудовищ?

— Пострашнее.

— А тебе зачем?

— Как выкуп. Вряд ли этот твой сын... Аполлон... сможет расплатиться за Кору

песнями. Золото и цапки мне не нужны. Остается подвиг потруднее. Есть такое — пострашнее, но чтобы справился?

— Что ты вообще...?!

— Ты. Объявишь через Гермеса, других своих детей, любых вестников... что Аполлон получит в жены Кору, если совершит такой-то подвиг. Если своих уродов нет — попроси у Посейдона, его подданные и без того на поверхность зачастили.

— Да что ты мне, брат... — прошептал Зевс. — А Арес? Невесту отберешь? Заявишь раз похитил — значит, теперь его?! Не кара — выкуп? Я знаю, что тебя называют Милосердным, но это уж...

Безумие — не это ли хочешь сказать, младший? Перенапрягся старший — править. Тут еще измены жены, похищенные будущие невестки... вот и несет что-то странное — так?!

Я-то думал — став Владыкой Глубин, ты научишься хоть немного смотреть вглубь.

— За Ареса не волнуйся. Не будет преследовать ни ее, не ее. Ну, хочешь — потом пришли ему даров. Или другую невесту подбери: да вот хоть у Гефеста Афродиту отними...

— Он пошел против моего слова! Против твоего слова! Похитил мою дочь!

Вот бы кому править — Зевс точно знает свое место. И что делать. Непокорный юнец пошел против отцовской воли — нужно наказать. Против воли Владыки — нужно покарать как можно суровее...

— Скажи, брат, если бы ты похитил понравившуюся женщину — ты стал бы медлить с тем, чтобы овладеть ею? Полгода в щечку бы целовал, любезности шептал на ушко?

Отдалось — безудержной горечью воспоминания: падает с обнаженных плеч плащ... призывно сияют глаза в ресницах, окованных медью.

Сказать ему, что ли, что Кора была не против похищения? Так ведь не поймет, да и вообще — кто спрашивает у женщин — против они или не против?

— Если похитил, значит, она уже — его. Что — заставишь ее вернуть девственность, потом отдашь Аресу? Чтобы он стал вторым? В чем, по-твоему, больше позора?

Молчит младший. Скрипит зубами. И взглядом — синим, как предгрозовая глубина моря: все равно я верну дочь, а этого кифареда...

— А теперь скажи мне, брат: Аполлон у тебя дурак?

— Что?

Дрогнула мина гнева. Сменилась удивлением.

— Дурак, говорю? Не понимает, что ты решишь его искать? Не представляет, что ты не успокоишься, пока не вернешь дочь? Не знает, что ты будешь гневаться?

— И что с того?

— А то, что на твоём месте опасался бы стрел. Я предлагаю тебе отдать ему в жены дочь и примириться с ним, пока еще не поздно. Потому что если ты промедлишь...

Он ведь не трус у тебя, Зевс. Просто осторожен, осмотрителен... более дальновиден, как положено лучнику. И если ты не остановишь его сразу же, сейчас, то он...

— Что? Против меня? Этот?! Ты это хочешь мне сказать, брат?!

Я молчал, плотно сжав губы. Внутри отдавалось — отдаленным грохотом: «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Клеймо Кронида.

— Примирись с ним, Зевс. Я мог бы приказать... Но дочь твоя, сын твой. Примирись с ним, я улажу остальное. Пока не началось.

— Началось?

Зевс метнул пронизывающий взгляд — будто тоже был лучником. Сел напротив, стиснул пальцы. Спросил как будто бы даже с интересом:

— Может, поведает, до чего ты дошел в размышлениях, Мудрый?

— Ты бы тоже дошел до этого в размышлениях. Если бы не гневался на сына. Я же спросил у тебя — дурак ли Аполлон. Могу ответить вместо тебя: нет. Значит, он не пойдет против тебя в одиночку. Он будет искать союзников. Скажи, к кому он обратится первым делом?

— Всегда есть те, кто недоволен правлением. Тот бывший рыбак — я тебе говорил — Главк... Ты рассказывал — титаны Кой, Лелантос, Астрей, Крий...

Вспомнил, наверное, и о великанах, и об остальных. Об одном только позабыл.

— Посейдон, — подсказал я тихо. — А теперь скажи мне — на что это похоже.

На то, что мы с тобой, брат, полетим с тронов вверх тормашками. Ну, я-то — понятно, почему, тут же Арес еще явится с разговором о матери и о несостоявшейся свадьбе... Только вот если Аполлон заберет твой престол — не думаю, что они договорятся с Аресом. Мой сын, знаешь ли, вообще не умеет договариваться. А это значит — война неба и земли, там еще Посейдон где-нибудь будет...

Все, конец Золотому Веку. А ведь какая сказка была.

Зевс тряхнул головой. Послал мне светлую улыбку.

— Ты видишь мир слишком мрачно, брат. Странно для того, кто правит небесами. Но спасибо тебе за то, что предостерег. Теперь я знаю — откуда ждать удара.

— Предотвратить ты его, конечно, не хочешь?

Зевс только поморщился — пойти на поводу у сыночка!

— Владыки не уступают. Я подумаю... но ты только представь, что Деметра вытворит, если я о таком хотя бы скажу. Думаю, она-то готова Феба на куски разорвать.

Я кивнул. Поймал в искрящихся глазах брата — отблеск еще не погасшего гнева. И упрямство: сколько можно слушаться Мудрого, сами помудрее будем...

— Пора, — сказал я. — Не медли.

И ведь это еще чуть за полдень — день-жизнь только в расцвет входит. Что будет к вечеру-старости — страшно вообразить.

Миги увязли в минутах, минуты застряли в часах. Капли застопорились в клепсидре — не сдвинуть. Разговаривал с Артемидой — пытался убедить, чтобы нашла брата и привела его с Корой под мое покровительство. Клялся, что защищу от гнева Зевса. Артемиды кивала и не верила (ну да, она же видела бичевание). Прятала глаза и разрывалась — между любовью к Зевсу и любовью к брату. Говорила, что с братом уже пару месяцев почти не видится — и тут была честна.

Значит, Аполлон мог готовиться спихнуть отца и раньше. Уже до помолвки, когда отправил ко мне Кору...

Беседа с Деметрой тоже ничего не дала — кроме рыданий и обещаний кое-что Аполлону укоротить. Деметру успокаивала Гера — хмурая, прекрасно понимающая, куда мы влезли, и почти что забывшая изображать почтительный ужас при моем виде.

— Я мог бы сам устроить их брак, — под конец сказал я, решив, что нужно бы ляпнуть хоть какую-нибудь глупость. — Не спросив позволения у Зевса.

Гера высказалась сложнее, она прошипела: «И как это будет выглядеть? Слабостью? Издевательством над сыном? Плевком в лицо брату?!»

Деметра же просто с ужасом икнула, подняла на меня красные глаза и выдала:

— Зевс пойдет на тебя войной.

После чего опять начала рыдать о дочери — чем и занималась, пока Гера не заставила ее малость успокоиться и не спровадила с Олимпа вслед за муженьком: «Будь спокойна и положишься на Климена: он все знает, все придумает, все сделает...».

— Моя вестница не нашла Ифита, — поведала потом супруга покаянным шепотом. — Нереиды не знают, где найти его, а к Нерею Ирида не осмелилась являться.

Я прошелся по покою. Запустил пальцы в волосы — и родное золото венца оказалось чуждым.

— Он у тебя не лучник, случаем?

Хотя что я спрашиваю, знаю уже. Впору надеть шлем и окончательно сделаться невидимкой — ну, или мишень на спине нарисовать.

Два кифареда-лучника, разгневанный Зевс, собирающийся воцариться в подземном мире Посейдон...

— Не нужно было тебе ходить в подземный мир, — сказала сестра. — Сидела, кусала губы, на щеках — красные пятна от слез. — Я заслужила десяток таких бичеваний. Совершила глупость, когда поддалась искушению — а глупость нужно карать.

В синих глазах, наполненных слезами, вяжется цепочка. Начинается с нее — с измены. А заканчивается — лучше не видеть, чем.

— Скажи служанкам — пусть тебя высекут. Послушай рыдания Деметры или вкуси стряпни Афродиты: есть много способов покарать себя. Мне недосуг заниматься этим.

У меня тут, знаешь ли, такое намечается, что уже почти что хочется взять сына за грудки, встряхнуть и заявить: «А ну свергай! Свергай живо!» А потом отправиться в Тартар, оставив остальных разбираться с тем, что начнется.

Только вот чтобы взять сына за грудки — нужно, чтобы где-нибудь неподалеку присутствовал сын. А он что-то не торопится, хотя молва точно до края света долетела — поведала и о бичевании Геры, и о похищении Кору...

А я вот по своему дворцу круги в недоумении наворачиваю.

Где, Тартар побери, Арес с мезью за мать? За Кору?! Да хотя бы с разговором, что ли?! Эй, безжалостные Мойры! У меня тут рок куда-то потерялся — не отыщете ли?! Мойры вняли. Расщедрились, старые, в ответ на просьбу (последнюю? а, кто там знает...).

Мойры вняли. Расщедрились, старые, в ответ на просьбу (последнюю? а, кто там знает...).

Мойры вняли. Расщедрились, старые, в ответ на просьбу (последнюю? а, кто там знает...).

Метида Разумная явилась во дворец — получаса не успело пройти.

Оторвав меня от размышлений — что мне, собственно, делать с норовистым Зевсом, норовистым Аполлоном, такой же норовистой Корой... ах да, Деметра еще...

Разумная явилась с таким лицом, что вообще оказалось не до размышлений. Оказалось — нужно только кивнуть всем на дверь. Еще и дверь запечатать. Чтобы не услышали, что может обрушить воплощение разума на воплощение неразумия.

— Твой ублюдок-сын...

Не узнаю тебя, Метида. Волосы растрепались, изломались губы, лицо кислое, будто недозревшее яблоко. В глазах пылает нечто, совсем чужеродное разуму — но это и понятно, под стать истории.

О несчастной Афине, похищенной моей судьбой. Украденной Клеймом Кронида на колеснице, прямо когда...

— ...она просто танцевала и собирала цветы, а он...! Ты... ты позволил ему это! Глупец, неужели забыл, что она твоя дочь...

И десяток свидетелей. Все в один голос: Афина безмятежно резвилась на лужайке (Афина! Безмятежно резвилась!!) И тут вдруг — Арес, на колеснице и как из-под земли. Хватает, не слушает отчаянных мольб (о Тартар — мольбы у Афины!) — и уезжает с рыдающей жертвой наперевес.

Одного не понимаю — свидетелей-то они откуда достали?!

— Ты... смеешься?! Лисса-безумие посетила тебя, Литос?!

Почему бы и нет. Я, знаешь ли, Разумная, ждал, что меня сын будет свергать. Вот прямо сегодня. Но у Ареса нашлись дела поважнее — что мне делать-то остается?

Хрипло гоготать над избитым сюжетом: ах, она танцевала, ах, колесница, похитил, увез...

— Вижу, Ата гостила в твоём дворце не напрасно, Разумная. Раз уж Афина сумела даже тебя убедить в том, что могла безмятежно собирать цветочки...

Метида тихо охнула — её стихия напомнила о себе, продравшись сквозь материнские чувства. Пробормотала:

— Так ты... не веришь?

— Ты — веришь? — спросил я. — Что Арес похитил её? Вскинул на плечо и был таков? Тот, кого она одолела во всех поединках? Веришь, что она не сопротивлялась?

Мне проще поверить в обратное — сидел себе мой сынок, распевал песенки, а тут Афина на колеснице. Через плечо — и в закат.

Зачем только дочке это понадобилось? Держать подальше от меня? Где — в плену?

Да в каком, к Хаосу, плену. Вот, значит, почему она не явилась посмотреть на наказание Геры. Хотел бы я знать, куда теперь понесет этих двоих — Войну и Мудрость... Впрочем, что тут гадать — наверняка удалятся на край света и составят компанию Прометею.

Будь счастлива, дочь. Надеюсь, ты научишь Ареса получше сражаться на мечах.

— А во что веришь ты, Литос? В то, что моя дочь могла оставить тебя сейчас? Оставить Олимп сейчас? Оставить меня, пограть свое предназначение, свою мудрость и сбежать с этим... Может, ты веришь, что она полюбила его? Его?! Этого...

Выговорись, Разумная. Я тебе кубок вина поднесу — мне ли не знать, каково это, когда дети оказываются совсем не тем, чем ты их воображаешь. Словно зачарованный сундук с сокровищами: терпеливо годами складываешь в него то, что тебе дороже всего — чтобы однажды поднять крышку и обнаружить под ней клинок — вместо монет, свиток — вместо панциря, лук — вместо кубка.

Перечисли же — насколько это невозможно, пока я проникаюсь своей виной, слушая твои «Взбалмошный юнец... ни капли разума! Эти его выходки... Драки... Дерзкий... С Афродитой!! Она не могла, не говори мне, она не такая...»

Может, тебе и впрямь стоило родить её из головы. Превратиться в льва, слопать какого-нибудь смертного. Не покупать у меня ночь — за шлем. Потому что это ведь моя кровь там, в венах у твоей дочери. Это она кипит и заставляет — обходить предназначение, попирать мудрость, влюбляться с одного раза и намертво.

Так что не обвиняй себя, Метида. Это не твоя вина.

— ...поступить настолько неразумно!!

— Неразумно, — сказал я тогда, — и мудро. Кто знает, Разумная. Может, мудрость — не в том, чтобы разбрасываться советами и изрекать с глубокомысленным видом истины, которые все равно кто-то уже изрек до тебя. Может — она не в том, чтобы быть рядом с

Владыками, лезть в войны и отдалять неизбежное. Иногда мудрее всего — держаться в стороне. Строить свой дом и защищать его. Зажигать очаги — спроси об этом Гестию, она расскажет. Может — наша дочь поняла что-то, что нам недоступно?

Метида, вцепившись в кубок с вином, смотрела потемневшими от гнева глазами. Ясно было — не верит. И не простит. Ни меня с моей кровью, ни Ареса, в котором — та же самая непредсказуемая кровь.

— В одном ты прав, — сухо сказала она, вставая. — Мудрость вовремя покинула твой дворец.

— Мудрость не всегда присутствует только там, где есть её богиня, — возразил я. Она не обернулась от дверей — остановилась на миг, потом бросила: «Как и война» — и исчезла в коридоре.

День-жизнь вздрогнул, опомнившись. Пополз понемногу к старости-вечеру. Гикнул и подстегнул своих коней Гелиос в вышине. С удивлением, должно быть, глянул на лежащий внизу Олимп: что это там изменилось?

Немудрый Олимп. Лишенный войны.
И Клейма Кронида.

Правда, сам Кронид что-то прохаживается по саду, который ему в подарок насадила сестра-Деметра. Непонятно — то ли он яблочек покушать решил. То ли вдруг вообразил, что пора дышать полной грудью. Меч, как-никак, убрался от макушки. Не сорвалась с тетивы стрела, наведенная в спину.

Если Афина решила держать Ареса подальше от меня и поближе к себе — я-то знаю, эта удержит... И значит — день не последний, и время из моей клепсидры не растеклось по полу, и может — еще даже не скоро...

Одно плохо: я в это не верю. Потому что знаю: Ананка там, за плечами, молчит неспроста. Неспроста — не получается вздохнуть полной грудью. Неспроста так и звучит в груди неумолчное «Будет».

Но если не Арес — тогда...?

— Хорошо, когда у тебя есть сын. Еще лучше — два сына. Или больше. Чтобы, если вдруг одного убьют, — можно было утешиться.

Под деревом сидела, раскладывая по холщовой сумке невиданные плоды, сторбленная старушка. Бабуля-Хтония, какой помнилась мне по Криту. Так, будто она каждый вечер тут под яблоньками сидит. Внучка поджидает.

— Что, — спросил я почти весело. — Кого-то еще похитили? На колеснице, в танце, с зеленой лужайки?

Хтония подняла глаза. Оглядела с ног до головы. Поджала губы.

— День еще не закончился, пастушок. Может быть всякое.

— Что же тогда? Или пришла просто яблочком угостить?

— Я нынче выращиваю другие плоды, Кронид.

Плоды — алые, внутри посверкивают капельками. Кровь смешалась со слезами, влилась в красные сосуды, сияет зернышками изнутри...

Чья?

— Сегодня я погребла сына. Когда ты заточил других моих сыновей в Тартар... я молчала. Я думала: вдруг ты опомнишься, найдешь выход... Я решила родить еще. Мой мальчик... Офиотавр... никому не причинил зла. Но кто-то отобрал его жизнь. Кто-то из тех, кому самое место в Тартаре и кто еще не там... Кто-то из вас. Олимпийцев.

— Почему ты думаешь так?

В ее взгляде — в густой коричневатости распаханной нивы — ничего не поймешь. Там перемешаны боль и зола от сожженного кем-то тела мальчика-Офиотавра, беловолосого и голубоглазого, безобидного и улыбочивого. Там — алые цветы от его крови, упавшей на землю и проросшей деревьями — напоминанием.

— Я найду того, кто отнял у тебя сына, Хтония.

— Я не за справедливостью к тебе, Криводушный. Ты помнишь наш первый разговор? Когда ты говорил, что не будешь править. Что вызволишь моих детей... Уже после того, как ты воцарился, я должна была понять о тебе всё.

— Я освободил Циклопов.

— И взамен заключил туда других. Моих сыновей. Не воевавших с тобой сыновей. Веривших, что ты хочешь мира. Ты стрелял в них из лука, который получил от меня. И даже тогда я молчала. Когда ты построил свой Золотой век, полный лжи, как все, к чему ты прикасаешься. Я молчала и верила — что это тебе предназначено было стать Владыкой, стрелять из лука Неба... И только сегодня я спросила себя — не я ли впихнула тебе в руки твое предназначение?

Молчит сад, только сладко пахнут яблоки. Ветер овеивает незащищенную спину пастушка-Владыки. Спину лучника, в которую так и нацелена стрела... или даже — несколько?

И не знаешь — откуда прилетит роковая.

— Что ты сделаешь? — спросил я. — Откроешь Тартар? Поднимешь своих детей на восстание, родишь чудовищ? Свергнешь меня?

— Отойду в сторону.

Фраза упала не шелухой — кованым бронзовым лезвием на кожу. Блеснули зеленью глаза матери-Геи.

«Я знаю, что грозит тебе и твоему трону... дворцу... Олимпу. Я знаю куда больше, чем знаешь ты — кого называют вездесущим. Не знаю только — не ошиблась ли я, отдавая лук Урана в твои руки. Поэтому я принесла тебе подарок, Кронид. Этот плод — чтобы ты помнил, чем оборачиваются слова, которые не держишь. Чтобы ты помнил о подарках, которые можно дарить и отнимать».

Кажется, она добавила еще что-то. Прежде чем ушла — гораздо тише, чем Метида, просто растворившись.

«Теперь есть только ты, Кронид. Да еще твоя Ананка».

Ананка молчала из-за плеч, пока я бежал по коридорам дворца. Открывал двери, пороги перепрыгивал.

Может, ей не было дела до пастушка, что когда-то прыгал по кочкам на Крите — а теперь вот так же по своему дворцу скачет. А может — тоже готовила мне подарочек. Из тех, которые можно давать и отнимать.

Я мог бы сразу позвать, но я бежал по коридорам — распугивая слуг, в свою спальню, как будто должен был увидеть собственное изголовье, чтобы окликнуть то, что проросло в кровь и в кожу, стало частью меня...

Позвал, влетев в комнату. Потом еще раз. И еще раз. Изголовье, столик, кресло с брошенным плащом...

Лук Урана не отозвался, покорный воле той, которая выплавил его из себя.

Легкого стрельчатого шлема-невидимки тоже не было видно.

Только невиданный алый плод одиноко лежал на столе — хранил тепло то ли слез, то

ли крови.

МОНОДИЯ. ТАНАТ

...смотри мне в глаза, смотри — я лечу вперёд.
я — всё ещё чудовище.
но твоё.

Kardemort

Чудовища не видят снов. Спросите Гипноса, сына Ночи. Спросите его сыновей — десяток тысяч снов-чудовищ на любой вкус. Спросите — они расскажут вам, что не приходят к своим.

Чудовищам достаточно памяти да прозрений. Еще — видений, порожденных стигийскими туманами, запахом асфodelей да дурманом Лиссы. В них, в этих видениях, будто в воде бездонного колодца плавают фигуры, касания, голоса...

— У чудовищ нет Судьбы.

— Да, сын Ночи. Нет Судьбы — но и им не избежать её...

Тянутся нити. Вяжутся в нерушимый узел. Золотая и железная. Железная и чёрная. Железная и теплая, огненная.

— Попроси и стану... какой пожелаешь...

— Предназначение.

Нити других могут изменять цвет. Прерываться и раздваиваться. Нити чудовищ всегда однородны. От начала — к концу.

— Предназначение. Мы — орудия Мойр. Не просим. Не выбираем. Только исполняем.

— ...потому что никто не попытался? Не быть орудием? Пойти против предназначения?

— Однажды я отбросил свой меч.

— Ты плохо пытался, сын Ночи. Может, если бы ты пытался получше, ты переписал бы судьбу.

— Как можно переписать то, чего нет?

— Кто тебе сказал, что речь о твоей судьбе, сын Ночи?

О чьей же тогда? Голос молчит, падает на дно незримого колодца с легким смешком.

Оставляя гадать до бесконечности: кто знает ответ?

Клинок ли, тревожно молчащий под ладонью?

Вещая Мнемозина, прячущая глаза?

Геката?

Мойры?

Мойры сегодня были ленивы. Ножницы Атропос клацали, будто зубы блохастой собаки — редко, протяжно и тоскливо. И смерти попадались тягучие, однообразные: уснул на палящем солнце; перепил вина; задохнулся на любовнице; прихватило сердце...

Знойное марево стояло в воздухе: Гелиос гнал своих коней над самой землей, будто перебрал на какой-то пирушке.

Танат Жестокосердный подождал знакомого зова, сухой песни следующей нити — и не дождался. Тогда свел крылья, нагретые на солнце, и неохотно шагнул в свой мир.

В последнее время мир раздражал больше, чем жара. Особенно Колоннский вход, возле которого воздух дни напролет звенел от хмельных криков и музыки и с которого в подземелье то и дело скатывался какой-нибудь перебравший гость: «Ой, а я это, я ж просто по малой нужде, думал, такая пещера удобная». Через Колоннский вход в свою подземную вотчину время от времени наведывался и выскочка-Кронид, который искренне полагал себя царем. Прохаживался, выпячивал грудь колесом — в окружении прихлебателей из собственной свиты и подземных прилипал. Качал головой: ага, вот тут в царстве порядок... и тут порядок... да и вообще, порядок в царстве, вот такой я замечательный Владыка!

Потом сразу же поднимался на поверхность — на нимф охотиться. Ходили, правда, слухи, что не только на нимф, но и на Афродиту Пеннорожденную, но Танат не прислушивался к трескотне.

Перед дверью дворца под ногами невнятно прошелестели перья. Белые. Дальше, у самой двери лежало что-то, похожее на заснеженный ком. Что-то воняло маковым раствором и полусонно бормотало:

— ...никого не трогаю, лежу, обнимаю чашу...

В ответ на пинок ногой под белыми крыльями обиженно засопели, и явилась знакомая физиономия с расплывающимся фингалом. Фингал расплывался стремительно — будто спрут черное облако выпустил.

— Я по сравнению с тобой — красавец, — торжественно сообщил близнец, силой воли сводя глаза вместе. — Знаешь что? Пс... пс... Псейдон вообще говорил, что готов со мной породниться. Птмушта я тут самый-самый. И не то что ты. А Климен такого... нет, не говорил. И даже на свадьбу сына не зовет. И на казнь жены не зовет. Сволочь.

Маковые пары обильно смешивались с винными: близнец старался не пропускать ни одного пира у шутовского Владыки. На пиры к своему дружку, Климену Криводушному, наведывался не реже, так что бога сна в последние годы мало кто видел трезвым.

Прошел даже слух, что он теперь стал богом виноделия.

— Это он тебя? — спросил Танат, кивая на фингал. Близнец помотал головой.

— Псейдон. Я ему что-то сказал... или спросил... а, спросил, почему его на пиру не было, когда оглашали, что Кора за Ареса пойдет... а он мне в глаз, да!

Хихикнул и полез было под крыло — будто огромный лебедь. Потом тряхнул головой и пробормотал:

— А чего я тут лежу? А-а-а-а, Посейдон звал. Тебя, значит. На пир чтобы. Предупреждал — не явишься опять — разгневается.

Танат хмыкнул. Он не был ни на одном пиру Выскочки за все двадцать лет. Хотя Посейдон и звал — желал то ли доказать гостеприимство, то ли показать, что и бог смерти ему подчиняется, то ли наконец бросить вызов в лицо, потому что лицом к лицу Танат с ним не встречался со дня кронидского жребия. Каждый раз Выскочка гневался.

Но почему-то каждый раз не являлся ко дворцу Смерти — карать нерадивого подчиненного.

— Передай — много дел.

— ...а я ему говорю — он у нас занятой, больше него разве что только я... пока всех покрошишь... то есть, покропишь... А он мне говорит — вот с таким бы породнился. Опять же, сестра свободная, Гестия... ну, за кого ее отдавать, не за этого же, с крыльями железными... к-куда?!

Пальцы, крепче камня, приподняли бога сна за шкуру. И заботливо отправили в полет

— в воздух родного мира, легче перышка. Лети, белокрылый. Кувыркайся вместе с чашей, роняя белые перья.

У бога смерть много дел.

Шагнуть в освободившийся дверной проем, отрезать себя от щекочущего имени смешной блаженной богини, не думать, не представлять...

— *Вот... — шепчут, улыбаясь, алые губы, веснушки искрятся — капли солнца на лице. — Дай руку, не бойся, не обожжет...*

И огонек — рыжий, кого-то очень напоминающий, прыгает на ладонь, весело пляшет, изо всех сил машет ручонками: хайре, хайре, немедленно радуйся, я буду греть!

Пусть нельзя согреть — но все равно буду.

Зачем он взял его тогда? Зачем вообще пришел? Просто мимо по работе пролетал — глупая отговорка.

В первый раз, во второй раз, в десятый раз. Когда показывал ей Флегетон — наверное, тоже мимо пролетал.

И десять лет назад, когда слушал ее песни у костра.

И на прошлое новолуние.

Просто пролетал, просто делать было нечего, просто пришел...

Просто замерз.

Воспоминания лезли через край, не слушали сурового мысленного окрика.

Последние лучи солнца путаются в ярко-рыжих волосах, пламя перевивается с пламенем.

— *Ой, как хорошо, что ты опять пришел! Смотри, у меня тут... вот. Деметра вырастила новый сорт фиников. Я люблю сладкое, ты любишь? Нет, куда ты, ты должен попробовать, вот...*

— *Меч разгневадается на меня, богиня. Он недолголюбивает, когда за него хватаются липкими пальцами.*

— *А мы ему ничего не скажем. И вообще, вон там очень хороший ручеек, там такая наяда красивая! И руки не будут липкими.*

— *Если вытереть их об наяду?*

— *Ты так смешно говоришь. Ой, у меня, кажется, пальцы к твоим перьям прилипли. Они же у тебя железные, разве нет? Перья. Они же не могут прилипнуть?*

— *Не могут. А прилипают.*

— *Слушай, мне кажется, эти финики какие-то очень уж липкие. Они, конечно, на вкус будто мед... но они и вообще будто мед. По-моему, мы теперь с тобой тоже будто мед. За нами, наверное, пчелы теперь будут гоняться. То есть, я, конечно, совсем не против, они очень красивые! Но вот для тебя это будет как-то странно, да?*

— *Для меня будет все равно, богиня. Я могу обрядиться в светлые одежды. Могу явиться к умирающему с полной корзиной фиников — и все равно...*

— *...тебя точно нужно немножко постирать. А со светлыми одеждами и финиками — ты правда пробовал?!*

Крыльев коснулся сквозняк. Ледяной, стылый. Выдрал из ненужного, лишнего воспоминания, колыхнул пряди волос вдоль стен коридора. Подплыла тень белоголового мальчика — взглянула вопросительно и пусто.

Чего ты хотел в своем доме, Чернокрылый? Зачем пришел сюда?

Не в доме. У чудовищ не бывает домов. Бывают — стены, чтобы отгородиться от

враждебного мира.

Впрочем, кажется, Владыки похожи на чудовищ — маленькая блаженная говорила об этом недавно.

— Я сегодня подарила смертным триста огоньков! Вот таких, посмотри — правда красиво?

Огонек вспыхивает и танцует на ладошке, и дробится в глазах на маленькие искры.

Заставляет забыть, что сегодня делал он.

Сколько прядей отнял у смертных и сколько огней загасил.

— Правда. Красиво.

— Ой, смотри, вон полетела звезда! Это, наверное, развлекается Астория — она любит собирать себе звездные букеты. Нет, здесь гораздо лучше, чем на Олимпе все-таки. Там... там сейчас очаги золотые, и вообще много золота... и очаги не горят. Наверное, потому, что Олимп уже не может быть чьим-то домом. А здесь — вот, смотри...

Пламя танцует, плетет затейливую вязь на ладошке, потом на сучьях. Взметывает в воздух сотни маленьких ладошек и искрит тысячами разноцветных падающих звезд.

— А здесь вот звезды... и огонь хорошо горит, и наяды часто поют, и Селена машет с неба, и это красиво. И ты тоже... знаешь, ты очень красивый, особенно когда улыбаешься.

В память лезет чушь. Пальцы невольно касаются губ, словно тесанных из подземных, тысячелетних камней. Какая улыбка может быть — у Смерти?!

В резной каменной чаше качается темная жидкость — кровь, поднесенная господину послушной тенью. Кровь всем своим видом показывает — ее еще не пригубили. Господин, наверное, хлебнул чего-то другого — например, вод из озера Мнемозины. Теперь память заводит бога смерти не туда.

Мнемозина — самая безжалостная тварь из жильцов подземного мира. Страшнее смерти. Отвлечешься, отвернешься — и опять...

Полыхают огни Флегетона — бросают изменчивые отблески на крылья, и огненные языки тянутся к рукам юной богини, облизывают — ярко-алые, жалобные... и звонкий смех тревожит подземный мир: «Ну, что вы, щекотно!»

И на смех выползают подземные жильцы — сперва несколько чудовищ шарахаются, когда видят, кто стоит за спиной у юной богини, потом прилетают мормолики и под конец выплывает сама Трехтелая — с факелами, стигийской свитой и ядовитой усмешкой:

— Мы и подумать не могли, что нам нанесет визит сестра нашего царя. Такая честь...

— У тебя факелы! — радостно звенит в ответ. — Как красиво!

А уже через несколько минут маленькая блаженная гладит крылатого волка, и утешает ноющую Ламию, и показывает Эмпусе, как закалывает волосы Афродита, и болтает со стигийскими о том, какая у них замечательная река и как здорово у нее можно было бы греться...

И еще взгляд Гекаты отпечатывается в памяти — жадный, пронзительный, неотступный взгляд, устремленный на Гестию и подземных. И ее едва различимые слова, будто невзначай сказанные в твою сторону:

— Убери отсюда олимпийку, Убийца. Пока мир не упал перед ней на брюхо и не завилял хвостом.

Постой, Мнемозина. Я спрошу тебя — какую опасность рассмотрела в этой девочке Трехтелая? С чего посоветовала показать ей мой дворец?

Я не показал.

Наверное, опять бездарно дрался.

Бог смерти отставил чашу — ее тут же приняли услужливые руки из пустоты. Прошел по мегарону, наполненном сквозняками и колыханием разноцветных полотен, свитых из тысяч прядей. Остановился у очага, который давно не пытались разжечь даже слуги.

В этом очаге отказывался жить даже колдовской огонь Гекаты. Танат не просил Трехтелую зажечь очаг.

Просто знал.

Может быть, нужно было все же привести сюда маленькую блаженную. Чтобы она посмотрела на прислуживающие тени детей. Коснулась криков, которые звучат из-под каждой пряди. Увидела бы навсегда выстывший очаг. И оставила бы бесплодные попытки.

Или...

— Кто-то сказал бы, что здесь слишком холодно. Я бы сказала — мерзко.

Шагов Нюкты он не услышал — это и не было нужно. Все дети ночных Первобогов были связаны с родителями слишком прочными узами. Впрочем, в то, что Великая Нюкта явилась без предупреждения, все равно не верилось.

— Ты послала ко мне Гипноса, — сказал Танат, не удосужившись приветствовать мать. Снизшедшую к нелюбимому сыну.

— Ты отшвырнул его с дороги. Потому что он сказал что-то про твою олимпийку? Геката рассказывала, ей понравилось в подземном мире. Настолько, что Посейдон даже желает выдать ее за Гипноса. Я сказала, что не против — это помогло бы мальчику остепениться... сколько у него уже детей?

Темное покрывало, дарящее свежесть, змеей шуршало по каменным плитам. Охотилось, высматривало, казалось — вот-вот зашипит...

Воспоминания о веснушках и искорках в карих глазах коснулись было висков — и сбежали, испуганные.

— Пришла просить за любимчика? — спросил Танат тяжело и ровно.

— Мне нет нужды просить тебя. Сын. Я могу приказать.

Танат молчал, глядя на покрывала из волос, вдоль стен. Холодным, спокойным, отстраненным взглядом воина.

Звенели и падали невидимые слова — блески из драгоценного покрывала Ночи.

«Гея и Уран были продолжениями Хаоса — своего плодоносного отца. Потому позволяли рождаться своим детям как угодно и какими угодно. Это было неразумно. Гекатонхейры и Циклопы оказались в Тартаре, Крон сверг своего отца... Когда Эреб взял меня в жены, я решила, что будет иначе. И к каждому ребенку мы подходили, словно к творению. Как скульптор — к статуе. Как ювелир — к драгоценности. В каждого ребенка мы вкладывали частичку себя. Наши дети — наши части, подвластные нам.

И потому никто из них не может ослушаться наших приказов».

Не может пойти против нас. Не может раскрыть кому-нибудь истинную суть мира. Не может открыть тайну Эреба, лишённого тела, когда он решил породить нового ребенка — мир — и отдал слишком много.

Так — со всеми нашими детьми. С Гемерой днем и Эфиром-воздухом. С чудовищами, которых я нарочно породила из себя в наказание Крону — Керами, и Атой, и Лиссой, и Эмпириями...

— Да, — сказал Танат. — Это было мудро.

Грохотали, не разбиваясь, неслышимые слова — осколки от самого страшного в мире клинка.

«Так почему ты говоришь: «Я могу тебе приказать», мать? Почему не приказываешь? Не потому ли, что я единственный родился не тем, что ты задумала? Ты не хотела меня — сколько раз я слышал это? И теперь я понял, что это значит. Ты не знала, чем я буду. Не знала, что я вообще буду — думала, что родится только Белокрыл... Я — единственный твой настоящий сын, родившийся, как Крон родился у Геи, — в неизвестности. Скажи мне, мать — не поэтому ли ты ненавидишь меня? Не потому ли, что боишься? Не потому ли, что я могу преодолеть...»

Покрывало замерло. Свилося в ядовитый клубок, готовое к броску. Освежающая прохлада превратилась в ледяную стужу.

Сбежали из щелястых стен сквозняки — укрылись в углах, дрожа, как перед опасной битвой.

Оставили после себя неверное, шепчущее эхо: «Бунт? Бунт? Будет? Будет?!»

Нюкта тихо вздохнула. Грустно покачала головой.

— Иногда мне кажется — это не клеймо Кронидов, — прошептала она. — Это клеймо всех детей Хаоса. Порождать тех, кем мы могли бы гордиться... если бы не ненавидели так. Ты не пошел на пир Посейдона.

— Да. Не пошел.

— Из-за чего?

— Потому что не хочу.

— И не боишься гнева... царя?

Танат хмыкнул — кто его боится...

Отбивать удары — и не наносить самому было непривычно. Нюкта скользила вокруг — гибкая, острая, опасная. Обозначала уколы — и не доводила до конца. Танат отбивал — слово на слово — и ждал, пока мать заговорит о главном. Хотя бы глазами.

— Мы тревожимся. Мы видим, что происходит, и мы тревожимся.

— Настолько, что ты пришла к нелюбимому сыну.

— К ненавидимому. Не учишь подмене слов... сын. Мы зря допустили до правления сына Крона. Жребий взял не тот, кто должен. Не тот брат...

— Да. Не тот.

Пальцы дернулись проверить — не появилась в углах губ усмешка? Презрительная, хищная, незнакомая, почти — невидимая.

Вы слишком поздно поняли свою ошибку, так, мать? План был хорош — пригласить на правление сына Крона. Бога нового поколения, который сможет хоть отчасти обуздать мир и сделать его царством. Который сможет вместить безграничную мощь Эреба, даст Эребу юное тело... и будет достаточно глуп, чтобы войти во дворец Первомрака, когда мир поднимет против него бунт.

Вот только против кого поднимать бунт?

План был плох. Потому что Посейдон не правит. Ему даже сосуд от Мойр не доставили. Средний Кронид прочно засел у себя во дворце на поверхности, провозгласил себя царем и занялся любовными похождениями, пирами и вынашиванием обиды против Климена Криводушного. Конечно, под землю он навевается... устроить соревнования или попить.

И подземный мир, не чувствуя царственной руки на холке, и не думает огрызаться.

Ворчит, как сонная сторожевая псина, когда вниз опять спускается Жеребец. Подземным незачем бунтовать — их никто не притесняет. Царь, который есть, но которого как бы и нет, царь-невидимка — что может быть прекраснее?

Только не для великих Эреба и Нюкты, которым по горло необходим этот бунт. Или хотя бы предлог.

Потому что еще немного — и подземный мир окончательно уверится, что лучшего царя, чем Посейдон, и не сыщешь.

— Чего ты хочешь? — голос Нюкты течет мятной прохладой, разливается по мегарону нектаром и амброзией. — Эту олимпийку? Это небольшая цена. Когда Эреб возродится — ты получишь ее. В жены. В наложницы. В служанки — как захочешь. Можешь даже царствовать над этим миром вместе с ней. Ата пустит молву о том, что смерть — величайшее блаженство, тебе будут приносить жертвы и смотреть на тебя с восторгом.

Танат молчал. Заглядывал в глаза матери — не так часто Великая Нюкта подает себя на ладони! Не так часто распахивается перед ненавидимым сыном: давай же, мальчик мой, сделай, что я прошу, выполни только просьбу — и станешь любимым, и получишь все, чего просишь — разве откажет Первомрак тому, кто помог ему вернуть тело и царствование?

Взгляни в древние, влажные, черные бездонные глаза — взгляни в две бездны будущего и увидишь себя на троне мира и Гестию на троне рядом, и собственных посланцев с клинками — *наместнику* необязательно исторгать тени самостоятельно.

Только не смотри туда, наверх. Куда шагнет Эреб после своего возрождения — ты же понимаешь, Железносердный, что он не будет царствовать в подземельях, когда водой и небом правят сыны Крона?

Глупые внуки Урана, годные только на то, чтобы брать их тела. Дети Эреба и Нюкты займут места самоуверенных кроновых потомков, и больше никто не посмеет называть отпрысков Первомрака чудовищами, и Гея познает свободу и радость, когда все ее дети будут извлечены из недр Тартара...

Не смотри на это, Железносердный. Тебе на них наплевать — на олимпийцев, и морских, и смертных. Смотри на свой трон — видишь, какой величественный?

Смотри на лицо жены — застывшее и безразличное, похожее на твое лицо.

На свой холодный очаг, в котором никогда не загорится пламя.

Танат отвел взгляд от глаз матери. Взглянул на выстывший, безразличный очаг.

Хотелось сказать — «Бездарно дерешься» — но Великая Нюкта вряд ли поймет...

— Нет.

— Что — нет?!

— Я не буду искать ссоры с Посейдоном. Ни на этом пиру, ни на следующем. Я не дам повода.

Теперь я знаю, зачем ты тогда послала меня наблюдать за церемонией жребия, мать. Надеялась, что одного моего вида будет достаточно, чтобы завязать ссору с будущим царем подземного мира. Ссору, которая в будущем выльется в схватку и сможет стать первым шагом.

Ты просчиталась, о Великая.

Мне наплевать на смертных, и олимпийцев, и морских — это верно.

Но я не буду.

— Я приказываю тебе!

— И я говорю — нет.

— Ты...

На лице в Великой Нюкты не было гнева. Скорее уж печаль. Холодная, будто воды Стикса, жалость к мальчишке, который ослушался родительских указаний. Ему кричат — «Сынок, не беги к пропасти» — а он с чего-то несется...

— Ты предаешь свой мир, Танат. Предаешь его настоящего Владыку. Ты знаешь, какую кару можешь навлечь на себя?

Танат не ответил. Смотрел на лицо матери — безгранично печальное, как северная ночь перед рассветом. На трепещущие ресницы.

Слушал шепот, почти сливающийся с шелестом темного, прохладного покрывала по полу.

— Знаешь, зачем я пришла сюда, сын? Может, во мне еще оставалась часть материнской привязанности — пусть к тому, кто не стоит этого. И я пришла затем, чтобы сделать тебе подарок — такой, какие иногда делает Ананка-судьба. Иногда она дарит шансы своим избранникам — возможность выбора. Возможность всё изменить...

— У чудовищ нет судьбы, — сказал Танат холодно. — Предназначение.

Он не смотрел ей вслед, когда она уходила. Рассматривал свой очаг — сложенный из такого же гранита, как дворец. Думалось с отстраненным интересом: вы ведь все равно найдете предлог, мать. Просто нужно будет получше поискать того подземного, на которого Жеребец накинется с наибольшей охотой. Конечно, лучше всего — сына Нюкты: Мом? Харон? Кого выберете? Или Палланта, мужа Стикса? Впрочем, за мужа Стикса будет мстить не мир — жена. С которой еще не каждый безумец спорить осмелится.

В груди саднило — с чего? Железо не умеет болеть, не умеет даже — предчувствовать. Может быть, ржавело потихоньку из-за того, что он попрали приказ матери. Никто из подземных жильцов — даже если они не дети Эреба — не знает, чем может обернуться такой отказ.

Никто раньше не пробовал.

Нужно будет попроситься с маленькой блаженной — подумалось следом. Впрочем, незачем и проситься. Хватит ходить к ее кострам. Если Эреб и Нюкта взялись за дело — либо у них получится, и дело кончится войной между Эребом и Олимпом, с участием Тартара... либо у них не получится, подземный мир останется без Владыки... все равно — хватит.

Мне нельзя вмешиваться.

Зов, отдаленный и глухой, пришел как освобождение. Танат свел крылья, шагнул на поляну, где вокруг подранного вопреки товарища суетились охотники. Рубанул по прядям так, будто хотел снести голову, не пряди.

Показалось вдруг — пряди смертного охотника обернулись пастью. Хватанули родное железо адамантиевыми клыками, меч пугливо взвизгнул, прорезая воздух, разлитая боль с размаху уколола в сердце — железное! Не умеющее болеть!

Какое-то время бог смерти молча смотрел на упавших лицом вниз охотников. Над их товарищем стенала хмурая тень. Таяли в воздухе пряди. Охотники цокотали зубами, всхлипывали, молили... кого?

Его.

«Они тебя видят, — шепнул верный клинок под пальцами. — Видят нас».

И вдруг нетерпеливо дернул куда-то в сторону — туда же, куда тревожно тянуло сердце. Где кто-то кричал — перерезанные Мойрами новые нити? Нет. Далеко-далеко

захлебывающийся девичий голос выкрикивал: «Не надо, пожалуйста, не надо!»

И гас костер, растоптанный широкой ступней, и кто-то пакостно тянул: «Надо, надо красавица», и отчаянно орал где-то вдалеке осел...

Потом изломался мир, и с запозданием Танат понял, что он не сводил крылья, не исчезал, что *шагнул* — быстрее собственных крыльев.

Сбежал от предназначения неведомыми путями. Может быть, теми, которыми летают стрелы Урана.

Рыдания. Треск порванной ткани пеплоса. Колесница Гелиоса тонет за горизонтом, шлет лесной полянке, укрытой от посторонних глаз, тревожные алые лучи. Лучи — робкие, уже совсем не жаркие, прыгают по затоптанному костерку. Падают на плешивую макушку божка, который выпрямился над своей жертвой, высвобождая из-под короткого хитона огромный фаллос.

Лучи скользят стыдливо, торопливо. Не хотят видеть, что будет. Обычная сцена: божок Приап настиг очередную женщину. Какую? Неважно. Приап, уродливый сын Афродиты, живет в лесах. Его не зовут на Олимп. И в ответ на задушенные крики: «Я Гестия! Гестия!!» — только посмеивается под нос: Гестия, нимфа, богиня, смертная... Не все ли равно? С каждой — всегда одинаково: рыдания, крики, треск ткани, вопль боли — и стоны удовольствия божка мешаются со стонами опозоренной жертвы.

Хоть на амфору заноси. Хоть слагай печальную песню.

Задушенный крик. Хихиканье и бормотание под нос:

— Нравится? Вот сейчас с ним поближе познако... познак... кххх...

Амфора брызнула осколками. Несложная песня — словами.

Ледяные пальцы из пустоты сжали горло божка Приапа до хруста. Небрежно подняли в воздух.

Может ли бог увидеть свою смерть? Тот, которому от рождения положено — бессмертие?

Наверное, не может.

Но Приап увидел.

Наверное, что-то страшное — потому что воздух вокруг отравил запах падали, а в глазах у Приапа, прорывая вечную пелену похоти, плеснул ужас, граничащий с наваждениями Лиссы.

Из груди вырвалось тоненькое поскуливание — просьба о милости к тому, кто никогда милости не давал.

Наверное, так смотрел проснувшийся Уран на Крона, который стоял над ним с серпом.

Хорошее сравнение.

Меч в руке дернулся, как живой. Танат отпустил пальцы с горла Приапа, шагнул назад и несколько мигнов смотрел, как божок катается по поляне, немо, без голоса вопя.

Фаллос его валялся рядом, отсеченный оружием, раны после которого не затягиваются даже у богов.

Через несколько мигнов Танат сделал медленный, тяжелый шаг. Поднял меч — и Приап с ужасом уставился на черное лезвие в каплях своей крови. Лезвие безмолвно напевало о том, что у божка есть еще слишком много конечностей. И о том, что еще через три мига на траве окажется правая рука. Потом левая. Потом ноги.

Беззвучно всхлипывая, Приап схватил свой отсеченный фаллос и на четвереньках уполз в кусты.

Воздух пах семенем и ихором.

Из окропленной кровью почвы прорастали невиданные цветы. Танат перешагнул их, переступил погасший костер, шагнул к Гестии.

Маленькая блаженная захлеб плакала, свернувшись в комочек. В волосы у нее набилась хвоя, острые плечики выглядывали из-под сползшего растерзанного хитона. На лице горело пятно — след удара.

Нужно было все же ударить еще два раза, — подумал Танат. По рукам.

Снял серый хламис, оставшись в коротком хитоне — прикрыл Гестии плечи. Сел рядом. Неловко вынул веточку из растрепавшихся волос. Подумал — нужно что-то сказать.

Свой голос показался не своим — чуждым, дальним.

— Я здесь, богиня.

Коснулся ее руки, потом опять волос. Будто ласкового пламени, которое танцевало на ладони. Вспомнилось — она смеялась и уверяла, что ему нужно учиться легким касаниям, «Потому что у тебя очень сильные пальцы, вот!»

Легки ли они для тебя теперь, маленькая богиня?

Нужно было сообщить олимпийцам. Привести этих, докучливых — Деметру... Геру? Кто из них на Олимпе? Как уговаривать, что говорить страже?

Легче отнести на Олимп ее.

— Я отнесу тебя на Олимп, царевна, — сказал Танат и взял ее на руки. Будто пламя, мелькнула в голове шальная мысль. Горячая, даже сквозь хламис, бьется в плаче... веса совсем нет. — Не бойся. Это быстро.

— Я не... боюсь, — чуть слышно раздалось из складок хламиса. Сиплым шепотом, совсем непохожим привычный звонкий голос. — Не надо... на Олимп.

Спорить он не решился, отпустить ее — тоже. Осторожно опустил там, где стоял, не размыкая рук. Маленькая блаженная уткнулась носом ему в плечо и опять тихонько заплакала — пусть себе.

Ее растрепавшиеся волосы щекотали подбородок, пахли медом. Тихо пламенели под последними солнечными отблесками. Казалось — окуни пальцы в это пламя со сладким запахом — согреются навсегда.

Меч молчал. Мойры скрылись в своем ветхом сером доме на Олимпе — боялись лишний раз чикнуть нить, чтобы не встретить тот взгляд, который поймал недавно божок Приап.

Где-то далеко торжествующе ревел осел — непонятно, что этой твари было нужно...

Танат Жестокосердный не думал больше о Мойрах, мече, приказах Нюкты и Великом Эребе. Думал только о том, чтобы не стискивать маленькую блаженную в объятиях слишком сильно.

Потом заметил, что она дрожит.

— Он... ушел? — спросила шепотом куда-то в плечо.

— Да, богиня. Я его... ушел.

— Разведи огонь, — попросила, поднимая к нему заплаканное личико. — Пожалуйста. Мне холодно, и я... не могу.

«И я не могу», — чуть было не прыгнуло в ответ с губ.

Не прыгнуло, зацепилось за что-то.

Обнимая Гестию одной рукой, Жестокосердный потянулся второй к затоптанному костерку. Открытой ладонью. Вспомнил Флегетон, вспомнил огонек, который плясал у него

по ладони, подаренный хозяйкой. Подумалось: пусть не мое предназначение. Пусть — не знаю, откуда и как призывать пламя.

Пусть меня называют Гасителем Очагов.

Мне на один раз. Я только хочу, чтобы она согрелась.

Среди веток сонно подмигнул бледный огонек. Робко сжевал пару прутиков, смущенно порозовел, потом вдохнул полной грудью, обнял ветки и поленья как родные, затрещал, подарил наступающей ночи сотни искр-светлячков...

— У тебя хорошо получается, — сказала Гестия и шмыгнула носом. — Смотри, какой хорошенький... настоящее чудо.

В глазах у нее отражались искры. Я ее не отпущу, вдруг с кристальной, режущей ясностью понял Танат. Ни к Гипносу, ни вообще к кому бы то ни было. Шло бы в Тартар предназначение. Вообще, все — шло бы в Тартар. Кроме ее улыбки.

Говорят, чудовища не могут чего-то желать. Я хочу, чтобы она опять улыбалась, потому что она смотрит серьезно и время от времени всхлипывает, и дрожь еще не прошла.

Я хочу, чтобы моя маленькая блаженная зажигала свои огни и выполняла свое предназначение — греть.

Я буду драться ради этого. Наверное, не мечом. Оружием, которое возьму в случае надобности: что они там берут, остальные? Слова, объятия, поглаживания по волосам?

И еще нужно утереть ей слезы. Пальцами, хотя хочется — губами. Заодно попробую, жгутся ли у нее веснушки, как искры — давно хотел...

Наверное, я утрачиваю разум. Пусть. Лисса говорит — безумцы счастливее многих.

— У тебя пальцы теплые, — прошептала Гестия и приложила к его ладони свою. — Ты давно не приходил. Я скучала...

— Я пришел, — прошептал он в ответ. Хотел еще добавить — «Тоже скучал», но слова показались бездумной, ненужной шелухой, и вообще — непонятно, зачем слова, когда есть ее глаза — сияющие глаза — и губы, и щеки, и маленькие ладони...

И губы ее слаще меда, и ее пальцы запутываются в волосах, будто ночные бабочки, и нет ничего лучше, чем держать в объятиях маленькое, рыжее пламя, которое шепчет тебе ласково и призывно, и все даже лучше, чем в его снах, хотя чудовище все равно не может их видеть...

Несколько блаженных минут он был слеп и глух — слишком сосредоточен на том, чтобы дарить ласки, не причиняя боли, слишком погружен в медленные, сладкие ощущения — вот ее ладони скользят по груди, помогают развязать пояс, и девичья грудь доверчиво ложится под пальцы, и голова начинает кружиться от медового запаха ее волос.

Потом ударило ощущение чужого взгляда. И — почти одновременно — насмешливый голос:

— Вот, значит, как!

Тогда почти мгновенно оказался на ногах, дернулся за мечом...

Меч, выбитый из руки могучим ударом двузубца, воткнулся лезвием в землю.

Двузубец.

Фальшивый царек-Кронид.

Всё.

Облекаясь в хитон и встречаясь с торжествующим взглядом Жеребца, Танат уже знал — всё. Даже до того, как услышал:

— Значит, ты решил, что можешь бесчестить мою сестру, подземный?!

Бездарно дерется тот, кто не дерется до последнего.

— Я посвятаюсь к твоей сестре, — сказал Танат сквозь зубы. — Но разрешения спрошу не у тебя.

— А должен бы! — гневно громыхнул Жеребец. Он явился не в одиночестве — притащил свиту. Наверное, в одиночестве вряд ли посмел бы. — Ты посягнул на сестру своего царя! И понесешь за это кару.

И поднял двузубец, и Танат подумал с облегчением: если несколько ударов... ответить тем же, в подземном мире сочтут это просто боем...

— Не смей, младший!!

Гестия выросла между ними, одетая в обжигающее пламя. Гестия ли?! Флегетон во плоти! Огонь перебежал по волосам, струился с пальцев, горел в глазах. Не домашний огонь очагов — яростный жар.

Вспомнилось медленно, неохотно: Гестия лишь немного младше Климена, Посейдон для нее — и впрямь младший... А потом взметнулось в глазах Жеребца его вошедшее в пословицы неистовство — и Танату стало не до воспоминаний.

— Женщина! Поднимаешь на меня голос?!

Двузубец движется вниз — сейчас нанесет удар. Мелькают черные крылья — стрелой... почему стрелой?

Просто стрелой. Без лучника.

Стрела выбивает двузубец из руки Владыки.

В ответ на крылья Смерти валится сеть.

Тяжелая — наверное, ковал Гефест... или Циклопы. Кто набросил?

Кто угодно мог, почему-то кажется — братишка-Мом постарался.

— Не лезь! — еще успел крикнуть Танат Гестии, потому что еще миг — и Посейдон заковал бы в цепи сестру, и война с Олимпом началась бы гораздо раньше. Выпрямился, окруженный свитой Посейдона из младших титанов, божков, лапифов-прихлебателей.

Проклятая сетка настойчиво тянула крылья вниз, но непременно нужно было взглянуть в глаза Среднему Крониду.

— И что собираешься делать? Устроить суд? Обратиться за выкупом к моим родителям?

Железо стукнуло в грудь ровно, безнадежно: в глазах Жеребца пенилось злое, бесшабашное веселье.

— Суд — для насильника моей сестры? Много чести! В цепи его! Пусть на него посмотрят подземные — а потом уже разберусь по-своему.

— Ты не знаешь, что делаешь, Кронид. Я — сын Эреба и Ньюкты. Подземный мир не спустит тебе такого оскорбления.

Посейдон подошел поближе. Посмотрел с ухмылкой. Сказал почти что дружески:

— Ты ведь хотел увидеть, как в твоём мире появится царь? Увидишь.

— Ты подашь им повод к бунту!

Крик? Нет, горячечный шепот. И все равно — горячечный шепот? Исказившееся лицо?! У смерти?!

Простофиля — и тот удивился. Правда, ненадолго.

— Позаботься лучше не о моем троне, а о себе, Железносердный! Я уж как-нибудь справлюсь.

И к свите:

— Его — в подземелье моего нового дворца. Того, что в кольце Флегетона! Сестра, тебя

я на первый раз прощу. Возвращайся на Олимп.

Танат почти услышал отвратительный хруст, с которым Ананка повернула свою ось. Успел шепнуть еще Гестии — одними губами: «Предупреди...».

Всегда оставалась надежда на то, что Климен Криводушный хоть что-то понял за эти годы из пьяной болтовни Гипноса.

Гестия закусил губу. Кивнула. Кажется, прошептала что-то еще: Танат не рассмотрел, не прочитал по губам. Его рванули за руки, уводя за Посейдоном.

Память сохранила лишь росчерк пламенных волос да растерянное лицо с зацелованными губами.

Все остальное тонуло в темном прозрении, которое случается даже у чудовищ.

В волнующихся ратях подземного мира. В оглушающем радостным реве: «По-о-о-о-оздно!!!»

Повод был дан.

Восстание против выскочки-царя началось.

СКАЗАНИЕ 7. О СЫНОВЬЯХ, СВЕРГАЮЩИХ ОТЦОВ

А Время любит быть щедрым слишком,
Дарить свою милость и злобу многим.
Когда на войне умирали мальчишки —
Рождались боги...

Анастасия Порсева

— Милый... прошу...

Говорят — судьбы повторяются. Как сны или сказки. Старухи-Мойры, дочери Ананки-Судьбы, скуповаты и ленивы — вот и вписывают в свиток одно и то же разным смертным... богам...

Сын бьет отца в спину — и потом получает неумолимое «Тебя свергнет сын...» Девушку похищает кто-то на колеснице. Смертный вызывает бога на соревнования, и бог жестоко карает дерзкого. Вглядишься в полотно Судьбы — а там одни и те же рисунки, будто на надоевшей амфоре.

Этот рисунок я точно видел — только не могу вспомнить, где.

Черноволосый юноша держит в объятиях nereиду, и ее ладонь скользит по его лицу, и она все не может на него налюбоваться, и серебристые волосы текут на песок, смешиваясь с серебристой кровью...

И кажется — сейчас приоткроются побледневшие губы, долетит шепот: «Мне очень хотелось пить. Мне очень... почему-то...»

Но вместо этого долетает другое:

— Милый... найди его... скажи ему...

— Кто?!

— Найди своего отца...

— Кто сделал это?!

— Скажи ему...

«Было не так!» — хочется выкрикнуть туда, прямо в видение. Он слишком хрупок — нет ни усов, ни бороды, ни широких, ссутуленных плеч. Не проступает в черных глазах печать упрямства и власти: «Они подавятся каждым смешком» — глаза синие, и они проливаются слезами — бесполезной водой, признаком смертности и слабости...

Нет серых скал и озера с черной водой — поросший травой берег моря и пещера рядом. И серебристая кровь торопливо и живо сбегает в ручеек, и шепот nereиды тоже слишком торопится.

— Скажи, что я возвращаю... возвращаю...

Распахиваются бирюзовые глаза — пучина любви и восхищения. Голоса нет, а взгляд все не угасает — сияет изнутри ласковым светом. Юноша еще кричит что-то: «Мама! Погоди, мама!» — но пальцы, гладящие его щеку, ослабевают и опускаются, и доносится слабый — последний вздох, будто дальний плач кифары.

Тогда юноша тихо опускает nereиду на траву. Достает из воздуха кифару и медленно,

бездумно начинает перебирать струны. Он играет и плачет, сидя спиной к телу матери — и не слышит, как звуки кифары сплетаются и собираются вокруг тела, как серебристые волосы становятся серебристыми листьями, как встает позади него юное деревце — тополь. Юноша играет и не замечает, как листья тополя украшают его синие одежды, как летят в ручей — и тот несет их, баюкая, сперва к реке, а потом к любимому морю...

«Было не так», — хочется сказать мне, но я молчу. Потому что знаю: было так. Знаю и то, что было дальше. Когда из-за спины кифареда раздался голос:

— Вот Тартар, не успели, — и он вздрагивает так, будто ожидал услышать другое (а что? «Маленький Клименид...?»).

— По приказу Громовержца, конечно? — продолжает голос. — Ну да, неудивительно. После того, что он со своей женой сотворил...

И тогда кифаред вскакивает на ноги. Он не спрашивает ничего — только вышвыривает кифару в воздух.

И достает из воздуха лук.

И небо в отдалении содрогается, будто повторяется знакомая ему история.

— Аид!

Долго еще будет длиться этот день?! Вроде бы, и Гелиос загнал своих жеребцов в конюшни, а Нюкта что-то не торопится в небо. Засела, великая, во дворце — и вместо покрывала ночи над Олимпом распластались вялые, серые сумерки.

В самый раз — сметать с трона царей. Выковыривать их, будто моллюсков из раковины, из дворцов. Я, ко всему прочему, еще и чувствую себя — лишенным раковины моллюском. Решись сражаться — нет лука, решишь бежать — шлема нет, осталось гадать только — откуда удар придет?!

От сестрѐнки Гестии. Явилась в разодранном хитоне, вихрем пронеслась по коридору, отыскала меня даже в моем покое, где я старался осознать: что вообще делать без оружия?! И вывалила, запинаясь, вперемешку: Танат, Приап, Посейдон... И всё тянула меня за гиматий — скорее, скорее! — умоляла бежать, помочь...

Среди слѐз и прерывистого шѐпота решительно неясно было — кто на кого покушался, кто кому чего отсѐк и кто кого куда уволок, так что я меньше слушал и больше вглядывался в отчаянно полыхающие глаза сестры.

Приап — этому вообще повезло. Я бы за сестру ему все конечности поотрубал и в Тартар бы забросил. Пусть благодарит свою Ананку. И Таната.

Танат и Гестия... не стой я над пропастью — порадовался бы. К этому все и шло — не зря же шептались, что Жестокосердный отирается у костров сестры. Посвататься обещал, надо же. Чуть ли не первая хорошая новость за день — тут и возможность породниться с Эребом и Нюктой, укрепить узы подземного мира и Олимпа... воя, конечно, будет — до небес: олимпийку за подземное чудовище! Но ведь всегда же можно наврать: она резвилась на лужайке, а он явился на колеснице или на крыльях...

А вот чего Жеребца понесло заступаться за честь сестры — решительно непонятно. То есть, понятно, что Железносердный рано или поздно все равно сцепился бы с Посейдоном. У кого хочешь спроси — скажут, что у Убийцы неуступчивый характер. Гипнос еще рассказывал, что Посейдон гневается на бога смерти — тот не является на пиры и вообще новоявленного Владыку в грош не ставит. Но я-то считал, что у Жеребца хватит мозгов явиться к Танату лично, устроить драку и на этом угомониться. А тут полез, понимаешь, при свите, с сеткой и громкими высказываниями... как-то это уж слишком тонко для Посейдона

— или он и впрямь там поумнел, в подземном мире? Опять же, непонятно — почему он не расправился с Танатом на месте...

«Пусть на него посмотрят подземные — а там я разберусь с ним по-своему!»

Не взял ли ты в любовницы Лиссу-безумие, брат? Да, подземные не слишком любят Железнокрылого (покажите мне того, кто его любит, кроме Гестии). Но неужто ты думаешь — они будут почтительно созерцать, как ты тащишь одного из них в цепях? Через весь мир?

Послушал бы ты лучше — что говорит тебе этот один из них.

— *Ты подашь им повод к бунту!*

Наверное, я разучился смотреть. Или, может, Гестия не то вспоминает. Потому что мне кажется, что там, в ее глазах — у Смерти исказилось лицо... Что не так с этим бунтом, Танат-Убийца, несостоявшийся жених моей сестры? О чем ты радеешь — о том, что рати подземного мира сметут выскочку-Кронида? О том, что потом вмешаюсь я, и начнется война между мирами?

Она не начнется. Выскочка-Кронид сослан сюда в наказание, все знают об этом. Я не вступлюсь за брата. Неужели тебя страшит — что одинокий Кронид сможет подчинить себе мир? Сильно сомневаюсь.

Чем же можно испугать Смерть? Почему Великая Нюкта так настойчиво предлагала Крониду воцариться в подземном мире?

Почему Геката как-то отравила отца — Гипнос под хмельком рассказывал, что там тоже был бунт. Скользко упоминал, неопределённо, прятал глаза: «А потом, стало быть, Перс пошел просить совета... у отца да. Ну, рати, понимаешь, Керы в воздухе носятся, Харон какое-то весло ухватил, хотя откуда у него, спрашивается, весло?! А потом? Что потом... ну, пошел, вышел... тут Геката его и отравила и в Тартар запихала — она на такие дела быстрая».

Раньше, значит, отравить не могла, а сходил к Эребу — и родного папаши не жалко... показалось вдруг — держу за хвост мысль. А она извивается гидрой, норовит выскользнуть из пальцев, шипя, в болото уползти...

Гестия дергает за гиматий — давай же, давай! Прикажи брату, прикажи его свите, освободи пленника...

Предчувствие катастрофы, острое и опасное — упало на плечи быстрее, чем покрывало Нюкты на небо. Дернулась рука — надеть бы шлем, прогуляться, посмотреть — что там... Опустилась.

Танату Жестокосердному придётся надеяться на себя. И на рати своего мира. Если он вообще умеет надеяться.

— Ты... скажешь Посейдону? Да?

— Я пошлю к нему вестника. Отдам приказ отпустить Таната. Ссора с подземным миром не нужна ни брату, ни мне.

Пламя в глазах Гестии полыхнуло в последний раз, с надеждой — и потухло, придавленное тоской. Владычьим ответом.

Не смотри на меня так, сестрёнка. Я не мог дать другого. Пусть мое владычество кануло в Тартар, и еще на склоне Парнаса я сказал Ананке: я не Владыка... Понимаешь, сестра меня тут вроде как должны свергнуть. Пусть — не Арес, который решил наплевать на пророчества и предпочел скитаться в обществе Афины на краю света... Но кто-то должен. Моя Ананка дует мне в затылок холодом и молчит презрительно, и я знаю, чем закончится этот бесконечный день.

Я не могу оставить мою вотчину сейчас, когда золото моего трона трясется и колеблется — вот-вот обернется обманкой.

И даже если бы я мог — соваться в подземелья только с жезлом, не зная, что там...

Прости, сестра.

Гестия шмыгнула носом и отпустила мой гиматий. Может, рассмотрела в глазах что-то лишнее.

— Дело не только в Танате, — сказала шепотом. — Он просил тебя предупредить. Как будто там начинается... страшное. Аид... прошу...

— Я сделаю, что могу.

Слова упали — просыпалась сбрызнутая бессилием шелуха. Сестра опустила руки так, будто понимала — не могу я ничего.

К Гестии я приставил Геру. Та кусала губы и, видно, желала пойти поискать своего кифареда, но спорить не посмела: отправилась утешать сестру, отпаивать нектаром и оберегать от необдуманных поступков. Все же кровь Кронида, кто там знает, что выкинет.

Гермеса я в подземелья действительно послал — с приказом для Посейдона и наказом присмотреться как следует: что там творится, в подземном мире. Племянничек явился назад скоро. Невинно развел руками:

— Понимаешь, Владыка, я и внутрь-то попасть не сумел. Входы там закрылись, что ли. Я уж и к тому, который у мыса Тэнар, летал, и к Колоннскому, и на край света, не поленился...

Когда успел только.

— ...вот, разве что у истоков Стикса не был, да только кто туда в здравом уме сунется?! То есть, дядюшка — если ты прикажешь...

Страх в голосе — скользнул змейкой. Вдруг — прикажет? Взглядом — куда угодно, только не в глаза дядюшки, а то увидит, всезнающий... Махнул рукой — чего там смотреть. И без того ясно, что вход закрыт. Может, и выход тоже.

Сна не было ни в одном глазу. Было — вязкое ощущение: начнется, начнется... И непонятно — что там начнется и что с этим делать. Ставить охрану вокруг Олимпа? Предупреждать Зевса? Убирать с Олимпа Геру, Афродиту и остальных женщин — чтобы и в них не попало? Что?!

...ждать, невидимка, что тебе еще остается. Как тогда, на Крите, в детстве. Только тогда ждал — когда ты... Теперь вот — когда тебя.

И как никогда велико искушение махнуть рукой на все, подмигнуть доставучему золоту трона, вернуться на Крит, место первой учебы. Сказать: что хотите, то и делайте. Я вот Аид-невидимка, так что не знаю — откуда вы тут хотите меня свергать. Хотите — сяду на задницу, да с холма съеду, а откуда тут еще свергаться можно — вот уж понятия не имею.

Только вот что-то подсказывает мне: можно уйти с Олимпа, нарядиться в рубище и оставить трон. Можно — укрыться в пещере на Крите, на Лесбосе, на краю земли. И все равно владычество потащится за тобой, неумолимое и неотступное. Пока тебя не победят.

И тогда все закончится.

Во дворце вон — уже тихо, хотя Олимп ведь всегда полон света и радушия. А тут и нимфы затаились по каким-то углам. И стража затихла. Вообще никто голоса не поднимает, будто сговорились все: запрятаться и подождать. Что-то сделает Владыка? Куда пойдет в предрассветной тьме?

На острый уступ, куда ведет дверца из тронного зала. Нависающий над пустотой уступ,

так что стоишь на краю, а вокруг — с трех сторон бездна, и идти некуда. Самое время встать, взглядеться сперва вниз... сколько там падать с Олимпа? Потом устремить взор вдаль. И стоять, полной грудью вдыхая ночной воздух, вглядываясь в серое небо — где твое покрывало, Нюкта? Пытаясь расслышать — вдруг что-то подскажет та, которая за плечами, вдруг окликнет бабуля-Хтония, вдруг будет хоть какой-то знак, который разорвет бессильное ожидание над пропастью...

Стоять. Дышать. Слушать.

Пока в тебя не врежется невесть откуда взявшаяся белая молния.

Не отбросит тебя от края, завоняв при этом окрестности маковым раствором.

И не выдохнет сдавленно тебе в ухо:

— Началось, Кронид... Началось.

* * *

Со стороны казалось — Гипнос, сын Нюкты, был отчаянно пьян. Всхлипывал, заикался, стучал зубами. В мой гиматий вцепился намертво — даже когда я его уже сдвинул с себя. Нес околесицу о Гекате, своей чаше и своем брате и дико хихикал.

Волосы у бога сна были растрепаны, крылья испачканы черной дрянью, щеки исцарапаны, глаза — безумны.

— Говори, — шепнул я. Тряхнул как следует, повторил: — Говори же!

И добился только того, что белокрылый икнул, прошептал: «Там... ждут тебя...» — и обмяк. Тут только я заметил, что хитон и крылья бога сна намокли от ихора. Пришлось волочить через тронный зал — самому, перекинув руку Гипноса через плечо и путаясь в крыльях. Хорошо еще — в коридоре тут же откуда-то взялась Гестия. Небось, караулила меня — не приму ли решение?

— Он весь изранен! — прошептала испуганно. Потом принялась помогать: дотащить до ближайшей спальни, промыть раны, омыть ихором и амброзией, где-то еще целебная мазь от Пэона была, для Ареса составлял, Арес ведь вечно после стычек с Афиной... то есть, ой.

Белокрылый приходил в себя медленно. Только вот смотрел через ресницы мутно, будто засыпая: ну, ясно же, бог сна.

А может, там и не сон. Вон, Гестия раны промокает на плечах и груди у близнеца смерти. Глубокие, явно когтями. Шепчет, прижимая к ранам ткань: «Кто такое мог...»

— Керы, — выдавил вдруг бог сна. Губами зашевелил — в мучительной попытке вспомнить. — Керы... сестренки. Они закрыли... путь вверх. Геката сказала — лети... я рванул... а они, значит...

Поморгал немного и заключил под нос торжественно:

— Сволочи.

— А что с Танатом? — тихонько спросила Гестия. Покосилась при этом на меня: не разгневется брат-Владыка? Не разгневется.

Такие вопросы целебнее любого нектара: вон, белокрылый глаза не просто раскрыл, но и вылупил. Хлоп-хлоп.

— С Чернокрылом?! То есть, ну, а что с ним может... В темнице. В цепях... — чутко поймал испуганный вздох Гестии и добавил, сияясь изобразить улыбочку: — Этот-то еще лучше всех, в общем. Вот остальные...

Я кивнул сестре на дверь — и она не посмела спорить. Оставила нас с белокрылым

наедине.

Мой приказ говорить он понял без слов.

— Началось еще вечером. С пира у Посейдона: пир был... как обычно пир. Потом явился братишка-Мом, о чем-то с Посейдоном побеседовал. Тот как грохнет: «Ах так!» — и прямо из дворца выскочил, наверное, туда, где колесница... Еще кого-то с собой прихватил из своей свиты — вот уж не знаю, кого. Ну, а нам только и осталось гадать — куда это он понесся. Сплетни, сам понимаешь... пиры.

Понимаю. Особенно про пиры. Хмель из бога сна выветрился не окончательно — физиономия серая, а винные нотки так и просачиваются сквозь аромат нектара.

— Ну, а потом уже стало ясно, что это он — за Чернокрылом. Что-то там из-за сестры — ну, из-за Гестии. Слушай, Кронид, а Чернокрыл что — правда...? Вот я его так даже зауважать рискую — нет, ну кто бы мог подумать...

...Скованная фигура на колеснице. Серый короткий хитон — будто пастушок на прогулку выбрался. Волосы мертво текут на плечи. Крылья в сетях. Руки в цепях. Статуя — не фигура: говорят, есть на краю земли такое чудовище — Медуза Горгона, взглядом в камень превращает. Не встретился ли ты с ней глазами, Танат Жестокосердный? Тебя можно принять за изваяние даже в глазах твоего близнеца, куда я сейчас жадно заглядываю (слова — шелуха, так ведь?!).

Впрочем, нет. Это Медуза бы обратилась в камень, если бы встретила с тобой взглядом. Что в нем? Вряд ли твой брат смотрел тебе в глаза — но я все равно вижу, даже отсюда.

Обреченность. Ты не смотришь на дорогу, по которой тебя везут. Не смотришь на огненные притоки Флегетона, змеями сползающиеся посмотреть на твой позор. Тебе не интересны жильцы Стигийских болот, божки подземного мира, нимфы Коцита — те, что молчаливо стоят по обочинам дорог. Твой пленитель, который гордо воздвигся на идущей впереди колеснице, тебя волнует меньше всего.

Так, будто ты знаешь, что его уже нет.

Будто в тяжком молчании подземных жильцов, грозном рокоте из-под земли, улавливаешь мерное: «Будет, будет, будет...»

— ...то есть, сперва я думал, что то ли вино какое-то не такое, то ли Геката с зельями чудит... чтобы Чернокрыла — в цепи! Да и откуда у него такие цепи?! Хотя, может, загодя готовил или у Циклопов попросил... В общем, уже тогда ясно стало — был царь да весь вышел.

Ясно. Ясно даже для Жеребца — я вижу твоими глазами, бог сна... я вижу, как вздрагивает спина того, кто, кажется, должен бы торжествовать. Как он невольно ускоряет и ускоряет бег своей квадриги. Как бросает мимолетные взгляды на свод подземного мира — будто свод скоро свалится ему на головы.

Посейдон все же не так глуп. Жаль только — сначала делает, потом думает. Вот и сейчас — медленно, прямо на ходу понимает, что именно сделал. Осознает, что подземные молчат неспроста.

«Ты дашь им повод к бунту!»

В глазах Гипноса мелькают теперь — оскаленные Керы, гневные Эринии, кривляющийся Мом: «Отомстим за сына Нюкты!»... бледный, будто высеченный из мрамора, профиль Гекаты — два призрачных тела зажмурили глаза.

— ...одно удивляюсь — как они еще до дворца доехать успели. Там... Харон с богами

сперва начали, потом великаны, потом стигийские подтянулись. Такое началось! Свиту Посейдона, которая была в его дворце — почти что сразу... кто-то все орал еще — в Тартар, в Тартар... А какой Тартар, когда в Тартаре орут... Во дворец лезут со всех сторон, брат твой двузубцем лупит, повсюду — кровища, гарь, земля содрогается... В общем, мы уж думали — всё...

Что ты же ты давишься воздухом, белокрылый? Вот, выпей нектара. Мы с тобой давние знакомые — ты даже полагаешь, что друзья. Но я знаю тебя. Знаю, что с легкокрылости тебя бы не сшибли — ни крики, ни тела, ни бушующие великаны, не распаленные жаждой кровью стигийские...

Что же теперь ты сделался под цвет крыльев?

— Дальше.

— Геката было говорила — закрыть дорогу... только все кинулись выходы закрывать — если он вдруг на Олимп бы... тебе, значит, пожаловаться. А он — нет...

Да. Брат горд. Он не пошел бы жаловаться на бунт подчиненных тому, кто сослал его в подземный мир. Не пошел бы к Зевсу, с которым они соперники... И значит — он отправился за помощью не на поверхность.

Куда?

К бархатно-синему дворцу на окраине мира. К стрельчатому чертогу, изукрашенному по стенам драгоценными камнями. Там, где покоится прохладное покрывало, которое почему-то не торопится сегодня в небо.

Где покоится не только оно.

— Главное — кто ж знал, что проскочит... дворец окружили, а он...

Значит — плохо окружали. Или кто-то услужливый подсказал Посейдону. Как пройти мимо подземной охраны. Как добраться до дворца Нюкты.

— Он?

— Вошел.

— И?

— И вышел.

Все. Закрыв белокрылый глаза. Только дрожит мелкой дрожью, а губы — губы дергаются. Пляской пляшут, как пьяные сатиры: ни слова не вымолвить. Да и вообще, все ведь сказано: вошел. И вышел.

Понятно, что Посейдон вошел — а что оттуда вышло?!

Ты не говори, белокрылый, я вижу, что ты не можешь. Приказ, сильнее моих приказов, что-то древнее, с самого рождения, в крови... Но ведь смотреть-то тебе не запрещали, а? Открой глаза, Гипнос. Смотри. Вспоминай.

— Не... не заставляй...

Во взгляде — осколки. Отчаянные, острые, перемешанные между собой. Мелькают, будто картинки на расколоченной мозаике: вот Посейдон влетает в двери дворца Нюкты, вот преследователи — стигийские... замерли в недоумении, ворчат и режут... Потом открывается дверь — и выходит...

Не знаю, кто выходит. Не вижу — кто. Не брат. Не Посейдон.

Взгляд, изгиб губ, властительная посадка головы, неторопливый шаг... Впился в глаза белокрылого пристальнее, нагнулся, пытаюсь рассмотреть... Кто? Как?!

— К-к-к-к-кронид!!!

Гипноса нешуточно колотило, пальцы терзали простыни, лицо искажено мукой.

Вглядишься я, посмотри дальше — и все, поздороваешься бог сна со своей сестрицей-безумием.

Я отвел взгляд, и Гипнос тут же зажмурился. Дышал с присвистом, со всхлипами — пока я сидел и пытался собрать — раздробленную мозаику, картинку с амфоры...

Дворец Нюкты — не только ее дворец. Там есть еще один жилец — который может приказывать своим детям. По слухам, может приказывать вообще всем в подземном мире — потому что он создал этот мир. Вот только, если подумать, Первомрак на глаза никому столетиями не показывался — спит, говорят, у себя в комнате. Лежебока.

А может ли показаться тот, кому нужно тело?

Мысль скользнула — узкая, слизкая. Шустрый червячок. Ее птицей догнала и пожрала вторая — цари... сколько царей было в подземном мире?

— Сколько царей было в подземном мире? — спросил я вслух.

Бог сна, не открывая глаз, кивнул — мол, хорошо размышляешь. Ты у нас вездесущий, ты и скажи.

Я слышал о Персе, отце Гекаты. Слышал про одного из сыновей Япета. Слышал даже, что сам Крон хотел поставить там своего наместника, да что-то не задалось. Перса вот отравила любящая дочь — и история похожа, там тоже был бунт...

Кого же ты на самом деле травила, Трехтелая?!

Спасибо, Великая Нюкта. Век не забуду за твою доброту — хороший же подарочек вы нам подсунули! Усадить на трон подземного мира Кронида — бога, новую силу, новое... тело. Дождаться, пока царь освоится и пока к нему привыкнет непокорный мир. Подбросить предлог для бунта — чтобы царь сам побежал к вам просить о помощи... Что было дальше? Вы уговорили его принять мощь Эреба? Солгали, что это сделает его всесильным? Или и уговаривать не пришлось? Посейдон бы на многое пошел — чтобы только доказать, что чего-то стоит.

Не знаю, что там было — дальше. С бунтовщиками. Но судя по тому, как трясется белокрылый — Посейдон (Эреб?) все же доказал — кто здесь Владыка подземного мира.

Не думаю, что вольный мир ждет от своего Владыки что-то хорошее. Иначе Геката не лишила бы Эреба тела в прошлый раз.

— Геката... сказала — лети... Просить... тебя. Только тебя...

В глазах у близнеца смерти теперь — мутное. Алые искривленные губы богини колдовства: «Ты должен успеть на Олимп», стремительный росчерк крыльев, какие-то тела, душная, смыкающаяся под сводами тьма, визжащие Керы...

— Почему я? Кто знает — есть ли у меня силы справиться с Великим Эребом.

— Она сказала — у тебя есть право.

Право. Я поставил Посейдона в подземном мире. Не выделив ему равную часть — поставил как наместника, и значит — мог бы претендовать...

На что? Скоро у меня и Олимпа-то не будет.

— Нет, — сказал я, вставая. — Я не могу пойти.

Белокрылый дернулся было — опять упал на ложе. Прошептал, что я не знаю, чем кончится. Еще что-то бормотал. Я махнул ему — отдыхай уже... вестник. Говорят, смертные за такие новости голову сносят. Прости, белокрылый — не могу же я тебе сказать, что мне попросту не с чем идти спасать твой мир. Шлема нет, лука нет... может, послать к Зевсу, одолжить трезубец?

Будет трудно. Потому что и трезубца у Зевса тоже нет.

— Ты был прав, брат, — сипло сказал он, выходя на свет в коридоре. Младший. Лицо

спокойное, волосы мокры от морской воды. Прижимает руку к боку — прячет рану.

Полыхнул подземный мир? Ну, конечно, и подводный не отстанет.

Жаль — Гестия опять нырнула в покой к Гипносу — расспрашивать, как там Танат.

— Постой. Сейчас позову Геру или служанок — нектар...

— Не нужно.

Голос ровный, губы кривятся в улыбке — улыбке проигравшего. Понявшего то, что понял я: сегодня заканчивается век Кронидов.

— Чаша нектара — большего не нужно. Да и вообще ничего не нужно, брат... можем не успеть. Скажи, есть у тебя покой для того, чтобы выслушивать дурные вести?

Ближайшим покоем оказался — тронный, как в насмешку. Впрочем, для дурных вестей разве не он подходит лучше всего? Зевс уселся на серебряную скамью — я встал около своего трона.

И родное золото не потеплело — настороженно затаилось под пальцами.

— Где твой шлем, брат?

Стрелу моего ответного взгляда Зевс встретил хриплым смехом.

— Ну, конечно, я знаю, что он у тебя есть. Узнал через слуг... подсылал шпионов. Всегда нужно знать, что делает родня, так? Особенно если вдруг собираешься занять чье-то место. Скажи, брат, не водишь ли ты дружбы со старухами-Мойрами — не они ли насмеваются над нами теперь?

Нет, я только был дружен с Ананкой-судьбой, которая любила поговорить со мной из-за плеч, а теперь вот махнула на меня рукой. Но эта истина не про тебя, брат.

— А ты не водишь ли дружбу с Лиссой-безумием? Ты хотел меня свергнуть — и признаешься в этом?

Младший пожал плечами, как бы говоря: «Да сам себе удивляюсь».

— Только не говори мне, что ты не знал об этом... о вездесущий. И не говори, что собирался меня покарать — тебя опередили старухи-Мойры. Я угодил в собственную ловушку, а ты был прав... Так где твой шлем?

— Хочешь — я задам тебе тот же вопрос? — сказал я, и золото трона похолодело от моего голоса. — Где твой трезубец?

Брат криво усмехнулся, развел руками. Пробормотал:

— Может, мне стоило прислушаться... к Аиду Мудрому. Примириться с ним, назначить выкуп, найти чудовище...

— Аполлон, — подсказал я. Твое «с ним» имеет имя, брат. Это у тебя на боку рана от стрелы — благо, задела вскользь?

Ну, кто ж знал, что мальчишка таким шустрым окажется.

— Думаю, Гермес с ним. У мальчика хорошо получается красть, знаешь. Припоминаю, что как-то в шутку он украл копье у Афины, меч у Ареса...

А теперь вот, значит, разжился трезубцем, да, брат? И моим шлемом — наверняка тоже (ах, племянник, скотина, как невовремя!). Вот только вряд ли они это провернули вдвоем, да, брат? Кто еще с ними?

— Тритон, — Зевс только головой мотнул в ответ на мое хмыканье. Мол, что ж ты брат, такое рожает, вон, третий уже в заговоре. — Главк — тоже из морских. Помнишь — говорил тебе: не хочет подчиняться... Кой и Лелантос — из титанов. Может, есть и другие. Мне хватило, брат.

В глазах у младшего можно заблудиться. Слишком много неба для Владыки Морского: в

нем теряешься, будто впервые полетевшая птица. И все же видно: растерянные слуги мечутся по дворцу... рука ищет трезубец... падает заздравная чаша, визжит какая-то нимфа... с любовницей подловили, брат? Ну, как неловко вышло.

— Я принял бы бой — ты знаешь, я не привык отступать... Вот только ты был прав. Мой сын — лучник. Почему мы забыли, как опасны могут быть стрелы сыновей?

И потрогал бок, на котором уже начал подсыхать иxor. Я передернул плечами — отозвалось неизбежное, вязкое «Тебя свергнет сын, сын, сын...»

Может, ты и забыл, Зевс. Я помнил.

— Особенно когда они летят из невидимости... Да, брат. Я сбежал. Покрывл себя позором, оставил царство. Не хотелось в Тартар — кажется, туда сыновья отправляют свергнутых отцов? Говорят — в бегстве нет постыдного, когда оно — разумно. Мое было разумным: я отступил, чтобы попробовать вернуться. Собрать войско... может, даже обратиться к Посейдону... Но еще я хотел предупредить тебя. О том, что теперь...

Глаза чище неба, яснее колесницы Гелиоса. Блики золота играют в волосах. Теперь они придут за тобой — это ты хочешь мне сказать? Потому что знают, что ко мне ты обратишься в первую очередь? Потому что Аполлон оскорбил моего сына — и собирается нанести удар первым, и еще не знает, что Арес выбрал изгнание? Потому что, если уж начали — нужно продолжать?

— Трогательная забота.

Трогательная забота, брат... Без тебя я никак бы не догадался об этом. И можешь не прятать за ресницами истину. О том, что если бы ты вдруг успел свергнуть меня — под твоей рукой оказались бы все силы Олимпа. Ты смог бы воевать с сыновьями более чем на равных...

Смешок Зевса прозвучал — одиноко и мертво.

— Подозреваешь, что я собирался тебя свергнуть, так, брат? Я собирался. У меня даже было оружие — один ученик Прометея, который, может быть, знаком тебе. Сын nereиды... неважно, как ее звали, она уже на пути в подземный мир. Я думал, что расскажу мальчишке о твоей расправе над женой — и подтолкну его этим. Но кто-то придумал лучше. Теперь мальчишка жаждет мести, и скоро — слышишь, брат, скоро... Ты хочешь узнать — зачем я здесь? Предложить тебе союз. Не знаю, что стало с твоим луком, но я не вижу его при тебе... значит, мы безоружны — оба. И нас могут свергнуть — обоих. Но мощь Олимпа — это мощь Олимпа. Если ты созовешь войска... я смогу подтянуть морских, которые мне еще верны... Мы протянем время, обратимся к Циклопам — нам нужно новое оружие. Можем даже обратиться к Посейдону, пообещать брату освободить его от изгнания, заключить сделку... почему ты смеешься, брат?!

На тебя приятно смотреть, Зевс Морской. Глаза полыхнули воинственным светом, сжалась ладонь в кулак, так и сыплешь идеи — полной горстью. Полководцем бы тебе быть — да только войны нет, как назло...

Обидно — что и не будет.

Потому что я смеюсь тихим, едким, невладыческим смехом, начиная прозревать — будто сняли повязку с глаз. Будто явились тайные нити судьбы каждого участника этого заговора — уходящие не наверх, к Мойрам, а вниз.

Я смеюсь, потому что начинаю понимать. Потому что уже понял то, что ты невольно высказал еще до того, как мы вошли в этот зал — «Можем не успеть».

Потому что...

— Поздно.

В груди глухо бухает «Будет! Будет! Будет!»

И тогда, взявшись из ниоткуда, от подножия Олимпа сердцу вторит кифара.

* * *

Юноша шел на Олимп. Один — на царственную гору. Неспешным, усталым шагом — так идут туда, где тебя уже давно ждут.

Юноша шел, и рядом с ним шла музыка.

Сперва робко вздохнула. Окликнула пронзительно и вкрадчиво — можно? Потом поняла, что можно — и пролилась смелее, захлестнула первой, нежной волной прилива, потом плеснула второй, рассыпалась дробными брызгами-звуками, разлилась шире моря — и потопила в песне Олимп.

Юноша шел, расправив плечи — одинокий кифаред, которого я не должен был видеть, но видел. И синий гиматий плескал по ветру — откромсанный от моря лоскут, и по ветру вились черные кудри, и пальцы порхали над струнами кифары. Глаза были сухими и покрасневшими от чего-то — то ли от морской соли, то ли от слез.

Юноша шел по тропе, не замечая ее — и тропа льстиво юлила и норовила распластаться поудобнее. Горный путь, по которому не пройти смертному и на котором кентавр сломает себе ноги — выпрямлялся и подкатывался под истертые сандалии, и камни ласкались к ногам юноши хозяйскими псами — покорные сладкой песне.

Ты — море, — шептали камни в такт. Мы — скалы. Ты не представляешь, как мы скучали без тебя... какое счастье — нести тебя на себе. Спой же нам, спой нам...

Юноша кивал на ходу камням тропы, как старым знакомым. И кифара пела — о шуме моря и о веселых волнах — ласковой влагой проливаясь на каменистые ребра Олимпа.

Юноша шел на Олимп просто и спокойно, не скрываясь и не таясь. Не оглядываясь и не опасаясь удара в спину — неотвратимо, как море наступает на сушу во время наводнения. Не играя — выплетая музыку, свивая ее из своего дыхания, из сердца, из всего себя — и отправляя вперед...

Птицей — с руки. Солнечными лучами. Морским легким ветерком — вперед.

Музыка шла впереди — его глашатаем, и ворота Олимпа открылись перед ним сами, распахнули тяжкие золотые створки: заходи, только не прекращай петь.

Замерли нимфы, хариты, наяды возле дворцов — очарованные звуками. Протянули руки, шепча: «Не останавливайся, только не останавливайся...»

Юноша кивал, словно слыша знакомую мелодию. И шел вперед — как тот, кто не собирается останавливаться. И из-под пальцев его лилась музыка — неостановимая, неумолимая. Просочилась во все щели, змеей вползла во все углы, в неистовстве омыла стены царского дворца и заструилась внутрь.

Коснулась меня — и я понял, что выбирать больше не могу. И сбежать не успею. Потому что юный кифаред идет по Олимпу — и мое царство склоняется ему под ноги: нимфы осыпают его цветами, божки кричат ему хвалу, и даже лошади в конюшнях заливаются ржанием — и они рады, что он здесь...

И что меня здесь скоро не будет.

Зевс взлетел было с лавки, на которой сидел, подхватился: действовать! Быстрее, брат! Стек обратно, будто связанный, не в силах противиться мелодии.

Мелодия жила, зачаровывала, дарила мечту о тихих бухтах, наполненных хрустальной водой. О песнях и хороводах nereid, о покое... покое... покое... — и желающие покоя прямо сейчас начали опускаться на землю и засыпать, стражники оставили свои посты и вытянулись на траве, мечтательно глядя в небо, где им мерещились пенные барашки волн...

И дворец затих, покорный музыке, отзвуки которой вплыли в коридоры. Так, будто стены хотели напитаться мелодией и сохранить ее в себе на века. Так, будто им — предательницам! — не было достаточно застольных песен на пирах у Громовержца.

Дворец распахнулся перед юным кифаредом доверчиво и радостно. Слуги встретили со слезами на глазах. Двери открылись сами собой, коридоры вывели куда надо.

И золото трона отвернулось от меня, едва он сделал первый шаг через порог. Обожгло холодом. Вцепилось в руки, в спину — клыками пса, который предал хозяина.

Я поднялся ему навстречу. Отшвырнул ненужный скипетр. И стоял — чужак в собственной вотчине, царь, у которого не осталось царства, потому что оно само легло под ноги другому.

Кифаред Ифит стоял напротив — и вокруг него, колыхаясь, погасали последние отзвуки его мелодии. Гневные отзвуки — о жене, которую супруг подверг жестокой каре. О серебристом тополе, роняющем листву в ручеек. О шепоте — листвы? Ручейка? Нет, другом шепоте: «Найди его... скажи ему...» Скажи ему — что?!

Очень может быть, что увидеть этого я уже не успею. Потому что струны кифары слились в объятии — и стали тетивой. Потому что сама кифара раздалась в длину и выгнулась в руках юноши трепетным луком.

Кажется — вот, совется стрела из воздуха. Из песни. Ляжет на тетиву, оперенная музыкой. Пронзит — насквозь.

Кажется — юноша стоит на холме, глядя в глаза старому тирану. И вместо синего гиматия — леопардовая шкура, и рядом выступает коза, и с губ готово сорваться давнее:

— Ты хотел меня видеть...

Радуйся, мое пророчество, мы наконец-то встретились. Радуйся, Судьба — ты наконец нагнала меня. Наверное, я был скверным любимчиком — поищи себе теперь других. Радуйся и ты, Ифит, сын nereidy Левки. Жаль, я не знаю, что сказать тебе — помимо приветствия.

— Не смей!!

Ни я, ни он (ни тем более — застывший на скамье Зевс) не заметили, когда она вошла — или как она возникла. Опомнились только когда она оказалась между нами. И эхом отозвалась память. Шепнула: где ты это видел, Аид-невидика? Двое — отец и сын — застыли друг напротив друга, готовы сцепиться. Стоит между ними мать — загоразживая... отца? Сына?!

Нет, не то. Младенец лежит в колыбельке. Заходит отец — и мать целится в него из лука, шепча дрожащими губами: «Аид, я не позволю...»

— Я не позволю, — шепнула Гера. Прическа у нее растрепалась и спуталась. — Я не позволю, Ифит.

Руки ее в этот раз не дрожали, и стрела, наведенная в сердце юному кифареду, твердо лежала на тетиве.

Странно чувствовать себя младенцем в колыбельке. Одно хорошо — я сейчас не вижу ее лица. Лица лучницы. Богини домашнего очага, сделавшей свой выбор.

Не знаю, как ты, сын Левки, а я бы, наверное, от такого зажмурился.

Но он только задохнулся. Вздохнул длинными ресницами — и из-под век ударило

отчаянное «Как?! Зачем ты защищаешь его? Я же здесь ради тебя, вот, спасти тебя пришел, да я за тебя...»

Ох уж эти богини. И спасти-то спокойно их нельзя. И судьбу свою принять мешают.

— Отойди в сторону, — сказал я. В ответ Гера только цыкнула на все еще (или уже нет?!) Владыку Олимпа. Мол, а ты вообще не мешай. Не с тобой разговариваю.

Взывать к Гере я больше не пытался — зато попытался воззвать к разуму ее возлюбленного.

— Опустит лук, герой. Иначе вы так и будете целиться друг в друга. Она не отступит — ты уж мне поверь.

Разума в Ифите оказалось примерно столько же, сколько в разъяренной супруге — и упрямства не меньше. Сузил синие глаза, выбросил сквозь зубы:

— Скрываешься за плечами жены, Криводушный?

Интересно бы знать — а что мне делать? Отодвинуть Геру с дороги? Подножку ей дать? По затылку стукнуть скипетром, чтобы исполнению пророчеств не мешала?

Шагнул вперед — так, чтобы стать сбоку от Геры. Взглянул наконец на это во всей красе: двое упрямцев со слезами на глазах целятся друг в друга.

Положил ладонь на ее стрелу. Нажал — опускает.

Хватит.

Хватит, Гера. Я слышу — чего тебе это стоило. Вижу искусанные губы и непреклонную решимость в глазах. И понимаю, что другого выбора ты сделать не могла. Долг прежде всего, очаг прежде всего...

Впрочем, нет. Ты могла не вмешиваться, но выбрала — драться против того, кого любишь.

Только вот хватит. Ты пыталась заслонить нашего сына от его судьбы. Теперь вот пытаешься меня. Оставь, Гера. Мы с Ананкой давние знакомые.

Посмотри лучше на своего возлюбленного — у него такое лицо, будто ты уже выстрелила. Свив стрелу из предательства.

— Он бичевал тебя — и ты готова... за него?!

— Не стреляй, — попросила она шепотом.

— Он убил мою мать. По его приказу...

— Нет, — сказал я.

Прощай, Левка. Не знаю — почему ты решила от меня скрыть. Может, твой отец, вещий старец Нерей, рассказал тебе о Клейме Кронида — и ты поняла, кем суждено стать твоему сыну.

Твоему сыну, который смотрит на меня гневной морской синевой: мне ли верить тебе, о Криводушный?

Пальцы которого легко отпускают тетиву.

Вскрик Геры. Блик легкой, серебряной стрелки в воздухе. Теплый металл щекочет щеку и пахнет морем.

Потом улетает куда-то за спину и звенит там о золото трона. А юнец-кифаред опускает лук, и тот звенит как кифара — погребальной песней.

«Прости, мама, я не смог. Не смог — потому что она попросила меня. Не смог — потому что он безоружен. Я не верю ему, я слышал о его коварстве — и у меня был шанс... но все-таки я не смог».

— Ты не смог, — сказал Сребролукий.

Почти добродушно и только слегка укоризненно. Милостивым, владыческим тоном.

Троица заговорщиков явилась из-за спины кифареда точно из воздуха. Три брата: один — со светлой мечтательной улыбкой поэта, второй стоит — угрюмо уставился в пол. Это Тритон, конечно. Гермес вон старается вообще не показываться — не думал летун, что до такого дойдет. Шалости, проказы — ладно, а тут вдруг отца свергать. И не только отца.

«Ох, и получим мы за такое», — читается на физиономии у Гермеса. Правильно читается. Какие заговорщики? Мальчишки стоят в зале, юнцы... свергать пришли. Свистнуть, рявкнуть: «А ну по домам!» — небось, рванут — как бы хитоны не обмочили...

Только вот мальчишки тоже умеют воевать. Особенно когда за ними стоят нужные силы. Вот они заходят — Главк, Лелантос, Кой... Нужные силы. Титаны, которых я не успел запихнуть в Тартар.

Поколение против поколения. Извечное — сыновья свергают отцов, эпоха — эпоху...

— Я не смог, — тихо сказал кифаред, опуская лук. В глазах плескалось море боли. Накатывала приливная волна ненависти — и отступала, когда он взглядывал на Геру.

— Бывает, — засмеялся Аполлон, и лук под его пальцами выгнулся как живой. — Не всем дано. Ну, тогда забирай ее, раз уж ты за ней шел. И идите — чинить препятствий нам не будут.

Кифаред взглянул на Геру с сомнением. Протянул было руку — и вздрогнул, когда увидел, как богиня очага снова вскидывает лук.

— Прочь! Я буду защищать мужа.

Лучше бы ты этому мужу в руки лук пихнула. Защитница выискалась... позорище.

— Уведи ее, — бросил я Ифиту, но тот стоял с опущенными руками. Вглядывался в глаза Геры, губы кусал. Потом глубоко вздохнул и встал слева от меня — поднимая лук.

Целясь в Аполлона.

По залу зарницей запорхал смех Зевса, которому досталась роль зрителя в этом театре. Для полного счастья не хватало только Лиссы-безумия — собственной персоной...

— Ты не успеешь сделать сразу два выстрела, — тихо сказал кифаред. В лицо вскинувшему брови Аполлону — у того, кажется, поперхнулся незримый аэд за плечами. Кончились слова для песен.

— Не безумие ли посетило тебя?

— Она защищает его. Значит, его защищаю я.

Рядом с Аполлоном встал Тритон, поднимая отцовский трезубец — слишком тяжелый для тонких пальцев морского... только вот удар не замедлит прийти. Нетерпеливо хмыкнул Главк: «В расход!» Брови Сребролукого сошлись на переносице.

— Разве ты не знаешь, что он приказал бичевать свою жену?

— Знаю, — процедил кифаред сквозь зубы.

— Разве не он убил твою мать?!

Плечи мальчика вздрогнули. Тут же сжались, ссутулились — странно, по-знакомому упрямо...

— И ты готов отправиться с ним в Тартар?! — продолжил Сребролукий. — Я не хочу лишних жертв, но...

Вскинул голову — олицетворение милосердия. Дающий последний шанс — завершить миром. Положить на алтарь одного... ну, двух, если посчитать Зевса. Оставить бесполезное упрямство.

— Владыка! Неужели ты будешь прятаться за плечами жены и ее любовника?!

Хаос событий, вихрь звуков — в один миг. Гневный отклик Геры — она обозначает, что сын Зевса от богини Лето может прямо сейчас отправиться... ух ты, далеко, аж титаны рот разинули — не ожидали от царицы. Смех Зевса — этот сейчас в ладоши похлопает. Кифаред отвечает еще что-то, стиснув зубы. Тритон шепчет Аполлону — «Давай уже...» Грузный Кой сопит от нетерпения, Главк шепчет Лелантосу: «Цепи давай и сеть», Лелантос гремит чем-то тяжелым...

Всё — в один миг: и как бедное мгновение не треснуло с натуги? Следующий миг вспыхивает ослепительным ожиданием: вот... сейчас... переплелись воли, переплелись взгляды. Взгляд на царицу — не спустил ли стрелу? В кого шибанет? Взгляд на кифареда Ифита — вдруг кифару достанет, зачарует! Взгляд на Зевса — от него можно и без трезубца всего ожидать!

А одного забыли — невидимка...

К чему смотреть на свергнутого безоружного Владыку?

Владыка лишился лука — его забрала мать-Гея, обиженная смертью своего сына Офиотавра. Владыка лишился шлема — его украл ушлый Гермес, которого обвел вокруг пальца кто-то более ушлый. Владыка лишился трона — сейчас на него сядет кто-то из молодых.

Что осталось бывшему Владыке? Память о величии. Да шепот, который поймал в глазах мальчишки-кифареда.

«Найди его... скажи ему...»

Он не успел сказать. Но я и так знаю. У тебя хороший сын, Левка.

И в ответ донеслось — едва слышным шорохом из дальних далей: «Будь счастлив, милый... пожалуйста, будь счастлив».

Отзвуком слов, которые я должен был услышать: «Скажи ему, что я возвращаю... возвращаю».

«Возвращаю твой подарок, милый».

Да, Левка. Ты мертва. И мой подарок тебе больше не нужен.

— *Наши встречи были хороши, — сказал я, целуя ее. — И я дарю тебе свой выстрел. Один свой выстрел. Делай с ним что хочешь.*

Очень зря они не смотрят на свергнутого Владыку. Потому что пальцы Владыки стиснули стрелу, для которой не нужны луки. Которую забыла забрать Гея — и не могла бы забрать, потому что стрела была подарена другой.

Легкая, шутивная стрелочка, скованная в древние времена Циклопами. Не оружие — игрушка.

Хотите поиграть во что-нибудь, юнцы, которые вообразили, что могут свергать царей?

Легкий свист — и нежная стрелка блещет молнией, освещает чертог. Вышибает из пальцев у Тритона трезубец — тот высекает искры по полу, отлетая в угол, а Тритон валится на пол, хватаясь за перебитую руку.

Пальцы Стрелка отпускают тетиву, и золотая стрела рвется навстречу — и сталкивается с бронзовой. Выпущенной кифаредом — сын Левки отличный стрелок.

Стрелка, вернувшаяся в пальцы, дрожит от гордости, прежде чем сверкнуть молнией снова. Главк оседает на плиты, схватившись за горло. С вскриком возносит копьё Лелантос — и впечатывается в стену: это Зевс быстрее стрелы нырнул за любимым оружием — обрел трезубец. Свистит стрела Геры — и Сребролукий хватается за пропоротую ладонь (а тебя предупреждали, что ты не выстоишь против двоих!). Грузный Кой падает, обжигаясь о

маленькую, легонькую стрелку, которая вновь сорвалась с моей ладони...

Всё.

Зевс баюкает трезубец в объятиях как лучшую любовницу — гляди, еще детей народят. Гера и Ифит готовы кинуться друг другу навстречу, только вот при всех неудобно как-то. Гермес трясется, сжимая в руке шлем — спасибо, племянничек. Дай-ка его сюда, пригодится.

Шлем Гермес отдал безропотно. Еще и показал: видишь, мол, в исправности возвращаю. Хорошо присматривал. И вообще, я тут за вас. И вообще — это все он.

— И что сделаешь теперь... дядюшка? — спросил сквозь зубы «он». В ладони у Аполлона так и сидела стрела Геры. Лук валялся у ног. Зато взгляд был дерзким донельзя: я — почти смог! Почти дотянулся... почти...

Что мне с тобой делать, мальчишка — жертва на алтаре чужой игры? Может — мне рассказать тебе, куда тянутся опутавшие тебя нити? Или может, ты расскажешь мне, как кто-то нашептал тебе о безжалостности Владыки, подговорил украсть Кору, подготовить восстание, исподволь внушил — другого шанса нет. А я в ответ поведаю, как этот же кто-то убил сына Геи, Офиотавра — и этим лишил меня моего лука. Убил Левку — и этим едва не лишил меня всего остального.

У Мома, сына Ньюкты, хорошо получается внушать и лгать. Не зря же его прозвали Правдивым Ложью.

И нити свиваются в одну черную, удушающую веревку, тянутся в подземный мир, где сейчас в обличии брата ходит тот, кому почему-то очень понадобилось, чтобы я был свергнут — или хотя бы занят.

И ты зря смотришь на меня с таким вызовом, Сребролукий. И аэд, которого ты вечно таскаешь за плечами, зря надеется на суд.

— Мне нет до тебя дела, племянник. Твою участь будет решать Владыка Олимпа.

Сперва они не поняли. Потом грохнул трезубец Зевса о пол — брат едва не уронил любимое оружие.

— Царь мой... — прошептала Гера тревожно.

— Нет, — сказал я. — Ананка неизбежна и неотвратима. Пророчество Мойр сбылось. И меня сверг сын.

Мы стояли теперь лицом к лицу — я и кифаред Ифит, лучник и любовник моей жены. Сын nereиды Левки.

Отмеченный клеймом Кронида — свергать отца...

Глядящий на меня с изумлением, недоверием и болью.

Готовый свести брови — и воспротивиться. Откроет рот, скажет: «Я шел не свергать тебя! То есть, и свергать тоже, но теперь...» Выбросит Судьбу на ветер, развеет пророчество в прах, как это сделал другой мой сын — тот, который сейчас скитается на краю света в компании Мудрости.

И тогда я, будто Судьба была ускользающей тканью, схватил ее за край — и рванул на себя.

Легкая стрелка, страшное оружие Циклопов, легло из моей ладони в его: от лучника — к лучнику.

— Однажды я подарил её твоей матери. Сегодня она вернула мне подарок. Она твоя, сын. Не промахивайся.

Больше я не позволил себе ни взгляда. Ни слова. Прошел мимо сжавшегося Гермеса.

Мимо посторонившегося Стрелка, стонущих титанов, каких-то еще заговорщиков, пугливо толкущихся в коридоре. Прошел, на ходу надевая взятый у Гермеса шлем.

Туда, куда звала черная, толстая, соткавшаяся окончательно нить. Туда, куда звали Гестия, Гипнос, Геката и вой далекого пса, на которого пыталась надеть оковы жестокая рука.

Где был нужен сейчас неизмеримо больше, чем на Олимпе.

Невидимкой — в подземный мир.

МОНОДИЯ. ТАНАТ

мое сердце колотится — кажется, я дышу, и меня согревает твой шепот и этот шум, а в глазах твоих небо — бескрайняя темно-синь — и захочешь сбежать, улететь, да не хватит сил оторваться от центра мира, который — ты.

я... не чувствую больше крыльями высоты.

Kardemort

Однажды, еще в юности, он видел Мойр. Вскоре после того, как попытался отбросить клинок. Тогда, еще не придя в себя от боли, он попытался найти ответы на свои вопросы на Олимпе — и спросить решил у Прях.

Мойры явились не теми, которые произносят великие пророчества и властвуют над судьбами богов. Не великими и безжалостными.

Насмешливыми спорщицами над опостылевшей работой — вечными нитями.

«Эй! — звенит в памяти. — Лахезка! Тут ужасный Чернокрылый наконец появился. Румяна отдавай — я ж говорила, рано или поздно...»

Лахезис штопала хитон — мелькала иголка в толстенных пальцах. Атропос жевала яблоко — откусывала мелкими кусками. Похихикивала:

— Ножницы свои на год ставлю — на нить свою смотреть пришел...

— У чудовищ нет судьбы, — сказал он, глядя туда, где вислась белоснежная нить брата, и иссиня-темная — матери, и густо-свинцовая — отца... — Предназначение. Почему же у нас есть нити?

— А чтобы порядок был, — отозвалась Атропос с мелким смеешочком. — Вздумал он — без нити, как же...

— И вообще — кто там знает, вдруг ты решишь это самое предназначение на Судьбу сменять, — бухнула вдруг Лахезис. Клото цыкнула на сестру. И уже когда он подошел к своей нити, и она, будто меч, пропела под пальцами, предложила лениво: — Что, небось, наскучило нитки-то резать? А ты сломай клинок.

— Так у него ж и выкинуть не получилось, — громким шепотом подсказала Лахезис. — Что, подземный? А ты думал — какова цена?

Тогда он передернул плечами — понял. И больше об этом не раздумывал — меч Таната Жестокосердного — его часть, как сердце и крылья...

Нити позвали его — и он покинул серый дом на Олимпе с его запахом похлебки и сотнями нитей. Унося знание о непомерности цены. И еще — видение, полустертое и неясное.

В видении он был скован цепями, и какой-то смертный царек, кривляясь, цедил сквозь зубы: «И не думаю, что за тобой хоть кто-то придет».

За чудовищами не приходят. У чудовищ не бывает любви.

У чудовищ не бывает друзей.

Семьи у них тоже не бывает — будь хоть сто тысяч братьев...

У чудовищ здесь все пронзительно, беспощадно просто. Как у Владык.

Интересно только — все ли Владыки блюдут свои законы?

Цепи врезались в запястья. Остервеневшими от голода волками впивались оковы в крылья — крылья растянули и пробили крюками, чтобы он не мог свести их и исчезнуть.

Плечи тянуло болью — вес тела приходился на них. Мутилось в глазах: глаза не желали останавливаться на верном клинке, что лежал поблизости. Глазам казалось почему-то: клинок стоит. Еще казалось: вокруг тесные стены подвала, а не бескрайнее пространство дворцовых подземелий Эреба. И еще казалось: вот сейчас выйдет из дверного проема смертный базилевс, ощерит зубы, издеваться начнет...

Танат тряхнул головой, отгоняя безумное видение.

Безумие...

Я. Я, Танат Жестокосердный, Железнокрылый. Безжалостный жнец Мойр, самое страшное из чудовищ подземного мира. Гаситель Очагов. Я открыто пошел против воли матери, зажег огонь, целовал олимпийскую царевну... я?!

Лисса-сестра не показывалась — наверное, боялась даже связанного. Таилась по углам, напуская дурман ложных воспоминаний. Я сказал, что посватаюсь к олимпийской царевне. Кажется, она даже была не особенно против. Кажется — меня провезли на колеснице, в цепях, на виду у всего подземного мира...

Воспоминания горчили от дурмана Лиссы, отдавали оскоминой. Кислотой и желчью становились на губах, еще хранивших тепло поцелуев Гестии. Злорадные смешки свиты Простофили, пристальный и острый взгляд Гекаты, легкая улыбка матери, удовлетворённая... Пальцы сжались в кулаки, дернулись распластанные крылья — и крючья впились в них сильнее. Оскалы стигийских — словно болотной тины наглотался... Недоумевающая физиономия брата (рот захлопни, Белокрыл — пегас залетит!) Было это? Не было? Безумие, — говорит сестра, — всегда истинно.

Было. Значит, было и остальное. Натянутая ухмылка на лице Кронёныша. «Здесь, в моей вотчине, так удобно обнаружили подземелья... тебе под стать». Недоумок даже не знал, что эти подземелья — остов от дворца Эреба. Не рассмотрел эребской тьмы под сводами. Только и успел разбросать приказы сквозь зубы — приковать, да крылья крюками, непременно... Потом прислушался к шуму наверху. Вышвырнул с нарочитой небрежностью — «Займусь им после».

Ухмылки больше не было — никакой. Посейдон начинал осознавать. Может, расслышал победоносное «По-о-оздно!», от которого содрогался мир. Может — наконец сообразил, чем ему грозит то, что он поднял руку на сына Нюкты. Сгреб двузубец, бормоча сквозь зубы: «Еще увидим...» Хлопнул дверью, не озаботившись поставить стражу — к чему?

У чудовищ не бывает друзей. У одного чудовища так особенно. Едва ли кто-то из подземных, которые ошиваются сейчас во дворце, рискнут открыть дверь, разомкнуть цепи, вытащить крючья...

Дышалось тяжело. Мир вовне рычал и бесновался — безумным бешеным псом, то ли подогревая ярость восставших на Посейдона жильцов, то ли желая их предупредить, остановить...

Может, просто предвкушал кровавую свару. Предвидел: вот, ничтожный Кронид, возомнивший себя Владыкой, выступает против воинства подземного мира вместе с горсткой сторонников... вот рычат стигийские чудовища, пылают факелы Гекаты, летят оскаленные Керы, свистят кнуты Эриний... И поднимается в тяжких ударах божественное оружие — двузубец, выкованный Циклопами — и летят изломанные тела... И воинство подземного мира — бескрайнее разозленное море — медленно и верно смыкается вокруг одинокой скалы.

Дернулись, покривились губы. Красивая сказка, подземный мир. Только вот — сказка.

Войны не будет. Не будет схватки, ничтожному Крониду с его двузубцем не стоять скалой... С чего бы, когда он полагает, что причина бунта — не он сам, а то, что он пленил Таната Железнокрылого?

Он не бросится с горсткой сторонников встречать рати подземного мира грудью. Так бы поступил... «Владыка?» — шепнуло что-то внутри. Владыка, — согласился Танат. Если только бывают бешеные Владыки — выйти в одиночку против мира...

Но эти Кроненыши так хотят подражать тому, который уселся на олимпийский престол... Климену Криводушному. Изворотливому и бьющему исподтишка, которого еще считают мудрым. Посейдон попытается решить дело миром. Попытается — договориться с великой Нюктой, матерью своего пленника.

Я могу рассказать тебе, как это будет, мир. Вот летит колесница царька — и над ней выписывают зигзаги бешено вопящие Керы: «Лови! Хватай! Держи-и-и-и-и!!!» За колесницей распластались в воздухе — несутся стигийские твари. Взмыленные лошади храпят, косятся глазами, и лицо возницы кажется слишком белым и слишком юным... И вот он оставляет колесницу, предавая лошадей. Прыгает в тайный проход между скал, стараясь не слушать жалобного ржания. И — щемится в незаметную дверь мимо стражи, выставленной бунтовщиками, и входит, будто вор, силясь сохранять царственную осанку... куда?

Туда, где холодной, шипящей гадиной скользит по древним плитам прохладное покрывало. Туда, откуда на него смотрят ласковые глаза предвечной Ночи — глазами Ананки-судьбы.

— Хайре, о великий, хайре! Великая честь — принимать в моем скромном жилище Владыку подземного мира. Что же привело тебя ко мне?

Недовладыка моргает непонимающе. Чего? — моргает. Какая честь? — моргает. Разве не должна быть Великая Нюкта разгневана из-за непутевого сынка? То есть, если это не она стоит за бунтом — а кто тогда?!

— Хайре, о мудрая! Я пришел просить тебя не гневаться из-за участи твоего сына, — губы у Кронидика кривятся: ему не нравится просить, — Рассуди же, о великая: он оскорбил мою сестру... был дерзок со мной. Что оставалось мне делать, как не покарать его?

— И ты покарал? — усмешка в голосе Нюкты — тонкая, как аромат ночной прохлады перед закатом.

И недовладыка как-то сразу становится нашкодившим юнцом. Вон, носом шмыгает, потупился.

— Он... в подземельях моего дворца, о мудрая. Я пока еще не выбрал для него кару.

— Напрасно, — ночным соловьем летит в воздух смешок. — Убийца долго напрашивался...

Отпрыск Крона совсем извелся. Прислушивается к рокоту воинства подземного мира за стенами дворца. Щурится недоуменно на безмятежное лицо жены Эреба.

— Ты, значит, не разгневана? Я ж... ну, дары прислать могу... если вдруг ты... за сына-то...

— Дары — за сына? — Нюкта смеется громче. — Нет, не нужно. Ах, понимаю: тебя волнует мир, он что-то расшумелся, да, о великий? С ним это бывает: наш мир не любит царей. Пленение Таната для него — лишь предлог. Припоминаю, что и против моего супруга местные жильцы устраивали бунты — а вот как он с ними сладил... наверное, он мог бы тебе рассказать сам. Ты хочешь этого, о великий?

На губах выступает тень усмешки — как слабый изгиб клинка. Кроненьш не знает, что против Эреба местные жильцы не бунтовали никогда.

Не могли.

Каждый раз, как из дворца Первомрака являлась очередная марионетка — воля Эреба удушающей петлей ложилась поперек горла каждому жильцу подземелий. Все попытки оспорить власть и вернуть миру волю захлебывались тут же — и мир отползал в сторону, жильцы разбегались по домам и отлеживались в норах, ожидая — когда оболочка не вынесет мощи Первомрака, когда тот заснет опять и мир снова станет собой...

Перса отравила Геката — этим ускорив освобождение.

Но откуда об этом знать Простофиле.

Глазами засверкал, закивал радостно: то, что нужно! Великая честь — встретиться с самим Первомраком, который еще не к каждому снисходит. Ну, а уж узнать тайны — как управляться с проклятым миром — это...

Мир перестал грохотать там, вовне. Тявкнул отрывисто и удивленно, как щенок, которому причинили боль.

Да, великая честь. Стать сосудом для безразмерной мощи Первомрака. Его руками, ногами, губами. Пальцами, держащими вольный мир за ошейник.

Интересно бы знать — он хотя бы предложил Кроненьшу союз, прежде чем заполнить его собой?

Впрочем, нет. Это как раз неинтересно.

Смерть вообще нелюбопытна по своей природе. Не задает слишком много вопросов — потому что на слишком многие является ответом.

Как — неважно. Важно — что недоцарек и недовладыка, средний сын Крона все-таки вошел в чертоги Эреба.

Вошел. И вышел.

Что ты там скулишь, мир? Все глуше и глуше, будто горло передавили? Я не буду ничего рассказывать тебе больше: ты же видишь это сам...

Как стонут и корчатся те бунтовщики, которые не сразу поняли — что вышло из дверей дворца Великой Нюкты.

Как в поклонах расстилаются под ноги новому царю Керы, опасно жмутся Эринии, поджимают хвосты стигийские жители... как покорно они выполняют выброшенный в воздух сквозь зубы приказ: закрыть выходы.

Или входы?

Выходы. Чтобы никто не успел предупредить об участии Посейдона державного брата. Чтобы единственный опасный противник — Кронид Криводушный, истинный наследник своего отца — не явился сюда оспорить власть Эреба и навести свои порядки.

Только вот ты опоздал, отец: Кронида давно уже предупредили... предупредила.

Предупредил.

Что теперь будешь делать с предавшим тебя сыном?

— И что мне с тобой делать? — устало спросил Владыка подземного мира, делая шаг.

В подземелье. В родной, эребский мрак.

Лаская жирную, гладкую темноту пальцами.

Танат молчал. Понимал: не Лисса-безумие все-таки. Куда там ее дурману.

Кроненьш стоял перед ним... пифос, до краев наполненный могуществом мрака. Спокойная, уверенная стать, царственно развернутые плечи. Усмешка, полная мудрости и

тайного превосходства.

Даже волосы перестали дыбиться непокорной гривой — мертво стекли на плечи, делая похожим... на кого?

— Нюкта говорит: в Тартар. Мало того, что предатель, так еще и продан Олимпу за девку. Посейдон полагает иначе. Что тебя нужно как следует проучить — чтобы неповадно было. Что считаешь ты?

— Что Посейдон сейчас не в том положении, чтобы полагать.

Или ты ему оставил хоть частичку его самого — бросил подачку от щедрот?

Оставил, — чуть улыбнулись глаза. Черные глаза. Не глаза Простофили-Кроненыша. Немножечко, чуточку. Всегда проще — когда хозяин тела заодно с тобой. Бессмертного Кронида враз не задавишь...

Оставил ненадолго, сынок.

И мелькает там, за покрывалом Эребского мрака, легкий оттенок недоумения: что это они? О чем?

Простофиля, кажется, все еще не понял.

Эреб хмыкнул. Отвел глаза. Отдались мерные шаги, грузные удары по тяжким плитам. Тьма поползла из углов — голодная, злая... Метнулась — облепила, сдавила грудь, отбирая крохи воздуха, высасывая дыхание.

Фигура Эреба дрогнула, расплылась. Долетели неверные, размытые слова:

— ...почему мать так ненавидит тебя. Знаешь ли, сын? Знаешь ли — чье лицо ты взял, вернее, украл? Верно, у Гипноса тоже мое лицо. Но все же он — не то. А вот ты...

Танат молчал, вслушиваясь в то, как трещат и ломаются ребра. Думалось равнодушно, отстраненно: нужно было бы догадаться. Почему она избегает смотреть на меня.

Видеть во мне лицо того, с кем столько раз делила ложе, кого, кажется, даже любила — если только чудовища могут любить...

Горечь с губ смылась вкусом ихора. Тепло поцелуев, впрочем, тоже. Мрак ринулся теперь — огнем: бешено хватал за ноги клыками пламени, жег распластанные руки, кусал за пальцы. Танат молчал, вслушиваясь в мерные, неспешные шаги отца. Ждал — когда тот наконец доскажет до конца.

— Знаешь ты, как я потерял тело?

Танат молчал, чувствуя, как по коже яростными змеенышами ползут ожоги. Крюки впились в крылья сильнее, рванули яростно — будто когтями. Звякнул меч под отцовской ногой — и накатила дурнота, и тут же отхлынула.

— Тело... мне казалось — это так легко: породить из себя. Ведь смогла же сестра-Гея, почему не смогу и я? Выдумать мир, построить дом, царство, равное Океану или Небу. И я чертил русла рек, вкладывая в это свою силу. Возводил здесь вулканы — почему я не замечал, что реки изгибаются слишком уж прихотливо, а вулканы извергаются, когда захотят? Я делился с этим миром своей силой, своей волей — и он начал брать все больше. Противиться мне... начал... смотреть. Рычать... и обретать свою власть. Может, я создавал его не как нужно — не знаю.

Нет, молчал Танат, чувствуя, как тьма наскакивает, хлещет наотмашь плетью. Нет, ты создавал его правильно, отец. Просто тебе нужно было спросить у Геи-Земли — как у нее сложилось с первыми ее порождениями. Теми — что из самой себя.

Помнится, Гекатонхейры тоже имели свою волю. Только вот в неистовстве могли разрушить мир — оттого и были ввергнуты в Тартар, в ту самую бездну, рядом с которой ты

решил создать свой собственный мир, отец... так что же ты удивляешься — что он получится таким?!

Плети тьмы мешали думать. Надоедливо свистели в воздухе, с хищными щелчками полосовали грудь, захлестывали плечи. Боль была глупой, лишней, мелочной. Что она для того, кто века носит в себе боль иного рода!

Жажды не было. Совсем. И нетерпеливый зов нитей подевался куда-то — неужто спорщицы-Мойры так увлеклись какими-то событиями, что и резать забыли?

— Я уже начал строить дворец в кольце Флегетона — как вдруг случилось восстание. Оказывается, я создал мир, не признающий царей, — смех у Эреба невеселый. Скрежещет — окровавленным мечом по щиту. — Я вышел навстречу заговорщикам — жильцам моего мира. Тем, кого сам создал, позвал, поселил у себя... И в миг, когда одни уже не могли подняться, а остальные попадали на колени — тогда...

Молчание. Тьма хватает отверстой пастью — памятью о том, что было века назад. Когда мрак подземного мира впервые разомкнулся, взвился туманным маревом — и из него на своего хозяина ринулся черный пес, ударил лапами в грудь, разорвал горло, истерзал плоть древнего титана — и она истлевала под укусами, так — что не исцелить...

И древний Эреб отступил, лишенный тела. Погрузился в сон. Сберегал оставшиеся силы, копил мощь — для очередной попытки.

Мир подкидывал попытки сам. Невольно загонял себя в ловушку, бунтуя против новых царей: те бежали во дворец гостеприимной Нюкты. Умоляли дать им совет: как сладить с непокорным детищем Эреба. И неизменно принимали предложение великого дара: «Я разделю с тобою мощь, и ты будешь непобедим!»

Великий Эреб каждый раз выполнял обещанное. Глупец, возомнивший себя царем вольного мира, становился непобедим — рука нащупывала и стискивала проклятый, непокорный мир: сейчас, сейчас за все поквитаемся...

Потом не выдерживала оболочка. Трескала, распадалась, разлезалась по швам. Или подводило то недодавленное, что в ней дрыгалось — остатки предыдущего владельца. С веками Эреб научился давить их надежно — сперва просто ласково нашептывая изнутри мудрые советы, потом обращая в своих марионеток... потом забирая тело себе, вышвыривая остатки сущностей на подкормку мира.

Подкармливал, как дикого пса. Мир был не против, он умел выполнять лишь один приказ: «Эреб, взять!»

С Персом, например, получилось лучше хорошего. Одно плохо — чересчур уж смышленная дочка, богиня колдовства.

Пришлось заснуть опять и сделать ставку теперь уже на новое поколение.

А остальное... остальное тебе известно.

По вискам тек пот... нет, ихор. Благоуханный, будто у бога. Капал с носа, заливал глаза. Тек с подбородка.

Не помню, когда он меня так, — понял Танат. И чем. Это плохо.

Эреб теперь стоял напротив, шурился, высверливал взглядом истину. Что там сын? Терпит ли наказание за свое предательство? Готов ли стать сговорчивее?

Танат чуть дернул головой — не особенно готов, отец. Может, ты слишком напоминаешь мне одного зарвавшегося царька — наверное, в тебе еще долго будут проскакивать черты того, тело которого ты заполнил. Может, меня не зря назвали Жестокосердным. Мне наплевать, что ты хочешь мне предложить — а ты же что-то хочешь,

иначе не стал бы мучить. Пихнул бы в Тартар — и дело с концом.

А может, ты выдумал плохие пытки. Хитон намок от ихора, располосован невидимым бичом, и осколки ребер колют грудь изнутри, и по коже сперва прошлось пламя, потом ее изглодал насланный тобой холод... Разве это пытки, о великий Эреб? Попроси совета у спорщиц-Мойр. Они тебе расскажут пару слов о вечной жажде. А пока что — лови отблеск улыбки с окровавленных губ.

Эреб хмыкнул. Покивал уважительно — так, сынок, так... Подошел, задумчиво примерился было пяткой к лежащему на полу мечу... Покачал головой.

И тут ударила боль в крыльях. Словно острейшим копьем — в надежнейший, веками не подводивший, надежный щит. Наотмашь.

Танат дернулся в цепях — и крюки рванули крылья сильнее, безжалостнее. Зазвенели, падая на пол, перья.

А потом подвал вдруг ушел, размылся. Наверное, я шагнул, как тогда... когда? — подумалось удивленно. Без крыльев, когда-то... к кому-то...

К ней.

Девичьи пальцы рассеянно перебирают огненные лепестки цветов — «Мне Деметра вырастила, правда, красиво? Вот, понюхай, какой аромат...».

Цветки пахнут ихором.

Танат разжал зубы на прокушенной губе. Дышать больше не выходило совсем: воздух не шел внутрь. Эреб говорил что-то — голос вился вокруг настырной тучей гнуса. Прихлопнуть бы...

— ...каждый из наших детей был зачат, когда я был в новом обличи — неудивительно, что они так несхожи. И только однажды мы решили рискнуть. Жена уговаривала меня — и я согласился. Она думала, что наш сын сможет...

Стать сосудом для тебя, отец, — додумал Танат. Но родилась двойня. Один — белокрылый и слишком легковесный для того, чтобы ты заполнил его собой. И второй.

Который никогда не был тебе подвластен.

Крючья впились в крылья с утробным хохотом, будто когти грифов. По спине потекло теплое, звякнули цепи, впиваясь в запястья — бейся, сколько влезет! И снова вдруг скомкалось, исчезло, остались ее теплые руки: *«У тебя волосы растрепались. Ой, ты, наверное, совсем озяб? А я тут травы варю, и мед есть...»*

— Больно, сынок? — спросил кто-то участливо. — Понимаю. Самому неприятно, но я же знаю тебя: тебя иначе не удержишь, да и не покоришь. Мне не нужно, чтобы ты встал на сторону Кронидов — пророчество про сыновье клеймо оставим Криводушному. Мы с тобой договоримся иначе.

Это больно, — с отстраненным удивлением подумалось вдруг. Тартар, мне же больно, будто я смертный, или будто я опять лежу на плитах своего дворца, а в углу валяется переломанный клинок. Что это было — стон? Запихать назад в горло. Та, давняя боль от попрания своей сущности, была сильнее, страшнее... хотя, может, и нет.

Тогда хотя бы в полутьме моего дворца не ворковал умильный голос Эреба. Не предлагал делить власть... величие... что там еще предлагала до этого Нюкта?

От ласковых, дрянных интонаций и пронзительной, сжирающей боли, казалось, — вот он опять, миг рождения. Свернись клубком, завернись в пеленки, прошепчи: *«Мне больно, мама, мне больно...»*

Только вот у бога смерти и рождение было иным.

— ...принесешь клятву Стиксом.

Стиксом — что не поднимешь руки. Стиксом — что будешь служить и выполнять приказы. Стиксом — что станешь верной, бездумной марионеткой, нет, что станешь мечом... как для Мойр, как по предназначению, только теперь уже по своей воле.

Чтобы через пару столетий безукоризненной службы наконец смириться окончательно и получить награду — всю мощь Эреба, перелитую из тела Посейдона в твое.

«А иначе?» — хотел спросить Танат, но потом раздумал. Нужно было уйти от боли. Закрыться, заслониться, отразить. Хватит бездарно драться. Отец все равно договорит.

— А иначе это будет длиться долго. Очень долго. Сейчас я уйду — мне же нужно обустроить дворец... нужно что-нибудь сделать со свитой. Я уйду. А он — качнул двузубцем, показывая на жадный мрак вокруг, — он останется.

Мрак услышал — и рванулся на зов хозяина, впиваясь жадными клювами, намертво вцепляясь челюстями в беззащитные крылья. Танат захрипел и выгнулся в оковах, успел подумать: это не может быть долго...

Потом понял, что, если Эреб захочет, — это будет длиться вечно.

Значит, путь один. Закрыть глаза и шагнуть — как шагал уже несколько раз. В касания ее пальцев, в ее улыбку, в пламя ее костра, в запах меда от волос... В воду Мнемозины-памяти — навечно. Говорят, бывали случаи, когда вот так уходили — в горькую или в сладкую. Каменея при этом с виду и оставаясь навсегда в плену воспоминаний — внутри.

Наверное, отец, который уже собрался уходить, углядел на лице сына-предателя что-то не то.

— Не надейся на помощь брата, — предупредил тихо. Танат успел только удивиться: на помощь Гипноса? Надеяться?! И тут Эреб продолжил — и по усмешке было видно, что говорит Посейдон — та его часть, что оставалась в теле. — Он не придет. За такими, как ты, не приходят цари. За Гипносом, за Гекатой, за Хароном — кто-то пришел бы. За тобой — никто.

Да, — подумал Танат, задыхаясь от боли. Ты прав, мой великий отец. Ты, Простофиля, отдавший свое тело за минуту гордости, тоже прав. За такими, как я, не приходят. Не приходят цари — я никому не служу. Не приходят братья — у меня их нет, как у всех чудовищ. Не приходят друзья — им-то откуда у меня взяться?!

И вы неправы, мой отец и Простофиля. В том, как вы сказали свое «Никто». Нужно быть осторожнее, о великий Эреб. Потому что сейчас, когда я слышу звон своих окровавленных перьев, я не могу избавиться только от одной мысли: что вы бездарно деретесь... что мир насмешливо скалится вам в лицо... в лица. Что в этой комнате — не только ты, я и мрак.

Что есть еще кто-то — кто-то вроде Ананки-судьбы, потому что всем ведь известно, что только она бывает невидимкой...

Удар пришел из пустоты внезапно — в тусклый свет факела влетело лезвие адамантовой махайры. Эреб в обличии Посейдона шарахнулся в сторону, взмахнул двузубцем...

Не попал. Бездарь, — подумал Танат, закрывая глаза. Оба бездари. Один атакует с дистанции, второй лупит оружием, с которым сродниться не успел.

Впрочем, насколько-то успел — держит так, будто двузубец с пальцами единое целое. Поворачивается осторожно, спину бережет.

— И кто же это почтил...

— Никто, — с усмешкой влетело в темноту. Хуже адамантовой махайры. Танат мог бы

поклониться, что слышал, как отец скрипнул зубами.

— Брат? Ты ли пожаловал?

— А у тебя есть братья, о Древний? — со смешком, непочтительно удивились из темноты.

Древний не стал наносить удар на голос. Покачивал двузубцем будто в задумчивости.

— Так значит, мне звать тебя — царь Олимпийский? Климен Стрелок? Климен Величайший?

— Я больше не царь Олимпа. И не Стрелок. Можешь передать сыну благодарность: он хорошо дергал за ниточки. Правда, Ата бы сказала, что кое-где — не додергал.

Криводушный... думать об олимпийце как о сыне Крона не получалось. Тот был — Владыка и Стрелок. Этот — невидимка и пытался действовать мечом.

Отвратно, правда, пытался. Вот мелькнула вспышка — полыхнул двузубец божественной тенью. Свистнуло лезвие клинка — вот и еще раз отразил удар. Атаковать в ответ Эреб не стал.

— Мальчик... — рокотнул глубокий голос, совсем уже не принадлежащий Жеребцу. — Зачем ты, мальчик... У тебя ведь нет больше твоего лука.

— Нет, — согласился голос из пустоты беспечно.

— И меча у тебя теперь тоже нет.

Взмах двузубца — и на пол ссыпался прах, когда-то бывший клинком.

— Точно, — согласился голос невидимки. — Но оружие может быть — одно. Мне не нужен ни меч, ни лук. Потому что у меня есть право.

Мрак рванулся вперед, повинуюсь приказу хозяина. Отскочил, льстиво извиваясь, подобострастно кланяясь, ощериваясь в сторону Эреба...

— Вы с женой пригласили сюда править Кронида. Меня. До того, как я назначил брата наместником. Не хочешь ли оспорить мое право, о Древний?

Отец молчал. Замер молча и неподвижно, с добродушной, насмешливой улыбкой на губах. Уважаю, — говорила эта улыбка. — Вот это игрок.

— У нас обоих есть право, — промолвил добродушно. — Что ты хочешь, Никто? Трон? Или вернуть тебе брата?

— Хочешь — давай, — согласилась пустота. А потом породила неожиданное: — А вообще-то — я за твоим пленником. Сам отпустишь или просто с дороги уйдешь? Или сначала уж сразимся?

Стены дрогнули — это засмеялся Первомак.

— Будешь драться с братом? За чудовище?

— Времена неверные, — отозвалась пустота. — Братья становятся чудовищами. Чудовища — братьями.

Боль отступила от крыльев — отпрыгнула, удивленная. Что он несет, — обреченно подумал Танат. Безумец. Почему не бросит вызов за трон. За славу. Как Владыка.

И мелькнуло — смутной тенью прозрения: не бросит вызов, потому что знает, что Эреб его не примет. Потому что знает, что будет дальше.

— Что ж, — хохотнуло эхо, а может, тьма, — забирай. Посмотрим, сколько он принесет тебе пользы в том, что будет...

Будет... будет...

Боль ударила неожиданно, с размаху. В ушах отдался металлический звон, шум перьев, тяжкий удар... а потом Танат вдруг обнаружил, что лежит на полу, в луже ихора, и цепи не

обвивают запястья, только там, за спиной, будто умирала в агонии какая-то непонятная Ананка: кричала, извивалась от мучений, заставляя его самого корчиться...

Звякнул обо что-то шлем.

— С-с-с-скотина тартарская приапорукая. На прощание, т-т-тварь...

Вслед за этим голос Климена Криводушного, бывшего Владыки Олимпа загнул такое, что Танат нашел в себе силы поднять голову из лужи крови.

Кронид присел рядом. Набросил на израненную спину плащ (Танат зашипел — крылья отозвались обжигающей болью). Буркнул:

— Ладно, пора выбирать.

И вознамерился сгрести бога смерти в охапку наподобие кокона. Танат сцепил зубы, оттолкнул руку Крониды, медленно, неверно попытался встать. Все равно не получилось самому — пришлось опираться на плечо олимпийца.

Мутило от вкуса собственного ихора, и не хотелось знать — что там с крыльями.

Темнота подземелий давила, накатывалась, подминала...

— Меч, — выдохнул Танат, протягивая руку.

Кронид задержался. Поднял клинок с пола, передал хозяину. Оглянулся на что-то — то ли на цепи, то ли еще на что-то на полу, будто хотел с собой прихватить. Танат воспользовался остановкой, выдохнул хрипло:

— Я должен тебе... Кронид.

Родной клинок ходуном ходил в измазанных ихором пальцах.

Кронид махнул рукой со шлемом, определился и двинулся к выходу. Буркнул по пути:

— Отделал он тебя. Гестия плакать будет.

Танат промолчал. Ноги отказывались идти, голова клонилась на грудь, будто на нее Белокрыл решил чашку нахлобучить. «Гестия... будет» — и хорошо, что будет...

Кажется, нужно было еще что-то сказать. То ли спросить — почему он медлил и не ввязался в бой, хотя нет, это ясно. У него есть лишь право. У Эреба — право и оружие, неизвестно, на чьей стороне была бы победа. То ли сказать, что Кронид бездарно дрался — вышел с мечом, при преимуществе невидимости! И где махайру взял, вообще?

Поднял случайную, что ли?

Но сказать получилось лишь самое главное.

— Ты начал войну, Кронид.

Ответ Танату Жестокосердному наверняка прислышался в бреду.

— Это со мной бывает.

Пути на Олимп он не запомнил.

* * *

Свет, свет, свет... Огонь — оранжевый, теплый, как ее ладони. Благоуханная губка омывает раны, и запахи луговых трав мешаются с запахами нектара.

У чудовищ не бывает снов — и он не видел снов. Видел Гестию, подкладывающую хвороста в очаг, приносящую воду и целебные отвары. Плачущую. Это было неправильно, тревожно. Кажется, он пытался спросить — какая тварь посмела вызвать ее слезы.

Кажется, этой тварью был он сам.

Еще слышал голоса. Сбивающийся, отчаянный шепот Белокрыла: «А... как он теперь... без них-то?» Вздохи олимпийского лекаря Пэона. Насмешливый голос младшего Крониды —

Зевса: «Он теперь хоть на что-то годен?». Ломающийся басок — кажется, божественного кузнеца, сына Зевса: «Нет, мне такое-то... нет, не под силу». При чем тут вообще сын Зевса?

Дневные видения были глупыми, бессмысленными. Ночные были ближе и понятнее.

Там сплетались на камне белые и черные перья. Там он обещал кому-то переломить свой меч, если тот — что? Непонятно. Там он учил мальчишку с черными глазами и волосами драться на мечах — и клинок бился о клинок так, будто они были братьями.

Но если чудовища не видят снов — значит, и это было?

Потом он очнулся, увидел побледневшую, заплаканную Гестию. Попытался сесть. Она уперлась ему в плечи, шептала: «Лежи, пожалуйста, лежи, тебе еще рано, Пэон сказал — еще много нужно, потому что он очень сильно тебя, очень...»

И он смирился. Остался лежать, принимать из ее рук целебное питье, слушать ее песни, замечать — как старательно она не спрашивает его — что случилось там, в подземном мире. Только раз она начала вдруг: «А может быть так, чтобы брат...» — осеклась, мотнула головой, спрятала глаза.

И потом изо всех сил согревала — историями, улыбками, касаниями пальцев, а пару раз осмелилась — прижалась губами, и он почувствовал на них вкус соли.

И силился угадать — почему так прерывисты истории, болезненны улыбки, тревожны — касания пальцев. Почему маленькая блаженная не смотрит ему в глаза? Неужто слишком испугалась? Или печалится по брату? Или вдруг поняла, что позволила подземному слишком многое — и теперь не знает, куда деться от осуждения олимпийцев?

Наверное, нет — иначе с чего бы ей вести себя с этим подземным, как с хрупким сокровищем, объявившемся вдруг на Олимпе. Свалилось сокровище на голову, вот-вот исчезнет, из пальцев выдернут... кто выдернет-то?

Пэон, олимпийский лекарь, заходил то ли два, то ли три раза, но из него ничего вытянуть не удалось: слишком уж трясся при взгляде на Железносердного. В первый раз и вовсе — зашел, понял, что Танат уже в сознании, побелел хуже муки и с мелодичным «ах» осел на кресло возле удивленной Гестии.

— Наверное, он устал, — озадаченно сказала Гестия и подпихнула под голову лекаря узорчатую подушечку.

Усталость Пэона прошла от нюхательной соли, а вот дрожь при виде Убийцы — нет. Стоило лекарю переступить порог и встретить взгляд бога смерти — и тихого, смиренного Пэона начинало колотить. Опускал глаза и бормотал: «Ну, да, придется полежать, там же ребра, и ожоги, и рубцы, и я вообще таких ран не видел пока что...». Совал целительные настои, опасаясь приближаться к столику, на котором покоился меч. Когда Танат как-то раз спросил: «Скоро ли я встану?» — лекарь пробубнил что-то непонятное и укатился за дверь.

Танат только хмыкнул вслед — пришло в голову, что смертные так ведут себя у постели умирающих.

Умирать он пока что не собирался. Раны ему перевязывала Гестия, хотя мог бы и сам: руки двигались все лучше с каждым днем. Длинные, бугристые рубцы от плетей мрака и ожогов срастались, на лице и вовсе пропали довольно скоро. Тревожили только крылья — отзывались обжигающей болью на каждое движение. Да еще вгоняла в досаду невозможность узнать — что творится вокруг.

Гестия рассказала только, что Кронид действительно свергнут. И теперь в его дворце, вроде бы, воцарился сын. Не тот сын, другой. Вроде бы, любовник Геры. А еще на Олимпе зачем-то Зевс. Которого тоже пытался свергнуть сын. Который? Аполлон. И еще Гермес. Да,

сразу несколько сыновей. А, да, еще там были титаны, но где они — никто не знает... Еще на Олимпе Деметра, потому что за мужем нужно присматривать. И Афродита, которая хочет умолить Зевса не отдавать ее замуж за Гефеста (да, Гефест тоже здесь). Наверное, Деметра тут из-за Афродиты...

— На Олимпе что — так всегда? — спросил Танат, когда примерно представил себе это (картина получалась страшнее стигийских болот).

Гестия вздохнула и развела руками.

Кронид не являлся. То ли его слишком уж надежно свергли, то ли пропал в подземном мире — закреплял то, чего удалось добиться, ковал из себя царя. Зато несколько раз приковывлял Белокрыл — прячась за свою чашу. Шмыгал глазами по комнате и бормотал что-то про Кер, про Гекату, которой с чего-то понадобилось искать помощи Крониды. Про то, что дошли слухи — Посейдон, то есть, отец, собирает войска...

Танат старался не кривиться, вслушиваясь в трескотню брата. Больше вглядывался. Замечал: бог сна был уж слишком дерганым. Неуверенным, что ли. Будто опасался каких-то слов, не слов — вопроса...

От этих взглядов, уклончивых шепотков, вздохов, опасливости — одеяло начинало казаться тяжелее цепей, а ложе — темницей крепче, чем подвалы дворца Эреба. Сидит узник в темнице — ждет приговора: когда явится палач?

Явился старший Кронид.

Пришел под вечер (какого дня?). Жестом приказал выйти Гестии — она вскинулась было так, будто хотела заступить ложе собой... Смешно — оберегать его? Защищать — его? Потом поймала взгляд брата, шмыгнула, съезжившись ко входу.

Кронид шагнул к изголовью — туда, где на расстоянии вытянутой руки покоилось черное лезвие — родное, только утратившее в последнее время голос. Протянул пальцы — казалось, сейчас коснется. Танат напряг мускулы — не смей, Кронид! — но тут Криводушный подался назад и опустил руку. Спросил:

— Что Мойры?

Танат покривил угол рта. Нити в эти дни почти не звали — будто чуткие старухи на Олимпе боялись сунуться со своими ножницами. Знали, что некому будет жать пряди. Пока он не встанет... и что сделает?

— Пэон тебе не скажет, — голос Крониды был сух и безжалостен. Резал — отточенной бронзой. — Твой брат тоже не сунется. И Гестия не решится — из жалости... потому говорю я. У тебя нет больше крыльев.

— Лжешь, — скатилось с губ бездумно, бессмысленно. Отражением вспыхнувшей внутри истины: лжет. Климен Криводушный. Ата говорила — он с ней дружен. Расплата за сестру... или за тот бой? Крылья Смерти рождены вместе с ней и неотделимы от нее. Как меч. Как сердце. Это было бы все равно, что забрать у Гелиоса — коней, у Геи — возможность рожать, у Ночи — ее покрывало. Они есть, и они горят там, за спиной — или откуда эта раздирающая боль? Не может болеть то, чего нет. Изломанные, искалеченные, какие угодно — но они есть, потому что Смерть не может без крыльев...

Смерть не может без крыльев.

Хотелось рвануться. Взять Крониды за горло, сдавить до хруста — и вглядеться в глаза: отдернуть саван лжи, докопаться до правды. Потом отшвырнуть, брезгливо отряхивая пальцы, хмыкнуть: так и знал. И свести их, нет, лучше расправить, услышать под ними порыв ветра, рвануться прочь от провонявшего амброзией Олимпа, вдохнуть полной грудью,

отдаться полёту...

Он выбросил руку, стремясь дотянуться до меча, приподнялся — и почувствовал адамантовую хватку того, кто раньше был Владыкой Олимпа. Кронид смотрел ему в глаза. Протягивал себя на распахнутых ладонях — на, докапывайся! Захотелось вдруг отвернуться — к чему искать подтверждение лжи, если знаешь, что играешь с Атой-сестрой? А вслед за этим пришло осознание: от этого взгляда — черного, острого — не уйти. Быстрее стрелы, острее меча.

...падают разрубленные цепи — извиваются змеями. Плечо принимает груз — сына Нюкты. Под сандалиями звенят железные перья. Спина сына Нюкты — промокший хитон и два искалеченных обрубка, а позади лежит что-то черное, похожие на разметавшиеся тряпки...

— Лжешь, — хотелось сказать опять, и опять, и опять. Сердце прыгнуло в горло, встало поперек — не издать ни звука, ни вдохнуть. Наверное, так умирают чудовища, — подумалось отстраненно. Обращаются в камень, когда сердце перекрывает им глотку. Просто подержать вот так. Чтобы не дать вырваться звукам, которые еще никто не слышал от Смерти.

Вою. Всхлипам. Стонам.

Но я не смерть теперь... что я теперь? Что я — без них, но с мечом? Исторгающий тени пешком? Танат Бескрылый?! Калека, оставленный отцом в наущение остальным — теперь я понимаю, почему он так легко отпустил нас из царства! Кто осмелится выйти против него, после...

Представилось: они прибиты к стене, а может, к древку, вместо флага. Свисают, мертвые, мокрые от ихора... теряют перья. На губах отдался сладковатый вкус ихора, во рту разлился тот же привкус. Танат упал на ложе, закрыл глаза, попытался выбросить из себя видение — распластанные по камням, черные, мертвые... За спиной вдруг откликнулось болью — пустой, будто исковерканное поле, с которого давно убрали урожай. И вслед за этим ударило необратимым: живое так не болит.

Я — Танат Жестокосердный, дитя Ночи и Первомрака. Нелюбимый сын своей матери. Предатель своего отца. Чудовище, которое не может больше летать.

Может только... что?

— Вставай.

В голосе старшего Крониды не было сочувствия. Был — приказ. Не повеление Владыки — что-то иное... какая, впрочем, разница. Есть ли смысл лежать, если то, что нужно залечивать, валяется в подземном мире? Танат стиснул зубы и поднялся — сначала ожгло болью, а потом стало вдруг легко.

Слишком легко.

— Бери меч.

Пальцы нашарили верный клинок тяжело, неохотно. Лезвие легло на ладонь — молчащее, тусклое. Не желающее петь.

Криводушный махнул рукой — следуй за мной. Шагнул из комнаты, не оглядываясь, подставляя богу смерти обманчиво беззащитную спину.

Бескрылую спину.

Танат закрыл глаза на миг. Призвал с кресла хламис — набросил поверх хитона, чтобы прикрыть обрубки.

«Похож на бога», — мелькнуло непрошено. Белокрыл, небось, за такое свою чашу отдал бы.

Отдал бы он свои крылья?

Вовне день клонился к закату: колесница Гелиоса мчала к горизонту и слепила глаза золото-алым. Колесница Ньюкты еще не появилась.

Кронид развернулся неожиданно. Только-только успели выйти на укромную площадку, огороженную со всех сторон деревьями — кто бы знал, что на Олимпе вообще такое есть! И тут под носом росчерком пера мелькнул меч.

Удар Танат отбил больше по привычке, чем от желания отбить. Двинул бровью недоуменно: что, Кронид, решил поиграть в прошлое? Мы уже бились на клинках однажды — и я сказал тебе, что ты бездарно дерешься. Впрочем, ты даже с луком дрался бездарно.

Где сейчас твой лук?

Лезвие сухо скрежетнуло по лезвию, в черных глазах полыхнула сумрачная усмешка.

«Не ближе, чем твои крылья, Убийца».

Танат отразил еще два удара. Не стараясь — просто ведя руку за мечом. Шагнул было в сторону, вот сейчас — крыло на баланс...

Чуть не отступился. Только — чуть.

— Ногой.

—?

— Ногу на баланс. И двигаешься так, будто у тебя еще железо за плечами.

Танат скрипнул зубами, шагнул вперед, переходя в атаку, забывая о боли в спине... какое там! Криводушный уходил, будто извилистая тропа из-под ног. Вился под локтем, не сводя насмешливого взгляда.

«Сверху! Прикройся. Атакуй. Руби. Слева. Уходи!» — прорвалось вдруг из взгляда Кронида — неверным отзвуком, эхом, как из далекого прошлого...

В наставники и ученики поиграть вздумал? В тот раз не получилось — решил наоборот?

«Чего тебе нужно, Кронид? Я говорил, что должен тебе. Я не отступаю от своих слов».

Скользнул под лезвием, по привычке едва не попытавшись отразить его крылом. Заблокировал меч Кронида сложным приемом — тот высвободился почти сразу, атаковал — жестко, мощно...

Меч робко пропел под пальцами.

«Не решил ли ты опять учиться мечному бою?».

Свистнул ксифос Кронида в ответ — кто у кого еще поучится! Да, — согласился меч в руках у Таната. Увидим — кто у кого.

Кто кого.

Железо и черная бронза. Серое острие взгляда против черного щита.

Вопросы — против ответов.

«Что задумал Эреб?»

«Спроси Эреба. Или себя, раз уж ты теперь Владыка подземелий».

Если ты решил научиться задавать верные вопросы, невидимка, — то дерись уж на мечах. Это у тебя выходит лучше.

Что может задумать Эреб, у которого ты отобрал трон? Я говорил тебе: ты начал войну. Я сказал это сразу же, что еще ты хочешь услышать?

Что он соберет против тебя войско из всех, кто недоволен Кронидами? Что он пригласит под свои знамена остатки титанов, кого-то из морских, кого-то из подземных? Что он, вполне возможно, наведается к своей сестре Гее с просьбой породить новых

чудовищ?

Что попытается открыть Тартар, куда ты запихал столько преданных тобою союзников?

Кажется, на этот вопрос ты знаешь ответ, Кронид.

Звон клинков. Сшибаются два взгляда — железо с черной бронзой. Острие меча — в одном.

В другом должна быть стрела, только вот ее нет.

«Можно ли вытащить из брата эту...»

Накрест лезвия! Противники замерли лицом к лицу. Один смотрит пристально, изучающе. Губы второго чуть скривлены — не поймешь, улыбка или гримаса.

«Великий Эреб — не иголка, чтобы его можно было выдернуть. Он не отдает то, что забрал. Твоего брата больше нет. Смирись с этим».

И думай о том, что тебе повезло — у тебя есть еще брат... сын... сестры. Если ты не Владыка — значит, теперь уже есть. Чудовищам вот не положено: ни братьев, ни родителей, ни...

Вспомнилось вдруг: Гестия сидит рядом, омывает щеки душистым отваром, губы нектаром смачивает. А в покой, кряхтя, лезет боком что-то белокрылое, воняющее маком: «Так это... может, бульона? Тут еще Гермес фруктов у Деметры накрал...»

Танат моргнул — привидится же такое! Чуть не пропустил колющий снизу. Отпрыгнул, ушел, крутанулся, показалось — неожиданно легко.

Свист клинка Кронида почувствовал, узнал кожей, взметнул лезвие навстречу. Мышцы разогрелись, и медленно, по капле возвращалась прежняя быстрота и гибкость.

Меч противника не отставал. Вопросы — тоже.

«Как можно лишить его тела?»

Лезвие меча Таната изловчилось — куснуло Кронида в запястье. Потому что нечего драться бездарно.

«А как можно лишить тела бессмертного? Отсеки ему голову. Поруби в куски. Швырни в Тартар».

Не тот, — свистело лезвие насмешливо. Не тот. Не тот вопрос. Потому — не тот ответ. Спроси же, спроси жжже...

Нет? Ну, тогда получай в лицо ответ без вопроса.

«Если, конечно, сможешь к нему подойти».

Можно летать без крыльев? Меч полагал, что можно — легко порхал в воздухе, отражая удары Кронида. Дразнился, постукивая о бронзу — стремительно и насмешливо.

«Великий Эреб — не Крон, который допустил встречу с тобой лицом к лицу. Он о тебе наслышан. И он знает, что ты единственный, кто может ему противостоять. Он не допустит новой встречи. Зашлет шпионов. Вышлет войско. Будет строить козни, интриги, плодить рати чудовищ. Истреблять твое царство. Но он сделает все, чтобы не допустить встречи с тобой».

Железо клинка теперь взвизгивало — сухо и яростно. Что, Кронид? Ты показал, что у тебя есть шлем-невидимка. Очень может быть, что Эреб знал об этом и до того... но ты ему об этом напомнил.

Он окружит себя такой охраной, что невидимка не проскочит. Он сделает так, чтобы и шлем твой был бесполезен — и что будешь делать тогда, Кронид?! Безоружный?

«Ну, почему безоружный — вот, на мечах сражаемся...»

Танат качнул головой. Что у этого невидимки после свержения случилось с головой?

Или уже и так — было?

Он собирается во второй раз лезть на Великого Эреба, вооружившись мечом?

— Это смотря насколько он — великий. И насколько — Эреб.

Скрежет. Звон клинков. Отступить — отпарировать — нырнуть под острие — уйти от колющего — опять в атаку... Зная, что кончится одним. Той же фразой, что и тогда, когда дрались — лук против железного клинка.

Ты бездарно дрался, Кронид. Ты не держал тех, кто может ударить, как можно дальше. И теперь у тебя нет лука.

Ты бездарно дрался, Криводушный. Ты встретил того, кто сильнее тебя. Прямее тебя. И у тебя больше нет царства.

Ты бездар...

— Бездарно дерёшься.

Гневно звякнуло лезвие меча — услышавшее эти слова не от того, кто должен был их произнести. Танат двинул бровью — с какой стати бездарно?

— Потому что... без крыльев? — выговорилось через силу.

Клинки взвизгнули, еще раз скрестившись.

— Не ожидал, что ты будешь только обороняться.

Это он не про бой, понял Танат. Про вопросы.

Хочешь атаки от меня, Кронид? Получай — железную, черную.

«Зачем ты явился за мной к Эребу?»

— Дурной вопрос. У меня Гестия в покоях рыдает, что ее жениха Тартар знает, куда утащили. Может, и Тартар не знает.

— Я не сватался.

— А мне так показалось — очень даже.

Отбил, — признал Танат. Задаёт вопросы он не особенно хорошо — а оборона глухая. Щит — не меч.

— Хочешь породниться с Эребом и Ньюктой?

— И без того с твоим папашей породнились... дальше некуда. Через Посейдона.

— Ты начал войну, придя за мной раньше времени.

— Пришел бы позже — он бы тебе еще что-нибудь оттяпал. А мне перед Гестией потом неудобно.

Тени подвинулись умом — показывали что-то свое на траве. Двое мальчишек носятся в тренировочном поединке. Развешаются короткие хитоны, летят по ветру волосы.

— Я привык платить, Кронид. И я спрашиваю еще раз. Какой службы от меня ты хочешь? Стать на твою сторону в войне? Может, ты заметил, но я теперь...

Шелуха слов ускользнула. Калека? Бессилен? Бесполезен? Что толку от бога, который может только сражаться как мечник?

— Дурак, — подобрал слово Кронид. Поднял меч, показывая: бой окончен. — Хочешь в небо — сходи к Гефесту. У племянника хорошо получается ковать крылатые сандалии. А не хочешь...

И исчез, не договорив. Растворился. Шагнул, видимо, по-божественному. Намекая: хочешь — можешь вслед орать, что ты родился с крыльями. Что никогда не ходил без них.

Кроме того вечера, когда шагнул на зов Гестии. Не когда зажег огонь.

Танат потер лицо, уселся на зеленый олимпийский пригорок. Пригорок перекрасился в алый последними лучами солнца. Опять накатила слабость — странно, пока дрался,

здоровым себя чувствовал. Нужно будет наглотаться нектара — и крови, что ли, чтобы побыстрее заживало.

За спиной была гулкая пустота и ничего не отзывалось — и это было страшнее боли.

— Брат ушел? — спросила она шепотом. Подошла, пристроилась рядом траве. Потянулась ладошкой посмотреть — есть ли жар.

Танат молча кивнул. Хотел добавить что-то. То ли о том, что Кронид сволочь, то ли о том, что он безумнее Лиссы. Потом мысленно махнул рукой — маленькая-то блаженная уж наверняка знает.

А на лице у царевны был вопрос. Нет — море вопросов. Так и прыгают вокруг побледневших за последние дни веснушек. О чем они тут говорили? Аид сказал что-то плохое, да? Можно ли теперь как-то согреть...

Танат закрыл глаза, чтобы в них не лезло алое солнце.

— В общем, я... посватался.

Гестия ойкнула и еще раз потрогала ему лоб. Наверное, полагала, что он бредит.

— И в общем, твой брат не против, — продолжил Танат спокойно. — Поэтому если вдруг ты не желаешь такого мужа, царевна...

Он приоткрыл глаза и успел заметить, как она вспыхнула до корней волос — ярче закатного солнца и собственного пламени. Потом вскинула на него ясные, лучащиеся глаза.

— Я вышла бы за тебя, даже если бы брат был против. Только... ведь будет война.

— Нет, — спокойно и звучно сказал Танат, вглядываясь в окровавленный закат. — Войны не будет.

— Но брат... то есть, Эреб...

Нужно будет научиться ходить по-божественному, — подумалось Танату. Скоро Мойры опять возьмутся за старое.

Ладошка Гестии согревала ладонь.

— Войны не будет, потому что твой брат не даст ей начаться.

Она встрепенулась — с робкой надеждой. Прошептала: «Как?»

Танат пожал плечами. Сердце выстукивало непонятное — «Будет, будет, будет». А в памяти договаривались слова. Его собственные слова, брошенные в лицо Крониду после первого боя.

Пророчеством — только теперь уже не для старшего сына Крона.

— *Бездарно дерёшься.*

— *Почему это?*

— *Потому что однажды тебе встретится тот, кто решит пожертвовать собой. И ты проиграешь, даже не промахнувшись.*

СКАЗАНИЕ 8. О МЕНЬШЕМ ИЗ ЗОЛ И НЕРУШИМЫХ КЛЯТВАХ

Мир дробится на пену из острых колючих стекляшек,
Мир сплетется в дерюгу и ляжет на плечи, как хлена.
Я вовне выхожу, растворяясь в туманах и пашнях,
И неважно, что здесь не рожать Гее тёплого хлеба.

Этот мир — тоже я, он смеется и плачет со мною,
Он касается сомкнутых век, закрывает ладонями уши.
Кто я, боги, ответьте! Не надо мне званий героя,
Никогда не просил никого слово, как откровения, слушать...
Анастасия Порсева

Оружие может быть — одно...

У меня было два. Еще однажды я взял кое-что — в случае надобности.

Ничего. Мир не рухнул.

Оказывается, чтобы драться бездарно, не нужно оружие. Как для невидимости не очень-то нужен шлем-невидимка.

Случалось тебе исчезать по-настоящему, ты, который не-я? Тот, который смотрит на меня из зеркал, из заздравных час, из вод любой реки и озера?

Очень надеюсь — что не случалось.

Растворяться в тишине и забвении не так-то просто, представь себе. Бывает даже — некому похвастаться, что у тебя все так правильно начиналось.

Или что ты победил, взяв вместо оружия три совета, данных тебе самому.

«Тот, кто стоит близко, может ударить до того, как ты натянешь тетиву и возьмешь стрелу. Раньше, чем прицелишься.... Держи тех, кто может ударить, подальше».

У меня был противник, слышишь, я-иной? И я заставил его стоять близко, очень близко. Заставил забыть прописную истину: того, кто может ударить, нужно держать подальше.

«Ты слишком привык не промахиваться. Однажды ты встретишь того, кто умнее тебя. Быстрее тебя. И не успеешь выстрелить во второй раз».

У меня был противник. И я уверил его, что он уже почти победил. И он так привык не промахиваться, что не успел ударить во второй раз.

«Однажды тебе встретится тот, кто решит пожертвовать собой. И ты проиграешь, даже не промахнувшись».

У меня был противник, слышишь, я-иной? И он посмеялся бы, если бы услышал такую чушь: собой жертвовать, надо же. Потому что боги лишь принимают жертвы. Жертвуют — нам. Или мы — кем-то.

Никогда — собой.

Смотри, я смеюсь над этим третьим, глупым советом. Почему же ты не смеешься вместе со мной, не-я, у которого все началось неправильно?

Почему мне кажется, что ты киваешь с пониманием и отводишь, и прячешь взгляд?

И все зеркала, где я вижу тебя — оборачиваются ледяными, черными водами.

Оказывается, быть свергнутым царем — занятие хлопотное. Хотя, казалось бы: шастай себе невидимкой, где придется. Хочешь — за богом Смерти в подземный мир прогуляйся, притащи на Олимп (вызвав этим праведный ужас слуг: «Кого-кого он приволок?! Ну, все, это на него так свержение подействовало!») Хочешь — попытайся Эреба в облиии собственного брата выследить. А хочешь — задури себе голову повседневными маловажными вопросами. Например — кому бы на Олимпе править?

Мне вроде как нельзя — то есть, не положено. Свергнут — значит, свергнут. Улетел вверх тормашками с горы (ну ладно, потом вернулся, еще и с Танатом под мышкой) — назад на трон дороги нет. И по всему выпадало, что править — Ифиту, под ноги которого доверчиво и радостно прикатился Олимп. Сыну, который сверг отца.

Хотя тогда выходило, что править придется Гере.

Мальчик попытался сдать мне правление назад тут же после моего возвращения из подземного мира. В коридоре мыкался — ждал: в одной руке моя стрела, во второй — золотой венец, который Ифит явно только что стянул со своей головы. Вид у сына Левки был опарашенный — может, из-за внезапного правления, которое на него свалилось. Гера говорила потом: желающие милостей тут же после моего отбытия начали сыну в ноги кидаться, чуть не удушили. Вот она как раз и осталась с ними разбираться, а Ифит сбежал в коридор — дожидаться свергнутого тирана-отца.

Может, он был так ошеломлен этим самым отцовством. Или тем, что я явился с израненным Жестокосердным и вместо приветствия рявкнул:

— Пэона и Гестию сюда! Нектара... слуг призови.

— Призвать? — заморгал глазами отважный кифаред. Так, что пришлось напомнить ему: он тут в некотором роде теперь хозяин.

Уже потом, когда над Танатом начали хлопотать сестренка Гестия, Пэон и служанки, Ифит спросил тихо:

— Кто его так?

— Посейдон, — ответил я, задумавшись.

Навалилось в одночасье: война, которую я начал... Нужно вернуться в подземный мир, разведать у титанов, великанов — откуда Эреб будет набирать войска, посмотреть — не сможет ли он открыть Тартар...

Вот тебе и свергся — папе-то в этом отношении было не в пример спокойнее. Впрочем, Ифиту повезло еще меньше, чем мне: ему-то в этом Хаосе первородном еще и править.

«Я никогда не хотел править».

Забыл, что сын может читать по глазам.

— Я никогда не хотел править, — повторил он и протянул мне на открытой ладони белую стрелку-молнию, а потом и венец. — Возьми, Климен... отец. Это твое по праву.

Мое-то теперь по праву совсем другое, в этом-то вся и соль.

Прислушался к беготне и шепоту из-за стен — там пытались исцелить Таната-Убийцу — первую жертву начавшейся войны. Махнул рукой сыну — идем, присядем уже где-нибудь. Только не в тронном зале, и так от него воротит.

— Я тоже не хотел править. После того как сверг отца.

— Что же ты сделал тогда?

Лгал сотню лет, пока остальные готовились к войне. Лгал — и готовился к правлению, а потом вот союзницу нашел, чудовище отыскал, взошел на трон...

— Я слышал о Климене Мудром, Климене-Страннике, — сказал сын. — Слышал, песни слагал... Просто не знал: кто...

В небольшом покое был полумрак, и оттого сидеть напротив Ифита было неловко: будто в кривое зеркало глядишься. Синеглазое, кудрявое, безбородое отражение, плечи — узкие, пальцы — тонкие: морской...

— Ты скитался по миру сотню лет... отец. Набирался мудрости. Узнавал народы. У меня ничего этого нет. Лишь песни и приливы в компании nereid.

— И ученичество у Прометея Мудрого. И разве не вещей Нерей — твой дед?

— Я не создан для трона. Для власти. Для... золота.

Жаль. То есть, жаль, что ты думаешь так, юноша-кифаред. Из справедливых, бескорыстных и чистых, бывает, получают хорошие цари. Опыта тебе не хватает, так ведь у тебя же есть надежная союзница... советница. Может, еще не хватает — жесткости, твердости для трона Олимпа, а так из тебя бы мог выйти отличный царь.

— Козу заведи.

— Ч-что?

— Козу, пещеру... распорядителя толстого — Эвклея можешь спросить, где он их берет. Гера у тебя уже есть — будет, кому утку в меду готовить.

Отмахнулся в ответ на недоуменный взгляд сына. Показалось, примерещилось: свилась змея, кусает свой собственный хвост, двоятся строки в свитки Ананки-судьбы — где она, к слову, которая эта, за плечами?

Что-то я даже стал о ней забывать.

— Если начнется война с Посейдоном... с подземным миром, — прошептал кифаред, — на троне Олимпа должен сидеть не я. Должен — тот, кто знает, как править. Возьми. Прошу.

— Не могу.

Возьму венец обратно — не ослабнет ли мое право на подземный мир от этого? А стрела — давний подарок. О стреле пока что подумаю.

— Венец отдай кому пожелаешь. Стрелу не отдавай — она только твоя. И Ифит... прежде чем передать скипетр Владыки — посоветуйся с Герой.

Вдруг да придет к жене в голову — какие можно выставить условия Зевсу (конечно, Зевсу, кому ж еще на троне сидеть!).

— Кли... отец. А... Гера...

Тартар в Хаос да Ехидне под хвост... жену вот еще отпустить забыл. Если оно так бывает у свергнутых царей, то спокойнее на троне сидеть.

Отпустил. Объявил при всех: да, даю свободу. Да, примирился со своим сыном. Нет, не с Аресом. Да, с тем, который меня сверг. И да, жену вот к нему отпускаю. Свадьба... когда решат, тогда и свадьба.

К вечеру перепилась большая часть Олимпа. От неспособности понять — что вообще творится. В их-то глазах это выглядело как-то иначе: раз-два-три, сын свергает отца, отец где-то в Тартаре болтается, сын всходит на трон... А тут, понимаете ли, свергнутый отец гуляет по Олимпу, мирится с сыном, жену вот ему — из рук в руки... А на троне — Зевс.

То есть, сначала приходила Деметра. И рыдала о том, что ее муж на самом-то деле свергать меня не хотел, и его тут самого чуть не свергли... «А меня вот свергли», — поведал я скучно. И донес, что нет, сестра, не собираюсь я никого карать, как я вообще это могу сделать?! Деметра немного подумала — пожалала плечами. И заревела опять — уже по

другому поводу: из-за Кору. Ах, Тартар, Аполлон же в темнице Олимпа сидит, до того, как его участь решат, и получается: один жених на край света удрал, похититель и возлюбленный — уселся в темницу, сама Кора в материнских объятиях, плачет...

Наведаться, утешить, что ли — я, вроде как, нынче холост, а Аполлон вряд ли опять выйдет в милость...

Мысленно цыкнул на мысли — разлетелись роем пчел, соты оставили: скоро война, ты — свергнутый царь, она любит кифареда, куда ты лезешь, невидимка...

— Я попрошу Зевса за Аполлона, — бросил в сторону Деметры, сбежал, не слушая воплей: кажется, она не хотела, чтобы я просил за Аполлона, хотела — скорее совсем, совсем наоборот, только у меня не было времени вслушиваться — что там за просьба.

Проклятый Эреб, то есть Посейдон, не собирался появляться. Зашился в какую-то щель исподволь дергал за ниточки. И приходили в движение рати великанов, племена лапифов, какие-то драконы... союз с титанами? Конечно, союз с титанами, вон, Лелайтос и Кой пошли на Олимп и не вернулись, так что их многочисленная родня беспокоится, наверное.

А Младший влез на трон как-то незаметно. Сперва приходил убалтывать меня и интересоваться: я обратно влезать не собираюсь? Я пропадал в поисках Эреба — искал, не удастся ли шибануть Первомрака в спину из невидимости. Являлся, вглядывался в заплаканные глаза сестренки-Гестии — уходил опять. От Зевса отмахивался: не собираюсь. Так что тот принялся за Ифита, а может, за Геру, и как-то оказалось: Зевс на троне, Сила и Власть по правую и левую сторону, со всех сторон полно прихлебателей набежало, уже и кифареды какие-то песни сложили, когда успели только? Младший, кажется, сам был изрядно удивлен тем, что на него в одночасье свалилось. Даже нимфочкам забыл подмигивать, вызвав этим приступ подозрительности у неизменно заплаканной Деметры.

Не знаю, может, это было даже к лучшему. Зевс, конечно, не так опытен, но уж скovyрнуть себя с трона не даст даже Эребу, хоть в виде Посейдона, хоть в каком другом.

Об Эребе я рассказал ему уже после разговора с Танатом. Когда узнал, что Посейдона больше нет. Когда Убийца подтвердил худшее: Эреб не станет встречаться со мной лицом к лицу. Сперва он сделает так, чтобы небеса заплакали кровью.

Поминали Посейдона на двоих и в оружейной. Во-первых, вытащить Зевса с трона удалось только в оружейную, потому что даже и на пирах младший восседал на символе власти. Во-вторых — вот и повод нашелся: меня тут свергли, я безоружен, так что не поможешь ли выбрать что-нибудь новенькое?

— Циклопам закажи, — заикнулся было Зевс. Вот тут я его и обрадовал. Тем, что у Циклопов уже побывал Эреб, который всю пользуется обликом Посейдона. Расписал, что мы творим с их братьями-титанами. Участь белоголового Офиотавра расписал, слезы Геиматери... в общем, вряд ли мы теперь дождемся от Циклопов оружия: простодушные поверили Эребу безоговорочно. Вот он от них — чего угодно дождетя, да.

— Вот же Тартар, — выдохнул Зевс, когда я начал расписывать ему тонкости подземного правления. Подумал, взвесил в ладони булаву работы тельхинов. — Точно нельзя брата избавить от этого? Если это только по словам Железнокры... а, да, забыл, теперь он без крыльев.

— У Гекаты я тоже спрашивал.

В подземном мире в первые дни после своего свержения я появлялся довольно часто. Наскоро напинал бунтовщикам, которые вздумали было дергаться и интересоваться — что это тут за новый царь появился. Поговорил с Трехтелой Гекатой — дождался смешка сквозь

зубы в ответ на тот самый вопрос.

— Ну, знаешь, верить словам подземных, брат... впрочем, тебе виднее, ты ж у них теперь царь. Поэтому, что ли, Гестию собираешься за Железносердного выдавать?

— Не поэтому.

Попробуй еще — не выдай. Да вижу я в твоих глазах эту проклятую укоризну, брат: зачем, спрашивается, я лез за Танатом в подземный мир, зачем бросал вызов Эребу, войну зачем начал?

Только вот ты ошибаешься, если думаешь, что война бы не началась и так. Теперь же... как начал, так и закончу, мне, знаешь ли, не впервой — чтобы меньшим злом.

— Мы в плохом положении, — качает головой Зевс, как будто я этого не знаю. — Среди титанов верить нельзя никому, среди богов и бойцов-то не отыщется, разве что вот Гефест, так он же больше кузнец... Твои Арес и Афина — Тартар знает где шатаются. Мои...

Скопом в темнице дожидаются участи, Гипнос им туда ежедневно вино таскает и спевки устраивает хоровые — на четверых.

— Бойцы нам сейчас нужнее судов. Я говорил тебе — примиришься с сыном. С... сыновьями.

Показалось — Зевс сейчас мне в голову алмазное копьё отправит.

— С этими...?!

Ну да, у Владыки же нет ничего, что важнее трона, а как раз трон они и пытались у тебя отобрать.

— Сам подумай — кого над морскими поставишь? Нового рожать и времени-то нет — Посейдон может захватить и этот трон. Морской мир сейчас слабее всего: подземный держу я. Еще раз говорю тебе: примиришься с сыном. Выдай за него замуж Кору — все равно ведь...

Пальцы стиснули рукоять клинка. Казалось — махайра со стены оружейной щерится улыбкой, выпекает: «Все равно ведь она его, его, его...»

Раз похитил — значит, его.

— Ты даешь мне странные советы, Мудрый.

— Это — меньшее зло, поверь мне.

Меньшее... меньшее зло. Новый мотив взамен надоевшего — «будет-будет-будет...»

«Меньшее зло, — сказала Геката, улыбаясь мне в лицо кровавой улыбочкой, — ты по сравнению с Эребом... мир понял это — и потому покорился тебе».

Это еще вопрос — насколько он там покорился. Норовит прыгнуть на плечи, к земле прыгнуть — а мне, как назло, нужно вслушаться в него. Понять — насколько Эребу нужен подземный мир?

Составить свою игру: так ребятишки из деревянных кубичков составляют. Вот один — Эреб, которого мне очень, очень нужно заставить встретиться со мной лицом к лицу. Потому что огромная мощь Первомрака в теле неслабого брата моего Посейдона может нам ой, как насолить, да и вообще, мне Первомрак нравится больше мирно спящим в своем дворце. А вот подземный мир, в котором нынче Эреб не властен. Над собственным творением, собственной вотчиной, собственным... здравствуй, ловушка-подземный мир, ты мне очень и очень годишься, я поставлю тебя, как кубик, на место. Вот рати, которые Эреб скоро поведет в опустошительную войну: даже не сталкиваться в боях, просто выжигать, выпаливать Золотой Век, просто заставлять плакать алым небо, пока я не сделаю ошибку, пока меня не выдадут ему отчаявшиеся родичи и союзники — как... малое зло в великой войне.

Погоди, Эреб. Вот еще кубик — Тартар, врата которого Эреб не может распахнуть, потому что в подземном мире нынче — другой царь. И значит, ему не просто нужен подземный мир, а очень нужен, значит... ах, как не хватает последнего кубика — приманки в ловушке!

Так, что опять вспоминается: вот Гера, давняя союзница, только сказал, что нужно чудовище — а у нее раз, и нашлось... Гера, у тебя, случайно, не завалилась там приманка для великого Эреба?

Оказалось — совершенно случайно завалилась.

Зевс (уже и забыл, что он здесь) снял со стены лук. Примериваясь, потрогал тетиву, напряг — пустую, без стрелы. Сказал задумчиво:

— А может, и правда. Прощу. Женю на Коре. Отдам подводный мир. И возьму клятву Стиксом — никогда не поднимать на меня руки. Никогда не выходить со мной в бой... Ты знаешь, что такая клятва нерушима, брат?

Еще бы не знать, когда Стикс получила способность принимать клятвы как раз при мне. Страшна, нерушима, вечна для всех, ледяные черные воды, девять лет зачарованного сна, девять лет еще более страшного — смертности.

— Я и сам дал такую недавно Гере и Ифиту, в обмен на скипетр. Что не буду преследовать. Не пойду против них. Даже — что не попытаюсь посягнуть на ее... очаг, — улыбка у Зевса — колкая, но разочарованная. Добыча сбежала — желанная столько веков добыча! Заслонила великой клятвой, загородилась как стеной — и теперь может чувствовать себя в безопасности...

— Не ты ли посоветовал ей это, Мудрый?

Да. Гера может чувствовать себя в безопасности. Клятва Стиксом нерушима и вечна.

Вечна. И нерушима.

И значит...

— Брат?

Сколько Зевс ждал, пока я размышлял, рассматривая стену, увешанную оружием? Показалось — века.

— Я не советовал ей этого. Но ты прав: это лучший выход. Клятву Стиксом Аполлон не осмелится нарушить.

И ты, как Гера, сможешь чувствовать себя за стеной. За уютной, нерушимой, черной ледяной стеной...

Зевс что-то хмыкнул, выходя — возвращаясь к родному золоту. О том, что он оставит меня наедине с моими мыслями. Кажется, говорил еще что-то о сборе войск.

Титаны, великаны, лапифы вооружались уже в открытую. Пошли набеги на поселения людей — и младший сын Нюкты повесил меч на пояс, вышел в поле — пожинать пряди. Без крыльев, просто так вышел, как крестьянин, готовый жать урожай. Гестия приходила, говорила: у Убийцы получается ходить по-божественному, только когда столько смертей — это трудно...

Золотой век рушился под откос — летел с каждым днем ниже. Зевс вооружал армию, готовясь к войне. Возле Зевса, блестя золотом волос, прохаживался Аполлон — образцовый сын, прощенный родителем. Ифит — еще один сын, прощенный родителем — говорил: Сребролукий его даже успел на соревнование вызвать — кто из них лучший кифаред. «Ну, вообще-то ему сперва вздумалось похвалить мою кифару и сказать, что я неплохо пою. А я в ответ ему сказал, что он неплохо стреляет — отец, ты не знаешь, почему его так

перекосило?»

Еще на Олимпе появилась Кора — мелькала тут и там в коридорах, бросала осторожные взгляды, всё смотрела с тревогой: то ли за Аполлона, то ли просто так, не разберешь. Поговорить как-то и не удалось: я мотался невидимкой из подземного мира в Средний, выслеживал Эреба, высматривал знаки скорой войны — и выжидал момент...

Нужно было — чтобы натянулась стрела невидимого лука Ананки. Чтобы под ноги прыгнула грань страшной войны. Чтобы от нас начали отворачиваться союзники, чтобы вокруг зашептались о новых силах Посейдона, чтобы стало ясно: мы можем проиграть...

И когда над селениями людей Медного века замелькали драконы, когда — неизвестно откуда — на города начали накатываться чудовища — тогда позвал Гипноса.

— Найди своего брата, — сказал я ему. — Пусть передаст Посейдону: мы хотим переговоров.

Белокрылый, который в последнее время все чаще ошивался на Олимпе, поскреб в затылке пестиком.

— Найти-то можно, Кронид... только вот с чего ты взял, что Убийца будет что-то передавать Эребу — после того, как тот с ним такое вытворил? Или в неверности подозреваешь?

Угол рта чуть приподнялся. Теряю улыбку в последнее время, наверное — царю подземного мира не положено.

— Не тот брат.

* * *

— Не придет, — хмыкает Аполлон. — Эти подземные...

И поворачивает голову, чтобы поймать задумчивый прищур Таната Жестокосердного. Который стоит от Аполлона за два шага и желает знать — что там не так с подземными?

А по правую сторону, за два шага — Гипнос. Обложили Аполлона со всех сторон.

Аполлон кривит губы. Аполлон полагает, что достоин лучшего места — не кто-нибудь все же, а почти что Владыка Морской! Вполне может стоять рядом с Зевсом, а приходится — торчать неподалеку от золотого трона, в компании других детей Зевса... и всяких разных подземных.

А неподалеку от Зевса стоит Ифит — олицетворение моря, гиматий пеной белоснежной вышит. Еще стоят Сила и Зависть — сынки подземной титаниды Стикс.

И сама Стикс — в черном доспехе, будто на войну собралась. Серые глаза сверкают грозно.

Должен бы быть еще Климен — свергнутый царь Олимпа. Да он ведь теперь — Странник, вот и странствует не пойми где. Может — далеко, а может — в зале за спинами, не разглядишь.

— Придет, — шепчет Гермес и от нетерпения взлетает на пару локтей на своих сандалиях. — Гипнос говорил: непременно придет...

Ну, конечно, придет. От торжества над противниками не отказываются. Противники отказались меряться силой! Запросили переговоров, торговаться полезли! Тут не просто пойдешь — опрорхотью пролетишь, вон, шаги в коридоре — дробненькие, будто смешочки...

Распахиваются двери. Щурятся глазки — мутные заводи в рыжих ресницах. Польшают, отражая золото зала, реденькие волосы — как у полинявшего лиса.

Ты явился, наконец, Мом Правдивый Ложью. Выступил на свет перед всеми — после того, как так долго свивал длинную, черную нить, ведущую в Подземный мир. Прошагал по коридорам — не кривляясь, важно и мерно: не кто-нибудь идет — сын будущего Владыки Мира! Только вот уже в тронном зале не утерпел — выдал прежнюю натуру. Подмигнул Аполлону — мол, извини, не вышло. На Ифита бросил взгляд искоса: видались? Нет, с тобой не видались, а с матерью твоей пришлось. С удовольствием перещупал глазами всех остальных в зале, а потом и до Таната добрался — расплылся в паточной улыбке:

— Радуйся, брат! Мало работы сегодня? Или без крыльев не успеваешь? Так я могу, если надо, передать — вдруг да обратно приделаете, у вас же мастера тут...

Молчание в ответ. Гестия касается локтя своего жениха: не нужно, слышишь, не нужно... И Убийца вместо лезвия меча шлет вперед только взгляд — с размаху.

Только что этот взгляд Мому Злонравному! Вон, ухмыляется, рассыпается в извинениях:

— Ах, простите-извините, Владыки, с родственником заболтался — давно не виделись, да и кто знает, когда придется... Хайре, о Великий Зевс! Скажи, величать ли мне тебя Громовержцем? Сестрица Осса-Молва утверждает, что Громовержцем нужно величать другого — того, у кого стрела... Хайре, о Ифит-Кифаред, хайре!

Мом измывается. Ломает гнусную комедию, кажется даже — вынуждает ударить, да что там ударить — в Тартар себя забросить!

Эй, три царя — прежний, нынешний и будущий — не хотите ли посланца оскорбить и потом с его господином побеседовать? А еще лучше — с войсками этого господина?

Не хотим.

— С кем же мне здесь разговаривать, о великие? С кем переговоры вести? Тут... понимаете ли, глаза разбегаются. Может, уж на трон кто-нибудь сядет, чтобы полегче-то было? Или жребий бросите?

— Со мной.

Выскочил все же из роли вечного шута — дернулись губы, ноздри раздулись... Зашмыгали мутно-болотные глазки: как поддеть? Над чем подшутить? Хитон вот небогатый, серый, да и гиматий темный, как на траур, да и венца не видать (вместо венца — седина влезла в волосы, я ее и не просил — а влезла).

— Можешь повыламываться еще, сын Эреба. Найди себе мишени для насмешек. Я подожду.

— Да где нам уж, — зазубоскалил, заюлил льстиво, — где нам уж, маленьким. Ох, не гневайся, Климен Мудрый, Климен Странник. Я только... ходят вот слухи, что тебя свергли, а переговоры с тобой... или ты — не как царь, как глашатай? Тогда, конечно...

А сам — шмыг-шмыг мышами-глазками: не удалось ли рознь посеять? Зевс призадумался, Ифит... а, что Ифит. Морской, наверное, песню новую сочиняет. Только вот у Климена Милосердного физиономия какая-то уж слишком безжалостная, а ухмылка — того хуже.

— Тебе, верно, забыли сказать, что я нынче тоже Владыка. Владыка подземного мира, имеющий на него законное право. Проверим мое право, Мом, сын Эреба?

Ответить Мом Эребид не успел. Безмолвный приказ царя — я хорошо научился приказывать за годы на троне! — острым ударом подсек коленки послу Эреба — и тот с размаху ткнулся носом в пол. Второй приказ придавил спину, прижал, притиснул к полу.

Нерадивого раба — перед царем.

— Может, мне поискать еще доказательств, сын Нюкты? Ты, кажется, любишь

забавлять народ — не хочешь ли сплясать? Или предпочтешь извиваться на этих плитах, показывая срам? Мы посмотрим и посмеемся.

В болотной глубине глаз подняла головы, распустила капюшоны многоглавая злоба. Зашипела неистово: «Не прощщщу, посчитаюсссь» — пока божок отлипал разбитым носом от белых плит пола, пока ихор утирал.

Выплеснуться вовне, отравить воздух злобе мешал страх.

— Ты мастер доказывать... Владыка. Своему брату ты тоже хочешь что-то доказать?

— Не доказать. Предложить, — развел руками, делая шаг вперед и перекидываясь — из Климена Криводушного в Климена Милостивого. — К чему он хочет идти на нас войной? На нашей стороне немало славных бойцов. Потери понесут все. Разве не проще поступить разумно и договориться?

Смешок запрыгал у Мома в глотке — вырваться побоялся.

— Ты отнял у Посейдона вотчину, которую сам ему отдал. Изгнал его и вынудил искать помощи на стороне. Что теперь ты хочешь предложить ему?

Мом Злонравный все же не может без лжи. «Твоего брата больше нет», — сказал Танат, прозвучало в смешке Гекаты. «Твой брат еще здесь, — лживо глядит из глаз Мома. — Он тут, ты воюешь с ним».

Только вот я бывший ученик Аты и различаю ложь издалека.

— Мир за мир, — получилось двусмысленно. — Пусть поклянется не посягать на небеса и землю. Не начинать войны. Взамен я откажусь от владычества и отдам ему подземный мир в вечное владение. Я поклянусь никогда не выступать против... брата и против подземных владык. Я поклянусь в этом Стиксом.

Глаза у Мома Правдивого Ложью сперва полезли из орбит, потом блеснули алчно. Будто лис курицу увидел: такое предложение! Вотчина отца — с Вратами Тартара, со всеми подземными богатствами, со всеми ратями чудовищ! — возвращается обратно. Да что там — в руки плывет! Да что там — еще и основной противник, единственный противник с дороги сам убирается. Что, у этих Кронидов настолько все плохо?!

Хуже некуда, — отвечаю я глазами. Хуже некуда. Мы не готовы к войне. Даже не так: мы ее не хотим, мы же не с кем еще не воевали по-настоящему, я всегда успевал предотвращать... Я готов на все, чтобы ее избежать — даже на то, чтобы оплатить это такой ценой. Меньшее зло — отдать подземный мир в руки его создателя, накинуть вечное ярмо рабства на всех жильцов, от чудовищ до Гекаты... и этим спасти Олимп и море.

Два царства — за третье.

Мир на земле и в воде — за подземный мир.

Легкий шепот ночной птицей скользит между присутствующими. Одобрительный — у олимпийцев и морских: да и правильно, войны не будет, в подземном мире сядет Посейдон, почему нет? Подземные глядят пораженно, сурово, обвиняюще. Гипнос губами шевелит — слова связать не может. Стикс кромсает леденистым взглядом, ее сынки костяшками скрипят...

Подлость — тяжелый груз. Вон, аж Мома пришибло: не ожидал, что я так откровенно... Да, Правдивый Ложью, я откровенен, я очень откровенен. Разве не подлость — драгоценное качество Владык? Получи: я олимпиец и ценю подземный мир куда дешевле, чем небо и море. И потому готов заплатить им — и еще своим невмешательством в то, что будет творить в нем Эреб.

Я готов укрыть Эреба за лучшей из клятв. Оградить его от себя черной, ледяной стеной

Стикса — как тебе такое?!

Очень даже. Мом кивает — понимаю, как же. Олимпийцы... вы все такие... олимпийцы. К такому-то подлецу даже уважительно обращаться хочется.

— Я передам твое предложение... о Мудрый. Что еще?

— От своего брата я потребую той же клятвы. Клятвы, что он не пойдет войной на небо, землю и море.

Ага, ага, кивает Мом. Посейдон уже точно никуда не пойдет. Посейдону через пару месяцев уже вообще ничего не надо будет — сколько там того Посейдона теперь осталось?

А потом, когда его не станет совсем — мы и посмотрим.

— И это я тоже передам... о Мудрейший. Хочешь ли ты передать еще что-то?

— Такие договоры не заключаются через посланцев. Если Посейдон согласен с моим предложением — пусть явится во дворец отца к горе Офрис. И мы скрепим наш договор клятвами и пиром, как того требуют традиции.

«Ну, так я и знал», — цветет на физиономии у посланца Эреба. Вот ведь коварный Климен — собирается выманить Первомрак к Офрису, когда тот совсем не собирается с ним лицом к лицу встречаться. Ага, сейчас. А такое видел?!

— О хитрейший! Но кто может поручиться, что это не ловушка?!

— Поручусь я. Я клянусь, что не подниму руку ни на своего брата, ни на подземных Владык, когда они придут во дворец к Офрису. И никто из зримых или незримых не посмеет сделать того же.

Мом Правдивый Ложью вскидывает бровки — сейчас недоверие выкажет. Но тут падает последнее, неотвратимое:

— Стикс, услышь мою клятву, — и все возражения застревают у божка в горле.

Льется, медленно падает ледяная вода из черной чаши в руках древней титаниды. Сама титанида смотрит пристальным, судейским взглядом: клятва принята. Нерушимая, вечная клятва, вернее которой нет — и значит, Посейдону или Эребу ничего не грозит во дворце на горе Офрис.

И значит — Мом Правдивый Ложью, пораженный и с расквашенным носом донесет мое предложение до Эреба — самое лучшее, самое соблазнительное предложение, я ведь так хочу мира, что готов за него отдать целое царство...

И значит, мы с моим бывшим братом заключим договор. И я куплю мир.

Ценой меньшего зла.

* * *

Не хочу никого видеть. Смешно — видеть-то как раз нужно. Распоряжения отдавать, планы строить. Приказывать — что да как. Но у меня это началось с того дня, как от Эреба пришел ответ: он согласен на договор (еще бы он был не согласен, когда я Стиксом поклялся). Тогда вдруг оборвался стук сердца, наступила глухая пустота, а потом я понял, что никого не хочу видеть.

Хочу только — сидеть с закрытыми глазами, различать оттенки темноты — может, хоть Ананку свою услышу...

Нет, молчит, недоуменно как-то. Раньше я думал — если я ее любимчик, то она со мной как-то чаще и разговаривать будет.

Видно она, наподобие одного мечника, считает, что слова — это шелуха, только вот как

разговаривать с Ананкой взглядами?!

Это что-то уж совсем сказочное — из песен аэдов, перешептываний, которых теперь стало куда больше. Из сплетен.

Спасибо еще — Эреб отозвался быстро, Зевс и так устал отвечать — почему договор буду заключать я, а не он. Потому ему есть чем платить, — отвечал Зевс. Потому что старше. Потому что мудрый.

В последнем все были полностью уверены — что на Олимпе, что на поверхности. Сам Зевс качал головой — как ты их... И с клятвой. И с малой ценой — с подземным миром (да пусть там как хочет, так и правит в подземном мире, лишь бы к нам не лез). Мудро, брат, мудро...

Мудро, дядюшка, мудро, — напевал Аполлон, шептал Гермес, бормотал Гефест. Гера — и та ляпнула это словечко.

Ифит, правда, прятал глаза. Жалостливый.

Да еще Гестия плакала, но с ней я почти не виделся — потому что и не хотел никого видеть.

Гипноса, например, особенно не хотел — а белокрылый все же шастнул, сообщил мне, что я сволочь.

— Откупился нами, значит, — прошипел сквозь зубы, удивительно похожий в этот момент на близнеца. — Да если б я знал...

Стиснул чашу так, что она треснула, махнул рукой — и больше на Олимп носа не казал. Видно, полетел подземных предупреждать о моем неизмеримом вероломстве. Могу себе представить, что начнется в подземном мире — кто на сторону Посейдона переметнется, кто начнет искать способ отомстить Кронида и внешнему миру...

Ехидна, например, каких-то новых чудовищ сходу нарожала, а Геката потихоньку новые яды принялась изобретать — это мне уже племянник-Гермес нашептал, который мотался в подземный мир по моим поручениям.

Я сам не ходил: смаковал последствия своего решения. Слушал — слухи распоясались, Осса-Молва тоже предвкушала скорое владычество Эреба и пустилась во все тяжкие. Чувствовал — сладкое олимпийское вино, которое становится кислым во рту, и запах благовоний и фруктов, и пронизывающее весь дворец возбуждение: скоро — малой ценой, меньшей кровью, за нас... Быть обмену! Клятва!!

Быть обмену. Малой ценой. Меньшей кровью. Подлостью. Вероломством.

И над всем — клятва: страшная, нерушимая, и скоро пора к Офрису.

И никого не хочется видеть.

Сегодня — а это уже сегодня — пришлось разве что с Убийцей перевидеться. Разговора не вышло: я не разговаривать шел.

— Ты говорил, что должен мне, — сказал я с порога. — Мне нужно от тебя две вещи.

Две вещи — требование и просьба. Для всех — и для меня.

С Ифитом я еще раньше поговорил, с Герой — не стал: трудно говорить с тем, кто слишком хорошо тебя знает. И все равно ведь увидимся: жена, как и остальные, будет там, на Офресе...

Уже там, на Офресе. Туда, наверное, даже слуги сбежали. Посмотреть на великую мудрость — как я навеки отдам подземный мир за небо и море. Аполлон отбыл, я слышал, Зевс — еще раньше: там же нужно все обустроить для торжественной встречи с якобы братом.

Может, Афродита осталась, или Гестия — не знаю. Сижу у себя в покое и готовлюсь шагнуть на Офрис — шлем под локтем, так и подмигивает: исчезнем, да?

Зевс полагает, что мне придется исчезнуть после этого решения. Потому что вызвать на себя гнев всех жильцов всего подземного мира — это не шуточки. Брат даже предлагал помощь (а то там Геката, да и вообще, народ мстительный).

— Я уж как-нибудь сам, — ответил я. И сейчас вот сижу — безмолвно спрашиваю шлем: хочешь — исчезну?!

И не отвечаю, как и куда. Может, в страну невидимок: мне видеть-то никого не хочется. Кроме, разве что...

— Дядя... я не вовремя? Да?

Ты всегда вовремя, Ананка моя. Смешно: знал же, что во дворце, мельком вот любовался... всё не мог выбрать времени, поговорить. Хорошо еще — Ананка мудрая, пришла сама.

Опять накинув капюшон, из-под которого так и просятся на волю медные пряди. Опять — отчаянно краснеющая, так что мне даже и любопытно: а под плащом-то и на этот раз столько же одежды, сколько тогда, в пещере?

Хаос знает, что за мысли перед Офрисом в голову лезут.

— Я... хотела раньше, но все не получалось. Сначала мама, потом Афродита, и... все говорят: ты так занят, у тебя же эти переговоры, Посейдон...

— Для тебя я всегда найду время... дочь брата. Может быть, ты хочешь еще о чем-то попросить меня?

Наверное, я пугал ее. Слишком пристальным взглядом, слишком вбирающим... как там говорят — два Тартара, не глаза? Может, так. Но она всё краснела, не сразу вспомнила — вот, капюшон откинуть надо... глаза прятала, будто, как в прошлый раз, стояла передо мной обнаженной.

— Попросить? Нет, как я... ты и так столько всего... лишь поблагодарить. Я же знаю, что все это ты — что ты просил за Аполлона, хотя Зевс хотел судить его... и за наш брак ты тоже просил... Ты примешь от меня дар?

Во рту пересохло: вспомнилось — падает плащ с белых плеч, раскидываются волосы, скрывая грудь...

— Такой же, как ты предложила мне в тот раз, племянница? Ты играешь с огнем.

Я ведь знаю, что мне предстоит сегодня... я же могу и согласиться.

— Тетушка Гестия играет с огнем всегда, — ответила Кора тихо. — И ей ничего не бывает. Я помню, что ты не взял тогда то, что я предлагала... и приготовила другое. Вот: я сама придумала, как это должно выглядеть, а Гефест сделал...

Фибула для плаща — половинка граната. Мигают полупрозрачные алые зернышки — цвет крови и форма слез, ах, какое сочетание. Фибула чуть подрагивает на девичьей розовой ладони, и гранат кажется живым, только очень маленьким — вот-вот соком истечет.

— Говорят, гранат — символ твоего мира. Того, куда ты... где ты... ну, который ты... Мама рассказывала мне: Гея проросила там гранаты на крови своего сына — Офиотавра. И мир принял эти деревья — они заплодоносили там, во тьме и пламени.

Знаю, видел. И неспешно беру брошь с твоей ладони, моя Ананка — каменный гранат, символ крови Офиотавра, ягненка на алтаре чужой игры, жертвы. Беру медленно, стараясь продлить прикосновение. Глядя на твое вспыхнувшее лицо.

— Спасибо... дочь сестры.

Я предпочел бы еще один поцелуй, но это уже — много. Много — даже видеть тебя сейчас, перед тем как мне идти на арену. Перед тем, как...

Гранат на ладони хранит тепло ее руки.

— Я еще хотела сказать тебе, что я не верила. Когда Аполлон говорил: нужно бежать... рассказывал, как ты жену бичевал, я всё равно... знала, что все не так. И я просила его — не ходить, не поднимать бунт. Он не слушал, а я не знала, как остановить его... мы даже поссорились, и когда я вернулась к матери — я думала принести обет, стать девственной богиней...

Слова — несвязные, как мои мысли. Падают, падают... Значит, ты не принадлежишь Аполлону — где же твоя любовь к нему? Ты шепчешь: «Я боялась, я так боялась» — и я вижу, что боялась не только за Аполлона... правда? За меня?!

— И я знаю, что они опять все ошибаются, Владыка... дядя. Когда думают, что ты отдашь подземный мир Эребу. Они все ошибаются, ты не такой. Только мне кажется, что ты... сделаешь что-то страшное. Скажи, это так?

Что же ты делаешь, стрела моя, куда же ты целишь, я — так много лгавший в своей жизни — совсем не могу тебе лгать, когда ты так близко, с горящим румянцем на щеках, с красными от бессонных ночей глазами — неужто ты тревожилась за меня и не спала?

Хочется в это верить.

— У тебя доброе сердце, Кора. Но иногда даже то, что кажется страшным — малая цена. Малая кровь. Тебе ли не знать этого — ты собиралась бежать с Аполлоном, несмотря на гнев Зевса, а возможно и мой. Разве не малой ценой за любовь тебе казались любые лишения?

— Так ведь то за любовь...

Спрятала глаза — воин в медном шлеме волос. Вскинула снова — глядя пронизывающим взглядом.

— Ты странно говоришь... дядя. В прошлый раз ты говорил: у Владык не бывает любви.

— Да. Я больше не Владыка. Спроси кого хочешь — я свергнут с Олимпа, и даже подземный мир я обещал Посейдону.

— И значит, ты теперь можешь...

— Могу, — сказал я спокойно. Вдруг стало легко, и покатило в неведомую пропасть — предназначение, решения, сложные пути. Жаль только немного — я не Крон, не могу длить мгновения вечностями.

Например, это: она смотрит мне в глаза, наклонилась — как стрела, готовая лечь на тетиву...

— Что же ты будешь делать теперь, дядя... Аид? Когда у тебя нет царства, и ты можешь любить?

— Исчезну, — сказал я почти что весело. — Скроюсь от дрызг Олимпа, войн, пиров... всем нам иногда хочется уйти от своей судьбы, да, Кора? Прими от меня это — если вдруг такого захочется и тебе.

Она вскинулась непонимающе, когда я положил ее ладони на шлем. Хотела было протестовать...

И в этот миг я прижался губами к ее лбу — услышал аромат цветов в волосах. Отвернулся, легко шагнул, чувствуя, как греет плечо фибула в виде граната.

Не в коридор. Не в соседний покой.

На Оффрис.

* * *

Гранитные пещерные залы — в десять ростов, задерешь голову — потеряешься. Грубые колонны. На барельефах — Крон, оскопляющий отца.

Дворец не был достроен, когда я сверг Крона и воцарился на Олимпе — и я приказал отделать его хоть как-нибудь. Как знал, что пригодится.

Главный зал — разбавленный факелами полусумрак, сыроватый и настороженный. Эхом отдаются шаги.

Мои шаги — легкие, спокойные. Будто и груза за плечами нет. Так, наверное, настоящие цари ходят. Те, что легко и без колебаний кидают тысячи жизней на алтарь. Те, что отмахиваются — да ведь это же только жизни из подземного мира, чего там!

Те, что готовы продать и предать всех и вся, кроме себя самого, и потому так легко разбрасываются клятвами Стиксом. И все знают: такая клятва нерушима. Ибо себя самого цари предать не в состоянии.

Его шаги — медленные, тяжкие, неторопливые. Шаги того, кто знает: он неуязвим. Облечен в нерушимую клятву, как в доспехи.

Никто, — звучат шаги. Никогда, — отдаются по гранитному полу. Никто, никогда, никогда...

Посейдон нынче — в черном. Посейдона нынче не узнать.

Тьма волос — укрощена, мертво течет на плечи. Тьма усов и бороды обрамляет бледное лицо. В глазах — тоже тьма: густая, многолапая...

Во тьме — торжество.

«Как я тебя, братец...»

Да, брат. Я надеялся на это. Что ты еще — хоть немного ты. Будь Эреб целиком собой — он бы, наверное, понял.

Ты, как и остальные здесь — не понял бы ни за что.

И потому ты идешь с таким торжеством — плечи расправлены, шаги величественны. Взглядываешь на Стикс — свидетельницу твоей неуязвимости. Того, что никто и никогда не нанесет тебе удар.

И свидетельницу того, что я отдаю подземный мир в твои руки.

Тишина. Взволнованное, растворенное дыхание. Жертвенник посреди зала — сложенный из грубых камней, с черной, холодной водой на нем.

Тот, на котором мы сейчас скрепим нашу страшную, нашу нерушимую клятву.

Вот мы сближаемся — и ты идешь без опасения. Встречаешься со мной глазами над жертвенником.

— Радуйся, брат.

Наверное, ты сейчас выглядишь куда царственнее меня: я одет как странник. Хламис дорожный, простой хитон... фибула только — гранатовая.

Кровью запеклась на плече.

Вязкие, ледяные воды застыли в чашах. Ждут наших слов — скрепить нерушимыми узами. Воды, которых так боятся бессмертные, которых так боишься даже ты, о Первейший, что ты поверил, что я готов отдать мир, только чтобы не окунуться в эти воды.

Ты, как и все, поверил, что я поступил мудро.

Прости. На самом деле я поступил безумно. Характер скверный, наверное.

— Я готов принести клятву, брат, — кривятся в улыбке губы бывшего Посейдона. — Где же жертва, которой мы скрепим ее?

Сейчас будет. Я обещаю тебе, мой средний: сейчас будет.

Прости меня, брат.

Я собираюсь купить мир для всех. Для неба, земли, подземелья.

Малой кровью.

Ты ждешь от меня ответа — и вот он: блещет холодным огнем в правой руке. Мелькает — легкий, давний подарок Левке, отданный сыну и призванный ненадолго в час надобности...

Вонзается в грудь.

И ты падаешь на колени, бывший брат. Смотришь с недоумением, а потом с ужасом на меня снизу вверх. На Климена Криводушного. Климена Вероломного. Климена Клятвопреступника.

Сломавшую самую страшную из Клятв, будто хрупкую веточку.

— Что... ты... делаешь? — шепчешь ты голосом Посейдона, не Эреба. Глядя в мои глаза, которые ничего тебе не подсказывают.

— Жертву приношу, — деловито отвечаю я, и в левой руке возникает второй мой ответ — клинок. Не жертвенный нож — черное, чуть изогнутое, кровожадно напевающее лезвие. Лезвие смерти, после которого не заживают шрамы.

Взятое у владельца ненадолго, с возвратом.

Эй, где крик «Благоговейте»? Нет? Жаль. Такое жертвоприношение намечается.

Брызжет благоуханная кровь — брат брата... слышен тяжкий удар, звук падающего тела. Ихор заливает плиты, и на алтарь падает голова Посейдона — рот яростно приоткрыт, глаза распахнуты, будто в колесничной гонке кому проиграл.

А из тела вместе с ихором вытекает черное, многолапое... тьма, яд подземного мира. Стелется по плитам, будто покрывало Нюкты, норовит с собой уволочь, только где ему.

Кажется, великий Эреб что-то орет, отчаянно пытаюсь влезть в каждого из присутствующих. То ли о том, что я сволочь, то ли о том, что я проиграл, то ли о том, что никто и никогда...

Никто. И никогда. Не нарушал клятву Стикс осознанно. Не давал ее с умыслом — чтобы разрушить. Не использовал ее как приманку.

Да, Великий Эреб. Никто и никогда. Подумай об этом там, в своем дворце, где ты скоро снова окажешься спящим. Когда растеряешь силы на... сколько, век? Меньше?

Можешь утешаться тем, что я проиграл.

И остальные бессмертные глядят на меня с ужасом. Мне даже кажется — кто-то кричал из этой толпы, пытаюсь меня остановить. Пригрезился даже вскрик — голосом Кору...

Но теперь — теперь они молчат. Будто меня уже окутывают черные воды Стикса. Будто между мной и ими уже нет ничего общего, будто проложена незримая черта, через которую не шагнуть: девять лет зачарованного, ледяного сна.

И девять лет смертности, из которой еще никто не возвращался.

Может, только на одном лице я вижу не ужас, но уважение. Стикс Подземная прищурила серые глаза — что-то особенное разглядела в клятвопреступнике. Не торопится поднимать руки, напускать ледяные волны. Стоит. Молчит.

— Прощайся, — говорит потом. — Мои воды будут ждать тебя.

С кем прощаться? Я для них все равно что уже исчез. Стал невидимкой на глазах у всех

— вот разве что подойти к Танату Жестокосердному. Протянуть клинок, весь в ихоре несчастного Посейдона — вернуть хозяину. Выбросить из-под век напоминание: клинок был моим требованием. Есть еще и просьба — помнишь?

Дождаться ответного кивка: помню.

И потом обвести их глазами: словно зал ледяных скульптур. Никто ничего не хочет сказать. Никто ничего не понимает.

Потому что этого же просто не может быть — чтобы кто-то отдал вместо чего-то — себя. Собой заслонил подземный мир!

Молчат кифары у Ифита и Аполлона — с них даже такие песни не просятся...

Всё сказано. Всё кончено.

Правьте. Живите. Детей рожайте.

Мне — невидимке — пора.

Голова брата провожает меня широко распахнутыми глазами. Наверное, нужно превратить во что-нибудь тело — новое дерево... новое море. Зевс догадается, не маленький.

Да и на Олимпе все как-нибудь устроится, а в подземном мире...

Что в подземном мире?

Они стояли, понунив головы. Молчаливая, полная почтения свита. Кто-то на колени опустил, кто-то бросал цветы под ноги, а кто-то так и черепа — почтение выразить.

Провожали своего Владыку. Оставившего вольный мир — вольным. Променившего его на себя. Поставившего подземный мир вровень с небом и морем.

Надрывный вой в отдалении — показалось, наверное. Может, я иду слишком быстро. Бреду, будто во сне — это Стикс торопит: титанида сдерживает воды собственной реки, и мне некогда смотреть на виноватую физиономию Гипноса, на серьезное лицо Гекаты, пораженное — Нюкты...

Нечего удивляться: никто не мог поверить, что так будет. Я, например, до последнего не верил, что это сделаю. Не скорбите: вам не о ком. Я недолго правил. И больше править не смогу: все ведь знают, что из Стикса не возвращаются.

Был царь, да весь вышел.

Потому вы остаетесь позади — внезапная, молчаливая, хмурая подземная стража. Потому что впереди плещут о берег волны, с которыми мне предстоит свести тесное знакомство. И вот, мне бы сейчас поговорить разве что с одной. С той, которая должна быть за плечами: поселилась там, потому что там все так правильно началось.

Жаль всё же — что так заканчивается.

Наверное, она ушла, чтобы не видеть этого. Ананка моя. Сбежала из-за плеч, бормоча, что я бездарно дрался.

Так что теперь здесь только я. Да еще ледяные, вязкие, черные воды, медленно тянущие ко мне руки в жутковатом объятии.

Обещающие вечную, незабываемую ласку.

Только я, они, да еще...

— Зачем ты солгал? — спросила она, поднимаясь с камня. В руке тускло блеснул мой хтоний.

Губы у неё были искусанными, а глаза — сухими и зеленели ярче драгоценных камней.

Хотел Ананки? Получи, Кронид.

Вот она — рассерженная, обвиняющая... прекрасная.

Ну, и что ты ей ответишь? Потому что всю жизнь лгал, начиная от того самого

пророчества? Потому что моя жизнь дешевле всего подземного мира, потому что я привык — меньшей кровью?

— Ты сказал, что исчезнешь. Но это... — она кивнула на вязкую, ледяную реку. — Это на девять лет. Только на девять лет. Ты вернешься. Ты же вернешься?

— Мне поклясться тебе Стиксом?

Ты не захочешь увидеть, каким я могу вернуться, Ананка моя. Там не только девять лет страшного, ледяного сна — там девять лет смертности. Старости.

Возвращаться мне стоит разве что на поля асфodelей — может, они и примут меня с радостью.

— Не надо клясться. Просто скажи — и я поверю. Дай надежду...

— Надежда прячется где-то в сосуде титана Япета, дитя. В мире ее немного.

И к чему она тебе, Кора? У тебя впереди — свадьба с Аполлоном, счастье, дети... Зачем ты стоишь над ледяными водами, которые уже торопят и тянут руки — к чему просишь меня вернуться?

Есть ли то, ради чего стоит пройти сквозь смертность и ледяные воды — и потом вернуться?

— Ты вернешься, — сказала она, и слезы наконец блеснули в глазах — остро и зло. — Вернешься, потому что я буду тебя ждать. Дни. Годы. Слышишь? Помни, что я буду ждать тебя — всегда буду ждать тебя, потому что я...

Отвернулась на миг — и вдруг шагнула вперед, обвила шею руками, прильнула к губам. Не в невинном поцелуе — в три мгновения — в настоящем, бездонном, сжигающем...

Со странным терпким кисло-сладким привкусом. Моего символа. Гранатового сока.

Алые капли теплы по ее губам. По моим тоже. Вкус клятвы — не ледяной клятвы Стикса, а иной...

— Я твоя жена, — прошептала она, и взгляд ее доверчиво лег под мой: смотри, там ты, только ты, с того самого, первого поцелуя — ты, еще когда я увидела тебя настоящим. Влез, вытолкнул Аполлона — первое, нечаянное чувство, заслонил собой, забрал ее всю. — Здесь, над черными водами, я клянусь тебе в верности. И обещаю ждать. Я не попрошу ответной клятвы: я знаю, что ты вернешься. Я верю...

Черные руки — черные воды пришли от русла Стикса. Потрогали за плащ, подергали робко: пора, сколько можно. И я разомкнул объятия — по-прежнему не зная, что сказать, полный до краев глупым, весенним счастьем, теплом ее рук, вкусом ее губ...

Сделал шаг назад. Еще, еще шаг — повинуюсь зовущим ледяным пальцам Стикса. Почтительным, но неотвратимым.

Моя жена стояла на берегу. Улыбалась мне, только сжимала мой хтоний — пальцы побелели. И взгляд ее был полон весны и танца, в котором я увидел ее в день ее обручения.

«Думай о весне, — говорил ее взгляд. — Она всегда приходит за стужей. В северных краях иногда приходит зима, когда умирает все живое. Но потом является весна и воскрешает землю, и на промороженной почве поднимаются цветы. Думай о весне, мой муж, а весна будет думать о тебе. Думай о тепле, о пении птиц, о поцелуях под горячим солнцем. Помни: я жду тебя, каждый день, каждый час, каждую минуту. Помни... обо мне...»

И я помнил. И улыбался — когда воды Стикса захлестнули лодыжки, и полоснуло раздражающим холодом.

Когда вязкие, как мед, они поползли до колен, а потом — выше, выше, выше...

Когда стали захлестывать до груди — казалось, что фибула-гранат соскользнула ниже, к сердцу, и греет...

Стоял спокойно и улыбался, когда стылые воды поползли по лицу, вбирая в себя улыбку.

Последним, что я видел — были зеленые глаза, глядящие на меня с нежностью.

Потом воды Стикса захлестнули с головой.

И восемнадцать лет — девять в зачарованном сне и девять в смертности — показались глупыми мигами.

МОНОДИЯ. ПЕРСЕФОНА

Света не увидеть Персефоне,
Голоса сирены не унять,
К солнцу ломкие, как лёд, ладони
В золотое утро не поднять.

Илья Эренбург

— Какую свадьбу ты хотела, маленькая Кора?

Разговаривать с собой во снах — дурная примета. Говорят, можно себя же и проклясть. Или сказать слишком многое ночным первобогам, которые прокрадываются в сны даже к бессмертным — смущают...

Только вот она теперь не боится тех, кто живет под землёй.

Темно-зеленый убор, лицо белое и холодное. Двумя неживыми драгоценными камнями зеленеют глаза. Медь волос подобрана в высокую прическу — убор замужней — и эта, вторая, из снов, кажется старше... но не чужой.

— *Пышную, — отвечает Кора во сне в десятый, сотый, тысячный раз. — Какие бывают у богинь. Где у невесты будет алый с золотом убор, такой, что глаз не отвести, и багряный плащ будет мягкими складками падать с плеч жениха, и будут звенеть изукрашенные драгоценными камнями кубки, и песни и пляски будут литься до утра... И будут здравницы, и пожелания многих наследников, и завистливые взгляды тех, кому не досталось такого мужа. Еще будут подарки. На свадьбах богинь бывает много подарков. Расшитых золотом дивных одежд и ковров. Чудесных игрушек ковки тельхинов или Гефеста. Богиням дарят колесницы и коней, и дворцы, и острова, и песни.*

А под утро муж внесет свою жену в свой дворец, и касания его будут горячи, и поцелуи ласковы.

— *У меня была пышная свадьба, — отвечает тогда та, и зеленые глаза полыхают памятью. — На ней хватало вина, которое горчило для меня, и здравниц, которых я не слышала, и подарков, которые были мне не нужны. На моей свадьбе веселились гости. Звенели кубки. И были подарки: остров, и изукрашенные драгоценностями игрушки, и одно ожерелье из черного и белого жемчуга. И были трое — посреди общего веселья: муж, жена и мать жены.*

Все на свадьбе — а эти на похоронах.

Бойся же пышных свадеб, о Кора...

Во сне она смеется в ответ. Холодным смехом, похожим на вязкие воды Стикса.

— *С чего мне бояться их? — шепчет. — У меня не было пышной свадьбы. Совсем никакой не было. Хтоний в руках — вместо свадебного убора. Вкус гранатового сока — вместо сладкого вина. Один его поцелуй — вместо всего остального. Прощальный взгляд уходящего в Стикс — вместо проводов на ложе.*

Тогда та, иная, становится удивленной. Хмурится — не понимает, что за свадьба такая. Потому что, если так начать брак — чем закончится?!

— *Разве даже подарков не было на твоей свадьбе, маленькая Кора?*

— *Подарок был.*

Насмешливые, скрипучие старухи, дочери Ананки-Судьбы. Явились на ее свадьбу — которой не было. Пришли во дворец, когда она стояла перед тронном отца: тот хмурился, мать плакала, остальные отказывались верить... Пришли — и подарили ей имя.

Впервые явились сами в олимпийский дворец. Чтобы бросить ей — расшитое не хуже свадебного покрывала «Персефона».

Убивающая смерть. Уничтожающая уничтожение. Мать заплакала еще горше, богини шептались. Маленькая Кора, жена Аида-Клятвопреступника, молча смотрела на тех, кто свил его нить.

— Что-то уж больно много уничтожения в одном имени, — прохихикала Лахезис.

— Разве она не выбрала раньше жребий весны? — усмехнулась Клото.

— Кого же так сильно хочет уничтожить весна? — прошамкала Атропос.

— Ананку, — сказала Кора, безучастно глядя Мойре в лицо. Видя, как с него медленно пропадает насмешка.

Почему вы так быстро ушли, о вездесущие Мойры?!

— Какую же свадьбу теперь ты хочешь, о маленькая Кора? — шепчет та, иная, из снов. Та, которой тоже дарили имя. У которой была свадьба.

— У меня уже была свадьба. Лучшая, какая может быть. Вкус граната, стоящий всех вин. Один поцелуй, на который можно обменять все ласки.

— Так чего же ты хочешь тогда, маленькая Кора?

— Чтобы он вернулся. И чтобы сгорел поганый свиток той, которая отняла его у меня. И не зови меня Корой больше, слышишь?!

Слышу, кивает та, у которой все началось не очень — зато потом совсем неплохо закончилось. Знаю.

Ты Персефона, как я. Просто меня зовут Персефой Подземной.

А тебе впору зваться Персефой Невидимой.

— Это девять лет, — сказала она матери тогда. — Только девять.

Матери — хотя смотрели на нее все. Отец — сначала изумленно вскинув брови, потом хмурясь. Аполлон — с неверием, почти отчаянием. Гера, бывшая жена, — с жалостью и пониманием. Тетка Гестия — с теплом и ободрением...

Взгляды летели копьями, свистели стрелами, рубили мечами, падали теплыми перьями, сквозили лучами... Не доходили. Растворялись в черных водах, которые окутали ее, будто погребальное покрывало. Заслонялись одним взглядом — его, прощальным.

Который будет с ней всегда.

— ...наш союз скреплен гранатовым соком — символом подземного мира. И когда Владыка Аид вернется — мы сыграем свадьбу.

Кажется, отец хотел что-то говорить. Но тут отворилась дверь — и вошли мерзкие старухи, насмешницы-мойры: высохшие, будто труп в толосе, бело-седые, со сморщенными паучьими пальцами. Вошли, не обращая внимания на поднявшийся гул, на почтительные приветствия, на вставшего с трона Зевса Олимпийского... Вошли — и подарили ей имя.

Она почти не слышала их, провозглашавших что-то скрипучими голосами. Только смотрела — с брезгливым удивлением. Не понимала — как такие мелкие, такие ничтожные могут плести всемогущие нити. Как они могли сплести его нить — и увести ее в черные, холодные воды.

— ... что хочет уничтожить весна? — услышала она наконец — и ответила правду. И могла бы поклясться, что там, на сморщенных лицах, за зыбучей древностью, мелькнул

страх. А потом дочери Ананки ушли, как появились: не глядя ни на кого и не отвечая на приветствия и приглашения. И, кажется, отец опять собирался что-то сказать.

Но тут поднялась, захлебнулась в рыданиях мать. Заголосила, как над покойницей, вцепилась себе в волосы, сорвав с них дорогое покрывало. Плакала о многом: «что же ты наделала, девочка моя», «подземный мир, это же подземный мир», и «лучше бы был Аполлон», и «неужели ничего нельзя сделать»...

— Не нужно ничего делать, — сказала она тихо, холодно, обнимая ее. — Не бойся. Все будет хорошо — это же девять лет, только девять лет...

И не услышала — что ответила заходящаяся в рыданиях мать. Смотрела на отца, который силился принять решение. Тот махнул рукой — наверное, хотел показать, что у новоявленного Владыки Олимпа хватает хлопот и без строптивой дочери.

— Чего ты хочешь... дочь. Персефона? Остаться на Олимпе?

— Быть на Элевсине, где я выросла. Чтобы ждать моего мужа.

И не встречаться глазами с Аполлоном, любовь которого жестоко предала. Колыхнулось изнутри — предательница... И пришло в ответ волной равнодушия: хорошая пара с клятвопреступником.

Отец махнул рукой — пусть будет так. Под присмотром нимф, под присмотром матери... пока не станет ясно, что делать дальше.

Персефона знала, что делать дальше. Ждать.

Ждать — слово вцепилось корнями, вросло под кожу. Вобрало в себя жизнь.

Я готова была ждать вечность, чтобы оказаться в объятиях Аполлона. А нужно — меньше. Девять лет, чтобы увидеть моего мужа.

Девять раз — созреют виноградные лозы. Зацветет дельфиниум. Под жарким летним солнцем будут наливаться колосья, которые потом сожнут смертные. Девять раз наступит лето, потом краткое увядание, когда желтеют и опадают листья...

Весна вот только не придет. Весна затаилась на Элевсине — весна ждет...

Нет больше веселых танцев, и песен с нимфами, и короткого зеленого хитона нет тоже. Темное, длинное одеяние, волосы подобраны, как у замужней женщины, как у теней, которые скитаются по берегам Стикса — все пытаются кого-то отыскать...

— Отец разгневался, — говорила мать. — Он не покарал тебя. Не сказал ничего. Не разгневался: он уже дал Аполлону слово...

— Знаю.

— Девочка моя... куда ты... что ты?! Он же братоубийца, клятву Стиксом нарушил... ты же знаешь, что о нем теперь говорят?!

— Знаю.

Говорят разное — молва услужливо разносит сплетни об Аиде Коварном, Аиде-братоубийце. Променившем брата на подземный мир. Лишившего брата головы над алтарем. Сломавшего великую клятву Стиксом.

Об этом шепчутся нимфы. Всхлипывает мать. Перекликаются смертные в своих селениях. Бормочут в кронах деревьев озорники-ветры, не признаются только — кто нашептал им это.

Ата, когда Персефона спрашивает у нее — что говорят — прячет глазки (каждый раз разного цвета). Склоняет голову, бормочет: «Да всё мы понимаем, просто работа такая» — и бежит, бежит...

Бежит, будто ветер, раздувающий пожар. Разносит ядовитые слова — «коварный»,

«безжалостный», «брата не пожалел». Говорят — Климен Мудрый изменил своей мудрости, говорят — знался с подземными, говорят — Посейдон был прав, собирая войска против него...

Пусть себе, пожимает плечами бывшая Кора. О нем всегда говорили много. И снова исчезает: без шлема, просто бродя по лесам, слушая пение птиц, блуждая по берегам рек, окунаясь в память. В шепот маленькой, несмышленной девочки: «Расскажи мне о нем... мама».

* * *

Журчит ручей. Ароматы цветов омывают лицо и тело. Птицы в полдень лениво примолкли: ждут, когда можно будет пением поприветствовать прохладу.

И только из прохладного грота долетает тихое пение.

Мать расчесывает дочери медные волосы. Напевает тихую песню о муже, которого зовет жена с пира. Мать хотела бы рассказать о подвигах отца, только вот про отца и так поют во дворце все аэды, и все нимфы закатывают глаза и томно вздыхают — о-о-о! Мы об этих его подвигах не будем тебе рассказывать, Кора!

И потому мать начинает рассказывать о подвигах другого. Кроноборца, Странника и Мудреца. Эпохи во плоти, Победителя Тифона... Аида-Стрелка. А несмышленная девочка все подставляет волосы под гребень и жмурит зеленые глаза — так можно представить, что видишь его. Юношу, выходящего один на один со своим отцом, свивающего из пустоты стрелу, выступающего величественно, твердо... («И коза там еще была? То есть как — пришел с козой сражаться с отцом?! Мама, я не могу о таком не спрашивать, как это вообще могло так быть, это ж Кроноборец!»). Странника и воина, пронзившего горло черной беде — косматому, огромному Тифону. Правителя, построившего Золотой Век.

Увидеть бы, думает девочка, воображая себе дышащую величием фигуру. Посмотреть бы — каков из себя, ну, хоть одним глазком, чтобы было потом, что вспоминать — с трепетом. Услышать бы мудрое слово из его уст — говорят, что он всех насквозь видит, вот интересно, что увидит во мне?

— А потом у них с Герой свадьба была: ох, какая пышная! Климен ведь тогда уже сел на престол, а свадьба царя — это... Ох, сколько роз я вырастила, да и других цветов! Больше только на твою свадьбу будет.

Маленькая девочка улыбается — конечно, будет. У неё будет самая лучшая свадьба — так обещала девочке мама.

Еще ей интересно — как это: быть Герой. Супругой Громовержца, к которой не решается непочтительно обращаться даже ее брат, Посейдон. Нет, не той Герой, которая приходит иногда к матери — утешать после измен отца. Та — близкая, знакомая, спрашивает о танцах, рассказывает об олимпийских пирушках, о том, у кого какие сыновья родились... Другой Герой — которая... которая с ним.

С далеким, великим, таинственным. Неуловимым. Которым гордится Афина: мудрый правитель! О котором говорит Артемида: ух, как стреляет!

...которого свергнет сын.

— Ох, — шепчет мать, торопливо зарываясь гребнем в волосы дочери. — Ох, когда же это кончится...

Дочь — уже не такая маленькая девочка — отстраняет гребень, отстраняет

материнскую ладонь. Смотрит с тревогой:

— Мама, это пророчество — оно разве обязательно должно...?

Мать отворачивает заплаканные глаза и не хочет говорить, не хочет отвечать, не хочет рассказывать о пире, молва о котором разнеслась далеко за пределы Олимпа: о пире, на котором Звездоглазая Рея предсказала: Климена Мудрого свергнет сын.

Мать боится, только не говорит — чего. Кора знает. Говорят — Крон сошел с ума, когда его ударило тем самым страшным пророчеством. Готов был глотать своих детей и истреблять чужих. Гнался за Реей по всему свету, чтобы отыскать и уничтожить свою судьбу — и все равно не избежал её.

Мать плачет и боится повторения. Боится за сестру Геру, которой придется бежать на край света от мужа. За детей, которым суждено быть проглоченными. Боится, что обезумевший Климен начнет выжигать нивы и жизни смертных.

— Мама, не бойся, — шепчет Кора и гладит мать по вздрагивающим плечам. — Он не будет так, он не станет... он не такой.

Почему — не такой? Наверное, потому что очень этого хочется. Потому что когда очень веришь, что кто-то — самый лучший, самый мудрый, самый-самый — не можешь поверить в то, что он будет глотать детей.

— Лучше б его проглотили, — будет потом повторять Афина. Мрачнейшая — чуть только речь заходит об Аресе. С удовольствием описывающая: ха, опять показала этому мальчишке, кто лучше владеет мечом. Или копьем. Или чем угодно. Мудрая презрительно кривится, едва только речь заходит о том, кого называют Клеймом Кронида, бросает слова сквозь зубы — «задира», «глупец», «вздорный неумеха». Иногда даже — «подарочек Мойр».

— Как представляю, что такое будет нами править, — цедит дочь Метиды, с ожесточением затачивая меч. — Иногда думаю — не податься ли жить под землю.

— Мать сказала — меня за него посватают, — шепчет Кора испуганно, и чувствует, как комок подступает к горлу, хотя все слезы уже вылились росой в траву после слов матери. Потому что нельзя, неправильно — выйти за того, кто свергнет Климена Мудрого, того самого, не глотающего детей.

Потому что есть другой, с золотистыми волосами, с улыбкой, на которую хочется смотреть вечно — Аполлон...

Афина бросает острый взгляд. С лязгом задвигает клинок в ножны. И Кора добавляет, давась слезами:

— Мама говорит — отец хочет, а я...

— Что ты? Будешь царицей Олимпийской.

Глаза у Афины закрыты, спина прямая — прислонилась к древесному стволу. Упрямую черную прядь ветерок колышет.

— Твой отец мудр — он решил породниться с будущим правителем Олимпа. Хорошее решение. Ну, а что тебе достанется такое сокровище... говорят, у подземных — и то жены есть.

Артемиды сводит брови, толкает подругу под бок — что это ты, Мудрая, совсем подругу перепугала. А ну, прекрати!

— Так страшен?! — всплескивает руками простодушная Левкиппа.

— Да нет, — говорит Афина как бы нехотя и через силу. — В общем, не такой и урод. На отца похож.

— Ну, ладно тебе! — отмахивается Иахе. — Красавчик же — глаз не оторвать! Кудри —

смоль, глаза — будто покрывало Ньюкты... Ах, сестры говорят, если уж глянет на кого — никуда не денешься!

Я денусь, думает Кора. У меня есть другой — глаз не оторвать. Которым полнится сердце — через край. Которого не сравнить... не сравнить ни с кем. Мой кифаред, мой стрелок, мой...

Иахе заливается колокольным смехом, а Афина мрачнеет еще и выбрасывает сквозь зубы:

— Ну да, Афродита же с ним как-то ладит. Впрочем, если тебе понадобится помощь, чтобы отогнать Афродиту — зови, я всегда с радостью.

Кора улыбается — совсем чуть-чуть. Представляет: вот суровая Афина носится за томной Афродитой с копьём, доказывая — как не надо красть чужих мужей. Хотя нет, пусть бы и краля. Пусть бы забирала Ареса насовсем, становилась царицей, почести принимала.

Потому что — никогда она не позовет Афины — отогнать Афродиту от ее мужа. Потому что ее будущему мужу не нужна Афродита. Никогда она не выйдет за Ареса Олимпийского, которому предсказано свергнуть своего отца. Уже была роковая встреча: ее танец прервался его зовом, а потом она слышала песню, и поняла, что это только для нее. И в сердце уже пророс золотой бутон, поднявшийся из песен, и его взглядов, и ласковых касаний, и коротких свиданий, и почти уже родившейся веры в то, что они с ее избранником — Аполлоном — будут вместе...

— Я хотел свататься, — растерянно скажет он ей на следующий вечер. — Но отец сказал мне раньше. Сказал...

— Мы не расстанемся? — спросила она испуганно, и он бросился уверять, что ради нее готов пойти на край света, готов похитить ее, готов свергнуть отца, готов на что угодно...

Тогда она успокоилась и подумала: никогда. Ей не быть женой того, кто свергнет Климена Олимпийского.

Увидеть бы раз.

— Отец не изменит своего решения, — шептал Аполлон, целуя ей руки. — Нужно бежать, бежать...

— Нужно идти не к отцу, — прошептала она в ответ. — Идти к нему.

К нему, — отозвалось непонятным трепетом сердце.

Она коснулась струн кифары Аполлона — и те откликнулись грустным мелодичным переливом.

— Спой мне, — шепотом попросила тогда Кора. — Спой... о Климене Громовержце.

После слушала песню о том, кого предстоит просить. Другую песню, непохожую на те, что пела мать. О безжалостном карателе. О мучениях Прометей. О царе, гнева которого боится даже Гелиос-солнце, о том, как перед его тронem боятся даже дохнуть... Слушала — и понимала: ее возлюбленный тоже боится. Наверное, как и отец. Наверное, как все.

Почему же мне совсем не страшно идти к нему?

Наверное, потому что — к мечте, к песне, к сказке... идти не страшно.

— Я пойду к нему...

— Опомнись, любимая!

— Я пойду к нему и буду его просить.

— Он разгневется... откажет...

— Я буду просить его так, что он не откажет.

Аполлон вздрогнул тогда, как от пощечины. Понял — о чем она. Наверное, даже понял

— что она тайно хочет, чтобы он удержал, сказал бы: нет, я тебя похищу... заслонил бы собой.

Только куда можно сбежать от гнева Громовержца? Отыщет везде, настигнет... покарает.

— Иногда мне кажется — ты больше воин, чем некоторые лавагеты, — проговорил кифаред глухо. Кора промолчала — теперь ласково поглаживая его лук. Стрелять ее учила Афина и Артемида, и тетка Гера тоже — приговаривая что-то про летающих повсюду птичек.

Выходило плохо, но Афина говорила верно: «Оружием может быть что угодно».

Например, танец.

Легкий полет на лужайке — тот, что сразил Аполлона хуже стрелы (ее избранник десятки раз пел ей об этом). Полудетский, свежий, утренний танец в коротком хитоне, в траве.

Или другой — вечером у Парнаса, в струящемся зеленом уборе, когда птица распахнула крылья, когда всё летает и кружится перед глазами, и ты обращаешься в медное пламя, и только губы дрожат и шепчут неведомо что: «Я — стрела... стрела... стрела...»

Когда черные глаза Владыки Олимпа ловят тебя, будто птицу в силоч, будто стрелу — в мишень, и не отпускают.

И его взгляд — тяжелый и неотступный — пронизывает насквозь, и забирается под кожу, и затягивает в себя.

И эпоха обрастает плотью: сидит возле отца в тяжелом, расшитом золотом гиматии, черные с проседью волосы струятся на плечи. И оказывается, что у эпохи острые скулы, широкие плечи...

Эпохи, оказываются, бывают красивыми. О Хаос, все встало на свои места: я — царевна, он мой дядя — прославленный в веках, но все же, и он смотрит так, что я почти не боюсь того, что будет этой ночью.

Ну, может только чуть-чуть.

Возьми мою жертву, дядя — мне же не зря становилось душно от снов в последнюю неделю. Я уже почти забыла, что за тобой — Олимп и величие Громовержца, здесь, в этой пещере, так легко об этом забыть, когда я вижу тебя совсем близко, и когда на тебе нет расшитого золотом гиматия, и волосы у тебя взъерошены, и усталый взгляд... Я просто дрожу, потому что мне еще не приходилось обнажаться перед мужчинами, потому что говорят, что в первый раз бывает больно, потому что я думала — что будет Аполлон, а будешь ты...

Потому что я готова на все ради своего любимого, поэтому, пожалуйста, дядя, возьми... ты... не хочешь?

Он был не величественен — добр. Не мудр — измучен чем-то. И несчастен — мельком поймав взгляд, Кора поняла это и чуть было совсем не забыла бояться: ей захотелось помочь, согреть...

Согреть Владыку Владык, не смешно ли. Правда, тетка Гестия говорила — всем нужно тепло.

Только вот ему, наверное, нужно было что-то другое.

Он сказал — у Владык не бывает любви, не она ли нужна ему?!

...и тогда губы обжег поцелуй, и на миг она увидела его — настоящим.

— Я представляла тебя другим, Владыка... потому боялась. Теперь не боюсь. Не боюсь

ничего. Будь счастлив, дядя.

Да. Больше я не боюсь ничего. Образ Климена Великодушного, Щедрого, Гостеприимца и Стрелка рассыпался прахом. Собрался в другой.

Воина. Странника. Судьбы.

Я больше ничего не боюсь, мой царь. Только я теперь уже не могу любить Аполлона.

Кажется, я вообще больше никого не могу любить. Кроме тебя. Кажется — думать тоже ни о чем не могу. Кроме как...

— Дядя, когда ты говорил, что Владыки не любят... вы не должны? Или не можете?!

Если не можете — почему ты так смотрел на меня? Не должны — поэтому ты отдал меня Аполлону?

Уважил просьбу? Захотел ей счастья (с кем — счастья?!). Решил отобрать ее у своего сына, отмеченного предназначением?!

Аполлону она так и не сказала. Не хватило смелости, или, может, стояло поперек горла неумолимое «У Владык не бывает любви». Обронила вяло: «Он согласен, я буду твоей женой». Отвернулась — не было сил смотреть в его глаза, видеть вину на его лице.

Он не был виноват.

Виновато было ее сердце. Что не распознало судьбу.

Хотя, может быть, это и есть судьба — быть женой нелюбимого, все равно кого — Ареса или Аполлона?

— Он бичевал Геру за измену, — торопливо шептал Аполлон, а лошади в его колеснице ржали и пытались встать на дыбы — тревожились.

— Ложь, — сказала она, не глядя на него. Тот... Аид бы так не сделал.

— Он безжалостен, я говорил тебе, он не остановится... Сейчас нужно бежать, я знаю, что делать, верь мне — все будет хорошо...

— Верю, — сказала она, поднимаясь на колесницу. Верила не Аполлону — тому, другому, занозой сидящему в сердце. Верила — что он сделает как нужно. Как лучше. Как всегда.

— Ты не смеешь идти против него!

Аполлон смотрел недоуменно. На ее искажившееся черты. На ярость в глазах, на кулаки, которыми она приготовилась что... драться, что ли? Смотрел — не понимая: что сказал? Только и сказал-то, что ей нужно подождать его здесь, в убежище совсем немного, скоро Старший Кронид будет свергнут, всё будет хорошо, успокоить хотел...

— Он жестокий тиран — и ты говоришь мне: не смей?!

— Ты ничего о нем не знаешь! Вы все ничего о нем не знаете, он...

...лучший — чуть не попросилось с губ. Мой — чуть не рванулось следом, испугавшее её.

Аполлон смотрел с веселым недоумением — даже не препятствовал вернуться на Элевсин. Наверное, посчитал это ее причудами, наивностью... или был занят попыткой бунта.

Но ее царь, конечно, сделал лучше. Сошел с трона, отдав его сыну — любовнику жены. Просил за Аполлона и помирил его с Зевсом. Наверное, он помирил бы Аполлона и с Корой только вот она не хотела.

— Ты будешь девственной богиней, Кора, — шептала мать, убирая ее волосы цветами. — Мы будем вместе — всегда-всегда...

Кора кивала, почти не слушала. Только жадно ловила новости: он больше не царь,

пророчество сбылось, но он цел, не в заключении... он отпустил Геру... о Хаос Животворящий, неужели же это значит, что он теперь свободен, совсем свободен, от всего свободен, и значит, может быть, они...

Ананка оказалась безжалостной. Она поняла это, когда пришла увидеть его... ободрить его перед заключением договора с Посейдоном. Сначала думала — лучше после, но не вытерпела. Ей непременно нужно было спросить: значит, ты теперь можешь, да? Раз ты не Владыка — ты теперь можешь любить?!

— Могу, — ответил он тихо, и она наклонилась, выплеснула отчаянную надежду: неужели?!

— Что же ты будешь делать теперь, дядя... Аид? Когда у тебя нет царства, и ты можешь любить?

Ты будешь со мной? — чуть не рванулось из груди безумное, окрыленное надеждой. Теперь, когда ты свободен, ты же можешь...

— ...исчезну.

В пальцах оказалось холодное серебро шлема. Она вдруг поняла: он смотрит на нее прощальным взглядом. И опасения: он не отдаст подземный мир, он сделает что-то страшное — стали явью, когда он прижался к ее лбу горячими губами.

Когда он вышел, она еще долго сидела, глядя на шлем. Потом надела, поняла, что стала невидимой. Подумала: можно ли в этом шлеме уйти от ее судьбы, как он говорил?

— Нет, — сказала тихо, снимая хтоний с головы. — Нельзя.

Потому что моя судьба — ты. А от тебя я не хочу уходить. Я хочу тебя ждать.

Лишь бы ты не исчез совсем. Лишь бы не сделал так, чтобы я не могла вернуть тебя. Лишь бы приговор твоей судьбы, от которой ты так хотел скрыться, не был: вечность...

Если меньше вечности — то можно дождаться. Даже если это девять лет ледяного плена в черных водах — можно дождаться. Даже если девять лет холод Стикса — холод забравших его вод, к которым она потом притронулась неосознанно — будет жить в её сердце и выжигать крупички тепла. Подождать, бродя по берегам забравшей его реки. Уходя в свою память — «Спой мне о нем, мама...» Шатаясь в шлеме-невидимке по чуждому, опасному Олимпу — тенью обегая Аполлона и остальных богов. Забывая о слезах матери, забывая обо всем, будто погружаясь в пучину ожидания, повторяя — это же только девять лет, только девять, девять...

...пока не вспомнишь, что тебе ответила плачущая мать в тот день, на Олимпе.

— Не девять лет, доченька... восемнадцать.

* * *

В тот день она ждала его с полуночи до полуночи — забыв о еде и питье, превратившись в изваяние, если только бывают невидимые изваяния. От вязких, хмурых вод тянуло стылым сквозняком, но она не разводила огня: потом разведет, когда он появится, когда можно будет дать ему нектара и амброзии, и согреть хоть чуточку и сказать: «Царь мой, я же говорила, что буду ждать»...

Стикс катил свои волны издевательски спокойно: в них не шелохнулось ничего, будто они не желали отдавать добычу. Или будто желали скрыть ее от всех.

Другие тоже ждали. Подземные жильцы — своего царя. Отцовская стража — брата, чтобы препроводить во дворец (она слышала, что там и тут вдоль русла Стикса даже случилось несколько стычек между подземными и олимпийцами). Свистел крыльями

Гипнос, шнырял Гермес, над водами реки пролетали то Керы, то Эринии...

Аида не было, будто он решил последовать своему имени. Исчезнуть без шлема.

— Никто не видел, — развел руками Гермес, когда она пришла к нему на следующий день. — Ну, то есть, кто-то, может, видел и врет, подземные же... только и по слухам — нигде видно не было. Тут уж, может, разве что сама Стикс что-то выдумала — только вряд ли она расскажет. Сама понимаешь, ему же еще вторую половину кары...

Вторая половина. Девять лет смертности... старости, отвратительной уязвимости. «Ты не понимаешь! — кричала мать. — Он будет старцем, когда наказание кончится! И даже если он проживет девять лет...»

Если, — выбило сердце с болью. Разошлось не на шутку — не унять.

Если. Если. Если.

Если проживет. Она хотела уберечь его. Напоить амброзией и нектаром. Отдать ему шлем — пусть скроется, смертные ведь такие хрупкие, а врагов у бывшего царя немало. Может, спрятать на краю света, пока не пройдут эти девять лет — она готовилась, продумывала планы, шептала — только бы успеть, увидеть его раньше всех, найти...

Мысль, что его могли найти раньше, что его мог встретить кто-то из недругов, пришла на третий день. И тогда она кинулась к Гестии, невесте Таната Железносердного. Тетка обняла ее и вздохнула:

— Танат не брал его пряди. Брат где-то во внешнем мире, наверное. Я ходила к Стикс, но она только сказала, что сон его кончился, и что начались другие девять лет. И что она постаралась, чтобы всё было справедливым.

Справедливым. Как будто это может быть справедливым — кара после ледяного сна. Скрываться среди смертных, знать старость, болезни, голод, нищету, прятаться от врагов, вдруг ставших такими могущественными — и надеяться: если ты доживёшь...

Гестия, кажется, шептала что-то, пыталась напоить отваром из трав с мёдом. Гладила по плечам — будто ждала, что вот сейчас она сломается, заплачет...

Дождалась кривой, неживой усмешки.

— У подземных свои понятия о справедливости.

Подземным царицам не к лицу слёзы. И к чему слёзы, когда нужно — искать и ждать.

Скитаться по поселениям смертных в шлеме невидимости — надеясь встретить знакомый взгляд.

Искать его среди воинов. В свитах басилевсов. На кораблях среди путешественников.

К чему плакать, когда можно — надеяться?

Надеяться год... два... три.

— Отец приказал тебе быть на пиру, — сказала Деметра.

Кора не подняла головы — смотрела на карту, которую для нее нарисовал покровитель путешественников — Гермес. Пальцы скользили по завиткам островов, гуляли по излучинам рек, легко перепрыгивали через горы. Прытким пальцам хотелось узнать — куда в следующий раз?

Птицей. На материнской колеснице. Как угодно, чем угодно — куда в следующий раз, за тем, кто исчез и кого не найти?

— Ты слышишь, Кора? Отец приказал. Ты долго не была на Олимпе...

Разве вообще была? — подумала Кора недоуменно. Наверное, была. Заходила узнавать — нет ли о нем новостей. Видела этого нового брата — Диониса, или как его? Еще помню, что видела пиры издалека. И говорила с Гестией, если поблизости не было ее подземного.

— И он сказал тебе быть. Быть непременно! Ведь это же всё-таки свадьба...

— Гестии? — спросила она, поднимая все же глаза. В самый раз — увидеть, как передернуло мать.

— Хвала Ананке — нет. Гефест вот на Афродите женится — я же говорила тебе! помнишь — рассказывала еще, как я его отговаривала...

Кора пожалала плечами. Что брат женится на Афродите — она догадывалась и раньше: отец объявил об этом давным-давно, кажется, еще до того как... Только вот все затягивали и затягивали.

Свадьба тетки Гестии откладывалась тоже: все на Олимпе знали, что Владыка Зевс не хочет брака своей сестры с богом смерти. Он не отказывал Танату — не забирал слова, данного прежним господином Олимпа. Но и не назначал даты.

— ...зелёное, прямо как изумруды, а еще цветы для волос — увидишь, какие цветы! Все так и ахнут, говорю тебе — будешь... весной во плоти...

Кора всмотрелась в глаза матери — усталые, с морщинками возле них, тревога в глубине плещется...

Стало вдруг стыдно.

— Я сама выберу себе наряд, — сказала, поднимаясь. — Я не стану огорчать отца и буду на пиру.

Она уже знала, что будет на её наряде. Зёрна граната.

* * *

Пир оказался притворством. Веселье было выхолощенным и принужденным, здравницы — неискренними, золото слишком настойчиво лезло в глаза, а певцы надрывались чересчур уж усердно — глотки чуть только не ссадили.

И гости, усаженные на почетные места, извертелись, не понимая, что не так: почему стол пустым кажется? Почему не сияют искренней радостью глаза олимпийцев?

Провалы, — думала Персефона, пока ее глаза скользили по пирующим. Сплошь пустые места, которые не заполнить другими богами. Я столько раз слышала о настоящих олимпийских пирах, что могу видеть это... чувствовать это.

Какими гостями можно заменить Посейдона? Его буйное веселье, раскаты хохота?

Кем заменишь Климена Стрелка — того, что в черных водах Стикса?

Геры нет тоже: они с ее новым мужем ушли куда-то, а куда — никому не докладывались. Она навещала мать — а вот на пир в честь свадьбы племянника почему-то не явилась.

Нет Ареса — тот, кто теперь уже не Клеймо Кронида — так и остается в своем добровольном изгнании. С похищенной им Афиной — наверное, потому ее тоже нет.

Пустоту за столом не заглушить фальшивыми поздравлениями и превозношениями мелких божков. Потому что и остальные невеселы.

Невеста сидит, надув губки, недовольно поглядывает на жениха — а тот как раз разговорился с отцом о постройке какого-то нового дворца.

Задумчива Гестия. Деметра тревожно поглядывает на дочь... на нее, сидящую рядом со спокойным, отрешенным лицом. В багровом наряде, расшитом по вороту гранатовыми цветами. С волосами, подобранными под сетку с гранатовыми зернами. Не поздравляющую молодоженов — просто молчащую.

Не потому ли веселье Аполлона тоже неестественное, притворное, а его кифара все норовит сфальшивить? А раз невесело брату — то и сестра невесела: мечет в Персефону разозленные взгляды. Смотреть на бывшую подругу — тяжело, можно ненароком вспомнить первую и последнюю ссору. Закончившуюся хлестким, как пощечина:

— Тебе самое место в подземном мире.

Потому лучше смотреть на тех, кто весел: на Гермеса (опять новую каверзу задумал!), Диониса (готов сам обносить всех вином), сестренку Гебу — хохочет, может, хоть она утешит мать... На отца.

Зевс Олимпийский веселее жениха, безмятежнее Диониса. Радужен, шутив, так и сыплет милостями. Подмигивает нимфочкам, понуждает аэдов петь веселее — а то и сочинить новую песню, об этом пире.

Сколько их уже сложили за двенадцать лет? О роскоши чертогов, о щедрости господина Олимпа, о танцах, соревнованиях, о любвеобильности?

О том, как счастливы смертные — теперь ими правит Зевс Покровитель. Милостивый и Всемогущий.

Персефона, правда, не знает, кто из смертных так уж особенно счастлив. Люди Золотого Века, род которых почти сошел на нет во время десятилетия войн и разладов? Пираты ли, грабящие суда? Может, разбойники или нищие? Может, жители павших городов, угнанные в рабство?

Всё может быть.

Аэды, например, полагают — счастье в том, что на Олимп пришли мир и справедливость. И кто она — спорить с аэдами?

Всего только жена клятвопреступника, которая старается ускользнуть от слишком уж пристальных, слишком раздевающих взглядов отца.

От них хочется исчезнуть. Надеть хтоний... его нет с ней, кто же берет шлем-невидимку на пир... но надеть хтоний и пройти невидимой мимо всех взглядов — гневных, жадных, любых. Уйти вниз, к смертным.

Но ведь если нет хтония — есть сад. Бескрайний материнский сад, разведенный Деметрой еще при предыдущем Владыке. И можно проскользнуть в него незаметно, пользуясь тем, что опять начались танцы. Бродить по траве, воображать, что когда-то этих стволов касался и он. Или прислоняться к обомшелым стволам яблонь, представлять, что ты на Элевсине, и вот сейчас сбегутся подружки-нимфы, потащат в круг танцевать, или позовут собирать цветы, или можно, замирая, ждать, когда кто-то бесшумно подойдет сзади, коснется плеча, скажет...

— Зачем ты бежишь, прекрасная? Подожди же, не бойся!

Она обернулась и поморщилась досадливо: нужно было скрываться лучше. Например, чтобы не нашёл Аполлон.

Удивительно: раньше ей нравились его касания — мягкие, ласковые. Сейчас подумалось: вкрадчивые, как у вора. Раньше она не могла налюбоваться на его волосы, теперь казалось: слишком золотые, слишком блестят. Раньше она восхищалась его улыбкой и могла до бесконечности слушать речи.

Теперь улыбка показалась пустой, а речи обернулись роем досадливой мошкары: липнут, жужжат, мешают...

— ...быть рядом с тобою и глядеть на тебя. Неужели разобьешь мне сердце еще раз? Неужели будешь безжалостнее Таната Жестокосердного?

Безжалостнее, — подумала Кора, равнодушно глядя на бывшего возлюбленного. Безжалостнее Таната, жениха тети Гестии. Холоднее его меча. Бессердечнее скал. У меня нет сердца больше — потонуло в черных водах Стикса. Мать говорит — я не вижу цветов, не слышу их аромата. Верно. Передо мной только — река, которая забрала его у меня. И на губах нет больше улыбки — я боюсь потревожить наш прощальный поцелуй.

Она вздохнула тихо и развернулась, чтобы уйти — что проку слушать! Мусaget удержал за руку горячими пальцами, прошептал:

— Ты словно замерзший цветок, о Кора. Кто из подземных околдовал тебя так? Кто заставил позабыть солнце и улыбку? Я знаю — кто. Что ты тешишь себя пустой надеждой? Никто не вернулся из Стикса в божественность. Никто не пережил девяти смертных лет. Ты ждешь тень и сама уподобляешься тени на асфоделевых полях, не замечая, как плачут о тебе живые. О, я знаю, как вернуть тебя в жизнь!

Поцелуй обжег губы внезапно. Похожий на один из тех, которые юная Кора принимала с радостью раньше. Кошунственный, лживый, стирающий с губ сокровище — вкус гранатового сока и их клятвы. Кора рванулась, глядя на Сребролукого, как на решившего ужалить скорпиона. Аполлон не размыкал запястье, держал крепко.

— Уйди, — шепнула она и попыталась разомкнуть его пальцы — все равно что разомкнуть золотые оковы. — Не смей касаться меня. Я его жена.

— Жена тени, — шепнул он, притягивая ее к себе. — Жена свергнутого клятвопреступника, который никогда не вернется. Что за свадьба была у вас на берегу Стикса? Не думаю, что дядюшка успел скрепить вашу клятву до того, как его поглотили черные воды. А значит, ты еще ему не жена. Просто околдована, любовь моя... смотри, твои глаза и щеки уже загорелись. Я разобью чары, и все будет хорошо... нам будет хорошо...

Хтоний, — бросилось опрометью в мысли. Почему она не взяла с собой хтоний, когда могла...

Талию оплели его руки — будто ветви клена, обжигающие поцелуи градом посыпались на шею, на щеки, на губы, она попыталась отвернуть лицо, прошептала:

— Не смей, пусти, я...

— Закричишь? — пощекотал шею шепот ответа. — Никто не услышит. Ты будешь кричать, любимая, очень скоро — от наслаждения, и этого тоже никто не услышит...

А твои крики — услышит ли кто-нибудь, похититель чужого?

Ногти Кору вспороли кожу на его щеке. Зубы впились в запястье. Артемида говорила — жена должна себя защищать от посягательств. Еще говорила — всегда носить с собой кинжал, жаль — его не достать — Аполлон гневно вскрикнул и перехватил запястья. Мотнулась голова — на щеку легла пощечина, и в глазах помутнело.

Затрещала ткань хитона, брызнули гранатовые зерна, плечо обдало ветерком. Мелькнуло лицо Аполлона — перекошенное гневом, с оскаленными зубами, страшное в своей красоте.

Хорошо, когда твой страх тоже потонул в Стиксе.

Афина говорила — кинжал не нужен, просто надо знать, куда бить.

Аполлон тихо охнул — удар пришелся, куда нужно. Разжал пальцы на миг — и Кора нырнула мимо жадно расставленных рук, бросилась за ствол дерева, потом кинулась в глубь сада — спасаясь от крика: «Всё равно будешь моей!», от быстрой поступи следом...

Торжествующей поступи — Мусaget легконогий бегун. Сколько продержалась та несчастная нимфа, Дафна? До того, как понять, что не может спастись, и обратиться в

дерево? Наверное, немного.

Может, нимфе не мешали порванные одежды. Или кусты не цеплялись за ее подол. Или не подкараулил невовремя вылезший посреди дороги корень-предатель. Подвернулся под ноги, швырнул в траву, как на ложе позора: лежи, жди, когда попользуются!

Кора задохнулась, зажмурилась — и успела только взмолиться. К Гелиосу — чтобы не видел этого. К Стикс — чтобы готовила воды, в которые она сама шагнет после бесчестья. К матери — чтобы услышала и обратила ее в дерево, как несчастную Дафну. Потом услышала голос Аполлона — победителя и губителя.

— Убирайся, — сказал Мусагет то, что не должен был.

Наверное, какая-то мольба все же дошла. Кора всхлипнула, приоткрыла глаз — и поняла, что Мусагет говорит не с ней.

С тем, кто заступил ее собой, повернувшись лицом к Сребролукому.

Фигура в сером хитоне стояла неподвижно, так что казалось — между Корой и ее преследователем вынырнула из-под земли ее кость — подземная скала. Танат Жестокосердный не брался за меч. Ничего не говорил.

Просто стоял, словно не услышав сказанного Аполлоном.

— Я сказал — убирайся, подземный, — повторил тот. — Если ты теперь шатаешься по Олимпу — это еще не значит, что тебя звали сюда.

Молчание противника тревожило Сребролукого, тяготило. Кора видела его очень хорошо: вскинул голову, золотые лучи вплетаются в волосы, губы кривятся презрительно... вот, зазвучала как будто кифара в отдалении, кто-то незримый стал напевать о величии светлого бога...

Страшно, — подумала Кора, поднимаясь на ноги из травы. Страшно — потому что он пойдет на всё. На всё, чтобы получить то, что хочет. Он сам говорил мне, еще раньше: я как отец, не остановлюсь, пока не добьюсь своего. Почему я не слушала?

Подземный посланец рядом с Аполлоном выглядел не величественно. Может — потому, что не было крыльев, только дорожный хламис спадал с плеч, да мертво текли на них волосы...

Страшно. Жестокосердного сторонились на Олимпе все, да он и появлялся нечасто, все больше пропадал в своем мире или резал пряди. Иногда только являлся — к Гестии, как ее жених. Кора видела их вместе — два или три раза — и старалась надевать хтоний и бежать подальше.

Страх и страх схлестнулись взглядами. Страх надменный, золотой, величественный. Страх темный, заостренный, подземный.

— Освободи дорогу, — приказал один. — Дай мне пройти.

— Оставь ее, — двумя камнями скатилось с губ второго.

Первый засмеялся — переливчатым, звонким смехом. Наверное, так звенят друг о друга стрелы в кузнице.

— Оставить ее — тебе? Тебе мало тетки Гестии — и ты принялся за других олимпиек? Убирайся к себе в подземелья, Танат Бескрылый! Попытайся приклеить перья на свои куцые огрызки за спиной. Убирайся в свою вотчину!

— Заставь меня... — кажется, чудовище хотело добавить — «бог». Но добавило вдруг другое: — блондинчик.

Кора с трудом сдержала лезущий из груди на волю смешок. Аполлон некрасиво потемнел лицом и взметнул из воздуха лук, накладывая на серебряную тетиву золотую

стрелу.

— Вот мой приказ! Не услышишь его — и он застрянет у тебя в глотке.

Жестокосердный хмыкнул. Полез на пояс, неспешно снял свой клинок. Покачал в пальцах.

— Меч против стрелы? — усмехнулся Сребролукий. Нашел глазами Кору — и встал в еще более горделивую позу. — Я думал, что твой защитник просто нагл до безумия. Или безумен. Но он глуп. Думаю, первую стрелу он получит в плечо — как напоминание того, что быстрее — меч или стрелы.

— Однажды я дрался с лучником, — голос Таната был ровным, едва слышным. — И он стоял дальше тебя... блондинчик. У него, правда, был не серебряный лук, и не было золотых стрел...

— Какие же были? Не малыша ли Эрота и его лук ты решил опередить со своей железякой? А может статья — это были стрелы ковки тельхинов?

— Для его лука не нужны были стрелы.

Коре показалось: пальцы Мусагета вздрогнули на тетиве.

— Чем же дело кончилось?

Железносердный пожал широкими плечами.

— Он бездарно дрался.

Когда полыхнула в воздухе стрела — Кора не заметила. Показалось — солнечный блик прыгнул с пальцев Аполлона, рванулся вперед — быстрее солнечных лучей... Навстречу ему стремительно и бесшумно метнулась фигура в сером хитоне. Уклоняясь от блика — ну да, подземные же не любят солнца... Отбивая второй блик чем-то черным, острым...

Третью стрелу Мусагет не успел выпустить, потому что распластался на траве, выронив лук. Почему — этого Кора тоже не увидела: зажмурилась, когда поняла, что Аполлон стреляет.

И что она не знает — кому молиться за Таната Жестокосердного.

— Бескрылая тварь, — прошипел Мусагет с земли, почему-то невнятно и хватаясь за челюсть. — Посейдон мало ощипал тебя.

— Чтобы драться с тобой, крылья не нужны, — отозвался бог смерти сухо. Аполлон заскрежетал зубами, рванулся — встать... холодное железо уперлось Мусагету в горло.

— И что сделаешь? — спросил тот насмешливо. — Голову мне отсечешь?

Железо немного подумало. Поползло от горла по щеке — гладкой, покрытой персиковым пушком.

— Шрамы от него не заживают, — тихо предупредил Танат. — Как скоро твоя родня посчитает, что ты слишком страшен для Олимпа? Как скоро тебе скажут, что чудовищам место в подземном мире?

Аполлон тихо булькнул горлом, заклокотал что-то невыразительное — и прекрасные черты впервые исказились от ужаса. Коре показалось — он умоляюще скосился в ее сторону: прикажи... упроси... Потом опять взглянул на Таната, который чуть надавил на меч.

— Поднимешь лук, — сказал тот тихо. — Исчезнешь — сейчас. Промедлишь или попытаешься выстрелить еще... я не стану предупреждать.

Аполлон кивнул — смолкла, тренькнув, невидимая кифара. Танат убрал меч от горла лучника, тот сгреб свое оружие — и побрел восвояси, не оборачиваясь.

Только бросил напоследок на Кору ядовитый, угрожающий взгляд.

Может, потому она заплакала. Уже после того, как Аполлон скрылся из виду.

Почувствовала, как горит щека, ощутила вдруг, что разорван хитон, вернулось ощущение его касаний, жгучих поцелуев, потом еще этот взгляд. Всклипнула раз, строго сказала себе — а ну не смей больше — и разошлась так, что не могла уняться, будто заворочалась глыба льда под сердцем — и решила хлынуть через глаза.

Накатывало волнами — и их поцелуй, и прощание, и решение, и гневный крик матери, бесконечные годы ожидания и жаркие взгляды отца, и теперь вот еще это... И еще и подземный этот сидит и смотрит, то есть, спасибо ему, конечно, но нашел — на что...

Жестокосердный, точно, сидел. На скамье, высеченной в крепком бревне. Сперва хмуро пристраивал клинок на пояс, потом то ли размышлял о чем-то своем, то ли ждал, пока она наплачется.

Позор, — подумала Кора, икая. Отворачиваюсь от своего спасителя (а что тут сделаешь, если по коже морозом дерет?). И вообще, нашла же в нем что-то тетя Гестия. Наверное, он не так уж страшен.

Переломив себя, подошла, села на другой конец скамьи. Нос хлюпал ужасно, и слезы раздражали щеки, и голос выходил каким-то гнусавым и придавленным.

— Спасибо тебе... Железносердный.

И заоченела от пронизывающего взгляда серых глаз.

— Ни к чему благодарить, царица. Я должен твоему мужу. Он просил приглядывать за тобой.

Он назвал его моим мужем, — повторила про себя Кора. Назвал меня царицей.

Аид просил его... думал обо мне, уходя.

Губы невольно тронула улыбка — робкая, не идущая к покрасневшему, пошмыгивающему носу. Жестокосердный взглянул странно — наверное, ему не так часто доставались улыбки.

Встал, придя к какому-то решению.

— Подожди здесь. Я позову Гестию.

— Она... на пиру, — пробормотала Кора, успокаиваясь. Не собирается же он, в самом деле, явиться туда незванным — когда туда даже белокрылого Гипноса не пригласили?

Танат сделал жест, который обозначал: найду средства. Предупредил тихо, отвернувшись:

— Не возвращайся на пир, царица.

И решительно скрылся за деревьями. Нужно было его остановить, — подумала Персефона, чувствуя, как ее охватывает дрожь. Рядом с ним спокойнее, чем без него... нет, не то. Как он собирается вызывать тетку Гестию — через Гермеса? Через служанок? Нет, не то... вот — если Аполлон нажалуется отцу или Артемиде, то может вспыхнуть ссора, а Железносердного и так не жалуют на Олимпе.

Аполлон. Вспомнилось: он глядел не всегда хмуро. Еще иногда — с торжеством. И кифара его сбивалась от нетерпения. Значит, не шел против воли отца, пытаюсь обольстить меня в саду.

Только вот тогда — что же он обещал отцу взамен за его разрешение?!

Шорох в траве она расслышала не сразу. Потом поднялась и попятилась, когда из зарослей ирисов неторопливо и величественно поднялась змеиная голова густого рубинового окраса. Блеснули золотые бусики глаз.

Меня, — поняла Кора, почувствовав в горле едкую горечь. Обещал... поделиться. Мать, наверное, знала, когда звала ее сюда. Что они пообещали ей — что я буду замужем за

Аполлоном, что перестану скитаться по селениям смертных, что вернусь в разум?

Рубиновый змей скользил вперед неторопливо, нацеленно — не сбежать, не скрыться, никто не посмеет бежать от воли Зевса Олимпийского, никто не посмеет прятаться, даже его дочь. Даже жена клятвопреступника и царя подземного мира, который сейчас скитается среди смертных.

Владыки не останавливаются. Пока не добиваются своего.

Золотые глаза леденили страшнее золота трона. Приказывали — стой. Не двигайся. Ляг и прими свою судьбу — и будь покорной.

Потому что никто не осмелится заступить дорогу Зевсу Всемогущему.

Кроме, может, разве что...

— Брат, не смей!

Змей был уже совсем близко, у ее ног, у подола — когда раздался голос Гестии, полыхнуло пламенем, а потом Персефону пушинкой отшвырнули в сторону.

И перед царственным змеем возникла фигура Таната — во второй раз за день, нелепым отражением совсем недавней сцены: перед воином теперь был не лучник — воплощение Владыки. Бог смерти стоял с пустыми руками, без меча, потому что какой меч может противостоять тому, за кем сила Олимпа?!

Показалось вдруг, пригрезилось: у воина ссутулены плечи, черный гиматий, в пальцах сжат двузубец... Видение размылось маревом: какой двузубец, какое оружие, чем можно бить, когда перед тобой царь царей?

Тут только бежать... бежать!

— Хтоний, царица!

Голос у Таната Жестокосердного был жестким и хриплым, и Персефона не успела подумать, что шлема нет при ней: пальцы, судорожно вздрогнув, схватили из воздуха пришедший ниоткуда шлем.

Холодный металл скользнул по щекам, разрывая оцепенение — бежать!

— Беги! — резанул голос тетки Гестии, ее Кора так и не увидела — увидела только, как на месте змея клубятся тучи, из которых возникает дышащая гневом и величием фигура с трезубцем.

И повернулась, отчаянно изламывая мир, не зная — куда можно сбежать от гнева Олимпа.

Падая — в темноту.

МОНОДИЯ. АФИНА

Вмиг изнеслась из нее, копием поражая, Афина;
Пали под ним Гиганты многие; прочих гремещий
Бог низложил; развалилися горы, и в Тартар глубокий
Сверглись враги.

П. А. Катенин

— Ты Мудрая, — сказала ей мать однажды. — Ты должна.
Сказано о чём-то, что не помнится. Помнится только — должна.
Мудрость всегда должна кому-то.

Обязана примирять метким словом склочных олимпийцев. Блюсти мир на земле и в небесах. Быть идолом для смертных, снисходя к их просьбам. Покровительствовать наукам и ремеслам. Изрекать то, от чего будут ахать: «Ух, и сказала!» Прорицать будущее, толковать предсказания — и чутко улавливать пожелания тех, кто над богами — Прях.

Знать, куда ведет твоя нить — и следовать по ней.

Быть Мудрой — значит вечно быть должной что-то Ананке-Судьбе.

Быть Мудрой — значит быть одной. Потому что ничто не должно затуманивать холодный и чистый разум.

Быть Мудрой — быть как та.

Та приходит редко и только в дурные, холодные ночи. Глядит грозно и обвиняюще, потрясает эгидой, с которой слепо пялится чья-то голова. Вскидывает голову и шевелит губами, и ее слова по губам прочел бы даже глупец.

Я — дочь Зевса Громовержца, вышедшая из его головы. Я — Афина Мудрая и Воинственная, любимая дочь своего отца, покровительница наук и ремесел, олицетворение рассудочной войны. Та, к чьим советам прислушивается сам Эгидодержец, чье почетное место — на Олимпе...

Я — та, кем ты могла бы стать, если бы не изменила своей мудрости.

Она стоит, опершись на копье, и глядит с презрением. И от серых глаз веет ледяным, завораживающим, вечным одиночеством.

Отвечать снам глупо, но единожды изменив показной, выхолощенной, придуманной кем-то мудрости — можно изменить и второй раз.

— Да. Ты та, кем я никогда не позволю себе стать. Вечная должница и вечная пленница, для которой Мудрая — не прозвище, а клеймо. Так пусть меня не будут звать Мудрой. Пусть будут звать Невидимой. Или пусть не зовут вовсе. Я — дочь Метиды Разумной и Аида Невидимки, и одного этого было бы достаточно для меня сейчас... всегда.

Мудрая глядит с издевкой, с пренебрежением. Словно на грязь. Колко спрашивает взглядом: не слишком ли мало? За ней, мудрой, стоит призрак — безграничное величие Олимпа, и слава алтарей, и город, названный ее именем...

— Иногда мудрость в том, чтобы отказаться от чего-то — и обрести большее. Глядя на семечко — можешь ли ты предсказать, какие плоды оно взрастит? Можешь ты предсказать мне — что я обрету и кем стану?

Мудрая в снах кривит губы и молчит. Бросает упрямый взгляд, стараясь скрыть

досаду от незнания. Выплевывает через силу:

— У тебя неправильно началось. И теперь даже Ананка не сказала бы — чем закончится.

Смотреть на ту, в доспехе, в копье, с эгидой, овеванную славой — все равно что глядеть на полуденное, злое солнце. Больно от искушения, больно от сомнения, больно от вечного вопроса: так у кого же закончилось правильно?!

— У кого? — шепчет она, и сама слышит, что ее голос прорывает пелену сна, и мечется, пытаясь разрешить загадку. — У кого правильно? У кого всё... правильно?

— У нас.

Это не та, из сна. Это другой шепот — живой и настоящий, щекочет висок.

— У нас будет правильно, — уверенно повторяет кто-то шепотом. — У нас с тобой всё будет правильно, моя царица.

И Мудрость во сне уходит, краснея от зависти.

Утро подкатилось под щеку румяным яблоком. Яблоко пощекотало алым боком нос, к плечу скатилось. Афина улыбнулась сонно, вдохнула яблочный запах. Захотелось опять закрыть глаза — слетать во сне к материнским яблочным садам, пусть мать будет хмуриться и ворчать, и говорить, что она должна...

Плод был золотисто-алым. Прекрасным — пальцы попросили ткацкого станка. Вы ткать золотисто-алые яблоки.

Утро же было неправильным.

Фальшиво безмятежным. Полным слишком заливистого птичьего пения: давно рассвело.

Одиноким.

За последние годы она привыкла просыпаться от ласк мужа. Арес поднимался всегда с рассветом, на неуловимую минуту раньше нее — и частенько старался продолжить то, на чем закончили вечером. «Не хватило тебе, что ли», — ворчала Афина, когда он прижимался сзади, начинал играть с разбросанными по ее плечам волосами, покрывал поцелуями плечи, стискивал грудь... «Не хватило», — отзывался муж охотно. Говорил: мечтал о ней столько лет, что теперь насытиться трудно.

А я сколько-нибудь лет мечтала? — задавалась вопросом Афина — и не могла ответить. Потому что не помнила — когда из вздорного, раздражающего юнца с Клеймом Кронида Арес успел стать большим. Мыслей о нем она стыдилась, чувства — глушила, порывы — убивала боями на арене. Когда все думают, что ты мудра — легко убедить себя в том, что так и есть.

Признаться себе, что ты полюбила брата, которого все прочат на трон, гораздо труднее.

Афина приподнялась. Села в постели, покатала задумчиво в пальцах чудесный плод. Наверное, из сада титана Атланта, из сада Гесперид. Откуда только взял?

Мужа рядом не было — только выемка в постели, хранящая след его тела. Небрежно брошенное на стул стрекало: не взял колесницу. Спешил? Просто не хотел будить?

Колесница. Вспомнилось на миг: летит смоляная квадрига, и ветер весело рвет одежду с плеч, намекает: зачем?! И вздымаются клубы пыли, и пьянит аромат близкого моря, и сильнее него опьяняет аромат свободы: всё, хватит, я больше не должна...

И где-то в бесконечной дали остаются проклятый Олимп и проклятое пророчество. И звучит, ободряя, только для нее: «Хорошо сделано, дочка».

С отцом она советовалась часто — не прибегая для этого к словам. Достаточно было полувзгляда, полужеста. Иногда и этого было не нужно: она знала, что он сказал бы.

Знала, что он смеялся, когда услышал — как Арес похитил ее, безмятежно танцующую на лужайке. «Безмятежно?! — взмахивал руками Арес. — Да ведь даже Деметра не поверит. Вот если ты охотилась или тренировалась в метании копья...» — «И каким образом ты меня похитил, если у меня было копье?» — «Уклонился от твоего броска. Или мы схватились, и когда копья переломились, уволок. Аполлон эпическую поэму об этом сложит, царица моя!»

Своей царицей он назвал ее в первый же день — когда кони начали выдыхаться, и пришлось прекратить бешеную гонку почти на краю света. Она тогда взглянула на пещеру, возле которой они остановились. Хмыкнула насмешливо:

— Не сожалеешь, царевич? Вместо пророчества — изгнание, вместо трона — камни, дворец — пещера...

— Зато у меня в царицах — Афина Мудрая, — отозвался он и протянул руку — помочь ей сойти с колесницы. — Что мне троны?

Потом еще всё не решался подойти: разводил костёр, подстрелил пару зайцев, пока она набрала диких яблок, распрягал коней, устраивал немудрёное ложе — и поглядывал недоверчиво. Будто полагал — взбалмошный мальчишка — что Афина Мудрая способна сбежать с Олимпа понарошку.

— С Афродитой ты тоже робок? — спросила она, распуская волосы и скидывая хитон. — Или полагаешь, что ты сможешь в изгнании уклониться от своих обязанностей? Или, может, хочешь подождать настоящей свадьбы, с обетами и благословениями родителей? Ждать придется несколько веков, так что ты...

Осеклась, присмотрелась к ставшему столбом Аресу. Слишком восхищенно смотрит — подумалось. Афродита что — и не раздевалась перед ним никогда? Или нимфы, с которыми он убивал время, были так уж уродливы?

«Просто я думаю, что это сон», — сказали черные глаза незадачливого похитителя. Афина усмехнулась. Выбросила из-под ресниц ответный взгляд: «Так я бы на твоём месте не медлила, Клименид: вдруг проснешься».

Потом было жарко и тесно, и он приподнимал ее бедра и целовывал с губ шепот: «Если бы ты... так владел мечом... у меня бы на арене... не было ни шанса», и в волосы набивались сухие травы, и он смешно боялся причинить ей боль («Хаос, ты что, правда? Вспомни арену»), и звезды дружно прикрывались от смущения облаками Нефелы — будто покрывалами.

И всё было правильно.

Потом она учила его драться на мечех: «Ну, есть же у тебя способности, ведь ты же его сын». Он узнавал соседей, заводил слуг, начинал постройку дома. Рвался назад на Олимп, когда прошли слухи о бичевании Геры: «Я знаю, что он не станет, я верю, но там что-то началось, и я должен... должен!»

«Не должен», — сказала Афина, угадав желание отца. Взъерошила мужу волосы. Сказала тихо: «Он не хотел бы, поверь. Отец не первый год играет с Ананкой: как бы там ни было, он справится. Но ему трудно. Он — на виду. И потому надежда на нас: нам нужно скрываться и наблюдать».

— Наблюдать за чем?

— Чтобы понять.

— Понять — что?

— Кто начал это. Войну нельзя выиграть, если не знаешь — против кого воюешь.

— Войну?

— Да. Ты знаешь, что мать-Гея снова родила для себя? Безобидного ребенка, Офиотавра. Кто-то умертвил его. Кто-то, кто хочет, чтобы Гея ненавидела Кронилов. Кто незрим даже для Владыки Олимпа — и потому мы должны оставаться здесь и наблюдать. Собрать союзников. И ждать.

Арес нахмурился было — ждать у него получалось плохо.

— Помни о пророчестве Мойр, — напомнила она тогда. — Не нужно тебе быть рядом с отцом в такой момент.

Арес кивнул, принял игру, смирился. Он часто позволял себе соглашаться с женой. Когда они уже обзавелись домом, слугами и хозяйством, когда в их дом начал заходить и советоваться с Афиной Прометей Провидящий — Афина краем уха смогла услышать обрывок разговора между Аресом и Эпиметеем. Брат Провидящего тогда только-только женился (по слухам — жену ему в наказание за неуступчивый нрав подкинули боги Олимпа) — и вот теперь хмыкал о том, что Арес как-то уж слишком покорен жене.

— Ты, значит, свою не слушаешь? — уточнил Арес спокойно. Дождался кивка и обрубил: — Потому что моя — Мудрая, а твоя — дура.

— Ты не Мудрая, — бессильно шептала мать, к которой Афина осмелилась наведаться только через три года через побега. — Иногда мне даже кажется — ты не моя дочь. Променять всё на мальчишку...

— Ты растратила всю свою мудрость, кувыряясь с Аресом в постели, — презрительно фыркала бывшая подруга Артемиды. — Стоило оно того?

— Да какая уж теперь мудрая! — отмахивалась молва.

Афина кивала. Подтверждала матери: да, я не только твоя дочь. Усмехалась Артемиде в лицо: может, и стоило. Не вслушивалась в молву.

Подхватывала, будто нити, все, что случилось, ткала единое полотно: вот являются заговорщики, которых незнамо кто подначил... Впрочем, ясно кто — Мом Злонравный. Почти удавшееся свержение отца — каким-то чудом заговорщики оказались поверженными, а Аид Невидимка освободил себе руки и едва было не посадил на трон Олимпа своего сына — и любовника Геры.

— Двадцать лет, — процедил Арес, когда услышал о том, как свергали Климена Олимпийского. — Двадцать лет думал, что это я... Тартар бы взял этих Прях!

Возвращаться на Олимп они не стали. Даже когда чаши качнулись было: вот она — война с Посейдоном! С подземным миром! Вот — война...

Не та война.

— Будет другая, — тихо сказал Прометей.

Он пришел в тот день, когда Аид должен был нарушить клятву Стиксом. Афина знала: нарушит. Значит — конец Посейдону... или кто там в его теле. Значит — этой войны не будет.

Хотелось отбросить проклятую мудрость — которая говорила, что и здесь отец поступил правильно, выбрав самую малую цену. Неправильно. Неестественно. Не так, как любой из Кронидов — не так, как кто угодно.

Впрочем, разве кто угодно сойдет с трона сам? Или оставит в живых сына, о котором

сказано было — свергнет отца. Или добровольно отпустит жену к любовнику. Или...

— Кто начнет ее? — спросила Афина — и не получила ответа. Тогда она кивнула.

Спросила иначе:

— Кто ее начал?

— Любимчик, — шепнул Прометей, задумавшись. Вздохнул тихо: — Со щитом было бы легче. Но он стал лучником... а стрела может обратиться против кого угодно. Теперь у него нет стрел — остановит ли его это?

Афина молчала. Думала об отце, который нынче шагнет в ледяные воды, предотвращая войну. О том, что всю свою жизнь он старался предотвратить войны: сперва с Кроном, потом между братьями, потом с титанами, со своим сыном, теперь вот — с подземным миром. Наверное, это мудро, вот только — долго ли бегать от неумолимого? Рано или поздно, сколько ни отворачивайся, война явится на порог. Рано или поздно...

— Можно ли избежать? — спросила она. Провидящий качнул головой. Потом вдруг прибавил тихо:

— Однажды я попытался свергнуть Климена Олимпийского. Участвовал в заговоре вместе с его братом, Посейдоном. Заговор не удался, и Климен спросил меня — что я такого видел... Я видел его, творящего расправу над моим учеником. Видел войну между ним и Ифитом. Видел безумного тирана у власти...

— Мойры тоже видели, — сухо сказала Афина, — как сын свергает отца.

Подумалось вдруг: что они видели обо мне? Обет девственности? Эгида с оскаленной головой чудовища? Вечное соперничество с братом?

— Пророки видят лишь тот исход, который ближе всего, — проговорил Прометей задумчиво. — Видела ли ты их полотно, дочь Метиды? Я видел и касался его — осязал призрачные шансы нитей. Чтобы предсказать один исход, нужно помнить о том, что настоящих исходов сотни.

— Так почему Судьбы не избежал Крон? Ведь и ему дали то самое пророчество? Почему он схватился за те нити, которые ведут к его свержению — почему не смог? Почему не предусмотрел?

Сорок тысяч почему — выплыло откуда-то, то ли из прошлого, а то ли так — из мыслей. Сорок тысяч почему — и всего один ответ: потому что это ты, моя Ананка...

Голубые глаза Провидящего прятались за длинными, как у женщины ресницами. И Афина вдруг поняла: его мучают те же вопросы. Нет. Наверное, те же вопросы мучают всех Мудрых.

— Прях — тоже, — тихо промолвил вдруг Прометей. — Думаю, и Пряхи не знают ответа на это, дочь Метиды. В конце концов, Мойры не вездесущи. Говорят, даже их мать...

Замолчал, устыдился великого кощунства, которое чуть было не полезло с уст. Потому что разве не Ананка Неотвратимая знает все и обо всех? Разве не она видит все будущее, какие только могут сложиться? Ведь должна же была та, которая где-то вращает ось мира, прозреть это все: двое, бегущих от Олимпа на колеснице, сына, не свергающего отца, жену царя, сбегаящую с любовником-кифаредом, и сломанные крылья бога смерти, и его сватовство к огненной богине... Должна была?!

Должна была предусмотреть и предвидеть, что треснет и вывернется наизнанку привычный уклад, что песни начнут стыть у аэдов в глотках, что Лисса-безумие сама признается: ей до такого не додуматься... должна?

Ананка — мудра, а мудрость всегда должна предвидеть.

Потому что, если бы вдруг не предусмотрела и не предвидела — она посчитала бы нас всех, вышедших за грань, слишком непонятными, слишком спутавшими пряжу ее дочерям... что делают с паразитами, путающими пряжу?

— Будет война, — шепотом повторила тогда Афина. — Другая.

* * *

Афина вздрогнула, очнувшись. Потянулась к мужу мысленным зовом — и словно ударилась в глухую стену. Будто зовешь не просто далекого — того, кого и нет вовсе.

Ногти вонзились в яблоко — плод брызнул золотистым, пахучим соком. Афина, опомнившись, вскочила. Отшвырнула одело. Прислушалась слухом воина — по утренней привычке.

За стенами спальни перекликались служанки, пахло мясной похлебкой. Утро было в разгаре: звенели птицы, где-то дробно стучал нож. Промахос нахмурилась. Отбросила яблоко, проводя по телу ладонями — облакаясь в короткий, боевой хитон и дорожный хламис.

Муж исчез неспроста. Яблочный сок отдавал горечью извинений. Мнимой беспечностью («Я ненадолго, не беспокойся»). Ложным призывом не тревожиться («Кушай яблочко и не волнуйся, женушка!»).

Афина призвала яблоко обратно в ладонь. Задумчиво покрутила так и сяк, пораздумала: послать, наподобие метательного диска, в голову? Достойно Деметры, а не Мудрой. Я еще сделаю так, что ты на яблоки не сможешь смотреть, муженек. Особенно за то, что усыпил — а что усыпил, в этом нет сомнений: она привыкла вставать с рассветом.

Осталось решить, куда мог отправиться блудный муж. Промахос неспешно прошлась по двору: в последние годы хозяйство разрослось. На поклон являлись не только племена с краев земли — и старые знакомцы: боги, лапифы, кентавры. Недовольные тем, как правит Зевс Сияющий на неизменном Олимпе. Вкусившие правления нового тирана и готовые вернуться к старому — явись сейчас Аид, они бы пали ему в ноги и покаялись всем хором. Но Аида не было, и притекали по старой памяти — к ней... и к тому, кто был так похож на отца, о ком все привыкли думать, что за ним и для него трон Олимпа. И тут уже — откручивайся, не откручивайся, а союзников в новой войне приходится приобретать. Пусть даже эти союзники думают, что война будет — против Зевса и за трон. Набежало столько — Арес шутил, что впору города строить... «Построим», — соглашалась Афина.

А теперь — глядя на послов, ждущих у крыльца дома, на сам дом, обнесенный чередой построек (скоро придется дворец строить, чтобы вместить гостей-послов-прислугу!) — гадала, куда бы мог деться муж.

За отцом? За отцом он бы позвал ее с собой, только вот — как найдешь того, кто невидим среди смертных... К дружкам? Тоже вряд ли: гостем в доме Афины и Ареса был разве что Гермес. За умение молчать, когда требуется, всюду пролезать и болтать... тоже, когда требуется. На разведку — так какая разведка посреди ночи... К любовнице? Всплыли в памяти жалобы Деметры на неверность Зевса. Афина фыркнула носом. И тут же неприятно кольнуло внутри: вчера была свадьба Гефеста и Афродиты, гремело основное пиршество, так что если бы вдруг...

Фыркнула носом еще раз и пошла — разговаривать со служанками и на всякий случай удалять со двора посторонних, послов... меньше глаз, меньше ушей — меньше пищи для

стоустой Оссы.

Служанки позевывали, терли глаза. Перекрикивались зычно: «Будто песку кто насыпал!» Афина кивнула коротко, выслушала рассказы-близнецы: никто не видел, как Арес ушел. Распустила служанок, освободила от дел, сказала: должно быть место и для отдыха.

Кажется, это сочли еще одной мудростью. Как и то, что она сказала следом: что хочет побыть в одиночестве, ибо Мудрость никогда не одинока. Иногда Афине казалось, что стоит только сделать серьезное лицо, произнести любую чушь, пусть бы и что-то из бессвязных фраз Лиссы — и все заахают, достанут таблички, увековечат на сырой глине, понесут потомкам...

Мудрость никогда не одинока, — повторила Афина, проходя во внутренний двор, обустроенный для тренировок. Даже если рядом есть лишь небо с безмятежными овцами Нефелы. Мудрость всегда найдет собеседника. Себя. Или прошлое. Или...

Промахос сделала ещё три шага. Мгновенным движением призвала в пальцы копьё — и тяжелая бронза со свистом ушла в безмятежные небеса.

— Сдурела, Мудрая?! — возмутились небеса в ответ.

Расщедрились и послали гонца: белые перья встрепаны, физиономия перекошена, в руках — чашка с сонным зельем. Брат смерти кривился и потирал лоб — на лбу набухла изрядная шишка.

— По делу пролетал... — шипел Гипнос, обнимая чашку. — А если бы ты чашу у меня из рук выбила? Или к овцам Нефелы бы приколола?

— Мало чести для овец, — отрезала Совоокая. Призвала копьё обратно — покачала в пальцах. — И если бы я хотела ранить тебя — я метала бы копьё острым концом.

Бог сна уставился сердито — но в серых глазах нет-нет, да и мелькала опаска.

— Так это ты на овец Нефелы охотишься, от великой-то мудрости? Или развлекаешься — сбиваешь с крыльев случайных путников в небесах? Мог быть Гермес — или Чернокрыл...

— У твоего брата нет крыльев, — Афина говорила холодно и тихо, на бога сна вроде бы и не глядела — рассматривала копьё. На деле же — ловила боковым зрением: не попытается ли Гипнос удрать? Бог сна бурчал и примерялся к своей чаше, но пробовать воинственную дочь Метиды на скорость не пытался.

— Я не люблю соглядатаев.

Вздрыгнул, заполошно захлопал крыльями. На себя принялся указывать: я?! Соглядатай? Да кто тут вообще...

— И не люблю лжецов, сын Нюкты. Для того, кто просто пролетает по делам, ты летишь слишком неторопливо. Сколько ты следишь за мной — час? Два?

Копьё хищно дрогнуло в пальцах, уставившись богу сна в переносицу. Тот забормотал было: «Овечки же... уж и отдохнуть нельзя? И вообще, у меня с Нефелой...»

— Мудрость терпелива, — задумчиво проговорила Афина. Поправила упрямую прядь. — Но про меня говорят, что я лишилась мудрости. Стала обычной слабой женщиной...

— Слабой, — фыркнул брат смерти и потрогал набухшую на лбу шишку. — Тьфу, вот и в кого ты удалась, честное слово. Или от мужа нахваталась? Этот сразу — душить...

Раздул щёки, выдернул перо из белоснежного крыла. Буркнул — «Совсем облезу с вами». И заговорил, не дождавшись вопросов — потому что увидел, как взгляд Афины оборачивается копьём.

— Я к вам сюда ночью с вестями — только подлетел еще, а он сам из дома выскочил. Я еще рот раскрыть не успел, а он за горло хватать. Молчи, говорит. Глазами, говорит. Ну, я пикнуть не успел, а он уже в глаза, до донышка, а потом только кивнул... Говорит — давай свой настой, чтобы жена уж точно до утра не заметила. Плащ сгреб, меч сгреб, кинул потом: посматривай тут. А за кем посматривать, что делать, куда сам ушел...

И развел крыльями, лучась честностью. Ничего, мол, не знаю. Хочешь — Стиксом поклянусь?

Афина упрямо трянула головой.

— Ты направлялся к нам ночью? С вестями? От кого и с какими?

— Так от Чернокрыла же, — охотно пояснил Гипнос. — У них там, понимаешь ли, Персефона пропала. Ну, дочка Деметры...

Кора. Невеста Ареса, — вспыхнуло внутри невольно. С которой вместе танцевали тогда, у Парнаса, на помолвке. Нет, Мудрая, — это глупо.

Не невеста Ареса. Жена отца. То есть, Кора говорит, что она жена Аида — и ей почти никто не верит... только вот даровавшие Коре новое имя Мойры вряд ли ошибаются.

— ...сама история — на триста песен, а если в двух словах, то сбежала с олимпийского пира... можно сказать, от любящего папочки.

— Сбежала от Зевса? — усомнилась Афина.

С Персефой они не виделись с мнимого похищения Афины. Теперь Промехос знала о бывшей подруге немного. Знала — что та ждет возвращения Аида и ищет его. Знала о жалобах Деметры на отбившуюся от рук дочь: Гера говорила, что сестра часто ей жалуется... Знала то, что говорили мать и Гипнос: что Персефона пытается разыскать мужа среди смертных. Не знала только — как ей удастся оставаться незамеченной. И потому догадывалась — кому перед уходом отец мог отдать подарок, полученный от Метиды. Цену рождения Афины.

Но неужели же правда...

— Так ведь там Чернокрыл вступился за царицу, а за Чернокрыла вступилась его невеста — ну, и пошло... В общем, они теперь скрываются от гнева Эгидодержца. Не во дворце Таната, конечно: так ведь недолго и на материнский гнев напороться, а уж Нюкта Чернокрыла выдаст Зевсу с удовольствием. Нашли убежище, словом. Персефону не нашли — вот в чем дело. Сгинула — будто бы с концами. Может, конечно, где между смертных... только кто знает, куда ее могло вынести, с перепугу-то.

Афина нахмурилась. Шагнуть с Олимпа по-божественному не так просто. Против воли царя Олимпа — еще сложнее. Пусть себе царя шутливо и по углам называют Зевсом Полуладычим, пусть опасно шепчутся, что левая сандалия Климена — и та правила бы лучше...

Трон — это трон.

Вынести Кору, теперь уже Персефону, могло где угодно.

Только вот это порождало сотню других «почему». «Почему» лезли друг через друга, попискивали, толкались — вот еще, я первое! Почему все же ушел Арес, почему за Корой, почему услышал ее — если, конечно, он ее услышал, почему ушел так, что его не дозваться...

— Кхм, — напомнил о себе Гипнос. — Делать-то что? Если, конечно, ты раздумала убивать меня, Мудрая.

— Трудно убить того, кто бессмертен, — выплюнула Афина. — Держи подальше от меня свою чашу. Лети, разошли своих сыновей, если только уже этого не сделал. Кору нужно

найти.

— А... а ты?

Брови понадобилось сдвинуть совсем чуть-чуть — нашел ту, которая будет перед ним отчитываться! Бестолковый братец смерти шархнул, захлопал крыльями, буркнул что-то о том, что вот — что муж, что жена в одном Тартаре деланы...

Афина осталась исполнять самое трудное.

Ждать.

Ждать сложнее, чем биться. В сотни, в тысячи раз сложнее. Отец никогда не говорил об этом, но она знала: перед тем противостоянием с Кроном ему сложнее всего было — ждать.

Ждать, когда ничего не можешь сделать. Потому что сделано всё: лишние глаза и уши спроважены, гонцы разосланы. И осталось вязкое, тревожное ожидание, в котором больше всего хочется метаться, кричать, рубить кого-то мечом...

Как ждет Деметра своего мужа от его многочисленных любовниц? Гера как-то признавалась: она не спустила бы измен. Отомстила бы, отыгралась за ожидание. Деметра только плачет — и ждет.

Только вот нынешнее ожидание нельзя разбавить даже и ревностью, потому что против ревности восстает проклятая, текущая в крови мудрость. Доставшаяся от матери. Подаренная отцом. Мудрость гасит пламя Флегетона в крови и шепчет, что к любовницам — даже к возлюбленным — не уходят так. Подложив жене под щеку золотистое яблоко, которое хранит тепло твоих пальцев. Усыпив ее — чтобы не рванулась за тобой.

Так уходят в ловушку. Так идут в пасть Тартара. Шагают туда, откуда нет возврата, где тебя никто не услышит, рассуждая по пути: я-то пропаду, но ведь будет война, у войска должен быть предводитель, и Афина должна остаться здесь — принять бой, если вдруг...

Должна. Должна. Должна.

Афина сомкнула губы, стиснула пальцы на копьё. Стояла — статуя самой себя — отвернувшись от своего дома, на площадке — той самой, где учила мужа биться на мечах. Не вглядывалась — вслушивалась.

В Ареса — и не слышала его совсем. Слышала только прошлое: вот он приподнимает голову, тихо выскальзывает из-под одеяла... торопливо бросает кому-то на пороге: «Кропи!» Касается ее плеча, кладет под щеку душистое яблоко, шепчет — «Прекраснейшей...» — и шагает торопливо, не оглянувшись... куда?

Жены ждут мужей с битвы. И потому я не хотела становиться ничьей женой — чтобы не узнавать этого чувства беспомощности.

Гера говорила: Кора ждёт отца. Как она вынесла это — столько лет? Если даже несколько часов — неопределённости, скованности...

Ты — Мудрая, — искривились губы. Ты должна.

Так будь мудрой и жди.

Секунды показались днями. Минуты — годами. Час — столетием.

Арес шагнул из воздуха прямо на арену — на выглаженный, ждущий нового поединка песок. Афина открыла глаза и рванулась было к мужу, но — Мудрая — остановилась и вгляделась.

Он шел с усилием — стиснув зубы, глаз не видно из-под черных, спутанных прядей. Брел, подволакивая правую ногу: на ноге была глубокая рана, воздух тут же пропитался запахом ихора. Оружия при Аресе не было. На руках безжизненно лежала Кора... Персефона.

Бывшая подруга, теперь уже мачеха.

— Война... началась, — сипло бросил Арес, не доходя до нее. — Уже началась.

Передал ей Кору: руки Афины — руки война — легко приняли ношу. Шатнулся, удержал равновесие, опершись на плечо жены, она взглянула коротко — и увидела оставшееся: очень измотан, дышит тяжело, по острым скулам сползают капли пота. И еще бледность, и еще что-то страшное, о чем лучше — потом...

Остатки гнева на взбалмошного мальчишку, который ночью кинулся не пойми в какую ловушку, рассеялись.

— Что с ней?

Кора тоже была бледна. Гиматий и хитон порваны, испачканы в хитоне и грязи. На руках — царапины. К груди она крепко прижимала знакомый шлем — легкий, стрельчатый, серебристый. Еще сжимала какие-то листья или траву.

И — то же самое, что у Ареса, только отчетливее, звонче. Печать ужаса от увиденного.

— Испугалась, — скривился муж. — Устала... Обессилела.

— А с тобой?

— И со мной.

Остановился перевести дыхание: казалось, даже идти к дому — и это отнимает силы. Усмехнулся слабо.

— Вижу, слуг убрала. Хорошо, царица моя. Может, твоей мудрости хватит на то, чтобы справиться с этим...

В доме Афина сразу же затолкала мужа на женскую половину. Пристроила Кору на ложе в гинекее, Ареса заставила сесть. Раненым воинам — особенно тем, которые принесли дурные вести — помощь всегда важнее, чем случайным жертвам.

Призвала полотенно, втиснула в слегка дрожащую руку мужа кубок с нектаром, сама стала промывать и перевязывать рану: иخور не желал униматься. Попросила тихо:

— Теперь подробно. Все как было.

Арес длинно выдохнул сквозь стиснутые зубы.

Рассказывать он не любил, не умел: сказывался порывистый нрав. Рассказ разлетался, будто куски щита под ударами копья. Дробился, рассыпался.

Ночью не спалось. Почему? Потому что. Может, мысли, может, предчувствия, может, скорбь об Афродите, которую где-то там выдают замуж. Не смотри так, моя царица, это шутка. Так вот, не успел еще задремать, как услышал зов Кору. Не зов — просто отчаянный крик, полный ужаса. Крик тянул, звал за собой, и воздух с готовностью изламывался под шагами, готовился пропустить — Хаос знает, куда. Он понял — нужно идти. Понял — может быть опасно.

— И приказал Гипносу усыпить меня, — ровным голосом прибавила Афина, накладывая на рану целительную мазь. — Вместо того, чтобы...

— ... поступить мудро.

Арес развел руками. Показал: мол, хочешь прибить — давай.

— А ты бы меня разбудила?

— Еще чего, — отрезала Афина, — понесся бы в драку, не разбирая дороги. Хаос чего бы натворил.

А про себя подумала: нет, не из-за этого. Это ведь одна и та же кровь у нас в венах. Аида Странника.

Аида-Одиночки.

Отец все всегда стремился делать сам, даже вот борьбу с Посейдоном свел только к одной жертве. Наверное, нужно от этого отвыкать.

Арес молчал и потирал лоб — пытался найти слово, которое объяснило бы все. Потом нашел. Откинулся в кресло устало. И выдохнул:

— Флегры...

«Флегры. Флегры. Будет. Будет», — затукало было сердце, потом дрогнуло было — сменило ритм: «На-ча-лось...»

Флегрейские поля — когда-то плодородная почва на берегах вулкана. Вотчина Геи-Земли, в которой...

— Она опять родила? — спросила Афина — и получила кивок в ответ.

— Кого?

— Войну, — ответил тот, кого когда-то назвали воинственным. — Войну... царица моя.

Взял ее пальцами за подбородок — и распахнул взгляд, впуская туда — на черную, выжженную пустошь нового сада Геи.

Пылают костры. Возле них разгуливают фигуры, перешвыриваются валунами, взлетают на крыльях, перекрикиваются. Разные фигуры, странные — какие-то похожи на богов, а какие-то нет. Змееногие, многоглавые, многорукие... Один десяток, два... много, очень много.

И разворачивает перед глазами скользкие, змеиные кольца дорога: пойдешь по ней — и нет возврата, и лезет под кожу ощущение ничтожности, хочется закрыться, стать букашкой на скалах, только не видеть того, что будет.

Будет. Будет.

Только тонет и захлебывается где-то поблизости отчаянный девичий крик.

— Из пустоты, — сказал Арес, пытаясь ухмыльнуться. — Она, видно, просто от страха... кричит, а я не всё могу понять, где она. Твари эти еще подхватились. Ловить кинулись. Она по полям мечется, я за валунами пытаюсь на глаза этим не попасться...

— Не попался? — уточнила Афина, леденя. Арес пожал плечами, показал жестом: попался бы — не разговаривали.

— Много мне желания, чтобы меня жена потом за дурость прибила. Вот копье раз метнуть пришлось: там один... почти схватил Кору, она следы на пепле было оставила... метнул. Как иголкой уколол. Смотри дальше, моя царица.

В черных блестящих глазах — отблеск полированной бронзы. Нагретый металл в руке: вспомнить старые уроки отца — как бить из засады. Швырнуть — и тут же незаметно за другой валун. Потом еще, еще... и глянуть: ранил? Не ранил.

Но хоть отвлек. Один из нового племени — волосатый, с пудовыми кулачищами — хватает бронзовое копье как тростинку.

— Эй! — голосит радостно. — Плесени-то тут много! Эй! Айда травить!

И земля ласково стонет под топотом новых детишек — травить...

И время вспыхивает и прогорает в воздухе, оседает пеплом на сгоревшую землю — крутануться, за скалу, нет, еще за одну...

— Хо! Догонялки-пряталки!

— Братья-Гиганты! Играть!

...от костров тянет ароматным травяным настоем — запах перебивается горькой вонью самих Флегрейских полей — бескрайнего пепелища. Вливается в букет запахов аромат жареной дичины — видать, сыновья Геи решили ночью перекусить. Спрыгнуть со скалы,

упасть по колено в душистые неизвестные травы. Только — по колено. Прятаться негде. Земля гудит. Случайно прилетевшее откуда-то копье — его же! — ударяет в икру, он стискивает зубы, выдергивает копье из раны... Запоздало мелькает мысль — вот Тартар, зря, сейчас ихор хлынет, весь воздух пропитается.

Поздно. По икре сползает струя божественной крови, аромат наполняет воздух, топот оживляется — ближе, яснее...

— Эй! Там он, чуete!

Все. Теперь уже только драться. Вспыхивает внутри коротко — хорошо, жену будить не стал...

Теплая ладонь из ниоткуда хватает за руку.

— Арес... тише, это я, просто невидимая... Бежим.

— Я ранен, учуют. Беги одна.

— Ничего, я придумаю, пойдём....

Под ногами Флегры — плодородная почва, давшая жизнь новым семенам. Поднимаются, раскрывают лепестки невиданные лилии — крупные, с одуряющим запахом, похожим на ихор.

— Вот так, — усмехается Арес. — Начинаю понимать, почему отец выбрал малышку-Кору. Афродита бы уже без сознания валялась... а эта еще и додумалась, как нас вытащить. Заросла там всё этими цветами. Со следа их сбила. Только вот обессилела совсем, так что нести пришлось. А добирались так долго, потому что пешком: оттуда не уйти по божественному. Пока за границу сада... целую ночь и часть утра так и прошагали. Только когда за пределы Флегр зашли — выбрались. А если бы не шлем...

— Если бы не шлем? — эхом повторила Афина. Столкнулись взгляды — железо и бронза.

«Если бы не шлем — что, муж мой? У них есть способ убить бессмертного?»

«Еще и как есть, царица моя. И мне почему-то кажется, что удар бессмертного им нипочем. Любой удар. Любого бессмертного. Мать-Гея вырастила беду для всего живого...»

«Плесень, — покривились губы мужа, и от этого он постарел и стал похож на другого — того, который скитается среди смертных. — Мы для них — плесень».

Афина закончила повязку. Долила нектара в кубок мужа и призвала для себя второе кресло — теперь можно было сидеть так, чтобы их лица были на одном уровне.

Можно было задавать мудрые, правильные вопросы.

— Кто отец?

Арес жмет плечами. Он — не бог очага, не бог семьи. Под подол к Матери-Земле не заглядывал — так и дрожит на насмешливых губах мальчишки. Все-таки юнец еще, пусть и муж...

— Нужно будет спросить у кого-нибудь, кто может знать. Геру, Гестию... кто ведает всем этим.

— Или отправиться туда соглядатаями и узнать самим.

Вспыхивают глаза у Кронида — готов отправляться, только вот нога болеть перестанет. Вот глотнет еще нектара, возьмет шлем невидимости — и...

— Забудь. В первый раз вы едва ушли. Во второй... мать-Гея может оказаться на месте. Туда больше не пойдет. Никто.

Арес хмурится, сейчас спорить начнет — что вот, все равно нужна ведь разведка — кто они, эти Гиганты, или как их там, какие способности, точное количество, какие вожди...

Афина кивает задумчиво — ты прав, муж мой. И все-таки...

— Думаешь, нас там могут ждать?

— Вы выдали свое присутствие. Мать-Гея неглупа. Она поймет, кто был в шлеме невидимости. Она поймет, что там был и кто-то еще. Копье. Иخور. Я только не знаю — почему она медлит с нападением на Олимп...

— А чего ей торопиться?

Афина медленно кивнула. Мать-Гея спокойна за своих детей. Каждый бог, который попытается нанести удар по Флеграм, обречен. Были соглядатаи — пусть. Предупредят Зевса? Пусть...

Тем хуже будет тем, кто поднимет руку на ее саженцы.

— А Зевса-то хоть предупреждать? Понятно, конечно, что нужно — а то еще войну проворонит. Как предупреждать будем, Мудрая?

Между двумя скрещенными взглядами вспыхнуло послушно: «Гермес». Точно, Гермес, кто еще бы мог залететь на Флегры. Значит, побывал там случайно, в поисках Кору. Что увидел — не понял, чуть ноги унес по воздуху, очень встревожился, кинулся докладывать отцу...

— С Гермесом поговорю, — заверил Арес. — Распишет как нужно. Боюсь только — как бы не кинулся дядя ломать дрова после таких новостей. Он, конечно, не Посейдон, но иногда как выкинет...

— В кого только ты удался? — притворно удивилась Мудрая.

— В папу с мамой, — с достоинством отозвался Воинственный. — И соглядатай на Флеграх все же нужен.

Скрестились взгляды — удар, еще удар. Копье — щит, стрела — мишень, клинок — клинок...

Упрямство против упрямства. Служанки вздыхали: ну, что за парочка. Ссорится редко, но уж если поссорится — такое начнется...

— Туда... нужно вернуться.

Афина вспомнила со смущением: они совсем забыли о Коре. О Персефоне, объявившей себя женой клятвопреступника, ждущей его... отца.

Молодая царица приподняла голову. Не стала ждать даже, пока ужас сбежит с лица. Прошептала чуть слышно:

— Нужно вернуться туда скорее... как можно скорее. Сейчас.

— Вот, — сказал Арес тут же. — Понимает.

Но и сам выглядел изумленным. Чтобы сразу — опять на Флегры? Вот так быстро, после того как еле ноги унесли? Туда — и сейчас? Нет, — читалось в удивленных глазах Ареса, — конечно, меня жена считает взбалмошным мальчишкой. Порывистым и неосмотрительным. Но чтобы так!..

Афина наполнила нектаром еще один кубок. Подошла, присела рядом с подругой, с которой не виделась почти двенадцать лет. Убрала с ее исцарапанного лица волосы, помогла напиться нектара. Спросила тихо:

— Почему?

— Потому что вот.

Девочка с трудом села, провела дрожащей рукой по лбу — и вдруг отвердел мягкий овал лица, в глазах зажглась решимость. На ложе сидела царица подземного мира — приоткрывала ладонь, показывая черные, с прожилками серебра листья.

— Там, на Флеграх... сад Матери-Земли. И Гиганты... я слышала, как они зовут себя... они — не только ее дети. Ее саженцы. Новые плоды. Войну она начнет, когда придет пора сбора урожая. А до тех пор они не должны покидать материнский сад, в котором их не взять ничем. Никаким оружием и никакими силами.

— Значит, если вдруг их за пределы Флегр выманить... — оживился Арес. Кора взмахнула рукой, и он послушно замолчал.

— Мать-Гея ждет, пока саженцы вызреют. Но еще она хочет сделать их сильнее. Хочет дать им такую же неуязвимость, как и на Флеграх. И она вырастила это. Я закричала, когда увидела.

Обрывок черного листа истекает серебром в горсти. Отдает невнятной горечью — то ли старым, запекшимся ихором, то ли полынью поражений...

— Они пили отвар из него. Чудесный отвар. Который сделает их неуязвимыми для ударов бессмертных. И потому теперь они...

Задохнулась, откинулась на подушки, преодолевая усталость и страх. Афина смотрела на Кору с изумлением. Девочка же сбежала с Олимпа, где ее домогался Зевс. Угодила на Флегры. Выглядит перепуганной, измученной — как и должно быть. Но неукротимый зеленый блеск в глазах, твердость сжатых губ, бесстрашие... откуда?!

Наверное, тем, кто столько ждал, не страшны уже даже Флегры.

Молчали долго. Афина помогала Персефоне допить нектар. Арес тихо ругался в свой кубок.

— Они неуязвимы... совсем? — наконец спросила Афина.

Кора тихо качнула головой. Показала: кто знает. Может, не совсем. Может — временно. Может, им нужно выпить еще с десятков котлов чудесного зелья из чудесного растения.

А может — не десять котлов. Может — один.

Тук-тук, — неосмотрительно, немудро сказала сердце. В наивной попытке подсчитать миги, которые, может быть, у них есть.

Есть ли?

— Что будет, если отвар из этой травы выпьет бог?

Девочка слабо пожала плечами.

— Станет сильнее. Может быть, будет неуязвим перед другими богами. А перед ними... перед Гигантами... перед ними мы все...

Плесень. Зараза. Сорняки, которые нужно истребить с корнем.

Арес встал из кресла. Попробовал опереться на раненую ногу — одобрительно кивнул. Сделал пару шагов — хромота заметна чуть-чуть.

— Знаешь, жenuшка, — заговорил почти что весело. — Меня ведь Гермес как-то спрашивал, чем я тут буду заниматься на краю света. Овец, что ли, пасти, сад-огород разводить или в чужом копать? Оказалось — и впрямь, в чужом садике копать. Только вот много ли смысла, если мы эту траву — под корень, а мать-Гея себе вдвое больше вырастит?

— Не сможет, — тихо отозвалась Кора. — Она сейчас должна быть истомлена родами. И такое можно вырастить лишь раз.

Такое — лишь раз.

Тонкий девичий палец тихо вел по прожилкам. По серебру в черноте. По неуязвимости, до которой — рукой подать.

Только вот есть садики, до которых легко дойти, но которые непросто покинуть.

— Царица моя...

Афина отмахнулась — погоди, сама понимаю, что нужно туда идти. Что нужно — сейчас, потому что к следующей ночи будет поздно.

Что Мудрость не поможет. Не поможет даже армия.

Поможет только кровь того, кто века невидимкой бил в спину. Пользуясь не мудростью — хитростью и изворотливостью. Набирая свою армию из себя самого.

«У тебя есть армия, — пришел голос того, кого нет среди бессмертных. — Вот она — смотри. Шлем невидимости. Богиня, которой покорны цветы и травы. Твой муж — воинственный. И ты сама. Разве этого мало?»

Нет, — ответила Афина мысленно. Этого не мало. Этого просто недостаточно.

— Они бодрствовали ночью, — сказала вслух.

Арес понял быстро: за годы они отлично научились слышать друг друга, даже не глядя в глаза.

— Сейчас позову, — согласился муж, уже стоя на пороге спальни. Не удержался, фыркнул: — Может, яблочек с собой взять — под щеки им подкладывать?

* * *

Утро влилось в день, как в ручеек в реку. Колесница Гелиоса где-то там, вовне, весело мчалась над головой — лила золотое сияние на всех, на всё.

Сада матери-Геи на Флеграх ее лучи не достигали. Сад должен быть — спокойным, тихим. Тенистым, удаленным от любопытных глаз.

Чтобы нежные саженцы не побеспокоили плесень раньше времени.

Плесень — она ведь тут как тут. Дождалась затишного полдня, подползает, невидимая, к нежным саженцам. А саженцы...

А саженцы храпят. Так, что грудь роженицы-Земли сотрясается — наверное, от умиления. Так, что скалы дрожат, а камни подпрыгивают.

Слитный, монолитный храп висит над выжженными пустошами Флегр — над когда-то плодородной, а теперь взрытой и перепаханной почвой. В пятьдесят глоток... или все-таки больше? Ну да, тут же у некоторых — по десятку голов.

Детишки матери-Земли разбросали игрушки — улеглись спать. Игрушки лежат вокруг безмятежно, пылятся: вот тяжелая булава, которую с места не сдвинут вместе Гефест со своими помощниками, а вот гладкие копья блестят адамантом, вот мечи — что-то много, россыпь, палица, дубина, дротик...

Плесень выводить — нужно много игрушек.

Зазевается — подкрадется. И сожрет.

Правда, плесень не торопится жрать пока что. Плесень смотрит издалека. Зоркими глазами воина — из невидимости. Соизмеряет противника, оценивает — сколько там рогов? Голов? Хвостов?

— Копейщик, — шепчет плесень. — А этот против Ареса... вот Зевс, а это кто же... Ифит?

Плесени, кажется, скверно. Если бы ее не держали за руку — давно подошла бы, взгляделась вблизи, догадки свои какие-то проверила. Только вот — держат.

— Пора, — шепчет голосок Персефоны, царицы, ни дня не сидевшей на троне. — Идем же.

И вторая ладонь, мужская, мозолистая, напоминает: пора, идем, посмотрелись.

И Афина с усилием вспоминает: нужно идти, должна. Отворачивается от вязкой, затягивающей дороги, от которой нет возврата. От умоляюще распахнутых в немом крике глаз, которые мерещатся там, за дорогой.

— Веди.

Кто знает, сколько отвар Гипноса будет действовать на Гигантов. Бог сна висит сейчас над Флеграми, отдувается и кропит, но все равно — лучше поторопиться.

Храп. Едва слышный шепот Ареса: «Перерезать бы им глотки, пока спят, и дело с концом». Одернуть мужа: хватит безумств на сегодня. Еще непонятно — получится ли перерезать им глотки. Получится ли это вообще у кого-нибудь. И всем разом глотки уж точно не перережешь. А остальные — как только проснутся, двинутся на Олимп.

Мстить плесени — насмерть.

— Ты успел увидеть — чем они бьют?

— Вообще ничего особенно не успел. Собираешься проверить, царица моя?

Качнуть головой — не хотелось бы. И вообще — давай уже... тише.

За скалами, по осыпям и мягкому пеплу. Между костей животных, смертных... может, и богов. Тихо... тихо...

— Вот.

Трава кажется знакомой: продолговатые, темные листья. Горьковатый аромат. Только пальцы Кору стискивают запястье все сильнее. Девочка шагает в траву, оставляя их с Аресом видимыми — и ее пальцы перебирают, кольшут стебли.

— Постойте, это же не то, не то...

Прожилки листьев горят не серебром — багрецом.

— Не то место, — бормочет и Арес. — То было к северу, вон там.

— Взгляну, — шепчет Афина и под прикрытием скал пробирается на север.

Воздух скрипит на зубах, давит грудь, сыплется внутрь прогорклым пеплом.

Смотреть не на что — на севере выпаленная земля. Остатки стеблей разлеглись между трещин на почве, из которой выпили все соки. Земля отдала что могла. Растения тоже.

Теперь вернуться туда, где Кора бродит по колено в «не-тех» цветах — если не те, почему из Земля вообще вырастила?

— Поздно, сжали урожай. Может, конечно, еще не выпили, сложили где-нибудь...

Осмотреть котлы? Подойти к кострам? Это значит — нужно близко, совсем близко... Арес качает головой, в запальчивости открывает рот: не позволю.

— Ты после раны, — шепчет в ответ она. — Будь здесь. Защищай её.

Кора-Персефона мимоходом сует ей в руки отцовский шлем. Без страха отдает невидимость, усмехается взрослой, безразличной усмешкой — кого другого защищайте... Потом отворачивается. Бормочет что-то траве — или спрашивает у нее? Афина Мудрая принимает шлем и становится — Афиной Невидимкой.

Сандалии почти не оставляют следов на легком, сыпучем пепле. Храп Гигантов валит с ног, еще сильнее валит с ног вонь: сладковатый запах падали, смрад немых тел, запах чего-то горелого — нарастают с каждым шагом. В огромном костре валяются части целых деревьев, куски плоти — вот торчит копыто сатира, а вот нежное предплечье нимфы...

«Мать-Гея, — шевелятся губы. — Что ты сделала, что ты сделала?!»

Перевернут котел — душистый отвар со знакомым запахом утекает в землю, последние капли. Наваливается дремота: ну, конечно, там же Гипнос в воздухе — и на плечи будто

падает остров Флегры. Вздор — я выдержу, выдер...

Плывут косматые тела, запрокинутые шеи искусно подставляются под меч — нет, нельзя, теперь уже правда, их не возьмет простой удар, теперь уже — только знания. Соберись, Мудрая. Смотри, Мудрая. Вглядывайся в лица, тела, оружие. Пытайся понять — чем бьют?

Перебирай, будто отточенные клинки в оружейной.

Они и есть отточенные клинки. Серпы, которым предстоит сжать бессмертных: неуязвимые, неотвратимые, порожденные плодородностью Земли... и Тартаром.

Великая Бездна распахивает приветственный ощер за каждым из них — Хаос, как же просто, Мать-Гея, разозлившись на своих внуков и правнуков, собирается освободить своих детей. Те, которые — в Тартаре. Те, которые ждут.

Бездна смеется, лезет в глаза Мудрой: гам! Гам! Раскрывает рот там, за плечами спящих детей, будто голодающий птенец. И нужно встряхнуть головой, убрать из груди липкий ужас, нужно — понять.

Тартар нельзя открыть, пока за ним стоит воля его царя. Пусть себе царь шатается где-то между смертными: великая Бездна будет закрыта, пока такова его воля. Пусть себе на подземном троне разместился кривляка-Мом — все знают, кто одолел Посейдона. Все знают — чье это место.

Сейчас Тартар держит еще и Зевс — после ухода брата в Стикс Владыка Олимпа может распоряжаться и подземным миром как своей вотчиной. Но Зевс — легкая задача. Вот лежит и спит решение — яростное, с трезубцем, с крыльями. Оружие против тирана-Громовержца.

Но Тартар... Тартар не откроется просто так даже если и Громовержца не станет. Значит, должен быть ключ. Должен быть...

Ноги врастают в землю.

Афина стоит и смотрит на молодого Гиганта — не огромного, просто высокого, мускулистого. Тот спит тихо, тревожно — укутавшись в пятнистые шкуры. Лицо скрыто черными волосами — только проступает неявно острая скула. А пальцы сжимают оружие. Древнее, потертое, знакомое оружие, от которого сразу же нужно отвести взгляд — будто это оружие тут же проткнет горло. И уходить, уходить быстрее, не задумываясь, обо всем можно подумать после, а теперь — бежать отсюда...

Поздно. Гигант подхватывается, будто кто-то шепнул ему на ухо: опасность! Прикрывает глаза, прислушиваясь к дыханию братьев — и Мудрая замирает, не смея ступить. Увидит, почувствует, а тогда уже...

Древний, тусклый металл приковывает взгляд.

— Кто здесь? — спрашивает Гигант весело. — Эй, покажись, невидимка!

И поворачивает голову, и черные, пронзительные глаза нашаривают, ищут, ощупывают воздух.

Только бы Кора успела уйти, — взмолилась Афина мысленно. Только бы Арес...

Боевой клич ударил вовсе с неожиданной стороны: она оставляла мужа на севере острова, а клич раздался на юге. Весело прокатился между скал.

— Эй, сони! Привет из подземного мира! Давно гостинцев-оплеух не получали?

Черноволосый Гигант обернулся на клич, перетек в боевую позу. Ног у него не было — ниже пояса шло черное змеиное тулово.

Пальцы сжали страшное, старое, истертое оружие. Разжались неохотно.

Вокруг, потревоженные криком Ареса, уже вставали другие Гиганты. Расправляли крылья, разевали рты в зевках.

— Это что это еще? Из подземного мира? А?

Молодой Гигант дернул плечами. «Так, мелочишка», — пробормотал разочарованно.

— Эгей! Убогие! — радостно крикнул Арес, и Афина чуть было не застонала в голос. — Что-то вы там медленно — может, пинком под зад поторопить?

Сажены матушки-Земли задвигались, загомонили.

— Да мы тебя... самого пинком... пле-е-е-есень!

Повскакивали на ноги, загрохотали горным обвалом навстречу одинокой фигуре, стоящей между скал.

«Чего ждешь? — издевательски спросил голос отца из-за плеч, и Афина чуть было не обернулась, чтобы посмотреть — не стоит ли Аид за спиной. — Овдоветь захотела?»

Обогнать лавину трудно. Афина бежала, превращаясь в вихрь, и чувствуя, зная, что проклятые Флегры вытягивают из нее силу, неслась — вперегонки с гибелью мужа, не слыша собственных шагов из-за топота позади.

Бежала, забыв о мудрости, слыша только — иступленный стук выскакивающего из груди сердца.

Успела — схватила за руку за мгновение до того, как Арес, размахнувшись, метнул копье.

И тут же, под разочарованный вой позади, дернула мужа за скалы, за камни: шлем скрыл обоих, и теперь нужно было уходить, как можно тише...

Уходить — пока за их спинами почему-то смыкается темнота.

— Ночь, что ли? — взревели за спиной негодуя. — Нечестно, плесень!

— А-а-а, подземные! Искать их надо!

— Хотел драться — дерись!

— Трус! Вернись! Пинков надаем!

Грохот столкновений, грохот искрошенных скал. Грохот — скрывает следы. Грохот — и каменистая почва под ногами, пальцы стиснуты ладонью Ареса, из-под отцовского шлема скользят капли пота, стекают по щекам, на лбу мешается проклятая прядь — вылезла, непокорная! Отрежу, в Тартар заброшу — хотя очень может быть, что они тут сейчас вместе с Аресом в Тартар...

Всей семьей.

Но погоня кричит и мечется позади — погоня отстает, только швыряет валунами вдогонку так, что долетает каменная крошка. С небес тоже слышны растерянные крики: потеряли из виду, теперь негодуют, да еще и спать хочется...

— Где Кора?

— С Гипносом. Уходим.

Шепот — в ответ шепоту. И тишина — только легкое шуршание сыпучего пепла под ногами невидимок.

Заговорили они позже. Через час, а может, два пути к окраине Флегрейских полей: до того шли молча, под невидимостью, не размыкая рук, следя только — чтобы мокрая ладонь не выскользнула из чужих пальцев.

— Дурак, — выбросила сквозь зубы Афина, поперхнулась едким пеплом и закашлялась.

— Сама не лучше, — огрызнулся муж. — М-мудрая, тоже. Я как увидел, что этот поднимается, вот-вот тебя учует...

— Я могла бы быть уже на полпути к вам.

— Ага. А головой он водил туда-сюда просто так, со сна зазевался.

Скрипит под ногами пепел. Скалы ощериваются. Каждая — черным маленьким Тартаром.

— Спасибо, Гипнос понял, что пора уходить: слетел, подхватил Кору... отнесет ее к нам.

— А если эти увидят?

— Увидеть — не догнать. У сна быстрые крылья. И все равно отвар его действовать перестал — так хоть какой прок...

Паузы — длинные, тягучие, будто загустевшее оливковое масло. Воздух не хочет идти в грудь — лежит камнем. Будто в колесницу впряглась.

И впрямь, колесницу бы, а то шаги Ареса звучат неровно: опять хромать начал.

— Откуда тьма? Которая нас укрыла?

— Думаю, от малышки Кору. Я не мастер в темные облака перекидываться. Хотя отец... учил. Значит, они с Гипносом ушли не сразу: девочка следила. Хорошо подыграла, а? Услышала про подземный мир...

— Зачем ты крикнул про подземный мир?

Пожатие плечами она определила на слух.

— А чего б нет. От нас подозрения отвести. Пусть Гея погадает — какие подземные гости и зачем к ней шастают. Повезет — еще с Гекатой или Нюктой передерутся.

Одна кровь, — вспомнила Аида сумрачно. Бьющего в спину. Пусть себе — разные матери, только...

— Это было мудро.

— Ну, надо ж мне было хоть чего-то нахвататься. Не только — на мечях...

Путь кажется бесконечным. Минуты застыли — не хотят бежать, воздух колышется вязким, колдовским варевом. Ничего, Арес же шел. Еще и раненый, еще и Кору нес. Ничего.

Путь вдвоем — легче.

— Что там с той травой?

— Разобрались. То есть, Кора разбиралась, я все больше смотрел — где там ты. Заставила увянуть, а после вырастила похожее — но не то. Думаю, не разберутся. Только вот они ведь выпили отвар, да? Из той травы, которая дает неуязвимость от бессмертных?

— Выпили.

— А эта травка была иной. Давала неуязвимость от смертных. Понимаешь? Так что смертный, может, и смог бы их одолеть, только где ты возьмешь такого смертного?

Невидимый голос, который Афина так часто слышала, засмеялся за плечами. Предложил: а давай кого-нибудь из сыновей Зевса в герои возьмем. Вон у него, много сыновей, можно даже всех собрать — вдруг на что-то сгодятся?

— У них отец — Тартар, — прошептала Афина в ответ. То ли Аресу, то ли отцу, голос которого слышала. — Гея хочет с их помощью освободить сыновей.

— Скверно, — сказал Клименид и чихнул.

— Там есть двенадцать... оружие против каждого из нас. Тебя. Меня. Зевса. И есть один. Который может открыть Тартар. Который...

Арес сжал ладонь, прося помолчать. Понял, мол. Догадался — против кого оружие этот, который один. Который не будет участвовать в битве и шагнет прямо с Флегр — открывая врата Тартара.

Который неуязвим — ибо не может быть уязвим тот, чьи пальцы сжимают гладкий, вытертый металл лука Урана.

Муж молчал долго — час, два, три. Только поглаживал ее ладонь пальцами, будто рукоять меча ласкал.

Заговорил, уже когда они достигли окраины Флегр — и сделали шаг по-божественному, изламывая мир вокруг себя. И упали в вечерние тени, в душистые травы у своего дома.

— Значит, — сказал муж, тяжело дыша, — значит, здесь нужен тот, кто мог бы принести им смерть. А потом уже — наше дело. Смертный... герой.

Афина глядела в поблескивающее звездами небо. Звезды мигали, суетились — видно, строили созвездие героя. Самой фигуры не было видно — проступала только сложенная из звезд тетива.

— Нет, — заговорила Мудрая со странной уверенностью. — Не смертный герой. Смертный лучник.

МОНОДИЯ. ПЕРСЕФОНА

Жизнь подземного страшится:
Недоступен ад и тих;
И с тех пор, как он стремится,
Стикс не видывал живых;
Тьма дорог туда низводит;
Ни одной оттуда нет;
И отшедший не приходит
Никогда опять на свет.

Ф. Шиллер

Однажды Аполлон показывал ей оракул. Свой храм в Дельфах. Расселину, из которой поднимался ядовитый пар — свивался в диковинные пары и плыл, плыл... Она ёжилась, слушая бормотание пифии, а Аполлон улыбался покровительственно: «Не бойся, на бессмертных этот туман не действует». И потом еще не мог понять: почему она дрожит? Почему прижимается к нему?

В клубах тумана стояла тень. Худая, будто изглоданная кем-то, высохшая, с безумными гноящимися глазами. Тень тянула костлявую руку, разевала рот в безумном крике — и на запястьях у нее были следы от цепей.

— У меня нет детей, — шептала тень и всё пыталась дотянуться дрожащими пальцами. — У меня нет детей, а я так хотела. Но она изгнала меня и родила сама. Ты представляешь это — никогда не иметь детей?!

Нет, — хотела она сказать. Не представляю. У меня непременно будут дети. Но мне тебя жаль. Кто обидел тебя?

— Моя сестра, — шепчет тень искусанными губами. — Сестра, с которой мы родились в один день. Она решила, что мне не место в мире. Растерзала меня и обрекла то, что от меня осталось, на вечное заточение. На вечное заточение среди чудовищ и бед. Ты представляешь, что это — вечное заточение?!

— Нет, — покачала она головой. Рядом со мной мой возлюбленный, и я могу радоваться солнцу, и так будет всегда. Но мне очень, очень тебя жаль. Могу ли я помочь тебе?

— Сможешь, — шепчет тень со впалыми щеками, с язвами на ногах. — О, ты сможешь, Персефона, ибо лишь та, кто уничтожает разрушение и приносит весну может победить ее. Потому что весна всегда приходит с моим именем!

Я не Персефона, — хотела она сказать. Я просто Кора, и я не понимаю, о ком ты говоришь. Я не хочу никого побеждать. Никого не хочу убивать. Кто ты, несчастная?

Но тень отходит, растворяется. Бормочет что-то жалкое, захлебывающееся о том, что лишь отголоски ее пребывают в мире, и всё повторяет о заточении среди самых страшных бед и чудовищ, и о каком-то сосуде. И о своей сестре, которая настигла ее обманом и лишила ее всего, потому что знала...

Что знала — этого не слышно, только горькая жалоба о том, что безжалостная сестра родила. Трех девочек. Трех дочерей, которые любят прясть. И о том, что ей всего

мало, этой сестре, и она все выбирает себе приемышей-любимчиков, так почему бы и ей самой не выбрать?

И Коре страшно даже сквозь годы: все кажется, что потухшие, отчаянные глаза смотрят сквозь ядовитый дым на нее с последней искрой надежды.

Чёрный пёс ей снился часто. Всегда — одинаковый: огромный, остроухий, с мощной грудью и крепкими лапами. Казалось почему-то — не охотничий, сторожевой. Такие хорошо сидят у порога дома, облаивают ночью воров, неожиданных гостей к хозяину на крыльцо не пускают.

Только вот ни крыльца, ни порога, ни дома у пса не было. Очень может быть — хозяина не было тоже. Наверное, не было и вообще больше ничего, вот он и заладил являться в снах: исполинской тенью восседал где-то поблизости. Следил огненными точками глаз.

Когда она во снах искала своего мужа — следил. И когда танцевала во сне по зеленым лужайкам — сидел. Смотрел пристально, иногда головой крутил — внюхивался, будто желая уловить знакомый запах. Иногда подходил — всматривался пристальнее. Щерил предупредительно клыки — не подходи, мол.

Наверное, прежняя Кора испугалась бы ночного спутника. Персефона не боялась. Пса ей было, пожалуй, жаль — он был какой-то бесприютный, заброшенный. Может, выбросили, забыли, вот — сидит, дичает. Наверное, вить хочется, только вот не воется — где подземному чудищу луну отыскать, чтобы обвить как следует?

— Ты тоже ищешь, — как-то сказала ему Персефона во сне. Пёс поднял голову с лап, недовольно рыкнул. Нестрашно. — Я понимаю. Я тоже потеряла. Своего царя. Полюбила его и пошла за ним, а потом сразу же его потеряла. Найти вот не могу. Наверное, мне не хватает чутья.

Пес слушал молча, глядел внимательно — алыми точками.

— Еще я не могу плакать, — сказала она тогда. — Мне очень хочется... но я не могу. Царицы не плачут — может быть, поэтому. Мне даже некому сказать. Мать не слышит меня, она теперь все чаще с Гебой, и они не верят мне, не верят, что я пошла за ним... только Гестия, она славная. Но ее жених...

Пёс вывалил ярко-огненный язык, как бы соглашаясь — ну и жених, однако. Подумал, устало лег на бок. А она вздохнула и заговорила ещё, и говорила во сне всю ночь, и под утро камень в груди стал полегче, и она смогла дышать и опять искать.

Чёрный пес в снах неизменно следил и ждал, и теперь разговаривала она с ним часто. А без снов не приходил. Иногда она искала глазами — вдруг появится, сторожевой. Нет, не являлся.

Только показалось один раз, недавно... когда под ногами во второй раз оказалась выжженная пустошь Флегрейских полей, когда Арес прошептал: «Уходите с Гипносом, я их отвлеку» — когда рванулся спасать жену, встал во весь рост, радостный вопль Гигантов врезался в небеса отравленной стрелой... Тогда она крикнула — без слов, и вдруг показалось: рядом с Аресом мелькнули знакомые черные уши.

Но нет, это клубился мрак, пришедший непонятно откуда. Посреди тусклого дня — эребская ночь. Гипнос потом, когда нёс ее на крыльях с Флегр, шептал что-то пораженное над ухом. Потом, когда уже на землю поставил, таращился. Наконец выдавил:

— Я не знал... царица.

Персефона не стала спрашивать его: была в тревоге за Ареса и Афины, которым предстоит добраться до края Флегр пешком. Прождала несколько часов — не осилила труд,

не смогла ждать еще и этих. Закрыла глаза, провалилась и падала, падала, сперва в серое, потом в темное, куда не достают корни растений... Потом увидела белую дорогу. У дороги сидел, щерился приветственно пес.

— Радуйся, — сказала она ему. Пес порадовался: неловко подергал хвостом. Потом подошел, заглядывая алыми точками в лицо, будто спрашивая: я сделал правильно? был хорошим?

— Хорошим, — повторила Персефона. Несмело протянула руку, потрепала по холке. Показалось вдруг — коснулась вязких, ледяных вод, потом забвения, потом чего-то обжигающего... Пес фыркнул. Вцепился зубами в ее подол, потащил за собой. Она попыталась высвободиться, но он только рыкнул — молчи, смотри... вот, покажу. И тащил, тащил, и подземный мир изламывался и прорастал искрами по краям, шел складками, пока они в три шага достигали дворца Владыки.

В котором никогда не бывало Владык. Всегда восседали — цари: временные марионетки, чужаки, которых приятно было за ляжки покусывать. Посейдон, например. Это он захотел, чтобы зал отделали черным мрамором и аквамарином — будто окунаешься в опасный омут, только колонны временами взблескивают серебром. Да трон стоит из чистого золота — ждет, пока его согреет седалище очередного царька.

А царек тут как тут — расселся, пытается сохранять на физиономии выражение торжественного величия. Только ведь физиономия Мома-насмешника к этому делу не приспособлена сроду, а потому выходит дурная помесь натужности и напыщенности.

Не царь — кривляка паскудный. Вон и свита понимает: хранит больше насмешку, чем почтение. Кроме приближенных подпевал: Керы, божок Эврином, Оркус, мрачные боги снов... Эти тоже хихикают, только вот не над царьком, который подобрал себе трон не по размеру.

Над теми, кто стоит перед троном.

Девушка с огненно-рыжими волосами устало кутается в плащ — холодно, очаги не горят... Русоволосый воин застыл рядом: кажется — вот-вот прогремят за спиной железные крылья.

Нет, не гремят почему-то.

А царек на троне цедит одно слово за другим:

— Великий Зевс прислал мне весть. Ты поднял руку на Громовержца, оскорбил его сына и похитил сестру. Громовержец гневается.

— И ты выдашь ему одного из подземных?

Голос смерти спокоен и сух. Царек — золотой обруч ярко сияет в рыжине волос — кривится: к нему не обратились с должным почтением. Потом хмыкает, озирает свиту: подлизы затаили дыхание.

— Нет, пожалуй, нет. И если бы Громовержец хотел захватить тебя, Чернокрылый, он сделал бы это. Все знают, что тебя легко позвать. Потому он хочет, чтобы я покарал тебя сам.

В гордом голосе — трусливые нотки прежнего Мома: этого покараешь, как же... Но ведь и с Громовержцем же не хочется ссориться, так что нужно. Пальцы сперва несмело, а потом все тверже сжимают двузубец — чудесное оружие, наследство Посейдона. Алый язык скользит по губам в предвкушении.

Танат Жестокосердный стоит спокойно, глядя на острия, которые медленно направляются в его лицо. Гестия слабо вскрикивает — крик душит дружное оханье

придворных...

Пес рыкнул вопросительно — чужой? Чужой, — кивнула Персефона. Не свой. Ты же, наверное, что-то можешь, раз привел меня сюда. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Он — бог смерти, и я ему помочь не могу ничем, меня же учили только выращивать цветы, но ты же можешь что-то — прошу...

Острия двузубца немо молчали. Чуть подвигались назад, будто кто-то вцепился зубами в нижнюю часть оружия — и тянет на себя. Мом побагровел от натуги, попытался взмахнуть, едва не потерял равновесие, удивленно воззрился на оружие — так, будто оно его подвело впервые.

Подскочил чуть-чуть, будто кто-то хватанул за пятку.

Впрочем, быстро сделал вид, что просто крутит оружиековки Циклопов в пальцах. Засмеялся милостивым, царским смехом — и свита угодливо подхватила.

— Только олимпийцы подумали, что я буду карать своего брата! Я помню о нашем родстве, несмотря на то что взошел на трон. Нет, не покараю. Сделаю подарок к свадьбе. Твоей молодой жене нужен будет другой дом, Танат. Светлый и солнечный, не чета твоему дворцу. Так живи с ней среди благоухания и цветов, в Элизиуме! Я отдаю его тебе в дар — пусть отныне будет твоей вотчиной. Мастеров для постройки дворца я дам. И отказа не приму — не противоречь моей щедрости! Я хочу видеть твое жилище только в прекрасном Элизиуме, слышишь?

— ...слышу, — донеслось чуть погодя, выщеженное сквозь зубы.

В мертвую тишину зала. Молчали даже насмешницы Керы, онемел рой вечно шумливых снов. Молчали так, будто подарок был несоразмерно тяжелой ссылкой. Пыткой, страшнее любых казней.

— Так помни — теперь твоя вотчина Элизиум и только! — Мом утвердительно качнул царским жезлом. Успел поправить съехавший венец. — Я желаю, чтобы вы поселились там с сегодняшнего дня... чтобы в полной мере насладиться. И не тревожьтесь — вас проведут, доставят вещи... о, вы ни в чем не будете нуждаться. Даже если Громовержец разгневадается...

— Спасибо, — прозвенел робкий голосок Гестии. Она стояла рядом с Танатом поблекшая и уставшая, и новоявленного царька передернуло, когда он взглянул в ее лицо. Прочистил горло, сказал, покривившись:

— Будь благодарен за мою милость, брат. Вам теперь безопасно лишь в Элизиуме и...

Где еще — не договорил, будто поймал себя на ненужной откровенности.

— Так спасибо, — процедил Танат в ответ, — что не выбрал Тартар.

Взял Гестию за руку и зашагал к выходу из зала. Мом за его спиной задумчиво вперился в двузубец: попробовал поднять... мельком взглянул туда, где стояла Кора, и показалось: вздрогнул. Может, узнал пса?

Она невольно опустила ладонь на холку — погрузила в ядовитые туманы и во влажные лепестки асфodelей. Потом оказалось, что дворца вокруг нет, а есть только поляна где-то на окраине — заросшая бледно-золотистыми цветами и корявыми деревцами граната. Плоды падали, раскалывались, брызгая соком памяти — слишком алые...

Пес сидел совсем близко, глядел тоскливыми, ждущими глазами.

— Ты просто чудо, — сказала ему Персефона, вспомнив Гестию. Та вечно и всем говорила, что они просто чудо, и заливисто рассказывала, что «вот, у брата была такая коза, тоже чудо, только странное какое-то, она меня очень хотела забодать, но потом я достала медовых лепешек...». — Наверное, тебе бы понравились медовые лепешки. Жаль, у меня

нет.

Пес глубоко вздохнул. Ткнулся носом в ладонь и начал выть — низко, раздрающе и жутко, будто высказывая накопившееся.

«Увы-ы-ы, увы-ы-ы-ы-ы», — жаловался пёс от всей собачьей души, и всё было понятно: с самого рождения никакого покоя, только и хотят нацепить шипастый ошейник, и все норовят сломать и выдрессировать, взгромоздиться на плечи...

Он очень ждал дома, пес. Ждал хозяина, которого выбрал. Который придет — и сделает дом. Только вот хозяин все не шел и не шел, а на его место сел другой, который, кажется, совсем даже и не хозяин. А еще есть эта, от нее хозяином пахнет, и наверное — она тоже его, только что ж теперь делать-то?!

— Ждать вместе, — сказала она ему. — Будем ждать вместе. Пока он придет. Хочешь?

И огромный дикий пес взвизгнул от радости и подпрыгнул, как почуявший добрую ладонь щенка.

И она проснулась.

* * *

Мечи звенели нестрашно и задорно. Железо вызвякивало упрямо: поживем еще — и упорно вырывало из сна. Прогоняло страшные воспоминания: она сначала падала, потом стояла на черном, выжженном поле, и из каменистой почвы проклевывались острия копий — всходы. Посеяли месть, обильно полили горечью и болью — проросла.

Персефона открыла глаза, устало повела по лицу ладонью. В комнате пахло молоком и яблоками и немножко — медом. Рядом, у изголовья, серебрился шлем невидимости — тек серебряными струями.

Напоминал.

Там был Зевс, — вспомнилось, но смутно. — Или нет, сначала был Аполлон. Танат вступился за нее, назвал царицей. Крикнул, чтобы она бежала — и она повернулась, шагнула, успела подумать только — не к матери, лучше к бабушке Гее, больше не к кому...

И ее рвануло, закружило и понесло, она не шла, дорога сама бежала к ней, тащила неведомо куда, и мир вокруг прорастал уродливыми изломами. Потом были Флегры — колыбель матери-Земли. Гиганты, их пляски у костров, и вопли жертв, и запах горелого мяса... И тусклые звезды пляли с неба равнодушно — будто глаза сотен потерявших разум старух. Не хотели сочувствовать ее блужданиям между острых камней. Не указывали путь, когда она пыталась сбежать. Не помогали звать на помощь.

Запах еще был. Донесся смутно, поманил за собой — и она увидела, как стелются по бывшим камням и разворачивают листья в ночном сумраке растения, коснулась их пальцами, спросила — а вы что тут делаете? Да вот, неуязвимость дарим, — ответили листья. Слышишь, такой же запах идет от костров? Мы там, в котлах. А скоро потечем по их жилам — по стеблям саженцев матушки-Геи.

Наверное, она тогда и закричала, когда осознала это. Вот только почему откликнулся Арес? Он же теперь ей не жених...

Потому что он его сын, — вкрадчиво шепнул голос мудрости. Он старший в семье, куда ты вошла — и он обязан тебя защищать.

Защитник, легок на помине, носился с женой по внутреннему двору, размахивая мечом. Персефона невольно вздрогнула: слишком похож. Голос вот только не тот: молодой,

задорный:

— Что так медлишь нынче, жёнушка? Мудрых мыслей невпроворот?

— Так ведь приходится помедленнее — как иначе с тобой драться?

Второй голос... и не скажешь, что Афина. Звенит серебряным, полным колокольчиком

— в такт звона мечей.

— Эй, что застыл? Все плачешь, что не попал к Афродите на свадьбу?

— А тебе, случайно, не Гефестова женитьба покоя не дает?

— Вот я и гляжу — не нарочно ли ты хромаешь? Решил Гефестом заделаться?

— А ты мечом тычешь, будто пальцем на новые благовония указываешь — не Афродиты ли образ примерить решила, Мудрая?

Дзынь-дзынь — это клинки. Дзынь-дзынь — колкие, нестрашные фразы. И волосы летят, развеваются на ветру, упрямые, черные, похожие чем-то, будто у брата и сестры...

Опыт дерется с опытом. Мудрость — с хитростью.

Только вот ранить не хочет никто.

Медные волосы тоже рвутся ветром — полететь бы туда, с ними потанцевать... Лежите, дурные. Натанцевались уже. Ночью, на Флеграх.

Арес наконец ее заметил, кивнул Афине. Подошел, еще запыхавшийся после поединка, чуть припадающий на правую ногу.

— Ну, дорогая мачеха, — сказал, усмехаясь. — Такого натворила! Как увижу отца — первое что скажу, так это что с выбором не прогадал. Мало того, что с его шлемом — так еще и в его манере: получите в зубы то, чего не ждали.

Персефона, глядя на его лицо, тихо шевельнула губами: чему радоваться? И даже больше того: тут Лисса-безумие не проходила? Война на пороге, богов Гигантам не одолеть, а эти двое нашли, когда — на мечях...

— Мы вчера вечером как раз вернулись — ты уже спала. Ну как, отдохнула? — глядит только с тревогой, будто на младшую сестренку. — Тебе бы подкрепиться сейчас — нектар...

И это тоже — нашли когда. Персефона поморщилась, хотела было спросить: может, это все-таки был дурной сон, ее просто выбросило здесь, остальное приснилось... Но вслед за мужем подошла Афина и ответила сразу на взгляд:

— Не сон. И не бездельничаем. Просто ждем кое-кого — а забивать голову сейчас было бы неразумно. Успеем, когда гости придут.

Арес пробормотал что-то под нос о том, что некоторые гости кому угодно что угодно в голову забьют. Гвоздь, например. Персефона взглянула недоуменно и настороженно.

— Они тебя не выдадут, — успокоила Афина. — Ни Зевсу, ни Аполлону, ни матери. Будут только наши союзники.

Союзники бывают в войне.

Оказывается, они к ней готовились. Ждали и копили силы. Олимп пировал, — думала Персефона с горечью. Олимп пировал, и у нас вовсе нет войск. А здесь, на краю света, втихомолку и издали заключались военные союзы, ковалось оружие под руководством Прометей, создавались отряды, палестры...

Что может группка изгнанников-заговорщиков?

Судьбы мира решать, оказывается.

На совет первым явился Прометей. Прошел в густую тень обширной беседки, уселся. Извинился за брата: у того какие-то разговоры с отцом. То ли по поводу сосудов, то ли по

поводу Пандоры, то ли по поводу вещей прозрений, кто там знает многомудрого и осторожного титана Япета.

Прилетел Гипнос — какой-то встрепанный и угрюмо трущий глаза: «Уснешь с вашей братией! То копьём. То на Флегры. На себя самого отвара не хватает!»

Следом возникла Гера, кивнула деловито: «Так и знала, что ты где-то тут, успокою сестру. Нет, не скажу, конечно, где ты. Садись ближе, племянница, долго не виделись». Персефона кивала скованно: не знала, как говорить с первой женой Климена Странника. Хотя она ведь сейчас замужем за другим — вон ее кифаред, тихо гладит струны, а глаз с жены не спускает — вдруг да потеряется.

Последними в воздух внутреннего двора шагнули Танат и Гестия. Богиня очага улыбалась тускло, измученно, и Гера тут же подскочила с возмущением:

— Ты с ней что в ваших болотах сотворил, подземный?!

И поперхнулась, когда взглянула на Убийцу. Раньше у того разил только взгляд — а теперь все лицо заострилось будто лезвие. Подольше посмотришь — с дырой в глотке упадешь.

— Думаю, не в болотах дело, — сказал Арес вполголоса, пока Гера усаживала Гестию поближе к очагу. — Тетушка, а правда, что Громовержец после беседы с тобой летел кверху тормашками?

Гестия, грея руки у огня, призадумалась.

— Тормашек не было. Но немножко, кажется, все-таки летел. Ну, он же хотел ударить Таната!

Рассмеяться в голос помешала только толосная физиономия бога смерти.

— Элизиум, — тихо сказала Персефона. Дождалась непонимающих взглядов. — Зевс разгневался на непокорных. Помешавших ему. Бросивших ему вызов. Он обратился к Мому — тому, кто занимает трон в подземном мире. Мом-Насмешник не хочет выдавать подземного. И ссориться с Зевсом тоже. Он сделал Элизиум вотчиной младшего сына Нюкты. И отправил его туда... в ссылку.

Тихо охнула Гера. Прометей исторг сочувственный вздох. Афина подперла кулаком подбородок, смотрит пристально: откуда знаешь?

— А что б ей не знать, если она тьму нашего мира призывает, — бурчит Гипнос. — И мир гранатами зарос по самое не могу. Ее признали царицей. Дали право — я бы так сказал, побольше, чем у братишки-Мома, хоть у него и трон под сидением. Только вот — почему?

— По праву мужа, — передергивает плечами Гера. — Может, на Олимпе брак и не признали, а вот мир признал. Тем более что они клялись в верности на его берегах.

Ничего не укроется от богини домашних очагов. Только вот Гипнос не согласен.

— Пф! — возмущенно машет крылом. — Чтобы царице! Власть! Пока муж в отлучке! Да вы хоть знаете, как наш мир с царями-то обычно? А тут — жене такое!

Персефона молчит. Не хочется сыпать впустую словесную шелуху, говорить, что это значит лишь одно: мир признал нового царя так, как не признавал еще никого. Не за месяцы, не за годы — в несколько минут.

Потому что никто раньше не пытался жертвовать собой ради мира.

Ифит глядит встревоженно. Он ничего не говорит, но кифара у него под пальцами выплескивает из себя предвидение. *Осторожно, царица подземного мира. Мом-Насмешник не глупец Он поймет, почему у него нет власти. Поймет — и...*

Арес хмурится.

— Элизиум — дрянь, конечно, — говорит с ноткой раздражения. — Только у нас тут скоро Тартар в гости заглянет. Точнее, уже заглянул в гости — к Гее-Матери, а она и родила от большого-то счастья.

Потом рассказывает Афина. Скупое, кратко, сухо — и от этого выжатого, обесцвеченного пересказа всё кажется еще страшнее. В рассказ Афины не прокралась гарь от сожженных навсегда Флегр, не пролезло видение бесконечной дороги. Но они где-то там, притаились неподалеку. Ждут, когда можно будет — без промаха...

— ...смертный лучник.

— Так из смертных много кто хорошо стреляет, — хмыкает Гипнос. — Эврит, к примеру, царь. Или пара десятков сыновей Зевса — ну, знаете, последних. Или...

Или.

Тяжкое молчание повисает между присутствующими. В молчании — понимание.

А в горле — ком.

Его не могут найти три года, — хочется крикнуть Персефоне. Три года назад он шагнул из Стикса — и я искала его, и не могла его найти. Я вижу по лицу Ареса — он тоже искал. И Гера. И Ифит со своей музыкой. Даже Убийца — и тот искал, вглядывался — вдруг мелькнет рядом с умирающими...

Нет.

— Искали не только мы, — говорит Ифит тихо. — И недруги тоже. И олимпийцы, — олимпийцев он все же к недругам не отнес. — Но найти между смертных трудно. Словно найти гальку на берегу.

Невидимка — всегда невидимка. Пусть себе без шлема — найдет, где скрыться.

— Плохо, значит, искали! — фыркает Гера. — Уж я-то его знаю: залез себе в какую-нибудь пещеру, сидит, и...

— А если вдруг война? — вскидывается Арес.

— Что — война?

— Если вдруг... ну, скажем, война между смертными. Явится?

— У смертных постоянно войны. Тебе ли не знать. Сколько там случилось только за три последних года? Ты там отца видел?

Арес разводит руками: не было такого.

— Я мог бы попробовать... сочинить песню, — вступает тихо Ифит. — Если... нужно.

И никто не смеется. Слишком многие помнят о том, какая сила заставила ворота Олимпа распахнуться, а дорогу — покорно стелиться под ноги новому господину.

Только Убийца цедит углом рта:

— И как вы собираетесь скрыть этот поиск?

Афина кивает — верно, верно. Нелегко искать кого-то, когда по пятам идут те, кто тоже желал бы найти. Но вряд ли для доброго.

— К чему скрывать? — это уже опять Арес. — Шлем ему на голову, да и...

Спор крепчает, отращивает головы. Гипнос возмущенно хлопает крыльями: ага, ага, шлем на голову, спрятать... А если братец Мом его — до того, как шлем на голову? Или Зевс? Или кто там еще гоняется за бывшим Клименом Вседержителем? Может, вообще другого смертного стрелка поискать? Арес возражает: стрелка подыщем, а войска кто возглавит? Ну, то есть, можем и мы с Афиной, но все-таки... Гера отмахивается взмахом ладони: вы-то всё можете, только вот тут уже такое начинается, что под силу только одному разобраться. И не забывайте про этого, как его... Гиганта, который погибель для Аида.

Нужно возвращать невидимку.

Провидящий грустно ухмыляется — а как ты его вернешь, если никто... Ифит хмурится — план вынашивает. Отстраненно смотрит в сторону Гестия — тянет руки к огню.

Персефона прячет руки в одежды — чтобы не выдавали дрожь. Потому что это неправильно. Нельзя так. Осталось еще шесть лет до срока, она уже смирилась, что никто не сможет его найти, потому что от их разговоров нарастает внутри боль, и кажется — вот он, проклятый невидимка-без-шлема, на расстоянии вытянутой руки.

Только не дотянуться.

— Может, все же — если война...

— Не война.

Это звучит голос мудрости. Тихий — но споры тут же прекращаются. Все глаза, все взгляды — на Афины. На губы с легкой усмешкой, на непокорную прядь.

— Не война. Нам нужно то, что уже сработало один раз. И что не вызовет подозрений.

И — с небрежным широким жестом, будто истину с небес:

— Состязание!

И тут уже все заговорили разом: нужно организовать так, чтобы не поняли, что это они... да и условия повкуснее, чтобы побольше лучников собрать... А если Аполлон тоже явится, спрашивается?! То есть, когда явится. Значит, что-то надо делать с Аполлоном, и отвлечь Зевса, и Мома тоже надо бы...

Афина достала откуда-то глиняные таблички — черкала, уподобившись Мнемозине-памяти, которая всегда пишет. Гипнос сыпал дурными идеями, Ифит что-то вполголоса говорил Аресу про войска, лапифов и кузницы...

Совет разбился на части, распределился. Гера вышла куда-то — прогуляться, что ли, вздумала? Персефона глянула искоса на спорщиков — хозяйке дома не до того... сбегала, накрыла на стол. Расставила фрукты, принесла нектар — и не заметили, каждый своим занят. Гестия о чём-то говорит с Афиной. Арес горячится, доказывает Ифиту: «Да вот весь вопрос в том, чтобы он сразу туда не полез...» Только Прометей прислушивается ко всему со все возрастающей жалостью. И в глазах — что-то страшное, о нитях, о Мойрах... Правда, к Прометею тут же пристал Гипнос: «Так а если бы вот там усыпить...»

Персефона тихо скользнула в сад. В пальцах засеребрился шлем невидимости — приглашением: давай же, исчезни.

Невидимой она прошла по зеленым дорожкам, на которые упали сраженные полуденным зноем листья. Вздохнула полной грудью, неверяще прислушиваясь к себе.

Меньше дня назад она видела Флегры. Черное будущее для богов. Вечное небытие. Откуда же взялось спокойствие, куда девалось вечное, черное равнодушие?

Будто кануло в Стикс, который эти безумцы собираются победить.

Они его вернут, — вдруг с кристальной ясностью поняла Персефона. Не остановятся, пока не вернут. А это значит — не шесть лет, может, даже не шесть месяцев.

Может, три месяца или даже меньше — и она дождется.

«А потом он уйдет на Флегры, — шепнул голосок, похожий на голос Мома. — Чтобы нести смерть Гигантам. Они вернут его не для жизни. Он будет смертным, единственным смертным в бою. А смертные хрупки, ты знаешь».

Персефона прижала пальцы к вискам, стараясь утопить, заморозить, истребить ненужные мысли. Будто сорную траву, будто худшего врага — где там бог смерти для этого неумного внутреннего голоса?

У бога смерти нашлось дело: каменеть рядом с бывшей царицей богов. Подслушивать, наверное, нехорошо, — подумала Персефона, когда увидела этих двоих во внутреннем дворе. Не по статусу царицы. Впрочем, был один такой — ходил себе невидимкой, подслушивал, подглядывал. Между прочим, был Владыкой Олимпа. Так что и ей можно, наверное.

Хотя что тут подслушаешь, на что поглядишь? Молчание — тяжкое и изматывающее. Тетка Гера уселась на скамью, задумчиво перебирает стрелы в колчане. Выжидает.

Пока каменная статуя оживет и надумает говорить.

Статуя, правда, не оживает сразу. Минута, две — и вот почти незаметно приоткрываются губы, с них медленно срываются слова:

— Я хотел... просить.

И вновь молчание, только иволга в кустах поперхнулась. Подумала, что ослышалась, наверное: просьбы — у смерти?!

— О Гестии. Чтобы ты приняла ее в свой дом.

— Вернуть хочешь? — насмешливо вскинулась Гера. — Наигрался досыта, теперь не нужна?

Персефона невольно восхитилась смелостью тетки: такое — и Танату! Да еще под таким взглядом...

— Элизиум, — скрежетнул голос подземного. — Я выдержу — мне не нужно будет возвращаться туда часто. Но не она.

Гера отмахнулась досадливо. Перебрала пальцами в воздухе — будто лук хотела натячь.

— Не меряйся дуростью со своим братцем и не разбрасывайся простыми истинами. Все я понимаю. А ты — понимаешь ли, как это будет выглядеть?

Танат слегка пожал плечами, как бы говоря — всё равно.

— Тебе может и все равно, — отрезала Гера. — А ее на весь мир опозоришь. Похитил — ладно, вон, Арес тоже кой-кого украл, так про это никто уже и не вспоминает. А вот то, что назад вернул... вы бы хоть свадьбу сыграли.

Подземный еле слышно хмыкнул, как бы говоря — а у кого достанет смелости провести обряд? Свадьбу царевны должен скреплять Владыка. Зевс гневен, Аполлон так и не воцарился в море... к Мому постучаться?

— Да и еще, — упрямо продолжила Гера, — вы зря полагаете Зевса недалновидным дураком. Ввязываться в противостояние с сыном Ночи, который имеет прав на трон в подземном мире не меньше, чем Мом-Насмешник... Он не пойдет на такое. Если и пойдет, то иначе. Например, заманит тебя к какому-нибудь дружелюбному царьку, скует цепями и подвесит в подвале. На твоём месте я следила бы за кубками, из которых пьёшь, Жестокосердный.

Танат молчал, стиснув губы. Персефона замерла, боясь дышать.

Похоже было, что стрелы из глаз Гера пускать умеет лучше, чем из лука.

— ...и потому он отыграется на ней. Потому что гневается на нее сильнее, чем на тебя. Потому что женщина не поднимала на него руку. Во всяком случае, с тех пор как...

Усмехнулась мгновенно, остро. Будто вспомнила что-то. Пальцы сжали воображаемую тетиву, отпуская невидимую стрелу на волю.

— А у этого к тому же еще были свидетели. Поверь, если я что-то помню о нраве брата — он не успокоится, пока не отомстит. Наверное, если бы не музыка Ифита — Зевс отыгрался бы и на мне... за один давний случай. Останавливает его только мысль о потере

трона... и о бунте в подводном мире.

Странно, что она не сказала этого на общем совете, — подумала Персефона. Впрочем, может, она говорила это Афине или Аресу много раз.

— Ты не задавался вопросом — почему Аполлон так часто появляется на Олимпе, хотя Зевс заявил, что хочет видеть сына наместником в море? Сребролукий не любит море.

Подземный фыркнул.

— Блондинчик умеет любить лишь самого себя. Но чтобы править — любить необязательно.

— В небе — может быть, — откликнулась Гера неторопливо. — У вас, под землей... тебе виднее, Железносердный. А море иное. Оно признает своим правителем лишь того, кто породнился с ним сердцем. Зевс любил его, он любит все, что дает власть... но недостаточно: настоящим Владыкой он так и не стал, все оставался словно бы и не на своем месте, да еще и об Олимпе мечтал. С Аполлоном еще хуже. Отец не доверяет ему. Морские не желают покупаться на его обаяние. И даже nereиды находят его песни фальшивыми. Аполлон даже посылал к Прометею — пять лет назад. Спрашивал, кто будет править морем. И Прометей сказал — Кифаред.

— Понятно, — немного помедлив, вымолвил Танат.

Персефоне представились пальцы на струнах кифары. Тонкие, живые, нежно глядящие струны — будто ласкающие морские волны...

Не пальцы Аполлона. Другие. Кифареда Ифита, морского, внука Нерее... и сына Аида. Плоть от плоти моря. И плоть от плоти Олимпа.

— Ифит любит море, а оно любит его, — Гера говорила устало, проговаривая уже сотню раз сказанное. — Морские видят в нем своего царя — пусть даже он не хочет власти. Но если Зевс попытается ему навредить — морской мир взбунтуется. Зевс понимает это — и не хочет начинать новую войну. Но неужели же ты думаешь — он не ищет путей тихо сбросить меня и Ифита в Тартар? Нам трижды пришлось менять дома за последние два года: слишком много шпионов и тех, кто хотел бы ударить в спину втихомолку. Гестии не будет покоя у нас. Рядом с нами он отыщет ее быстрее. И у Афины с Аресом. И у Прометея. Она беззащитна, пока не за щитом — не за-мужем. Пока она просто его похищенная сестра — а он глава рода и может решать ее судьбу. Забрать обратно и заточить в подвалах. Или выдать замуж, за кого ему вздумается. Или...

Вспомнилось — голова золотого змея медленно ползет из травы... к желудку подкатил клубок тошноты.

Танат опустил голову.

— Я не могу, — сказал глухо. — Ты видела Элизиум?

— Слышала, — хмуро отозвалась Гера. — Когда твой братец лез в дружбу к мужу... к Аиду. Болтал про это. Про то, как отец хотел создать себе вотчину и попытаться сотворить идеальный мир. Подробностей Гипнос не рассказывал, только вот я знаю отца. Представляю, чем там могло кончиться.

— Не представляешь, — отрезал бог смерти.

Молчание опять пришло, затопило — тяжкое, душащее. Геру окликнул от дома Ифит — родилась какая-то новая идея. Бывшая царица поднялась со скамьи, бросила коротко: «Думай как следует, подземный» — и была такова.

Танат шевельнулся. Поднял подбородок, будто решил вдруг полюбоваться на овец Нефелы. Или думал: взлететь бы, убраться на край света... Только вот — куда уберешься,

когда и без того на краю?

— Тебе нужно учиться подслушивать, царица. Дышишь слишком взволнованно.

Голос подземного догнал неожиданно. Но Персефона не смутилась. Медленно потянула с головы шлем. Подошла, взгляделась — до этого ведь даже и лица не видела, все отворачивалась: мороз по коже...

Хотя чего бояться — после прогорклого пепла Флегр? Ну, на Гипноса похож. Красивый — если бы еще не жесткость и заостренность черт. Хотя пусть уж лучше так, чем как у Аполлона. Глаза...

«Не гляди! — испуганно вскрикнул голос матери в голове. — Чудовище, чудовище!»

«Не вижу чудовища, — мотнула головой Персефона. — Воина вижу. Мечника тоже вижу. Изгнанника. Нелюбимого сына. Брата без братьев и сестер. Жениха вот вижу — за невесту свою тревожится. А чудовища не вижу. Не хочу, наверное».

Подземный моргнул. За кинжальной остротой взгляда проступило удивление. *Не наведалься ли к девчонке Лисса-безумие? Олимпийка и без того многое видела за последние сутки...*

Персефона засмеялась тихонько.

— Видела, — сказала негромко, — и хочу увидеть еще. Покажи мне Элизиум.

* * *

Все на Олимпе гадали — что Гестия могла найти в мрачном боге смерти.

Наверное, вот это, — решила Персефона. Отсутствие пустословия. Попыток ограждать и душить показной заботой.

Абсолютную прямоту — как у клинка.

— Тебе не понравится, царица, — только и сказал Танат до того, как взять ее с собой в Элизиум. Гера, например, сказала много больше, когда она узнала — куда они намереваются отправиться. Много больше и очень громко. А закончила победоносным: «...совсем все спятили».

А Афина потребовала объяснить: Мудрой непременно хотелось знать, какие у Кору есть причины. Ифит хотел сопровождать, Провидящий Прометей глядел с жалостью, Гипнос остерегаться пустился.

— Да ты вообще представляешь ли, что это такое? Крон взял одно мгновение — правда, светлое, радостное — и вытянул до бесконечности, замкнул в кольцо. Да туда даже сестренка-Лисса не суется, то есть сунулась как-то, а потом так неслась, так неслась! Только тени и могут существовать, так они ж давно мертвые, для них уже и времени нет. Да там вообще все мертвое — и цветы, и листья, и птицы — мертвые и не знают об этом, и разорвать этот круг...

Персефона слушала очень внимательно — ждала, когда умолкнут. Потом подала голос тихая, выцветшая Гестия:

— Я пойду с ними.

Танат было дернулся, но Персефона обронила тихо:

— Да, тебе очень нужно пойти.

А больше никто и не спорил — только ежились, когда глядели на ее улыбку. И когда они втроем уже делали шаг — в Элизиум, она еще услышала голос Ареса:

— Кажется, девочка решила проверить свою власть.

Умный, — усмехнулась Кора, делая первый шаг уже в Элизиуме. Впрочем, ясно в кого.

Потом сделала второй шаг. Третий. По шелковистой мертвой траве, по тлену прекрасного мирка Крона. Время корчилось под ногами, сжималось, недодавленное гигантской ладонью — в воздух лилось птичье пение, и отчаянно благоухали розы, и беспечно звенели крики танцующих у озера. Посреди Элизиума высился наспех воздвигнутый дом из камня — грубо обтесанные стены, дверь из дерева толстая... Подарок Мома брату — вместо дворца.

Гестия всхлипнула, прижалась к Танату. Тот молча каменел за спиной у Персефоны, глядя на свою вечную вотчину.

— Красиво, — сказала Персефона равнодушно.

Под ногами подрагивало время. Съездившееся, убитое, не желающее распрямляться. Не надо, — стонало время. А то ведь придется показать — какой ценой Крон сотворил свой вечно блаженный мир, что на самом деле сделал с Островами Блаженства...

Словно раззолоченная ткань, скрывающая ослизлые кости. Под маской вечного лета и возрождение — вечное умирание и вечная зима.

Время, скрученное в жгут, искалеченное, растянутое, как перед бичеванием, хныкало под ногами. Вздрагивало жарко, судорожно, будто чувствовало, что к нему крадется охотник — черный пес с огненными глазами.

Подползает, сейчас тряхнет башкой, вцепится, разорвет...

Пес крался и щерился насмешливо. Знал: Крон не успел доделать свой идеальный мирок. Сотворить мир блаженства таким, каким задумывал. Слишком уж быстро его доконала стрела Урана — а все потому, что явился какой-то пастушок...

Будь у Крона хотя бы две сотни лет — он бы сжал секунды в пучок, скрепил между собой, вбил в землю адамантовыми кольями, чтобы — не разогнуть... А так торопился, наверное, — поспешно накинул на Элизиум неверный покров из навечно убитых секунд. Покров трещал и рвался от прыжков черного пса, и время вскрикивало, испуганное, и рвалось прочь от гигантских лап, от клыков, от огня в зубах...

И зелень бархатистой травы ложилась под ноги прахом, деревья оплывали скользкой, жирной плесенью, озеро почернело и иссохло, и по камням нового дома побежали потоки слизи. Тени, немо голося, метались по своей обители блаженной, которая обретала настоящий вид: страшный, искалеченный.

Падали птицы с деревьев — становились костями, потом пылью. Истлевали розы, и все шире становились проплешины в траве. Мир получил приказ царицы — и напрягся, и сдернул постылое покрывало со своей части.

Вечное солнце в небе обернулось неярким, серым, пограничным светом, какой и должен быть на подходе к подземному миру. И осталась только сырая, промерзлая почва — плоть, из которой не подняться семенам. Ослизлые камни. Отчаянные крики теней, которые утратили свое фальшивое блаженство.

Еще осталась царица подземного мира. И черный пес — вопросительно глядящий на нее огненными глазами.

— Это твое, — прошептала она. — Твоя часть, отнятая у тебя Кроном. Так забирай ее назад.

Пес хрипло зарычал, замотал башкой: ну ее, такую часть. Она вон мертвее Стигийских болот, жутче Полей Мучений. Оно мне надо?!

Я говорила тебе, — шепнули губы, вспомнившие вкус гранатового сока. За зимой всегда

приходит весна.

Я — весна, и я пришла сюда. К тебе.

Смотри, я иду, и из моих следов прорастают травы. Кто сказал, что замерзшее нельзя отогреть? Кто сказал, что умершее не воскресить? Кто солгал, что под землей весна бессильна?!

Ты близко, и скоро я увижу тебя... отогрею тебя, как эту землю. Заставлю вспомнить, что такое жизнь — как эту воду.

Видишь ли ты — как оживают родники от мановения моей ладони, как заново наполняется озеро, как поднимают головы душистые нарциссы, и асфодели, и гиацинты?

Ты дал мне право — и я взываю к нему как царица. Но еще я — весна.

И потому Элизиум зацветет по-настоящему.

Не фальшивыми розами — мелкими, пахучими дикими тюльпанами, и метелками вереска, и поздним дельфиниумом, и всем, что примет и впустит в себя твой мир... и мой мир. И поднимутся тополя — смотри, они уже поднимаются, шелестят серебристыми голосами. Наверное, Ифит узнал бы этот голос — говорят, именно он вырастил первый тополь в память о матери, так вот, я принесла их сюда, эти тополя. И плакучие ивы от Коцита пришли тоже — хотели посмотреть на обновленный Элизиум. И яркая осока по краям озера, и...

Первое дерево рванулось сквозь почву внезапно — корявое, приземистое, зато почти сразу украсившееся алыми цветами. Цветы качались и облетали, и превращались в плоды — те падали и раскатывались, рассыпали алые зерна, и новые деревья рвались навстречу тусклому свету пограничья.

Напоминали о настоящих клятвах — не чета глупым черным водам, которые никого не могут больше отнять.

Хватит, — сказала она тогда себе. Смотрела, как плющ радостно бросился вверх, по стенам дома. Твердила: всё, уже всё, даже весне нужно побережь тепло...

Иначе как бы не случилось зимних заморозков.

Гранат доверчиво свесился с ближней ветки, лег в руки, треснул, открывая алую мякоть. Она согрела его в пальцах — и тогда уже повернулась к Танату и Гестии.

Бог смерти и олимпийка глядели одинаково изумленно. Гестия — радостно («Теперь смогу греть!»). Танат — недоуменно («Откуда в ней вообще...»)

Молча они смотрели, как Персефона снимает пояс — праздничный, в котором собиралась на тот самый пир. Вышитый гранатовыми зернами.

Поясом она связала их руки. Зачерпнула широким листом кристальной воды из озера — вместо вина для обетов. Вместо жертвенной крови приказала жестом вкусить зерна граната. Сказала тихо:

— Я царица подземного мира, и я благословляю ваш брак. Зажгите свой очаг в этой вотчине — и пусть огонь в нем никогда не погаснет.

Потом отвернулась и шагнула прочь. Легко. Не шествуя — танцуя в ароматной траве возрожденного Элизиума.

Время, освобожденное и шальное, носилось рядом. Щенком норовило подкатиться под ноги: путало прошлое и будущее, и прошлое казалось туманным, а будущее проступало чередой четких амфорных рисунков.

Рисунки дробятся, амфоры повторяются.

Две фигуры посреди цветов и трав: воин преклонил колени перед девушкой,

сжимающей гранат в пальцах. Ну, это точно где-то мелькало. А эта была или нет? Вспыхивает огонь в очаге, расцветает тысячей нарциссов. Кажется, сейчас в нем появится и пропадет женская фигурка... нет, не пропадает. Другие рисунки, фигурки тоже не те: эта всплескивает руками радостно, и огонь тоже плещет ладошками. А вот еще: комната, ложе, девушка протянула руку — оттолкнуть воина... Да не оттолкнуть — поманить.

Время несется слишком быстро — скоро набегается, успокоится. Перестанет подкидывать скорое, очень скорое будущее: осторожные касания, и загорелые ладошки в веснушках — на белых, будто из мрамора вытесанных плечах, и одно дыхание на двоих, и жар огненных волос, оплетающих и заворачивающих — будто в кокон...

Не буду смотреть, — мысленно вскрикнула Персефона. Зажмурилась, на мир прикрикнула — хватит, распоказывался! Во-первых, и Танат и Гестия по глазам читают — и как прикажешь не смотреть им в глаза до скончания веков? Во-вторых — за алостью щек подкрадется мысль: у них с ее царем могло быть так же. Лучше, чем так же. В ту самую первую ночь — если бы она настояла и отдала бы себя ему. А потом он бы ее не отпустил — не смог бы, и у них было бы хоть немного времени...

Слишком всё ярко, слишком больно... слишком близко.

Афина-Мудрая, наверное, сказала бы, что труднее всего ждать в последние дни. И печаль ярче всего видна на фоне чужого счастья.

Трехтелая Геката не говорила ничего.

Стояла на черте пограничья: уже не подземный мир, еще не Элизиум. Глядела, прищурившись, тремя телами. Пальцами пощелкивала — щелк-щелк, задумчиво.

— Мир сегодня странен, — сказала, как старой знакомой. Будто два века дружили и косточки перемывали за нектаром знакомым богиням. — Давно я не помню его таким.

Персефона остановилась. Прислушалась к прыжкам черного пса: утомленным, но радостным.

— Псы чувствуют перемены первыми, — отозвалась. — Приближение хозяина — особенно.

Взгляд Трехтелой Гекаты мелькнул — и канул за плечо стрелой.

Предвестником великого Состязания.

СКАЗАНИЕ 9. О МЕТКИХ ВЫСТРЕЛАХ И ПОТЕРЯННОМ ИМЕНИ

Спина к спине, и меч припал к щиту,
И невозможность — лишь набор из знаков,
И, если ты сорвешься в пустоту,
Я подхвачу, успею, хоть — инаков,
Я знаю, что, сквозь время и Судьбу,
Смеётся сумасшедший, черноглазый
Мой брат. Слова сплетаются в мольбу:
«Живи, мой брат! Со мной навеки связан...»

Инмариль

Говорят, воды Стикса ничего не могут отражать. Потому я не смотрю в воды Стикса.

И то сказать — хватит, насмотрелся уже.

В другие воды тоже глядеть опасуюсь: мало ли кто из них посмотрит в ответ. Там, например, слишком часто появляется мечник, который — не-я. И у которого все начиналось совсем неправильно.

Воин, дурак и вор. Щедрый, Гостеприимный, Ужасный, у которого — я не знаю как там все кончилось. Смотрит и спрашивает взглядом: ты вообще кто?

— Никто, — шепчу я одними губами. — Я никто, и у меня все началось правильно. Так что теперь я вообще не могу представить себе — чем такое может закончиться.

Этот, из вод, щурится понимающе. Оценивающе глядит, кивает — мол, ну и что, что Никто. Никто — они, вообще-то, довольно опасные личности. Имеют неприятное свойство пропадать на годы, а потом стремиться обратно с иступленным упорством. И приходит домой через весь мир — с неотвратимостью весны. Брать в старческие пальцы луки — и не промахиваться.

И Ананка с ее Мойрами ничего не может поделать: не сбылось предсказанное? Никто не виноват.

За плечами того — воина, дурака и вора — мерещится размытая, медноволосая фигура. Смутно знакомая и незнакомая, и лицо расплывается, потому что — заглянуть этой в лицо можно лишь раз. Прячется фигура за мечником. Прикрывается — будто щитом.

От стрелы.

Потому что щиты надежны. Не предают, не подводят. Служат до последнего, даже когда переплавляются обратно в бронзу в последнем бою. Щиты порождают за-щитников, которыми так удобно прикрываться...

А стрелы порождают непонятно кого. Лучник долго защитником быть не может — как, например, копыеносец или тот, у кого на поясе — материнский серп. Рано или поздно — такие становятся острием над миром: копьем, мечом...

Стрелой.

«Ты стал острием над миром, о Никто, — щурятся там, в воде глаза той, которая

больше со мной не говорит. — Ты стал стрелой, наведенной на меня. Мальчик, я не ждала этого, когда выбирала тебя: у тебя ведь все так правильно начиналось. Зачем только ты не слушал меня, маленький Никто?»

Наверное, так сложилось. Может, предназначено было — чтобы мою судьбу переписали в детстве. Чтобы все началось неправильно. Может, тогда кончилось бы лучше. И той, которая не говорит больше со мной — ей не пришлось бы задавать мне роковой вопрос:

— Что же ты будешь делать, маленький Никто?

Наверное, это странно — пожимать плечами, глядясь в воду.

— Ты же сама учила меня не промахиваться.

— Без промаха! Без промаха бьют! Без промаха!!

— Эй! А кому стрелы? Стре-е-е-елы?!

— Луки! Отменного тиса! Ясеновые луки! Феб заглядится-засмотрится!

Торговцы дерут глотки отчаянно, только что толку — осипли медные глотки, голоса приугасли, слова не желают лезть — колются, царапают...

Одно хорошо — покупатель идет. Торговцам всегда раздолье на соревнованиях, а тут... да еще на щедром Крите...

Плевать, откуда взялось: говорят, сам Сребролукий Аполлон решил найти и наградить лучшего в Элладе лучника. Или вот еще называют Эврита, царя Ойхалии, с которым в искусстве стрелять ни один смертный не сравнится. Соскучился, говорят, царь, по соперничкам. Вот и забеременел идеей, народил на радость миру:

— Состязание!

А дитя получилось норовистое и шустрое. Разрослось живо, ураганом прокатилось по Элладе, заскакало по Пелопонесу: забежало в Спарту, свело с ума Афины, заглянуло в Афины, перепрыгнуло через моря и пошло гулять по другим землям: Лесбос, Наксос, Дельфы, Фивы... Теперь вот, до Крита домчалось. Всех на ноги подняло, всех с ума свело, правитель Минос на радости кинулся то ли стадион новый строить, то ли лабиринт, потом опомнился, объявил: празднику быть под открытым небом...

Праздник был. Безумствовал, плескался, неистовствовал. Пострелять, поболеть, поглазеть сбежалось чуть ли не все население острова. И торговцы надрывались наперебой: спешили набить карманы, пока не кончится состязание.

— Луки! А вот луки!!

— Да вот вчера-то... слышали, говорят, Зевса сын, стрелял метко? Так у меня купил!

— Обереги-то вот! На удачу! Купи, красивая!

Блеют, воркуют, мекают жертвенные животные. В цене статуэтки, изображающие Аполлона. Сутолока, неразбериха:

— П-поприперлись... из деревни... бестолочи!

— Так где храм-то, я не понял?

— Да вот пойдешь, пойдешь — и налево!

— Эй, не слушай, друг! Это он тебя к храму Климена Клятвопреступника посылает. Ну к руинам, то есть...

— Да не поминай эту погань ко дню!!

Поминают. Но с опаской, шепотком и под вино. А вы, например, знаете, что тут, на Крите... вот, где-то тут прямо куреты и лупили в щиты (пра-прадед рассказывал — его прапрадед как-то услышал, да так глухим и остался!). Кстати, не купите ли осколок от копья

куретского? Не надо? Тогда обломок от рога изобилия, из которого нимфы малютку Кронида кормили? Как — откуда рог? От чудесной козы рог — была, значит, там прекрасная коза: дыхание — амброзия, а сама — глаз не оторвать, а из рога — виноград напололам с финиками так и сыплется, так и сыплется... Ой, только не спрашивайте — откуда мы знаем. Это вы, приезжие, откуда вы там, байками балуетесь, а по нашим лесам Климен Странник столько лет пошатался, пока на Олимпе воссел! У нас и храмов его понастроено — не счесть. Ну как — руины храмов теперь-то, конечно. Потому что всем же известно, что нельзя воздвигать храмы клятвопреступнику. Но если вы захотите — то за совершенно особую плату я тебя проведу... к уцелевшему алтарю, значит.

— Если ты — стрелять, — жарко дышит чесноком торговец. — То есть как — зачем? Да ведь он же тоже был — без промаха...

Без промаха, — выпевает, кажется, сам воздух. Давай без промаха. Приезжий отмахивается от настырного торговца. Проходит между ярмарочных рядов (сыра сколько — заглядеться можно!), отстраняет с дороги красавиц в недорогих пеплосах, которые томно шепчут: «За две серебряные монеты...» Хмыкает, бросает: «Свидимся». И идет — нацеленно и твердо.

Смотреть соревнования.

Пробирается в толпе, отталкивает особо рьяных с дороги. Ищет место — чтобы как следует взглядом охватить...

Свист стрелы, пролетевшей в кольцо. Одна, потом следом и другая. Мишеней — дюжина, лучников — сотня, а может больше. Поубавилось со вчерашнего дня: многие выбыли. А может, после щедрых пиров: Минос не пожалел ни вина, ни угощения, до сих пор не все отошли...

Вон, у некоторых и вовсе руки дрожат: те, кто мнил себя лучшими из лучших, безбожно мажет.

— А-а-а-а-а, что б тебя трижды наконечником да тетивой еще удушить!

Стреляют, стараются. Знатные юноши гордо вздымают головы. Влюбленные ищут возлюбленных взглядами: подарить выстрел. Какой-то кифаред невпопад торопливо и хрипло запекает о Климене Стрелке — все шикают, и двое промахиваются...

Ставки сыплются золотом и серебром.

А тех, кто не промахнулся, становится все меньше.

Не всем дано пустить три стрелы точно сквозь кольцо.

Попасть стрелой в верткого голубя — и вовсе не каждому дано. Голуби взлетают, хлопают крыльями. Колесница Гелиоса, бегущая все дальше, расцвечивает перья в радугу. Стрелы расцвечивают — в кровь.

Счастливики, которым удалось ускользнуть от стрелы, улетят в свою голубятню — откуда их принесут для нового испытания.

Несчастливицам, свалившимся с изломанными крыльями, путь один — в пирог.

Женщины щиплют тут же, неподалеку.

— Не промахиваться!

Свистят стрелы — извечным девизом. Судьи молчаливы и строги. Сам базилевс Минос уселся под навесом в золоченом кресле. Ноги вытянул, ус кусает. Советуется со своими даматами.

Настоящие судьи — молчаливы и строги.

В толпе, под капюшонами: и не увидишь, только взгляды почувствуешь. Вон, чернявая

какая-то опять метнула такой взгляд — будто копьем насквозь прошла. И ответ — будто мечной удар — пришел с другой стороны, ответным взглядом, из-под капюшона...

Смотрят молчаливые, никем не назначенные судьи. Будто кого-то ждут. Или ищут?

И не находят — вот потому и взгляды усталые, потому и рассматривают толпу не так пристально, как могли бы.

Наверное, молчаливые судьи где только до этого не побывали. Может, вообще везде, где безумствовало Состязание.

Только не нашли никого.

Точно же — никого не нашли, хмыкает приехавший и насвистывает под нос легкомысленную песню о нимфах и сатирах.

И никуда не торопится: куда торопиться-то? Соревнование — оно не сбежит. Оно идет основательно, размеренно: вот полсотни осталось... двадцать пять... Где им вообще попасть в ивовый прут, а?! Двадцать, нет, уже меньше.

Ставки начинают приниматься увереннее, потому что уже видно — кто останется. Кому побороться за приз — серебряный лук с золотыми стрелами.

Кудрявый сын басилевса — ох, и хорош собой, стоит, сверкает глазищами, видно — гордится: я! Я тут сейчас Аполлона, если нужно...

Тихий кифаред — бродит, вздыхает грустно, лук оглаживает. А как возьмется за лук — так стрелу в ниточку и положит, точно в мишень. Потом еще повздыхает, да и сядет негромко себе наигрывать.

Лица не показывает. Тут вообще не все показывают лица и называют имена. Потому-то так и свело с ума Состязание, что оно — для всех. Для каждого.

Вот разбойник, например. Или кто он там? Одежда — самая разбойничья, будто из лесов и не вылезал. Прячется под широкополой шляпой — совсем не разглядеть. А стреляет отменно, и непонятно только — как он вообще из-под этой шляпы ухитряется что-то видеть?!

А вот воин — грузный, хмурый, одинокий. Этот стреляет не снимая шлема с плотными нащечниками — не хочет, наверное, чтобы шрамы видели. А может, просто со шлемом сросся, кто знает. Лук у воина почти в его рост, заслуженный, истертый. И взгляд пристрелянный — вон, опять в ивовый прут стрелой угодил.

Дальше ничего не значащие знатные юноши — пышут огнем, поглядывают друг на друга... с насмешкой кивают на своего сверстника: мальчишку, едва ли шестнадцать исполнилось. Не мальчишка — барашек заблудившийся: выстрелит и стоит, тербит в руках лук. Потом обернется, начнет своего дядьку тормозить: эй, я так выстрелил? Да? А что теперь делать? А куда идти? А как лучше...

Дядька зайдется стариковским кашлем из-под капюшона, замашет трясущейся рукой: да, да, правильно стрелял. Потом с трудом, придерживая спину, распрямится, начнет нашептывать, показывать что-то — вот тут так... поправку на ветер, нет, не так, а эдак... все, иди, готов.

Барашек-мальчишка кивает послушно. Натягивает лук — и стрела аккуратно срезает верхушку ивового прута. Мальчишка стоит, моргает, слушает радостные вопли (особенно громко орет отец — судя по виду, староста какой-то деревни). Потом робко опять разворачивается к дядьке: правильно стрелял, а?

Посмешище, и только — хмыкает приезжий. Вглядывается в ряды соревнующихся пристальнее.

Ага, вот это интересно: герой какой-то. Сын Зевса, не иначе: шкура львиная на плечах, в кудрях солнце переливается, неподалеку поклонницы давятся слюной. Когда метко стреляет — еще и больше слюной давятся.

А рядом, будто кривое отражение в серебряном подносе, раскорячился пастух-свинопас, оглаживает лук пальцами, в которые намертво въелась земля. Толпа старика освистывает, хохочет — куда полез?! Только старик, видно, еще и глуховат. А может, просто подремывает там, под капюшоном. Спокойно натягивает тетиву небольшого лука — и толпа примолкает, но ненадолго. Подумаешь, мол, случайно попал. Подумаешь — пятнадцатая случайность за день.

Семеро не промахиваются — ни один не желает уступить.

Относят ивовые пруты еще дальше — все равно не промахиваются. Разбойник ухмыляется под своей шляпой. Барашек-юнец оборачивается к дядьке: я вот сейчас правильно? Кифаред что-то шепчет своей кифаре, герой, кажется, вызывает к кому-то.

И все вместе опять не промахиваются. И опять. И опять. В толпе забывают о насмешках и подбадривающих криках, забывают — что нужно ставки делать...

Помнят только — что нужно смотреть.

Семеро стреляют так, будто их вовсе промахиваться не учили. Бьют по перышку, привязанному к шесту. Стреляют через три кольца. Простреливают уши выпущенным зайцам.

Руки не знают усталости. Глаза не слезятся от ветра. Пальцы все так же верно сжимают тетиву — и у свинопаса, и у воина, и у сына басилевса...

Серебряный лук с золотыми стрелами лежит на своем месте, царь посматривает недоуменно: кого награждать? Куда еще сложнее мишень выдумать?!

Снова выпускают голубей: нужно подбить, не убить. Промахивается сын басилевса — и в ярости бросает свой лук на землю и топчет его. Кифаред вскидывает лук, выпускает стрелу — только слегка шевелятся перья у намеченной жертвы. Правда, стрелок не расстраивается — мешается в толпу, что-то шепчет чернявой, со взглядом-копьем. Что шепчет?

«Это не сработает», — вот, что он шепчет. «Он не покажет себя. Нужно не это. Другое. Нам нужно...»

Чернявая невесело усмехается. Отвечает что-то и уходит в толпу — только кто ж там увидит, куда она идет, кто ж расслышит, что она ответила? Все поглощены зрелищем: пожирают глазами арену.

Там только что сын Зевса сразил своего голубя насмерть — недрогнувшей рукой.

Фыркнул презрительно, пожал плечами, пошел к поклонницам — утешаться. Осталось трое: воин, пастух и разбойник.

Воин вытирает ползущие по носу капли пота — видно, жарковато в шлеме. Разбойник из-под шляпы бросает взгляды — задумал что-то, как бы в спину не ударил! Свинопас-старик оперся на посох, дремлет на солнышке, будто и не волнует вопрос, который острее любой стрелы прошел толпу: кто же?!

Ах да, юнец же еще.

Непонятно как сюда затесался, мечет испуганные взгляды на дядьку: ой, что-то я далеко зашел, ой!

А как, спрашивается, не метать взгляды, если на арене устанавливают двенадцать лабрисс. Втыкают в землю ровно, как по нитке — так, чтобы кольца на рукоятках превратились в один сплошной коридор для стрелы.

Узкий, какими бывают коридоры истины.

Мишень пока не поставили: ищут, затерялась где-то. Народ шепчется: вот ведь невидаль, это ж как нужно стрелять... Царь Минос — и тот себе затылок чешет: видно, останется Состязание без победителя. До чего обидно — ведь на остальных-то Состязаниях победители были. И в Афинах, и в Спарте, и на Лесбосе... песни вот про них есть...

— Не промах... а-а-а-а!!!

Трынькнула, оборвалась стрела кифары. Истошно заголосила какая-то поклонница героя — да и сам герой поперхнулся...

По арене стремительно скользило гладкое, черное, массивное тулово. Взвзвешенное словно из никуда — вынырнувшее из-под земли или сползшее с древнего, разрушенного алтаря храма...

Разбуженная тварь. Голодная.

Скользила — стрелой. Пасть разевала — нет, не пасть — пасти. Три — алые, ядовитые... подземные.

Ответ на вопрос. Не на тот, который на арене. Тот, на который ответила эта, черноволосая, со взглядом-копьем.

На вопрос — «Что нам нужно?»

— Чудовище! — колыхнул толпу взявшийся из ниоткуда крик. — Чудовище!

Закричать — смогли. Убежать — нет. Руки-ноги поотнимались, когда тварь приподнялась и зашипела, огляделась белесыми, немигающими глазками, выбирая, решая тот же вопрос: кто? Ну, кто же?

Кого — первым?

Никого.

Ответ на вопрос свистит в воздухе. Легко, весело, непринужденно. Ответ, почти незаметный смертному глазу — зато очень даже заметный горлу черной твари.

В который втыкается ответ — легкая, оперенная стрела.

Прошедшая самым кратким путем: через двенадцать колец на секирах, случайно оказавшихся у стрелы на дороге.

Замерла толпа. Дыхание — умолкло. Колесница Гелиоса остановила бег в небесах.

В горле черной, бьющейся, издыхающей твари — торчит ответ на вопрос. Торчит — и рождает новый вопрос. Каждой черной каплей, утекающей в песок арены — тот же самый вопрос.

Кто?!

— Кто же? — шепчет Минос, и это повторяют там, в толпе, и настоящие, невидимые судьи повторяют то же самое, единым вдохом и выдохом, и кифаред, и кто-то невидимый, и герой, и сын басилевса — все повторяют одно и то же, глядя на арену...

— Кто?! — бормочет растерянно разбойник, ощупывая лук.

— Кто? — шепчет потрясенно воин, который уже почти наложил стрелу на тетиву.

— Кто?! — кричит возмущенно старик-свинопас (совсем ведь стрелять уже изготовился!).

Только юнец ничего не спрашивает. Стоит, держит лук, с которого слетела стрела.

Та, которая ответом трепещет у чудовища в глотке.

Ошеломленно смотрит на лук. Потом на руки. Потом — с вопросом — на стрелу. Опять на лук, на руки...

Потом хочет обернуться к дядьке — спросить: а что теперь? А я правильно? А куда? А

кто...

Только вот спрашивать — не у кого.

Дядька, кашляя и держась за спину, уже пробирается подальше со стадиона. Наверное, старику надоели бесконечные вопросы.

Вот и уходит — дергает лопатками, сутулится, пробирается в толпе, только вот-вот — и оглянется с тревогой: видел ли кто? Нет?

Никто, кажется не видел.

Никто не помнит короткого, решающего мгновения: вот, ползет черная тварь, свивает-развивает кольца, пастями, кажется, мир проглотить готова. Вот, с опозданием — с непростительным! — начинают хвататься за луки участники соревнований. Только вот пальцы дрожат, тетива не хочет натягиваться, стрелы норовят из ладоней выскользнуть, упасть на землю — только бы не лететь к алым, жадным пастям.

Режет воздух крик — «Чудо-о-о-овище!» Замирает в растерянности юноша-барашек.

А его дядька — отмирает. Выхватывает у воспитанника лук. Единым движением накладывает на тетиву стрелу (откуда вообще взял ее? Из воздуха, что ли, вытащил?).

И, не раздумывая, не целясь — стрелу в полет. В самый краткий путь, а что этот путь пролегает через двенадцать колец на лабриссах...

И это ничего.

Потом дядька торопливо пихает лук обратно в руки ошеломленному юноше. И отворачивается, глянуть: ну как, никто не увидел?

Наверное — никто. Потому что вокруг раскатывается, расплескивается ликующий вопль: толпа обрела своего героя и своего победителя. Тысячи рук протягиваются к недоумевающему юноше, радостный гвалт потрясает небеса...

Будто Гекатонхейры из Тартара вырвались.

В такой кутерьме и не захочешь — невидимкой сделаешься. Вот дядька-лучник и делается невидимкой: пробирается среди людей, глубже надвигает на голову капюшон, выскользывает из ликующей толпы, петляет среди палаток на ярмарке (товар лежит брошенным — торговцы не выдержали, сбежались смотреть на великого героя). Стучит дорожный посох о разбитую колесницами дорогу. Бегущие к крику, к гомону толпы — скользят мимо невидящими взглядами: подумаешь, странник куда-то тащится...

Вот и хорошо, что невидящими.

Хорошо, что никому нет дела до кашляющего одинокого человека. Боги — небось, и те не взирают с небес. Богам подавай героев. Судьям — тех, кто участвует в соревновании. Мойры — наверное, и те больше царями интересуются, чем простыми смертными, которые спешат непонятно куда по своим делам.

А человек очень спешит — все быстрее шагает. Будто подгоняют ликующие крики позади («Герой! Герой!!»). Или, может, взгляд в спину чувствует. Вот и оглядывается на ходу: не идет ли за ним кто? Не слышны ли шаги позади? И сутулится, укутывается в хлену теплее. Кашляет, хромает, на посох опирается.

Идет не по дороге — скрываясь за зарослями. Пробирается по лесным тропам. Выбирает те, что погуще — и не начинает идти медленнее не через час, ни через два... Только замирает у речки — речка мелкая, до колен, веселая и говорливая. А человек замирает. Стоит, не решается перешагнуть, потом поворачивает, идет туда, где переложен хлипкий мостик. Переступает через воду с опаской. Опять идет.

Будто и усталости не знает. И все дергает лопатками — взгляд на себе, что ли, почуял?

Все задыхается на ходу от кашля и от усталости — а ходу не снижает.

Будто во что бы то ни стало решил скрыться — от веселого гула, от радостных криков, от песен победителю...

Вот, в деревеньку заходит. В деревеньке, считай, и нет-то никого: все с утра побежали смотреть на великое зрелище. Разве что встречаются старухи — их за детьми смотреть оставили.

— Ойтис! — скрипят старухи от своих домов. — Ойтис вернулся! А чего без Дия? А как там мальчик-то? Хорошо стрелял? Не промахивался?

Старик, закутанный в хлену, кашляет и кивает. Выдавливает из себя:

— Не... промахивался.

От бесед отмахивается, жестами показывает: потом, потом. Идет, прихрамывая, на самую окраину деревни — в крепкий дом. Дом славный, хоть и небольшой, дому году два — не больше. Из хороших бревен сложен, и огород при нем. Капуста листьями — во все стороны, чеснок зеленые листья тянет, бобы вот созреют скоро — собирать придется.

Только хозяин дома сюда — не бобы собирать.

Дверь рвануть на себя — через порог, в наспех обжитую комнату. Разжечь очаг, руки к нему протянуть — старческие, трясущиеся пальцы. Глотнуть вина из кувшина на столе. После откинуть капюшон с головы, давая свободу волосам — черным и седым. Переплелись чернь и серебро, вечную войну ведут: чего больше?

На голове — серебра, а в бороде, кажется, пока что все-таки черноты.

Все. Теперь человеку по имени Ойтис можно прислушиваться, примериваться. Не услышали? Не увидали? Не проследили? Нет ли тревожных знаков?

Есть, сколько угодно.

Сперва подает голос собака на дворе — Аргус, названный так в честь стоокого титана. Подает голос — и тут же начинает разливаться в льстивом, ласковом скулеже. Потом слышны легкие, почти невесомые шаги. Поскрипывает дверь, открываясь сама собой.

Входит в дом... никто не входит. Вернее, некто: невидимка: шаги есть, шорох вот есть от одежд, запах еще... нарцисс, что ли?

Нарциссом благоухают рыжие волосы, которые появляются из пустоты. Вместе с прекрасным лицом — ничего себе, какие зеленоглазые невидимки нынче развелись! Вместе с руками, сжимающими легкий серебристый шлем.

Невидимка стоит, смотрит пристально. Медные волосы текут по плечам, заполняют ароматом узкий домишко (смешно — ей ли в таких чертогах стоять!). Одежды темно-зеленые, а пояс изукрашен гранатовыми зернами.

Такие же зерна, как на фибуле, которая скальвает шерстяную хлену на плече старика.

Только прекрасная невидимка на фибулу не глядит. Смотрит на самого старика. На лучника с трясущимися руками. На серебро, которое победило черноту в волосах. На впалые щеки, трясущуюся от кашля грудь.

И алые губы приоткрываются, выпуская шепот:

— Радуйся, царь мой... муж мой.

* * *

Не радуюсь. Не могу.

Сижу в своем доме — крепком, из тёсаных бревен, соседи поставить помогли. Человек с

говорящим именем Ойтис*. Бродяга, огородник, стрелок немного. Сижу, захожусь кашлем, от холода внутреннего в плотную хлену пытаюсь завернуться. Смотрю на эту, медноволосую невидимку, кто она там, богиня, наверное. Исподлобья смотрю — пытаюсь узнать.

Не могу.

В памяти — прогрызенная дыра. Сперва что-то черное, ледяное, внутри, снаружи, повсюду — вечная стужа, пролезает повсюду: в сердце, в крови ледяными кристалликами колет, раздирает нутро холодом. Будто бесконечный сон на дне кошмара: где? Зачем? Кричал я, что ли? И только далеко-далеко — воспоминание, отзвук: тебя кто-то ждет, за зимой приходит... что-то приходит, нужно просто ждать, ждать...

Потом — смутно, как сквозь пелену — какой-то зал, я хриплю и откашливаю жидкие комки черноты, извиваюсь на плитах и пытаюсь выкашлять легкие, и трясусь, и жадно тянусь к огню. А на меня набрасывают что-то теплое, к губам подносят кубок и шепчут: «Пей, пей же скорее», и я глотаю, внутри становится теплее, потухает выворачивающий нутро холод...

Две женщины — одна хмурая, строгая, брови сдвинула. Вторая странная какая-то — плавает по чертогу, в глазах троится. Разговаривают... обо мне, наверное, разговаривают.

— Это всё, что я могла сделать для тебя. Слышишь? Все, что я могла. Тебя ищут, и не только друзья. Ты понимаешь?

Я тут из ледяного мрака вышел, трясусь, ничего не соображаю, а меня, оказывается, еще и ищут.

— Х-холодно...

Кто они вообще такие. Те, кто ищут и эти вот тоже. Мелькает мысль — меня же ждали, она сказала, что будет ждать... расплывается, уходит. Правда, кошмары, терзающие изнутри, тоже отступают: пропадает память о страшном, сжирающем холоде... остаются трясущиеся руки да надсадный кашель.

— Ты добавила в свое снадобье воды Леты?

— Добавила, Ужасная. Вместе с соком золотистого лотоса. Смертные хрупки. Чтобы он не лишился рассудка — он не должен помнить о твоих водах...

Водах, да. Я, кажется, где-то тонул. Очень долго тонул в ледяной черной воде, и не мог вздохнуть, и бился в безумном, немом крике, и пытка длилась бесконечно, кажется даже — годами.

— ...и о себе самом. Когда он вернется... если он вернется по-настоящему — память к нему вернется тоже. Но до тех пор...

Ласковый шелест голоса — будто струи на землю падают. И шум воды — той самой, проклятой воды, скользящей вдоль стен. Хочется кричать.

А эти двое, кто они там, — они, кажется, спорят.

— Отпускать его вот так, когда он смертный, куда бы то ни было... беспмятного... девять лет...

— Беспмятность хранит его лучше, чем что бы то ни было. С телом я сделала, что могла, но... самые сильные снадобья... впустую. Твои воды коварны: они позволили только уберечь его рассудок, но не исцелить его самого. Ему придется отбыть срок кары без чьей-либо помощи.

Отлично, я еще и преступник. То есть, постойте, кто вообще — я?! Никто, никто — шепчут коварные воды, текущие вдоль стен. Кем бы ты ни был до нас — после нас становишься никем. Пустотой. Твоя нить в свитке Мойр почернела и иссохла, твоих строк

больше нет в строке Ананки. И тебя больше нет.

Совсем нет.

Только за что же тогда — такая кара?!

— Я... прогневал богов? — спросил я, задыхаясь от кашля. Пытаясь представить — где вообще нахожусь и почему в глазах начинает трояться, только когда гляжу на эту — в черном одеянии и красных сандалиях.

Вторая — строгая, с вечно поджатыми губами, покачала головой. Сказала тихо:

— Опасаюсь, ты прогневал кого-то, кто страшнее.

Не помню — говорила ли она еще что-то. Кажется, предостерегала о том, что меня ищут. И чтобы я не высовывался.

Я не высовывался.

Проснулся потом на солнечной поляне, завернутым в теплую хлену. Рядом — дорожный посох. В наплечной сумке — мех с вином, лепешки, жареная козлятина, серебро и золото — на три-четыре месяца скитаний хватит. Рядом лежит лук, колчан. Смешно — много ли настреляешь, когда руки трясутся? Натянул тетиву, неуверенно наложил на нее стрелу, прицелился в ствол ближайшего дерева...

Промахнулся.

Шататься по Криту у меня выходило не в пример лучше. Казалось почему-то — привычное это дело — шататься. Раз переночевал в какой-то пещере. Потом еще к пастухам пристал: они все удивлялись, говорили — здорово у меня получается коз пасти, звали с собой остаться.

Не остался все-таки.

Плечи болели сильно, особенно вечерами — сами по себе сутулились, будто не сумку тащу, а гору. Донимал кашель — от него избавиться так и не удалось. Отходил слегка — а потом коварно набрасывался приступами, жестоко терзал. Да ещё пальцы тряслись, но пастухи сказали — так и надо.

— Тебе сколько — за пятьдесят ведь уже будет? И жизнь, видать, помотала? Ну, а чего ты хочешь, старик же уже.

Действительно, вон и седины в волосах полно. В бороде тоже. И морщины, и щёки ввалились — пора где-нибудь осесть, век доживать, что ли.

Сколько там эти две сказали... девять лет? Пожалуй, столько не получится, но хоть сколько.

Осесть получилось в одной деревне, на которую повадился нападать леопард. Откуда только взялся, шустрый такой. Еще и сына старосты решил зарезать. А я как раз было собирался попроситься на ночлег в один из домов, и пожилая хозяйка начала говорить, чтобы я заходил, омылся и подкрепился, потому что Зевс Громовержец милосерден к тем, кто принимает гостей...

Омыться и подкрепиться я не успел. А выстрелить — успел.

Главное — сам не понял, как вышло. И леопард, и мальчишка были слишком далеко, а я еще ни разу в мишень не попал, хоть и пытался по пути (ну и смеху было у пастухов)! Только пальцы вдруг перестали дрожать, стрела будто сама прыгнула на тетиву из колчана, показалось — сверкнет легкая, серебристая...

Нет, просвистела обычной стрелой. Воткнулась леопарду в глотку.

Так что ночевать пришлось уже в доме у радушного старосты, терпеть объятия, уверять, что столько вина я точно не выпью, и пытаться отовратиться: да, просто путник. Был

мореходом, потом рабом, потом кораблекрушение потерпел — тут-то мне память и отшибло. Вот, скитаюсь, иногда коз пасу, а приюта нигде и нет, потому что я и не помню: а где мой приют-то?

Староста вот радушным оказался и благодарным. Осыпал милостями: дом на окраине деревни все разом ставили, к сыну своему приставил — учить стрельбе, хотя какой я учитель. Это Дий оказался понимающим: на лету схватывал, будто и родился лучником. Только что парнишка нерешительный, а как объяснишь что к чему...

Не промахивался он отчаянно и взалхлеб. Потому и на соревнование это так рвался. Впервые забыл, что он — материнский пестунок, робкий и нерешительный, вышел во всей красе: «Да я! Да тут же, у порога... тут же такое! Да если не пустите, я убегу!»

— Ойтис, это ты, что ли, его так натаскал?! — обомлел староста. — Так еще совсем мужиком станет.

А я, заходясь кашлем, помотал головой — нет, мол, тут я ни при чем. Глаза бы мои эти состязания не видели.

Лучше бы, наверное, правда не видели.

Правда, тогда глазам не довелось бы увидеть эту, медноволосую, которая... кто она там. Которая считает, что мне с чего-то нужно радоваться.

А я не могу.

«Тебя ищут, понимаешь? — сказала та, с холодным бледным лицом и суровым взглядом. — Тебя ищут, и не только друзья».

Нет, о великая Стикс (а кем ты еще могла оказаться?). Меня не ищут. Меня, кажется, наши.

И сбежать опять не удастся. Жаль. Я так хорошо бежал эти три года. Так удачно прятался. От вопросов — кем я могу быть. От руин храмов, заросших полынью, от разрушенных алтарей и песен аэдов об одном проклятом боге, который предал брата, коварно отсек ему голову, нарушил священную клятву... От памяти о ледяном ужасе и шепотков: «А вот интересно... если тот уже очнулся от этого сна... где-то теперь скитается, а?» От упоминаний о ледяных водах Стикса, от намеков, которые услышал в речи тех двух женщин — воды Леты, девять лет кары... Прятаться было сложно — я ведь, к несчастью, не дурак все-таки. Но я очень старался. Прикрывался забвением, зарывался в дела, уходил подальше, когда слышал песни о том, как рухнул Крон Временщик, сраженный стрелой своего сына (да какое мне дело, что в этих песнях тоже лучник!).

Что угодно делал — только бы избежать вопроса. Избежал. А тут явился ответ — во плоти, вон, рыжие волосы по плечам струятся. Смертному бы положено радоваться. В ноги, наверное, кидаться положено — богиня все-таки, хоть я и не помню, какая.

Я вот не могу. Могу только — задать запоздавший вопрос, от которого бежал три года.

— Я — это... он?

Что я спрашиваю, в самом деле. Знаю ведь — он не я. Черные воды нашептали в снах. Нашептали: после нас становишься никем.

Кем бы ни был в прошлом.

Она подошла тихо, будто боясь спугнуть. Коснулась броши, которую я так упорно и таскал на плече, хоть и не помнил, откуда она взялась.

— Я подарила ее тебе в тот день, — сказала тихо. — Ты помнишь? Помнишь, как я клялась, что буду ждать тебя, столько лет, сколько понадобится? Гранат... клятву...

— Нет, богиня. Стикс и Геката... думаю, это были они... дали мне выпить снадобье. Из

вод Леты. Чтобы сберечь от безумия. Теперь я не помню.

Хороший у него был вкус. Ну, у этого, клятвопреступника. Я слышал все эти песни о том, как его свергли с Олимпа (вроде бы, туда явился Ифит Морской, сыграл на кифаре так, что вся гора в одночасье на колени грохнулась, а потом с размаху выполнил пророчество — папашку пинками, с позором...). Так вот, в песнях говорилось, что царица богов Гера стала женой своего любовника — нового Владыки Олимпа (ненадолго Владыки — до того, как на трон сел Зевс). А этот, свергнутый, значит, когда-то успел обзавестись новой женой, еще и такой — глаз не оторвать. Глаза — два изумруда, медные кудри, губы стиснуты — сейчас в бой кинется... Тартар знает, что за мысли в голову лезут: смертному ли о богинях мечтать!

— Как тебя зовут теперь?

— Ойтис, — губы поползли в кривую ухмылку. — Никто.

— Хорошо, — сказала она вдруг равнодушно. — Я тоже забыла прежнее имя. Была — Кора. Стала Персефой.

— Аэды поют — тебя похитил Аполлон. С Элевсина, где ты танцевала.

— Похитил... ненадолго. Потом я вернулась. Чтобы назвать своим мужем другого — на берегу Стикса, куда он шагнул после наших клятв.

А скотина он был, этот Кронид. Взять с девочки такую клятву перед тем, как в черные воды сигануть — затмение, что ли, на него нашло?

Хотя если на нее долго смотреть — и разум помутится, и дыхание остановится. И, вроде бы, лезет под веки закатное солнце: огни костров, и зеленый хитон бьется вокруг ног, плещут медные волосы в танце...

Кашель подступил неожиданно. Все сдерживался: неудобно же, перед богиней... А тут накатила изнутри распирающая грудь волна — не выдержал, зашелся в полную мощь, прикрывая рот ладонью и чувствуя, как внутри растут колючие иглы холода. Как будто этого мало было — разошлась, заняла поясница...

Потом повеяло нарциссовым теплом, коснулась спины горячая ладошка, погладила ссутуленные, сгорбленные плечи.

— Не надо, богиня, — выговорил с трудом. Встал, отошел к очагу. Отдышался. Жамурился, подбирая слова — как сказать, что вместе с памятью Геката и Стикс окончательно убили того, его самого, потому что нет ничего важнее памяти. Что остался... Никто. Никого не осталось.

— Я ждала тебя. Помнишь, я говорила, что буду ждать тебя? И я тебя искала. А ты...

— Пас коз, скитался, учил мальчишку стрелять. Огород вот развел.

А теперь ответь себе самой, богиня — что ты делаешь в жилище у смертного огородника?

Вслух, конечно, не сказал — к чему. Да и она, кажется, услышала без слов — по глазам прочитала.

Усмехнулась, поднялась с грубо тесанной деревянной скамьи.

— Принадлежу тебе, что же еще. Место жены там, где ее муж.

Да. Есть, конечно, песни о том, что Афродита или Эос — то с охотниками, то с сыновьями басилевсов...

Но чтобы с огородником!

Спрашивается, и как ее переубедить? Упрямая, — подумалось почему-то с нежностью.

— Так посмотри на меня, богиня. На смертного по имени Ойтис. Разве ты искала и ждала меня?

Посмотри — у меня дрожат пальцы, и я не могу взять кружку не расплескав. У твоего мужа дрожали пальцы?

«Нет, — улыбнулись зеленые глаза. — Но, может, это от холода. Нужно просто согреть — смотри, я беру твои руки в мои ладони... нужно согреть, и все пройдет».

Так посмотри на мои волосы, богиня — они седы. Посмотри на морщины у глаз, на запавшие щеки. Разве твой муж был стариком?

«Нет, — шепнули алые губы. — Но это, наверное, просто зима. Изморозь прошла по волосам, морозные узоры — по коже. Смотри, я прижимаюсь губами к твоим щекам, и на них вспыхивает румянец — слабый, но все же...»

Слышишь — опять подступает кашель, богиня. Надрывный, терзающий. И ломота в суставах, и вечный, не отступающий холод, от которого мне не избавиться. Неужели твой муж вечно трясся от холода?

«Нет, — шепнули теплые руки, растирая плечи. — Но всем иногда бывает холодно. Даже земле. И тогда прихожу я, и земля оттаивает, потому что...»

Подожди, богиня. Загляни в мою память, богиня. Загляни в мою память — и ты увидишь выгрызенную дыру, Тартарскую безвозвратную черноту. У меня есть только три года — а прошлого нет совсем, ты понимаешь? Прошлого-его больше совсем нет, я о многом догадываюсь, но ничего не помню...

«Но ты догадываешься о самом важном, — шепнули медные волосы, щекоча плечи. — Я слышу, как колотится в груди твое сердце и знаю, что оно догадывается о твоей любви ко мне. О том, что мы с тобой — единое. И мне достаточно этого, чтобы быть твоей. И сделать настоящее лучше прошлого. Потому что в твоём прошлом — слишком длинная зима. А за зимой...

— Приходит весна, — прошептал я, и отдалось внутри — далекое-далекое, продравшееся сквозь ужас Стикса и сладкие воды Леты: «Думай о весне, мой муж, а весна будет думать о тебе...»

И когда губы Персефоны, богини весны, коснулись губ смертного по имени Ойтис — весна, неотступная и упрямая — пришла и укутала обоих теплом.

* * *

— Нам надо уходить, — шепнула она.

Уходить не хотелось. Хотелось — наоборот. Лежать, чувствовать, как ее дыхание обжигает плечо. Погружать пальцы в ковкую медь, любоваться бликами — прогоревший очаг давал последние отсветы, взблескивал — и ее волосы мерцали с ним. Перемешивать медь с черненым серебром своих волос.

Ощущать ее всем телом рядом с собой — юную, гибкую, горячую...

Чувствовать, как согрелся наконец — в первый раз за три года. И кашель отступил, скрылся вдалеке, и иголки холода растаяли от ее поцелуев, и пальцы, конечно, дрожали... только — от нетерпения.

Вот оно значит, каково — когда тебя любит богиня. Не зря аэды глотки надрывают в песнях: а вот Афродита с каким-то сыном басилевса, а вот Геба, а вот Эос... Не зря захлебываются слюной в описаниях.

Об этих часах, правда, аэды не узнают и не споют. А узнали бы — головы бы расшибли себе о кифары, возопили бы до небес: да он же!! Старик, огородник, изгнанник,

проклятый...

И тогда я сказал бы им, чтобы они заткнулись.

Пусть себе — смертный и старик. И с женщиной за все три года не был ни разу (староста, конечно, рабынь предлагал... даже невест предлагал, да вот, не сложилось). Но, видно, прежние навыки подсказали, а может, повело вспыхнувшее от ее прикосновений пламя — тайлось внутри, будто в старом очаге под спудом пепла, ждало ее шепота и рук, и запаха кожи, и полыхнуло до небес, я думал — дом сгорит.

Видно, он долго желал ее — этот Кронид. Долго о ней мечтал.

Потому что испугался я только потом, когда вернулось дыхание. Когда она прижалась к плечу, лепеча что-то ласковое и бессвязное — и я понял, что до меня у нее никого не было, и что я, кажется, торопился и мог быть груб... Тогда оледенел на миг, вслушался в ее шепот... выдохнул и понял, что все сделал правильно. Тоже прижался к ней, осоловелый — то проваливался в дремоту, слушая ее голос, то приоткрывал глаза — осторожно гладил по плечам, по груди, обнимал за талию... любовался то вспыхнувшим на щеках румянцем, то заалевшим от тепла маленьким ушком.

Думать о том, что придется ее отпустить, было невысказано. Говорить тоже не хотелось. Но вышло так, что заговорил я.

— Каким он был? Каким я... он был раньше?

Кора завозилась и притихла у меня на груди.

— Лучшим, — услышал я потом едва слышный шепот. — Ты всегда был лучшим. Самым-самым. Благороднейшим, добрейшим, мудрейшим из богов.

— В песнях иначе.

— Песни лживы. Ифит говорит — сейчас совсем не осталось хороших аэдов, потому что все поют ту истину, которую хочет слышать толпа. Ту, за которую дают миску похлебки... Не верь их песням, ты был лучшим. Ты... ты спас от войны мир.

— Какой мир?

— Подземный. И морской. И небесный. Наверное, совсем весь мир. Закрыв собой, как щитом, а они...

Пальцы сжались на груди, впились в кожу. Сверкнуло во взгляде зеленую отравленное воспоминание, показалось на миг — испепелит совсем.

Тогда я отвернулся — чтобы не встречаться с разгневанным взглядом своей богини. Попросил тихо:

— Расскажи мне о нем.

И она тихо засмеялась из-за спины — тревожно знакомым смехом. Сказала: в первый раз, когда я увидел ее, она танцевала. А теперь, видно, петь придется. И заговорила нараспев — о Климене Страннике и Климене Стрелке, о Владыке Олимпа, Мудром и Многомилостивом, о том, котором сейчас не поют аэды.

Наверное, я плохо вслушивался в ее слова. Может, потому что образ этого — самого лучшего и самого мудрого... потому что он был чужим. Словно неверное отражение на поверхности темных вод. Или моя богиня ошибается, или этот Кронид был не так прост... впрочем, откуда ей-то знать, что у него там было в голове, она все больше росла на Элевсине, в материнских объятиях. Сказки про него, наверное, слушала.

А этот... сплошные загадки: взял в жены сестру — потом отпустил ее с любовником. Влюбился в племянницу — опять отпустил ее. С ее любовником. Получил пророчество — оказалось не о том сыне. Назначил брата наместником — сам против него пошел. Дал

клятву Стиксом — нарушил...

Он вообще что-нибудь сделал правильно, этот Кронид?! Или только и делал, что сворачивал не туда?

Я вдруг засмеялся, и очарование песни прервалось. Жаль: так хотелось дальше слушать, как теплый голос из-за плеч рассказывает прекрасную сказку о мудром-премудром правителе, который начал Золотой Век. Кажется даже, я ее слышал когда-то... вот так, из-за плеч.

А потом певунья обиделась и умолкла — тоже, что ли, невовремя заржал?

— Прости, богиня. Просто подумалось... Не знаю, какую нить для меня там свили Мойры на вашем Олимпе. Но что-то кажется — непростую какую-то.

Или, может, там вообще даже несколько нитей намешалось. А закончилось все чем? Правильно, смертным огородником Ойтисом.

— Мойры, — гневно фыркнула богиня из-за спины. Я заглянул ей в лицо — глаза горели гневным зеленым пламенем. — Я не боюсь мойр — они тряслись, когда дали мне новое имя! Я тогда сказала, что хотела бы убить Ананку...

Я не выдержал и засмеялся опять. Богиня обиженно надула губки.

— На месте Ананки я спрятался бы за... что у нее там, ось? Свиток? Сосуд, как в доме у Япета? В общем, от такой воительницы куда-нибудь спрятался бы. Чем Ананка так разгневала тебя, о моя богиня?

— Тем, что была жестока к тебе.

Она перестала дуть губы. Стиснула, как воин, идущий в бой, показалось вдруг — мраморная статуя, не живая женщина на ложе. И заговорила иначе, отрубая слова будто острейшим клинком.

— Ты теперь не помнишь. Но помню я. Куда она привела тебя. Это пророчество. Свержение. Междоусобица, восстание Посейдона... Стикс. И я не дам ей — пусть у нее ось мира, пусть у нее свиток, но я не дам ей больше...

Я прикрыл ей губы, чутьем смертного догадавшись, что нужно сделать это. Что есть такие слова, которые нельзя произносить даже богиням. Спросил глазами — усталыми глазами смертного старика: а что можно сделать с Ананкой, о богиня? Она над богами. Она над всеми. Ось мира вращает. Олицетворяет собой неизбежное.

И в ответ ударила гневная стрела зеленого взгляда: ну, а я олицетворяю собою весну, так что еще посмотрим, за кем будет последнее слово. И вообще, хватит думать об Ананке: тут ее нет. Есть я, понятно тебе, царь мой?!

Я улыбнулся криво — царь-огородник. Склонил седую голову: готов подчиниться своей новой Ананке. Меднокудрой и воинственной. Какие приказания будут?

— Нам надо уходить...

— Куда? — спросил я, поднимаясь на постели, все равно ведь ложе на двоих не рассчитано, приходится моститься, повернувшись и тесно прижавшись друг к другу. И впрямь, что за безумие накатило: сколько часов мы здесь, вдвоем? Очаг вон совсем прогорел, скоро вечерняя прохлада накатит, замерзнет моя богиня...

Накинул хитон.

Она осталась сидеть на кровати, подобрал ноги.

— Пока что не знаю. Но уходить нужно — пока они не заметили моего отсутствия и не обнаружили тебя.

Я кивнул. Подошел, покормил очаг сухим хворостом — дымок заструился в отверстие в

крыше веселее, и медные отблески ярче заскакали по ее плечам.

— Они — это... Мом Злонравный? Ты говорила, что он теперь правит в подземном мире.

— Не только.

Ну да, Стикс же говорила, что меня ищут не только друзья. Интересно бы знать, кому этот Кронид еще успел напакостить.

— Мом хочет только власти, мой царь. А те, которых я опасаясь... они хотят того, что ты делал всегда. Твоей помощи в начинающейся войне. Чтобы ты не промахивался. Забывая, что один удар — одно случайное попадание...

Стало холодно, и я подбросил еще веток в костер. Накинул поскорее теплую хлену на согнувшиеся плечи, утробно закашлялся. Да уж, боец... Плохо, должно быть, дела в мире бессмертных, если они ищут такого стрелка, как я. Какой, в самом деле, из меня помощник?

— Что будет, если вдруг? — спросил я, почти не слыша. — Если — попадание? Если я не проживу последних шесть лет?

Она закусила губу, и я понял — зря спросил. Будет — то же, что и у смертных. О чем поется в погребальных песнях: сперва явится Танат Чернокрылый, отсечет пряди безжалостным клинком, Мойры перережут непрочную нить смертного... потом — прямо по тропе, куда поведет Душеводитель Гермес, к Стиксу, ко дворцу Владыки Мома... который определит мне загробную участь. Интересно, какую? Может — вечное забвение на полях цветущих асфоделей. За время моих скитаний думалось — это не так уж и плохо. Куда лучше, чем не иметь возможности согреться, и задыхаться от кашля, и бояться, что тебя нагонит прошлое, о котором ты не помнишь, но о котором догадался. Думалось — забыть бы захлестывающие черные воды, которые так и мелькают в снах, и трясущиеся пальцы, и лому в поясницах, и постоянные, невесть откуда взявшиеся кошмары...

Иногда не-жизнь лучше, чем жизнь. Особенно если тебе нечего особенно помнить.

Теперь все иначе, конечно. Ее я забывать не хочу.

— Они... они готовы сделать так, чтобы ты опять пожертвовал собой, потому что смертному идти туда... туда, на Флегры... они готовы жертвовать — а я нет. Пусть они ищут других лучников, а мы уйдем. Я отдам тебе шлем невидимости... найду, где скрыть тебя, нужно будет подождать только шесть лет, и никто из них... никто из них...

Прорвало все-таки. Я смотрел с недоумением, как она стискивает кулаки, как задыхается, даже глаза слезами сверкают. Не понимал — о чем она говорит, кроме того, что, кажется, теперь мне и друзей нужно остерегаться. Или кого там — родичей? Ну, значит, и их тоже. Значит — быстро собрать немудреный скарб: отыскать лук, который где-то то ли в сарае, то ли в кладовой, взять сумку, посох — спина болит, опираться придется... Сказать — веди, моя Ананка, чего уж. Я три года скитался, проскитаюсь еще шесть, скажешь под невидимостью — буду под невидимостью. С Ананками не спорят.

Только сначала успокою ее — скажу: не бойся ты так, главное — не плачь. Конечно, мы подождем и никто нас не найдет.

В дверь постучали. Странно, что Аргус голос не подал — мелькнуло в голове торопливо. Персефона подхватила на кровати, заворачиваясь в одеяло, обрисовала губами — не открывая...

Я и сам не собирался. Повернулся, взглянул на серебристый шлем, лежавший на столе — как, выручит, скроет ли под невидимостью двоих?

Второго стука не было. Только из очага вдруг выметнуло сгусток пламени — будто

расцвел диковинный цветок. Скрывавший девушку в середине.

В руках у девушки был сосуд, волосы пылали — будто от пламени, а по носу разбежались мелкие и яркие укусы огня — конопушки.

— Фух, — сказала девушка. — А я вам вот нектара принесла. Хотите?

Поставила на стол сосуд и мимоходом просияла улыбкой на весь огородничий дом.

— Радуйся, брат.

— Э-э, — сподобился я в ответ. Помимо воли дернулся поближе к двери. Не знаю, может, у этого Кронида каждый день на глазах из очагов женщины выходили — у огородников и лучников с этим делом хуже.

С меня на сегодня одной зеленоглазой невидимки хватит.

Ананка моя, к слову, стоит настороженно и смотрит хмуро.

— Гестия. Кто еще знает, что мы здесь?

— А кружки где-нибудь есть? — осведомилась улыбочивая и недоуменно покрутилась вокруг. — У тебя хороший дом, брат... Нет, где я — никто не знает, а где ты — тоже, кажется. Может, если только Гера — она тоже умеет слушать очаги — но они с Ифитом хотели отправиться на другое Состязание, так что вряд ли.

— А твой...

— Он трудится.

Не знаю, о ком они сейчас говорили. И почему-то не стремлюсь узнать. Застыл, перевожу беспомощно взгляд: эта вообще — она кто? Она зачем сюда? Я слышал о Гестии, богине домашних очагов. Только... и впрямь — зачем?

Неужто просто вот нектара напиток принесла?

— Я не отдам его им. Ты слышишь? Я не отдам его на Флегры! Пусть что угодно, пусть война, пусть... ты видела — как он стреляет? Ты видела, что он... что с ним сделали воды Стикса, ему нельзя туда, он не проживет там минуты, даже под невидимостью...

Губы у моей Ананки искусаны вконец. Голос прерывается, пальцы сжаты в кулаки. Только эта, Гестия, не особенно тревожится — вон, порылась, кружку нашла.

— Ага, — сказала, распечатывая сосуд. — Я тоже так думаю. Не тревожься, я не стану вам мешать. Но сюда скоро придут — поздравлять брата из-за его ученика. Позовут на пир... Нужно как-то сделать так, чтобы он на пир не попал, а подозрений бы не было, понимаешь? Чтобы никто не удивлялся, что он вдруг пропал. Вот сейчас мы — немножко нектара, чтобы брат согрелся. А потом уйдете, ладно? Под невидимостью. Потому что там сейчас такая неразбериха из-за этого чудовища! Юношу этого чествуют, и никто не понимает, куда делся старый Ойтис. И ведь кто-то может догадаться...

Буль-буль, — полилась ароматная жидкость в кружку. Моя воинственная Ананка, кажется, немного угомонилась. Ослабила плечи, поправила покрывало, а то оно совсем сползло.

— Ты... нас не выдашь?

— Ну, конечно, нет, я же люблю брата, — и маленькая богиня обратила ко мне смеющийся взгляд. — Я вам помогу — только надо спрятаться побыстрее...

Во дворе раздался гавк Аргуса. Одинокий и оборвавшийся тут же.

Тук-тук — постучались в дверь. Я оглянулся на богинь — обе замерли. Напряженно покачали головами: не открывай. Эта, как ее, Гестия, еще обрисовала губами: может, это на пир, гонцы...

Очень может быть, что и гонцы. Тот, который распахнул дверь (второй раз решил не

стучаться), выглядел вполне себе как гонец. Рыжий, наглый такой, глазки мутные, усмешечка глумливая. Не знаю, правда, кто таких гонцов посылает.

Разгневанные Мойры, наверное.

— Вот я тебя и нашел, — улыбаясь гнусенькой улыбкой, пропел Мом-насмешник. — Радуйся, Владыка!

И холодный клинок с размаху полоснул по горлу.

* * *

Женский крик сверлит уши — настойчиво, неотступно. Это кричит моя рыжеволосая Ананка — и пытается вырваться, оттолкнуть чужие руки, но руки держат крепко, только лицо у богини Гестии совсем что-то белое, а может — это просто кажется...

Может, оно белое по сравнению с моими пальцами — они все в черной густой жидкости, я снова захлебываюсь водами Стикса, только теперь — кипящими: вскипятили, залили в глотку, и вот я уже плююсь теплой чернотой, и она льет по пальцам, и мне холодно, холодно, холодно, и я бьюсь на полу своего дома и скребу пальцами по земляному полу, и захожусь булькающим кашлем — последним.

Наверное, у меня осталось мало времени, а потом придет оно — забвение. Хотел — получи, приперлось нежданно-негаданно. Только вот что делать с моей Ананкой, которая бьется там, в чужих объятиях? Найти взглядом, губами успокоить, богине этой... сестра она мне или кто? Богине сказать: уведи ты ее, не надо ей видеть, пусть...

Сказать не получается — в горле поселился вулкан. Булькает, клокочет, исходит черно-алой лавой на пол. Получается только — что-то изобразить губами, пока зажимаю ладонью кровавую рану на шее. Просипеть вдогонку невнятное: «Прости» — за что, не знаю, наверное, за что-то.

И богиня вздрагивает, отпускает Персефону, и я чувствую теплые руки, аромат нарциссов, шепот: «Сейчас, царь мой, сейчас, ты только не уходи теперь...»

— Нектар и амброзия! — доносится над головой. Вскрик сестры — той, которая Гестия. И смешочек Владыки... который не Владыка:

— Это какие нектар и амброзия? Эти, что ли?

Густой сладкий аромат разливается в воздухе вместе с женским плачем и звуком бьющегося кувшина. Плач — это значит, мне не помочь, это значит — уже близко, значит — не шесть лет, не пять лет, несколько лет...

Разбивается клепсидра. Летит, выплескивается черной жидкостью из горла на земляной пол. Кажется, кто-то все-таки вливает в меня благовонную жидкость — нектар это? Амброзия? Все равно выливается через рану в горле: Мом знал, куда бить. Он отпихивает Гестию: та попыталась встать у него на пути. Подходит и смотрит, как я бьюсь в объятиях у Персефоны, как пытаюсь поймать губами крупицу воздуха.

— Ну, — говорит почти что сочувственно, — хотите секретик? Вы в него ведро амброзии сможете влить. И ведро нектара! А ему не поможет, клятвопреступничку. На таких как он нектары с амброзиями и не действуют — до девяти лет смертной жизни положенной, то есть. Вот если бы потом...

«Потом» у меня нет. У меня становится даже всё меньше «сейчас». Там, на Олимпе, в старом, пыльном доме истертые ножницы раскрылись над нитью. Приготовились резать. Отправлять навстречу забвению.

Ножницам плевать, что я хочу жить. Отчаянно, с вечным холодом, вечным кашлем, вечной ломотой в костях — жить! Видеть Персефону, воевать, пасти овец, что угодно — жить!

Что угодно вместо тухлого глотка забвения.

Дохнуло холодом — не тем холодом, который вечный и от Стикса. Ожидаемым холодом — смертным.

Морозцем от черных крыльев... нет, от их тени. От серого плаща, наброшенного на спину.

— Прочь! Уходи отсюда, ты! Я не отдам его, не смей забирать его...

Высокий воин шагнул в комнату, просто и делово снимая с пояса верный клинок...

Шагнул. Застыл.

— Танат, не надо!!

— Ну, — протянул Мом, разводя руками, — понимаешь, братец, какое дело. Тут один клятвопреступничек чем-то неудачно порезался. Только и дел-то — пряди прибрать, правда?

Мома бог смерти, Железносердный, взглядом не удостоил. А умирающего с перерезанным горлом старика — удостоил.

Скрестились два взгляда. Угасающий — черных глаз. Пристальный — серых.

Привиделось вдруг: двое друг напротив друга, звенят клинки... потом подземелье, звук сырых падающих капель, тяжесть на плече: «Я должен тебе... невидимка».

— Что такое? — выпевает сладенький голос Мома. — Хороший знакомый? Дружок, может? Ну, долг-то все равно превыше всего. Давай же. Режь. Ты же вроде как не вправе отказать. Да, братец?

— Не смей! Приказываю тебе! Не смей! Пошел прочь, подземный выродок!

Ананка моя... Кора. Вскинулась пантерой, пытается телом закрыть, защитить — будто от этого меча бывает защита. Гестия шепчет что-то сквозь слезы — не слышу, что... о чем еще я забыл?

О времени, которое кончилось. Ушло с теплой жидкостью из горла.

Щелкнули ножницы Адропос, легко перекусывая истончившуюся нить.

Мудрого, Щедрого и Милосердного. Странника. Криводушного. Клятвопреступника.

Жалкого старика с перерезанным горлом.

В объятиях богини.

Боли не стало. Только и остался — что холод. Да последние несколько нитей, связывающих тень с остывающим телом.

— Это приказ твоего Владыки!

Несколько прядей волос.

— Режь же, живо!!!

Прозвени, безжалостный меч смерти, пропой над головой — и...

...звякнуло железо. Пустым, нестрашным звуком. Не над головой — на полу.

Раз, потом второй раз.

Подскакивая и кувыркаясь, к ногам нового царя подземного мира подкатились две глупые железки.

Половинки клинка.

Самого страшного клинка в мире, переломленного надвое своим хозяином.

Будто лучинки, нечаянно сломанные игривым мальчишкой.

— Смерти больше нет, — тихо сказал Танат Жестокосердный, глядя в глаза брату — в

широко распахнутые, мутно-зеленые глазки.

И потом только, задохнувшись от боли, упал рядом с клинком.

Была смерть, да вся вышла.

— А, — сказал Мом нелепо. Выхрипел горлом чуть выше: — А...

Смотрел на упавшего брата. На кинувшуюся к нему Гестию. На меч Таната — две половинки, небрежно валяющиеся на полу — цену непомерного усилия, отказа от своей сущности... На все, что угодно смотрел — даже на потеки на полу, которые, кажется, начинали серебриться.

Только на меня не смотрел.

На что там смотреть-то?

Вот поднимается, медленно вырастает за спиной Мома-Насмешника темная фигура того, кому дарована не-смерть. Не-смертность.

Бессмертие.

Черные волосы скользят, ложатся на плечи. Не сгорбленные плечи.

Пряди падают на молодое лицо. Скользят по острым скулам, обрамляют черноту взгляда. Задевают пустячную рану на шее, пачкаются в прозрачном ихоре.

И Мойры-старухи, надрываясь, вопят на своем Олимпе: «Поглядите на нить, на нить!!»

Перерезана нить. Только вот вьется. И сияет нерушимостью — второй раз не перережете. Ножницы только затупите.

Перерезана нить Ойтиса-огородника и Ойтиса-лучника, сварливого и мрачного. Нить Владыки Климена, Щедрого и Криводушного, перерезана еще раньше — росчерком Стикса. И остался только я.

Я, Аид-невидимка. Отец двоих сыновей и дочери. Любимый муж любимой жены. Воин дурак и вор — потому что я украл у вас мое бессмертие, пряжи, и не собираюсь возвращать его обратно. Я останусь в этом мире.

Я удержусь.

Слышите вы, Пряжи?! Слышишь, ты — которая перестала со мной говорить и начала с другими? А ты — Мом-Насмешник, самозванец, севший на мой подземный трон — ты это слышишь?!

Еще и как.

Слышит, понимает, осознает. Вон, белые губы трясутся, взгляд — как у загнанного хорька: то ли прыгнуть, зубами впиться со злости, а то ли завонять с досады на весь дом, раз уж только это и осталось.

Перед Момом-Насмешником, заглядывая ему в лицо, стоит Судьба. Безжалостная, холодная — такое только раз за всю жизнь увидеть можно. От Судьбы не сбежать: Мом уж и так, и этак старается, поворачивается на месте, вот-вот мир изломает... Только куда сбежит подданный — от царя? Раб — от своего Владыки?

— В-в-владыка...

Что ты хочешь мне сказать, истинный сын своих родителей? Хочешь просить о милости того, кого в песнях нынче зовут Безжалостным? Вывать к человечности огородника по имени Ойтис?

Кажется, ты убил этого самого огородника, о Злонравный. Порадуйся.

Или, может быть, ты хочешь кары? Ее я могу тебе дать — что скажешь о водах Стикса? Или о Полях Мучений? Или о...

Но Мом не зря — сын Эреба и Нюкты. Эти всегда умели принимать решения.

Вот и божок злословия вместо того, чтобы молить, хлопается под тяжким взглядом Владыки на живот. И начинает извиваться, тоненько поскуливая, кажется даже — обращаясь во что-то склизкое и омерзительное. Протирает брюхом пол, завывая от страха и обмарываясь. Такое карать — запачкаешься. Тронуть — побрезгуешь. Тварь настолько жалкая, что и небытие не подаришь — недостойно.

Тварь, правда, знает лучше всех, чего она достойна. Мом-Злонравный, извиваясь, быстро выползает за дверь — и скулеж стихает в отдалении. Наверное, он потом будет бахвалиться — «Я так мерзок, что и Владыка растерялся!»

Он просто не знает, что приговор уже произнесен. И я не буду разить оружием.

У меня есть право.

А что на месте не покарал — так мне тут ни к чему кишки по стенам развешивать. У меня тут другое сейчас...

Смерть бьется в агонии на земляном полу дома смертного. Не может открыть губы — впустить хоть каплю воздуха. И женский пронзительный плач повис среди бревенчатых стен — это Гестия целует холодеющие щеки смерти, пытается согреть, как всегда...

Только мертвое не согреть.

Гляжу — будто в зеркало. Богиня обнимает умирающего, плачет в голос, зовет на помощь. Вторая богиня стоит в растерянности — не знает, что делать.

Только вот рана у умирающего не на шее — на мече. Глубокая, не зарастающая, по самой сущности проползла. И гадкие голоса — три голоса, прямиком с Олимпа залетели — начинают шептать внутри меня наперебой: «Э, что тут уже сделаешь? Сущность напополам. Сперва папашка крылья забрал, а теперь вот сам у себя, свою же сущность... э, Атропка, ножницы можешь выкинуть, пока новый бог смерти не родится! Э-э, спорить будем?!»

Да, сёстры, чьих голосов я не желаю слышать. Будем спорить.

Вы со мной, я с вами. За жизнь для смерти.

У смерти бледнеют губы, а глаза стекленеют, и мне кажется — в них ужас перед неизбежным. Тот самый ужас перед небытием, который чувствуют смертные — а вот теперь и он сам. И сам бледнеет, будто выцветает, и все порывается сказать что-то, то ли мне, то ли Гестии.

Мне — наверное: «Кронид, вот теперь мы наконец квиты».

Гестии — наверное: «Я был глупцом, моя блаженная. Думал, что бессмертен. Потому не сказал тебе. Я...».

А может, там еще что-то — на остывающих губах, в остановившихся глазах. Не смотрю, не прислушиваюсь.

Опускаюсь на пол, кропя умирающую смерть ихором из пустячной царапины на шее. Нет, мало: беру осколок клинка. Того самого, переломанного и не поющего больше.

Осколок обиженно кусает ладонь: из-за тебя сломали. Потом злобно вгрызается в ладонь своего хозяина: как посмел? Ради кого, вообще?! Вот этот вот тебе — кто?!

Шурин? Владыка? Ученик?

Брат.

Легкая, бесцветная волна выплескивается из одной ладони — мозолистой ладони мечника. Смешивается с другой волной — из ладони лучника. Волны почти одинаковые, Убийца, слышишь? У нас с тобой кровь одинакового цвета, я больше не смертный — спасибо тебе, и вот я смешиваю нашу кровь.

У меня было два брата. Потом один. Теперь вот снова два.

А может, настоящие братья — это вообще только те, кого называешь так сам.

И разве может брат оставаться в стороне, когда другой собрался куда-то там в небытие?

— Я дарую тебе бессмертие, — прошептал я, чувствуя затихающие толчки чужого ихора под своими пальцами. — Я дарую тебе бессмертие как Владыка. Вставай, сын Эреба и Нюкты, брат Владыки подземного мира. Нектар, Гестия!

В жизни никому не даровал бессмертия. Слышал только: то Зевс кого-нибудь из любовниц притащит в вечную жизнь, то Афродита — кого-то из любовников, то Аполлон — с теми же мотивами...

А как это делается — и не представлял.

И можно ли вернуть этим чудовище, которое истребило собственную сущность — тоже.

Может даже — нельзя. Вон, Персефона собрала нектар из черепков, которые Мом не добил — протягивает Гестии, а Гестия пытается влить в равнодушные, бледные губы Таната — и не получается, нектар проливается мимо них.

И тает вместе с клинком на полу железная нить — там, на Олимпе.

И голоса Прях невесть откуда сипло каркают в уши: «Нет уж, нет уж! Рожден с предназначением, а у чудовищ ведь только оно и есть. Так что — до нового бога смерти...»

У него есть не только предназначение, — швырнул я в ответ в серый дом. Еще есть Гестия. И брат. Братья. Белокрылый же еще этот...

А если уж так нужно предназначение...

Я взмахнул рукой наобум — все равно оружия не было в доме, так уж что угодно... факел? Пусть будет факел.

Ладонь бога смерти намертво стиснула теплое дерево. Сжала — будто рукоять любимого клинка.

— Зажги факел, Гестия, — тихо велел я. Сестра всхлипнула — и расцветила факел оранжевым огоньком.

— Я даю тебе удел — светить факелом для теней смертных, которые выйдут из мертвых тел, — шепнул тогда я и на всякий случай воззвал к миру. Кто там знает, к какому — а вдруг откликнется хоть кто-то. — Вставай, новый бог смерти!

Вопль налетел неожиданно. Резанул по ушам... нет, внутри головы. Перепуганный женский... из-за спины, что ли? Да нет, несколько голосов, голоса разные... Будто кто-то умер, кричали. Отчаянно, хрипло, с ненавистью...

— *Что ты сделал, Кронид, что сделал?!*

И звук, страшный звук трещащего свитка...

— Что... ты сделал, Кронид? — спросил Танат.

Вздыхнул, с трудом, но все же. Гестия помогла ему подняться, что-то успокаивающе лепетала, прижималась к плечу.

Убийца же смотрел на меня — и только.

Пронзительным взглядом — будто вся острота сломанного клинка в глаза вылилась.

— Факел тебе подарил, — буркнул я. Подумал — надо бы подняться с колен, что ли. Не по-владычески. А, плевать. — Гестию спроси — как с ним обращаться.

— Он... будет как светильник для теней, — прошептала Гестия, обнимая своего... мужа, что ли? И когда успели, вот еще новости — где ж они Владыку нашли на обряд? — Тени будут выходить из тел и видеть этот огонь, и он будет утешать их в отчаянии... будет греть...

Танат перевел взгляд на факел в руке. Потом вновь на меня. Казалось — сейчас новый

бог смерти поинтересуется: я, случаем, не идиот? Спасибо, ведро не всучил. Или, например, лопату.

Это еще нужно выяснить, кто из нас идиот, — ответил я взглядом. Я, например, не ломаю свои мечи. Хотя да, я же не мечник — ну, значит, стрелы и луки не ломаю. И вообще, скажи спасибо, что я тебе другое имя не дал. Обозвал бы... Макарием каким-нибудь. Богом блаженной смерти, к примеру.

— Что ты сделал, Кронид? — повторил Танат тихо, настойчиво. Пришло — будто отголосок оттуда, с Олимпа, где в сером доме сотряслись стены и содрогнулась древняя пряжа...

— Переписал, — прошептал я, обретая ответ. Легко — будто все время его знал.

— Как ты смог? — прозвучал второй тихий вопрос.

— Потому что меня тоже... Потому что моей судьбы нет у Мойр. После Стикса стираются Судьбы: он пережигает любые нити.

А те, у кого *переписаны судьбы*, опасны. Опаснее них — только те, чьи судьбы исчезли вовсе.

Потому что дай им только волю — и они будут менять и другие судьбы. Переписывать.

Словно зараза какая — коснись, и перекинется.

— Что дало тебе такое умение? — третий вопрос. Будто свет факела, озаряющего зыбкий путь во тьме. Быстро он осваивается с новой работой, этот подземный.

Потому что я ведь знаю — она не просто так со мной говорила. Не просто так выбрала любимчиком. Может, именно за это — за умение писать чужие судьбы...

Только вот что она подумает теперь — когда я не пишу, а переписываю?!

— Опасаюсь, — вздохнул в памяти голос Стикс, — что ты разгневал что-то, что страшнее.

Я покривился и открыл рот, чтобы ответить. Не знаю, что — может, просто хотел сказать новоявленному братцу, чтобы не лез с вопросами.

Хлопнула дверь.

— Ну, царица моя, — вздохнул голос Ареса, — кажется, здесь мы всё упустили. Вот ведь Хаос — я всякое мог про отца представить, но такого...

А, ну да. Та еще картина для бога войны в изгнании: хижина огородника во всей красе. На полу — потеки крови вперемешку с серебром, валяется изломанный меч смерти. Гестия прижалась к богу смерти, обхватила сзади и под спину поддерживает. Бог смерти таращится на факел, который невозмутимо пылает в его руке. Владычица подземного мира застыла полунагая, волосы растрепались, в руке — еще один черепок, из него нектар капает. А клятвопреступник и свергнутый царь расселся рядом с Танатом на полу, трогает царяпину на шею и подниматься, вроде бы, не собирается.

— Много ты знаешь, Арес, — решительно отрезала Афина, шагая внутрь дома следом. — Для него-то как раз такое нормально. Ну, что скажешь, Литос?

Мудрая наверняка ждала мудрых вопросов. И получила самый мудрый из всего, на что я мог сподобиться.

— У вас там что — всё настолько худо?!

* Ойтис, Оутис, Отис — Никто (имя, которым Одиссей назвался Полифему).

МОНОДИЯ. ЗЕВС

Есть Зевс над твердью — и в Эребе.

Отвес греха в пучину брось, —

От Бога в сердце к Богу в небе

Струной протянутая ось

Поет «да будет» Отчей воле

В крошевной тьме и в небеси:

На Отчем стебле — колос в поле,

И солнца — на Его оси.

В. И. Иванов

Началось не так.

Губы шевелятся — во снах, в видениях, в призрачной яви.

И строки двух невидимых свитков ложатся — одна поверх другой.

Не было: юноша стоит против отца, в руке — натянутый лук, рядом коза рога наставила — у-у-у, забодаю! Не было.

Было: великая война, плачущее огненными каплями небо, скалы, сотрясающие воздух, и величественная фигура — щедро сеет из горстей молнии...

Не было: одинокая фигура лучника, перед ней — распростершаяся туша, вокруг — стон, вздох, гром — «Повелевай, Владыка!»

Было: кипит море, и чёрная копоть покрывает небо, и только ясная фигура в небесах не тускнеет, и молнии хлыстами ложатся напротив неё.

Не было! Было. Не было! Было.

Вечный мотив сердца — никогда не умолкает, никогда не прерывается. Ложатся друг на друга свитки. Правда становится ложью. Ложь — правдой. Лживых строчек столько — наверное, из них озеро можно слить. Из чёрных значков, рисунков, фигурок. Слить, а потом сесть на берегу, взглядеться в изменчивую воду. И кричать в лицо того, кто появится там:

— Нет, это не ты! Это я!

До хрипа, до срыва горла, до истошного стука сердца — «Не было! Не было!! Не было!!!» До откуда-то взявшейся на щеках соли.

— Да, это я! Мне суждено было возмужать на Крите! Освободить детей из утробы Крона! Жениться на Гере! Править на Олимпе! Стать Владыкой Владык. Мне, не тебе Слышишь?! Я знаю это! Я всегда знал это! Всё неправильно началось! И я всё исправлю, и рано или поздно...

Хочется, захлёбываться словами, и до боли взглядываться в чёрные воды там, во сне. Ждать, что там появится твоё отражение — неповторимого стратега и дальновидца, Кроноборца, Громовержца, Милосердного и Мудрого...

И видеть там одно и то же лицо.

Неповторимого стратега и дальновидца. Царя из царей. Справедливого, величественного, грозного и сияющего...

Старшего брата. Трижды проклятого вора.

— Да сколько ж можно! Опять... молот, значит, опять у меня украл!

— Ох! Да когда же это кончится...

— А я что? А я ничего! И вообще, кто там знает — куда ты свой молот положил и у кого забыл...

Афродита, слушая перебранку муженька с Гермесом усмехается — ласково, призывно. Почему бы царю царей не посетить скромное ложе Киприды?

А почему бы и не посетить, — думает Зевс, даря невестке лёгкую благосклонную улыбку. Попозже. После совета — если, конечно, это сборище можно так назвать.

— Гермес!

Пересуды утихли — Владыка поднял голос. Зевс не признавался самому себе, но ему нравилось вот так унимать остальных. Когда посреди очередной сварки вдруг — молчание, почтительные взгляды...

Словно молния в разрыве туч.

— Верни Гефесту украденное. Кару я потом определю. Ты знаешь, я не люблю воров. Не будь моим сыном — давно бы сбросил тебя с Олимпа.

Гермес виновато забормотал, замигал — «натура, ну, что тут поделаешь». А добряк Гефест тут же подхватился, уверять начал: нет-нет-нет, кто там знает, куда он мог подевать этот молот!

А то ведь всем известно, насколько Владыка не любит воров. До последней степени. Так, что и среди смертных теперь воровство карается — смертью.

Правда, никто не знает — отчего так. Считают вот даже — от пушей справедливости.

Никто не знает о старшем брате, который как-то украл у Владыки всё. Трон. Жену. Славу.

Всё.

— Приносят ли вам достаточно жертв?

Лёгкий шум: «О нас радеет!» Артемида задумчиво кивает: ещё и как достаточно! Афродита принимает зазывные позы: одну лучше другой. Жена что-то бормочет под нос — недостаточно? Вздор: она просто не с себе, ещё с того исчезновения Кору. Гермес показывает: да завались!

— Особенно Пэону хорошо. Так? Гекатомбами валят, небось! Да после той истории с сосудом Пандоры...

Аполлон сидит хмурый и задумчивый: странно, не воспеваешь блестящий отцовский план поставить смертных на место. Предыдущий Владыка Олимпа их совсем распустил — вот и пришлось напоминать о том, что боги — над всем. Запустив в дом титана Эпиметя красивую, но глупую, как пень, жену, охочую открывать сосуды и выпускать болезни в мир.

А если болезнь скосит одного смертного клятвопреступника... ну что ж, оплачем, толос приготовим.

— Мне вообще-то, тоже немало приносят, — заявляет папин любимец — развесёлый Дионис. — Нет, ну а что? После войн-то, в самый раз...

— Войны, — фыркает Артемида — вот бы кому быть богиней войны, а не по лесам бегать. — Одно название, что войны.

Эрида — богиня раздора (вообще-то, подземная, но уже прижившаяся на Олимпе — ни одного пира не пропускает) пожимает плечами. Разводит руками: показывает, как тяжело работать.

— Ой, да я же только за то, чтобы этих смертных поуменьшилось, а то развелось за годы, девать некуда! Но вот что тут сделаешь, когда Война к тебе лицом не поворачивается?

Я, стало быть, раздор и рознь разжигаю — царьки лезут драться... А Арес не является на поле боя! То ли ему жена запрещает, то ли уж еще кто... Воинственность в смертных — вдыхает! Но на соревнованиях! Или чтобы города от чудовищ защищать! А на войны — через раз и в лучшем случае! Ох, тут уже только на Громовержца надежда...

Громовержец прячет ухмылку в бороду, хмурит брови. Эрида в своём праве: успела и на Ареса наговорить, и на Афины... Только вот этих двоих сейчас не взять. Забыли приглядывать за заговорщиками в первые лет пять — а они теперь уже и войска набрали (тайные, как будто что-то может укрыться от Владыки!). Союзниками обзавелись. Якшаются со всё такими же изгнанниками: Герой и Ифитом, Прометеем, Эпиметеем вот... Зачем? Чего ждать от сына вора... от двух сыновей. Затем, чтобы украсть Олимп и морской мир. Отобрать силой. А что есть у Великого Громовержца Зевса против Мудрости, Войны и Музыки...

Кифареда, — вкрадчиво шепчут Мойры — не явились на совет, а вот, вползли без спроса. Пророчество своё притащили — гнусное, недавнее. *Тебя свергнет Кифаред*.

И ты слышал его музыку. Видел, как ее волны захлестывали Олимп. О, Мойры не зря не сказали — сын. Аполлон рядом с этим милым мальчиком, сыном вора, — не более чем горлодёр из таверны. Против них — Музыки, и Мудрости, и Войны, у тебя... трезубец? Власть Олимпа? Поддержка детей (Аполлон только и смотрит, как сесть на трон, Гермес дружен с Гипносом, Дионис вечно навеселе, Гефест... а, что о нём говорить!)?

Громовержец взмахивает рукой: ну конечно, на него надежда. Он — велик. Грозен. Непобедим. Громовержца не пугает даже то, о чём вы не можете заикнуться. Слово, которое комом застыло у его родни в горле.

Громовержца не пугают Флегры.

— Что там Флегры?

Гебу, кажется, тоже не пугают. Сидит, показывает зубы — чего бояться! Вон, отец над всеми богами стал — небось, защитит!

— Гиганты не осмелятся на нас двинуться, — машет рукой Громовержец. — Я же уже говорил.

И усмехается в ответ на недоверчивые взгляды, восхищенные взгляды, испуганные взгляды...

А сам бросает предупреждающий. На жену — Деметру.

Только посмей вспомнить, мол.

О Флеграх весть принёс Гермес — месяца три назад (и от воров иногда толк бывает!). Рассказывал, шурился: занесло на Флегрейские острова, а там — ужас несусветный, новая раса, Гиганты! Непобедимые. Собираются воевать с Олимпом (еще бы им не собираться воевать!).

Непобедимость Зевс осмотрительно проверил — запустив к Гигантам в логово пару божков помельче. Посмотрел — и обрадовался. Действительно, сильные. Действительно — неуязвимые. Страшнее любой стрелы...

И им, наверное, нипочём любая музыка.

Что тут огорчаться, если под ногами валяется готовое оружие.

Вопрос только — как правильно воспользоваться.

— Поговори с Геей, — сказал он тогда жене. — Выясни, на что она гневается. Скажи: это всё Аид. Он заключил ее детей, титанов, во мрак. Но я — не он. Скажи: я охотно с ней договорюсь. Я ведь выпустил её сыновей — Циклопов. И другие её дети... скажи, что они

смогут жить в мире с нами.

Сам к Матери-Земле он не сунулся. Знал: она безумна. Иначе не родила бы Гигантов.

А на что она гневается — он знал и так. Вор-Климен отправил в Тартар не только Крона — об этом он догадался давно.

Жена вернулась печальная и задумчивая, сказала: «Она услышала. И просила передать, что смотрит... и слушает. И ждёт».

Тогда он стал бросать Гее-Земле подачки — будто бешеной собаке, чтобы не кинулась. Смертные ранят тебя, о Великая, — говорил он устами Деметры. Бороздят плугами выпасают на тебе стада. Смотри, я сделаю так, что смертных станет меньше. Смотри, я открыл сосуд Пандоры (а что от болезней может умереть один клятвопреступник... какая разница). Смотри, я для тебя устраиваю войны (а что во время войны может умереть один клятвопреступник... кто узнает?). Смотри, я для тебя разрушил все его алтари. Смотри, я ищу его самого, чтобы и его самого не осталось — ну как тебе, о Великая?

Хочешь, я сделаю что-нибудь еще? Например, договорюсь о том, чтобы Мом освободил нескольких твоих сыновей из Тартара. Сам схожу за ними. Мне несложно. Всё равно они пока что безумны и не меньше трех десятков лет им нужно будет отлёживаться в пещерах... отсиживаться на краю света в компании верных жён. Мне ничего не жаль для тебя, безумная Мать-Земля.

Однажды ты дала моему брату-вору лук Урана. Мне ты дашь гораздо больше. Неуязвимых Гигантов — мою армию.

Неуязвимых, конечно, до срока — пока я не решу, как с ними можно справиться. С ними и с тобой, бабушка. И со всеми, кто будет угрожать моему правлению.

А пока что Гиганты пусть посидят на Флеграх до поры. А родня пусть восхищается своим бесстрашным предводителем: есть за что...

Аполлон встаёт — подёргиваются нетерпеливо пальцы на кифаре.

— Прости, отец, но я хотел бы успеть к началу состязания.

— Оно-то, конечно, стрелять — не морем править! — подмигивает Дионис — и тут же выцветает от взгляда Сребролукого. Потому что действительно — притча во языцех. Стрелять у Аполлона получается точно лучше.

Взмах рукой — неторопливый, вальяжный:

— Я поставил бы на тебя, Аполлон, но это бесполезно. Все знают, что ты и так будешь победителем.

Особенно если опередишь тех, кто устроил эти состязания. Войну и Мудрость. Очаг и Музыку. Пламя и Смерть (во рту — кислотит воспоминание о двоих, которые осмелились встать против него. Ничего, встретимся ещё).

О, сын мой, я отблагодарил бы тебя чем угодно, если бы опередил тех, кто устроил эти состязания. Потому что я понимаю — какого стрелка они ищут.

Самого ненавидимого. Самого подлого. Бьющего в спину смертного стрелка-клятвопреступника.

Хотя разве есть причина ненавидеть смертного, который никогда не вернётся?

* * *

Не то. Не так.

Совет закончился, Семья подалась — кто куда. На пиры, на состязания, а то и просто

сплетни пересказывать. Афродита, правда, посматривала выжидающе: приголубишь, а?

Зевс усмехнулся, махнул — сейчас, мол. Скоро приголублю. А пока что вот посижу за владыческими раздумьями один.

Владыки ведь всегда одиноки. Друзья — ну да, откуда, когда каждый посматривает на вожделенный трон? Родня? Не забыли про клеймо Кронида: брат на брата, сын на сына. Любовницы вот разве что — тут есть, где развернуться и чем прогнать скуку. Жена, конечно, поливает своими слезами яблони — пусть поливает, только плоды крупнее будут.

Быть Владыкой и быть одиноким он был готов всегда. Ещё до того, как пошел в Тартар — Циклопов вызволять. До того, как воевал с выползавшими из подземного мира драконами.

До того, как пришёл в серый дом, который совсем недалеко от дворца — на Олимпе. Перед Состязанием, в котором — он знал — должен победить.

Он всегда знал — чего хотеть. И тогда пришёл, потому что хотел подтверждения. Только — подтверждения.

— *Я буду править Олимпом?*

Мерзкие смешочки — хочется рубануть каждую. Клото тянет жребии, Атропос с хихиканьем режет нити:

— *Ну, надо же, какой вопросец выдумал. А ты сам как думаешь-то?*

— *Да. Потому что мне это суждено.*

Прыскает Лахезис — поглаживает пальцами какие-то строки в свитке...

— *Правда, что ль? Суждено? А почему ты знаешь, мальчик?*

— *Потому что я — лучший.*

Лучший, — заливаются ложью кифара Аполлона. И в мелодии дребезжит смех Мойр.

— *Лучшие не спрашивают — они отвечают. Не пытаются взять — берут. Да. Ты будешь править на Олимпе. Если твой брат позволит.*

— *Посейдон не соперник мне.*

— *Не тот брат, маленький Кронид...*

«Повелевай, Владыка», — прошептал он на следующий день. Вместо того, чтобы выкрикнуть: «Вор!» — в лицо брату. Мудрому, милостивому, благородному лжецу. Одержавшему нечестную победу — она не может быть честной, если в руках — лук Урана!

Вместо того, чтобы крикнуть: «Это должен быть я! Я — Истребитель чудовищ! Обо мне поют аэды, я пошел в Тартар и вызволил Циклопов, мне они сковали оружие... Я половину века шел к этому трону — это должен быть я!»

«Повелевай...»

Можно ли ненавидеть того, кто тебя спас? Можно — даже с удвоенной силой.

А он ведь уже почти простил брату ту победу над Кроном — когда увидел, что Климен Странник не суется в их с Посейдоном противостояние, когда тот заявил, что не хочет править. Решил, что Владыка должен быть понимающим и прощающим — что взять с тихого мудреца, пусть даже у него в прошлом — проклятое, не выжигаемое ничем «кроноборец»?

«...Владыка», — Тифон лежал, раскинувшись — чудовище, которое они не смогли одолеть вместе с Посейдоном, и все раз за разом повторяли это, будто сами себя клеймили рабским клеймом. И он повторил тоже — царь должен уметь лгать! Усилием воли спрятав под улыбкой и ненависть, и крик: «Вор!»

Выбора не было: он понял в тот момент про брата слишком многое. Словно с глаз пелену сдёрнули.

Во снах он иногда бросал вору вызов. Отказывался склониться. Предлагал: давай-ка поглядим, каков ты в настоящей битве, а, кроноборец? Заканчивалось всё одним: Тихий и Мудрый Странник поступал тихо и мудро: не дрогнув бровью, он натягивал лук — и последним, что видел Зевс, оказывалась стрела, которая летела ему в лицо.

У тебя был шанс, брат, — подумал он тогда, склоняясь и пряча глаза. Теперь вот нет. Я всегда знаю, чего хочу. Я хочу Олимп — и он будет моим. Хочу Геру — и получу её. Неважно, что не в жёны. Когда я отниму ее у тебя и сделаю своей наложницей, когда она будет кричать подо мной и рожать от меня — я восполню своё ожидание.

А что придётся немного подождать, пока ты согреешь мне трон... ничего. Царь должен уметь ждать очень хорошо. Теперь только нужно чтобы ты поверил, что я никогда не поднимусь против тебя. Чтобы у тебя — а теперь я знаю, как ты действуешь, лжец и вор! — не было желания ударить меня в спину.

Настоящему царю, кроме всего прочего, нужно быть очень осторожным.

Капли вина дробно стучат о пол — из опрокинутого кубка. Каждая — наполнена ненавистью. Льются через край морской водой, падают памятным жребием — памятным унижением: швырнули царство, как псу — кость ...

Можно ли ненавидеть того, кто подарил тебе царство? Легко — когда ты понимаешь, что всегда будешь вторым.

Он долго ждал. Довольствовался морским миром — хоть какой-то трон. Деметрой вот тоже довольствовался — в конце концов, есть ещё и нимфы, и смертные. Восхвалял брата на пирах — чуть глотку не сорвал, пока всем доказывал, какой его брат мудрый, как чудесно правит, как никто не осмелится выступить против него... Наблюдал за трепыханиями Посейдона — тот сговорился с Прометеем и решил строить заговоры. Потом забавлялся пророчеством: «Тебя свергнет сын» — которым приложили Старшего Мойры. Хмыкал, думал: вот и хорошо, что не брат. Пожалуй, если бы у меня был в пророчестве брат — я бы его скинул в Тартар. Или их обоих. А ты, о брат мой, даже не озаботился тем, чтобы избавиться от наследника... хотя ведь у тебя уже есть сын, просто ты о нем не знаешь, а я вот — Владыка Морской — знаю, что такое Ифит-кифаред.

На какого бы из твоих сыновей ставку сделать, о мой ненавидимый брат? Пожалуй, сделаю на обоих. Выдам Персефону за твоего младшего. Сведу покороче знакомство со старшим — и мы посмотрим, скоро ли мне удастся получить Олимп.

...получить Олимп вышло как-то неправильно. Ненавистный Старший швырнул правление сынку — получи, мне оно и не надо! Сынок-Ифит оказался еще хуже: он вовсе не стал бороться за власть. Продал за глупую клятву: не преследовать их с Герой. Как будто Зевс собирался сам — преследовать.

Найдется кому. И без прямых приказов найдется.

Трон, к которому так тянулся, за которым так гнался, прыгнул в руки без малейших усилий. Ешь власть полной ложкой, Владыка. Не обляпайся только. А нам не надобно.

Иногда от этого хотелось хохотать — до ихора раздирая хохотом горло: Лисса, что ко всем потомкам Старшего, на кубок вина заходила? Иногда — хотелось скрежетать зубами.

Можно ли ненавидеть того, кто отдал тебе владычество? Легко. Когда ты хотел взять это владычество сам — не из чужих рук.

Зевс передёрнул плечами. Заново наполнил чашу, вдохнул аромат вина — тот показался далёким, тусклым, будто неважным отголоском.

Не то. Не так.

Прежде казалось — дотянись до Олимпа, и всё станет правильным. Таким, как он представлял себе всё детство... всю юность. Таким, как виделось в снах: вот золотой трон, на нём — великий Владыка, мудрый и милосердный, и глаза подданных полны почтительного обожания, и на земле не утихает дым с алтарей — все усердно славят золотой век. И жена рядом — надменная, златоволосая красавица, полыхает ревностью, но разве может Владыка не раздаривать взгляды молоденьким нимфочкам? Вон, тешут взоры, вьются...

Мечты тянули, манили, липли — будто золотая паутина. В конце концов, он был не хуже брата. Братьев (хотя кто считает Посейдона соперником? Черногривый был просто шутком, и он не смог бы править).

А тут — словно Пряжи запутались в нитях, жребии перепутали. И царствование неправильно началось. Вор наигрался и вышвырнул власть в лицо брату — и нырнул в воды Стикса. Непобежденным и несвергнутым — потому что по-настоящему свергают так, как свергли Крона. Как Посейдона...

Зевс поморщился, провел пальцами по горлу. Вспомнилось ощущение — мгновенное и острое — проигрыша. Бессилия.

Брат опять сделал что-то, чего он бы — не смог.

Как победить Крона. Или не истребить наследника, который должен тебя свергнуть. Отдать сестру в жены к смерти, отдать трон... отдать себя самого за мир — и нарушить клятву Стиксом, и стоять, и смотреть как победитель.

Можно ли ненавидеть того, кто преступил клятву и ушёл в чёрные воды? Легко. Когда память о нём не тонет ни в каких водах рек.

Громовержец сделал поток вина — смыть горечь не удалось. Проклятый старший не оставлял и в правлении. Маячил вечным призраком — в шепотках подданных, в воспоминаниях («А вот Климен правил иначе!»), в окаменевшем, изумрудном взгляде дочери — «Я его жена!» Дотягивался из Стикса, скотина, — и отравлял жизнь как раньше, нет, хуже, чем раньше, потому что нет большего позора — проигрывать призраку, памяти, тому, кто не вернется.

И вино на пирах кислило, песни оборачивались проклятиями, как только в них мелькала привычная тень, и иногда Зевсу казалось: это к нему скоро заявится Лисса-Безумие. Ухмыльнется, скажет: «Ну что, признай уже. Он — лучший правитель, и лучший муж, и лучший брат. Он лучше тебя. Во всем лучше. Что скажешь на это?».

— Он не вернется.

Сказал не Лиссе — самому себе. Глядя как брат кивает на прощание, отворачивается и уходит из зала на горе Офрис. Прости, брат. Будет — или ты, или я. И я не дам тебе вернуться, Старший. Потому что настоящие цари должны вовремя истреблять опасности.

Ты украл у меня — трон, жену, славу... Я заберу у тебя даже память. Разрушу твои алтари и храмы. Заставлю аэдов петь другие песни. Обращу в прах всё, что ты сделал — потому что только так и можно бороться с призраками, отравляющими тебе жизнь.

Наверное, это будет непросто — найти тебя после Стикса, о мой великий, о мой мудрейший брат. Но я очень постараюсь. Прости, Старший, я не могу тебе позволить — вернуться в бессмертие. Не знаю, кто тебя скрыл после того, как ты покинул воды этой подземной речки... Жаль, очень жаль, что не удалось тогда закончить сразу. Но я попытаюсь закончить теперь. Я договорился с Матерью-Геей о том, что разыщу тебя. Что не позволю тебе нарушить наш прекрасный, наш самый лучший договор. Ну, а если мои гонцы тебя не

найдут за девять лет — что ж, значит, придется истребить всех смертных. Устроить потоп. Напустить голод или землетрясения. Мне не кажется это большой ценой.

Ты не вернешься.

Так что же меня гложет теперь, мой проклятый брат?! Это состязание? Флегры?! Подземный мир, с которым не может справиться Мом, потому что царство признает Кору... Персефону? Это ничего — я заберу царство вместе с ней. Элизиум, говорят, зацвел, а в нем теперь поселился Танат Бескрылый с Гестией... вздор — когда Кора и подземный мир станут моими, я найду, как посчитаться и с сестрой, и с ее муженьком. Муки Эреба пиром покажутся — и ему, и ей.

Не то. Не так.

Скажи мне, презренный и смертный вор — можно ли ненавидеть того, кто никогда не вернется? Можно ли — захлёбываться ненавистью от каждой мысли, каждого воспоминания, и стискивать пальцы на трезубце, и скрежетать зубами, даже когда один?

Можно. О, можно. Когда боишься этого.

Когда не можешь думать о клятвопреступнике и воре — как о букашке, которую вот-вот раздавят, как о тени, которая вот-вот — и пройдет за вестником в подземный мир.

Когда сжимаешься от внутреннего предчувствия — только бы не услышать. То, что страшнее молнии. Единственное, самое жуткое слово:

— Ве... вернулся!

* * *

Мом Насмешник никогда не умел вести себя по-царски. Жалкая пародия на Владыку: гримасы, надутые щёки, грудь колесом... Напоминал Жеребца. И очень этим веселил.

Теперь, правда, наблюдать за ним весело не было.

Бывший царёк подземного мира съёжился в углу. Скорчился, скукожился, будто старался укрыться от пронзительного, ищущего взгляда. Зубами звенел — звонче тимпанов, клял своего младшего брата — взахлёб, люто: «Тварь, тварь, почему отец ему только крылья... меч он переломил... с-с-скотина, Хаос, Хаос, что теперь будет...»

Что теперь будет, — спросил себя Зевс. Что теперь будет, когда *этого* не удержали воды Стикса, не сковала смертность? Если смерть сломала об него клинок, если он вернул себе всё: жену, трон, юность... Если рядом с ним теперь — верные соратники, у которых армия готова к войне? Что будет теперь, когда я разрушил его алтари, когда искал его, чтобы убить — он узнает! — когда пытался взять его жену, когда у него есть, кого посадить на трон Олимпа?!

Ты сам-то как думаешь, что теперь будет, глупый сын Нюкты?

Ах да, ты же не думаешь на самом деле. Ты ползаешь у Владыки под ногами и умоляешь защитить тебя от твоего царя. Мерзость вонючая, что с тобой делать-то? На тебя же даже отсрочку в войне не купить. На что вообще ты можешь сгодиться?

— Ты пытался убить моего брата, — тяжело обронил Зевс. — И пришёл ко мне за защитой?

О, я скорее настроен карать. Обрушить на тебя гнев Громовержца, даже если это последнее, что я сумею сделать. Потому что, подземный хорек, ты пытался убить его... пытался — и не смог.

Глотку смертному не смог перерезать до конца.

Покарать бы тебя, чтобы Тартар тебе спальней любовницы показался...

— Покарать?! — вскинулся Мом, брызжа слюной. Откуда и силы взялись: приподнялся, оскалился, пальцы, поросшие рыжим волосом, растопырил. — А ты попробуй, попробуй, Справедливый ты наш!

— Не буду.

— А что ж так? Не хочешь союзниками раскидываться? А? Перед войной, которую тебе братик закатит? Уж он постарается, будь спокоен — и на кого ты будешь опираться в подземном мире? Вот то-то и оно, Кронид! Молчал бы, да понимал, что мы с тобой в одной посудине по Стиксу плывем...

Осекся. Уставился недоверчиво. Зевс слушал терпеливо, со скукой.

— Не стану карать, — уточнил тихо. — Слишком хорошо знаю брата. Он всё равно доберётся до тебя раньше и придумает страшнее.

От ненависти Мом раздулся — дохлой лягушкой под солнцем, в два раза. Рыжая лягушка, рот до ушей перекошен. Квакает:

— Так-то ты, значит? А ты знаешь, Кронид, что ты следующ... следующ...

Захрипел, зашипел, ещё надулся — вздулись жилы на шее и лбу, полезли глаза на лоб, только крик остался — высокий, сиплый:

— Ты следующ... следующ... а-а-а-а-а!!

Еще раздулся, еще — с пронзительным, выворачивающим воплем. И вдруг лопнул — только брызнуло. Зевс едва успел за колонну шагнуть.

Мрамор, золото, тонкая резьба — оказались забрызганными, загаженными. Запах пошел — будто не в царском дворце, в нужнике стоишь. Зевс поморщился, осмотрел трезубец — как, без изъяна? Хорошо.

Добрался, значит, Старший до подданного — в своем праве. В полной силе. Мир сходу признал Владыкой. И мстительности столько же.

Натуру Стиксом вряд ли изменишь. Значит — все такой же вор, все такой же лжец. Полезет опутывать речами, очаровывать всех справедливостью и жертвенностью.

Сам тайно двинет войска — чтобы ударить в спину.

«Ты следующий! Следующий!»

Страха больше не было — настоящим Владыкам он неведом.

Владыки берут то, что принадлежит им. Своего не отдают никогда.

Войско Старшего не успеет начать войну. Сам он — не успеет объявиться среди богов.

Всё, толкнули камень с горы — покатился. Обещания Гее, открытый сосуд Пандоры, войны среди смертных и поход в Тартар — все слились воедино, одно вылепилось: Флегры. Новое оружие. Новая армия.

Время тебе сделать что-нибудь для настоящего Владыки, Мать-Гея.

— Она... она хочет тебя видеть.

Зевс остановился в коридоре своего дворца. Вскинул брови, посмотрел на жену. Подумал: быстро же слухи разносятся... Или Мом уже всем успел растрепать, пока сюда полз?

Хотя кто там знает Мать-Гею — ей могли и Мойры рассказать, и кто угодно.

Кивнул — хорошо. Говори — где Владыка может побеседовать с Матерью-Землей, жена. Так получилось, что я тоже хочу ее видеть.

Время получить настоящее оружие.

— Не так, — прошептала она. — Всё началось не так.

Зевс стоял, смотрел с холодной скукой. На то, как она вздымает руки с утеса навстречу волнам. Как хрипло выкрикивает проклятия кому-то невидимому. Как когтит руками воздух, ломает пальцы, как ветер развеивает когда-то пышные волосы... надоело.

Надо бы повернуться, уйти. Покарать Деметру за то, что не сказала — кто так сильно хочет его видеть.

С матерью он старался не встречаться — какой смысл беречь старые раны? Пеон сказал — это нельзя исцелить. Лисса жала плечами, говорила — не ее работа. Мол, Звездоглазая Рея безумна от горя.

Когда он стал Владыкой — сделалось как-то неловко. У царей не должно быть безумных матерей. Чтобы не было, о чём лишний раз судачить недоброжелателям.

Так пусть себе рвет волосы и поет песни с волнами: каждому — своё.

— Я боялась... — она протянула руку к нему. Отдернула, будто обжёгшись о зарницей блеснувшие волосы. Потом снова протянула. — О сын мой, я боялась. Боялась мужа, боялась... хотела отнести сына ему. А потом услышала ее голос... лживый голос. «Не отдавай младенца мужу. Заверни в пеленки камень, а младенца спрячь». И я послушалась, и отнесла моего мальчика... на остров Крит...

Зевс стоял молча. Чувствовал, как ветер рвет волосы, полосует щёки, пытается унести хитон, и волнуется море — то, которое он так долго усмирлял ударами трезубца.

Будто хочет отступить и не слышать тайну.

— Она забрала моего мужа! Забрала моего мальчика! Моего Климена! Породила... этого... это...

Тоже ненавидит, — понял вдруг Зевс. Оттого и явилась тогда на пир к брату — швырнуть ему в лицо проклятое пророчество. Ненавидит за то, что ослушался, за то, как закончил. За то, каким стал.

Может, стоило наведываться к матери почаще. Была бы одна ненависть — на двоих.

Кто только эта *она*, о которой шепчет Безумноглазая Рея?

— Мудрая дура! Всеведущая, на самом деле не ведающая ничего. Она сказала мне... но я же знаю: это тебе было суждено. Возмужать на Крите. Стать первым из братьев. И на трон бы сел настоящий Владыка. Ты бы сверг отца... ты бы сверг его иначе, правда же? Ты бы не стал вот так... И всё было бы хорошо...

Да, кивнул Зевс. Вот ты и подтвердила то, о чем я давно знал, мать. Это я — не он.

Улыбнулся ласково, принимая материнскую ласку — и Рея то гладила его по щеке: «Это ты, ведь правда? Это тебе было суждено...» — то шептала всё кому-то: «Ты! Похитительница сыновей!»

Вспомнилось — далёкое-далёкое: мальчик припал к подолу матери, шепчет: «А он меня ищет, да? А нимфы сказали... А если найдёт?» — и ответный плач, и шепот: «Мама не даст тебя в обиду, маленький». С губ сорвалось детское, обиженное:

— Он вернулся.

Вернулся — и мне с ним нечем сражаться, моя мать, Безумноглазая Рея. Разве что только Флеграми. Получится ли? — вот вопрос. А ответ...

Перед глазами вспыхнули звёзды. Измученные, горящие лихорадочной решимостью на иссохшем лице.

— Мать дала ему стрелы, — долетел сухой, ломающийся шепот. — Мать дала ему лук... и никто тогда не вспомнил, никто не заметил... Вспомнила только я. Вот. Возьми. Это ответ... ответ.

Ответ.

Рукоять явилась будто из воздуха — ткнулась в руку. Древняя, неказистое, стертая... меч? Пожалуй, меч — изогнутая махайра, боевой серп. Выщербленное адамантовое оружие Пахнущее пылью, сыростью, немного — временем.

Отцовский Серп, — понял Зевс. Тот, которым Крон оскопил Урана. Все думали, что его забрала Гея после того, как отец упал, пронзенный стрелой вора... Значит, не Гея.

— Ты совладаешь с ним, — зашептали сухие, обветренные губы. — Ты обязательно с ним совладаешь. Мать его выплавил. Родила из ненависти. Призвав при этом Хаос. Оттого он может... может даже убить *ее*. Если знать — как именно и куда именно бить. Ты узнаешь, узнаешь, да! И все наконец станет правильно.

Ответы иногда потрясают больше вопросов.

Он молчал — смотрел на свой ответ. На чудесное оружие.

Вопросов становилось только больше: множились, дробились... Кто — *она*? Гея? Куда бить и как понять?

Неужели — вот так просто, задаром, вот прямо сейчас?!

Как брату.

Тому, который мужал на Крите. Повстречал бабушку, ушел от нее с подарком: с луком и стрелами. Я вот пришел поговорить с матерью. И ухожу с подарком.

С серпом Времени. С ответом на все вопросы.

Древним, пыльным, неказистым... Ничего, второй раз не попадусь, лук Урана тоже так выглядел. Зато вот мать шепчет, что этот серп страшнее. Что он даже время может резать. Что это оружие настоящего Владыки.

А что немного не по руке скован — так Владыка может чем угодно...

— В прах, — шептала Рея Звездоглазая дрожащими губами. — В прах! Отомсти за меня сын. Отомсти за всех, кого она забрала у меня. За всё, что она забрала у тебя! Отомсти ей — без колебаний.

— Да, — сказал Зевс. Улыбнулся светлой и ясной мальчишеской улыбкой. — Радуйся, мать. Я отомщу.

Уходя, он слышал, как Рея, смеясь, кричит что-то волнам. Хриплое, ликующее: «Радуйся, неумолимая! Радуйся! Ибо скоро ты узнаешь, как это — терять всё! Так радуйся же напоследок...»

Имя сорвал с губ Реи и растворил в себе жадный, завывающий ветер.

* * *

Шаг на Олимп. Танцующий, лёгкий. Веселье бурлит изнутри, бьёт родником чистого восторга, пьянящей силы. Наполняет вены.

Что, Старший? Что, презренный вор, — взял?

Мы ещё поборемся. Мы еще закончим не только с тобой — со всеми твоими... Со всеми, кто с тобой.

Кто там знает — может, и с Гигантами. И с Матерью Геей. Трепещи, старший, ибо мне только что дали ответ на все твои вопросы. Ответ на всё.

Дышащий древностью, выщербленный, зазубренный ответ — кажется даже, ухмыляется с пояса...

Это он, конечно, совершенно зря.

Владыка Зевс — всё-таки не Посейдон.

Владыка Зевс не станет махать Серпом Крона направо-налево. Тем более — непонятно еще, какая в этом древнем клинке сила.

Владыка прозорлив, и ему кажется, что щербатый клинок усмехается слишком уж насмешливо.

В конце концов, про оружие иногда достаточно знать — что оно есть. Может, к нему и прибегать-то не придётся всерьез. Так, испытать, послать гонцов к Старшему — у меня есть ответы! Выиграть время.

А там уж посмотрим — есть же и Флегры, в конце-то концов.

Мысли путались, не желали вязаться в нерушимую адамантовую цепь. Будто хлебнул самого крепкого вина Диониса. В висках стучало только неотступное, привязчивое: «Испытать, испытать, испытать...»

Где там твои войска, Старший? Вернее, войска, которые твои детишки для тебя собрали?

Сейчас их у тебя поубавится. А я испытаю свой ответ. И если после этого ты еще выступишь против меня — я с чистой совестью воскликну, что ты хочешь трона. И призову Мать-Гею с ее Флеграми — чтобы посмотреть, как Гиганты давят тебя и твоих союзников.

На миг перед глазами мелькнуло ослепительное видение: армия косматых, крылатых, многоруких исполинов — и во главе неё обжигающая фигура с махайрой...

Было? Не было? Какая разница.

Будет.

— Отец!

Аполлон, наверное, решил вернуться с состязания пораньше. Впрочем, нет, вон как лицо перекошено. Тем самым страхом, пробирающим до костей одинаково — подземного Мома, и лучника Аполлона, и Владыку Олимпа: *вернулся*.

— Море предало нас, отец, — чуть подрагивают пухлые губы. — Нет, я не был на состязании. В конце концов — есть ли смысл стрелять, зная, что победишь? Всё последнее время я пытался узнать. О заговорщиках. Их союзниках. И их войсках. И теперь я узнал, почему так долго не мог их найти.

Вечный аэд (постоянно у сына за плечами) что-то не поднимает голоса. Не поёт ни о чем славном и величественном.

Бойтся, наверное. Холодных слов, далёких от поэзии.

— Нерей и остальные... готовы стать на его сторону. Всё это время прибывали корабли... к острову Коркира. Их войска. Его войска. И морские скрыли это... помогли им.

Зевс кивнул — почти что благосклонно. Не удивился. Аполлон в последние месяцы ходил мрачнее тучи, говорил — с ним не считаются в подводном мире. Ну конечно, как тут будут считаться, когда у них есть — Ифит, внук Нерея и сын Климена. Свой. Морской.

Свергнувший Владыку Олимпа и имеющий право на морской престол.

В глазах у сына темной змеей пригрелась знакомая ненависть: «Вор!»

— Хорошо, — сказал Зевс. Аполлон вскинул брови, поглядел недоуменно: хорошо?

Очень хорошо.

Коркира. Укромный остров.

Там немного смертных. Зато хороший порт. В самый раз — испытать новые силы. Вернуть под владычество морской мир. Показать брату: всё знаю о твоих союзниках и готов ударить первым.

Ударить первым, наконец-то сделать что-то быстрее, красивее, лучше...

Пальцы стиснули трезубец.

— Очень хорошо. Как ты думаешь, сын, не нанести ли мне небольшой визит на этот остров? По-братски.

— Собрать войска? Я скажу сестре...

— Не нужно.

За все эти годы — сколько раз собирал войска Климен? Нисколько. Все решал сам: подползал, будто змея, разил в спину. И разве не меня когда-то прозвали Истребителем Чудовищ, сын?

Пусть там не чудовища — предатели. Их я истреблять умею не хуже.

— Идём сейчас. Укажешь мне их лагерь.

Сын сглатывает, коротко кивает. Поглаживает лук.

Просыпается вечный незримый аэд за его плечами — запекает что-то об острове, на котором скоро должно бы засвистеть лезвие черного клинка, клинка Таната. Только вот Смерть нынче клинок переломала, что свистеть вместо него будет?

Очень может быть, какое-то другое лезвие. Пострашнее.

Шаг — на островок Коркира: грузный, тяжкий, Владыческий... сминается, изламывается мир вокруг, и рядом идет златоволосая фигура — его сын, его союзник, лучник...

И кифаред.

И серп с пояса гнусно ухмыляется, как бы добавляя: ты кое о чем забыл, Зевс. О том, что пророчества можно толковать по-разному. О том, что верить никому нельзя. О том, что у Владыки не бывает семьи.

Сколько готов платить за свою ошибку?

Мягкий песок приник к подошвам сандалий. Ударило в лицо запахом бывшего царства: ароматом соли и водорослей.

Море тревожно бросалось на пустой берег, хлопало ладонями волн: берегись, берегись!

Вздор — чего бояться Владыке? Тем более — чего бояться Владыке, который только что получил ответы на все свои вопросы?!

Разве что воплощенного пророчества.

Бессознательно Зевс рванулся в сторону — скорее ощутив опасность кожей, чем услышав тонкий свист из-за спины. Боль пронизала правую руку, золотая стрела засела в запястье — и трезубец потяжелел и предал, вывалился из онемевших пальцев на песок.

Ненавижу лучников, — подумал Зевс. Только чуть больше, чем кифаредов. И чуть меньше — чем воров.

— Нужно было не слушать его тогда, — сказал он вслух, не оборачиваясь. Знал — рванётся за трезубцем — и следующая стрела ударит в затылок. — Когда он за тебя просил. Нужно было — в Тартар.

— Может быть, — донеслось из-за спины насмешливо. — Ступай вперед, отец. Оставь оружие тому, кто в этом понимает.

Зевс кивнул — все так же, не оборачиваясь. Неторопливо ступил по песку вперед — будто по золотистому мёду. Давно так не прогуливался.

Воздух вот только ихором пахнет, и пульсирует боль в пробитом запястье — пустяк. Рывком вынул стрелу — не посмотрев на рану, бросил в песок.

Плоский камень выпирал из песочных волн, будто панцирь диковинной черепахи. Зевс неторопливо присел на него. Обернулся через плечо — взглянул на свою судьбу.

Аполлон уже стоял с трезубцем в руках. Сверкал торжествующей улыбкой. Готовился нанести удар.

Подумалось почему-то: похоже на тот день. Свернулась змея истории, жрет хвост. Отец с серпом, юнец со стрелами: одно и то же, одно и то же...

Исход разный — разве что.

— Как я понимаю — войск Климена здесь нет, — неторопливо проговорил Зевс.

— Ну, почему же, — отозвался Кифаред. — Они есть, отец. Просто за несколько десятков стадий отсюда. И не на том побережье.

— И ты полагаешь, что можешь истребить их самостоятельно?

Сребролукий рассмеялся — мелодично, будто кифара прозвенела.

— Не считай меня глупцом, отец. Я полагаю, что сумею с ним договориться. Как ты считаешь — будет благосклонен Климен Милостивый к тому, кто спас его войска? Кто сверг сумасшедшего тирана, который собирался его убить?

— Мой брат не знает, что такое милость.

— Но часто играет в нее. А в такое время, когда вот-вот война с Флеграми... союзниками не разбрасываются.

Ну, надо же, какая любовь к заговорам — и от кого научился в спину лупить, от дядюшки, что ли? Второй раз вот уже...

Второй раз неудачно.

С чем вору-Климену повезло, так это с детьми. Арес, Ифит... хоть бы одного такого. Может, нужно тщательнее выбирать женщин — не зря же он, Зевс, на Геру заглядывался.

Ты хотел выманить меня с Олимпа, сын? Узнал, что вернулся мой вороватый братец, бросился искать его милости и свергать меня, понимая, что иначе можно и головы лишиться. Выманил, отнял трезубец... даже, наверное, план составил: приблизиться к Климену, потом ударить в спину, когда будет момент...

Решил даже действовать без ненадежных союзников, как в тот раз.

Только вот всё не можешь перебороть искушение — покрасоваться. Поговорить. Историю создать.

Будь ты не Кифаредом, а только лучником, выстрелил бы мне в затылок, добил бы трезубцем — и победил бы. Грязно, низко. Но победил бы. Если чему меня и научил старший брат — бить по-настоящему и не болтая.

— И на что же Климену понадобится такой неудачник? Ты не смог удержать женщину, царство... провалил все свои заговоры.

Бешено блеснули глаза лучника и кифареда. Сжались пальцы на трезубце — вот, сейчас...

— Все ли, отец?

И незримый аэд затянул что-то о сыновьях, которые свергают отцов...

Лучше бы ты пел вместе с этим аэдом, сын. Был бы Кифаредом — не Стрелком. И тем более не метил бы в цари. Пел — а не задавал глупые вопросы.

Потому что у Владыки всегда есть ответ. У меня есть ответ.

Ответ на всё.

Простой ответ, который ложится в ладонь.
Кривой алмазной ухмылкой.
Рукоятку древнего серпа с пояса.

СКАЗАНИЕ 11. О МНОГИХ БИТВАХ

Я иду — чтоб вернуть. Не вернуться, я знаю, что милость —
Просто звук, погремушка немого шута подле трона.
Я иду — защищать. Потому что такому учился.
Потому что я — мир. Потому что я — слово закона...
А. Порсева

Память — бездонная кладовая. Свалено — своё и чужое, в полусне копаешься, ворошишь, разобраться пытаешься: моё? Чужое?

Кричащее небо — огонь кровавыми каплями медленно стремится сверху вниз, на землю, подальше от летящих скал...

Содрогается земля в судорогах упоения — под тяжестью Гигантов.

Жена с лицом, на котором — брезгливое отчуждение: «Не хочу от тебя детей».

Маленькая, хрупкая богиня распахивает объятия, сгорая: «Ухожу в людские очаги, брат!»

Этого не было, — надрываясь, кричу я. Влезаю в память, судорожно ворошу сваленное, выхватываю торопливо: нет, не было, не то, не мое... Обвиняюще швыряю в лицо тому, в отражениях: вот, смотри, у тебя все было неправильно.

Ага, — кивает тот, и щурится устало, и у него с пальцев капает окрашенный рассветным иxor. А у тебя — вернее некуда.

И швыряет в ответ. Обрывками, ошмётками моей памяти. Откуда мертво пялится отрубленная голова Посейдона. Там лежат безжизненные крылья Таната — раскинулись, рассыпались железными перьями... И тянут ко мне пальцы ледяные воды Стикса, обещаая: хочешь исчезнуть?!

Он ничего не спрашивает — тот, который смотрится в воду и который не-я. Только смотрит вместе со мной. Но я все равно слышу невысказанный вопрос: а ты уверен, что вот это — правильно?!

— Я надеюсь на это, — отвечаю я, стиснув зубы — и напарываюсь на невеселую усмешку того, с Тартарской пустотой в глазах.

— Я ничего не знаю о надежде, — тихо звучит из глубин отражения. — Только то, что я убил её однажды.

— Ну так значит, у тебя всё еще и неправильно кончилось, — уверенно отвечаю я. — Потому что ты убил не ту.

И ухмылка того, в чёрных водах, оборачивается режущей ухмылкой отцовского Серпа.

Говорят — Золотой век кончился и аэды нынче в печали. Ходят, побираются, какие-то воинские подвиги воспевают. Со скульпторами тоже как-то неладно в последнее время, будто бы: видать, не слишком хорошо идут изваяния Зевса Олимпийского.

Про ткачей и говорить нечего: и хочется найти новый сюжет — а откуда?! Конечно — пиры и измены Зевса — дело благодатное, да только...

Утешься, неведомая ткачиха. Я бы тебе подкинул новый сюжетик: кощунственный донельзя.

Называется — «Владыка в кругу семьи. Слушает, что семья наворотила за двенадцать лет его отсутствия. Сидит на глазах».

Сидит Владыка за столом, в доме его дочери Афины и его сына Ареса. На щеку оперся, смотрит хмуро. Физиономия, прямо скажем, такая, будто зубы болят. Рядом — встревоженная жена, кубок нектаром наполнила, всё старается придвинуть к мужу. Напротив — дочка, повествует вовсю. Разошлась, щеки румянцем пылают, прядь по лбу так и танцует. Арес чешет затылок острием копья: вот такие дела, как понимаешь. Чуть поодаль Танат Убийца — хмуро изучает то, что осталось от его клинка. Гестия оперлась на плечо бога смерти: спрашивает безмолвно, как он.

Тебе мало, ткачиха? Ну так можешь еще выткать Геру. Вот она входит — сестра и бывшая жена, златоволосая и воинственная.

И с порога, невозмутимо:

— Ну что, Кронид... не хочешь назад в Стикс нырнуть от такой жизни?!

Дернул углом рта. Показал жестом: подумываю о таком. Понимаю — почему Арес, перед тем как Афина начала рассказ, поинтересовался: а не принести ли вина?

Наверное, стоило тогда согласиться.

Вылез, называется, из Стикса три года назад!

Флегры. Пандора. Подземный мир, признавший царицу. Конец Золотого Века (ничего себе, Зевс разошелся — за двенадцать лет век почти под корень). И снова — Флегры. Гиганты. Тартар. Плесень...

Мы для них плесень.

Слушать удавалось плохо: лучше получалось всматриваться. Важное забивалось неважными, мелкими деталями: смотри-ка, Арес как в плечах раздался... и дом у них тут, на краю света, неплохой с Афиной. Танат украдкой стискивает пальцы Гестии — хорошо, всё хорошо... кто их соединил, правда, что ли, Персефона? У Геры от волос пахнет морем, а пальцы натружены тетивой — видать, непросто дается жизнь в изгнании.

Страшные слова о Гигантах, о последней войне, о Луке Неба в руках остроскулого Гиганта — как из дальних далей.

Может, я так и не привык пока — заново. Волна бессмертия и юности прихлынула-отступила... Смотрю вот на доказательство своего возвращения — переломанный клинок смерти. Половинка на столе, половинка в пальцах у владельца. Факел из рук Убийца научился испарять за первые полчаса — поморщился только «на пояс повесить нельзя».

А теперь вот смотрел, чему-то удивляясь, все трогал холодное, не поющее железо. Стискивал в пальцах, не боясь порезаться.

Словно сущность, попрунная, сломанная — еще горела, по живому.

Понимаю — хотелось сказать мне. Когда только недавно отошел от грани...

Смертность дышала в спину — страшнее Тартара. Смертность и память о черных водах — непонятно, как избавиться от того и другого навсегда, если уж даже клинок Убийцы не властен...

Может, только Убийца и заметил — как я стараюсь не смотреть на багряные пятна на полу, когда мы покидали дом огородника Ойтиса.

Наверное, смертность — как его клинок. Следы не заживают.

Поэтому Гигантам — так говорит Афина Мудрая — Гигантам нужно принести смерть. Иначе они принесут ее нам. Так говорит Афина Мудрая, и ее слова падают не шелухой — вескими, драгоценными жемчужинами. Черными. Белыми.

Сажены Геи должны умереть. Мы должны стать их судьбой — иначе они станут нашей.

Хочешь, моя мудрая дочь, я расскажу тебе, что смертные знают о Судьбе? Что она неотвратима и беспощадна. Отвратительное чувство — будто скот, который загонщики сгоняют между узких стен.

Мы — их Судьбой... Они — нашей... Судьбой.

Ананкой — скрипит на зубах.

Брат на брата, поколение на поколение. Титаны, теперь вот боги. Гея рождает назло, два поколения сшибаются, и в этом — гармония. Ананка.

Деметру, что ли, позвать — специалистку по саженцам. А то у нас тут внезапный огородный совет. Собрались боги, огорчаются: ну и цветочки вырастила Мать-Гея! Как бы это нам их сжать, чтобы, стало быть, пальцы себе до смерти не уколоть?

Разве что какой-нибудь огородник придумает, как эти саженцы выполоть — но кто поручится тогда, что Гея не родит опять?! Что на смену Гигантов не наплодит еще каких-нибудь саженцев — ибо и это прописано там, в свитке этой, которая ось мира вращает?

Что мне сказать тебе. Мудрая? Что у меня есть готовый план — откуда бы взять смертного стрелка, как отправиться на Флегрейские поля, принести Гигантам смерть... Как победить того, у кого Лук Урана в руках.

Кого не взять на Флеграх, потому что никого из них не взять на Флеграх, у материнской груди...

Нет у меня никакого плана, Мудрая. И ты не смотри на отца, мой воинственный сын. Отцу бы твоему сейчас — шлем на голову, Персефону под руку... и куда-нибудь на край света. А то моя царица каждым жестом, каждым взглядом так и кричит: «Не ходи! Не смей! А вдруг там...»

Молчу. Сам понимаю. Пожалуй, сунься я туда — там не вдруг...

Там — обязательно.

Даже обидно, что та, за плечами, мёртво молчит. Не вздыхает, не смеется. Ушла, как не было.

Очень может быть — беседовать с другим, остроскулым и черноглазым, который — почти что чей-то смысл...

— С Мойрами, — сказал я вслух. — Мне нужно поговорить... с Мойрами.

Афина, кажется, как раз излагала, что нам нужно поговорить с кем-то другим. То ли с Нереем, то ли с Океаном, которые помогают нам тайно накапливать войска для войны. Осеклась, остальные тоже воззрились недоуменно. Танат вот только еле заметно кивнул.

Может, Убийца тоже слышал это. Пронзительный треск рвущегося свитка. Истошные крики в отдалении: «Что ты сделал, что сделал?!» Неосознанно слетевшее с губ — «Переписал...»

Я не был в сером доме на Олимпе. Сторонился — сначала как того места, откуда вылезло ядовитое пророчество обо мне самом. Потом не желал смотреть на тех, кто предрек уже мне — то же самое, безжалостное: «Тебя свергнет сын...»

Видно, время пришло.

— Ты... пойдёшь сейчас?

За взглядами — другое. Удивленное, недоверчивое. Где быть царю после того, как вернулся из смертности? В царстве — это уж наверняка. Сесть на трон, подтвердить власть. А то кто там знает, что Мом в подземном мире наделает!

Подземный мир и сам шлёт гонцов. Вон, часть подданных уже и у двери топчется.

— Хайре, хайре, Кронид, с возвращением! — и цепляется за стены крыльями, и воняет

маковым раствором. Обниматься лезет, тараторит радостно: — Геката меня отправила. Так и сказала: Владыка, понимаешь, вернулся, так что давай, ты сам должен знать, где они там... А мне откуда знать — почему вы тут, а не там?! Ух, какая там у нас буча!!! Братишка-Мом объявился сперва, весь в соплях, попытался было на трон сесть и за двузубец схватиться. Так его как начало мотать! По всему залу трепало — мир, значит, своевольничал... Ну, он еще помотался по миру, а потом вот куда-то сгинул. Вроде бы, на Олимп, как ошпаренный, кинулся. Геката тут и говорит: всё, Владыка точно вернулся. И меня послала спросить: Кронид, ты когда вообще в своё царство собираешься?! Да там подданные уже собираться начали, и двузубец, да и вообще... А как ты вообще из смертности-то вернулся? А...

Тут Гипнос присмотрелся к Танату, который задумчиво крутил в пальцах осколок своего клинка. Икнул.

Случилось невероятное — но близнец смерти заткнулся самостоятельно.

— На Олимп, говоришь? — прищурился Арес. — Значит, дядюшка-Зевс узнает с возвращении отца первым. Радости будет — до небес.

Хмыкнул — совсем по-матерински. Гера откликнулась точно таким же хмыком.

— Ну, так ведь и мы щит готовили не зря. На случай братского счастья. Ифит вот сейчас у морских — от них не вырваться...

Помрачнела. Послушно впустила во взгляд — как прежде: смотри, старый союзник! Морские готовы воевать на нашей стороне. Только они требуют — гарантий. Пока что они скрывают армии, которые собрали Арес и Афина. Прячут их от взглядов Зевса и Аполлона. Накрывают Коркиру морскими чарами.

А готовы — сделать втрое, впятеро, всемеро больше... если мы только даруем им царя. Царя, любящего и понимающего море.

Если кифара будет — против кифары, а лук против лука. Как только Ифит Клименид выступит против Аполлона Зевсида, как только его музыка избавит морской мир от назойливого присутствия недоцарька... море готово покориться новому Владыке. А если вдруг Ифит еще раз сходит со своей музыкой на Олимп — чтобы и Зевс канул в воды забвения... о, тогда море будет всецело на нашей стороне!

Морские — известные хитрецы. Обтекут со всех сторон, водой сквозь пальцы просочатся.

Неизвестно как, но они вызнали про то, в обмен на что Ифит отдал Олимп. Про клятву Зевса. Ту самую клятву черными водами — ты знаешь об этом лучше меня.

Поняли, что Зевс не сунется воевать с нами сам. И увидели в этом шанс выйти из-под власти тирана.

Только вот и Ифит, и я понимаем, брат... если вдруг мы поддадимся на уговоры, если пойдем против Аполлона — Зевс будет мстить за сына не своими руками. Найдет способы.

А хитрец-Нерей всё торгуется и торгуется, удушает внука в объятиях — и между делом всё старается подсунуть ему морских красавиц: то дочерей Океана, то нимф... Потому что старика очень устраивал бы царь, который не втягивал бы море в войны. Которого ничто бы не связывало с поверхностью. Которого бы не связывала с поверхностью я. Так что радуйся, Кронид, твой сын там в битве. Я, конечно, знала, что он упрямый, но он двенадцать лет стоит против интриг своего же деда, который дай ему волю — оставил бы внука узником в своем дворце. Ифит переубеждает — музыкой и словами — склоняет на свою сторону, по крупице вытягивает из морских хоть какое-то подобие обещание и союзов — и одной рукой отстраняет морское владычество, которое слишком уж настырно пихают ему в руки. И мне

скоро туда — поддерживать его в битве...

Чтобы у вас был щит при встрече с Зевсом. Войска, собранные нами — безумными заговорщиками — за годы. Слышишь, твоя дочь опять говорит о них? О тех, что прибывают на Коркиру? Что нужно бы посмотреть, раздать приказания... решить.

Да, решить.

Словно на перепутье дорог вышел. Разбегаются тропы — какую бы выбрать? Стоят путевые указатели, вот-вот сами на нужный путь потащат. А то что это ты молчишь, неуступчивый невидимка?

Вот, например, широкая, правильная, черная дорога — вниз. Указатель — белокрылый близнец смерти. Всем своим видом напоминает: эй, у тебя тут не только щит, но и м... мир, в общем. Наш. Не хочешь ли наконец-то сесть уже на трон?

— Лети. Скажи Гекате — я скоро буду.

Взвился Гипнос, крыльями хлопнул: был бог сна — нет бога сна...

Вот — тропа средней величины. Жди — сама водой под ноги прольётся. Утянет в море ласковым отливом. И указатель — сестра-жена с красными от недосыпа глазами. Смотрит молча: помоги сыну, ты не знаешь — как он вырывался на это состязание, чего ему каждый раз стоило покинуть чертоги деда. Мы молчали: у всех было то, что важнее. Но теперь — одно твое слово... и с тобой Нерей спорить не посмеет.

Кивнул чуть заметно: да, Гера. Я обязательно встречусь с морскими. Как в старые времена — найду нужные слова. Обману, если понадобится. Мне, в конце концов, нужен щит от Зевса — если вдруг мы собираемся вместе выступать против Флегр.

Только вот не сейчас. Сейчас — другая тропа, иная дорога...

Узкая, извилистая, почти незаметная. Вьётся, уходит вверх. На Олимп, к серому дому, в котором никогда не бывал. Вот её указатель — не родной, названный брат. Напряженно глядящий в пустоту — будто силящийся рассмотреть что-то...

— Убийца. Что Мойры?

Едва слышно вздохнула Персефона («Ну, конечно — он пойдёт сейчас, а ты чего ждала?»). Танат неопределенно повёл плечами.

Выглядел бог смерти, пожалуй, встревоженным.

— Они молчат, невидимка. С тех пор, как ты...

Факел объявился в ладони из ниоткуда.

— Так, может, это ты их не слышишь? — осведомился Арес.

Убийца качнул головой: все может быть.

Солгал.

Вещи Мойры не просто так прекратили резать нити. Замолчали — не просто так. Ты в это сам не веришь, я же вижу твои глаза, брат мой.

Ты думаешь, случилось что-то иное. Что-то страшное, что заставило онеметь ножницы Атропос. Что-то, для чего не понадобился твой клинок или твой факел: просто множество нитей вдруг истончились и распались в пыль...

Кто может мне ответить — что это было?

Только разве что Мойры.

Да еще — провидение во плоти.

— Ты пойдешь со мной.

Давно не виделись, Провидящий. Кажется — в последний раз ты пытался против меня заговоры составлять. Оберегал Ифита от безумного родителя.

Теперь вот ни радоваться не пожелал, ни взглядом не удостоил. Ввалился в покой: взлохмаченный, на лице фанатичным прозрением глаза тлеют... Новую ли дорогу хочешь предложить мне, сын Япета? Новым ли указателем стать?

— Идём же!

Персефона недоуменно шевельнулась возле меня — и я понял, что Провидящий смотрел на нее. И говорил с ней.

— Что ты видел? — спросил тихо. Как тогда, в последний раз.

— Ананку, — отозвался Прометей ещё тише. На миг обжёт голубым будущим из глаз: стрела легко свивается на тетиве знакомого лука, наводится в лицо... косматые фигуры встают — выше неба. И щерится знакомая усмешка — щербатая, радостная: «Давно не видались, сынок!»

Усмешка времени, сжатая в чьих-то безумных пальцах.

Коротенькое слово, плеснувшее из глаз Провидящего.

Коркира.

Иная дорога, непредвиденная, непредсказуемая. Вон, два указателя стоят — сын и дочь, как раз ведь рассказывали, что там собираются войска...

Стоят, смотрят, как я обрисовываю губами: «Коркира...»

Как пропадаю, шагая в заветное — «Рано или поздно».

Выбрав дорогу. Потому что «рано» — уже прошло.

А поздно настанет прямо сейчас.

* * *

Показалось: вижу что-то привычное. Знакомое по снам или по видениям — в этих видениях мелькали молнии и Зевс радостно выкрикивал: «Это хороший знак!», и захлебывался за плечами крик: «Чем будешь бить, маленький Кронид?!»

А потом мы стояли все втроем — я и братья — над остатками нашей армии, и ветер неторопливо разносил серую пыль.

Или там было что-то другое, в этих видениях? Бессмертные над убитым будущим? Над телами на острове Коркира?

Неважно.

Мы стояли на том, что было когда-то Коркирой. Где когда-то было время. И наши армии.

Я — и те, кто сделал шаг вместе со мной. Афина и Арес. Танат и Гестия. Гера.

Коры не было — наверное, задержал Провидящий.

Может, понимал, что весна здесь не к месту.

Потому что никакому семени не подняться с этой почвы.

Пыль — мягкая, серая, жирными облачками взлетающая из-под ног.

В пыли разлеглись остовы кораблей — распластались повыгнившими скелетами диковинных рыб. Лежат остатки союзнических войск — полуистлевший меч... позеленевший котел.

Щит — когда-то медный. Теперь — проросший мерзкой зелёной плесенью.

Цветущая Коркира — проплешина посреди тревожного моря.

Вода не шумит, не пытается лизать берег. Воде страшно попробовать серую пыль — яд обезумевшего времени.

И глухо молчат чайки — опасаются подавать голос там, где затихло время.

Замерло.

Отковалось в ядовитую гадину — лежит, щерится осколками клыков.

В обугленной, подрагивающей ладони того, кто...

— Здравствуй, — сказал он хрипло и будто через силу. — Здравствуй... брат.

Махайра рвалась из его ладони, приподнимала руку — обожженную до локтя и будто бы высохшую. Не махайра, нет. Серп Крона — воплощённая месть матери-Геи, выплавленная ею из самого себя.

Чистое небытие.

Чистая ненависть.

Такая же, как сейчас — в улыбке брата. Выгоревшей, страшной — и в глазах у него больше не серое, грозное небо. Там — пепел, без конца и края, такой же, каким засыпано всё вокруг.

Пыль времени с отблесками адамантия.

Белые взблески в волосах — не молнии. Яростные, холодные блики — будто играет на самом острии клинка лунный свет.

И за плечами — косматой горой стоит мощь Олимпа. Небесный орёл распахнул крылья-тучи, вскинул голову, открыл клюв в клёкоте. Показалось было — в гордом.

Нет, в болезненном.

Орёл крыльями вцепился в плечи хозяина: держись! Не смей! Тащил назад — всей мощью Олимпа уравнивал то, что у Владыки лежало в ладони.

Взбесившееся время.

— Я... удержал, — сказал Зевс. Ухмыльнулся — кривой улыбкой, похожей на щербатый оскал Серпа. Выжал — из искушенных губ: — Ты не смог бы. Ты бы... не смог. А я...

— Что ты сделал?! — прошептала Гестия. Бессильно сделала несколько шагов вперёд. — Что сделал, брат?!

Уведи её, — швырнул я Танату взглядом, чуть повернув голову. Уходите все, — это уже Афине, тоже без слов. Уведи мать, — это Аресу, потому что Гера потянулась за луком.

Потому что дело — не в том, что он уже сделал. Дело в том, что он ещё сделает.

Пусть он уверен — что удержал. Опьянён мнимой победой, одержим тем, что вот! Владыка! Настоящий! Мощь Олимпа — за плечами, Серп Крона — в руках!

Я вижу, как подрагивают на лезвии клинка дочерна обожжённые пальцы. Как обугливается край багряного владыческого гиматия. В смехе брата, в глазах брата, во всём — всё меньше самого Зевса, и всё больше той гадины, которая лежит в его ладони.

И под ногами всё яснее и радостнее начинает звучать: «Рано или поздно...»

Рано или поздно — тебя выжгут брат. И ты не удержишь.

— Что я сделал? — переспросил Зевс, улыбаясь кривой, не своей улыбкой. — Я... убил её... Его. Он думал — заберёт мой трезубец. Думал — это его Судьба... Судьба. Думал... задаст мне вопрос. А мать дала мне ответ. На всё ответ.

Ответ.

Лежит в пыли золотой лук — серебряная стрела одиноко подмигивает. Кифара — полуистлевшая, с порванными, торчащими во все стороны струнами. Струны, наверное, печалются. Вспоминают любимца муз, и неудавшегося морского царя, и вечного аэда за его плечами.

От Аполлона не осталось пыли — вот следствие отцовского гнева. Попытки пойти

против Владыки.

Попытки стать Клеймом Кронида и его Судьбой.

Радуйся, Зевс. Кажется, только что ты убил бессмертного.

— Я убил Судьбу, брат, — шепнул Зевс, то ли улыбаясь, то ли скалясь. Ненависть смотрела из его глаз всё яснее — выжигала страшнее махайры, которая нетерпеливо рвалась вперёд из истлевших уже до кости пальцев. — Мать сказала, что он может... кого угодно. Что угодно. Что я... что я удержу. И я смог.

— Ненадолго, — сказал я. Сделал шаг — по полю, из которого не подняться всходам, по мягкой, серой, жирной пыли с запахом времени. Орёл в небесах напряг крылья, всколыхнул небо истошным клёкотом: держу! — Ты знаешь, что это ненадолго, брат. Ты чувствуешь, что это ненадолго. Опустит его. Опустит его совсем. И возьми свой трезубец. Будь Владыкой Олимпа.

Говорить было трудно: пыль забивала горло, воздух пропитался ненавистью и смертью, и плакала за спиной Гестия, и слишком близко стояла — грань.

Смертный страх, которого уже коснулся однажды — сегодня.

Извивающаяся тварь в ладони брата шипела в лицо, и виделось: перерезанное горло, и старческие руки, бессильно зажимающие прореху, черно-алая жидкость ползёт по пальцам, и открывается проход, и я хочу...

— Опустить?! Чтобы ты ударил меня в спину?!

Пронёсся вихрь — густой, плотный: это орёл за спиной Владыки Олимпа взмахнул крылом. Вихрь подхватил трезубец, поигрался с ним — небрежно, будто с перинкой. Мягко опустил к ногам истинного Владыки — мол, пусть полежит, сейчас возьму... мне же ещё с ним править.

Возьму — и буду Владыкой Олимпа, как и сказано, брат. После того, как вы...

— Хорошо, что вы все здесь, — выплюнул Зевс. — Всех... разом. И всё кончится правильно.

— Головешкой на трон сядешь? — это уже вскрик Афины. — Будешь править пустыней? Это — правильно, дядя?! Ты не остановишь его во второй раз.

Глянул искоса: дочь стискивает копье в пальцах, Арес за дротик держится... ну конечно, с чего бы им отцовских советов слушать, тут Мудрость и Война на пару.

Спасибо ещё — действительно не пытаются братцу ничем врезать. Потому что врежешь ему, как же — а он пальцы разожмёт.

Потому что он же единственное, что сдерживает сейчас эту гадину, ядовитую тварь.

Он — и вся мощь Олимпа. Нанеси удар, покачни равновесие — такое начнётся, что уже не до Флегр будет. Не до Гигантов. И не до мести матушки-Геи.

Да и чем вообще можно бить?! Чем можно удержать небытие, унять месть, рвущуюся с поводка, остановить древние адамантовые клыки, которым только дай рвануть мир?

Невидимость не спасает от небытия. Даже если я призову шлем... стоит исчезнуть — и Зевс нанесёт удар. Хорошо, если после этого хотя бы шлем останется.

О копьях, стрелах и прочих мелочах и вспоминать бесполезно.

Танат вон это понимает даже слишком хорошо: одной рукой удерживает Гестию, другой стискивает ни к Хаосу не нужный тут факел, потому что — что еще делать-то?! С этим не сразишься. От этого ещё и не сбежишь.

Потому Убийца занят самым нужным делом: думает. Пока я пытаюсь докричаться до брата, пока ступаю по острой кромке новой смертности, пока во рту у меня становится сухо

и солоно, отвратительно солоно... пока я пытаюсь играть в старого-себя и договариваться, и торговаться...

Потому что думать я не могу. Перед лицом раскачивается, зловредно ухмыляясь, древнее алмазное лезвие и на глазах у меня жрёт по крупнице моего брата, и мне кажется — я слышу его отчаянный крик — того Зевса, который когда-то хохотал, разливая нам с Посейдоном амброзию, и с азартом рассказывал о том, как охотился на драконов (и на нимф). Который на глазах у меня обращается в алмаз и пыль, в божественные ножи для проклятого, ядовитого времени, в олицетворение мести матушки-Реи («Пейте ту же чашу!»), и я кричу, не открывая рта, только глазами: «Стой же! Борись же! Пусть ты будешь Владыкой, забирай себе золото любых тронов, только не смей превращаться в подголосок отцовского оружия. Я не хочу повторения! Слышишь, я не хочу — чтобы и с моим младшим братом было то же, что со средним, я не хочу, а потому — держи, слышишь?! Слышишь?! Держи, я сейчас придумаю — как удержать еще надежнее, я удержу, мы удержим, брат...»

Но в ответ на меня смотрит холодная, бездумная, насмешливая ненависть: поздно, брат, поздно, я сам... я могу, я вот...

— Что ж ты стоишь?! — это яростный крик Геры. — Ну, давай, попробуй — ударь! Хлебод! Какой из тебя Владыка — мечик удержать не можешь!

Мелькнула даже стрела — испарилась, растворилась, не долетев до воплощённого Величия. Отлетела, испуганная — прынула куда-то в черные клубящиеся тучи над головой, затерялась в оперении орла в небесах.

Быстрее стрелы мелькнула мысль — Гера что, совсем...

А вслед за этим — короткое прозрение: да нет, не совсем. Просто старая союзница помнит то, о чём ты чуть было не забыл. О том, что у нас есть ещё одно оружие — помимо утонувшего в волнах моря трезубца.

Только вот воспользоваться мы им не успеем.

Я — так уж точно.

Потому что рука Зевса крепнет на рукояти — лишённые кожи и плоти, опалённые дочерна кости. Крепнут, и сжимают ее, стискивают — будто она — часть руки.

И падает на искривлённые, искусанные губы брата легчайшая улыбка — полная юности, радости... безумия.

— Ударить... тебя? Не надейся, сестра. Тебе я сделаю подарок. Царский подарок. Жизнь твоего сына — в том случае, если согласишься быть моей... добровольно. Я не заставляю тебя, не посягаю на очаг. Просто даю выбор. Тебе. И твоему сыну. Цени это, избранница моя: не все тут получают такой выбор.

Почему он еще держит его, — мелькает мысль, не мысль — отчаянный её ошмётки. Как брат еще держит эту тварь, или вернее — что держит самого Зевса? Ненависть?! Мощь Олимпа?! То, что его лицо — всё больше с каждой секундой становится лицом из памяти, тем лицом, в которое я когда-то сказал у подножия Олимпа: «Ты хотел меня видеть...»

Может — всё вместе.

А может — это ты, Аид-невидимка. Связующее звено между ним и Серпом Крона. Они ведь оба жаждут мести тебе — твой брат и оружие, которое твой отец не успел когда-то вынуть из ножен.

И значит, чтобы разорвать эту связь — нужно просто...

Нет, — кричало что-то внутри, пока я упирался взглядом в ядовитую гадину. Пока вставал напротив брата и делал приглашающий жест — ну же, давай!

Нет-нет-нет, стой, не смей, не надо больше, я не хочу, я не желаю больше, ты же так недавно решил, что ты удержишься, не смей, не нужно...

Прости меня, Ойтис-огородник, чей смертный крик я слышу там, в груди. Чья седина теперь проглядывает в моих волосах. Чья кровь делает солёными губы.

Очень может быть — мне на роду написано так вот: малой ценой.

Прости, Персефона — хорошо, что тебя нет здесь теперь. Ты бы, наверное, не выдержала — если бы во второй раз.

Может, лучше было бы, если бы вы не вернули меня несколько часов назад, разломав меч Таната: тогда я ушел бы как смертный, а не как бог, который теряет бессмертие по капле, которому под ноги подкатывается отвратительно острая грань смертности — и трудно дышать, и знаешь, что сейчас у тебя будут отбирать последнее...

— На колени, — сказал Зевс, и алмазная гадина в его руке качнулась вправо-влево, показалось даже — язычком затрепетала. — А то я ударю по твоей дочери.

Мёртвое молчание — вязкое, как те самые, незабываемые ледяные воды, которые еще долго будут приходить в снах. Хорошо, что их больше не будет. Хорошо, что будет быстрее.

Серый прах пристаёт к коленям, во рту — кровь напополам с пылью: горечь и соль, и грань слишком близка, извивается, касается, щекочет...

И в глазах у Зевса — мучительный вопрос: ну, как тебе, невидимка? Как тебе — чувствовать себя побеждённым?

Не знаю, брат. Моей нити нет там, в сером доме у Мойр. Перерезана несколько часов назад, так что они, наверное, ее даже не видят. Я не знаю — каково это: быть побежденным.

Зато я недавно узнал, как можно — умирать.

А вот тебе — как? Как тебе быть марионеткой мести нашей дорогой матушки? Каково — когда ты лишь рука для нанесения удара?

Я бы, наверное, сказал тебе перед прощанием что-нибудь, да шелуха слов основательно с меня ссыпалась — вот, могу только смотреть. Увидимся по ту сторону — не знаю, где, наверное, в Великом Ничто — что-то мне подсказывает, что ты здесь тоже не удержишься, Владыка Олимпа.

Остальные как-то растворились, смазались. Остались будто отсечёнными там, за гранью — и мы с тобой здесь наедине, брат. Посреди берега, покрытого не песком — пылью, которой опасается касаться немое море.

И вокруг нас свернулась невидимая змея — кусает собственный хвост. Ловушка Крона, которую ты невольно создал, бездумно вычертив этот вечный круг клинком. Брат на брата, сын на отца — кипит в крови клеймо, от которого не избавишься.

Наверное, ты прав, и всё неправильно началось. Может, если бы я не вмешался тогда, с Тифоном — не взял бы трон у тебя из-под носа... может, всё лучше закончилось бы.

И потому мои губы шевелятся, произнося последнее — «Прости меня».

И вижу только по движению твоих губ — знакомое имя... *Ананка*.

Но не слышу.

Всё забивает последний миг смертной тишины.

И в тишину не может проникнуть ничто — ни крик, ни плач, ни зов...

Только, может быть, разве что музыка.

Пролилась неожиданно. Сразу отовсюду: дождём — из-под небес, приливной волной — из моря, родником — из-под земли. Брызнула в похолодевшее лицо, дунула свежей ободняющей мелодией: радуйся! Радуйся, радуйся...

Радуйся, папа.

Музыка взметнула серую пыль, вздёрунула меня на ноги и заставила сделать вздох. И гадина, свернувшаяся вокруг — невидимая, отсекающая от остальных ловушка времени — разомкнула кольца, пропустила отрывистый, задохнувшийся крик Геры: «Не надо!!». Потом крик скомкался, отрезался, потонул в звонком разливе кифары, и в сером мареве стала видна фигура музыканта.

Будто соткавшаяся из музыки — или из воды.

Не знаю, хотел ли ты меня теперь видеть, папа, — сказала музыка чуть виновато. Но я не мог не прийти. Думаю, ты это понимаешь лучше меня.

Я не сказал музыке в ответ ничего. Только взглянул — в бесконечное, бескрайнее море глаз (решимости — до краёв), где не плескалось ни капли страха.

И понял, что уговаривать бесполезно — ибо нельзя уговорить музыку и море. Легче переломить меч смерти во второй раз. Легче переписать Судьбу.

А Зевс смеялся. Непринуждённым, почти прежним смехом. Глядя на гибкого юношу напротив себя: мокрые кудри рассыпались по смуглым плечам, полощется гиматий цвета морской волны, в руках трепещет струнами кифара... Глядя на то, как изгибается кифара в руках юного музыканта — и делается луком.

Смеялся и качал головой укоризненно — мол, брат-брат, вот почему с тобой всегда всё так неправильно получается?! Я, понимаешь ли, свою Судьбу убил — я же тебе сказал! Вот оно лежит в пыли, Клеймо Кронида. Которое Аполлон. Вот остатки его кифары, вот — моё сбывшееся, обращенное в прах пророчество!

Так какого, спрашивается, сюда еще и этот мальчишка приперся, не по правилам играет?! Сказал бы ты ему...

Ага, покивал я, медленно отходя подальше, подальше. Ты вот ему сам — попробуй, скажи. Я уже его музыки наслушался. И вообще, не знаю, как там у тебя дела с детьми, братец, только вот мои — как на подбор упрямые.

И с правилами и пророчествами у них какие-то нелады. Даже и не знаю, в кого.

Надо отдать Зевсу должное — он попытался.

— Кифаред... — погрозил ему серпом. — Это не твоя судьба, Кифаред!

Музыкант (лучник?!) в ответ прищурился. И усмехнулся углом губ — знакомой такой усмешкой, у одного пастушка видал, на Крите ещё...

— Да, — сказал тихо. — Это моё решение.

И разжал пальцы.

Взвизгнуло испуганно и яростно древнее алмазное лезвие: почему разжал?! Зачем пальцы?! Ты — лучник! Ты же должен сейчас — стрелу из колчана, потом на тетиву...

Чтобы мы успели ударить. Чтобы я успел...

Блеснула серебряным бликом молния — подарок пастушка nereиде в благодарность за ночи. Стрела, для которой не нужны луки и колчаны. Позови — явится.

Та самая, которую я оставил сыну.

Игрушечная стрелка — куда там производству Циклопов против воплощённой мести матери-Геи! Лезвие заскрежетало-заусмехалось: сейчас... в пыль... как только столкновение...

Стрелка упала в пыль — не вынесла даже быть поблизости от небытия, заключённого в древний алмаз.

Потом щербатая усмешка замерла. Довольный скрежет захлебнулся.

И непобедимый Серп Времени полетел в пыль следом за молнией — вместе с сжимающей его дочерна истлевшей кистью.

Ифит целился не в махайру — в руку.

Змея кусает собственный хвост — вцепилась, не разорвать. Секунда кажется дольше жизни: успеваешь увидеть всё, услышать всё, всё почувствовать. Зевс — рот открыт в безмолвном, но истошном вопле боли и ярости. Ифит — полон решимости закончить, заслонить, защитить, и лук вновь выгибается, становясь кифарой, сейчас обрушится вслед музыка... и за стеклистым, изломанным маревом — будто жилы хрусталя — мечутся фигуры: одна, с золотистыми волосами, ломает руки — наверное, Гера...

Фигур сейчас не будет. И змеи — преграды, ловушки, которую невольно поставил Зевс — сейчас не будет, и острова Коркира, и много чего ещё...

Потому что в пыль летит ядовитая гадина, которую не удержали. Разъярённая. Настроенная только — жрать.

Обращать в прах, пыль, бездну.

Сейчас коснётся земли — резанёт наотмашь, чтобы — вся и всё...

И некому схватить ее за хвост.

Мгновение — чаша, до отказа налитая событиями. Вижу — как движется алмазное щербатое лезвие вниз, как распаивает крылья гневный орёл в поднебесье, слышу — раскат грома, и хихиканье в Тартаре старой сволочи, давно не подававшей голос: «Его могу удержать только я, как тебе такое?!»

Мне такое — никак. Я тут вообще другим делом занят. Например — вытягиваю из воздуха легкий, серебристый шлем, пришедший на зов. Махом нахлобучиваю его на голову.

Ты хотел, чтобы я исчез, братец? Вот, пропадаю.

Хотел, чтобы я с Серпом Крона познакомился?

Вот и сведем знакомство.

Сводим.

Отчаянно и страшно. Пальцы невидимки — намертво вцепляются в истертую рукоять — ту самую, на которой только что истлели остатки пальцев Зевса. Она обжигает холодом, эта рукоять, и время вздыбливается и бесится: *ты не можешь меня удержать, жалкий...*

Но я держу — вцепляюсь и держу, рывком тащу взбешенное время на место, в предназначенные ему ножны, и цежу ему в отсутствующую рожу: «Я победил твоего прежнего господина, ясно тебе?!»

Время — водоворот, затягивает и тащит. Мелькает всё наперекосяк, вперемешку: взвивается медный вихрь волос Кору, и надрывается младенец в колыбельке — *тебя свергнет сын* — и смотрит мертвыми глазами отрубленная голова Посейдона. И фигура на остром уступе протягивает дрожащие руки, развеваются поседевшие волосы, крик летит в гневное небо.

Веки прикрыты, вот только они же невидимы — и время щемится под них, мелькает бесконечной вереницей образов — взвивается бич, полосует спину Геры, рассыпаются под пальцами серебристые волосы Левки, и из выгоревшей до пепла земли Флегр до небес поднимаются новые всходы — Гиганты, идут — Олимп будто яблочки околачивать...

Прошлое свилось змеей — вокруг него обвивается будущее. Раскрывают пасти, кусают друг друга, вот-вот задушат кольцами затесавшееся между ними настоящее.

Настоящее: распахнувший гневные крылья орёл в поднебесье. Косматая мощь. И трезубец в руке Владыки Олимпа — второй руке, бестрепетной и твёрдой.

И воздух трепещет от хищного клёкота птицы, в котором — чистая ненависть.

Настоящее: тонкие пальцы на серебряных струнах, и бездонное море плещет из глаз, и музыка изливается на измученный берег, захлёстывает своего музыканта до колен, до щиколоток, поднимается выше самых высоких гор — и распахивает собственные крылья, и становится прочнее щита, летит — острее стрел.

И воздух дрожит от соприкосновения с любовью, которая затапливает берег вместо немого, безучастного, боязливого моря. Которая делается морем сама. Которая не умеет промахиваться, не умеет уклоняться, не умеет бежать.

Любовь и ненависть столкнулись в небесах.

Змея кусает собственный хвост. Мощь Олимпа — против песни. Старая мелодия «Я море... ты — скалы...» на новый лад: «Ты — море... я скалы... Ибо разве не разбивается ненависть о любовь? Разве не скалами мы становимся, когда нам есть, что защищать? Мне есть, что защищать, о Владыка Олимпа. Я выстою. Я... я удержу...»

Я удержу, — повторяю я невидимыми губами. И веду свой собственный бой — со взбесившимся временем, которое рвется и рвется из моих рук — обращать в прах.

И поток секунд обращается — ледяным холодом Стикса, но я только сжимаю ладонь крепче, вцепляюсь и прорастаю в древнюю рукоять всем своим... смыслом? Миром...

Прошлое встаёт из закров памяти — неумолимое. Титаны, и кривая усмешка отца, и какой-то бунт во дворце, где я убивал в спину. Поддашься, дрогнешь пальцами — прошлое рухнет на землю, подомнёт тушей, и земля станет вечным прошлым — Хаосом без конца и края, когда не было ничего и никого...

Будущее движется навстречу — вот-вот головой небо заденет. Мстительное, грозное будущее с Флегр. Злобится, кричит: «Эй, плесень!!!» И стоит отпустить, упустить — и будущее наступит тут же: выжжет землю, откроет врата Тартара, отравит ядом мести, и будет — только мягкий серый прах, как здесь...

В почти задавленном настоящем.

Где Афина и Арес пытаются пробиться через стекливое марево — сгущенное время — туда, где идёт бой... Где Убийца опустил руки — одну просто так, а вторую на плечо Гестии. «Нельзя вмешиваться». Правильно, правильно, Убийца, лучше не лезьте и скажите это стоящей на коленях Гере — нельзя вмешиваться, потому что это хуже, чем попасть между жерновами...

Потому что жерновов обычно — два. А здесь — три. Три боя.

Будущее схватилось с прошлым — желает перетереть в порошок настоящее.

Я схватился с Серпом Крона. Или может — *за* Серп Крона. Желая... ничего не желаю. Просто держу, пока эта тварь пытается спалить меня изнутри.

Ненависть стоит против любви. У ненависти пока получается лучше — потому что крылья орла велики и могучи, потому что их потоки рассеивают, развеивают мелодии, и яростный клекот глушит серебрястые звуки кифары... ненависти слишком много — выплёскивается во взгляде, в крике и травит, пачкает светлые волны музыки, которые поднимаются вокруг.

А пальцы кифареда — слабеют, вот-вот собьются, и гибкий музыкант едва стоит против ураганного ветра с неба. Очень трудно спорить с тем, кто по-настоящему считает себя Владыкой Олимпа — и кто вцепился в своё владычество, как один подземный царь сейчас — в Серп Крона.

Всё же море в ярости может иногда разбивать и топить скалы.

И потому юный кифаред выливает в воздух уже не музыку — просто самого себя, выплёскивает до края собственную сущность, и в переливчатый звон струн начинают просачиваться траурные ноты.

Я удержу, — слышится мне там. — Удержу, сколько надо. Слышишь, папа? Ты скажи ей, чтобы она меня простила. А я... а я удержу.

Я дам тебе время, папа.

Просто немного своего времени. Оно теперь тебе очень нужно.

Мне очень нужно время, сын Левки. Потому что то, которое у меня в руках — не желает подчиняться, и миги растягиваются в бесконечность ослепительной боли, и оно вопит: «Пусти, ничтожество, пусти!!», и старается хватануть клыками, ошалелое. И я чувствую, что скоро не будет невидимости, потому что трещины змеями расползаются по светлomu металлу шлема. Потому что воплощению мести Матери-Геи очень хочется взять свою судьбу... нет, у чудовищ ее быть не может...

Значит, выполнить предназначение.

Уничтожать. Доказывать, что есть только — небытие, только алмазные клыки, а остальное — прах. И под моими пальцами рыдает и смеется безумное Небо, лишенное плодородия: «Что ты сделала, моя жена, что ты сделала, неужели не понимаешь, что эта тварь может убить даже...»

Ты не понимала, — шепчу солёными от смертности губами в вихрь секунд. Той, которая ждет меня там, на Крите — яблоки морщинистыми руками по земле раскладывает. Ты не понимала — что за предназначение ты дала той твари, которую породила. А отец вот понял. Наверное, потому со мной заговорила та, из-за плеч, голоса которой я больше не услышу.

И мать поняла тоже. Просто вложила Серп не в ту руку.

Как это — не в ту руку, возмущается Серп под ладонью (и мне кажется — где-то я слышу жалобное взвизгивание чёрного пса, который тоже старается удержать время). В ту самую руку! В руку ненависти. В руку, которая нанесёт нужный удар — по тебе, потому что ты — *ее любимчик*, и все наконец станет правильно, наконец разомкнётся проклятый круг...

Змея, кусает собственный хвост — наверное, это больно...

Когда я смеюсь — змеяот изумления, начинает разжимать челюсти. И ядовитая гадина в пальцах — перестаёт извиваться и жалить роем раскалённых мгновений.

Ты не можешь хотеть того же, Кронид, — шипит слабо. — Ты же любимчик, щит, который она сковала, чтобы защититься... от него...

Защититься от меня.

Я не щит, — звучит в моем ответном смехе. Я лучник. Я учился не защищать: не промахиваться.

И как может быть ее щитом тот, у кого её теперь нет?!

Прошлое подкатывается под обожжённую ладонь — гладкое, холодное, твёрдое. То недавнее прошлое, в котором — истошный крик Мойр, и чей-то трещащий свиток...

И будущее в страхе бежит от такого прошлого, теряя по пути сандалии. Бежит — в неизвестность.

Я не любимчик, — шепчу я. У меня для этого слишком неправильно всё началось. И теперь вот я...

Я — это скалы? — спрашивает мелодия из настоящего. Оттуда, где любовь бьётся с ненавистью, переплетается с ней, как прошлое и будущее, и кажется, что они — одно...

Я — это море?

Я — это... ты?!

Одно.

Прошлое отступает — наверное, отлив начался. Уходит, тревожно оглядываясь, будущее: ну его, пожалуй, невидимку!

Рукоять не жжет больше ладонь: так, теплится виновато...

Наверное, это слишком страшное настоящее, чтобы его уничтожить.

Слишком... страшные... строки.

Я лежу на мягкой, серой пыли, опустошенный и выпитый до дна, сполна использовавший время, которое мне дали. Ладонь — стиснута, не разжимается на страшном оружии, непобедимом Серпе Крона — обычной махайре со странным предназначением.

Не могу разжать пальцы. Ибо мы — одно.

Вокруг гаснут последние всплески мелодии: *я держал, сколько мог.*

Прости меня, папа.

Я надеюсь, я дал тебе время.

Ты дал мне время, сын, — силюсь я ответить сквозь боль и невидимость, и всё пытаюсь рассмотреть тонкую фигуру музыканта, над которой вот-вот сомкнутся ураганные крылья орла — Мощь Олимпа. Ты дал мне время. Ты молодец. Ты удержал.

Только вот я не могу прийти к тебе на помощь, ибо это — не мое предназначение.

Ибо оружие, которое у меня в руке — предназначено только для одного.

А кроме него мне бить нечем.

Тихий, прощальный звон — это одна за другой рвутся серебряные струны. Шепчут на прощание: прости, прости, прости...

А Зевс Однорукий, Зевс Победитель, Зевс Владыка Неба — смеётся прежним смехом Заливистым и ликующим.

Перед последним ударом по едва различимой за ураганными вихрями фигуре.

— Ну что, морской?! Теперь понял, что значит — гнев Владыки?! Чем будешь бить, морской?!

Трезубец рассекает воздух радостной вспышкой — высветляет лицо брата, полное упоения битвы. Озаряет лицо противника: бледное, строгое лицо кифареда с плотно стиснутыми губами — чёрные кудри летят по ветру, темнеют бирюзовые глаза — будто море в грозу...

А за плечами у юноши дыбом выгибается морская волна. Шипит, как разъярённая кошка, кидается вперёд, принимая на себя удар неба, и расплёскивается пеной.

Волны приходят, и заключают фигуру юноши в бережные, любовные объятия, облачают в царские бирюзовые одежды и поднимают на себе, чтобы он мог стоять лицом к лицу с Величием. Море помнит — как Величие однажды бросило его и сбежало. Как трусливо отдало трон.

Море ничего не забывает. Особенно — любви. И звенит, и светится серебром, и несёт на себе тополиные листья, упавшие в бегущий к морю ручей. Море щедро отдаёт потонувшие в нём песни, и воды — ковкое серебро — готовы переплавиться во что угодно: в щит... в новую кифару... в лук.

Во что угодно — для морского. Для своего морского. С которым оно — одно.

Для нового морского Владыки, идущего в трудный путь — против неба.

«Вор!» — кричит, надрываясь, Зевс, и орёл в небесах выставляет когти и исступлённо рвёт поднимающиеся к небу волны. Тучи и волны переплетаются, перевиваются, как

незадолго до того — прошлое и будущее.

И из водного вихря рождается, выплывает дикий жеребец — олицетворение моря, такое же, как орёл — для неба и пёс — для подземного мира. Взлетает пенная грива, вздымаются копыта — напротив крыльев, летит по ветру хвост — бурунами...

Небо — за яростно сияющей фигурой Владыки с трезубцем в руке. Море — за спиной юного кифареда, у которого больше нет оружия.

И чёрный пёс где-то тут же, поблизости, сидит, порывается весело над своим хозяином. Башкой весело качает в сторону сцепившихся в смертной схватке моря и неба: дураки, да?! Совсем дураки, да?! Бездарно дерутся?!

— Бездарно... дерутся, — соглашается хозяин, чуть шевеля губами.

Чёрный пёс и его хозяин уже знают — кто проиграл эту схватку. Еще до того, как она началась.

— Бездарно дерёшься, — шепчут губы Убийцы там, за пределом битвы неба и воды.

— Почему бездарно, — бездумно спрашивают губы измученной Геры, сердце которой сейчас — в этой битве.

— Потому что результат известен заранее.

Потому что стеклистое марево, ловушка Крона, через которую ничто не могло пробиться — теперь исчезло. Потому что Серп Крона теперь лежит спокойно и безмятежно — в руке нового хозяина.

Пытается делать вид, что он тут ни при чем.

Потому что ничто не мешает мне теперь шептать чёрному псу — можно...

И мой шёпот слышит то, что должно.

Та, что должна.

«Чем будешь бить, морской?!» — кричит Зевс, заливаясь безумным хохотом, и удар трезубца отсекает ноги вставшему на дыбы коню. Небо вцепляется в море — когтями, бьёт его крыльями вихрей, терзает клювом двузубца. Схватилось — с предвечным врагом, которого сейчас развеет, разобьёт, раздавит...

«Что у тебя за оружие, морской?!» — слышится в истошном хохоте неба, которое валится на остров. Хохот колеблет землю. Заставляет упасть на нее волны — жалобно прижаться к ногам своего хрупкого Владыки.

Нет.

К незыблемо стоящей посреди моря скале.

Мрак мокрых волос кипит в воздухе. Глаза больше не бирюзовы — черны поштормовому, и Зевс начинает кричать, когда вглядывается в эту черноту. За ней — ненавистное сходство («Брат!! Вор!!»), за ней — сбывшееся пророчество и оживший смысл.

За ней — ответ.

Слетающий с чуть приоткрывшихся, юношеских губ. Названием самого страшного оружия. Взятая в час надобности.

— Клятва.

И волны моря, кипящие на островке, — оборачиваются чёрными, ледяными, пришедшими из моего мира водами.

Клятвой, о которой Зевс благополучно забыл в сражении — ибо разве могут существовать клятвы для Владыки, который совладал с Серпом Крона?!

Я закрываю глаза, чтобы не видеть — как это было со стороны. Чтобы не касаться опять ледяного, прорастающего в душу холода. Слышу только крик Зевса: «Я не причинил тебе

вреда!» — жалкую попытку оправдаться.

Ифит молчит, но ответ выплывает откуда-то... из мира, из памяти... из меня.

«Я и мир — одно. Причинишь вред мне — причинишь ему... Причинишь вред ему...»

Так вот — наоборот это тоже работает.

Кажется, я даже опять кричу. Не в силах оторваться от Серпа Крона — я готов сейчас им заслониться от стылого, вязкого правосудия, которое пришло за братом. Только бы не слышать, не помнить, не чувствовать: «Ты знал, что влечет за собой нарушение клятвы». Только бы... не опять...

Я кричу, и мой вопль смешивается с отчаянным, пронзительным клёкотом орла, и с шумом морских волн, и с отдалённым голосом второго брата: «Вор! Лжец! Обман...»

Я кричу и знаю, что Владыка Неба сражается с тем, что нельзя победить. Бездарно дерется. И еще миг — и я встану на его сторону, потому что я знаю — как это, потому что это слишком... слишком...

Но когда я осмеливаюсь вздохнуть и открываю глаза, и напрягаю пальцы на рукояти клинка — поздно.

В грудь вливается воздух, не стылые воды.

Под ногами — жидкое месиво: пыль напополам с морскими волнами.

Орла в небесах больше нет — так, тучи собрались, толкутся недоуменно — овцы без пастуха...

Мне помогает подняться сильная рука Ареса.

С другой стороны поддерживает Афина — осторожно, стараясь не касаться древнего, истёртого лезвия. Спрашивает:

— Как ты его остановил, Литос?

— Догово... договорился, — выдавливаю я в ответ. И кашляю, пытаюсь осмотреться — что пропустил?

Гестия тихо плачет — опустила в пыль. Оплакивает участь брата, которого так и не получилось согреть. Рядом стоит хмурый Убийца, и во взгляде у него — отсюда видно — предвидение.

«Допрыгались, Кронид, — говорит взгляд. — У вас теперь нет половины армий. Твой брат — в Стиксе. Как ты думаешь, скоро ли Гиганты восстанут с Флегр?»

Не задавай дурные вопросы — дергаю я плечом. Ты теперь — единственный оставшийся у меня брат... на ближайшие лет восемнадцать. Вот и не задавай. Сам, что ли, не слышишь?!

Радостное: «Скооооро!» — и подрагивает в предвкушении земля.

Скоро. Скоро. Наверное, уже почти сейчас. Пока мы слабы.

Пока на Олимпе нет правителя. Пока правитель подземного мира не отошел от битвы. Пока новый Владыка Моря...

Где он, к слову?

Сидит, устало ссутулив плечи, на границе берега и моря. Нет, не смотрится в воду — просто, кажется, не в силах подняться. Трогает свою покалеченную кифару. Жадно вбирает глазами бегущую к нему Геру.

Улыбается — нерадостно, просто чтобы ей показать: нет, всё хорошо, я просто устал, я долго держал, ты прости...

И не замечает, как ставшие бирюзовыми волнами ласково лижут ему ступни — покорными языками.

И осторожно, трепетно кладут рядом с узкой ладонью музыканта блеснувший
адамантом трезубец.

МОНОДИЯ. АНАНКА

Вот судьба — зови её в подмогу,
а всегда отыщется другая.
М. Н. Айзенберг.

— Я убью тебя, — прошептал он. Глядя в чашу — и вино в ней казалось чёрным, будто ледяные, страшные воды. Из вод кто-то смотрел — он? нет?

Не тот, с кем он говорил. Не тот, про кого выдавил искусанными губами в пустоту чертога — «тварь».

Не тот, кому сказал глухо:

— Я найду способ.

Та невесомо рассмеялась за его плечами. Прошептала ласково, как его отцу:

— За что же, маленький Уранид?

Ладони у него казались черными — будто обожженными роковым пророчеством. Тем самым — рокотавшим в крови, отдающимся тяжестью в желудке — будто камень проглотил, до воя просившимся наружу — «Сын, сын, сын...»

— Потому что ты солгала. Ты сказала — попроси, и стану такой, какой пожелаю. Разве я мало просил?!

— Да. И получил, что пожелал. Разве ты не хотел, чтобы я даровала тебе выход?

— Это — выход?!

Ярость сорвала его с места. Стены расшатала — чуть в пляс не пустились, обезумев от горя. А обожженные пророчеством пальцы Повелителя Времени сжимали обрывок детской пеленки — клочок, будто на память...

О единственном выходе. Нашептанном судьбой. И самом страшном.

— Лгунья. На самом деле есть лишь твоё желание, так? Твой свиток, твои строки. И мы. Из которых ты куешь оружие — одно за другим, друг другу на смену. Ненасытная дрянь.

— Каждый защищает как может, маленький Уранид. Ты собрался убивать меня за то, какая я есть?

— Не собрался. Я убью тебя. И не за это. Каждый защищает, как может. Я убью тебя за то, что ты сделала с моим отцом — из которого сковала лук. Со мной — из которого сковала копье... За то, что ты собиралась сделать с моим сыном. Из которого ты никогда ничего не выкуешь. И я убью тебя не только для себя. Для всех. Потому что над миром и над богами не может стоять кровожадная дрянь по имени Неотвратимость. Потому что все пути, которые ты предлагаешь, ведут в ничто.

— И что ты будешь делать тогда, маленький Уранид? После того, как достигнешь желаемого? Когда Ананки не станет — и мир рухнет в чистый Хаос?

— Хаос милосерднее тебя, ненасытная тварь. И правдивее. Кто знает — может, из этого хаоса поднимется новая вера. Новые поколения. Иная судьба. И иная надежда...

Дальше она не слушает — смеется, уходя из-за его плеч. Умолкая и оставляя на прощание о себе смех победительницы. Смеётся тихим, едким, доводящим до безумия смехом. Хранящим в себе самую занимательную из сказок: о мальчике, который растет на острове Крит. Которого никогда не глотал отец. Который однажды услышит голос из-за

плеч и станет отличным царем... Владыкой... любимчиком...

Щитом.

Стрелком.

Который начнёт Золотой век. И однажды поймает незащищенной спиной пророчество — то самое, по имени Неотвратимость.

Может, это просто сказка, которую рассказывают каждый раз на новый лад. О черноволосом и острорылом любимчике, который может переписывать чужие судьбы — просто не знает об этом. Который следует шепоту из-за плеч. О горьком признании — «Это... очень... страшные... строки...» — и о не менее горьком прозрении.

О том, как мальчик пытается развернуться и посмотреть своей Судьбе в лицо. Как шепчет в бессилии: «Я убью тебя» — сполна выполнив свое предназначение: убив или защитив.

О том, как мальчик уходит, а его место заступает другой — с широкими плечами, на которых может свободно уместиться любая Судьба. Как этот другой тоже будет сидеть, смотреть в черные ледяные воды — и вести по песку острием своей памяти бесконечную линию воспоминаний.

— Маленький любимчик, — говорит она лицам в воде, — это круг. Закон. Единственно возможный и единственно справедливый. Год пожирает год. Сын убивает отца. Поколения умирают, чтобы на их прахе выросли иные поколения. Так вращается веретено, на котором держится ось этого мира. Нити ложатся поверх друг друга. Это Неотвратимость, маленький любимчик.

В черных водах не поймешь — много лиц? Одно? Проступают друг над другом, схожие — и чуть-чуть разные — как сказки с одной концовкой. Любимчик-Уран, и любимчик-Крон, и Алкионей вот щурится — тоже любимчик...

Но шепчут лишь губы одного:

— Значит, и над тобой властна эта Неотвратимость? Что ляжет поверх твоей нити в этом свитке?

— Маленький Кронид, — хочет она прошептать нежно, — у Ананки не может быть Ананки, это глупо. У меня не Судьба. Предназначение. Ты ведь знаком с теми, у кого есть только предназначение?

Смех не идет наружу, голос застревает в груди. Оттуда, из черных вод, смотрит что-то лишнее, чужеродное. Нелюбимый муж любимой жены. Брат без сестер и братьев. Гостеприимный, Запирающий Двери... колесничий, воин, дурак и вор. Смотрит — как в зеркало, невидяще и устало, рассказывает какую-то совсем другую сказку. О душной утробе Крона, трех клятвах над пропастью, добровольно взятом жребии, двух нитях над двумя пропастями, о...

И сказка эта кажется успокаивающей и правильной, и хочется — чтобы пошло именно так. Потому что если этот, в воде, перед ней — щит, то где же другой?! И что же тогда — другой?!

И холодок по коже отзывается едким, холодным, доводящим до безумия смехом за плечами.

Пальцы — тонкие. Не поймешь — девичьи? Старушечьи? Сощуришься, взглянешь: и морщин нет, и кожа — загорелая и без изъянов будто бы... Может только — загорела малость. Не очень-то оно легко — ось мира всё-таки вращать.

Потому что пальцы — тонкие, а веретено — будь здоров. Приходится вращать с

усилием, стискивать-прижимать. Вперёд толкать. Чтобы вернее и ровнее легла единая нить — та, которая из тысячи нитей собрана. Соткана, сплетена дочерями в сером доме на Олимпе — и вот сюда приходит, требует внимания: то разлохматится, то провиснет... А то вдруг появится дурной какой герой — со всё той же одержимостью: что судьбы нет и каждый сам вправе торить свой путь.

Каждый раз хочется улыбнуться. Спросить — как это, нет судьбы, когда я здесь? Потрепать по плечу, погрозить пальцем как расшалившемуся сыну: эй, а ну-ка хватит, а то ты мне тут такого в свитке понапишешь...

Хочется — не может. Кому улыбаться, когда никто не хочет посмотреть тебе в лицо? Если к своим собственным дочерям — только со спины?

Потому со взбалмошными героями приходится — иначе. Приходится — разворачивать свиток.

Вечный, ветхий, истрёпанный. Ткань, кажется, сейчас треснет, расползётся... куда ей! Полотно сплелось из той нити, что ложится вокруг веретена. Из нити общих судеб — общее для мира полотно.

Неприглядное, серое. Мешанина букв, слов, строчек: непривычным глазам и не разобрать. Перед привычным взглядом строки разделяются, всплывут поспешно: ярче — то, что будет наверняка, и тусклее — то, чего может еще и не быть; и толпятся там, позади, нелепые, полусмытые призрачные шансы...

Не устанешь смотреть и вчитываться.

Великие деяния — лишь строчки. Божества, перед которыми склоняются поколения — лишь крохотные буквы в древнем, сплошь исписанном свитке, хранящем судьбы мира. Свитку нет дела до мелких смертей и рождений, до браков и незначительных стычек между смертными. В свиток пишется лишь великое: куда идти миру.

Слой за слоем, слой за слоем — десятки будущих напозапят друг на друга, толкаются, проступают — темнее и ярче. Страшные, светлые, обычные — всякие. Те, которых не прочесть и не узнать ни богам, ни смертным.

Но она может, потому что в этом — её предназначение.

Оторвись от древнего веретена, вокруг которого ложатся тесно спряденные в одну мойрами нити истории. Разгладь нестареющими пальцами сотканное из нитей судеб полотно. И письма, послушные предназначению, покажут свою изнанку, шепнут — мы вот, и увидишь, узнаешь... Шагнешь — и посмотришь из-за плеч у того, с кем никогда не стала бы говорить.

Станешь — хоть на миг — его собственной Ананкой.

* * *

— Ну, и куда его понесло?

Коркира. Серый прах без конца и начала. Притихшее, ласковое, удовлетворённое море. Покорной кошкой ластится к коленям нового царя. Новая царица моря обнимает муженька — мешает золото своих волос с его чернью, нашептывает что-то про море и скалы.

Гестия всё пытается зажечь огонек — согреть хоть что-нибудь. Хмурый супруг помогает — как-никак, у него факел.

А спрашивает Арес, и отвечает ему Афина — лицо Мудрости бледно от предчувствий.

— К Мойрам. Он сказал, что к Мойрам.

— Солгал, — не оборачиваясь бросает Гера. Меж бровей у новой Владычицы морской — глубокая морщинка.

— Точно?

— Столько лет в браке — да я этого бешеного как облупленного знаю.

— Литоса узнать сложно, — говорит Афина скупно. — Даже если вдруг думаешь, что узнал — он склонен преподнести сюрпризы. Как с этим серпом...

Осекается дочь Невидимки. Слова будто серпом отрубили — насовсем.

— Вот и я говорю, — продолжает за нее муженек. — Куда это его понесло с этим серпом? У нас тут, вроде бы, война намечается — Флегры, Гиганты... спасибо, конечно, дядюшка на пятки не наступает теперь. Мать, ты говорила — я на отца похож?

Гера кивает, вздыхая.

— Так вот, если бы у меня оказался серп Крона — я бы точно полез на рожон. А он куда отправился?

Секунды накатываются вместе с мерно шумящими волнами моря. Накатят — отхлынут. Затопляют тишиной, полной единства и понимания. И перекрестья взглядов.

Больше всего взглядов с чего-то достается богу смерти.

— Преподнести... сюрпризы, — выплевывает тот. — Делать так, чтобы война не началась.

Чаша переполняется пониманием: Гигантов не брать на Флеграх, никого из них, особенно Алкионея. В материнской колыбели — не брать. Нет, не так.

Пока цела материнская колыбель — не брать...

Понимание пузырится и пенится, проливается вовне словами Афины.

— Он уничтожит Флегры. Сотрет в прах, не дожидаясь — пока война начнётся по-настоящему. Кто знает, может, он сотрет из мира и Гею тоже.

Молчание. Глубокое, траурное, с осознанием перемешано: да уж, кто там знает. Кто знает, на что способен этот Кронид. Клятву Стиксом поломал, меч смерти поломал, теперь вот с Серпом Крона договорился — ох, как бы не пришлось бабушке-Гее от своего внука в глубинах Тартара прятаться!

Да и всем нам остальным заодно.

Предчувствие висит в воздухе — грозою, вот-вот молнией сверкнет. Мечутся взгляды заговорщиков: эй, у нас тут катастрофа намечается. Бешеный Кронид с бешеным Серпом — тут уж он точно мироздание, как глиняный горшок, расколотит. Следов не останется. И он не...

— ...не остановится.

Гере не возражают. Столько лет в браке — да она этого бешеного как облупленного...

А может, просто все видели Климена Странника, когда тот уходил — держа руку на истертой рукояти Серпа. Видели, как Аид невидимка смотрел — как из дальней дали.

Как тот, у которого есть ясное, но страшное предназначение.

Кивает Танат Жестокосердный — этот с некоторых пор знает о предназначениях всё.

— Его нужно остановить.

Три слова — вескими валунами. Припечатали истину — не отвалишь. Гестия вскинулась, глядит на своего муженька со смешной надеждой: остановить! Может, тогда от брата уцелеет хоть что-то... Ну, и от мироздания, конечно. Может, хоть что-то можно будет согреть.

— Позовите Персефону, — хмуро говорит Арес, почесывая бороду. — Она его за ушко

— и домой, значит...

Только вот — где Персефона, кто ее видел? Куда увел царицу подземного мира всевидящий Прометей?

— Я поищу, — тянет руку Гестия. — Расскажу ей.

Афина дарит одобрителный кивок.

— Хорошо. Может статься, Персефона сумеет его удержать... а нам тем временем придется удерживать Гигантов.

Тишь. Тревожно и ласково плещут волны. Предвкушают великую битву — ждут, пока свое слово скажет война.

Война, правда, говорить не торопится: застыла с разинутым ртом. Возмущенно смотрит на свою жену.

— Царица моя — неужто ты от меня нахваталась?! Ну, раз уж ты решила быть неистойвой — побуду мудрым. На Флеграх их не взять, так? А батюшка отправится напрямиком на Флегры. Каким же это мы образом опередим его и удержим Гигантов, если на Флеграх их не взять? Там, как-никак, властвует Гея.

Мудрость улыбается загадочно. Треплет муженька по плечу — не понял разве, неистовый?

— Есть способ сделать так, чтобы Мать-Гея не дала им силы.

И взгляды — железо и бронза, черный и серый, скрещиваются в одной точке.

На берегу, который облизывают ласковые приливные волны.

И ложатся пальцы — тонкие пальцы лучника и музыканта — на трезубец, как на кифару. Волна подкатывается под ладонь, выгибается под ней послушной струной — сыграй любую мелодию, наш избранник, наш Владыка... Мы слышим твою волю.

«Слышш-им... слышш-ш-ш-шим...» — мерно шепчут волны.

Что слышит сам Владыка Морской? Кто там знает. Сидит, не оглядываясь на других заговорщиков. Ласкает дрожащими пальцами воду, серебро тополиных листьев с волн собирает. Говорит не оборачиваясь, тихо:

— Да. Гея не даст им силы.

Только что-то мелодия волн уж слишком переполнена болью и скорбью. Как глаза Афины Мудрой — тревогой.

— Но даже и в этом случае — Гигантов не победить богам. У нас нет войска — новое нам не успеть собрать. И у нас нет лучника.

Звучит тихое ругательство Ареса — перчинка в и без того остром блюде.

Кушайте, не обляпайтесь, заговорщики. Вы, кажется, смертного лучника искали — принести погибель Флеграм? Смертный сделался бессмертным, лучник — мечником. И он собирается принести погибель уже не только Флеграм. Гее... мирозданию... может, вообще всем — если вдруг дрогнет рука и Серп не остановится. Как смерть Гигантам нести будете, заговорщики, а?!

— Можно еще успеть за тем парнишкой, — размышляет Арес. — Учеником отца. Все же стреляет он славно — может получиться. Или какого-нибудь героя добыть?

Афина хмурит брови — сейчас спорить начнет. Мол, где ты найдешь такого героя, чтобы не спятил при виде Флегр? Не делают сейчас таких! Да и где добыть лучника с настолько бестрепетной рукой, чтобы...

— Не нужно искать.

Шепчут волны — или шепчут бледные до синевы губы одного морского?

— Подождать немного. И у вас... у нас... будет лучник. Смертный... лучник.

Губы изгибаются в болезненной усмешке — тетивую напрягшегося лука.

А волны пробегают по берегу — как пальцы музыканта по струнам кифары. Касаются рук своего Владыки — и длят и длят свою бесконечную песню.

О прекрасной лучнице, однажды встреченной на берегу. О скалах в объятиях моря. О недолгом счастье, прощальном поцелуе, шепоте: «Ты поймешь, я знаю... ты поймешь». Об ответном упрямом молчании — «Я все равно буду ждать тебя, все равно буду петь тебе. Кем бы и какой бы ты ни пришла...

Стрела моя».

Волны поют и поют, и стирают с легкого серого праха, покрывающего берег, чьи-то невесомые следы. Истирают из настоящего образ прекрасной златоволосой... нимфы? Богини?

Волны оставляют одно — полуразмытые отпечатки ног лучницы, которая шагнула в объятия моря. Повернулась, чтобы бросить прощальный строгий взгляд на того, кто остался на берегу.

Отвернулась, изламывая вокруг себя мир. Уходя.

— Куда? — спрашивает Арес Неистовый, чуть шевеля побледневшими губами. — Куда она ушла?!

Море не отвечает ему — просто продолжает свою печальную песню.

У вас будет смертный лучник, — шепчет море горько. Успокойтесь. Будет смертная... лучница.

И смолкает виновато, принимая горький взгляд своего Владыки. Взгляд, который будто хочет проследовать — туда, куда ушла золотоволосая, разящая без спроса стрела.

Пути таких стрел знает разве что Ананка.

* * *

Тишина. Темнота. Неполная, растресканная, будто амфора, сделанная неумелым мастером. По темноте расползаются огненные трещины — далекие отблески притоков Флегетона.

Каменная тропа, ведущая к ненасытной, распахнутой настезь Тартарской пасти. Без ворот — Посейдон или Мом, пока правили, не догадались хотя бы чем-то прикрыть зев черного небытия. Оттого здесь, у мягко журчащей ледяной речки, легко можно различить вечный голод — сочащийся, струящийся из бездны.

Больше ничего различить нельзя.

Раньше из Тартара долетали крики. Задушенные проклятия. Обещания мести. Временами что-то, тяжело сопя, ворочалось внутри. Или, царапая небытие скрюченными пальцами, пыталось вырваться, проломиться — и тогда вступали стражи-Гекатонхейры, охраняющие вечную черную глотку. Глотку затыкали — в триста рук. Внутри ревело и бесновалось, а потом стихало...

Теперь вот и вовсе царит тишина. Обманчивая, вязкая, настороженная. Пропитанная ожиданием.

Встань за спиной у очередного бессмертного, взгляни глазами только его Ананки — и услышишь эту нехорошую тишину, и тихое сонное сипение из дворца Великой Нюкты, и недоуменное поскуливание брошенного кем-то пса...

Только из-за чьих плеч смотреть? Чьей Ананкой становиться? Ананка никогда не стояла за этой спиной. Ни за одной... из трёх спин.

Чудовищам Судьбы не положено — предназначение.

Поэтому Ананка скользит за другую спину. Той, чьи лёгкие шаги тревожат тишину. Чужеродно отдаются на тропе близ Тартара. Ананка шагает за плечо, по которому рассыпались золотистые локоны, и щурится, и пытается узнать: нимфа? Богиня? Какие-то незнакомые строки — наплывают, глушат... пожираются решимостью.

Но слова остаются — и Судьба легко вбирает в себя шепот, насмешливый и полный ложного почтения. Видит, как поблёскивают браслеты из кровавых камней и серебра — на шести запястьях.

— Не ошиблась ли ты миром, царица моря? Ты спустилась не в те глубины.

— Спустилась... в те, — небрежно отвечает царица.

— Тогда, может, встретила не ту?

— И здесь я не промахнулась.

— Да, — шелестит невеселый смешок. — Олимпийцы не любят промахиваться. Чего же ты хочешь, царица?

Мишень дразнит, уклоняется, уходит — три тела размываются, истекают таинственным туманом глаза под тремя вуалями. Но оперенные уверенностью слова летят беспощадно метко.

— Мне нужно убить сажены Матери-Геи.

Смешок плавно ложится в черные, ледяные волны маленькой речки.

— У них крепкие корни. Пока они держатся ими за землю...

— Они не будут держаться. Их корни подточит морская вода. Но даже после этого...

— Да. Даже после этого...

Сливаются, переливаются голоса — где голос подземной чаровницы? Где — златоволосой богини олимпийской?

— Даже после этого их не взять богу. Лишь тому, кто отличен от него. Смертному. Или чудовищу.

— Неужто ты пришла искать лучников среди тварей стигийских болот? Поостерегись, царица морская — не все стигийские хорошо стреляют...

— Но хорошо стреляю — я.

Тартарская бездна нервно тянется поближе — желает насытиться звуками тихого, ядовитого смеха.

— Не возжелала ли ты стать чудовищем, Гера?

— Нет.

Молчание. За молчанием робко прячет свое лицо следующий вопрос. Следующий ответ — тоже тонет в молчании: чуть двинувшийся вниз подбородок. *Да, Трехтелая, ты поняла верно.*

И Ананка-Судьба хмурится за плечами Геры Олимпийской — что-то ей не помнятся такие строки.

Влажный смешок порхает над ледяными водами Амелета.

— Лисса говорила как-то — ты добра к ней. Даже хотела идти к тебе в служанки... почему бы это, царица морская? Мудрецы говорят — богу не стать смертным. Можно раздробить свою сущность, утопить ее в своей же стихии, можно принять облик смертного — но стать...

— Мудрецы много чего говорят. Зато мало что видят, даже у себя под носом. Я знаю одного бога, который стал смертным. Потом снова стал богом. Я знаю чудовище, которое наплевало на свою сущность. И стало богом. Мы все здесь оборотни. Все становимся тем, кем хотим стать.

Кровавые блики неспешно переползают по тонким пальцам чаровницы — отсветы от камней. Щурятся глаза под вуалями.

— Аид... нарушил клятву Стиксом и получил смертность как кару. Не собираешься ли ты окупиться в Стикс вслед за мужем?

— Я не могу ждать смертности девять лет. Мне она нужна сейчас.

Геката цокает языком, головами качает — ничего себе, запросы у олимпийцев! Смертность ей... вынь да положь! Где, спрашивается, взять такой ценный товар?!

А златоволосая... кто она там? Нимфа? Богиня? Златоволосая отворачивается от пронизывающих взглядов из-под вуалей. Неспешно делает шаг к невинно журчащей маленькой, ледяной речке — притоку Стикса, берущему своё начало от ключа возле Тартара.

— Один морской как-то пел мне... — говорит, задумчиво вглядываясь в ядовитые воды. — О нимфе, которая шла вдоль ядовитой речки. Которой захотелось пить — и она погрузила в речку ладонь, и выпила. Песня была с печальным концом.

— Только песня, — шелестит позади голос, — я не знаю нимфы, которая поступила бы так.

— Да. Но есть богиня, которая напоила из этой речки отца. Скажи мне, Трехтелая, что воды Амелета сделали с бессмертным титаном Персом?

— Кто там знает, — отравленной стрелой летит навстречу смешок. — Кажется, они ослабили его. И он не смог сопротивляться голоду Тартара... Не хочешь ли у Тартара спросить?

— Нет. Потому что спрашиваю у тебя. Что сделают эти воды с богиней?

— Кто знает. Ослабят. Или вовсе не причинят вреда. Амелет прихотлив. И до сих пор никто не решился проверить нрав Реки Крона добровольно, дочь Геи...

— Потому что она отнимает у тебя время. Нимфа умрет от старости. Титан ощутит слабость — когда время начнет ускользать от него. Но если поток сделает кто-то из бессмертных, кто *хочет*...

— У тебя ничего не получится, морская царица.

— Почему?

— Потому что ни один бессмертный не хочет смертности по-настоящему.

Вздых пролетает над ядовитыми водами — тройной, тяжкий, не таинственный. Говорящий яснее ясного: трехтелая чаровница не просто так стоит здесь и разговаривает.

Факелы готовы к бою, в колеснице шипят и извиваются крылатые змеи, а свита стигийских волков вот-вот поднимется на крыло — в последнюю охоту.

Безумцы, собравшиеся идти войной на Флегры, не сдержат наступление Гигантов. И даже если самый главный безумец решится использовать Серп — может остаться один Гигант. Который шагнет в подземный мир — чтобы поднять титанов из бездны.

И кому-то нужно будет защищать обнаженный, беззащитный вход.

Если бы всё было так просто, — говорит взгляд Прополос там, под каждой вуалью. Так просто, как ты представляешь это себе. Кучка безумцев, решивших выйти в бой. Против всех — саженцев матери-Геи и любимца Ананки, который решил взглянуть своей судьбе лицо. Богиня, выпившая из Амелета и обретшая смертность. Если бы все было так просто, дочь

Геи — я силой пихнула бы тебя к этой реке. В горло ледяную воду тебе влила бы.

Только вот это бесполезно. Потому что воды Амелета ослабят тебя. Остановят тебя. Но не дадут желанной смертности.

Потому что ни один бессмертный не знает — как это. Желать смертности по-настоящему.

— Чтобы переломить себя... пожелать смертности... нужно чтобы у тебя было что-то, что выше бессмертия. Нужна... грань. Ступень. Осознание, что готов разменять за что-то божественную сущность на...

Кивок уходит туда, где скитаются, вдыхая утешительный аромат асфоделей, сонмища теней.

— Богам такое не под силу.

Щурится подземная чародейка — кажется, тьма подземного мира решила и ее обмануть. Это что там — улыбка на лице у Геры?!

И Судьба из-за плеч тоже щурится. Всё не может различить: это кто стоит на берегу Кроновой речки. Богиня — или всё-таки...

— Да. Богам не под силу. А смертным?

Молчит Прополос. Кольшутся вуали над тремя удивлёнными лицами.

А золотоволосая делает шаг к ядовитой воде. Натянутая, будто тетива гибкого лука. Губы приоткрываются — выпускают первую стрелу:

— Мой муж.

Слово расплескивается шумом отдаленных волн, отдается далекой мелодией кифары. И дает силы идти.

Еще один шаг. Мирное журчание ядовитой речки — раньше в нее никогда не падали стрелы-слова.

Беспощадные, меткие, отчаянные.

— Мой сын.

В слове — веселый и бесшабашный свист копья, и перестук копыт лошадей, и летящая квадрига... И решимость двигаться дальше.

Ещё один шаг. Шаг — будто по лезвию меча. По дрожащей от предыдущего выстрела тугой тетиве.

По грани.

— Мой брат.

За словом — темная, глухая неизвестность. Невидимость. И намерение защитить во что бы то ни стало.

И смертность.

Последний шаг.

И дрожит ядовитая вода в русле — будто надеется сбежать от последней стрелы, после которой не будет пути назад...

— Мой мир.

Тишина. Темнота. На берегу безобидной с виду речушки застыла Трехтелая Геката — забыв о ядовитых усмешечках, обворожительном шепоте, коварных взглядах... Глаза Гекаты закрыты — так, будто подземная чаровница не хочет видеть кого-то... что-то... Так, будто для Указующей Пути есть дороги, о которых не желаешь знать.

Жалобно бурлит Амелет — ему привиделся сон о теплой ладони, коснувшейся ледяных вод. Привиделась песня о нимфе, которая шла по берегу, а потом ей вдруг так захотелось

пить...

Раньше таких снов не было.

Раньше из Кроновой Речки никогда не пили добровольно.

Тишина — вбирающее в себя общее молчание: Гекаты, и Амелета, и недалекого Тартара — кажется, и он с чего-то онемел... И той, что уходит из подземного мира — не изламывая его вокруг себя, а просто так, пешком...

Сжимая в побелевших пальцах деревянное тело славного лука.

И задыхается за плечами у златоволосой лучницы Судьба — захлёбывается глотком ледяной смертности.

* * *

Чаша дрогнула. Накренилась в пальцах, расплескивая на плиты вино. Потом учуяла свободу — рванулась и совершила коварный побег. Заскакала по камню, довольная — аж искры высекла.

Хозяин чаши, посланник богов Гермес, этот побег не пресёк.

Гермес изображал каменную статую — будто поймал взгляд неистового чудовища. Объявилась, говорят, какая-то Медуза — только и делает, что в камень всех подряд превращает... Вот и бог сна, видимо, угодил под такой взгляд: окаменел, воздев руку с пестиком. Рот приоткрыт — только вот слова не торопятся вылетать. Боятся, видимо, перебить рассказчика.

Оно и понятно — не каждый день в роли рассказчика выступает Танат Жестокосердный.

И не каждый год рассказ начинается с фразы: «Война началась».

А после первой фразы падают другие: Аполлон мёртв, Зевса поглотил Стикс, Мом лопнул. У моря новый правитель. Аид скоро шагнет на Флегры с Серпом Крона — и заговорщики собираются его опередить...

— У-у-убить Гигантов? — тихонько уточняет Гермес.

Танат Жестокосердный отвечает коротким кивком. Будничным. Как будто нет ничего легче — убить Гигантов, остановить Кронида, у которого в руках — Серп Крона...

И смотрит серыми глазами — приказывая спрашивать. И Судьба осторожно пытается уместиться за плечами нового бога смерти — как-то странно, неудобно, будто крылья мешают... Только ведь никаких крыльев за спиной Железносердного нет?

Гермес, посланник богов, морщит лоб. Отчаянно пытается собрать мысленно мир — рассыпавшийся на мелкие осколки. И губы его шепчут невозможное, неправильное для него: «Нет, постой... слишком быстро, подожди...»

Да, кивает Ананка — теперь уже из-за плеч Гермеса, где она обосновалась надёжно, основательно. Понимаю тебя, озорник и посланник богов. Это все слишком стремительно даже для тебя. Новостей слишком много. Даже для тебя. Это всё... слишком.

Для кого угодно.

Стикс застыла в соседнем кресле — задумчиво склонила голову, не поднимает взгляд. Дионис припал к меху со своим вином — от таких новостей захлебнуться впору.

Белокрылый Гипнос сидит, выпрямившись. Белые пальцы подрагивают на пестике — только что-то не слышно аромата мака, да и звука вечных ударов по каменной чаше — нет.

И он тоже шепчет невозможное. Для себя самого.

— Брат, — вышептывают побледневшие губы бога сна. — У тебя нет меча, брат. Как ты собираешься... тебе же нельзя вмешиваться!

Пальцы Таната запоздало взлетают к поясу, где теперь — пустота.

— Одолжу у Афины. Или у Ареса. Мечей всегда достаточно — было бы желание вмешаться.

Тихо хмыкает Стикс со своего места — ледяная, как воды ее реки.

— Ты отнял у меня клятвопреступника, Железносердный.

Приглушенно ахает Гипнос. Сталкиваются взгляды — подземного и подземной. Холод ледяных, страшных вод — против лезвия переломанного, но все еще острого меча.

— Да.

— Своим решением ты даровал ему бессмертие, хотя кара смертностью должна была длиться еще девять лет.

Молчаливый кивок — кто будет спорить с воплощением подземного правосудия.

Подземное правосудие, правда, не так уж сурово. Вон, усмехается краем губ. Шепчет:

— Молодец.

И по чертогу опять раскатывается стук — на сей раз грохочет пестик, выпавший из ослабевших пальцев Гипноса.

А Стикс устраивается в кресле поудобнее. Щурится насмешливо. И запускает первое копьё вопроса — раз уж больше никто ни в состоянии спрашивать.

— Сколько же у вас есть воинов, чтобы сразиться с Гигантами?

— Пять.

— Их же... — выдавливает из себя всё знающий Гермес. — Гигантов же полсотни?!

Безмолвный кивок. Бульканье, хрип, насадный кашель. Это Дионис в углу поперхнулся вином.

— Безумцы, — говорит Стикс ровно, без обвинения. — Вы собрались шагнуть на Флегры. Отсечь силу Геи с помощью нового морского царя — этого мальчика-кифареда... И что вы сделаете потом? Кто принесет смертность выплодкам Геи?

— Гера.

Жмурится, как от боли, Гипнос. Как тот, кто что-то понял — и отчаянно хочет не понять...

— Она же богиня, — хрипло шепчет он. — Гера — богиня, не смертная. Какая смертность, о чем... Ты говоришь — Аполлон мертв. Но он бог. Говоришь — Мом лопнул. Но и он бессмертен. Ты говоришь...

Замирает шепот в горле у бога сна. Перестает летать по залу — сжигается огнем от факела, возникшего в руках у нового бога смерти.

— Я говорю — мы все здесь оборотни.

За кривой усмешкой Таната — лишенной веселья, неумелой, будто удар ребенка, едва научившегося держать клинок — слишком много всего. Аполлон, встретивший смерть. Мом, столкнувшийся с небытием. Чудовище, ставшее богом, и богиня — смертной... и бог — чудовищем.

И Ананка-Судьба, в агонии издыхающая среди выкошенного чьей-то рукой сада Матери-Геи...

И горстка безумцев, собирающаяся этому помешать. Бог моря. Богиня мудрости и бог войны. Бог смерти и смертная лучница.

Готовые шагнуть в жерло войны. Показать: Гигантов можно победить не только при

помощи Серпа Крона. Остановить собственного предводителя — чтобы не пришло время для крайнего средства...

— К чему? — пожимает плечами Стикс. — Я знаю, зачем ты собрал нас, Железносердный. Ты хочешь, чтобы мы стали твоими глашатаями в своих мирах. Позвали бы и остальных на Флегры. На безнадежную битву. А я говорю — к чему? Ты мечник, Эребид. Даже с расколотым мечом — мечник. Ты знаешь, как трудно отвести удар, когда он уже занесен. Почему вы не хотите, чтобы это лезвие опустилось?

Взгляды подземной и подземного вяжут цепь. Тонкую, нерушимую цепочку понимания.

— Ты знаешь, кого он собирается убить по-настоящему.

— Знаю, Эребид. У меня ее нет.

— Ты знаешь, что может случиться после того, как она умрет?

— Если она умрет для всех и каждого, — мягко звучит в ответ, — у всех в мире может остаться лишь предназначение.

И Стикс, под недоумевающими взглядами Гипноса, Гермеса и Диониса, встает напротив бога смерти с кресла. Будто воин — напротив воина.

— Этого хотел Крон, — говорит с мимолетной, режущей усмешкой. — На самом деле. Чтобы осталась для всех лишь абсолютная ясность. Кристальная и неизменяемая. Чтобы ничего нельзя было переписать. Чтобы у всех было лишь предназначение. Как у твоего брата. Или как у твоей матери. Разве ты не хочешь того же, сын Эреба?

— Нет.

И Судьба, пытающаяся влезть туда — за широкие плечи бога смерти, усмехается одобрительно. Кивает — так, так, скажи же ей, Танат Огненосный — скажи, что ни для кого ты не хочешь предназначения, ибо сам видел, что это такое. Что у тебя жена — богиня, и ты не хочешь, чтобы она стала чудовищем. Что тебе претит видеть все миры, похожими на твой мир — наполненными чудовищами от края до края.

— Предназначение не значит ничего, ибо его можно сломать, — звучит в ответ. — Оно — лишь вид Судьбы. Отличный от самой судьбы, как застывшее лезвие отличается от раскаленного металла. Но и лезвие можно переписать. Перековать. Гибель Ананки может породить Хаос. Или... ты знаешь, о великая. Вселенная не терпит пустоты. И тот, кто побеждает, приходит на место того, кого побеждают.

— Это круг, — говорит Стикс, на глазах облекаясь в темные, тускло отсвечивающие доспехи. — Победитель занимает трон проигравшего. Почему ты думаешь, что ему не место на троне... той?

— Потому что он не хочет этого. Потому что не готов к этому. Потому что у моего брата уже есть трон. Трон подземного мира.

Копье, гладкое и водное, вырастает из пальцев Стикс. Бьётся о пол — с тяжким гулом. Наконечником смотрит в потолок.

— Это хороший ответ, Эребид. Значит, вы идете туда спасти не Ананку? И не мироздание, которое может попасть под Серп Крона?

Они словно меняются усмешками: на лице Стикс — кривая, неумелая. На лице Таната — острая, колкая, ледяная.

— Я плохо знаком с Ананкой. И того хуже — с мирозданием. С Невидимкой знаком получше.

— И что скажешь мне о нем, Железносердный?

— Если ты со мной — нужно спешить.

Тихий смех — будто шорох вязких приливных волн. Повелительный жест Стикс на прощание — к остающимся. Слышали? Вам быть вестниками на Олимпе и в подземном мире. Скажите это богам и чудовищам.

Скажите им, что настало время сжинать плоды. И саженцы матери-Геи становятся — от земли до неба, во весь рост. И изогнутое лезвие страшного меча — клинка Времени — нависает над миром, над Ананкой, надо всем и вся. Готовое остановить войну.

А горстка безумцев жаждет войну развязать.

Слышите, вы?! Гипнос, и Дионис, и бледный Гермес? Скажите олимпийцам. Богам Подземным. Что час пришел, и боги не воюют в обороне. Что пять... уже шесть безумцев собираются одолеть Гигантов своими силами.

Чтобы не дать седьмому безумцу сделать последнюю глупость.

Скажите им: бог смерти, который переломил свой клинок, зовет вас взяться за оружие.

И сразиться за то, чтобы в этом мире осталась Судьба.

Дрянная и лживая. С призрачной иллюзией выбора. Но хоть какая-то — Судьба.

Сражаться не на Олимпе, в обороне. В пепле, на Флеграх — против саженцев матушки Геи, бок о бок с бывшим чудовищем, бывшей богиней, бывшей мудростью, бывшим богом войны и бывшим кифаредом.

Скажите им, чтобы решали. Только пусть не вопрошают Ананку.

Потому что она молчит сейчас там, у всех за плечами.

Потому что сама не знает — есть ли у нее в свитке такие строки.

* * *

Спины и плечи бывают разные — Судьба об этом знает лучше других. Есть такие — на них врата Тартара положить можно: выдержат, устоят. Есть — хилые: только черкнет дочь-Мойра крохотное испытание — уже и согнулись. Есть спины гибкие — нипочем не скажешь, что выдержат: гнутся, гнутся... Ан нет, опять распрямляются!

За некоторыми хорошо прятаться.

За некоторыми спинами с опаской становится даже Ананка-Судьба.

Вползает тихо, на цыпочках — вдруг услышит? Вроде бы, и спина не особенно страшная: гордая, прямая с женскими трогательными лопатками. И плечи — покатые, изящные, по ним кудри цвета меди разбросались.

А только вот...

Не каждый обладатель спины заявляет: я хочу убить Ананку. Не к каждому приходит Прометей Провидящий. Не каждого ведет за собой долгими, тайными тропами и проходами — сперва божественными, потом на колеснице. Ведет, жмуря голубые глаза, будто отмахиваясь от провидения, которое так и норовит влезть под веки. Наконец доводит до дома — обычного с виду, добротного, из светлых деревянных бревен.

Судьба с опаской переступает порог. С недоверием обшаривает глазами комнату, которую много раз видела из-за других плеч — то светлоусого Япета, то его сыновей, то невестки его — капризной Пандоры...

Дымит очаг — в нем живет прихотливое оранжевое пламя. Сидит на грубо сколоченном стуле медовоусый вещий Япет — вон как пристально уставился.

А на столе перед ним стоит тяжелый пифос — крышка пополам расколота, будто кто-то неосторожный заглянул да небрежно на место кинул...

Титан же смотрит на вошедшую... кто там знает, может быть, и на что-то за ее плечами.

— Что ты видишь? — спрашивает та, которая перешагнула этот порог первой.

— Не спрашивай меня, дочь Деметры, — звучит тихий ответ. Титан со стоном вытягивается на стуле. — Это слишком страшные строки.

Дочь Деметры покорно не спрашивает — потому что вместо отца начинает говорить Прометей. Что он не видит больше будущего — только настоящее, и это настоящее страшнее любого будущего, какое может быть.

В нем — безумный ощер Серпа Крона — и такая же безумная улыбка смертного, который познал бессмертие. И бессмертного, узнавшего смерть.

В нем сплетаются, сливаются воедино две фигуры в бою, в вечном поединке, и кажется, что у фигур одно лицо, и ясно, что кто-то падет — неотвратно...

В нем ступают на Флегры меч и факел, стрела и кифара, дротик и тяжелое копье, и алые строки кровью оплывают в небесах над ними, перекручивая, искривляя собственные строки.

И над всем этим кричит, умирая, Судьба.

На самом деле Судьба смеется — прямо сейчас, из-за плеч рыжеволосой богини, куда она вошла с такой опаской. Смеется тихим, ядовитым смехом — знающей многое над знающими ничего...

Потому что Судьбу просто так не убить.

— Никто из них не сможет убить Судьбу — потому что всё написано в её свитке, — шепчут белые губы титана. — Погибнет Аид или Алкионей. Или даже Флегры. Или даже всё... её свиток уцелеет.

— Мой муж найдет способ сжечь его, — звучит непоколебимый ответ.

— Нет, — шепчут в ответ губы пророка, — он лишь сотрет все строки до единой. Ось — это трон, который никогда не остается пустым. Над богами, над небом — над всем должно быть что-то. Рука. Правление. Даже если они сотрут ее для себя... убьют ее для себя... для иных она останется.

— И ты боишься, — говорит зеленоглазая. Которая, кажется, забыла — что такое страх. Может быть, потеряла, пока кто-то смертный бился в агонии на ее руках, истекая кровью из горла.

— Я боюсь. Потому что вещим дано видеть лишь самые яркие нити Мойр... самые яркие нити в свитке судьбы. Если же мы не видим будущего...

Молчит Япет — в молчании безысходность. И Прометей молчит, понутив голову — за ним упрямство. И царица подземная тоже молчит — смеется только одна Ананка.

Потому что в ее свитке написано всё. И Судьбу просто так не убить.

— На что же вы ставите? — тихо выговаривает наконец Персефона. — На то, что не станет вас? Не станет всех бессмертных? Родится новая Судьба в небесах? Или новая вера?

И кивает, читая в глазах оставшихся титанов — время любых ставок прошло. Осталось только надеяться.

— Мы подсказали Зевсу исподволь, — говорит Япет, тяжело поднимаясь. — Думали оправдаться — ведь он не гневался бы, если бы ее выпустило его творение.

Его творение — Пандора — стоит тут же, в дверном проеме. Кривит губы — сейчас ка-а-ак разразится: «Ну и что, разочек, что ли, посмотреть нельзя было? И вообще, я только тронула эту крышку — а оно как полетит!»

— Но она не вышла, — устало говорит титан Япет. — И она молчала. Пока не назвала имя.

Царица подземного мира кивает — верно, верно. Я знаю, чье имя назвала та, которая там.

Делает шаг. Скользит всё ближе, ближе, будто зачарованная музыкой змея. Не замечая, как отворачивается и выходит из собственного покоя вещей Япет, как, вздыхая, подается в другую дверь Прометей, как оттаскивает Эпиметей от дверного проёма свою любопытную женушку...

Пальцы скользят по теплой глине — будто внутри пифоса живёт трепетливое, горячее сердце.

Кому говорить с мертвыми — как не царице подземного мира. Кому воскрешать увядшее — как не богине весны?

Голос изнутри кажется надтреснутым — будто трутся друг о друга глиняные чешуйки. Будто шепчет — узница — сломленная... состарившая до поры.

— ...была красавицей, как ты... любила огни вот зажигать, цветы выращивать... танцевать на лужайках... А с сестрой... мы с ней должны были сменять друг друга. Сменять... опровергая и дополняя... Как Ночь и День. Хаос и Гармония. Смерть и жизнь... Только ей было мало. Она говорила — слишком много Хаоса во мне. Она боялась — вдруг я забеременею новой верой... И тогда она лишила меня силы. Она...

— Лишила тебя тела, — шепчет Персефона, и шепот оборачивается давним знанием: когда бессмертного — пусть даже того, кто древнее титанов — лишают тела, он может лишь спать... почти не заговаривает... и он бессилён.

— Лишила меня тела — и меня не стало в этом мире. Остались... части, — сухой шепот тревожно царапает сердце. — Но и части меня были убиты её слугами. Её... любимчиками.

Там, под глиной пифоса колотится всё реже и реже. То, что было подобрано однажды игравшим на берегу моря Прометеем. Было спрятано его осмотрительным отцом — под грудой болезней и бед, чтобы не заметили посланцы Ананки.

Последняя часть, не ушедшая из этого мира.

— Лишь отголоски мои в этом мире... — тихо, угасающе стучит там, под пальцами. И вспоминается давний сон, и над пифосом на миг встает изглоданная, измученная тень с язвами на ногах. Беспомощно тянет руки, шепчет: мне холодно, мне холодно, так холодно...

— Ей же холодно!

Когда маленькая богиня успела выйти из пламени очага? Когда успела прислушаться — к тому бессильному, что таится там, за стенками пифоса? Теперь вот шепчет возмущенно, что как же так... ее же нужно согреть, а то она совсем погибнет...

— И вообще, я тебя ищу, а то там брат... с Серпом этим... на Флегры... тебе нужно скорее туда, иди же! А я тут...

И хлопчет, и зачарованно смотрит на пифос, в котором будто бьется пойманная, замерзшая птица — хочет на волю, только вот страшно, озябли крылья...

Кажется — маленькая богиня забыла обо всем. Готова прижать пифос к груди, вновь шагнуть в пламя очага.

Да, да, — кивает Ананка за плечами. — Это очень правильные строки. Так написано во множестве вариантов: ты шагаешь в очаг, маленькая богиня. Раздираешь свою сущность, распыляешь ее — и божественную силу отдаешь тому, что притаилось внутри очага. И оно тоже распыляется и раздирается — на тысячи, миллионы очагов, и входит в каждый дом смертных. Так, маленькая богиня. Я умру для тебя — так написано в нашем с тобою свитке. Ибо твое воплощение отныне будет для меня чуждо... Но это ничего — потому что и над

очагами будет стоять Ананка Неотвратимость. Потому что меня не убить теплом в очагах.

Ананка даже напрягается — как перед прыжком, будто собирается в пламя вслед за рыжеволосой богиней.

— Стой, Гестия.

Они останавливаются обе — и обе смотрят с одинаковым недоумением.

— У тебя есть муж. И потому ты сейчас должна уйти.

— Но... а она?

«Но... а строки?» — шепчет Ананка из-за плеч рыжеволосой богини.

— Назвала не твое имя.

Губы Персефоны трогает улыбка. Легкая — такая, которой пугается не только Гестия.

— Но... у тебя же тоже муж. И он... сделает такое, что...

Гестия пугливо жестикулирует. Пытается изобразить — там, на Флеграх, будет что-то страшное, и потому туда должна идти ты. Пока не началась... вечная зима для всего и вся. После которой ничего нельзя будет согреть.

Твоя судьба — стать рядом с ним, остановить его руку, а моя — прижать к груди этот кувшин и шагнуть в пламя...

Только вот медноволосая царица, игриво улыбаясь, меняет судьбы местами. Раз-два — и наклоняется к жене смерти, кладет ей руку на плечо и шепчет:

— Да. У меня там муж. А муж и жена — единое целое. Как день и ночь. Хаос и Гармония. Смерть и жизнь.

Умолкает — а отзвуки голоса продолжают биться там, под древней глиной. Выстукивают — замирающим сердцем.

Лук... и стрела.

Зима и весна.

Судьба и...

Погасают отзвуки — словно испугавшись Ананки, которая пока еще жива и царствует в покое.

Которая шепчет — будто бы губами маленькой рыжеволосой богини.

— Я не понимаю...

— Иди, — отвечает ей царица подземного мира. — Иди, грей. Я тоже буду греть. По-своему.

И маленькая блаженная подчиняется несокрушимой воле в голосе у Персефоны. Торопится на Флегры, бросая на прощание через плечо пугливый взгляд. На пифос. Потом в огонь. Потом на Персефону.

Будто одно теперь предназначено для второго, и все вместе — для третьего. Будто можно — только и только так...

— Ты... думаешь, это твоя Судьба? Да?

Персефона не отвечает. Садится возле пифоса на стул, с которого незадолго до этого поднялся вещий, осмотрительный Япет. С усмешкой смотрит вслед Гестии, жене смерти.

А в очаг, на огонь, почему-то совсем не смотрит. Будто вовсе не собирается туда шагать.

Будто знает другой способ. Или другие строки.

Только пальцы выписывают что-то по испещренной трещинами глине сосуда — прощание? Нет, рисуют что-то наподобие едкой, страшной улыбки.

Или серпа.

Губы же шепчут совсем другое.

— Нет, я не думаю, что это моя Судьба. Я... надеюсь на иное.

И словно от этих слов трещины под пальцами царица подземной становятся всё шире, шире...

Вот только Ананка-Судьба не видит того, что открывается в этих трещинах.

У Ананки Судьбы больше нет времени. Она слепнет, отворачивается — и стремится прочь.

На Флегры. К своему любимчику.

* * *

Ананка не умеет улыбаться. Улыбка несёт в себе то, чего она не приемлет: обещание лучшего. Тепло, свет. Неуловимое обещание — всё будет хорошо...

Судьба, вращающая ось мира, сотканную из миллионов иных судеб, знающая всё о неотвратимости, точно осознаёт: хорошо уж никак не будет. Всё будет... как следует.

Потому она умеет усмехаться, ухмыляться, дарить насмешливые смешки из-за плеч — своим любимчикам. Заливаться зловещим хохотом, хихикать и хмыкать, фыркать и скалиться...

Улыбаются легкомысленные глупцы, у которых остается надежда.

Ананка же стремится надежду убить. Во всех и всегда.

Особенно — в тех, кого выбирает избранниками.

— *Мне рассказать тебе сказку, маленький Тартарид?*

Фыркнул. Прищурился чёрными глазами туда — на кострища, возле которых весело пировали братья над новой добычей. Откинулся спиной на холодный камень, как на трон, сделал разрешающий жест — слушаем...

— *Вначале был только великий Хаос — бескрайний и всемогущий...*

Старая, бесконечная сказка вьётся ровной, непрерывной нитью, выпрядаемой бережными пальцами. В ней беснуется Уран, свергнутый своим наследником. Крон — свергнутый своим наследником. И еще один — тоже свергнутый своим сыном, тоже пораженный безжалостным пророчеством...

— Как так получилось, а?

Губы острокуюлого юноши складываются в улыбку — он отлично умеет улыбаться, не то что вечная собеседница...

— *Что, маленький Тартарид?*

— Его свергли — и он не в Тартаре. Он потерял трон — и не канул в забвение. Ты говорила — он Владыка?

— *Был. Он был лучшим из Владык Олимпа, а теперь вот...*

Голос Ананки обрывается — словно она не знает продолжения. Бог? Царь?! Чудовище?!

— Ты говоришь — он правит подземным миром. Он — замок для моего отца, который я должен отомкнуть.

В голосе — веселое предвкушение: чего уж легче! Притащится Владыка, ударит своим владычьим оружием — не подозревая о способности Гиганта впитать удар и обратить его против соперника, о способности бить самим соперником... чего уж проще!

— *Да, маленький Тартарид. Но в нем всегда было больше. Больше Владыки. Больше смертного. Больше...*

Осекается Ананка — ловя себя на тревоге в голосе. Непонятно — что и тревожит, колет

мелкими иголочками. То ли это «больше», то ли воспоминание — оружие должно быть одно, верно ведь?! Как же он там дальше говорил, этот Кронид?

— Так почему ты не вмешалась?

Алкионей, Погибель Аида, задумчиво свивает и развивает черные кольца, которые заменяют ему ноги. Весело любит упрямыми мускулами.

— Ты говорила — когда Крон стал копьем над миром, ты испугалась. И вмешалась. И с Ураном тоже. Почему тогда так медлила с ним?

— *Потому что у него все было слишком правильно,* — шелестит едва слышный ответ Ананки. — *Правильно началось. Он так верно шел. Он не пытался возненавидеть свою Судьбу — он принимал ее. Он не пытался... переписать... И мне нечего было бояться.*

Ей не нужно было делать его своим любимчиком, воспитывать согласно своей воле — он сам следовал написанному. Сел на трон, как и задумывалось. Сотворил Золотой век.

Он, правда, выбирал не то, что было написано ярко. Брал самые размытые, почти невидимые строки — как с пророчеством и сыном, которого он отказался глотать.

Потом только вмешалась эта девчонка со своим танцем — и он шагнул не так и не туда, а его наследник тоже спутал нити, но и это было нестрашно, это все было в ее свитке — даже черные воды Стикса...

Тогда она поняла — с этим избранником покончено: Стикс не отпускает. И заговорила с другим — остроскулым и черноглазым, подраставшим на Флеграх лучником...

Потом строки того, другого, пропали. Вырезанные переломанным клинком.

— Его Судьбу не переписывали при рождении. Переписали случайно. Не желая этого. Бог смерти, которому вздумалось из благодарности переломить свой клинок. И теперь он стал — мечом над этим миром, мой маленький Тартарид...

— Меч против стрелы, — он смеется радостно, и его пальцы легко отпускают воображаемую тетиву. — На кого же из нас ты ставишь?

— На тебя, маленький Тартарид. Я всегда ставлю на тебя.

Погибель Аида, юный Алкионей кивает небрежно и гордо — мол, разве мог быть ответ другим?

Не подозревая, что Судьба там, за его спиной, усмехается улыбкой, отдающей желчью и польнью.

Ибо вездесущая Судьба никогда и ни на кого не ставит. Она побеждает в любом случае, потому что победитель все равно выполняет ее волю. И побежденный выполняет ее волю — таков круг жизни...

Может быть так, что лук Урана победит в этой схватке Серп Крона, и Погибель Аида оправдает своё имя — и гиганты воцарятся над миром, пока не придет новый любимчик.

Может быть так, что Серп Крона скажет свое слово — и Алкионей ударит в ответ всей мощью. Ударит — своим противником, и тогда не останется ничего. Ни Аида, ни Алкионей, ни Флегр, ни безумцев, которые собрались развязывать войну.

Может случиться и так, что Кронид сумеет остановить Серп, одолеть свою Погибель... и тогда всё равно убьёт лишь ту Судьбу, которая стоит перед ним — не допрыгнув до настоящей, которая ось мира вращает...

В любом случае — исход один, как бывало при всех битвах.

Пальцы остроскулого лучника тихонько гладят тишину — та напевает, и ее песня похожа на песню Судьбы за плечами.

Это песня о том, что войны на самом деле никогда не заканчиваются. Как сказки.

Потяни — а следом прицепится, потянется, потащится следующая, одна за одной, пока у тебя хватит дыхания... И всегда будут те, кто стал над этим миром — мечом, стрелой, копьем... Будут и те, кого она делает щитом.

Опасные выродки, которые могут переписывать ее свиток и которых она стравливает между собой — и кто-то всегда умирает, а кто-то побеждает до следующего раза...

Не понимая, что на самом деле их победа — то же поражение.

Побеждает всегда Судьба.

Ибо любой ваш шаг — неотвратимость.

Ибо она — в любом ударе и в любой победе.

Ибо она — над всеми.

СКАЗАНИЕ 12. О НЕПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДАХ И УМЕНИИ ПРОМАХИВАТЬСЯ

Я — сто тысяч обличий, и каждое — скалится жутко,
Я — сто тысяч смертей, и никто не узнает пощады.
Я паскудно дерусь. Помнишь, Мечник? Молчите! Минутку!
Подождите меня. Мне вернуться еще будет надо...
Анастасия Порсева

Надеяться умеют дураки. Мудрецы не умеют вовсе.

Мудрые хорошо знают, как глупа и опасна бывает надежда. Коварнее ядовитой змеи: подкрадет, ужалит, породит бессмысленную веру — а вдруг...

Мудрые понимают, что жизнь бессмысленна, упорядоченна и закономерна и всё равно придет к единому итогу.

И только глупцы могут верить в то, что впереди их ждет что-то светлое — когда ждет нас лишь то, что написано.

Ананка-Судьба была мудрой. Ее сестра — нет.

Но иногда мудрые промахиваются. А глупцы дожидаются.

Потому что Ананка несёт — Неотвратимость и предсказуемость, а через это — Гармонию.

А Надежда несёт лучшее и через это — возможность дожидаться.

— Я ничего не знаю о Надежде, — щурятся из воды глаза того, другого. У которого все так неправильно началось и неизвестно чем кончилось. — Только что я убил её однажды.

Там ещё много чего есть, в этом взгляде. Долгий путь — извилистый и иной, и шепот за плечами, и бесконечная линия памяти, которую он чертит острием меча по песку — непохожая на мою линия.

И вопрос. Вечный.

— Ты сам-то уверен в том, что у тебя всё закончилось правильно?

И тогда я пожимаю плечами, улыбаясь усталой улыбкой не мудреца — но воина, дурака и вора.

— Я на это надеюсь.

Возвращаться бывает странно. Из долгих путешествий, где значились Стикс и смертность — бывает тем более удивительно.

Будто воину — с бесконечной войны. Ты дополз, весь израненный, а селение сожжено, и выросли новые дома, и каждый камень старой дороги, на которой известна каждая щербинка, шепчет одно.

«Не ждали», — вот что шепчет.

На Олимпе было как-то... иначе. Разрослись, раззолотились дворцы, стало больше мрамора и драгоценностей, зелени — меньше... статуй вот понатыкали на каждом углу — лес, заблудиться можно. Кажется — двенадцать лет не был: откуда и что взялось?! Будто построенное — под корень снесли. Выстроили — выше, пышнее, красивее.

Аэды и музыканты под каждым кустом сидят. Не жалеют голосов, славят Владыку Олимпа. Во дворцах — музыка... недоуменная, тревожная музыка тех, кто ещё не осознал.

Кто не узнал про Коркиру. Скоро струны кифар вздрогнут от ужаса — Артемида пропоёт погребальную песнь брату... Зевсу, наверное, тоже что-нибудь пропоют. Если будет — кому петь.

Будет ли — кого ждать его двенадцать лет из ледяных, чёрных вод?

Мраморные дворцы провожают окнами-глазами бессмысленно, глупо. Провожали — не узнавая. Идет, мол, какой-то, а какой — непонятно... Смертный? Бог? Владыка?

Кажись, всё не то. Хорошо — если не к нам идет.

Угомонитесь там, дворцы. Умолкните, не бойтесь троны.

Не смертный, не бог, не владыка.

Я — не к вам.

Прوماхиваюсь вот мимо вас — скажите спасибо. Лежи себе безмятежно, бывшая вотчина. Золотись, исходи пирами — наверное, и вино в кратерах ещё холодное, жаркое не остыло, постели любовниц Зевса теплы...

Ты правильно не ждал, Олимп. Тебе и ждать-то нет никакого смысла — потому что саду матушки-Геи поднимают головы диковинные саженцы. Неспешно этими головами крутят — будто стараются уловить диковинные запахи.

Унюхать запах пыли и древности — доносящийся с острова Коркиры. Запах того, что осталось от наших армий.

Прислушиваются — хотят поскорее уловить весть о междоусобице в рядах Кронидов. О том, что Олимп, лишенный хозяина — созрел, вот-вот яблочком в ладонь покатится.

Осталось протянуть ладонь и взять.

И значит, они поднимутся совсем скоро. Шагнут на Олимп — выполнять своё предназначение. Покинут материнскую колыбель, в которой их — не взять.

Если только вместе с колыбелью.

Серп Крона тихо посмеивается под ладонью — я не касаюсь его, а чувствую щербатую усмешку небытия.

Пальцами. Спиной.

Собой.

Довольную усмешку, радостную.

Серп поёт под моими пальцами, как никогда не пел лук.

— Я узнал тебя, — напевает древний, истертый адамантий. — Ты так похож на него, так похож на него... Того, для кого я был выплавлен. И у тебя его пальцы. О, мы с тобой одно, теперь уже до конца — одно, только исполни же, исполни же своё предназначение...

Исполню, — отмахивался я, пока брёл по мощённым мрамором и халцедоном дорогам Олимпа. Пока неспешно проходил мимо фонтанов, золотых статуй и чуждых дворцов. Придётся исполнить. Кажется, у нас с тобой основательно нет выбора, отцов меч. Судьба одна на двоих, если хочешь.

Судьба на двоих, — согласно хихикала махайра. — Судьба — напополам. Голова в одну сторону, тулово в другую. Да? Прежний хозяин хотел того же. Хорошо.

Только что же ты медлишь, по Олимпу шастаешь? Разве эта, которая — напополам, здесь?

Оттого и шастаю, что мозги не растерял, — бормотал я себе под нос, промахиваясь мимо конюшен, и ароматных садов Деметры, и мастерских Гефеста. Ты вот скажи — каким способом ты собираешься эту самую — напополам? Она нам, наверху, ось мира вращает.

К ней, небось, в чертоги просто так не зайдешь — разве что она к тебе спустится.

Иначе Крон бы ее уже после моего рождения прикончил.

Ага, ага, — бубнил серп с пояса, голосом, напоминающим голос отца. Он прикончил бы. Только он хотел — хитро. Чтобы она спустилась, была бы неподалёку, а мы с ним — раз...

Она ведь может умереть — если кто-то делает то, что не прописано в её свитке...

Точно, — кивнул я и преодолел последний подъем. А теперь скажи мне, древний адамантий — как сделать то, что в этом свитке не прописано?

Ну, например — узнать, что в этом самом свитке есть.

Так что не смотрите на меня удивленными окнами, дворцы, — я не к вам.

Мне тут нужно навестить кое-кого другого.

Других.

Тех, которые притулились в сером доме, выше самых пышных дворцов. Засели за щербатыми окнами, за хлопающей дверью... в самом центре паутины нитей, которую сплетали.

Шагнуть через порог. Пригнувшись — в комнату, полную запахом рыбной похлёбки...

— Ступай, откуда пришёл, Убийца!

Дверной проём оказался занят — попробуй, войди, невидимка! Через такие-то плечи, такие-то руки...

В руках — булава. Покачивается с намёком.

— Вопросы задавать припёрся?! Поздно вато заявился. Вот тебе ответ! Не уйдёшь — зубы пересчитаю.

— Э, — долетело у Мойры из-за спины. — Спорим, я его первая в песок вколочу?!

Впору в голос заржать: всеведущие Мойры сроду так никого не встречали! Говорят, к кому-то являлись — старухами, к кому-то — девами прекрасными, к кому-то — женщинами, умудренными годами. С прялками, с таинственным туманом в глазах...

Ко мне вот — с булавами. Зубы считать.

— Вопросы задают боги. Смертные. Владыки. Те, над кем властна ваша мать. Мне столько раз повторяли, что я чудовище, что я наконец сам поверил в это.

Мойра моргнула. Попятилась внутрь дома, открывая вторую сестру — такую же рослую, плечистую, брови на пол-лица. И в руках булава — эта не для зубного счета, для вколачивания в песок.

— Тогда с чего б тебя принесло? Э, Лахезка, спорим — про материнский свиток вызнаться хочет.

— А вот и спорим!

— На диплакс новый зеленый!

— Шерстяной!

Подождал, оглядывая узкую комнату с потухшим очагом — тот чадил последними облачками дыма.

— Я явился делать что умею. Переписывать судьбы. Хотите — ваши перепишу?

Лахезис рот разинула — булава бы влезла. Сейчас ляпнет что-нибудь этакое — «А силенок-то хватит?» Атропос перекосила рот — сейчас другое скажет: «Что, Убийца? Мечом обзавелся — храбрый стал?»

Да. Мечи хорошо умеют переписывать судьбы. Надежно. Словно стилосы — острием по свиткам. Но я не стану хвататься за Серп Крона.

Просто уйду. Из этого дома. С Олимпа. И вы проиграете все ваши споры разом. Потому

что скажите мне, вешие сестры — как скоро на Олимп двинутся восставшие рати Гигантов и сколько почтения эти рати окажут вам при встрече?

А они двинутся. Поднимутся, захлестнут этот мир невиданной волной. Богов как яблочки пообтрясают — если только я не перепишу кое-что в самый последний момент.

Так скажите мне, о Мойры, что будет — если я перепишу что-то неверно.

Они попятились, ворча, двумя побитыми цепными псынами. Открыли третью.

Мелкую, редковолосую старушонку, сидящую в ворохе нитей. Глядящую — с припрятанной подальше ненавистью.

Древними, истертыми ножницами вот щёлкает — могла бы, резанула бы...

— Явился, значит, Криводушный.

— Твои сестры называли меня Убийцей.

— Правильно сделали. Криводушный Убийца — хорошее сочетание. Только вот неверное. Я бы сказала — Криводушный Дурак. Ты дурак Кронид, ты знаешь это?

Да уж спасибо, сколько раз мне это повторяли — как следует знаю.

— Потому что пришел сюда? Потому что говорю с тобой? Потому что решил сделать... то, что решил?

— Потому что решил — и пришел. А не решил — и сделал. Раз уж явился сюда — значит, ищешь обходные пути и хочешь, чтобы на самом деле тебя остановили.

Я молчал. Серп под ладонью заливался белым смехом небытия. Он знал — остановиться мы не можем.

Ибо мы — одно.

Только вот взгляд как присох к истертому, зазубренному лезвию ножниц. Между которыми неспешно протянулась, улеглась еще одна нить.

Так же, как когда-то — моя.

— Что смотришь? — голос Неотвратимости — надтреснутый и зазубренный, как металл. — Твоей нити тут нет, невидимка. Только вот смерти-то ты все равно успел попробовать? Обратного не хочется?

Лезвия сжались, резанули — и нить жалобно вскрикнула, дёрнулась, свернулась... пропала.

Померещилось — пол, чёрная жидкость хлещет из горла, заливают пальцы... нет, мелькнуло — осталось позади, выпаленное обжегшим ладонь Серпом.

Я подошел к развернутому свитку, который разбросал кольца по каменному столу. Клото пошла следом, проворчала: «Чего ты там не видел»...

Снял с пояса меч — и Мойры онемели, когда острие Серпа Крона зависло над их сущностью. Над частью их предназначения.

— Мой отец думал, что убить Судьбу можно только одним способом. Сотворив то, что не прописано в ее свитке. Хотите поспорить со мной на то, что я найду не один способ?

— Ах ты...

Я — мы — улыбнулись едкой улыбкой небытия. В лицо трём ничтожным перепуганным старухам.

Нить легла между двух древних лезвий — а они не сомкнулись. Побоялись тиши и скрещения взглядов.

— Это не убьёт её, — выдохнула Клото. Глянула волком на раскрывшую рот сестру, отмахнулась. — Что? И так ведь получит, за чем пришел. Наведет свой меч потом на веретено, или на ножницы вот еще... Только это убьёт нас, Убийца. Не её. Мать так не взять.

Хорошо, кивнул я. Точно, — оскалился Серп Крона с моего пояса. Мы предполагали. Слушаем внимательно. Так, стало быть, не взять. Как взять?

— Думаешь — в ее строках нет про Гигантов и тебя с Серпом? — скривилась тогда Лахезис. — Мелькало, видели. Опять же, можешь попытаться Флегры под корень срыть — и очень может быть, что до какого-то предела сроешь... Только вот у тебя там на Флеграх — Погибель, не забыл?

Юнец, — фыркнул Серп под пальцами. Какой-то там Алкионей. Видел в глазах у дочки — остроскулый, черноглазый, сходство какое-то — не уловить...

Может быть, лучники всегда немного похожи между собой.

Особенно такие, которые не промахиваются.

Улыбка небытия внутри, в груди, кажется, потухла. И ослабла неизбежная тяжесть на поясе — померещилась на плече, вместо колчана...

У него Лук Урана, у моей Погибели.

И Серп Крона сомневается там, во мне. Боится. Помнит, что уже проиграл один раз.

Да и вообще — лук против меча...

Глазки Атропос шурятся, следят. Перечеркивают чертог еще одной невидимой нитью — когда я отворачиваюсь от свитка и подхожу к бесконечному, спряденному из многих нитей полотну.

Вглядываюсь — ища не свою нить. А очень на неё похожую — вот оно пошло, чёрное с вкраплениями багрянца, нить нового любимчика Судьбы, так ведь? Нового лучника.

Вьётся буйно и уверенно: нити ничто не помеха! Коснись многих вариантов — увидишь разное: вот Погибель Аида встаёт на Флеграх, позади своих братьев. Вот скользит, свиваясь черными кольцами, к Тартару. Открывает Великую Пасть — и выпускает других своих братьев, которых Гея так жаждала увидеть на воле.

Или нет.

Вот Погибель Аида встречает кого-то... чудовище без Судьбы. Без нити. И сияет ему в лицо усмешкой — и в ответ ей люто скалится Серп Крона. И свивается стрела на тетиве — невесомая, будто оперенная самой Судьбой. И чудовище валится к ногам своей Погибели, и Гиганты ликуют...

Или нет?

Вот ощер Серпа Крона становится на миг ослепительным сиянием — и Флегры падают в прах. Умирают вместе с Геей-Землей, которая поспешила навстречу своим выкормышам. И из праха поднимается единственный лучник — и стрела летит... И гибнут оба — чудовище и его Погибель.

Или...

Призрачных, чуть уловимых нитей — возможных строк в свитке Судьбы — десятки... нет, сотни. Все не пересмотреть, не запомнить. Дробятся детали, меняются местами, мельтешат в глазах — это было? Или это будет? Или это возможно...

— Кронид.

Неотвратимая звала почти ласково. Будто сестра — заблудшего брата.

— Убей Алкионей, Кронид. Ударь его Серпом Крона. Останься жив сам. Этого там нет — среди нитей. Это не было прописано в его свитке.

Ахнули Клото и Лахезис — вцепившись друг в друга мощными лапищами. Мол — подсказка! Да какая! Сестра, да ты что...

Атропка цыкнула мимоходом сперва на них. Потом на меня — я как раз хотел спросить,

с чего бы она так щедра.

Потому что попавшим в беду мальчишкам иногда нужно помогать — вот почему. А то они от безысходности способны мир разрушить.

— Не прописано... в его свитке?

— Да. И никогда не было прописано в твоём. Во всех вариантах ты... убиваешь его иначе.

Мы с Серпом пожали плечами. Какой тогда смысл — если это не поможет выполнить предназначение.

Если та, которая усмехается страшнее Серпа Крона из-за чьих-то плеч — все равно останется жить.

— Она тогда умрет для тебя. Только для тебя. И всё кончится... — мойра, видно, хотела сказать — хорошо. Потом передумала, выдохнула: — Правильно.

Серп помалкивал и не собирался щериться в усмешке. С подозрением ощущал чувство, которое дрыгнулось у меня в груди.

Неубиваемое чувство — небось, никаким небытием не выжжешь.

Желание, чтобы всё закончилось правильно.

Чтобы — Погибель мертва, Ананка не властна... Серп? Наверняка ведь он успокоится основательно прикончив хоть одну Судьбу, а после можно его тоже — как Алкионея...

Прямой путь для Криводушного. Атропос вон глазами блестит, головой качает. Зовёт глупого, заигравшегося мальчишку: куда полез?! Тебе же не по уму...

— Все вы... любимчики. Выродки, которые могут переписывать ее свиток. Рано или поздно — вас заедает гордыня, и вы хотите не просто переписать. Сжечь. Освободить всех и каждого — смертных и бессмертных. Думаете вы, что стоит за таким решением? Что будет, если кто-то из вас сможет убить Судьбу?

— Хаос, — предположил Серп Крона моими губами, улыбаясь едко и сумрачно.

— Хаос недолговечен, Убийца. Он всегда стремится к Гармонии и всегда избирает для неё самый прямой путь. Однажды он породил то, что стало над богами. Главный закон жизни — Неотвратимость. То, на чём держится ось этого мира. Неотвратимость должно что-то воплощать, а на небесах должно быть что-то, что превыше всего. И тот, кто убьёт Ананку, разрушит действующий порядок. Тогда ему самому придётся стать Неотвратимостью. Шагнуть — и занять место на небесах, возле оси мира.

Наверное, подошло бы для кого-нибудь, кого называли безжалостным века назад. Горький смех созрел на губах, скатился — плодом.

Воины всегда смеются горько, когда идут в битвы, где им не победить.

И ещё их иногда озаряют внезапные прозрения.

— Кто был до меня? — спросил я. — До Крона? Кто пытался убить её первым?

Уран, ну конечно. Старик, свергающий в пропасть своих сыновей.

Лучник.

Преданный сыном.

Первый из любимчиков — только вот Ананки ли?

— Он не был с матерью. Он был с... другой.

Имя она не осмелилась произнести. Будто могла накликасть.

— Дурак думал возвести на небеса сестру Ананки. Считал, что этим может победить Неизбежность. Что жизнь станет иной...

А Ананка, стало быть, вмещалась. Выбрала себе своего любимчика.

И меч победил лук.

— Что стало с Ураном — я знаю. Что стало с той сестрой?

Хотя зачем рассказывать — ты главное смотри, вещая Мойра. Не отводи взгляд — я уже вижу, как мелькают там окровавленные локти твоей матери, раздирая сестру на мелкие части...

Части, которые она и сейчас еще пытается уничтожить.

— Что делаете вы, боги, с врагами? С тем, кто может уничтожить ваш мир? Кто перевернет самую его суть?

— Они, понимаешь ли, обе рожать могли, — подала тут голос Лахезис. — Из себя, как Хаос. Как Гея. Только вот обе могли порождать то, что — продолжение их самих. Мать вот родила нас. То, что... дополняет. Помогает. А та... та родила бы другое.

Чудовище, наверное, какое-то. Вон у Клото глаза вытаращились, губы брезгливо скривились — даже и не сказать, что такое она родила.

— Веру, — сказал я тогда.

— Новую веру, — эхом откликнулась Атропос. — Это были... страшные строки, Кронид. Эта вера уничтожила бы свиток. Изменила бы мироздание. И не стало бы никого. Ни Ананки. Ни вас...

— Что стало бы?

— Что-то иное.

Свивались нити из солнечных лучей — ложились одна поверх другой, в заведенном порядке. Покачивался развернутый свиток — ждал новых записей судеб. Людей, и кентавров, и нимф, и богов.

Истончались нити — ложились под ножницы Атропос, одна за другой.

Рождали музыку Неизбежности, наверное.

Или кто там знает — Гармонии.

«Все выходы хуже, — молчали Мойры, — вы не понимаете этого, глупые бунтари. Убей Алкионея, Кронид. Убей только свою Судьбу. Не посягай на ту, которая — Гармония».

«Это отвратительная Гармония, — молчали мы с Серпом. — Вы просто не знаете — как это. Знать, чем закончится. Осознавать, что впереди лишь мрак. Вы не тонули в черных ледяных водах Стикса, вас не било пророчествами из-за спины... Вы не знаете, что все строки в этом свитке — страшные. Ибо они — есть. Что ваша Гармония — несправедлива».

«Но это единственная, которая есть, ибо все выходы хуже, — тревожно молчали нити, покорно ложась под истертые лезвия. — Ибо если ты убьешь Судьбу — что породит Хаос ей на замену? Или ты возьмешься сам, Кронид? Сам будешь вершить мироздание?! Убей свою Погибель — и всё закончится».

Когда я отвернулся и шагнул к выходу — Атропос все же не выдержала. Подала голос:

— Что ты собрался делать, Кронид?

— Закончить правильно.

Хмыкнула Лахезис. Клото забормотала что-то — что вот, можно было бы и на ответ поспорить.

— Уверен, значит, что сможешь? — хмыкнули за плечами. Неприятно знакомо хмыкнули.

Зато и поперхнулись, когда я дал ответ.

— Не уверен. Надеюсь.

Они поднимались медленно.

Вести не успели дозреть и донестись, осень не успела вступить в права — и теперь саженьцы матери-Геи раскачивались лениво и неохотно, чесали в многочисленных затылках. Перекликались: что, время уже, да? Ну, чтобы плесень того... этого?

Чёрные, выжженные пустоши Флегр гудели роем потревоженных шершней: то есть, как там Громовержца больше нету? Нету плесени? Теперь можно на Олимп вот просто так?

А в чем потеха?

— Мать того... сказала: поспешить.

— Армий будто бы у них теперь нет.

— Чего спешить-то тогда?

— Так, может, на Олимпе того... еще остались! Давайте, братья!

Дали.

Кто встал на крыло, кто свил-развил змеиные кольца тулова. Кто-то вскинул дубинку на плечо, а кто воинственно поправил набедренную повязку. И — лавиной, осенним неостановимым листопадом, неумолимым градом: вперед, на Олимп! Туда, где ближе всего, к восточной границе садика!

Грудь Геи-Земли дрогнула под ногами сыновей — коротким сдержанным рыданием полным гордости. Так мать провожает пестунов — не в кровавый бой, в короткую и победоносную битву.

Триумфальный набег — а потом боги станут перегноем под змеиными кольцами нового поколения.

И путь на Олимп прям! Опять же: ни армий, ни Аполлона, ни Громовержца-Зевса...

Только одинокий путник в капюшоне торчит неподалеку от самой границы выжженных земель — заблудился, наверное. Свернул с нужной, прямой дороги. Прибрел, неожиданный и незванный, не в то место, не в то время. Вот и стоит, будто столб-герма. Сейчас, может, еще дорогу укажет...

— Эй, плесень! Далеко до Олимпа?

Паллант — козлоногий, с шершавой, чешуйчатой кожей, с такими же драконьими крыльями. Хрипит насмешливо.

Ответ из-под капюшона летит спокойно, чуть устало.

— За вечность не дойдете.

И дрожит грудь земли от дружного хохота ее сыновей. Потому что — плесень тут! Стоит, разговаривает — потеха!

— А ты чего приперся-то? Думаешь нас удержать, а, плесень?

Осекается хохот — на миг.

Кажется — из-под капюшона странника выблеснуло адамантием что-то древнее, щербатое, страшное...

Да нет, пригрезилось, наверное. Где это видано, чтобы приходили куда-то, вооруженные улыбками?

— Думаю показать вам дорогу.

— Короткую дорогу? Хорошую?

— Верную. Правильную. Короче которой — нет.

Гогочут Гиганты — саженьцы матери-Земли. Свивают-развивают змеиные тела. Шуршат

крыльями, готовят дубины — наверное, сейчас сомкнутся.

Одинокие путники, вооруженные только улыбкой, — добыча легкая.

— Братья, плесень-то полезная!

— Так может того... себе оставим?

— Да на кой нам...

— Вот если бы баба, а этот — нет...

— Так пусть дорогу покажет!

— А дорога — на Олимп?

Это цедит Порфирион (откуда я знаю их имена? Выплывают, как из легкой дымки памяти — Порфирион, гибель Зевса...). Порфирион величественен, и ему очень хочется на Олимп — не терпится проверить собой золота трона.

Но я качаю головой — обещаю показать иную дорогу. Идемте же вместе, Гиганты — мне хорошо знаком этот путь. Я, правда, совсем немного не дошел, но два раза был уже совсем рядом, а верно ведь говорят, что все нужно проверять до трех раз?

Будьте моими спутниками — я отличный проводник. Лучше Гермеса-Психопомпа, который таскает тени в подземный мир. Смотрите, я не тороплюсь начинать наше с вами путешествие. Я дал себе время проститься и собраться — немного, час, пока брел, пока ждал вас... И теперь я дарю вам полной россыпью секунду за секундой, чтобы вы успели посмеяться, надышаться, успели... попрощаться.

Драгоценные секунды катятся одна вслед за другой — жемчужинами с порванного ожерелья. Полсотни сыновей Геи — заблудившихся на пути к Олимпу. Один странник — напротив них.

Рев, гром, шипение молодых глоток: «А мы на Олимп! Плесень убирать! Править!»

И в ответ — тихий, едкий смех с пояса странника: простите, от этого путешествия нельзя отказаться.

Потому что пальцы уже легли на рукоять. И обжигающая улыбка адамантия готова покинуть пояс, и пригласить мир — во прах. Куда сейчас пойдём мы с вами. Может быть, и Судьба.

Ибо я, Аид Странник, не вижу иных путей, кроме последнего странствия.

А косматый, необузданный Полибот потрясает двузубцем — вот-вот засмеется знакомым смехом Посейдона, вскинет руки, скажет — да чего мы его слушаем, плесень! Двинется вперед — и секунды, за которые я цепляюсь, брызнут во все стороны. И останемся мы.

Я, Серп Крона и единственный путь.

Единственный... шанс.

— Хо! Травить!

Вот он — Полибот, любитель начинать. Неостановимый, как Морской Жеребец в гневе. Рвётся вперёд, играет двузубцем, развивает кольца, которые у него вместо ног...

Плюх.

В неведомо как подвернувшуюся лужу. Коварную. Подкравшуюся к Гиганту и перемазавшую величие в грязи.

Казалось — будто земля и вода решили подшутить над сынком: перемешались и ка-а-ак...

Потом пошутить решил воздух.

Высвистел что-то диковинное.

Расступился, пропуская черную стрелу.

Стрела неторопливо и важно воткнулась Полиботу в волосатую ручищу.

Саженцы Геи посмотрели на стрелу. Потом на меня. Недоуменно и немного обиженно — мол, ты чего?!

Я тоже смотрел на стрелу. Тоже — недоуменно и даже обиженно. Да чего там — смотрел, вконец обалдев: стрелы?! Лучник?! Да что это за...

Тут заговорил Полибот.

— Что это за... — недоуменно начал он, глядя куда-то поверх моего плеча.

— Плесень пожаловала! — весело пояснил голос, от которого у меня мурашки прошли по спине. — Яблочки жрать.

Арес! Откуда здесь...

— Чего?! — хрипло гоготнул Полибот. — Это вы нас и жрать?! А жракалка-то отросла?

В ответ свистнуло тяжелое копьё и насквозь пронзило ему глотку.

Следом за копьём объявились морские волны. Поднялись, как совсем недавно, на Коркире — грозя небу. С шипением обрушились на сад Геи-Земли, затапливая всё и вся — погребая под собой пепел, и выжженную пустошь, и кости... Разбросали Гигантов легким мановением невидимой руки — подальше, подальше, и еще волнами поиграться.

Меня — только по плечам как следует шарахнуло, будто поздоровавшись. Хорошо так похлопало, аж на одно колено уронило.

«Что это за...» — укоризненно вышептало внутри острое алмазное лезвие.

А я-то почему знаю — что вот это за...?!

Я убил прошлое, пока шел сюда. Пока прощался. Отшвырнул, оставил за плечами на Олимпе — дворцы, и Зевса, и трех сестер Прях.

Я пытался сказать себе, что и настоящее теперь становится прошлым.

Только вот настоящее не согласилось и заявилось следом.

Вот оно стоит, мое настоящее: выступают фигуры из водных вихрей.

Афина — прямая, как копьё, и вооруженная легким дротиком. Арес — с круглым щитом и прямым мечом-ксифосом.

Танат... факел у него там, или клинок где-то подобрал?!

Стикс... эта здесь зачем?! Наверное, просто так вышла — с тяжелым копьём наперевес прогуляться.

Ифит стоит не на возвышении — по пояс в воде. Вздывая трезубец и заслоняя волнами моря Гигантов от помощи Матери-Геи.

А лучник... кто лучник-то? Нашли все же где-то смертного?!

...не лучник. Лучница. Притаилась за скалой — сразу и не увидишь, только золотые волосы по временам вспыхивают-выдают.

Не богиня, не жена Владыки — нимфа смертная.

С губ опадает вплавившаяся в них алмазная усмешка, и отступает вкрадчивый шепот Серпа Крона: «Ну! Взмах! Мы — одно...»

Что ты сделала, сестра, что ты сделала?!

— Вы чего сделали?! — режут Гиганты, поднимаясь в пене волн. — Плесень!

Вырастают заново. Вздывают руки, отряхивают от воды крылья. Развивают черные кольца. Потрясают булавами, дубинами, за скалы хватаются. И орут, что это какие-то неправильные боги — кто там знает, может, они ели неправильный нектар...

— Да мы к вам... мы ваш Олимп... Плесень!!!

В ответ, вместе с очередной стрелой, летит задорный клич Ареса:

— Боги не воюют в обороне!

И ксифос сына доканчивает за материнской стрелой дело — выпускает ближайшему Гиганту кишки. И волны окрашиваются густой, черной кровью, убирают землю будто трауром по сыновьям.

Воздух колеблется от яростного рева. От осознания: час... час. Роковое пророчество. Последняя битва.

Боги — против Гигантов, и лучник, несущий смерть своими стрелами...

А я... а я глазами хлопаю — потому что выискались же, спасатели! Защитнички... хоть бы знали, что на самом деле защищают! Шел в одинокий, последний путь — так нет же, набежали попутчики, назад тянут.

И над всей этой — густой мешаниной битвы (шесть — против пяти десятков!), свистом летящих стрел, громовыми ударами копий и плеском волн — мне слышится насмешливый, торжествующий смешок Судьбы.

«Явился бить, невидимка? — смеется она. — А по кому бить-то?»

Настоящее поплевало на руки — и отодвинуло одинокого странника в сторонку. Постой, мол, не суйся, погоди в уголочке, а мы тут за тебя с Погибелью расплюемся.

Предсказуемо. Прописано. Правильно до оскомины.

«Чего ты ждешь?! — шипит ядовитая гадина, корчась на бедре. — Бей же! Выполни же предназначение, пока они не спасли ее! Смотри — они сражаются с Гигантами, они забирают у нас с тобой наш удар, они — ее армия...»

Нет, качаю я головой. Они моя армия. Всегда — моя армия.

И обжигающая адамантовая гадина примолкает в сомнении — когда в мои сжавшиеся пальцы приходит по зову двузубец. Знак моего мира.

Знак полководца, который — вместе с армией.

Армия моя, армия...

Гера — вместо отряда лучников. Стреляет — заглядеться (моя школа!). Твердые пальцы. Жесткий прищур. Тетива почти касается щеки. Наложить-прицелиться-отпустить. И взвиваются волосы в бешеном танце... смертной нимфы. Кто отпустил тебя в смертность, Гера?! Как ты обрела ее так быстро? Напитала стрелы своего колчана — и несешь ее Гигантам?

— Ауыыыыыы!!!

Вот, еще одному принесла. Туда, где не просто больно — еще и обидно.

Гигант с рыком рвется вперед — и вязнет в безумной ласке волн.

Ифит — конница на колесницах. Вскипают белые буруны — гривами лошадей. Мелькают волны — быстрее колес. Неудержимо накатываются на Гигантов — замедляя, оттаскивая, подставляя под стрелы Геры... Лицо мальчика бледно, глаза — гневное море в шторм — и на волнах он играет легче, чем на кифаре, свивая новую, невиданную мелодию битвы...

Неподалеку бьется Стикс — сомкнутые ряды копейщиков. Разит то ужасом, то тяжелым копьем. На лице — леденистая ухмылка: сквозь копейщиков врагу не пройти.

Дальше бьется Афина — непоколебимые стены крепости. Собранная, спокойная, только прядь непокорная из-под шлема вылезла: издевается, смеется. От жены не отстают Арес — ряды пехотинцев. Нарывается, дразнится, чуть ли не летает по полю.

Правда, не летает: в армии нет крылатых. Есть Бескрылый. И Безмечный. За кого и

армии Танат Факельщик?

Этот — сам за себя. За смерть.

Оказывается, имея при себе лишь факел, можно очень даже хорошо показывать противникам — насколько бездарно они дерутся. У одного Гиганта уже аж пять глаз из шести не видят, второй с воем тушит себя в волнах, третий обожженными лапами трясет...

Армия воюет. Защищает — то ли мир от Погибели, то ли Ананку от того, что страшнее ее. А лавагет в сторонке ненужный мается — да кому он вообще тут нужен?!

Моргнул. Стряхнул с себя ненужное, лавагетское наваждение — куда тут армию себе представлять, когда такое творится!

Оскальзываясь на камнях, крови Гигантов, пенящихся волнах — добрался до своих лучников... то есть, до Геры.

— К-какого?! Какого вы тут...

Бывшая супруга прищурила левый глаз и всадила стрелу в волосатую ляжку Гиганта, который подлетел слишком близко.

— О, отмер, — порадовалась, — давай, братик, хоть двузубцем своим поспособствуй. Только за Серп Крона не хватайся, а то мы на него уже насмотрелись.

Смертность поменяла Геру не особенно.

Сжал зубы — какой смысл словами бросаться. Поспособствовал двузубцем — крутанул оружие в пальцах, указал на того самого, летающего, приказал: взять!

И услышал отдаленный рык черного пса — тот кинулся терзать теперь уже смертную добычу. Вон, за горло кусанул, Гигант с небес валится...

А Гера уже — стрелу на тетиву и выцеливает нового. Афина схватилась на копьях с трехтелым великаном, Арес сразу двух сдерживает... а да, там еще с ним Танат завяз. И над всем — нежные, кифарные переливы волн, которые налетают прибоем, бьют и топят сажены Гей.

Армия моя, армия... ну, вот зачем сунулись? Отличная же была сказочка — про малую кровь, про одного против всех, а может за всех — кто там знает. Я только хотел, чтобы это был я один. Одному легче выполнять предназначение.

Гигант грохнулся совсем близко, тяжело рухнул на обожженные камни. Порыв ветра от кожаных крыльев взметнул волосы с лица златоволосой лучницы — игриво разбросал в воздухе...

Открывая насмешливые глаза.

«Только вот всё это время ты шел не один, невидимка, — сказали глаза. — Как-то так получилось, что ты с самого Крита шел не один — а теперь в одиночки решил затесаться?!»

Да. Из прошлого тянутся бесчисленные ряды войск: куреты, нимфы, коза, толстый распорядитель, сестра-сообщница, Метида...

Много — не пересчитать.

— Ты хоть знаешь, кого я шел сюда убить? — углом рта спросил я. Готовясь бить во второй раз — вслед за стрелой Геры. — Что я пришел сюда убить?!

— Так вместе и прикончим, — отозвалась старая сообщница. Прицелилась — и еще раз не промахнулась. Хмыкнула по-знакомому, по-старому — вот-вот за уткой в меду побежит...

Как только более крупная дичь закончится.

— Я-то думал, вы тут за другим.

— Мы тут за тобой. И с тобой. А ты бы, братец, глаза бы пошире раскрыл.

И я раскрыл — только не глаза. Всего себя, всё божественное естество — нараспашку, чтобы взглядеться в поле боя.

Понять изболевшуюся, заколоченную истину — ее б только слепой не увидел.

Защитники Ананки? Хороши защитники...

Вон, Ананка бродит по полю, перепрыгивает из-за одних плеч за другие. Цепляется за падающих Гигантов, умоляет: вставай! Ты не должен, это неверно, это же неправильные строки, все было не так! Во всех вариантах — было не так!!

Ананка мечется от одной неумолимой фигуре к другой — пытается нашептать, объяснить, умолить...

— Это все неправильно, — шепчет она коварной лучнице с золотыми волосами, — ты — Гера, славнейшая из богинь Олимпа. Жена Владыки и хранительница очагов, это написано во всех твоих строках — так куда же ты, что же ты...

— Нет, — мотает головой лучница, — я не богиня. Я смертная. Стреляю вот хорошо — меня этому брат учил. Люблю мужа-кифареда, песни и море. Ты ошиблась. Ты говоришь не с той.

И отравленная смертностью стрела летит — вслед за другими. С ядом ли? Или и яда там не нужно? Мелькает легкой птахой, клюёт шестирукого Гиганта в одно из мясистых предплечий — а вслед за ним приходит копьё Стикс, и Гигант падает и умирает, нелепо загребая руками воздух.

Лучница коротко кивает Стикс. Накладывает ещё стрелу на тетиву.

И за её спиной кричит, умирая, Судьба.

— Всё не так! — слышится в истошном крике. — Всё не...

Неправильно, — шепчет Судьба юноше с чернью кудрей и бирюзой глаз. Ты не должен быть здесь, о Ифит. Ты, коварное и почти воплощенное пророчество... ты кифаред, только кифаред — и посвящаешь свои песни волнам, мальчик. И нимфы любят бездонными лагунами твоих глаз. А может быть, ты не только кифаред, но еще и лучник — я знаю много вариантов! Свергнувший отца, отвернувшийся от трона, желающий только мирной жизни вместе со своей женой...

Я знаю много шансов, но этого в моих строках никогда не было.

— Верно, — кивает юноша и сжимает в тонких пальцах тяжелый трезубец, и дарит своему непутевому отцу ободряющий взмах — тремя лезвиями. — Ты просто ошиблась, ибо я — не тот, о ком ты говоришь. Смотри, у меня нет кифары. Смотри, лук тоже не со мной. Смотри на мою жену — разве похоже, что мы с ней сейчас желаем только мирной жизни? Я не знаю тебя, Ананка. Знаю только — свой выбор.

И бирюзовые глаза темнеют — на лагуну надвигается шторм. Сжимаются губы и твердеет подбородок, и трезубец с пальцами — единое целое, и летят вместе с морскими брызгами по ветру волосы — не кифареда, не лучника, но Владыки Моря.

Море бросается в атаку на сушу с новой силой. Замедляет Гигантов, заставляет нелепо скользить по камням и барахтаться в налетающих волнах.

Море поёт грозную, боевую песню — никакой кифаре такую не выпеть.

Морской Владыка стоит в своей стихии — нерушимо, незыблемо...

А за его спиной кричит, умирая, Судьба.

— Всё неверно!!

Кричит так, будто это ее ударили в спину непрошенным пророчеством.

— Пророчество, — хрипит она черноглазому воину, орудующему ксифосом. — Ты —

пророчество. И еще ты — война. Там, в твоих строках... любовница — богиня любви, и реки крови, и долгая вражда с отцом и с сестрой...

Воин фыркает, умело уходя от булавы высокого Миманта. Перепрыгивает через камень, бросая короткий, победоносный взгляд на дерущуюся сестрицу.

— Эй, ты все же подучила меня на мечах! — и уже потом отвечает, не переставая отражать и наносить удары: — Оно мне надо? Пророчество, ненависть, крови реки. Спасибо, конечно, только это же дрянь, а не строки. Посмотри лучше, какие я написал. Воин — и не война, муж самой мудрой жены, упер сестру на колеснице... и с отцом не враждую. Самая лучшая сказка. А твои все — в Тартар.

В Тартар такие строки. В Тартар такую Ананку.

Несбывшееся пророчество дожидается стрелы, принесшей Гиганту смертность. Втыкает в живот Миманту вслед за стрелой прямой, сурово блеснувший медью клинок. Не впадает в боевое неистовство, только смеется коротким, радостным смехом упоения: а ну давай еще!

А за его спиной — крик бьющейся в агонии Судьбы.

— Неправильно!!

Неправильно, ненормально, глупо...

— Глупо, — пытается докричаться Ананка до высокой копьеносицы в суровом шлеме, — это глупо, а ты — ты Мудрая. Ты, рожденная из головы родителя... в твоих строках — стены города, носящего твое имя, и герои, которым ты благоволишь, и песни аэдов, в которых славят твою Мудрость... поступи же...

Мудро, — хочет сказать Ананка — и понимает, что ее не слушают. Копьеносица шагнула за обломок скалы — ищет взглядом мужа, сошедшего с еще одним Гигантом в поединке. Хмурится — все-таки, надо было еще мальчишку подучить!

Дротик холодит ладонь — ну, подождите, твари...

— Не нужно слов — я видела, что там, в моих строках. Одиночество. Девственность. И слава. Мудрой бы понравилось, но я — не она. Мудрая не пришла бы сюда. Не согласилась бы на отчаянный план. Мудрая не стала бы помогать отцу в том, что мы делаем.

Свист копья — и Гигант, который только-только собирался повергнуть Ареса на землю палицей, валится на бок. Тут же встает, преодолевая удары морских волн. Отрывает глыбу от ближайшей скалы. И с ревом запускает в воздух.

— Арес! — кричит копьеносица, бросаясь в сторону. — Бей по тем, в кого попали стрелы!

И ее крик тонет в крике умирающей Судьбы за ее плечами.

— Всё неверно!!

Судьба смешно рысит по полю от одного Гиганта к другому — может, любимчика нового себе выбирает? Пугливо отпрыгивает от плеч Стикс — какая там может быть Судьба, там же Предназначение...

С размаху, отчаянно щемится за плечи того, кто орудует факелом, как мечом.

— *Маленький Эребид*, — ядовито нашептывает оттуда, — *я знаю, ты слышишь меня, Маленький Эребид. Твое предназначение сломали — и выплавили из него Судьбу. Он переписал твои строки — ты же не хочешь, чтобы они стали ничем?! Остановись, маленький Эребид — и я... стану такой, как захочешь. Как попросишь.*

Но губы мечника немы — не шевелятся, не дают ответа. Сжаты, изломаны — будто осколки железного клинка.

Вы убиваете меня, — вскрикивает Ананка там, за его плечами — и его губы

стискиваются ещё плотнее: «Убийца не может не убивать».

И объятый пламенем факел кажется страшнее любого меча.

Все станут чудовищами, — кривляется позади мечника Ананка. Ты сам говорил это! Ты хотел идти сюда... спасти меня!

Но в скривленных губах — память о разрезанной ладони и двух схлестнувшихся волнах крови: «Я хотел спасти брата, на тебя мне плевать».

Я дам тебе крылья, — заходится в крике Судьба. — Ты же скучаешь по небу, да?! Я верну их тебе, я...

Железные губы размыкаются. Делая шаг навстречу грузному Гратиону — Танат Железносердный бросает в сторону Судьбы сквозь зубы:

— Бездарно дерёшься.

Но Судьба, кипящая от ненависти, не собирается умирать там, за его спиной. Вскидывает голову и визгливо хохочет, обретая сходство с Лиссой-Безумием.

«Бездарно? Ах, бездарно?! погоди, ты меня еще не знаешь...»

Ананка-Судьба очень любит бить в спину. Это знаю я.

Потому не удивляюсь, когда посреди боя вдруг взвивается теплое домашнее пламя.

Приносящее с собой Гестию.

Сестра взбудоражена, взволнована. Находит глазами меня, размахивает руками, кричит: — Брат! Брат!!

Потом еще что-то, только вот ее не услышать: крик сестры заглушается радостным ревом Палланта.

Козлоногий Паллант к Гестии близко. Потому что он еще и крылатый. Потому что — хищно падает с небес.

Все остальные — далеко.

Словно фигурки на доске причудливой игры. Вот оно — поле: черное, с серыми, мокрыми, островками скал и возвышенностей, между которыми бурлят волны. Вот — разбросаны Гиганты: Гестия и Паллант — на соседних клетках... через несколько — Афина схватилась с Эхионом, и ей не успеть. Еще дальше — Арес сплелся воедино с драконоподобным Даматором, и ему не успеть ни за что... Черная фигура — Стикс — в одиночку удерживает двух Гигантов: до того ли ей?!

С краю — очень важная фигура Владыки Морского: вот он взмахнул трезубцем, волны в атаку на Палланта послал. Только куда там волнам воевать с небом — рванулись ввысь в бессильной ярости, да и на землю рухнули. Отползли, пристыженные, к своему Владыке, которому тоже не успеть.

Какой-то странник сорвался с места и несётся опрометью — куда, смешной?! Выше головы не прыгнешь! Постоял бы, посмотрел: это же такая интересная игра...

Гигант Паллант с радостным визгом тянет руки вперед. Пикирует как орёл на пугливого зверька. Гестия пятится, в горстях слабо, смешно, испуганно, всхлипывает пламя.

Сейчас одну из пешек сметут с доски — важный ход!

Вот златоволосая фигура лучницы выпускает новую стрелу — успеет ли хотя бы эта?!

А самая интересная — далекая фигура мечника. У которого, правда, нет меча, зато есть факел. Непоправимо, невозможно далекая фигура, которой ни за что не успеть.

У которой есть только попытки — изломать вокруг себя мир и шагнуть... куда?!

И возможность смотреть.

И Судьба за его плечами — вконец спятившая, бросающаяся маленькими, радостными

смешками: «Хе... хе... кто теперь бездарно дерется? Хе... тебе нельзя вмешиваться, ты же помнишь об этом, Железносердный?!»

И все это я, вроде бы, не должен видеть. Потому что бегу.

Отшвырнув в сторону двузубец — чтобы было легче. Напрягая мышцы — до разрыва икр и груди, потому что Флегры лежат вокруг меня мертвыми складками: их не сломать, не сдвинуть, не пройти по дороге, ведомой богам...

Только бежать — наперегонки со стрелой, которую выпускает из лука Гера. И надеяться, что мы оба успеем и оба не промахнемся.

Не успеваем и промахиваемся.

Сперва Гера: стрела скользит по чешуе Гиганта, почти царапает приплюснутое ухо — и летит себе дальше, солнечным бликом — в воздух.

Потом я: остается меньше десяти шагов, когда Паллант камнем падает на добычу — и рвется с ней в небо, оставляя на земле упавший диплакс да пронзительный женский вскрик.

Выдох рвет грудь на части, в горле — не по-божественному сухо и солоно: Паллант слишком близок от того, чтобы уйти в небо совсем, скрыться от глаз за облаками Нефелы. Пальцы вновь стискивают двузубец, пришедший на зов. Удар, которого Гигант не замечает — ну да, у него же еще нет смертности, где там вторая стрела Геры?!

Запаздывает. Не успевает — потому что с гоготом уносящегося прочь Палланта уже не догнать стреле, не догнать ветру, крыльям птиц, потому что он несется быстрее всего, кроме, разве что...

Вместо стрелы Геры приходит иная — яркая, огненная, спущенная с тетивы неизвестно кем. Или, может, с неба свалившаяся — мгновенно упавшей зарницей.

Сносит Палланта с крыльев. Процветает ослепительной вспышкой в небесах. Миг — нет, неуловимая часть мига, и вот уже земля содрогается под ногами от звука тяжелого падения. Гарью начинает вонять сильнее, а откуда-то стонет голос Палланта: «Да чем меня...»

— Вот же Тартар, — хрипит какой-то недобитый Афиной Гигант. — Эта плесень еще и летает.

— Да мы сами... того... удивляемся, — отвечает на это Арес, перерезая Гиганту глотку.

Говорят, есть такая богиня победы — Ника. Летает по полю боя, распахивает над победителями белые крылья.

Только вот Стикс не взяла свою дочурку на бой на Флегры. Пришлось выкручиваться как получится.

Потому в небе над садом матушки Геи — не белые крылья. Огненные. Распахнулись во всю ширь — пылают, с нехорошим намеком для Гигантов.

Увидеть крылья Смерти — нехорошая примета.

Паллант, например, увидел: когда поднял голову из пепла, в который воткнулся при падении. Тут же получил стрелу в глаз и помер от копья Афины.

Такое увидеть — это же не шуточки.

— Как мне звать тебя теперь? — выпалил я, когда он опустился рядом, держа на руках Гестию. — Танат Огнекрылый?

Крылья медленно гасли за плечами бога смерти. Оставляя волосы чуть подпаленными, а физиономию — слегка удивленной.

За спиной Таната стихал глухой, болезненный вой умирающей Судьбы.

А Гестия даже не удивилась.

Сиганула с рук мужа и схватила меня за плечи.

— Аид, я за тобой! Тебе сейчас надо... к Япету надо, туда, в дом Эпиметея, там... там Кора, и эта, которая в сосуде, и...

Глаза сестренки распахнулись широко и доверчиво. Впустили — внутрь. В недавнее, истекающее соленой болью прошлое.

«Прости, — тихо и строго сказали оттуда другие глаза — зеленые глаза, глядящие с нежностью. — Я должна. Они идут останавливать тебя — там... я иду вместе с тобой — здесь. Теперь я поняла нашу клятву. Вместе... во всем. Ты ведь уже понимаешь, что иначе нельзя, да? Прости меня, мой муж... мой царь. Я ухожу».

По древней глине под ее пальцами издевательски медленно ползли трещины.

«Я знаю», — шепнул я ей — так, будто она могла слышать.

«И ничего не скажешь напоследок?»

«До скорого свидания».

— Она... она не придет, — сказала Гестия, отчаянно цепляясь за меня — иди же! Останови, верни, исправь...

— Нет, — тихо сказал я и осторожно передал сестру в руки ее мужа. — Она придет обязательно.

Кивнул Танату — не сворачивай крылья, Огнекрылый, они тебе понадобятся. Отвернулся, безразлично ступив вперед.

На прямую дорогу.

Предугаданный, единственный, верный путь.

В неистово бурлящие волны — как на ровную тропу. Мимо кипящей битвы — отменяя ее, как неважное.

Проходя сквозь нее, как игла сквозь ткань. Как стрела сквозь спокойный воздух.

Нацеленная, оперенная стрела — глядящая в лицо Ананке.

Она поняла это, потому что испугалась. Потому что я снова услышал ее — далекий, раздирающий вой, издавелека:

«Чем будешь бить, Кронид?!»

Ты ведь не можешь снять с пояса Серп (под пальцами разочарованно и нетерпеливо вздыхает щербатое лезвие). Тебе слишком дорога твоя армия. Так чем же ты вознамерился сражаться со мной? Неужели — своим двузубцем?

Нет, — мотаю я головой и испаряю скипетр власти из своей ладони, и собачьи морды, истаивая, глядят укоризненно.

Так чем же, — задыхается Судьба. Возьмешь меч? Пустишь стрелу? Ударишь копьем?!

Не знаю, — пожимаю я плечами, бредя по колена в морских волнах.

Наверное, я могу тебя ударить всем. Или уже — ударяю.

«Ты! — заходится в крике Судьба. — Ты выковал из них оружие, ты!!»

Не только ты можешь ковать оружие, — киваю я. Ты сковала из меня копьё над миром.

Кажется, я нечаянно наковал много больше тебя. И теперь у меня есть лук, и меч, и копьё, и дротик, и факел, и даже трезубец. Разящие одновременно.

Ты видишь это? Понимаешь это. Проходишь через этот бой — но не так, как я.

Ты ведь бежишь.

Судьба, оголтелая, мечется по полю. Не знает, из-за чьих плеч кричать: все равно ведь паразит копьё... стрела... клинок. Судьба, кажется, встретилась с Неотвратимостью и умирает разом в несколько глоток: вот один Гигант в воздухе нанизывается на полыхающий

клинок, взятый в случае надобности («Нет! Не так!»). Вот второго ударяет отравленная смертностью стрела под колено, а копьё заканчивает ударом в печень (Это неправильно!!). Вот бьётся третий в конвульсиях — дротик угодил в горло («Да не так же!!!»).

И надо всем этим — над предсмертными хрипами Гигантов, и свистом стрел Геры, и нежной музыкой волн... Над всем — страшный треск рвущейся ткани. Истирающихся, уходящих в небытие строк.

Судьба отворачивается и пускается впрысочку. Так, будто можно остановить неумолимо надвигающееся лезвие Неотвратимости. Так, будто есть щит от этого меча.

...бежит. Бежит.

Пока не оказывается за нужными плечами.

За плечами подоспевшего к полю битвы Алкионея.

* * *

Можно ли оказаться — наедине в битвенной свалке?

Наверное, можно.

Как-то раз мы остались один на один с Кроном. Хотя вокруг него была куча титанов, а перед ним — безутешная мать и плачущие дети. А со мной коза.

Теперь отец вряд ли когда останется в одиночестве. В Тартаре всё же довольно тесно.

Я как-то наедине с одной зеленоглазой на ее помолвке оказался. На шумном пиру, где был я, была — она, и танец, один на двоих, первый и последний...

Та зеленоглазая, с двумя именами, на утро нашей ночи (тоже первой и последней) обещала мне станцевать еще. Обещала — ждать. Обещала — быть.

Только вот я видел в глазах сестренки-Гестии: это не сбудется. Теперь зеленоглазую зовут иначе.

Видно, мне теперь — если и оставаться наедине с кем-то, так только со своей Погибелью.

Вон, вырастает передо мной, любимчик всех: мамочка подарила неуязвимость, бабушка расстаралась и припасла Лук Урана, Ананка снабдила полезными советами и погладила по плечу на прощание. Грозный, яростный призрак величия: высокий, черноволосый и черноглазый, о скулы порезаться можно. Скользкие извивы тулова и ясная улыбка — он умеет улыбаться гораздо лучше, чем я, этот Алкионей...

Потому что вот я стою перед ним, ничей не любимчик: мать подарила проклятое пророчество, бабушка отняла свой дар и отдала другому... а Ананка вообще померла: такой уж я невезучий, что даже за плечами у меня небезопасно становиться. В волосы опять прокралась зима — это она пока мы с Серпом знакомство сводили. Двузубец отброшен, Меч... на поясе ли вообще? И если на поясе — отчего же в моей улыбке — отблески пыльного, древнего адамантия?

Вдвоем — среди безбрежной свалки битвы, среди умирающих, скулящих Судеб... сколько их ещё осталось в этом саду матушки-Геи?

Втроём. Потому что за спиной Гиганта-лучника съежилась испуганная Ананка, а её непременно нужно защитить, нужно сделать — правильно, нужно — исполнить...

Только вот защищать Алкионей умеет не очень-то. Он рожден Погибелью, а не щитом.

Потому он берёт лук. Оттягивает невидимую тетиву.

И первая стрела свивается, трепещет на ней. Язычком невиданной гадины трогает воздух. Ощупывает наугад: куда бы лучше... сердце? Так говорят, что его у этого Аида нет.

Голова, может? Так мозгов у него тем более нет — раз ещё не нанёс свой удар...

Владыки ведь всегда бьют первыми.

Лук Урана — древняя, выплавленная Геей из себя игрушка — лежит в пальцах моей Погибели как единое целое. Алкионей улыбается светло и радостно, и даже, вроде бы, приглашающе: мол, не хочешь ли попробовать? Меч против стрелы?

«Не так! — помогает ему Ананка — будто дальнее эхо, которое едва можно различить. — Это неправильно! Неверно! Бей же, рази! Миром! Как бог! С собой! Он сейчас выстрелит — и ты не успеешь отразить удар!»

Да, киваю я, и расслабляю пальцы на двузубце. Наверное, не успею.

Глупый мальчишка, — шипит Судьба из-за спины моей Погибели. — Чем же ты будешь бить? Чем защитишься? Ведь у тебя нет даже щита...

Правда? — удивляюсь я. Разве?

Ещё как, — по-живому режет улыбка молодого Гиганта, — смотри: все твои приспешники завязли в бою с моими братьями, а я не промахнусь...

Ага, — киваю я — не-любимчик. — Уж наверное не промахнёшься.

Его пальцы отпускают тетиву.

Он не промахивается, и стрела пронзает меня насквозь — свитая из мощи, гордости и уверенности в своей победе.

Колет куда-то в сердце — и бьёт в тело молнией, ослепительной и всемогущей, прокатывается по костям мгновенным громом, порошит глаза безумной вспышкой... и гаснет.

Навстречу молнии в крови волной поднимается Крит. Детство.

Становится щитом от величия и мощи — изнутри меня. Зеленые холмы и сердитые нимфы, и все мои наставники, и драные хитоны, стертые сандалии.

На зелёном щите — вереница куретов. Пещера. Костерок с толстым распорядителем. Вина будрюк.

А в центре — драчливая коза. Забралась на щит, оскалила зубы, рога выставила: где тут гордость, где тут мощь? Никаких таких не знаем. И вообще, как вдарю сейчас!

Стрела ломается о внутренний щит. Тонет в волнах памяти о Крите, как раненая птица в бурном море.

«Чем же ты...», — срывается с губ Алкионей, едва не утративших улыбку.

Осекается, натягивает тетиву усмешки потуже. Сжимает крепче лук — и вытаскивает из прогорклого, пыльного воздуха, выплетает, свивает вторую стрелу.

Из неистовой ярости, и весёлого шального бешенства, и упоения боем, и истощного, с привизгом смеха Судьбы за плечами.

Алкионей — дивный лучник, и он не промахивается.

Стрела пронзает мне лоб — входит глубоко, цепкой занозой — и вливается в тело огнём, прокатывается по венам неистовым пламенем тысячи драконов, занимается мгновенным пожаром... и гаснет, сходит на нет.

Потому что там, внутри, навстречу огню горой вырастает Олимп. Правление.

И становится ледяным щитом против ярости, и бешенства, и смеха.

На холодном золоте щита — сложно расставленные фигуры, которыми нужно играть, править... удерживать. Жена-советница вот пришла — никак, опять всё о серьёзном говорить! Угрюмо притулился с краю Посейдон — с собственной головой в руках.

В центре щита — фигура крылатого мечника, вот-вот заявит: «Бездарно дерешься...»

Точно ли бездарно?

Точно. Потому что я не дерусь.

И потому что вторая стрела канула в небытие, не оставив ни следа на коже. Гулко стукнула о внутренний щит — и стыдливо погасла.

А моя Погибель глядит всё тревожнее, и пальцы у нее что-то торопливы.

И губы выщёптывают, пополам с проклятиями: «Чем же ты закрываешься, чем же ты...»

И улыбка становится оскалом, полным ненависти, и он поспешно свивает свою третью, чёрную стрелу. Из ненависти, из самых чёрных пророчеств, из вечной истины: один над другим, один убивает другого...

И толкает ее в полет с силой — будто мать птенца из гнезда...

Конечно, не промахивается.

Стрела ударяет в спину (как она туда залетела?!). Подкрадывается — чтобы уж наверняка, в незащищённое место. И растекается внутри — волной полынной горечи, тяжким осознанием своего выбора, желанием во что бы то ни стало, любой ценой победить...

Растворяется, оставляя после себя почему-то яблочный привкус.

А те, кто сражается за моей спиной, — приходят и становятся щитом внутри меня.

Лучшим из щитов, самым нерушимым. Укрывают от ненависти и пророчеств.

На бирюзовом щите — разливы волн, бьющихся о скалы. Бредет вот кто-то на Олимп... или с Олимпа?! Не поймёшь — отдал трон, забрал трон...

В центре щита летит колесница с похищенной девушкой. Весело развеваются освобожденные волосы. И воинственный клич дочери там, за плечами, и радостный отклик Ареса — они тоже тут, на щите.

Что тут какие-то стрелы...

Раскалывается, как пустая скорлупка. Распадается на ниточки. И губы моей Погибели начинают трястись. Так, что не сразу можно различить: «Чем же ты так... чем?!»

В шёпоте у него — отчаяние, а потому следующую стрелу он вьёт из него.

В серебристый, разящий лёд сплетаются безысходность и боль, и страшное осознание проигрыша, и невозможность бежать...

Он почти промахивается.

Но я делаю шаг вперед — чтобы не промахнулся.

Стрела пробивает мне левую ладонь — и входит в пальцы, в кровь, в кости, ледяным холодом Стикса. Прорастает неистойвой стужей, отдаёт кашлем и ломотой костей...

Но навстречу стуже изнутри поднимается весна. Обнимает теплыми руками — мягкий щит, обволакивающий, с цветочным ароматом...

На медном щите — ее первый танец и робкие взгляды при первой встрече. По краям щита кудрявятся цветы — дельфиниум, фиалки, нарциссы...

А в центре — разбросал зёрна гранат. Разлётся символом вечной клятвы: ты — мой, я — твоя, за зимой всегда приходит весна, помни это...

Помню, — шевелю я губами, и кажется даже — это привкус граната на них, только разве гранаты бывают такими солеными? Я... помню. Я... понимаю.

Ты, которая — мой щит, мой смысл, моё всё. Которая уже не Кора и почти не Персефона. Которая — та... то... третье имя, для которого еще не место здесь.

Я понимаю и всё равно буду ждать.

Стрела стыдливо становится лучом. Плавится от слишком теплого щита, вплетается в

весенние разливы солнца там, внутри, в моей памяти.

Они слишком яркие, потому Алкионей что-то размыт перед глазами. Или это он там так трясется?

Надо же — и впрямь трясется. Выкрикивает, оскалившись:

— Чем? Ты?! Закрываешься?! — и когда я делаю еще шаг навстречу, он успевает выпустить в меня еще одну стрелу.

Серую, железную. Свитую из страха. Из ужаса перед небытием, и ощущения конца, и стылого чувства неизбежности.

На этот раз он целился хорошо — и он не промахивается.

Стрела пропарывает мне горло.

Проливается внутрь соленым вкусом смертности — самого страшного, что может испытать бог. Осознанием: Ананка — над тобой, тебе ее не победить, нет пути... Любые выходы — хуже. У тебя правильно всё закончилось, но вот теперь — просто не может не закончиться неправильно.

А в ответ — щитом...

Что-то иное. Могущественное и рождающее внутри уверенность, нет, веру.

Что всё закончится правильно.

Что-то, принесенное и подаренное в мир весной, возродившееся в этом мире...

То, что способно пережить богов и умереть последним.

Сильнее стрелы — которая ржавеет и опадает в прах. Острее меча.

Меча...

— Чем ты... будешь бить? — спросил он, когда я шагнул в его сторону. Вскинул лук Урана, предупреждая: как совью сейчас, как не промахнусь...

Лучше бы не надо, — ответил я взглядом. Ты мало стрелял из Лука Неба, мальчик. Иначе знал бы секрет этой игрушки.

Он убивает тем, из чего свит. Изнутри. Если тому, в кого попала такая стрела нечем ответить или не хватает сил ответить.

Крону, например, нечем было отвечать своему сбывшемуся пророчеству.

Ты же видишь. У меня слишком много щитов там, внутри. О них расколются любые стрелы.

И вообще, хватит уже, моя Погибель. Надо бы и мне ударить — хоть для приличия.

— Чем... ты бьёшь?! — слились воедино два вопля: Алкионей и какой-то так... из-за плеч будто...

— Ничем, — ответил я.

Все равно мы бьемся собой, чем бы ни бились.

А я сейчас — ничто. Не смертный. Не бог. Не Владыка. Не любимчик.

Небытие во плоти.

Ойтис-никто, я же не зря себе выбрал это имя.

Аид-невидимка — меня тоже не просто называли так...

Эй, Погибель, ты меня видишь?

Мотает головой — где там это небытие подевалось? Был — и будто нет, или у него там шлем невидимости...

Нет. Это у него там очень быстрый рывок вперед. И очень быстрый удар своей Погибели в зубы.

Устраивали вы своей Ананке звездопад из глаз? Вот вам совет от того, кого когда-то

считали мудрым: устраивайте почаще.

Зубопад изо рта тоже подойдет.

Погибель валится на спину — в мутную кашу из горелой плоти Флегр и морских волн. В пепел, полынь и соль, перемешанные между собой. Свивает кольца, напрягает мускулы, отплеывая зубы, готовится встать...

Поздно: коварный противник стал коленом на грудь. Придавил к земле и готовится бить.

В кои-то веки — не из невидимости и не в спину. А в упор и в лицо.

В кои-то веки — не стрелами: лучники все же иногда промахиваются.

Небытие промахивается реже.

А потому оно покидает мой пояс — и нависает над лицом противника: диковинным клювом, а может, жалом. Древний адамантый жадно тянется к капелькам крови на разбитых губах Погибели. Подмигивает каждой щербинкой: что, не хочешь ли узнать — кто там чья теперь Погибель? Кажется, у нас самую малость все перепуталось.

Кажется — время исполнять предназначение. Хочешь узнать — что посоветовали нам Мойры, а, Алкионей?

Хочешь вообще сказать хоть что-нибудь? Перед тем, как все закончится правильно?

— Бей!

Глаза у него были горячими. Чёрными. До отказа налитыми запредельной ненавистью: пригубишь такую чашу — поперхнёшься. Давай же, — кричала ненависть из глаз. Бей! Рази! Что ещё может меч?! Давай же, исполняй своё предназначение!

Бей, — шептала древняя, истертая, родная рукоять под пальцами. Перережь ему глотку. Так поступают смертные («Ты же помнишь, — откликнулась ледяные капли Стикса в крови»). Искалечь его, чтобы сбросить в Тартар, или чтобы навалить на него гору, или чтобы пленить. Так поступают боги. Главное — не думай. Уничтожь.

Победи.

— Бей же!

Бей! — звучало там за плечами, вылеплялось из грозного гула битвы. Из ровного, непоколебимого пения стрел Геры. Из звуков кифары, вторящих стрелам, и из свиста клинка смерти — который не клинок смерти. Из стройного хорала копий Афины и Ареса — и криков умирающих Гигантов.

Казалось — это шепчет даже голос за спиной. Давно не раздававшийся, забытый, ненужный голос — или, может, он это шепчет не мне?

Всё предрешено и всё написано, маленький Тартарид. Это вечный закон и вечная война. Одно поколение побеждает другое и занимает его место. Я поставила на вас, но они оказались удачливее — и теперь тебе остается только принять последний удар, чтобы строки в свитке оказались правдой...

— Бей!! — кричал он без звука, искусанными губами — глядя на клинок, нависший над его лицом, и из глаз выплескивалась, выливалась раскаленная, как лава ненависть: я думал оказаться твоей погибелью, я не знал, что ты — моя Ананка, проклятая тварь, теперь я вижу твое лицо, так как смеешь ты медлить с последним ударом — поступи так, как ты всегда поступаешь со своими любимчиками, уничтожь же!

— Как скажешь, — шепнул я. И ударил.

Опустил нетерпеливо рвущийся из пальцев Серп — и тот, взвизгивая от счастья, ринулся вниз, нашёл свою цель... Поразил.

— Ты... промахнулся, — изумлённо прохрипел Алкионей. Рот открыл — кадуцей запихнуть можно, глазами хлопает. Может, конечно, он видел, чтобы со стрелами промахивались — но чтобы вот так, с мечом и в упор!

— Нет, — сказал я.

Просто так уж сложилось, что ты — может, и рождён моей Погибелью.

Но я не твоя Ананка.

Жадное, истертое лезвие торчало в земле. За левым плечом Алкионей. Медленно истлевало на глазах — будто древний адамантий точила неведомая ржавчина.

И древняя, хитрая улыбка щерилась на прощание будто бы в наслаждении, и раскалялась рукоять, обжигая пальцы: Серп плавился от счастья, от осознания выполненного сполна предназначения...

От того, что иногда можно убить, не нанося удара.

Серп истаивал и уходил — туда, в небеса, где трещала и ломалась ось мира, и глубокие раны — будто от ударов искривленным лезвием — появлялись на древнем, сплошь исписанном свитке, и был на одной ноте неузнаваемый от ужаса голос: «Что ты сделал, Кронид, что ты сделал?!»

Серп вел меня за собой — невольно, стремясь доделать то, что мы с ним начали, и я видел — как узловатые, морщинистые пальцы вцепляются в края свитка — а свиток прорастает под прикосновениями плесенью, зеленой, пушистой. Плесень разрастается от сквозного разреза — на месте строк, которые теперь и не разобрать.

Я знаю эти строки.

В них — Флегры и последняя схватка. Сцепились двое — черноглазые, остроскулые... любимчики. Кто там из них щит? Кто — копье над миром? А кто — меч? Перемешалось, не разберешь. Да и бой теперь уже не видится, строки теряются, расплываются: вот выпрямляется юный Гигант, хохочет — и нетерпеливым гадючьим жалом трепещут лезвия двузубца, наводясь ему в лицо, и летит в пыль незадачливый Владыка, а юнец с глазами аэда протягивает руку — берет то, что его по праву, величественно выпрямляется — прежде, чем нанести последний удар... Или там не так? Вот Владыка мановением руки отшвыривает мир — и поднимает из черного пепла свой меч, и несется к смерти, будто заигравшийся мальчуган — домой. Гигант хрипит «Преклоняюсь» — и клинок проводит по его горлу, будто стилосом, последнюю черту. Или там еще что-то? Вариантов сотни, тысячи, бесконечность отражений становится причудливой мозаикой... и во всех вариантах — Ананка.

И в каждом кто-то гибнет. Алкионей ли? Аид ли Невидимка? Владыка мир подземного? Неважно — кто-то гибнет, потому что в каждой битве покоренный ложится под ноги победителю, потому что иначе не могло быть написано, это такие правильные строки...

Были правильные строки.

Теперь вот рассечены глубоким порезом: рука, видно, у какого-то мечника дрогнула, промахнулся невзначай! Порез по краям истекает черной кровью, будто свиток живой — и из крови поднимается зловещая, зеленая пушистая поросль, ползёт все дальше, жадно выглядывает из других строк — куски свитка перекидываются во влажную, проплесневевшую ткань, ткань истлевает и рвется, а морщинистые дрожащие пальцы все пытаются что-то сдержать, скрепить, собрать...

— Нет... нет... что ты сделал, Кронид, что сделал?!

Придушенный вопль — и влажная, душная, расплзающаяся повсюду плесень — на свитке, на сияющей оси мира, на морщинистых, дрожащих руках.

Ничего, — говорю я той, которая сейчас страшно кричит, извиваясь, на плитах своего небесного дома. Кричит так, что заглушает звуки битвы... да и сама битва стихла — устрашилась, и Алкионей сжался — грудь под моим коленом не движется, в ужасе всматривается в меня, вслушивается в жуткий, неистовый треск оси Судьбы там, на небе.

Но я стою рядом с ней — невидимка. Не уходя с Флегр. Пришел случайным гостем за своим клинком — вот и получилось, что вижу ее — безобразную, дряхлую, перепуганную старуху, скинувшую все маски. Слышу хриплые вопли «Что ты сделал, что сделал?!»

— Я не сделал ничего. Не выполнил предназначения — потому что у меня нет предназначения. Не ударил как смертный: я перестал быть смертным. Как бог тоже не ударил. Однажды я нарушил клятву и перестал быть богом.

— Кто ты тогда?! — завывает она, и скалится, и отползает, и дико шарит глазами по всем углам — только вот увидеть меня не может...

Хоть я и смотрю ей прямо в лицо.

— Фатум. Твой рок. Твоя Ананка.

Сухой, задушенный вопль. Ты думала, ее у тебя нет, не так ли? Думала — что никто не станет за твоим плечом, не прошепчет оттуда, не занесет ни строчки в твой собственный список?

Радуйся, судьба моя. Ты ошиблась.

Радуйся, отец мой Крон. Теперь я знаю, чего ты пытался достичь.

Может быть, ты догадался об этом. Что Ананкой Ананки станет тот, кто выведет в своем свитке то, что никогда не было написано в свитке Судьбы. Что он получит возможность... выбирать, понимаю я теперь. Ударить — и свергнуть мир в чистый Хаос (рукоять меча ласково трется об ладонь — подначивает: давай, и все закончится правильно!). Ударить — и стать победителем, подтолкнуть веретено самому, написать новый свиток, стать не Ананкой, но Роком — этого ли ты хотел, отец?

— Бей же, — шипела, извиваясь, проклятая тварь на плитах. Глядя с куда большей ненавистью, чем до того — Алкионей. В глазах у твари жила бурая, равнодушная плесень, имя которой — неизбежность, корка за коркой, веками выросла.

Из-под корки проглядывал страх, а над ней горела ненависть и насмешка — давай же, ударь!

Ударь — и обрати мир в чистый Хаос, и все закончится, правильно закончится — чтобы тут же начаться опять, потому что мир не терпит хаоса и пустоты. Только вот это будет другой мир, Кронид. С другой, рожденной из Хаоса Ананкой. А что же твои драгоценные детки? А сестрица с ее муженьком? А другие сестры и племянники? Смертные? Подземный мир?! Этих всех — ты тоже в Хаос своим ударом?! Давай, рази, — ухмыляется страшная тварь с переломанным, перерезанным хребтом. Ты убил меня, но я хоть посмотрю перед смертью.

Или ударь — и стань на мое место. Это еще лучше. Любимчик... ты уже назвал себя моей Ананкой — так стань теперь мною — для всех. Победитель приходит на место проигравшего — это закон... мой закон, которому я подчиняюсь с радостью. Напиши свой собственный свиток. Придумай свои законы. Толкай ось как пожелаешь — думаешь, это получится у тебя лучше?! Ну вот давай — бей, и посмотрим, что ты сделаешь, когда над тобой и над миром повиснет новое копьё, когда тебе придется встать за чужими плечами и

прошептать: «Это... очень страшные строки...»

Бей же!

Промахнуться второй раз ты не можешь. Ты уже нанес удар — а пустоты этот мир не терпит, и если ты промедлишь — мир может просто погрузиться в небытие, великое ничто... в великий Тартар, где не будет даже Хаоса. Не ожидал такого, невидимка?! Это ловушка всех войн. Цена победы. Ответственность победителя. Приходится или выжигать дотла, или строить новое.

Я шёл по заплесневевшему чертогу — зеленая слизь струилась по стенам, скользила по плитам. Хрустким льдом зарастала бывшая ось мира: ударь — расколется на острые, мелкие льдинки.

Передо мной, шипя и извиваясь, отползала она.

Костистая худая старуха с узловатыми пальцами. Глядящая с насмешливой ненавистью. Вцепляющаяся в ослизлые плиты, хихикающая хуже Лиссы, кривящая рот:

Меня не заменить, слышишь, — шептали искусанные губы. Ничем... не заменить... теперь уже... всё кончилось, невидимка. Ты пожал скверный урожай, а теперь вот пришла зима.

И любые саженцы погибнут. Они все погибнут, слышишь? Рано или позд...

— Никогда, — ответил я.

Разжал пальцы.

И меч разочарованно застонал, зарываясь в плесень и истаивая до конца.

Не будет ни первого. Ни второго.

Ни третьего.

И дрожащая старуха вцепилась в меня взглядом — с изумлением.

— Ты... уверен в этом?!

Уверенность — удел мудрецов. Владык. Царей. Мне же — вору, воину и дураку — как-то не с руки...

— Нет. Я на это надеюсь.

Потому что слышу иные звуки — там, за шорохом распадающегося на части свитка, и внезапной тишиной Флегр, и стонов иссохшей твари на полу. Непрошенные, незванные звуки: легкий треск расколотой амфоры, тихий вздох — как будто вздохнул наконец полной грудью за много веков...

И шаги за дверью в чертог. Не побоялся кто-то всё же явиться — хотя в чертоге веет стужей, на полу распластались, умирая, Ананка и Серп Крона, и обратился в комок омерзительной влаги свиток...

Умирание. Олицетворение зимы.

Но за зимой — всегда приходит весна, и ей не бывает страшно.

Ананка хрипло, безумно расхохоталась, когда дверь открылась. Навстречу фигуре в зеленом хитоне, с горящими медью волосами. Навстречу взгляду весны, полному зелени.

— Не этой ли собрался меня заменить, невидимка?!

Я не смеялся.

Смотрел. Молчал.

И цена за победу казалась — непомерной.

Я знал, зачем она пришла. Знал — кто пришел в ее теле, и это знание тяжестью отдавалось на плечах. Медным вкусом — в горле.

И не выдержал все-таки — глянул в зеленые глаза, отыскал там, глубоко-глубоко ее-

прежнюю. Спросил взглядом: неужели нельзя было иначе?!

И улыбка у нее на секунду стала знакомой: уж кто бы говорил... Прости, царь мой. Иначе было нельзя.

У ее ног из плесени тихо поднимались, покачиваясь, цветы. Подснежники. Ландыши. Дельфиниум. Нежные, светлые — раскрывали лепестки, душистым ковром покрывали слизкие плиты. Весна смотрела снизу вверх на поверженную судьбу — и несла во взгляде то, что несет каждому смертному, каждый год.

Только теперь этого было больше. Теперь это она была — вся она.

— Радуйся, сестра, — тихо обронила Элпис-Надежда.

В ушах отдался хриплый, иссушающий вой Ананки — и меч на полу истаял окончательно.

Вместе с ним истаял я, возвращаясь на Флегры.

За спиной раздался тихий, радостный смешок — и новая ось мира процвела ромашками.

Мир дробится на пену из острых колючих стекляшек,
Мир сплетется в дерюгу и ляжет на плечи, как хлена.
Я вовне выхожу, растворяясь в туманах и пашнях,
И неважно, что здесь не рожать Гее тёплого хлеба.
Анастасия Порсева

Бог не может стать смертным, спасая кого-то, — падает тяжкая истина. А после — умереть и снова стать богом.

Так не бывает. Это неправильно.

Истины говорят чуть ворчливым, знакомым голосом — только вот опасаются звучать из-за плеч.

Да, — киваю я истине вновь и вновь, как старой знакомой. Наверное, не бывает. Этого не было записано в свитке Ананки.

Она не могла себе этого представить.

И потому умерла.

Бог не может принести себя в жертву, — не унимается истина. Это невозможно.

Ага, — старательно подтверждаю я, — кто в такое поверит, правда?

Судьба не могла поверить в эти строки.

И потому погибла.

Боги, — фырчит истина, не унимаясь, — боги не могут... не могут любить так. Чтобы за кого-то... ради чего-то... Они сражаются ради силы, славы, власти. И потому не сражаются насмерть.

Точно, — соглашаюсь я снова и снова. — Конечно, не могут.

Ананка-Неотвратимость не могла себе этого вообразить — и потому мертва.

Точно так же, как вы, истины.

Почему же это мы мертвые, — возмущаются истины и пытаются встать на цыпочки — чтобы звучать из теней, из воздуха, из снов. Слышишь?! Почему мы — мертвые?!

— Потому что здесь другая эпоха.

Истины стыдливо ойкают. Оглядываются по сторонам, бормоча: «А что, уже новая началась? А когда же это она успела...» И уносятся подальше — из снов, из теней, из воздуха.

Остается одна — в воде.

С лицом, похожим на моё — черные волосы с серебрилкой текут на плечи, острота скул... пустота взгляда.

— У тебя всё началось правильно, — говорит эта пустота. — Ну и чем закончилось?

— У тебя всё началось неправильно, — гляжу в ответ я. — А закончилось ли вообще?

Скажи мне, моя черноглазая истина-двойник — что есть правильно, а что — нет? Правильно — это... лучше? Для кого? Для богов? Для Ананки?! Для мира?

Неправильно — это... невозможно? Не прописано? Не предсказано?

И не получается ли так, что и ты принял похожее решение в своем «неправильно» — и тоже убил...?

И не выходит ли так, что наши «правильно» и «неправильно» сливаются в

единственный путь, прямой как стрела или меч смерти?

А если так — разве могло быть иначе?!

— Ты убил её, — сказала мать-Гея.

Хитон на ней был зелёным — будто весенняя трава. Вынырнула вот из искореженной плоти Флегр — взошла зачем-то. Наверное, весну учуяла.

Только вот лицо старушечье, губы дрожат...

— Да, — сказал я.

Больше не будет битв, — сказал я. Хватит великих схваток, ударов в спину и роковых пророчеств. Твоим сыновьям не нужно быть в Тартаре или умирать. Твоим внукам — тоже.

Мы победили, но быть не только нам. Быть — и всем остальным, и всему остальному.

Таков новый закон той, которая нынче правит на небесах вместо Ананки.

Густая коричневатость распаханной нивы в ее глазах дрогнула — и медленно, несмело проросла весенней зеленой порослью.

— Когда я выплавляла Серп из себя, — тихо заговорила она, подходя, — я надеялась. Надеялась, что он...

Надеялась, значит. Неудивительно, что удар Серпа был смертелен для Ананки: в него было вложено то, что для нее — яд.

И понятно, почему это оружие обернулось щербатой усмешкой небытия: отчаянная, неподкрепленная ничем надежда... безумная и обращающая в прах.

Гиганты топтались на месте растерянно. Оставшиеся в живых — около половины. Отдувались, складывали крылья, беспокойно поглядывали на нас — меня и Гею. Кое-кто уже получил стрелу от Геры, а с ней и подарочек — смертность.

Правда, у Геры таких подарков осталось — завались. Попроси, ладонь протяни — одарит с удовольствием: не промахнется. Хочешь — в глаз, а хочешь — в глотку. Бывшая царица Олимпа стала смертной, а стрелять не разучилась — вон как целится, вся настороже.

А захотите еще подарочков — новый царь морской вам с удовольствием сбренчит на своей новой кифаре — кифаре волн. Афина и Арес от себя добавят мечом и дротиком, Стикс — копьём, Танат огоньку обеспечит... крыльями, или факелом, или как пожелаете. Что?! Неужто не по нраву подарочки от родственников?

Да вот, видно, совсем не по нраву. Мнутся Гиганты. Крутят в пальцах палицы и дубинки. Крыльями шебуршат, когтищами скребут задумчиво. На маму-Землю поглядывают. Не погибель земная — стадо телят на Флегрейском саду столпилось. Посматривают исподлобья: «Мам-м-м-м...» Сейчас жаловаться начнут: мол, мы тут... чтобы плесень, значит, того... а они на нас как налетели, бешеные. Плесень разве так делает?! Во, глянь, сколько побили, братьям уже не подняться, да и нам, кажись, навалиют сейчас.

И взгляд — в сторону Ареса почему-то. Тот уж очень многозначительно дротиком покачивает. Будто так и хочет сказать — ага, навалию, еще и как.

Выжженное, страшное пепелище Флегр. Две армии напротив друг друга — какие там армии! Горстка... и горстка. То ли состязание, то ли скандал семейный.

В центре — бабушка и внук, друг друга глазами едят. Да еще бабулин сын рядом разлётся — трепещет змеиными кольцами, бессмысленно пытается подняться, спрашивает сипло:

— Так... что теперь?

Хороший лучник этот Алкионей. Оперенной стрелой вопроса — с первого раза в цель.

— Да, — сказала Гея тихо. — Что теперь, пастушок?

Я пожал плечами. Жаль, козы вот нет — чтобы нервно бодала под колено.

— Может, яблочками меня угостишь?

Тут только она обвела взглядом черную пустошь — выжженную и искореженную, без конца и без края...

Сад мести, памятник безумию.

Заморгала смешно — будто опомнилась: точно же, сад... без яблок! Что такое?!

Распахнула объятия обожженной земле — и через нее рванулись сочные травы. Покрыли собой проплешины от кострищ и пятна крови, обвили тела погибших Гигантов — с материнской лаской завернули в дорожную, расшитую цветами ткань. Потом остервенелыми рядами копейщиков проклюнулись деревья — выскочили на поверхность, разбросали руки-ветви в ответном объятии, распушились листвой, отяжелели плодами: гранаты, сливы, груши — все одновременно.

Забарабанили яблоки, посыпались в траву — слишком зрелые, осень, время жать...

— Садись, пастушок, — выдохнула мать-Гея, устало приминая душистые травы. — Поговорим.

Выглядела она смущенной и неуверенной. Будто готовилась к другому — к ярости или к радости победы, к вымученным, выпестованным словами: «Ты думал когда-нибудь, как это больно? Видеть их в заточении? Ничем не помочь? А люди... вгрызаются плугами... рожают... они рожают, а я теряю своих детей».

— Ты должен мне, пастушок, — сказала вслух.

Я неспешно уселся в траву (вот же, гудят мышцы). Ноги вытянул, отыскал в траве сочное яблочко, откусил, кивнул — должен.

— Мой сын, Офиотавр...

— Его погубил Мом.

— Но ты все равно должен мне.

— Да.

Что толку спорить. Конечно, должен, мать-Рея. Я сверг твоего сына — своего отца. Заключил других твоих сыновей в Тартар.

— У тебя хорошие дети, Кронид, — она смотрела, прищурившись, туда, где плечу к плечу стояли Афина и Арес, а поодаль — Ификл.

Хорошее яблоко, сочное, кисло-сладкое, так соком и течет. Удобно взглядом над таким яблоком разные вещи договаривать. Например такую: да, у меня хорошие дети. И если кто-нибудь, когда-нибудь попробует их тронуть...

Гигантомахия тебе пирушкой покажется, мать-Гея.

— У тебя хорошие правнуки, — тихо поправил я, и ее взгляд потеплел еще. Встряхнулась, даже помолодела — перестала напоминать с виду траурную, иссохшую пустошь. Рукой замахала: точно же, правнуки, а она и не познакомилась... А идите сюда, детки, идите... это же там Афина? Сразу видно — кровь Метиды, строгая какая. Арес ну весь в дедушку, в Крона, ты же знаешь? А это кто, морской, что ли? Ах да, это ж от nereиды той, тополь еще... как-то не в породу совсем, ну, может, Герочка это поправит, да, Герочка?

И улыбается, и щебечет, как любимая бабушка — внучки вокруг собрались! Гера от недоумения аж лук подальше спрятала — ну его... тем более, что Мать-Земля всю болтает о том, что «ах, это же ты как смертная, а я думаю... ну, яблочки для молодости — это легко, это я вам подарок потом к свадьбе, или свадьба была уже?»

Гелиос сверху чуть ли из колесницы не вываливается: намеревался, понимаешь, всем

рассказывать о великой битве, а тут семейные посиделки какие-то. Вон, Алкионей настороженно подполз поближе, остальные Гиганты потихоньку шеи вытягивать стали: чего творится-то? А старушка с молодо зазеленевшими глазами только рукой на них машет: цыц, необузданные!

И смотрит — остро и пристально, ничуть не легкомысленно, попутно ухитряясь расспрашивать Афины — как у них там с Аресом, наследники-то скоро (Афина идёт красными пятнами, Арес ухмыляется одобрительно)? И в глазах у старушки — все тот же вопрос: «А что теперь-то, Кронид?!»

«Теперь всё иначе, — гляжу я в ответ. — Не знаю, правильно ли у меня началось, но теперь — все просто иначе. Там, наверху — теперь Элпис-Надежда (получилось, не ошибся с именем). И больше нет неотвратимости. Каждый волен жить так, как желает. Торить свою дорогу. Вить свою нить. Волен... надеяться».

«Так на что надеяться мне? — пронизывает зеленый взгляд, и у меня холодеют пальцы, потому что у той... глаза тоже были зелеными. — Скажи мне, внук, — на что мне теперь надеяться?»

«На весну».

Надейся на нее, мать-Гея, я теперь знаю — она не подводит.

Мне больно от этого знания, но тебя оно сделает счастливым.

— А мои дети?

— Да я вот даже не знаю. Хотел всё бабушку попросить: поговори ты со своими детьми. Если ты найдешь им место — где жить... Если они не будут враждовать с нами...

— Ты освободишь их? Из Тартара?!

— Да.

Кроме тех, кто никогда не сможет оттуда выйти: Гекатонхейров, для которых Тартар — дом родной... и моего отца.

Теперь на нас глазели уже все: Гиганты, моя родня... Гестия вот вцепилась в мужа — и тоже смотрит. Пораженно — от услышанного.

Когда взгляды успели обрасти шелухой слов?

Неважно, пусть слушают.

— Но ты ведь не так прост, пастушок, — усмехается Гея. — Ты совсем непрост... чего ты хочешь взамен от меня и моих детей?

— Клятву водами Стикса. Никогда не посягать на любой из тронов. Никогда не замышлять вражды по отношению к земле, небу или подземному миру — и их обитателям.

Войны закончились, Мать-Земля. Хватит. Мы найдем нужную шелуху слов — так, чтобы случайные междоусобицы или ссоры не закончились купанием в Стиксе. Мы — найдем. Но мне нужна эта клятва. Стикс взыскивает надежно, уж мне ли не знать.

Вон, кивает, покачивая копьем — взыщу так взыщу!

— Кому же они принесут эту клятву? Тебе?

— Нет. Правителю Олимпа.

Бабушка даже ладошками всплеснула — ай, хорошо выдумал! А теперь самую малость: а ну-ка, кто у нас в правителях Олимпа?

Даже яблоко на ладонь взяла — налитое золотым соком. Можно хоть сейчас по коже, как по золоту, вырезать «Достойнейший» — и награждать нового царя.

Эй, никому не хочется на олимпийский трон, случайно?

Нет, — мотает головой Ифит. Спасибочки, мы там уже сидели. Вот море — это,

конечно... И из-под пальцев — счастливая музыка волн. Бледная Гера прижимается к плечу мужа — то ли смертная, то ли уже нет... не понять. Качает головой — Ифит уже один раз отказался, ему не бывать на Олимпе. Но ты прав, там сядет царь.

Клименид, конечно, кому еще садиться.

Яблочко — золотистое, соком брызнет! — летит-летит в воздух. Мелькает игриво, сияет бочком. Валится в руки второму Климениду — Арес схватывает мгновенно, жестом бывалого воина, вертит в пальцах...

— Нет.

Будто не яблоко — горящую головню перекидываем. Не олимпийский золотой трон делим — хлам ненужный: бери кто хочет! Гиганты уже все затылки исчесали, Танат усмехается (одобрительно, что ли?), Алкионей отодвинулся подальше — ну их, этих бешеных, еще заразят. А Арес поднимает глаза — черные, лукавые. Повторяет спокойно:

— Нет. Если уж там, над Олимпом, нынче Надежда — на Олимпе не может править Война. Править должна Мудрость.

...и яблочко бережно перекачивается в руки Афины. Которая смотрит на него с недоумением... воспоминанием, будто такое же недавно в руках держала. Изумленно вскидывает серые глаза на Ареса — мол, ты что тут такое удумал?!

— Бери, — говорит взбалмошный мальчишка, но улыбка у него — зрелая и умудренная. Улыбка странника и философа. Знакомая. — Бери и правь мудро... царица моя.

Ласковым мотыльком вспархивает смех матери-Геи.

— Вот сразу видно — весь в отца! Такое придумать!

— Женщина на троне, — цедит сквозь зубы остроскулый Алкионей. — Тоже... выдумал. Думаете, ваша плес... — тут он ловит мой прищур и выдавливает: — Эти... боги ваши... сатиры... кентавры... с таким согласятся?

Арес слегка подкидывает дротик — и ясные блики пляшут на алмазном наконечнике. Ухмыляется с предвкушением.

— Кто не согласится? Кто-то не согласится? Ну, хотел бы я таких увидеть, да...

И брови вскидывает с невиннейшим видом — ну, что? Разве я не хорошо придумал? На троне — Клименид. Правда, об этом никто особенно не знает, так разве что дурак не догадается. Афина еще и дочь Метиды Разумной.

А если вдруг кто сунется — возле трона, перед тронном, за тронном... словом, там, где нужно — тоже будет стоять Клименид. Советник (хотя какие там советы, Мудрой-то), соправитель... полководец. И щит, потому что именно в щитах так нуждаются правители — правда, царица моя?!

Афине на такое и сказать нечего. Мудрость в кои-то веки онемела. Катает яблоко по ладони, вопрошает взглядом — эй, кто не согласен? Давайте... скажите что-нибудь.

Мудрое.

Вот ты, например, бывшая царица Олимпа, Гера... нет? Киваешь головой, хотя это твой сын уступает мне трон? Тогда твой муж, морской правитель... опять нет? И он одобряет, хотя трон по праву — его?

Ну тогда вот подземные. Гестия... что, и тут ободряющая улыбка? А хотя это же Гестия, и правда. Может, хоть ее супруг что-нибудь хмыкнет — мол, бездарно деретесь, олимпийцы...

Нет?!

Танат Железносердный жмет плечами, за которыми гаснут пламенеющие крылья.

Делает короткий жест — ничего, мол. Деретесь как раз неплохо. Хоть кто-то на Олимпе нормальный будет.

Тогда дочь глядит на меня — взглядом двенадцатилетней девочки, которую встретил однажды у дворца Метиды. Серьезные серые глаза. Непокорная прядь на лбу расплясалась. «Что ты скажешь мне, Литос?»

— Не промахивайся, Мудрая.

Махнул рукой, поднялся с осенней травы. Глубоко вдохнул посвежевший воздух, подумал даже — улыбнуться, что ли, дочери, раз уж ей править, раз уж так все хорошо закончилось...

Не смог.

И не закончилось.

В глазах остальных — даже у Таната и Геры — так и мелькают отзвуки вопросов. Мать-Гея задумчиво катает наливное яблочко в пальцах, решая: сказать? Не сказать?

Нужно ли швырять мне в лицо то, что уже швырнули Мойры?

— Ты убил Ананку, Кронид.

Молчание. Только Афина поправила тихо: «Мы убили».

— И не сел на ее место. Возвел на трон ее сестру Элпис, как хотел мой муж...

— Да, — сказал я.

Мать-Земля бросила взгляд исподлобья, будто проверяла: можно ли мальчика огорчить? Не заплачет?

— Кронид, ты убил свой век. Всё ваше поколение... всё, что есть... не только боги — и титаны, нимфы, кентавры... Ананка родила из себя самой то, что продолжало её: Путь, Жребий и Неотвратимость. Трех мойр, которые воплощали дорогу, которую проходит каждый. Элпис-Надежда родит иное. Иную веру. Иной миропорядок. Может быть — истребив при этом старый. И теперь даже мой сын Крон не сказал бы — сколько у вас впереди есть времени...

— Да, — сказал я.

— Разве тебе не страшно?

— Я был смертным. У каждого из них гораздо меньше времени, чем есть у нас даже и теперь. И от этого их жизнь только обретает большую цену.

— Наскучила вечность?

Она спрашивала — насмешливым, треснутым голосом, но в глазах жила тревога — и та, что уже поселилась в небесах вместо Ананки-Судьбы.

— Крон был бессмертен. И Ананка тоже. Вечности нет ни для чего и ни для кого, потому что рано или поздно вслед за тобой придет следующий. Иное поколение. Иное царство. Иная вера. В этом Ананка была права — умирая, мы порождаем новое. Кто знает, может, смысл в том, чтобы это новое было лучше нас?

Лучше? — спросила она глазами. Лучше, — кивнул я, указывая на ее младших сыновей — заляпаных собственной кровью, оскаливших клыки, шипящих драконьими головами. Я был смертным, Гея. Я видел, насколько жесток мир, которому теперь придется умереть.

Я соврал бы, если бы я сказал — не жалею, что убил его.

Но то, что родится и возмужает там, в небе, обязано быть лучше.

Потому что его породит Надежда.

— И куда отправишься? — спросила мать-Земля. — На Олимп? Или в изгнание?

— Туда, где ее нет.

У мертвых совсем нет надежды — даже если они попадают в Элизиум. Так уж устроила дела в этом мире Ананка.

— Пока что, — пробормотала Гея, — пока что нет, Кронид. Надежда проникает повсюду. Придет час — спустится и к тебе. Чтобы обрушить своды царства, которые никогда ее не видели.

— Значит, подожду.

Начну прямо сейчас — Стикс вон уже растворилась, направилась в подземный мир. И мне пора.

— Пастушок, — окликнула Хтония. Долго всматривалась в лицо, потом спросила тихо: — Неужели ты правда надеешься, что то, другое... что придет вслед за нами... что оно будет лучше? Добрее? Милосерднее?!

— Не надеюсь, — сказал я, отворачиваясь. — Верю.

Вера, как известно, штука упрямая — попробуй еще, убей...

Больше меня не окликали, но взгляды я чувствовал спиной.

Наверное, так глядят на безумцев. Или на спасителей.

И на убийц.

* * *

Боги всегда рады принести что-нибудь в жертву. Смертных. Титанов. Новое племя. Других богов.

Приносил ли кто-нибудь в жертву — собственную эпоху?!

И если приносил — что чувствовал после этого?

Я вот ничего. Совсем ничего. Возвращаюсь туда, откуда никогда не уходил — но мне все равно придется туда вернуться...

Спокойным, медленным, размеренным шагом. И с каждым шагом в глухую даль отходит Олимп, получивший самую справедливую из правительниц. И Морской Мир, получивший горячий семейный очаг. Отходят даже — пламя и смерть, которые скоро воцарятся в цветущем Элизиуме.

Остаюсь я. Да еще эпоха — будто гадина с переломанным, перемолотым хребтом.

Смотрит на меня — глазами Гелиоса с неба, морских и речных божеств, глазами ветров...

— Ты убил меня, — шепчет, издыхая. — Я держалась на оси Ананки, и вот ты убил меня. Мальчик... что ты натворил...

Призраки эпохи бродят вокруг меня. Тянут руки. Сестры. Братья. Подземные чудовища. Титаны. Все — без разбора. Обращенные в тени.

Ты была жестока, — хочется мне сказать, но это отдает полынной горечью оправданий. А меня прозвали Милосердным. Ты была несправедлива. А меня прозвали Справедливым.

Наверное, все тираны и безумцы, желающие сломать свой век, рассуждают так. Считают его — самым несправедливым, самым темным, самым-самым...

И если ломают — швыряют в темную бездну неизвестности.

— Я подарила тебе трон, — стонет раненая эпоха. — Подарила правление. Подарила детей... жену... брата... любовь. Я подарила тебе так бесконечно много, а ты...

— У скольких ты отняла? Детей. Жену. Брата. Любовь. У скольких забрала бесконечно много и не дала взамен даже надежды?

Эпоха хныкает под ногами. Опасливо выглядывает из-за деревьев — ликами дриад, и поглядывает через овец Нефелы. В ручьях булькает. Везде — одно:

— Я не хочу умирать...

— Иногда приходится, — говорю я. — Особенно когда приносишь себя в жертву ради других.

— Ради... другой? — и в голосе умирающей эпохи богов и титанов я слышу — женскую ревность. — А кто тебе сказал, невидимка, что в этой новой эпохе будет время для вас?

Они идут рядом со мной — караваны призраков прошлого. Истаивающие храмы. Разбитые алтари и обомшелые статуи, которые видели славные жертвоприношения. Мимо пускаются в путь корабли — покидая родину. Отплывают... может, в Айгюптос, может, куда-то еще.

И мои подарки от эпохи. Мои дети. Сестры. Братья... они идут рядом со мною. Истаивая на ходу, взглядывая на прощание с укоризной.

Призраки будущего.

— В песнях, — говорю им я, но это их не утешает — вас воскресят в песнях.

Призраки будущего качают головами. Не желают слушать — они слишком хорошо знают, как лживы земные аэды и как мало они поют об истинно важном.

— Ты хотел пожертвовать собой, Аид, — шепчет эпоха, пока еще лежащая под ногами, но уже такая хрупкая. — Но на самом деле ты пожертвовал всем. Всем вокруг... ради какого будущего?

Мы увидим это, — хочется мне сказать. Мы увидим. Рано или поздно...

Рано или поздно.

— Но теперь, — что осталось тебе самому, Кронид? — не унимается насмешница-эпоха. — Сидеть в подземном мире? Ждать?!

— Надеяться.

Только это теперь и осталось — когда иду к серому ущелью Тэнара, где блеклые, томные лучи опасливо припадают к серым камням. Только это мне останется, когда сойду по узкой тропинке, предназначенной для теней. Мимо черного озера Амксант, возникшего в незапамятные времена — и вниз, через извивы Стикса, к огненным потокам Флегетона, к теперь уже моему дворцу...

Саднит обожженные Серпом Судьбы пальцы — странно, когда сжимал рукоять — не чувствовал. Левая ладонь стала алой — то ли ожог, то ли рука навсегда в крови... хотя разве у Ананки она была — того же цвета, что и у смертных?!

Потер ладонь на ходу о хитон — не оттирается. Алое, багряное... Метка. Знак Убийцы Судьбы, клеймо — на добрую память. Подумалось — может, дойти до Амксанта, черного озера, омыть руку в ледяных водах, потом сесть, смотреть в воду до бесконечности, чертить мысленно по песку линию своих воспоминаний...

Глупость, конечно. От такого убийства нельзя омыться ни в каких водах. От такого не очищает ничто. Незачем останавливаться у озера.

Значит, только вниз.

Сесть наконец на трон признавшего меня мира. Кивнуть Гипносу, новую свиту набрать. Объявить титанам в Тартаре это, насчет нерушимой клятвы. Поговорить с Гекатой — может, чем поможет Гере с этой ее внезапной смертностью. Может, потом навестить Таната и Гестию в их цветущем Элизиуме, где все будет напоминать о ней...

Не подниматься на поверхность — убийцам эпох не положено. Таким чудовищам дано

— только вечное заточение.

Да еще вечная зима. Нет, весна, конечно, когда-нибудь спустится — только это будет нескоро.

Мелькнула водная гладь — Амсанкт. Черта приграничья, чернь и холод — перед входом.

Нет, не так.

Чернь, холод и что-то алое, что падает в него — неторопливо, один лепесток за другим.

Лепестки летят, украшают черную воду — будто ткут ей свадебный убор. Взвиваются в небо, которому всегда не хватает солнца на этой тропе.

Оседают, будто весенний снег в медных волосах, на зеленом хитоне той, которая в задумчивости сидит на берегу, глядясь в черные воды и пальцем выводя какую-то линию.

Нет.

Коварная Надежда ударила — наотмашь в сердце, отняла дыхание. И я молчал — перебарывая желание заговорить. Смотрел — борясь с желанием подойти и коснуться.

Не мог ни верить, не надеяться.

Потому что знал — кто пришел в ее теле.

И не хотел ее видеть.

«Уходи», — почти сложились губы.

Она обернулась — и танец у горы Парнас, и гранатовый поцелуй, и ее улыбка в доме смертного — обрушились на меня тяжелее неба.

— Радуйся, Ананка моя, — сказала, улыбаясь.

Распрявилась, отбрасывая медные локоны, тихо подошла, чтобы коснуться щеки.

Это было больнее — чем Серпом Крона.

— Это не ты...

Что мне сказать? Радуйся, Элпис-Надежда, не хочешь ли у меня теперь за плечами обосноваться?!

— Радуйся... — замерзли губы, не в силах выговорить чужое имя. В зелени глаз таилась — пещера, где мы впервые встретились, и ее истошный плач над смертным мужем, и годы ожиданий, но это ничего, это совсем ничего, за зимой всегда приходит весна...

— Ты хочешь мальчика или девочку? — прошептала она, когда я начал стискивать ее в объятиях. — Как думаешь — у нас еще есть время, чтобы воспитать детей, теперь, когда...

Из-за плеч у нее... нет, просто отовсюду — звенел смех.

Ласковый, теплый.

«Вы думали — я как сестра, — звенел он. — Думали — я всегда отбираю что-то, если что-то дарю... Нет, любимчик... любимица... Неужели вы считали — я буду сидеть в этом холодном чертоге и вращать какую-то ось. Радуйтесь, я уйду. Чтобы быть всегда и со всеми. В огнях. В песнях. Со всеми вами. До самого конца.

Ибо бывает так, что мир можно преобразить, лишь отдав себя ему до конца. Ты рассказал мне это. И я теперь всегда буду рядом...».

Персефона шептала что-то мне в плечо — о матери, о царстве, о том, что она бы мне дочку родила, а то сыновей пока больше... Но я молчал.

Смутно понимая, что слышу эту — которая теперь везде — в последний раз так.

«Но ты придешь?» — спросил я ее.

«Вместе с иной верой, — откликнулось эхо издалека. — Когда бог вновь станет смертным. А смертный — богом. Я приду с новой эпохой...»

«И она будет лучше? Милосерднее?!»

«Я надеюсь на это...»

— Пойдем... домой? — шепнула весна в моих объятиях.

Я кивнул: пойдем. И поторопимся, а то кто там знает — сколько у нас теперь времени.

Мельком взглянул на свое отражение в озере — кажется, поймал, уходя, завистливый взгляд.

«У тебя всё не так начиналось, — сказал я ответным взглядом. — Надеюсь, у тебя хотя бы кончилось всё как следует».

У меня вот началось правильно. И правильно кончилось.

Вот все и кончилось.

Ветер воцарившейся повсюду Элпис-Надежды, беременной новой верой, треплет волосы, срывает цвет с граната и покрывает черную воду озера алыми лепестками, отчего вода кажется чуточку легкомысленной.

Черные спутанные пряди мешаются с медными: базальт и лава, Эреб и Флегетон. Впереди крепнет приветственный, захлёбывающийся лай черного пса — мира, в который вернулся хозяин. Я, Аид-невидимка, не спеша ступаю рядом с женой, мой мир несётся навстречу — радостным щенком, который так долго ждал хозяйской руки. Иногда взвизгивает — неумело, но радостно.

И если так — разве могло быть иначе?!

Больше книг на сайте - Knigoed.net